

ЖИВАЯ ИСТОРИЯ

Г. В. Андреевский

# ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ

МОСКВЫ В СТАЛИНСКУЮ ЭПОХУ • 1920 • 1930е



Место, где прошли детство, отрочество и юность, люди называют родной. Именно здесь, на этой земле, под этим солнцем, возникли наши первые ощущения, привычки и мысли. И будь то город Петербург, село Снова-Здорово, деревня Сладкие Караси, они одинаково дороги тем, кто в них вырос. Я вырос в Москве, и поэтому она так близка моему сердцу и бесценна в тех границах, которые я запомнил с детства, и где не было еще места таким названиям, как Свиблово, Орехово-Борисово, Митино и Крылатское, зато существовали Воробьевы горы, Чистые пруды и Александровский сад, Арбат, Сретенка и Замоскворечье. Именно о них я тосковал, покидая Москву, и радовался им, возвращаясь.

С годами желание вернуться в прошедшие молодые годы усиливается в нас. Мы не можем без волнения рассматривать старые фотографии, на которых запечатлены наши одноклассники или друзья, с которыми мы проводили лето. Не могут оставить нас равнодушными и снимки, с которых глядят молодые наши родители, бабушки и дедушки. Да и родной город тех лет нам совсем не безразличен. Работая над книгой, я встречался с ним в архивах и библиотеках, открывая для себя все новые и новые стороны и закоулки его повседневной жизни. Поскольку родился я в 1940 году, то жизнь довоенной Москвы наблюдать, естественно, не мог. Помогли мне в этом, помимо

архивов и библиотек, конечно, люди. Среди нас еще живут те, кто помнит Москву двадцатых-тридцатых годов прошлого века. Попробуйте на какой-нибудь лавочке разговориться со старичком или старушкой, вспомнить вместе с ними годы их детства и молодости, а потом не поленитесь, запишите то, что услышали, а то забудете потом. Особенно, скажу я вам, приятно предаваться воспоминаниям с простыми людьми, поскольку они бесхитростны и откровенны и не поглощены мыслями о своем месте в истории. Люди, много повидавшие и испытавшие на своем веку, живут у нас повсюду. Не дайте умереть вместе с ними и их памяти. Сохраните ее для будущих поколений, ведь жизнь нашей родины на нас не кончается. И для этого не нужно быть писателем или ученым, достаточно быть добросовестным секретарем своего времени. Не надо только времени навязывать свои взгляды, как это делает новичок-следователь, который заносит в протокол только те показания, которые соответствуют избранной им версии совершения преступления. Может быть, оттого, что историю часто не излагают, а сочиняют, полюбились мне тема повседневной человеческой жизни. В ней не нужно врать и уж совсем ни к чему фамильярничать с «великими мира сего», пытаясь развенчать их или хотя бы низвести до своего уровня. За повседневной жизнью людей не надо подглядывать в замочную скважину или собирать о ней сплетни. Она проходит у всех на виду, и сказанную о ней ложь легко разоблачить, а уж ложь о жизни в сталинскую эпоху — тем более, поскольку еще живы ее современники.

Главы этой книги складывались сами собой. Я их не планировал. По мере накопления материала выступили на первый план в повествовании городская торговля, жилища людей, транспорт, и в первую очередь трамвай, мода, мораль, искусство и пр. Вот тема преступности не всплывала, я ее сам определил как близкую мне по роду деятельности. Жаль только, что в московских архивах не сохранились уголовные дела двадцатых — первой половины тридцатых годов, а уж дел о нераскрытых преступлениях вообще днем с огнем не сыщешь. Поэтому и рассказал я только о преступлениях рас-

крытых и о преступниках, которые понесли наказание. Ну а сколько преступлений, и еще каких страшных, осталось не раскрыто, сколько вырожденцев, совершивших жестокие убийства, бродили и еще бродят среди нас! Кто-то из них, наверное, повесился, кто-то спился, а что делают остальные? Слышали ли вы когда-нибудь о том, чтобы кто-то из них явился с повинной по истечении срока давности или покался перед смертью? Мне лично не приходилось. Значит, бродит в крови нашей нации их черная, грязная кровь, отравляя душу и жизнь нашу и будущих поколений.

Теперь, когда в России все обрело свое денежное выражение, попробуем посмотреть на мир не через окошечко обменного пункта, а через свои распахнутые и удивленные глаза, и мы многое увидим. Увидим, что, помимо суеты и иностранных побрякушек, в нем существует очень много интересного.

Жизнь Москвы двадцатых-тридцатых годов прошлого столетия полна потрясающих великих событий и мелочей. Не вина их, если, прочитав эту книгу, вы в этом со мной не согласитесь. Я, конечно, не мог охватить все разнообразие жизни тех лет, да это и невозможно. Давно и правильно сказано: «Нельзя объять необъятное».

Совсем не стремился я и к тому, чтобы излагать события с какой-либо определенной политической позиции. Я шел за жизнью, за материалом, как вагон за паровозом, а поскольку материал мне попадался разный и разные излагались в нем точки зрения на Москву и на ее обитателей, то и рассказ мой противоречив и непоследователен. Я, по возможности, старался избегать оценок событий и мировоззрения людей, не считая свои взгляды интересными для читателей и, вообще, не желая им надоедать. Возможно, кто-то, прочитав книгу, обвинит меня в русофобии, кто-то в антисемитизме, а я всего лишь цитировал протоколы и фразы из жизни, в жизни же, как вы знаете, было все. К тому же совсем не обязательно в угоду политической корректности искажать или замалчивать существующую реальность. Разве интересно видеть жизнь людей такой, какой ты хочешь? Она интересна тогда,



когда о ней говорят правду. О жизни двадцатых-тридцатых годов и так много фантазировали. Не скажу, что я влюблен в те годы или, наоборот, ненавижу их. Мне они просто интересны. И то, что двадцатые годы совсем не похожи на тридцатые, не делает ни те ни другие ни хуже, ни лучше. Помимо Гражданской войны, нэпа, коллективизации и репрессий в них была обыкновенная повседневная жизнь миллионов таких же людей, как мы с вами. Этим-то ощущением нашей схожести с людьми того времени, жившими в других обстоятельствах, мне думается, и интересна повседневная жизнь сталинской эпохи. Мы невольно спрашиваем себя: а что стало бы с нами, если бы мы жили в те годы, как бы мы повели себя в тех условиях, в которых находились наши предшественники? Порой мы смотрим на них, как на первоклашек второклассники, гордые своими знаниями. А были они просто другими.

*Георгий Андреевский*

## ЛЮБИМЫЙ ГОРОД

*Москва-река. — Надгробия под водой. — Найденные сокровища. — Собачья площадка. — Мэри Пикфорд в Москве. — Блеск нэпа. — Сухаревка, Тишинка и другие. — Биржа труда. — Папиросница из «Моссельпрома». — Мусорщики и ассенизаторы*

Париж — на Сене, Лондон — на Темзе, Рим — на Тибре, Вашингтон — на Потомаке, а Москва — на Москве. Река город и поит, и кормит, и, если надо, довезет.

Течет Москва-река мимо Кремля по направлению от храма Христа Спасителя к Красной площади. Она и в двадцатые годы так же текла. Между Крымским и Большим Каменным мостами она раздваивается. Это стрелка. Здесь основное русло реки перегораживала плотина, а у Кремля река становилась мелкой-мелкой, так что на середине ее стояли, засучив штаны, рыболовы и удили рыбу. За стрелкой — водоотводный канал. Его называли Канавой. На левом его берегу располагался Болотный рынок. На нем торговали в основном овощами, фруктами и ягодами. Торговали оптом, возами, торговали и в розницу. На рынке подмосковные огородники сбывали свою продукцию. Цены на Болотном были ниже, чем на других рынках. Такова была его традиция. Здесь, на Болоте, можно было и закусить, например пирожками с разными начинками, полакомиться другими яствами, изготовленными по древним рецептам. На берегу находилась пристань. С приходом нэпа к пристани стали приставать маленькие пароходики. Ходили они, правда, не по расписанию, но путешествие на них не лишено было прелести,

особенно если удавалось занять место на палубе, под парусиновым тентом. На парходике можно было доехать до Парка культуры имени Горького. Когда парходик выплывал из Канавы на простор Москвы-реки, его окружали лодки, байдарки, шлюпки, моторки и просто «водоплавающие» граждане в разноцветных тряпочных шапочках и без оных. Они лезли под самый парход, одержимые страстным желанием покачаться на его волнах. Когда парходик останавливался, пловцы забирались на него и прыгали в воду. Пройти парходу сквозь массу людей и лодок было очень трудно, и капитан, срывая голос, умолял пловцов освободить путь его судну. Но капитана не слушали. Людям было не до него, они радовались воде, солнцу, выходному дню и не думали об опасности. А напрасно. В такие жаркие летние дни в Москве-реке тонули десятки человек.

Вдоль берегов располагались «водные станции» разных профсоюзов. На них целыми днями загорали отдыхающие. У Парка культуры та же картина. Кроме того, здесь можно было встретить катающихся на водных лыжах. Лыжи — две маленькие лодочки — надевались на ноги, и человек ходил в них по воде, как комар-плавунец, отталкиваясь от дна длинными палками.

А парходик плыл дальше, мимо берегов Нескучного сада. Там, в Александровском дворце (Большая Калужская улица, 32), где теперь располагается Президиум Академии наук России, с 1920 года до февраля 1927 года находился Музей мебели. В его пятнадцатом зале стояла мебель боденского мастера Гамбса, того самого, чьи двенадцать стульев украшали некогда гостиную старгородского дома Ипполита Матвеевича Воробьянинова из романа И. Ильфа и Е. Петрова «Двенадцать стульев».

Проплыв мимо Воробьевых гор, парходик сворачивал в Дорогомилово. Здесь весной 1925 года расположился цыганский табор. Цыганки с большими серьгами в ушах и в монистах (ожерельях) подметали мостовые широкими пестрыми юбками, бегали голые чумазые ребятишки; по выходным, дав представление, обходил публику с картузом в лапах медведь, собирая деньги. По ночам горели костры, слышно было ржание лошадей да заунывное пение. Цыган, кстати, тогда

в Москве было немало. Жили они и в Петровском парке. Там даже бывшая «Монастырская земля» стала именоваться «Цыганским уголком». Ну а когда-то сборным местом цыган в Москве был Нескучный сад. Но то время давно прошло.

В 1932 году цыган из Дорогомилова прогнали. Устроили там лодочную станцию, которую облюбовала местная шпана, пестрая по своему возрастному и национальному составу.

Москва и в те годы была многонациональным городом. Проведенная в 1926 году перепись населения показала, что жило в ней свыше 1 миллиона 700 тысяч русских, свыше 130 тысяч евреев, 17 тысяч татар и столько же поляков, 10 тысяч латышей, свыше 8 тысяч немцев, 6 тысяч армян и около 3 тысяч литовцев. Если же добавить ко всему этому разнообразию более мелкие национальные группы и приезжих из разных республик, то можно себе представить, какое смешение народов, лиц и языков наблюдалось на московской земле. Впрочем, не только на земле, но и в ней самой. Я имею в виду кладбища. В городе существовало несколько национальных кладбищ: армянское (Ваганьковское), еврейское и караимское в Дорогомилове на Можайском шоссе, Иноверческое (немецкое) на Наличной улице, недалеко от реки Синички, и магометанское (татарское) у Серпуховской Заставы.

До наших дней дожили только армянское и немецкое. Многие гранитные надгробия с русского и еврейского кладбищ в Дорогомилове пошли на облицовку набережных в конце тридцатых годов. Гранитные плиты с могил чиновников, купцов, совслужащих и военных ушли под воду, спрятав от любопытных глаз прохожих последние прощальные слова близких: «Господи, прими дух его с миром», «Здесь лежит...», «Убитые горем жена и дети...» и т. д. и т. п.

В тридцатые годы решительно расправлялись не только с кладбищами, но и с самими реками. Исчезли с карты Москвы притоки Яузы: Синичка в Лефортове, Серебрянка в Черкизове, Сосенка за Черкизовом. Пропал и Хапиловский пруд, который начинался недалеко от Измайлова и заканчивался около Яузы (а если точ-

нее, то от Борисовской улицы до Суворовской улицы). Исчезла речка Филька в Кунцеве. Все они потекли по подземным трубам, как и речушка Черторый у храма Христа Спасителя.

Ну а Москва-река после облицовки ее берегов гранитом похорошела и стала гордой и недоступной. А главное, она стала чище. До этого река, как вспоминают старожилы, была грязнущая. Купавшийся в ней мог измазаться мазутом, столкнуться с какими-нибудь отбросами, ведь канализацию прямо в нее спускали. Фабрика имени Дзержинского в Дорогомилове сбрасывала в воду красители, от чего река становилась то синей, то красной, то зеленой, то фиолетовой. В 1936 году реку стали чистить, углублять ее дно. Заработали на ее берегах землечерпалки. Дошло до того, что в предвоенные годы Москва-река стала «давать» лед. Его вырубали, потом распиливали простыми пилами на куски, а подъезжавшая вереница грузовиков завода «АМО» развозила эти куски по магазинам. Электрохолодильников тогда в городе почти не было.

В двадцатые годы, когда у Москвы-реки не было высоких каменных берегов, от нее можно было ждать сюрприза. В апреле 1926 года река разлилась и затопила округу. Люди бросили свои дома. В клубах стало тесно, как на вокзалах: их заполнили пострадавшие. С крыш и из окон незатопленных домов любопытные глазели на дома, погруженные в воду, а между домами двигались плоты и лодки — они подбирали тех, кто не смог вовремя покинуть свое жилище. Опасаясь затопления, жители ближайших переулков смолили и конопатили доски, которыми забивали первые этажи своих домов. У дверей магазинов сооружались ограждения, а покупатели ставили ящики и с их помощью через эти ограждения перелезали. Подъезды к мостам были затоплены с обеих сторон. Ломовые извозчики на этом наживались, взимая с трудящихся пятикопеечную плату за переезд на другой берег. Пользовались наводнением и те, кто подбирал куски льда, принесенные рекой, и тащил их домой, ведь скоро, когда потеплеет, этот лед будет стоить денег. Мальчишки-беспризорники тоже не терялись. Они доставали где-то дырявые корзинки и

ловили ими рыбу. Некоторым везло: в корзинки попадалась плотва.

Через несколько дней вода спала, люди вернулись в свои разоренные дома, а городские власти стали подсчитывать убытки. На этот раз в Москве, в результате наводнения, остались без жилья 1330 человек. Пришлось им начинать новую жизнь...

Разнообразие климата тоже делает жизнь обитателей нашего города непредсказуемой. Они всегда живут в ожидании перемен и, разумеется, к лучшему. Так было и в те, ставшие теперь такими далекими, годы.

Зеленая летом, белая зимой, Москва, как новогодняя елка, была украшена золотыми шарами церковных куполов и сосульками колоколен. Из многочисленных труб ее деревянных домиков уходил в голубое небо дым печей, согревавших жилье, в котором царил уют веревочных ковриков, белых подзоров на комодах и высоких никелированных кроватях, темно-зеленых фикусов, пурпурных гераней и крашенных скрипучих полов. И кружил ли над городом снег, или летала пыль, в небе по утрам и вечерам звучал протяжный и томительный колокольный звон. Перекричать его пытались духовые оркестры, играющие революционные песни и марши, и торговки, сбывавшие москвичам свой нехитрый товар.

Летом, когда жаркий пыльный день сменяли томительные сумерки и от Москвы-реки тянуло долгожданной прохладой, жители бараков в Дорогомилове оставались на улице. Старые — играли в лото, малые — в лапту. До поздней ночи не кончались разговоры, заливалась гармошка, звучали песни.

Бывало, в час ночи шли на реку купаться всей компанией, как в деревне, а потом оставались спать на улице, спасаясь от клопов, которые в эти жаркие дни становились особенно злыми.

Спали летом на открытом воздухе не только те, кто спасался от клопов, но и бездомные. Они устраивались на бульварных скамейках, предпочитая для своего отдыха Яузский и Покровский бульвары. Эти бульвары подальше от центра, и милиции там меньше. А вот парочки облюбовали бульвары Никитский и Гоголевский.

Сидели обнявшись до трех часов ночи, и не потому, что каждому из них некуда было идти, а потому, что некуда было идти вместе. Уж очень много людей приходилось в Москве на каждый квадратный метр жилой площади.

Раньше всех просыпались Страстной и Гоголевский бульвары. На них в восемь часов утра с Молочного, Хлебного, Скатертного и других переулков выползали выгуливать своих собачек доисторические старушки в мантильках и черных наколках на седых головах, а за ними и няни с детьми, занимавшими свои песочницы. Приходили китайцы с учебниками из Университета трудящихся Китая имени Сунь Ятсена, а потом и фотографы. Один из них торговал фотографиями Есенина с гармошкой. Здесь же, на бульваре, красивый старик играл на цитре. На скамейках старики и безработные резались в шашки и шахматы, а на перекрестках весь день не умолкали черные трубы радиорупоров. Под ними собирались люди послушать музыку, лекции, последние известия. На Никитском бульваре появлялись графологи, музыканты, моментальные художники, которые вырезали из бумаги профили клиентов, рассказывались на своих табуретках женщины, торговавшие семечками. В хорошую погоду на этот бульвар приходил профессор графологии. У него были бурые усы, чуть косые глаза и вкрадчивый голос. Он раскладывал на скамейке листки бумаги с затейливыми завитушками и, предложив любопытному написать что-нибудь на листке бумаги, долго смотрел на каракули. Потом, откинув со лба прядь грязных волос, закатывал глаза к небу и начинал говорить о поэтичности и импульсивности натуры клиента, о заложенных в ней недюжинных способностях и скрытых талантах, о переживаниях, связанных с временными неудачами, и будущих радостях, а клиент слушал его развесив уши.

Заходил иногда на бульвар и цыган с медведем. Медведь был небольшой, с плотно завязанной мордой. Он, делая вид, что борется с цыганом, позволял ему, в конце концов, схватить себя за лапу и свалить на землю.

На Петровском бульваре с дореволюционного времени стоял синий сарайчик, на котором желтыми буквами было написано: «Весы для взвешивания лиц, ува-



жающих свое здоровье». В этом сарайчике за столом сидел седой благообразный старик. Он выдавал взвешенным свидетельство о их весе. Некоторые по этому свидетельству пытались получить керосин или картошку.

В мае от памятника Пушкину до памятника Тимирязеву выстраивались книжные киоски в виде башен, избушек и теремов. Лозунги у книжного базара были такими: «Не хочешь господских уз — заключи с книгой союз!», «Книги читай — ума набирай!» и пр. На книги здесь делались скидки от 20 до 50 процентов. У памятника Тимирязеву в мантии Оксфордского университета и гранитных подобий машин, с помощью коих великий ученый намеревался улавливать солнечную энергию, собирались букинисты. Они раскладывали книги по стопкам в зависимости от цены: в одной стопке все книги по 5 копеек, в другой — по 10 и т. д. ...

Вот такой, примерно, я вижу теперь Москву двадцатых годов. По крайней мере я ее такой себе представляю по рассказам живших в ней людей. Мне дорог уют этого навсегда ушедшего города с его прораставшей сквозь бульжник травой, скамеечками у деревянных домишек с сидевшими на них старушками, колодцами, хрипом гармошек по вечерам, огромными лужами в переулках и улицах после дождя, ледяными горками зимой и всем-всем своеобразием старого города, населенного в основном выходцами из деревень. Не зря же Москву еще долго называли «большой деревней».

Но Москва в те послереволюционные годы была не только уютным городом. Была она еще кое для кого и настоящим Клондайком. В ней то и дело находили что-нибудь таинственное или драгоценное. Алчные и любопытные копались в ней, как в сундуке, брошенном богатыми хозяевами.

В доме 17 по Спиридоновке, принадлежавшем миллионеру Рябушинскому и отданном под «Бухарский дом просвещения», в 1924 году нашли подвал. Вход в него вел из бывшей пивной кладовой, в полу которой находилась незаметная на первый взгляд подъем-

ная плита. В подземелье, замурованном кирпичной стеной, хранились на полках картины, миниатюры, японские шкатулки, полные дорогих вещей: часов, табакерок. Стояли на полках старинные вазы, фарфоровые статуэтки и прочие ценности.

Летом 1925 года в подвале особняка князей Юсуповых (Малый Харитоньевский переулок, 17) был найден клад. Оценили его по тогдашним деньгам в 5 миллионов золотых рублей. Среди прочих ценностей хранились в том кладе двадцать пять колец с шестьюдесятью крупными изумрудами и восемьдесятю крупными бриллиантами, жемчужинами, сапфирами и рубинами, двести пятьдесят пять платиновых и золотых брошек с драгоценными камнями, тринадцать диадем, сорок два браслета, сорок три кулона, булавки, пряжки, девятнадцать золотых дамских цепочек, оправы к веерам и пр. Все эти ценности были тогда сданы в Гохран.

Немало было находок и иного рода. В то двадцать пятое лето XX века в подвале, занимаемом мастерской «Всё для радио», на углу Петровки и Столешникова переулка, были обнаружены тринадцать черепов и части человеческих скелетов. Страшная находка, как потом оказалось, представляла собой захоронения некогда (в начале XIX века) существовавшего на этом месте кладбища при церкви Рождества Богородицы. Ее причту принадлежал, в частности, дом 10 по Столешникову переулку.

Скелетов вообще вытаскивали из-под земли тогда немало. При раскопках на Ильинке нашли тридцать три скелета, а у Абельмановской, в прошлом Покровской, Заставы, где стоял построенный в XVIII веке мужской Покровский монастырь, обнаружили семьдесят скелетов, три из которых были закованы в кандалы.

Когда копали в Китай-городе, то обнаружили три каменных гроба со скелетами, изголовья которых сходились в одной точке. От каждого гроба шла вытяжная труба. Потом трубы эти сходились в одну. Надо ли сомневаться в том, что в каменных гробах были когда-то погребены живые люди. Наверное, нет. Кем были эти люди: злейшими врагами какого-нибудь боярина или самого царя, опасными преступниками, крамольни-

ками, насалившими хозяину этого застенка родственниками, а может быть, это были его жена, ее любовник и «мамка», устраивавшая их свидания? Представляю, как «палач» сначала пытал их, запер в одной клетке, где они были вынуждены потерять стыд друг перед другом, а потом, когда их замуровали в каменные гробы, спускался после сытного обеда или ужина в свой подвал наслаждаться воплями и мольбами несчастных.

Да, каких только тайн не скрывает в себе московская земля!

Москвичам вообще приходится ходить, что называется, по могилам. На углу Мясницкой улицы и Лубянской площади со времен Ивана Грозного, а именно с 1472 года, стояла церковь. Сначала деревянная, потом каменная. Около этой церкви в свое время были похоронены поэт Тредиаковский (помните: «Чудище обло, озорно, огромно, с тризвенной и лаей») и автор одного из первых русских учебников Магницкий. Когда-то, еще при Борисе Годунове, Марьиной Роща была местом погребения иноверцев.

В первые послереволюционные годы в Москве существовали такие сооружения, как мавзолей боярина Артамона Матвеева, убитого в первый Стрелецкий бунт в 1682 году, при церкви Николы в Столпах, что в Армянском переулке, или урна-фонтан на Собачьей площадке, напротив дома Хомякова, поставленная его сыном, а в самом доме известного славянофила еще существовал музей быта сороковых годов XIX века. На деревянных воротах его сохранялась железная заржавевшая доска, на которой можно было прочесть имя последней владелицы дома, Марии Александровны Хомяковой.

Был в те годы в Москве еще один музей московской старины. Его открыли 7 января 1926 года в Сухаревой башне. При музее существовала богатейшая библиотека.

Старая Москва везде соседствовала с новой. Рядом с государственными в те годы стояли и частные дома. Их было мало, но в них жили прежние хозяева или их наследники, которые сдавали комнаты внаем. Старые названия улиц тоже соседствовали с новыми. Так, например, рядом с новой дощечкой «Динамо́вская

улица» долго еще красовалась старая — «Сорокосвятская улица», да и москвичи по привычке называли улицу Дружинников — Пресней, Марксову улицу — Старой Басманной, а Радищевскую — Верхней Болвановкой.

Переплелись в названиях московских улиц история, география и религия. Церковь Иоакима и Анны вызвала к жизни название «Якиманка», мирная тишина за Пресней побудила жителей назвать улицу «Тишиной», а за ней и переулки — Тишинскими. Существовали в Москве два Таракановских переулки (первый в свое время назывался еще Арбатец) и Таракановская улица. Это там, где теперь станция метро «Сокол», слева от Ленинградского шоссе. А там, где теперь Новый Арбат, находилась Собачья площадка.

До войны на Собачьей площадке существовали аптека, туберкулезная больница имени Снегирёва, представительство Ингушской автономной области, Музыкальный институт имени Гнесиных. Место это было настолько уютным, что казалось естественным разгуливать здесь летом в пижаме и тапочках на босу ногу.

Иногда, предаваясь бесплодным мечтаниям, представляешь себе, что страна наша разбогатела и правители ее задумались, на что бы им потратить лишние деньги, а подумав, решили: «А не построить ли нам где-нибудь центр старой Москвы. Точь-в-точь таким, каким он был в начале двадцатого века». Подумали и построили. И вот уже возродились в своем былом очаровании Большая Молчановка, Кривоникольский, Собачий переулки, Собачья площадка и гуляют здесь важные псы в золотых ошейниках и белобрысые сучки с розовыми носиками, а долгими летними вечерами в арбатских двориках старые москвичи и москвички вспоминают безвозвратно ушедшую молодость и славные перестроечные годы. Всё это, конечно, прекрасно, только будут ли эти москвичи и москвички интеллигентными, а их воспоминания теплыми и романтичными? Неужели никогда больше в России не появится та, пусть и «гнилая», но милая и наивная интеллигенция, благодаря которой к русским людям в мире относятся, возможно, лучше, чем они того заслуживают.

Но вернемся в прошлое. Тогда, сродни еще не уничтоженным древностям, встречались в Москве такие же древние люди. Вот, например, один старичок, звали его Иван Данилыч, так он еще был крепостным графов Шереметевых, а после революции стал сторожем в Останкинском парке. Времена тогда были для сторожей нелегкие. В Останкине — глушь, заброшенный лес, в оврагах прятались бандиты. Много пришлось пережить ему волнений и страхов. В 1928 году Останкинский дворец превратили в музей и Иван Данилыч стал его первым сторожем и его живым экспонатом.

Да что за люди в то время жили в Москве! Сколько талантов! Возьмем хотя бы мир музыки. Москвичи могли послушать хор Государственной капеллы под управлением Чеснокова, автора прекрасной религиозной музыки, пойти на концерт пианистов Оборина, Игумнова, Гольденвейзера, Нейгауза, Горовица, Бекман-Щербины, скрипача Сибора. А какие композиторы тогда еще творили в Москве: Ипполитов-Иванов, Гречанинов, Глиэр, Мясковский, Гедике! Нам остается только завидовать тем, кто жил в ту эпоху, по крайней мере по части области духовной. А какие артисты жили в то время! Одни только двойные фамилии чего стоили: Корчагина-Александровская, Горин-Горяйнов, Корвин-Круковский, Мичурина-Самойлова, Книппер-Чехова, Сашин-Никольский и многие-многие другие. И все они жили в Москве! Где-нибудь на Арбате или Пречистенке можно было столкнуться с кем-либо из великих, несущим под мышкой свой жалкий паек.

На тех, кто прежде вел безбедную жизнь, изменения московской жизни производили удручающее впечатление. Не лучше представлялась жизнь москвичей и тем, кто приезжал из-за границы... Побывавший в Москве в 1923 году К. Борисов (в 1924 году в Париже вышла его книжка «75 дней в СССР») обратил внимание на то, что летом мужчины в ней преимущественно одеты в «толстовки» (френчи из грубого холста), на ногах у них сандалии. Сделал автор и более глубокие наблюдения. Он писал: «Пенсионеры обречены на вымирание. Бросается в глаза отсутствие стариков и старух». Приехавшие из-за границы в двадцатые годы обращали вни-

мание также на то, что днем на улицах города в основном женщины. Многие отмечали забитость и хмурость москвичей. Ничего удивительного в этом нет. Будешь хмурым при таком пайке, холоде и темноте. Электрическое и газовое освещение на улицах столицы возобновилось только 1 сентября 1924 года, да и то не везде. В половине второго ночи его выключали. В то время в Москве еще существовали фонарщики, они зажигали и гасили керосиновые и газовые фонари. К концу двадцатых годов керосиновые фонари исчезли, а потом исчезли и газовые, хотя еще в 1946 году столбы газовых фонарей стояли на улице Грановского.

А вот какое впечатление произвела наша столица на известную американскую киноартистку Мэри Пикфорд, побывавшую в ней в 1927 году. «Москву я не нашла красивой, — писала Мэри, — она напомнила мне большой временный город, вроде наших пограничных. Быть может, она и хороша зимой... Магазины все там маленькие, и продаются в них самые простые вещи. Все очень дорого... Движение публики на улицах небыстрое. К автомобилям это не относится. Никаких законов уличного передвижения там не существует, и я до смерти боялась ездить там на автомобилях... Люди одеваются бедно и в темные цвета. Они выглядят чисто и стараются из пустяков сделать нарядные туалеты... Я думаю, что это отсутствие красок должно действовать угнетающе. И все же не могу не признать, что эти изголодавшиеся по красоте люди способны еще создавать великое искусство».

Репортер парижской газеты «Возрождение» Янина Буксунуз, посетившая Москву в начале ноября 1936 года, писала: «В толпе мужчины почти все в фуражках, женщины в беретах. Многие в тапках. Женщины в демисезонных пальто. Это новшество. Говорят, прежде от полотняного платья прямо переходили к шубе».

А вот французский журналист Родэ-Сен нарисовал довольно мрачную картину Москвы 1934 года. В журнале «Иллюстрированная Россия» он писал: «Большинство людей, которых видишь на улицах Москвы и Ленинграда, одеты в отвратительные лохмотья. Многие ходят босиком. Ботинки — редкость. И эта отвратитель-

ная одежда подчеркивается доведенным до последних пределов пренебрежением к элементарнейшим требованиям гигиены. Некоторые прохожие резко отличаются от общей массы своим внешним видом. Они гораздо лучше одеты и все, без исключения, носят портфели. Это — чиновники, властители советского общества. Нищих не видно. Не видно также и продавцов газет. Стариков почти не существует. Очень мало автомобилей, но множество трамваев».

Конечно, не всё в Москве было так плохо, босиком и в лохмотьях ходили немногие, а непредвзятый взгляд мог заметить и много хорошего. Тот же Борисов, когда в 1923 году зашел в Филипповскую булочную на Тверской, просто обалдел. «Чего там только нет! — писал он в своей книжке. — Хлеб черный, рижский, полубелый, ситный простой, ситный с изюмом, булки всех видов, чуть ли не двадцать сортов сухарей, баранки, пирожки, пирожные. Одних пирожных выпекают около трех тысяч в день, и все это немедленно распродается!»

Сладости москвичи вообще всегда любили. В двадцатые-тридцатые годы кустари-одиночки, несмотря на дефицит муки, сахара и прочих продуктов, ухитрялись изготавливать всякие «сласти» и сбывать их с рук и лотков беспризорникам и пионерам. Петушки, звездочки на палочках расходились очень быстро и приносили неплохой доход.

Свет витрин, шикарные вещи, автомобили на улицах, кинобоевики, музыка из ресторанов — все это могло показаться невероятным в голодные военные и послевоенные годы.

Реклама со страниц газет и журналов, с плакатов и витрин призывала граждан покупать в магазине, находящемся в доме 3 по Кузнецкому Мосту, мужскую обувь Зеленкина с клеймом на подошве. Представляете: не с дырой, а с клеймом! Это казалось верхом шика. В Верхних торговых рядах, то есть в ГУМе, можно было днем и ночью взять напрокат «роскошный» автомобиль. Парикмахерская «Базиль» в доме 6 по Кузнецкому Мосту предлагала мужчинам покрасить волосы, а женщинам — уход за красотой лица и маникюр, а также художественное исполнение постижа, то есть парика.



Галантерейный магазин предлагал дамам депилакторий для удаления волос, а также бандажи, корсеты и прочие предметы ухода за собой.

В московских магазинах действительно появились шикарные вещи. Улицей, на которой продажа этих вещей шла особенно бойко, была Петровка. Ее называли «котиковой» улицей, по которой, как писал один журналист, ходят «шиншиллово мадонны с отсутствующими взорами и радиостанциями на голове вместо шляп». На Петровке можно было купить все: и шнурки для корсета, и шелковые чулки, и мраморный умывальник, и ночную вазу.

«Вечерняя Москва» в 1926 году звала своих читателей на Петровку. «...Пройдем вдоль стен, застланных зеркальными витринами... — писала она. — Флотилии узконосых лаковых штиблет, груды снежного паутинового белья, какие-то особенные, из шелковой пряжи кофты цвета яичного желтка и раздавленной клюквы. Изумительные, обшитые розами, подвязки... медовые табаки, брильянтовые скорпионы, шоколадные тыквы и аппараты для радикального разглаживания морщин». В статье говорится и об особой публике, гулявшей вдоль модной улицы: «...Кинематографические джентльмены в широких пальто и канареечных ботинках. Их спутницы в манто с модно подчеркнутыми торсами, прижимающие к груди огромные лакированные сумки... этот "членский билет" петровских дам».

Отметим, что некоторые из этих дам служили «живой моделью» в модных магазинах. «Живая модель» не наше изобретение. Подобные «модные дамы», задолго до наших, прогуливались по Булонскому лесу Парижа, его ипподрому и просто приемным модных магазинов. У нас же они гуляли по Петровке и сверкали в окне «Москвошвея» (окно находилось в доме 12 по Петровке). Тогда, в начале двадцатых, перед его огромной витриной устраивалась демонстрация мод, сопровождаемая звуками струнного оркестра. Остроту и оригинальность в это яркое и красивое действо вносил ведущий — Григорий Маркович Ярон, будущая знаменитость советской оперетты.

Манекенщицы демонстрировали последний *cri* (крик, писк) моды Парижа. Перед витриной собиралась

толпа. Особенный интерес к демонстрации мод проявляли мужчины. Нередко они отпускали пошлые замечания по поводу манекенщиц, подогревая тем самым свое и без того воспаленное воображение. Их можно было простить за это, ведь они давно не видели женщину во всем ее умопомрачительном блеске. А торгующие папиросами мальчишки, комментируя происходящее за окном, декольте называли «дикотой».

Властям все эти демонстрации не нравились, и они, в конце концов, приказали их «как вид рекламы, неприемлемый при коммунистическом строе», прекратить. После этого хитроумный руководитель «Москвошвеев» устроил демонстрацию мод в виде карнавала. По Тверской двигались открытые кареты, запряженные шестерками лошадей, управляемые кучерами, в которых сидели одетые по последней моде артисты. Карнавал этот тоже вызвал бурю возмущения в руководстве города и у общественности.

При нэпе и витрины магазинов стали привлекать внимание прохожих. На одной из витрин 1922 года можно было увидеть следующее: двуспальная кровать, на ней... хомут. В левом углу — детская колыбель, а в правом — гроб, обитый газетом. Вверху, между балалайкой и Эсмарховой кружкой (клизмой, проще говоря), висит портрет Серафима Саровского. Тут же шарманка, пирамида банок американского стерилизованного молока, металлический веночек и детский велосипед. А вот витрина 1923 года. Это магазин МПО (Московского потребительского общества) на углу Тверской и Мамоновского переулка. Изображена на ней лавка. Прилавок полон товара, а за прилавком сидит молодой хозяин, опустив голову на руку. Перед ним допитая бутылка и большой бокал, наполовину наполненный вином. Сверху плакат: «Лавка купца Толстосумова». Рядом другая лавка, кооперативная. Приказчик на ней трезвый. Очевидцы рассказывали, что первая лавка привлекала людей больше: Толстосумов пьет — значит, человек душевный.

Москвичам запомнились и другие витрины. В Солодовниковском пассаже на Петровке (он находился рядом с ЦУМом, пока его не снесли и не разбили на том

месте сквер) в тридцатые годы во все огромное окно была изображена ромашка. В середине ее находилось лицо девочки с большими черными глазами. С годами витрины и реклама становились строже и даже суровее, но в двадцатые годы можно было прочесть: «Есть дороже, но нет лучше пудры КИСКА-ЛЕМЕРСЬЕ» или: «ЖЕМЧУГА от ТЕТ-А-ТЕТА» и пр.

В дни революционных праздников витрины тоже становились революционными. Так, в окне часового магазина на Кузнецком Мосту (бывший «Павел Буре») был выставлен большой земной шар с часовым циферблатом. Цифра «12» на нем была красной. Справа часовую стрелку к этой цифре подтягивали веревкой четыре фигуры: рабочего, китайца, индуса и негра. С другой стороны стоял Ленин с факелом в руке, и красное пламя обвивало весь земной шар. Надо всем этим красовалась надпись: «Близок час всемирной революции».

Еще в 1931 году на витрине кондитерской можно было увидеть портреты вождей из мармелада, а на витрине галантерейного магазина — портрет Фридриха Энгельса в окружении дамских комбинаций — смесь революции и нэпа.

В 1932 году стиль вывесок стал более строгим. К. И. Чуковский в дневнике отметил: «В Москве теперь такая мода: стеклянные вывески с академически простым шрифтом. Вся Москва увешана ими, а в двадцатые годы все было проще и пестрее».

В двадцатые годы не только вывески, но и многие названия были интересны. Например, Детский парк в Сокольниках назывался, как и до революции, парком «Тиволи»; на Щипке существовал, как и прежде, парк «Ренессанс»; на Тверской, в доме 70, это между Благовещенским переулком и Садовым кольцом, в конце двадцатых годов находилось кафе-кондитерская «Бонжур». А кинотеатры? Сколько романтики, а то и шика нэповских времен хранили их названия. После переименования все это исчезло. На Арбате, в доме 39 кинематограф «Карнавал» стал кинотеатром «Юного зрителя», а «Прага» в доме 2 стал называться «Наука и знание». «Ампир» на Шереметьевской улице — «Октябрем», «Бельгия» на углу Цветного бульвара и Самотеч-

ной площади — «Экспрессом», «Великий немой» на Тверском бульваре, недалеко от площади Пушкина, превратился в «Новости дня», а «Фантомас» в доме 4 по Сретенке, близ Сретенского бульвара, стал именоваться «Хроникой».

События двадцатых годов были тоже ярче событий тридцатых. В одиннадцать часов дня, 12 октября 1923 года, например, взлетел на воздух магазин «Охотник» на углу Неглинной улицы и Трубной площади. Погибло десять человек, ранено было двадцать. В октябре того же года с правых ворот бывшего Английского клуба, впоследствии Музея Революции (улица Тверская, 59), кто-то снял двух львов и установил их на подъезде соседнего кинотеатра «Арс» (теперь там Драматический театр имени К. С. Станиславского). Вернулись на свое прежнее место львы лишь 1 сентября 1924 года. Случались, правда, события и помельче, но москвичи и мимо них не проходили, они обо всем «сигнализировали» в газеты и учреждения. В 1926 году у часов на Сухаревой башне оторвалась и упала гиря весом в 20 пудов. К счастью, никто при этом не пострадал, а в 1931 году на одном из четырех циферблатов ее часов стрелки стали отставать на одиннадцать минут. Жители столицы сообщили об этом в «Вечернюю Москву». Часы, правда, не починили, но башню снесли, а жаль. Москвичи к башне привыкли и любили ее.

Особым колоритом отличались и праздники тех лет. Вот как выглядела пятая годовщина советской власти в Москве. В этот день, 7 ноября 1922 года, в витринах магазинов появились портреты Ленина, Троцкого и Маркса, всюду загорелась красным цветом цифра «пять». Здание Моссовета было украшено гирляндами, зеленью и флагами. Фасад его украшали государственный герб и огромные красные стяги, на одном из которых были такие слова: «Не отдадим крупной промышленности акулам капитализма». Лозунг для того времени актуальный. Начиналась новая экономическая политика. Государство на время прекратило конфисковывать и реквизировать предприятия у частных лиц. Прогрессивную общественность не могла не беспокоить мысль о возврате к проклятому прошлому, и она про-

вела для себя последний рубеж по линии крупной промышленности. Дальше отступать было некуда.

Вершиной праздника был, конечно, военный парад. Как он выглядел? А вот как. На Красной площади построились воинские части... В одиннадцать часов прибыл Троцкий и прозвучала команда «смирно!». Главвоенмор начал обходить войска. Без лошади или машины, пешком. Он подходил к воинским частям и здоровался с красноармейцами. «Гремела музыка, приветствующая, — как писали в то время газеты, — вождя Красной армии». Долго не смолкало над площадью восторженное «ура!». Закончив обход, Троцкий поднялся на построенную по такому случаю трибуну. За ним следовали зампред Совнаркома Каменев, председатель Коминтерна Зиновьев, член Коминтерна и зампред ВЦИКа П. Г. Смидович и др. По толпе проносился шепот: «Троцкий будет говорить». Троцкий «оглядывал площадь орлиным взглядом», а потом говорил о наших победах и достижениях, высмеивал английского премьер-министра Ллойд Джорджа, призывал укреплять мощь страны и т. д. После его речи начинался парад. В небе над площадью летали сорок аэропланов. Сначала они покружили над головами присутствующих, вызывая их восторг, а потом унеслись вдаль, как стая гусей. А по брусчатой мостовой зацокали копытами гнедые лошади кавалеристов, прогрохотали тачанки с пулеметами на деревянных сиденьях. У артиллеристов все лошади оказались серыми. На одних гарцевали всадники, другие тащили пушки. Прошли по площади курсанты высшей стрелковой школы, школы связи, школы военной маскировки, Академии Генерального штаба. Держа винтовки со штыками «на руку», прошел первый образцовый полк Пролетарской дивизии. За ним, чеканя шаг, протопали моряки, все в черном, потом газовая команда с противогазами вместо винтовок и одетые в кожу представители войск связи с антеннами радиостанций. Пулеметчики протащили по площади пулеметы и, наконец, проехали по ней два броневика: «Степан Разин» и «Емелька Пугачев» и два трактора-фордзона, тянущих пушки. Замыкали шествие войска всевобуча. В первые годы советской власти на

пальцах некоторых командиров еще сверкали золотом обручальные кольца. То были офицеры царской армии, перешедшие на службу революции. Мимо мавзолея командиры проходили с саблей наголо, а пройдя его, сабли опускали. Парад длился часа полтора и доставил зрителям немало удовольствия. В начале второго на площади появились колонны трудящихся, началась демонстрация. Когда прошли колонны рабочих, на площадь в грузовиках вывезли детей из детских домов (в 1921 году это были дети голодающего Поволжья). На красном знамени, что вез по площади один из грузовиков, были написаны такие слова: «На смену старшим, в борьбе уставшим, молодая рать идет». На другом грузовике надпись: «В прошлом страдания, невзгоды. Радостный путь впереди». После детей по площади провезли инвалидов и жителей работных домов. Государство позаботилось об увечных и престарелых. Учащиеся ронесли по площади лозунги «Вооруженные знаниями, мы завоюем мир» и «Мы дадим Советской России сотни красных спецов».

Не обошлась демонстрация и без сатиры. Рабочие несли кукол, изображающих врагов советской власти и прежде всего Чемберлена. На грузовике провезли клетку с Муссолини, пугающим людей своей зверской рожей, а еще башню, на которой стояла полуобнаженная женщина под ручку с царским офицером, который постоянно рычал на всех: «Смирррно!» На красном полотнище надпись: «Исторический хлам на свалку», а над телегой, в которой бородатого купца бил молотком по голове рабочий, олицетворяющий советскую кооперацию, красовалась надпись: «Торговля Нэпорылова».

В первое послереволюционное десятилетие Москва сохраняла черты своего прежнего лица, и особенно в торговле. Здесь, как и до революции, автомобилями и «экипажными принадлежностями» торговали в Каретном Ряду или на Большой Бронной, галантереей — на Сретенке и в Большом Черкасском переулке, книгами — на Моховой и Кузнецком Мосту. В Китайском проезде, как и прежде, устраивали свой базар букинисты. Кожей торговали Варварка и Зарядье, мануфактурой — Никольская, москательным товаром — Москворецкая улица, в

Верхних торговых рядах (ГУМе) вели торг преимущественно иностранцы и т. д. Продажа тех или иных товаров, конечно, не замыкалась в границах определенных районов, она осуществлялась и в других местах, но определенное сосредоточение отдельных видов торговли в перечисленных районах имело место. Всего в Москве в середине двадцатых годов существовало примерно 16 200 государственных, кооперативных и частных магазинов. Магазины были, конечно, не такие, как в «мирное время», то есть до войны и революции. В них не было ни разнообразия товаров, ни импорта. Тем не менее нам интересно знать, чем они торговали и что сколько стоило — извечная и общедоступная для нас тема. Так вот, в 1929 году за 11—13 рублей можно было купить мужские туфли («штилеты» — как их тогда называли) с рантом и без. Примерно столько же стоили и женские туфли. Яловые женские полурезиновые башмаки стоили дешевле — около 9 рублей. Детская обувь — 5—7 рублей. Вот фетровые женские боты стоили дороже — 25—32 рубля. Были они и черные, и серые, и песочные.

Галоши делались с тупым или острым носком, а для женщин, кроме того, под английский каблук — тупой и низкий, а под французский — острый и высокий. Прорезиненное мужское и женское пальто стоило до 20 рублей — ненамного дороже, чем хомут. Английский замок «ПЭЛЬ» с тремя ключами можно было купить за 5 с половиной рублей, трехструнная балалайка стоила тогда 4 рубля 75 копеек, а шестиструнная — 16 рублей 80 копеек. Гитары итальянской формы продавали по цене от 18 рублей 20 копеек до 42 рублей и более. Гармоники «Невские» стоили 3 рубля, «Елецкие» — 3 рубля 70 копеек, губные — от 75 копеек до 2 рублей 50 копеек. Граммофоны однопружинные с рупором продавались за 55 рублей, а без рупора — за 75 и дороже. Граммофонные пластинки «Гигант» с записями Шаляпина, Собинова и других исполнителей стоили от 90 копеек до 2 рублей 50 копеек, а коробочка иголок (200 штук) для граммофона — 70 копеек. Радиокомплект (приемник, детектор, телефон без антенны) стоил 7 рублей 50 копеек, а с антенной — 14 рублей 50 копеек.



За приемник Шапошникова просили дороже, около 16 рублей, а с антенной — около 20. А вот двухламповый приемник с переходом на детектор стоил 74 рубля 18 копеек. Фотоаппараты продавались и новые, и подержанные по цене от 60 до 600 рублей.

В промтоварном магазине можно было приобрести никелированные сахарные щипцы. Сахар тогда еще продавался «колотый», то есть большими кусками, и их приходилось колотить, а потом откусывать щипчиками. В темноте было видно, как из сахара при этом летят голубые искры. Самые дешевые щипчики стоили 70 копеек. Карманные и перочинные ножи стоили от 60 копеек до 3 рублей. Продавались в магазинах и фонари «Летучая мышь» за 3 рубля 60 копеек со свечкой внутри, и оцинкованные рукомытники, окрашенные эмалевой краской, по 4 рубля 15 копеек за штуку, и никелированные кофейники за 6—8 рублей, и консервные ножи, и сантиметры «Госшвеймашины». Расчески были «Ермолова» — 20 сантиметров за 72 копейки и «Собинов» — 23 сантиметра за 81 копейку. Продавалась еще расческа с надписью «Мейерхольд».

За те же копейки можно было приобрести и канцелярские принадлежности: химические карандаши № 1906, цветные химические карандаши № 60, простые цветные карандаши, чернильный порошок, наконечник с держателем для карандаша или ручки, наконечник никелированный, тюбик клея синдетикон, копировальную бумагу, чернильницу, обложки «Дело», сургуч, «шилья» (то есть шило во множественном числе), кальку бумажную и полотняную, кнопки, скрепки, булавки и пр. За полтора рубля можно было купить настольную металлическую чернильницу с крышкой и желобком для ручки. Для того чтобы написанный чернилами текст быстро высох и можно было перевернуть страницу тетрадки, не опасаясь смазать его, текст нужно было промокнуть, то есть положить на него промокашку и провести по ней рукой. На промокашке оставалось зеркальное отображение текста или его части. В то время, о котором идет речь, промокательная бумага называлась по-старому бюварной, а пресс-папье — пресс-бюваром. В магазине можно

было купить резаную бюварную бумагу и полированный пресс-бювар.

Появлялись в продаже и черные нитки «Медведь», и дамские чулки из крученой пряжи, и туалетные зеркала из граненого стекла с металлической ручкой. Продавались в те годы и другие вещи, которых теперь не встретишь в магазинах, например, брезентовые саквояжи за 14 рублей, брезентовые наплечные спортивные мешки — «рукзаки», как их тогда называли. Помимо кожаных продавались за 5—7 рублей брезентовые портфели и портфели женские с зеркальцем внутри, а также большие «совнаркомовские» портфели с двумя замками, стоившие около 50 рублей и составлявшие мечту каждого чиновника. Чемоданы продавались гранитолевые и стоили, в зависимости от размера, от 6 до 15 рублей. Полевая сумка военного стоила 16 рублей 80 копеек. За 3 рубля можно было купить кобуру для браунинга. Кобура для парабеллума стоила дороже — 5 рублей. Для пионеров и комсомольцев продавалась португеза («юнгштурм», как тогда ее называли по-немецки). Стоила она от 2 рублей 65 копеек до 3 рублей 20 копеек. Лыжи имели названия «Хаповези» и «Идеал». Цена их без палок составляла 13 рублей 25 копеек. Ружья продавались шомпольные и «Бердан».

В общем, всего, что продавалось в магазинах, и не перечислишь. Плохо то, что не всегда всё это можно было купить. Приходилось тогда идти на рынок. Там хоть дороже, но легче найти.

Московские рынки тех лет были, конечно, интересны. Именно на них горожане выглядели наиболее естественно и непринужденно. Толчея, грязь, крики торговков, шныряние воров. Но все же у каждого из рынков было и свое лицо. Вот Сухаревский, в просторечии именуемый «Сушкой». Он возник еще в 1789 году, при Екатерине II. Первые послереволюционные годы торг здесь шел по всей Сухаревской площади. В 1924 году рынок оттеснили к кинотеатру «Форум», в район «Гефсиманского скита». В 1927 году на месте прежнего рынка был разбит сквер. Сухаревский рынок после перенесения его на новое место представлял собой огромный овал лавок и палаток, в центре кото-

было купить резаную бюварную бумагу и полированный пресс-бювар.

Появлялись в продаже и черные нитки «Медведь», и дамские чулки из крученой пряжи, и туалетные зеркала из граненого стекла с металлической ручкой. Продавались в те годы и другие вещи, которых теперь не встретишь в магазинах, например, брезентовые саквояжи за 14 рублей, брезентовые наплечные спортивные мешки — «рукзаки», как их тогда называли. Помимо кожаных продавались за 5—7 рублей брезентовые портфели и портфели женские с зеркальцем внутри, а также большие «совнаркомовские» портфели с двумя замками, стоившие около 50 рублей и составлявшие мечту каждого чиновника. Чемоданы продавались гранитоловые и стоили, в зависимости от размера, от 6 до 15 рублей. Полевая сумка военного стоила 16 рублей 80 копеек. За 3 рубля можно было купить кобуру для браунинга. Кобура для парабеллума стоила дороже — 5 рублей. Для пионеров и комсомольцев продавалась португя («юнгштурм», как тогда ее называли по-немецки). Стоила она от 2 рублей 65 копеек до 3 рублей 20 копеек. Лыжи имели названия «Хаповези» и «Идеал». Цена их без палок составляла 13 рублей 25 копеек. Ружья продавались шомпольные и «Бердан».

В общем, всего, что продавалось в магазинах, и не перечислишь. Плохо то, что не всегда всё это можно было купить. Приходилось тогда идти на рынок. Там хоть дороже, но легче найти.

Московские рынки тех лет были, конечно, интересны. Именно на них горожане выглядели наиболее естественно и непринужденно. Толчея, грязь, крики торговков, шныряние воров. Но все же у каждого из рынков было и свое лицо. Вот Сухаревский, в просторечии именуемый «Сушкой». Он возник еще в 1789 году, при Екатерине II. Первые послереволюционные годы торг здесь шел по всей Сухаревской площади. В 1924 году рынок оттеснили к кинотеатру «Форум», в район «Гефсиманского скита». В 1927 году на месте прежнего рынка был разбит сквер. Сухаревский рынок после перенесения его на новое место представлял собой огромный овал лавок и палаток, в центре кото-

Большинство же журналистов тех лет Сухаревка привлекала не вещевым, а съестным изобилием. После голодных годов «военного коммунизма» само лицезрение продуктов доставляло наслаждение. Поэтому, наверное, и описание их тоже не лишено прелести. Например, такое: «Пройдите по продуктовым рядам. Молочные продукты: снежно-белая сметана, янтарный сыр, масло неуловимых оттенков белизны и желтизны. Знали ли вы, что яйца, собранные в таком большом количестве, могут создать симфонию оттенков и размеров? И свежее парное мясо меняет цвет рубина на гранат, а жир его светится каплями жемчуга. А груды овощей? Зелень лука и пурпур редиски, сотни оттенков зелени — какой художник нарочно подбирал эти тона? Вы видели зарезанную курицу? Но разве вы знали, что сотни их, сложенные вместе на прилавке, создают фантастическое геометрическое тело, дышащее живой теплотой?»

Прочитавшим эти излияния, наверное, овладевают противоречивые чувства. С одной стороны, хочется сказать автору: «Аркадий, не говори красиво!» — но с другой — нельзя не признать, что голод обостряет зрение. В газетах и журналах тех лет попадаются описания московских рынков и не столь восторженные. Например, поэт, скрывшийся под псевдонимом «Гр. Б-ой», изобразил московскую «толкучку» 1924 года так:

Вон «барыга» — парень, видно, тертый,  
Вынес летом продавать меха.  
Рядом с ним, сгущая воздух спертый,  
Баба жарит чьи-то потроха.  
От жаровни чад струится едкий,  
Поварихи млеют, чуть дыша,  
А вблизи, на шаткой табуретке,  
Оборванец бреет торгаша.  
Тьма бацилл! Холеры, оспы, тифа,  
Смрад и вонь! — Божба и грабежи!  
Не пора ли эти рынки «скифов»  
Отвести за ...наши рубежи.

Красота и богатство прилавков действительно соседствовали на Сухаревке, да и на других рынках, с антисанитарией. Нечего и говорить, что на рынках

водились полчища огромных и прожорливых крыс. Опасность для здоровья людей представляли не только они, но и всякие «вкусности», которые сбывали москвичам бойкие рыночные торговцы. Газета «Вечерняя Москва» в 1928 году, когда нэп стали вовсю прижимать, призывала граждан опасаться уличной еды. В свете классовой неприязни и еда потеряла всякий вкус. Вот что писала по этому поводу «Вечерка»: «...собачья колбаса, пирожки на постном масле, пропитанные пылью конфеты, похожие вкусом на еловые шишки, перещупанные ягоды, коричневый напиток под гордым названием “квас” — копейка стакан, булки черт знает из чего, горячие сосиски из мясных отбросов, клейкие пряники, семечки, крутые очищенные яйца... всем этим, с позволения сказать, товаром торгуют с немытых рук сомнительные личности на рынках и площадях Москвы... Бабы против Охотного ряда из огромных корзин, поставленных на землю, продают бутерброды с кетовой икрой, колбасой и яичницей... мороженое же — это сырая, часто грязная, вода, немытая ягода да бычачьи мозги, примешанные для цвета».

Прочтешь такое, и аппетит пропадет.

И все же, несмотря на весь классовый пыл автора, нельзя не признать, что в его словах было много правды и в столице действительно надо было наводить чистоту. Руководители города надеялись на то, что борьба с частниками и грязью облегчит укрепление государственного сектора в экономике. В Москве тогда уже насчитывалось 80 государственных и кооперативных столовых, имевших возможность накормить за один раз 17 тысяч человек. К сожалению, не стали образцами чистоты и гигиены и эти вполне богоугодные заведения.

В 1928 году вышло постановление Моссовета, запрещающее торговлю вблизи писсуаров (эти сооружения можно было тогда встретить на улицах и площадях города), мусорных ящиков и общественных туалетов. И тем не менее на Самотечной площади какой-то торговец мороженым установил свою палатку около писсуара, мусорного ящика и стоянки извозчиков и не хотел никуда уходить, потому что место было бойкое и приносило хороший доход.

Москвичей антисанитария возмущала. Они писали о ней в газеты. В опубликованных в 1924 году письмах читатели сообщали, в частности, следующее: «На Арбатском рынке дворники метут в двенадцать часов дня и грязной метлой задевают прохожих, а на протесты отвечают грубостью. На Рождественке подвальные люки не закрываются, в них легко упасть. Около дома 5 люк превратили в помойку. В доме 4 по Новой Триумфальной площади, против Александровского (Белорусского) вокзала, имеется чайная с постоянным двором. Это место стало излюбленным для торговцев поросятами. Привозят партиями, в ящике по десять-пятнадцать поросят, а ящиков десятки. Зловоние невообразимое...»

Бог с ней, с чайной, посмотрим лучше, что делалось на других московских рынках, например Тишинском. Располагался он между домами, принадлежавшими до революции некоему Калинину. Тогда, в середине двадцатых, на его территории были выстроены ряды деревянных палаток. Больше половины из них занимали акционерные общества «Розничник» и «Коммунар». Были и палатки, торговавшие железным хламом, старыми примусами, поломанными велосипедами.

Мне вспоминается Тишинский рынок недавнего времени. Наверное, он походил на тот, что существовал в двадцатых-тридцатых годах. Стояли на нем еще деревянные прилавки под навесами, а по краям и в середине — деревянные магазинчики. Торговля шла и вокруг памятника русско-грузинской дружбы, возведенного по замыслу поэта Андрея Вознесенского. Торговавшие раскладывали свой товар прямо на асфальте, подстелив под него картон или бумагу. Торговали всем, что могли принести из дома и без чего могли обойтись. Надо же было как-то жить. Здесь можно было приобрести примус, утюг, разогреваемый углями, кофемолку начала века, старый саксофон, коробку папирос «Люкс», коллекцию спичечных этикеток шестидесятых годов, телефонный аппарат цвета слоновой кости с диском, украшенным гербом Советского Союза, старые грампластинки, открытки, деньги давно минувших дней и многое-многое другое. Здесь, надо сказать,

не только продавали старые вещи, но и скупали их. Соорудив некое подобие прилавка, скупщик выставлял на нем объявление: «Покупаю старые вещи, “приметы времени”, серебро, золото». В качестве приманки и рекламы клал перед собой старый немецкий фотоаппарат, пенсне, серебряный подстаканник или бронзовый подсвечник и прочее из безвозвратно ушедшей эпохи.

Рынок, конечно, был грязен и нелеп, но, походив по нему, всегда можно было обогатиться какой-нибудь приметой давно прошедшего времени. Стоили они недорого. Хорошие вещи люди тащили в комиссионные магазины, а сюда, на Тишинку, несли то, что ни в каком комиссионном магазине не принимали.

Из конца восьмидесятых — начала девяностых вернемся в 1927-й. Зайдем на Миусский рынок. Сюда в начале двадцатых переехал знаменитый «птичий рынок» с Трубной площади («Трубы»), описанный еще Гиляровским. По воскресеньям на Миусском рынке, который москвичи по старой памяти тоже стали именовать «Трубой», так же как и в старину, собирались любители птичьего пения. Приходили и любители петушиных боев, которые только здесь, на Миуссах, еще и проводились. На Миуссах можно было купить чижей, щеглов, зябликов, малиновок. А как-то в одно из воскресений 1928 года сюда принесли жаворонков. Их было очень много, и продавались они по 1—2 рубля штука. Говорили, что привезли их из Тамбовской губернии, где они опустились для отдыха по дороге с юга. Были они очень уставшие, и ловить их не составило большого труда. Птицеловы даже шутили: «Пойдем, говорят, жаворонков собирать».

На этом рынке можно было обзавестись не только певчей птичкой, но и тулузской, арзамасской или пекинской уткой, горластым петухом или бронзовым злющим индюком. Здесь же торговали «буржуазными» птицами — попугаями и потомками вымирающих собачьих пород помещицкой России: сеттерами, борзыми, бульдогами.

Недалеко от Саратовского (Павелецкого) вокзала существовал Зацепский рынок («Зацепа»). Торговали здесь в основном «съестными продуктами». Спекули-



ровали по мелочи и промтоварами. То, что в Мосторге стоило 50 копеек, здесь «толкали» за рубль. Цыганки приглашали легковерных москвичей «позолотить ручку» для гадания и рассказать «всю правду», ассирийцы пытались всучить покупателям прошлогодний «гуталина», а сапожники — подбить набойки на туфли из гнилой кожи.

Филиалом Сухаревки являлся Анановский рынок (в Анановском переулке, напротив Большой Спасской улицы). С самого раннего утра свеживали здесь баранов и телят, рубили мясо, которое долго не продавалось из-за его дороговизны. Зато к вечеру, обсиженное мухами, оно дешеVELO и шло в продажу не дороже 20 копеек за фунт (410 граммов). По всему периметру рынка — лотошники. С рук и из-под полы продавали они «деревенскую» баранину, телятину, шершавый, как губка, «сычуг» — часть телячьего желудка, используемую при приготовлении сыра. Около уборной и, наверное, не случайно продавали синих с «душком» цыплят. С трех вокзалов жители Подмосковья несли сюда грибы, ягоды, яблоки, груши, орехи. Встретить можно было здесь и так называемых «холодных сапожников» — «подбойщиков». Сапожный клей на огне они не варили. Орудиями их труда служили нож, молоток, игла, дратва да «ведьма» — палка с железной лапой, на которую насаживалась при починке обуви. За работу они брали мало: гривенник — полтинник, за подметки — копеек 30—40. Встречались «холодные сапожники» и на других рынках. Всего их в Москве насчитывалось в то время две — две с половиной тысячи. Зарабатывать-то людям надо было. Большинство из них — неудачники. Голь перекатная. Снимали в семьях углы или комнатку на окраине, в которой селились по пятнадцать — двадцать человек и спали на полу, вповалку.

В Москве искали возможность хоть как-то прокормиться не только «холодные сапожники». В конце двадцатых наладили снабжать Москву метелками из прутьев жители Рязанской волости Московской губернии (тогда ведь Рязанской области не было). Жили они артелями человек по семь-восемь в лесу, в шалашах. Документов у них не было. Зато в каждой артели

была своя баба, жившая в том же шалаше и «выполнявшая, — как писала газета «Вечерняя Москва», — все обязанности, какие на нее возложила природа и условия дикого существования». Говорили, что в таких «бригадах» состояло тогда около ста человек. Метелки артельщики сбывали дворникам, а из Москвы в свои шалашы везли водку.

В середине двадцатых годов слонялись по Москве без копейки в кармане и крестьяне, приехавшие на заработки. В Москву их тогда прибывали тысячи. Ночевали они в ночлежках, а то и прямо на улице. Дело в том, что в апреле начинался строительный сезон, а еще зимой и ранней весной столичные хозорганы посылали в деревни своих агентов-вербовщиков нанимать рабочую силу. Агенты, не брезгуя самогоном и взятками, нанимали крестьян, те приезжали в Москву, где их никто не ждал. Приходилось тогда бедным крестьянам наниматься в строительные артели к частным подрядчикам на тяжелых и невыгодных условиях.

Около Устьинского моста через Москву-реку располагался Устьинский рынок — «Устье», как его еще называли. Здесь, на огражденном канатом месте, с шести до девяти часов утра, то есть до начала его работы, уже происходил торг всяким барахлом. Площадь рынка была покрыта асфальтом. Палатки торговали металлическими изделиями (водопроводными кранами, гирями, тисками), мехами (овчиной, каракулем), кожей. На земле валялся залежалый, бросовый товар: рваные галоши, сапоги, одежда. Авось кто-нибудь да купит. Не каждому, наверное, новые галоши были по карману. Для взрослых они стоили 3 рубля 75 копеек, а для детей — 2 рубля 5 копеек.

Между улицами Буженинова и Суворовской — Преображенский рынок (в наше время, после закрытия в начале девяностых годов старого Тишинского рынка, на Преображенском рынке еще продолжают торговать всяким старым хламом). На этом рынке в конце двадцатых годов стояло много палаток государственного сектора. Площадь была залита асфальтом, а по воскресеньям вдоль Суворовской улицы выстраивались подводы, приехавшие с продуктами из сельской мест-

ности, и торг шел прямо с них. Здесь уже торговля была на девять десятых частной.

Существовали в Москве еще рынки: Новоспасский, Рогожский и другие, а на Живодерке находился незарегистрированный официально «Универсальный рынок». Торговал он продуктами питания весьма сомнительного качества, но зато дешевыми.

На Земляном Валу, от Покровки до Машкова переулка, торговали спиртным «шинкари», а недалеко от стоявшей тогда Китайгородской стены, у памятника первопечатнику Ивану Федорову, неподвижно стояли китайцы и торговали кожаными поясами и портфелями. На улицах Москвы велась довольно широкая торговля книгами. На Кузнецком Мосту торговали в основном беллетристикой, на Никитской — больше классикой, энциклопедиями, книгами по искусству, на Ильинке — экономической литературой.

С годами число рынков не уменьшилось. В 1940 году в Москве существовало сорок официально зарегистрированных рынков.

Москвичи вообще любят толкаться на рынках. Здесь они находят и отдых, и развлечение, и общение. Здесь можно посмотреть, пощупать и если не купить, то хоть поторговаться, поспорить. Можно было здесь услышать много интересного и, в частности, речь московских простолюдинов — яркую, грубоватую, не лишенную юмора.

Московские газеты двадцатых годов запечатлели ее на своих страницах. Вот, к примеру, что можно было услышать в местах, где велась торговля. «Магазин без крыши, хозяин без приказчика, цены без запроса!» — кричал продавец галантереи. «Травушка-зубровушка для настойки водочки!» — кричал другой. А у Иверских ворот можно было услышать такое разногласие: «Совершенно новое средство против зачатия! Сударыня, обратите внимание!.. Яблыки коришневые! Яблыки!.. Щеточки для примусов, от угару, от пожару — двадцать копеек за пару!.. Купи мыло — вымой рыло! Кожа слезет — грязь останется!.. Виноград, кому надо? Девочки, мальчики — облизете пальчики!.. Платки для носа без всякого запроса. Мадам, дешево продам!» или

еще: «Вот замечательный морской обыватель! Сознательный гражданин подводных глубин!» У продавца в руках стеклянная колба, заполненная водой и затянутая сверху резиной, и в ней поднимается и опускается мохнатое пучеглазое чудовище — чертик.

Мальчишки, продававшие в жаркие летние дни воду, кричали: «Лимонад! Лимонад! стакан — рупь, пять — десять! Сладкий, как мед, холодный, как лед! За десятку — досыта!» А в графинах у них булькала подсахаренная мутная водица, в которой плавал ломтик лимона, давно выжатый.

Вспоминая Москву тех лет, нельзя не упомянуть и о папиросницах из «Моссельпрома». Они были довольно заметными фигурами на московских улицах двадцатых годов. Некоторые носили шапочки с надписью «Моссельпром». Существовали, впрочем, не только папиросницы, но и папиросники. Зарабатывать деньги надо было всем, не только хорошеньким девушкам. Правда, больших заработков у папиросниц и папиросников не набегало, а поэтому некоторые работали даже без обеда, чтобы не пропустить лишнего покупателя. Вдруг кто-нибудь возьмет пачку «Кино» или «Басмы», а, если повезет, то и на «Эсмеральду» разорится. В ожидании покупателей папиросницы читали романы и от этого становились еще более впечатлительными и мечтательными.

Папиросы меняли название, менялись и картинки на коробках. В 1940 году, например, появились новые сорта папирос: «Сулико», «Золотые», «Выставочные», «Зефир». Появились и сигареты под названием «Экстра», но папиросниц из «Моссельпрома» не стало.

Статистика, как писали Ильф и Петров, знала все. Не знала она только, сколько было папиросниц счастливых, а сколько несчастных, сколько голубоглазых и сколько курносых. Зато она знала, что в середине двадцатых годов в Москве жили люди 47 национальностей, 30 тысяч велосипедистов и почти 50 тысяч туберкулезников, что в городе трудилось 100 тысяч кустарей и кормилось столько же собак, большинство которых были бродячими, что почти четверть учащихся московских школ оставалась на второй год, что по улицам сто-

лицы сновало 2 454 легковых и 1 661 грузовых автомобилей, что кинотеатров в ней было 49, а студенческих общежитий — 98 и что в ее домах младенца находилось 1 600 подкидышей...

Статистика доподлинно знала, что в 1927 году в Москве работало около семнадцати с половиной тысяч торговых точек. Из них немногим более пяти тысяч были государственными и кооперативными (примерно поровну) и свыше двенадцати тысяч — частными. Она знала также, что товарооборот Москвы составлял треть всей внутренней торговли СССР!

В 1931 году все частные предприятия в Москве, в том числе и торговые, были ликвидированы, а в 1938 году, согласно все той же статистике, в ней существовало две с половиной тысячи государственных и кооперативных магазинов, четыре тысячи триста палаток и три с половиной тысячи лотошников. Если учесть, что население города за эти годы увеличилось вдвое — с двух до четырех миллионов человек, да прибавить к этому нехватку продуктов и промышленных товаров и несвоевременную их доставку в магазины, то станет понятно, почему Москва всегда славилась своими длинными очередями. Сто, двести, триста человек на жаре, на морозе, в дождь и метель ждали, когда наступит их черед приобретения чего-то необходимого.

В двадцатые годы в Москве выстраивались и другие очереди. Тянулись они к биржам труда. Одна часть городской биржи труда находилась в большом сером доме на Рождественском бульваре, а другая — на Каланчевке, в большом доме, стоящем слева от высотного здания гостиницы «Ленинград». Когда-то здесь была чай-развесочная фабрика, а на доме красовалась вывеска: «Торговый дом С. В. Перлов». В этом здании находились секции сотворгслужащих, железнодорожников, водников, строителей и чернорабочих. Известно, что чем проще квалификация и ниже разряд, тем, как правило, грубее и примитивнее человек. Секцию чернорабочих посещали не только чернорабочие, люди сами по себе не очень культурные, но и бродяги из находившегося неподалеку Ермаковского ночлежного дома, прикрывающие перед милицией свое тунеядство види-

мостью ожидания работы на бирже труда. Они вносили в жизнь биржи пьянство, грязь, скандалы и воровство. Для того чтобы обезопасить от них женщин, сделали перегородку. Одна часть зала стала мужской, а другая — женской. Заходить на мужскую половину женщинам было небезопасно. Запросто могли изнасиловать, и даже группой.

Немало обид от посетителей видели и работники биржи. «Дура», «проститутка», «воровка», «сволочь» — не самые худшие слова, которые приходилось им слышать в свой адрес. Иногда доходило и до хулиганства. В 1928 году некто Борисов в Таганском отделении биржи труда в ответ на отказ направить его на работу стал выражаться нецензурно и плюнул в лицо работнику биржи. Получил он за это два года.

В феврале 1929 года недовольные постоянными отказами в направлении на работу москвичи устроили на Каланчевской бирже скандал. Явилась милиция. Более двадцати очередников было арестовано и осуждено.

Биржи труда были в каждом районе. Одна из них, например, занимала здание Министерства здравоохранения в Рахмановском переулке. Особенно большие очереди выстроились у всех этих бирж, когда в 1923 году в учреждениях Москвы произошло сокращение штатов — «разгрузка», как ее тогда называли.

О «разгрузке» заговорили еще в 1921 году, а в январе 1922-го газета «Беднота» писала по этому поводу следующее: «Лишенный права торговать обыватель живо пролез в “советские служащие” и засел в бесчисленных “отделениях” губ, уезд и облысполкомов». В то время, надо сказать, нэп еще не начинался и средств на содержание большого количества чиновников у государства не было. Ведь помимо всяких замов, помов, предов и руководителей были еще простые переписчики, а поэтому не удивительно, что после «разгрузки» очередь на биржу труда в Сыгинском переулке протянулась вдоль всего Тверского бульвара. Несчастные люди! Ушли для них в прошлое шум, гам и пыль тесных советских учреждений, растаяли как дым аванс и получка по первым и пятнадцатым числам каждого месяца, а главное, их личная при-

частность к деяниям первого в мире государства рабочих и крестьян. Чем заняться им, что делать?

Некоторые ходили на почтамт и подрабатывали тем, что писали письма неграмотным, «темным», как они говорили, людям. Писателей этих называли «переводчиками». «Здравствуйте, дорогие, — писали они под диктовку какой-нибудь Акулины Кузьминичны, — Устинья, Петр, баба Марья, сестра Глаша, с горячим московским приветом к Вам ваша...» и т. д. и т. п.

Некоторым удавалось пристроиться распространителями газет. В 1926 году Московское общество «Печать» даже ввело для них форму. Они стали носить фуражки с номерами. Время от времени безработных за небольшую плату привлекали к общественным работам. Но все это было случайно, непостоянно и бедно.

Обитали, правда, в Москве люди, которые вообще не ждали милости от биржи труда. Такими, в частности, являлись жившие на Воробьевых горах «свалочники» (за Калужским шоссе и речкой Кровяной находились в то время городские свалки, позднее, в 1926 году, в Москве была организована единая свалка на Сукином болоте, куда вело Дубровское шоссе, теперь Волгоградский проспект). Пятый этаж Ермаковского ночлежного дома также занимали «мусорщики». Вооружившись мешками, крюками или железными палками, они ходили по помойкам и свалкам и собирали то, что другие выбрасывали. Это был тот случай, когда количество перерастало в качество. Куски материи, бумага, разные железки, выброшенные по отдельности, в мешках «мусорщиков» и «свалочников» превращались в капитал. В 1930 году, например, пролетарии помоечного труда собрали и сдали государству ценных промышленных отходов на 12 миллионов рублей! Примером для людей этой малогигиеничной профессии служил московский «тряпичник» Иван Морозов, составивший до революции капитал на всяком хламе. Жил он на Усачевке, недалеко от городских свалок, и имел в Москве собственные дома.

«Бизнес» москвичи делали не только на мусоре. Трест «Жиркость» за пуд костей платил 80 копеек золотом.

На золото продавались за границу и коровьи кишки с мясокомбинатов.

В ассенизаторы шли не шибко брезгливые. Москва в те годы оставалась в значительной степени городом деревянным и лишенным канализации (в 1927 году 58 процентов домов не имело водопровода, а 65 процентов — канализации), и по ее ночным улицам и переулкам, как и до революции, шествовали ассенизационные обозы, разнося по окрестностям нестерпимую вонь. Для Москвы вывоз нечистот всегда являлся проблемой. Впрочем, проблемы были и у самих ассенизаторов. «Известия» административного отдела Моссовета в 1927 году писали о них следующее: «...Каждую ночь ассенизаторы выливают на улицах, переулках и особенно на пустырях нечистоты. Они объясняют это тем, что старались побольше заработать, вывозя лишнюю бочку, но большинство ассенизаторов ссылалось на то, что в Марьинском сливном пункте большие очереди и нет воды для промывки бочек, а если опоздаешь на пять минут, то хоть вези обратно — пункт закрыт. Приходилось спешить и расплескивать содержимое бочек. Ну а если не успевали — то бочку оставляли на ночь на улице».

С годами ассенизаторов в Москве становилось все меньше и меньше. И не потому, что профессия, как теперь говорят, «непрестижная», а просто в городе строилась канализация. В 1938 году ее услугами пользовалось уже два с половиной миллиона москвичей. Суточная норма воды на жителя столицы к этому времени, если верить статистике, составила тридцать пять ведер.

В конце тридцатых годов некоторые улицы города, в его центре, стали убираться с помощью техники. Советская печать с гордостью сообщала: «В 1938 году на магистралях столицы работало 189 подметальных машин и 86 поливочно-моечных агрегатов. Зимой для очистки снега были пущены в ход 219 машин для сгребания снега, 58 гигантских снегопогрузчиков и 14 пескоразбрасывателей».

Цифры стали вообще главным аргументом власти на идеологическом фронте. Говорили они сами за себя.



В 1938 году в столице насчитывалось больниц — 132, детских садов — одна тысяча, детских санаториев — 11, около трех тысяч библиотек, 58 музеев, 250 клубов, по городу в 1940 году ездило 679 троллейбусов, 1 257 автобусов и более четырех тысяч легковых такси и т. д. и т. п.

«Мирная передышка» советского народа, несмотря на все перекосы, приносила свои плоды. Многие делались для удобства жителей и гостей столицы. Например, уже в конце двадцатых годов в справочных бюро Москоммунхоза можно было получить бесплатные справки об адресах и телефонах всех московских учреждений и, что особенно важно, о их функциях, то есть узнать, куда обращаться по тому или иному вопросу. Можно было навести справку о трамвайных и автобусных маршрутах, расписании поездов, самолетов и пароходов, о наличии свободных мест в гостиницах, о почтовых, телеграфных и таможенных правилах и тарифах, о ставке налогов, о выигравших облигациях, о репертуаре театров и кинотеатров, а также навести справки по жилищному, трудовому, земельному праву, налогам, судопроизводству и другим вопросам. За 20 копеек можно было узнать адрес жителя Москвы или навести справку о деле, находящемся в производстве народного суда. За 20 копеек можно было справиться о ценах на московских рынках и о курсе продажи иностранной валюты. (Во время нэпа в Москве открылись кассы по обмену валют.)

В «Кредитбюро», находившемся на втором этаже ГУМа, можно было выяснить кредитоспособность торговых и промышленных предприятий.

В Москве в то время для удобства граждан существовал «институт» посыльных. За доставку грузов весом до 3 килограммов заказчиком оплачивалась лишь стоимость проезда, а доставка более тяжелых грузов обходилась, естественно, дороже.

В редакциях «Правды», «Известий» и других крупных газет существовали так называемые «Бюро расследования» для проверки сигналов и жалоб читателей. Потом их заменили отделы писем.

В двадцатые-тридцатые годы в Москве торговали керосином, дровами, чинили примусы, керосинки, патефоны. Открылись в Москве «скупки». Часть их

работала на рынках. Цены за сданные вещи назначали в них невысокие, зато и паспортов не спрашивали. Можно было сдавать хоть ворованное. В городе работали артели полотеров и протирищиков оконных стекол и много других полезных горожанам служб.

Но все это проза. А нужна была еще и мечта, поэзия. Громадье планов тоже являлось одной из привлекательных черт того времени.

Вот, например, академик архитектуры Щусев в мае 1934 года писал в «Известиях» о том, какой будет Москва в ближайшие годы: «...Если мы станем спиной к Большому театру и посмотрим в сторону Китай-города, то вместо Китайгородской стены с чахлым сквером возле нее и силуэтами маленьких домиков мы видим огромнейшую лестницу, поднимающуюся на высоту в шесть метров к нынешней Никольской улице. Прямо перед лестницей по оси Большого театра высится гигантское здание Наркомата тяжелой промышленности. Это здание... вышиной в двадцать пять этажей. К нему примыкает Красная площадь. ГУМа нет, он уничтожен. Это — бывшие торговые ряды... ГУМ Москве не нужен. Красная площадь, на которой стоит мавзолей Ленина, слишком тесна, она должна быть расширена за счет ГУМа для того, чтобы дать возможность проходить по ней общественным демонстрациям и парадам в торжественные дни Октября и 1 мая...» Вряд ли это писал сам Щусев, наверное, эту статью дали ему на подпись, а заключенные в ней мысли принадлежали руководителям государства.

А вот что мечтали в 1935 году сделать московские архитекторы с площадью Маяковского: «...Сносится дом на углу улицы Горького и площади им. Маяковского, примыкающий к стройке театра Мейерхольда. Башня театра, увенчанная огромной скульптурой В. В. Маяковского, будет выходить на улицу Горького. Здание Мюзик-холла пока сохраняется. Рядом расположенный сад «Аквариум» уничтожается. Здесь пройдет новая улица — Ново-Тверская».

Планы эти не осуществились. Может быть, это и хорошо. Не все фантастическое разумно. А теперь вернемся к реальности — понятной и доступной, как старый московский трамвай.

## ТРАМВАЙ

*Конка. — Первый трамвай. — Правила и порядки. — Давка. — Несчастные случаи. — Трамвайные истории. — Кондукторы и пассажиры. — Нищие. — Воры. — Автомобили и «шоффэры». — Извозчики*

25 марта 1899 года в четыре часа дня в Москве произошло весьма значительное событие: открылось движение первого электрического трамвая. Линия его прошла от Бутырской Заставы до Петровского парка. По этому случаю было совершено «молебствие», на котором присутствовали московский губернатор А. Г. Булыгин, городской голова В. М. Голицын, обер-полицмейстер Д. Ф. Трепов и другие весьма важные лица. «По окончании молебствия, — писала газета «Московский листок», — прозвенел звонок и “вагонно-проводной” повернул рычаг и вагон плавно покотился по рельсам. Он замедлял движение, ускорял его, останавливался. После официальных лиц бесплатно каталась публика». Постепенно трамвайная линия достигла Брестского (Белорусского) вокзала, а в сентябре 1903 года дошла до Страстной (Пушкинской) площади. Длина трамвайных путей к этому времени составила 14 верст.

На улицах Москвы в то время еще царила конка. За тридцать лет существования этого вида транспорта москвичи к нему привыкли. Никого не удивлял вид конки: маленький вагончик и две лошаденки, которые по кривым рельсам тянули свой, прямо скажем, нелегкий груз. Втащить вагончик в гору, скажем, от Трубной площади до Сретенских ворот, у Дорогомилковского моста лошадки

без посторонней помощи не могли. Тогда им на помощь приходили так называемые фореиторы — мальчишки на верховых лошадях. Они припрягали своих лошадей к вагону и с криком и свистом втаскивали его в гору. Там вагон останавливался, фореиторы выпрягали своих лошадей и спускались вниз ожидать новый экипаж. Окна в вагонах конок были незастекленными, в случае дождя на них опускались чехлы. Был у вагончиков второй этаж, так называемый «империал», на который вела наружная лестница. «Империал» не имел крыши и был незаменим для неторопливых экскурсий по городу в хорошую погоду. Впрочем, такие экскурсии вы бы не могли совершить с дамой. Представители прекрасного пола на «империал» не допускались. То ли городские власти опасались за их безопасность, то ли считали их нахождение там безнравственным, но, как бы там ни было, бороться за уравнение прав с мужчинами женщинам пришлось немало. Поводом к борьбе являлось и то, что стоимость проезда на «империале» составляла 3 копейки, а в вагончике — 5.

И все-таки в этом допотопном экипаже, оставлявшем на своем пути навоз и старые подковы, была своя прелесть. Поездки на открытой «террасе» в хорошую погоду, звон колокольчиков, которыми конки приветствовали друг друга, мерный цокот копыт по мостовой успокаивали, а жизнь казалась долгой и безмятежной. На конке ездил сам Антон Павлович Чехов. В 1884 году в журнале «Будильник» появилась его шутка на эту тему: «Учитель: — А что вы можете сказать о конно-железной дороге? — Ученик: — Конно-железная или попросту называемая конно-лошадиная дорога состоит из нутра, верхотуры и конно-железных правил. Нутро стоит пять копеек, верхотура три копейки, конно-железные же правила ничего. Скорость равна отрицательной величине, изредка нулю и по большим праздникам двум вершкам в час. За сходжение вагона с рельсов пассажир ничего не платит. — Учитель: — Скажите, пожалуйста, для чего это два вагона при встрече друг с другом звонят в колокола и для чего это контролеры отрывают уголки у билетов? — Ученик: — То и другое составляет секрет изобретателей».

В этой шутке было много правды, и главная правда заключалась в том, что конка себя изжила. Город нуждался в новом виде транспорта. Конечно, не всем появление трамвая пришлось по душе. Основным его противником было Бельгийское общество конных железных дорог. Газеты, отстаивающие его интересы, писали о том, что трамвай — это дорогостоящий аттракцион и долго он не просуществует. Первая очередь трамвая, завершенная к 1908 году, обошлась городской казне в 8 миллионов рублей, это, конечно, немало, но аттракционом трамвай не стал. Длина его путей превысила к указанному году 108 верст. Прошло еще немного лет, и трамвайные рельсы достигли Преображенской, Семеновской, Покровской, Рогожской, Дорогомиловской, Пресненской застав, Новодевичьего монастыря, Лефортова и других отдаленных от центра мест, а в центре почти не осталось улиц, по которым бы не ходили трамваи. На мостовых стало тесно. Извозчики, у которых трамвай отнимал седоков, приспособили себе в утешение трамвайные рельсы под телеги и фаэтоны. Трамваи были вынуждены ждать, пока перед ними пройдут вереницы конных экипажей. Царская полиция и советская милиция, как могли, боролись с этим извозничьим произволом, но ничего не могли поделать. Уже 22 декабря 1917 года начальник московской милиции приказом № 16 обращал внимание подчиненных на то, что езда ломовых и легковых извозчиков вдоль полотна трамвая вредно отражается на движении трамвайных вагонов... и вменял им в обязанность записывать номера извозчиков.

Доходило буквально до столкновений извозчиков и конок с трамваем. Извозчики падали с козел на землю, погибали лошади. Однажды на Разгуляе из-за поломки тормоза трамвай врезался в вагон конки и сбил лестницу, ведущую на «империал». Находящиеся там пассажиры очень возмущались — ведь они не могли сойти на землю.

Ну а каким был победитель уличных столкновений? Чтобы лучше себе его представить, обратимся к воспоминаниям Г. Т. Доможилова, опубликованным в приложении к «Вечерней Москве» в 1934 году. Автор вос-

поминаний — вагоновожатый Рысаковского трамвайного парка. Ему в то время было семьдесят два года. Еще мальчишкой служил «фалетором», то есть фореитором, потом, когда подрос, стал кучером конки. Кучера, как вспоминал Георгий Тимофеевич, были обязаны жить в общежитии. Общественной столовой не было, и они в складчину нанимали кухарку, которая им готовила. Когда в Москве начали строить трамвай, то отобрали восемь кучеров, в том числе и его, и стали обучать управлению. Немец, который вел занятия, долго объяснял, но они ничего не поняли. Решили научиться ездить сами и поехали. Крохотные вагончики были похожи на старинные фургоны. Работать на них было чрезвычайно трудно. Трамвай имел один ручной тормоз, и для того чтобы остановить вагон, надо было начинать вертеть его рукоятку шагов за двадцать до остановки... Москвичи сначала боялись ездить на трамвае, особенно во время грозы, говорили, что электричество может убить.

Постепенно люди к трамваям привыкли. Старался и трамвай приспособиться к людям. Он научился тормозить, в окнах его появились стекла. Москвичи еще помнят вагоны, в которых обычно не закрывались двери — ни те, что вели в вагон с улицы, ни те, что вели с площадки в салон. Если войти с задней площадки в салон, то первое место направо было местом кондуктора. В моторном вагоне над его головой вдоль вагона и до вагоновожатого была протянута веревка. Кондуктор, дергая за веревку, сообщал вагоновожатому о том, что посадка закончена. Звучало металлическое «блям», и трамвай трогался с места.

Первые, дореволюционные, трамваи не имели электрического освещения, и когда темнело, в них зажигали свечи. Звонков у трамваев тоже не было, сигналы подавали с помощью трещотки.

Не сразу установилась и единая стоимость проезда. Первое время, очевидно по аналогии с железной дорогой, городские власти ввели разную оплату за проезд в первом и втором классах, хотя ни ресторанов, ни спальных мест в вагонах не было. Разница же в цене оказалась существенной: целый пятак. В

то время это были деньги. Ведь за 4 копейки можно было купить пирожное! Даже чиновники предпочитали ездить во втором классе, что же говорить о простом люде. Для того чтобы он мог пользоваться трамваем, цену на билеты, продаваемые до семи часов утра, понизили.

Популярность трамвая росла. В 1910 году в Москве даже издавалась «Московская трамвайная газета». В ней печатались расписание движения трамваев, коротенькие рассказы, анекдоты. Один из них позволю себе привести не для развлечения, а «как штрих к портрету». Анекдот такой: «Разговаривают две женщины. Одна говорит другой: отдыхали летом на даче, так мой муж так обленился, что ни разу косу в руки не взял. — А мой наоборот: так и косит, так и косит... людей. Он у меня вагоновожатый». Об этом анекдоте я вспомнил, когда прочел в воспоминаниях Г. Т. Доможилова о ручном тормозе. Но не только несовершенные тормоза представляли опасность для людей. Трамвай все-таки был тихоходным транспортом, особенно на поворотах, и имел постоянно открытые двери, по бокам которых находились длинные деревянные ручки. Все это не могло не соблазнять пешеходов. Как было удобно сойти, когда захочется, а как приятно вскочить на ходу! Разбег, прыжок, вы вскочили одной ногой на ступеньку, схватились за ручку и летите, уносимые трамваем, а под ногами булыжник или асфальт сливаются в едином потоке. К сожалению, такие смелые поступки не всегда сходили с рук и нередко стоили ног. Но горькие примеры не могли отвадить москвичей от того, что вошло в привычку. Уж очень этот «аттракцион» был для них соблазнителен.

Свой восторг по поводу езды на городском железнодорожном транспорте выразил Алексей Ремизов, писатель-символист, скончавшийся в эмиграции в 1958 году. В 1920 году в журнале «Москва» опубликовали его стихотворение в прозе под звонким названием «Трамвай». В нем были такие строки: «...А сколько счастья стоять на передней площадке и смотреть, как у тебя под ногами с мешками и корзинами мечется толпа и прохожие, беспомощные и жалкие, подняв носы, глядят. Чувствуешь

себя выше, и всякий, кто, ступив с тротуара, взберется на площадку трамвая, уже окреп духом: он смел и уверен — он мчится вперед. Но это еще не все. Вы вступайте в вагон — там новые люди и новая жизнь. А какие встречи, разговоры. Вот дождик захлестал по стеклам, а вы спокойны внутри, вы презираете дождь».

Очень оптимистическое произведение, если учесть обстановку, в которой оно писалось. Наверное, Алексей Михайлович сохранил в нем воспоминания «мирного времени».

Живую картинку трамвайной дореволюционной жизни Москвы нарисовал в своей «Повести о жизни» Константин Георгиевич Паустовский. В 1914 году, когда ему было двадцать два года, Паустовский поступил на работу в Миусский трамвайный парк. Этот парк находился на Лесной улице, в почерневших от копоти кирпичных корпусах. Теперь там разместился троллейбусный парк. Глава, в которой повествуется о работе на трамвае, названа «Медная линия». «Медной линией» кондукторы нарекли линию «Б», которую в народе окрестили «букашкой». Проходила она по Садовому кольцу, мимо многолюдных вокзальных площадей, «по пыльным обочинам Москвы». Моторные вагоны тащили прицепные, в которые разрешалось садиться с тяжелыми вещами. Этим пользовались ремесленники, огородники, молочницы. Расплачивались они, как правило, медяками, от которых у кондукторов руки к вечеру становились зелеными, а поэтому линию прозвали «медной». Была еще и «серебряная линия». Это была линия «А». Ее все называли ласково «Аннушка». Публика на ней была поинтеллигентнее и расплачивалась больше бумажками и серебром. Трамвай этого маршрута проходил мимо памятников Пушкину, Гоголю, мимо храма Христа Спасителя, Кремля. Бегали по ней только моторные вагоны. Константин Георгиевич вспоминает о существовавшей в те времена и так называемой «дачной линии» парового трамвая, ходившего от Савеловского вокзала до Петровско-Разумовской сельскохозяйственной академии. Маленький паровоз, похожий на самовар, был вместе с трубой запрятан в коробку из железа.



Он выдавал себя только детским свистом и клубами пара. Паровоз тащил четыре вагона.

При поступлении на должность кондуктора надо было сдать экзамен на знание Москвы. Главный инженер московского трамвая Поливанов считал знание города одной из основ кондукторской службы. «Кондуктор, — говорил он, — не только одушевленный прибор для выдачи билетов, но и проводник по Москве. Город велик. Ни один старожил не знает его во всех частях. Представьте, какая путаница произойдет с пассажирами трамвая, особенно с провинциалами, если никто не сможет помочь им разобраться в этом хитросплетении тупиков, застав и церквей». «Вскоре я убедился, — пишет К. Г. Паустовский, — что Поливанов был прав. Своей трамвайной службе я обязан тем, что хорошо изучил Москву, этот беспорядочный и многоликий город со всеми его Зацепами, Стромынками, трактирами, Ножевыми линиями, Божедомками, больницами, Ленинками, Анненгофскими рощами, Язунами, вдовьими домами, слободами и Крестовскими башнями».

Если уж мы коснулись связанных с трамваем знаний, то не худо бы вспомнить, почему некоторые, наиболее сознательные из нас, говорят не «транвай», а «трамвай». А дело в том, что изобретателем городского рельсового пути был лондонский подрядчик Джон Утрам. В 1803 году из деревянных брусков он соорудил рельсы, по которым с ветряных мельниц Крейтона доставлял муку на Темзенскую пристань. Рабочие прозвали подрядчика «Папашей Траммом», а его рельсовый путь «Дорогой Трама», проще говоря «Tram way».

И зазвенели эти «трамвэи» по городам России. В Киеве, Твери, Москве они сделали простым и доступным передвижение людей. Зимой и летом, в любую погоду, в любой конец города, в вагоне или на подножке человек мог добраться до работы или к любимой, не запыхавшись и не промолив ноги. И сколько бы лет ни прошло, пассажиры трамвая, как дети, наклеивают на его замерзшие окна использованные билеты, рисуют на запотевших стеклах окон носатые рожи, заглядывают в кабину вагоновожатого и

никогда не откажутся, если доведется, спрыгнуть с него на ходу.

Одним словом, все в трамвае хорошо, и Константин Георгиевич, возможно, не оставил бы его и мог когда-нибудь стать ветераном-трамвайщиком, если бы не одно явление нашей российской действительности, побудившее его все-таки уйти со службы. Дело в том, что постепенно в будущем писателе, как он об этом сам писал, стало убывать человеколюбие. Для писателя это страшно, а для русского писателя особенно. Ведь о чем бы и как бы ни писал он, прежде всего обязан признаваться народу в любви. А как признаваться в любви народу, с которым с утра до ночи лаешься в трамвае? И это испугало Паустовского. «Непонятно почему, — писал автор «Золотой розы», — но нигде человек не вел себя так грубо, как в трамвае. Даже учтивые люди, попав в трамвай, заражались сварливостью. Сначала это удивляло, потом начало раздражать, но в конце концов стало действовать так угнетающе, что я ждал только случая, чтобы бросить трамвайную работу и вернуть себе прежнее расположение к людям». К. Г. Паустовский расположение к людям себе вернул, а трамвайное хозяйство города лишилось вежливого и знающего Москву кондуктора...

Надо сказать, что в то время, когда будущий писатель навсегда оставил свою кондукторскую сумку, с трамваями в Москве становилось все хуже и хуже. Трамвай умирал. Самым тяжелым годом для него стал 1921-й. Тогда оставалось на линиях всего 126 пассажирских вагонов, и запасных частей для них не было. Зато пассажиров набивалось столько, что вагоны не выдерживали, ломались. В марте 1922 года цены на трамвайный билет подскочили с двух до шестидесяти тысяч. Трамвай становился «предметом роскоши», но это не останавливало горожан и «гостей столицы». Да и какие билеты в такой свалке. В обстановке, лишаящей людей возможности соблюдать в полной мере какие-либо правила поведения и приличия, развивались безответственность, жестокость, вандализм. Для того чтобы топить печи, жители города выпиливали балки на чердаках домов, рубили фонарные столбы, срывали

с домов дощечки с названиями улиц. Это было объяснимо — холод ставил людей на грань между жизнью и смертью. Но это вынужденное варварство влекло за собой варварство необъяснимое, вызванное злобой и бесшабашностью. Одичавшие люди стащили цепь из лавров у памятника Пушкину, вернее, во время митингов цепь оборвали, оттащили в кусты, а потом она и вовсе пропала. Неизвестные варвары отбили угол пьедестала памятника Гоголю, вытоптали газоны скверов, исковеркали вертящиеся калитки на бульварах в черте Садовой, предохранявшие пешеходов от несчастных случаев. (Помните такую калитку-турникет на Патриарших прудах, за которую торопящийся Михаил Александрович Берлиоз из булгаковского романа «Мастер и Маргарита» сделал свой последний шаг навстречу трамваю?) Нападению вандалов подверглись и кладбища. Варвары изуродовали надгробия Василия Львовича Пушкина, поэта Дмитриева, похитили медную доску с могилы художника Перова, украли хрустальный крест с могилы композитора Скрябина. Что касается могилы основателя русского театра Волкова, то она вообще исчезла.

И все-таки было в том времени не только темное, но и светлое. В тяжелом 1922 году состоялся первый пробег москвичей по кольцу «А». Участвовали в нем и братья Знаменские. Бежать было нелегко. Часть мостовых вдоль Бульварного кольца была покрыта булыжником, кроме того, бегунам в некоторых местах, например у Покровских Ворот, приходилось с трудом пробираться через толпы прохожих. Один из бегунов нечаянно сбил с ног старушку, переходившую улицу. Что поделаешь, людей в городе было много и пользоваться им в основном приходилось «одиннадцатым номером», то есть ходить пешком.

Власти города делали все, чтобы улучшить состояние городских железных дорог. В начале 1924 года по Москве ходили трамваи тринадцати маршрутов, в 1928-м — тридцати восьми, в конце 1930-го — сорока девяти, да и количество вагонов увеличивалось. В 1925 году их было 740, в 1927-м — около тысячи, а в 1933-м — две с половиной тысячи. Пассажиров они перевозили все больше

и больше: в 1927 году — полтора миллиона, а в 1933-м — шесть миллионов в день.

Но вагонов все равно не хватало, и люди стояли и стояли на остановках иногда по часу и более, ожидая трамвая. Эти ожидания дали повод для еще одного невеселого анекдота. На рельсах лежит человек, а на животе у него батон. Прохожий спрашивает: «Ты чего лежишь с батоном на пузе?» А тот отвечает: «Да вот решил с собой покончить, под трамвай лег, а пока его дождешься — с голоду подохнешь».

В результате недостатка транспорта в Москве в 1922 году появилась рикша. На Тверской была замечена колясочка, помещавшаяся между двумя задними колесами велосипеда, и на ней плакат: «Прокат. Подвезу в любую часть города». Но рикша в Москве не прижилась. Велосипед был роскошью, и все его владельцы находились на учете у государства.

В 1923 году многотысячные цены ушли в прошлое. Билет стал стоить копейки. Развитию трамвая в городе способствовали его доступность и отсутствие конкуренции. Автобусов, движение которых началось в 1924 году, было мало, троллейбусы еще не появились, они пошли лишь в 1933 году, а метро — в 1935 году. Автомашин-«такси», недоступных простому человеку, насчитывалось ничтожное количество: в 1924 году — не более ста на весь город. На такси, правда, у москвичей и денег не было. Пользоваться им могли лишь нэпманы. Но что говорить о тех, кто ездил на такси, когда даже на тех, кто пользовался автобусом, смотрели косо. В журнале «Пролетарский суд» того времени сохранилась фраза, сказанная свидетелем в суде по делу о растрате. Вот она: «А растратил он эти сто тридцать семь рублей сорок семь копеек в течение года только потому, что вел роскошную жизнь, особенно его жена все на автобусе ездит». А автобус был дороже трамвая на 3 копейки. Вот как было легко вести роскошную жизнь!

Когда в Москве заработали заводы, открылись магазины, стали более или менее регулярно ходить поезда, то понадобился и надежный городской транспорт. Кроме того, городу нужны были доходы, а оплата транспортных услуг — одна из доходных статей бюджета.

В феврале 1923 года были введены штрафы за бесплатный проезд в размере троекратной стоимости билета.

Согласно новым правилам граждане должны были входить в вагон, имея сумму, нужную на билет, чтобы сразу за него заплатить. Вызывалось такое требование тем, что нередко пассажир заявлял кондуктору, пользуясь давкой в вагоне, что не может достать деньги, так как они у него в валенке или в каком-нибудь другом укромном месте. Для того чтобы собирать в казну города деньги за проезд на трамвае, в вагонах в то время было по два кондуктора. Когда в середине 1924 года количество кондукторов сократили до одного на вагон, то некоторые сокрушались, что один кондуктор, особенно на таком маршруте, как № 13, который проходил по Тверской, Садовой, мимо Страстного монастыря, не успевает «обилетить» пассажиров и в результате многие едут без билета, а другие берут билеты на одну-две остановки меньше и, следовательно, дешевле. Детям бесплатный проезд был разрешен, если их рост не превышал полтора аршина, то есть 71,16 сантиметра. Метрику детям заменяла зарубка на входе в вагон. Возвращаясь к штрафам, заметим, что введение их положения не исправило и городскую казну не пополнило. Например, в июле 1924 года за нарушение трамвайных правил было оштрафовано всего 17 человек на 47 рублей. В то же время за курение в театрах оштрафовано 60, а за пьянство — 312 человек. Вообще это было время увлечения штрафами — у государства чуть-чуть росли мускулы, и оно могло позволить себе такие строгости. Штрафы стали взиматься не только за безбилетный проезд, но и за посадку и выход из трамвая на ходу и многое-многое другое. Эти штрафы москвичи называли «трамналогом». Некоторые даже специально брали с собой на дорогу 55 рублей: 5 — на билет кондуктору и 50 — на штраф милиционеру. В отделении милиции штраф возрастал в десять раз. Впрочем, его можно было заменить месячной «высидкой». Везло, правда, не всем. Один приезжий, чтобы как-то пережить зиму в Москве, постоянно нарушал трамвайные

правила в надежде на то, что его посадят, но никто, как назло, не обращал на него внимания.

По городу тогда ползли серьезные и шуточные слухи о том, что штрафы берут также за прикуривание на улице, за хождение с зонтиком, за то, что спросишь у прохожего, сколько времени, за то, что погладишь чужую собаку, и т. д.

24 апреля 1924 года Моссовет утвердил «Положение о пользовании городским железнодорожным транспортом». Согласно этому положению в трамвай не допускались лица в нетрезвом состоянии, запрещалось возить арестованных в сопровождении конвоя, не допускался проезд милиционеров и военных, «красноармейцев», как их тогда называли, с винтовками. Запрещалось пользоваться трамваем лицам, «явно одержимым заразными болезнями», а также «лицам женского пола в шляпах с длинными острыми шпильками без наконечников». Это требование было заимствовано из дореволюционных правил пользования трамваем, кроме, разве что, именованная «лиц женского пола» «дамами» (в 1924 году, наверное, снова появилась мода на шляпки с большими булавками. — Г. А.). Кроме того, правила разрешали открывать окна в вагоне только с одной стороны. Безбилетным же считался пассажир, не взявший билет после слов кондуктора: «У всех ли есть билеты?», а также пассажир, билет которого утратил силу после проезда тарифной границы. Правила были усовершенствованы в марте 1926 года. Согласно новому положению запрещалось курить внутри вагона и на площадках, плевать, ставить детей на сиденья. Запрещалось шуметь, петь, играть на музыкальных инструментах, занимать место кондуктора. Пассажиры предупреждались о недопустимости надрыва билетов, сворачивания их в трубочку, комканья, поскольку все это осложняло работу контролера.

С годами правила упрощались. Исчезли запреты на пользование трамваем женщинами в шляпках с большими булавками, лицами, одержимыми заразными болезнями, и пр. Если в 1928 году через переднюю дверь могли войти в вагон члены ЦИК СССР и ВЦИК, члены Московского и районных Советов, инвалиды,

имеющие специальные билеты на бесплатный проезд по ГЖД (городским железным дорогам), лица с явными признаками инвалидности, беременные женщины, лица с детьми не выше одного метра, школьники до пятнадцати лет по удостоверениям школ, сотрудники милиции в форме и служащие ГЖД по специальным удостоверениям, то в 1939 году с передней площадки имели право войти граждане, награжденные орденами, пассажиры с детьми, школьники, беременные женщины, инвалиды и лица престарелого возраста. Для детей, инвалидов, беременных и престарелых отводилось восемь мест в передней части вагона. В правилах тех лет много внимания уделялось безопасности пассажиров. В них, в частности, говорилось о том, что пассажиру нужно, входя в вагон, держаться за поручни обеими руками или держаться за правый поручень правой рукой. Держаться за один левый поручень, стоя на подножке, опасно: при начале движения вагона пассажира «относит» назад, ему легко потерять равновесие, и он может упасть. При выходе из вагона через переднюю площадку предлагалось держаться левой рукой за поручень и выходить лицом вперед по направлению движения. А пассажирам с детьми сначала сходить самим, а потом помогать сойти детям. Ездить с маленькими детьми в прицепных вагонах правила не советовали, ссылаясь на то, что вагоновожатый, не видя того, как сходит пассажир с ребенком, может слишком рано начать движение. Разработчики новых правил советовали пассажирам при посадке в трамвай держать вещи в левой руке и хвататься за поручни, не поставив еще ногу на подножку. В положении также говорилось о том, что не следует «догонять уходящий вагон. Особенно опасно, догоняя вагон, хвататься за левый поручень». Гражданам не советовалось входить в вагон, пока он еще не остановился (многие же считали, что когда он остановится, то будет уже поздно). «При этом, — предостерегали правила, — можно оступиться или быть сбитым с ног другими пассажирами, выходящими из вагона». Такое тоже случалось.

Вагоновожатые трамваев «А» и № 23 тоже должны были ждать, и не только выхода пассажиров, а отпра-

ления другого трамвая. Дело в том, что, проехав «Сретенские ворота», вагоновожатые этих маршрутов были обязаны ждать, пока с остановки на Трубной площади не уйдет трамвай и рельсы окажутся свободны. Если бы у трамвая на таком крутом спуске отказали тормоза, катастрофа была бы неминуемой.

В конце тридцатых годов движение городского транспорта возросло. Работал он с шести утра до часа ночи. Билет на трамвай стоил 10 копеек плюс 5 копеек за каждую последующую станцию. Билет на автобус и троллейбус — 20 копеек плюс 10 копеек за каждую остановку. В городе действовало десять троллейбусных и сорок восемь автобусных маршрутов. Существовали еще автобусные маршруты для пассажиров с багажом. Такие грузовые автобусы ходили без остановок от Комсомольской площади до Курского вокзала, и стоимость проезда составляла 1 рубль, а проезд на таком автобусе по маршруту Курский вокзал — Киевский вокзал стоил 2 рубля. Существовали еще так называемые укороченные маршруты. Они вводились в действие в часы пик: с шести утра до десяти и с половины четвертого до восьми, и ходили они от Черемушек до Даниловского рынка и от Преображенской Заставы до деревни Черницыно, что за деревней Калошино. Загородные автобусные маршруты вели в Бронницы, Ногинск, Красную Пахру и Рогачево. В предвоенные годы в Москве существовало и ночное движение городского транспорта. Правда, маршрутов было поменьше, в основном по кольцам: Садовому, Бульварному, да и интервалы в движении были побольше — минут 15—20. Всего ночных маршрутов автобусов и трамваев в городе насчитывалось четырнадцать.

Ходили по Москве и маршрутные такси. При посадке пассажир платил 50 копеек и по столько же за каждый последующий тарифный участок. На таком такси можно было проехать по Садовому кольцу, от Яузских Ворот до Новодевичьего монастыря, от Комсомольской площади до Черемушек, от Таганской площади до Карачарова. Можно было прокатиться по городу и на такси немаршрутном. Один километр на «Эмке» («М-1») обходился в 70 копеек, а на ЗИС-101 — 1 рубль 20 копеек.



Столько же платили за грузовое такси. Поездки за город на расстояние свыше 50 километров требовали разрешения диспетчера таксомоторного парка.

Такси было, конечно, дорогим удовольствием. Граждане предпочитали трамвай. И хотя правила, наклеенные на стене вагона, читали далеко не все, но окрики милиционеров, контролеров, кондукторов и просто законопослушных граждан медленно, но верно вдалбливали в головы несознательных пассажиров — что можно делать, а чего нельзя, что для них лучше, а что хуже, что опаснее, а что безопаснее.

Увы! Жизнь, несмотря ни на что, диктовала свои правила. Трезвые и пьяные граждане набивались в вагоны, висели на дверях, буферах и подножках. Напрасно кондуктор кричал: «Граждане, местов нет!», напрасно нарушителей штрафовали милиционеры, напрасно газеты сообщали о несчастных случаях с теми, кто нарушал правила, а трамвайчики смазывали буфера вагонов смолой, чтобы на них не висели мальчишки, — люди делали свое дело. Они штурмовали вагоны, забывая о карманах, пуговицах, болезнях и опасностях. В трамваи лезли все: и рабочие, и крестьяне, и солдаты, и воры, и интеллигенты, и конторские служащие, и беременные женщины. Люди ухитрялись втаскивать в вагон громоздкие вещи, грудных детей, больных родителей, собак и кошек. Корней Иванович Чуковский 26 мая 1921 года записал в дневнике: «Федин рассказал, как в Москве его больше всего поразило, как мужик влез в трамвай с оглоблей. Все кричали, возмущались — и никакого внимания». Были случаи и пострашнее. Как-то озверевшая толпа затоптала при посадке женщину с трехмесячным ребенком. Добавим еще, что своими тяжелыми стальными колесами трамвай вписал черную страницу в историю российского театра.

21 июля 1918 года сорвался с подножки переполненного вагона и погиб под колесами трамвая знаменитый русский артист Мамант (по святцам), Мамонт (по жизни) Викторович Неелов, известный под псевдонимом Дальский, учитель Шаляпина, потомок (по материнской линии) пушкинского Ганнибала, «арапа Петра Великого». А. Н. Толстой отразил этот трагичес-

кий случай в романе «Хождение по мукам». В декабре того же 1918 года сын погибшего, Юрий Неелов, станет первым мужем Елены Сергеевны Булгаковой, второй жены Михаила Афанасьевича Булгакова. Так причудливо переплелись жизнь и литература с движением городского транспорта, и протянулась ниточка от Пушкина к Булгакову.

На трагических случаях, связанных с трамваем, мы остановимся позже, а сейчас посмотрим, как происходила посадка.

В 1931 году выходившие в Париже милюковские «Последние новости» писали о посадке в московские трамваи следующее: «Около каждого вокзала работает негласная, но всеми признанная артель беспризорных. На Брянском (Киевском) вокзале их около 400 (кто и как это подсчитал, неизвестно. — Г. А.). Закутанные в странные мешки и тряпки, грязные, как трубочисты, они обслуживают пассажиров.. Если пассажир вышел с вокзала с чемоданом и с недоумением смотрит на бой около трамвая, к нему подходит беспризорник, член “пересадочной артели”. “Я извиняюсь, гражданин,— говорит он вежливо. — Вам в трамвай или понести?” “В трамвай” — это фунт хлеба или деньги на этот фунт, и два-три фунта — за путешествие с чемоданом по городу». Приезжий выбрал трамвай. Беспризорник ушел куда-то далеко, навстречу трамваю, вскочил в него на ходу, а на остановке принял из рук приезжего его чемодан через головы граждан. Потом втиснулся в трамвай и сам путешественник, растерявший в поездке все пуговицы от пальто.

Трамвай был не единственным транспортом, бравшимся с боя. В тех же воспоминаниях рисуется посадка на поезд на том же Брянском вокзале: «Билетов на поезд нет. Вот подан поезд. Ожидавшие, не спрашивая куда, как саранча, устремляются на перрон. Контролеры у дверей и охрана смяты в один миг. Слышны душераздирающие крики женщин, детей. Проводники смываются человеческой бурей и, опасаясь за жизнь, прячутся под буферами вагонов. В вагонах открыты все двери, все окна. В них, как цирковые жонглеры, пассажиры бросят свои вещи. ...Но от этого, как говорится, не легче».

Время шло, но посадка на трамвай по-прежнему оставалась очень нелегким делом. Об этом писала даже эмигрантская газета «Возрождение». В ней печатались отрывки из книги Р. Трушковича «Закрепощенная Россия». Автор ее в конце 1933-го — начале 1934 года побывал в Москве. Делясь с читателями своими впечатлениями от поездки, он писал: «...Трамваи брались с боя, со многими людьми при подходе трамвая случались припадки “трамватического невроза” трамвайного происхождения, как острили невропатологи. Каждая поездка в трамвае отнимала у меня больше часа и представляла всегда довольно опасное предприятие. Толпа, бравшая приступом вагон, могла сбросить под колеса. В давке могли вытащить документы и деньги. В вагоне царствовало “кулачное право”, ибо люди, желающие выйти на остановке, должны были пробивать себе дорогу сквозь людскую стену».

Да, невеселую картину нарисовал «господин из Парижа». Впрочем, не в одних же трамваях счастье. Приезжавшего в 1927 году нелегально в Россию на поиски пропавшего сына В. В. Шульгина поразило «неистовое количество легковых и ломовых извозчиков» в столице, ведь сюда тянулись с окрестных губерний на заработки крестьяне. Извозчики тогда просто гонялись за пешеходами по Каланчевской площади, предлагая свои услуги. Следует заметить, что около вокзалов, когда в Москву приходили поезда дальнего следования, и около театров, после окончания спектаклей, стоимость поездок на извозчике возрастала, а вообще она колебалась где-то между полтинником и рублем.

Однако такое обилие гужевого транспорта, оттягивающего от трамвая хоть какую-то часть пассажиров, продолжалось недолго. В 1929 году, когда началась коллективизация и были введены карточки, послышались возмущенные голоса о скармливании хлеба лошадям. Тогда многие извозчики продали своих битюгов и кляч и завербовались на стройки. В магазинах появилась конина, а в трамваях усилилась давка.

«2 июня 1929 года на площади Свердлова, — сообщила «Вечерняя Москва», — из-за толпы, обступившей трамвай, попали под вагон А. Скотников и неизвестный

блондин в черном костюме. Оба в тяжелом состоянии отправлены в больницу «Медсантруд» на Яузской (тогда Интернациональной) улице». Особенно осторожным при посадке надо было быть зимой, когда на остановках, около рельс, из натоптанного снега образовывались наледи, с которых было легко соскользнуть под колеса. В прессе высказывалось возмущение тем, что трамвайные пути чистятся только между рельсами, а на все остальное пространство внимания не обращается.

Гражданина, повисшего на подножке, пассажиром назвать нельзя, но и пешеходом тоже не назовешь. Это некая промежуточная стадия. Он нарушитель поневоле, и за него никто не отвечает. У людей, деятельность которых связана с риском, не может не быть своего фольклора. Был такой фольклор и у «висунов».

Синячище во все тело,  
На всем боке ссадина.  
На трамвае я висела,  
Словно виноградаина.

Эту частушку можно буквально отнести к двадцатилетней работнице кондитерской фабрики Пелагее Комаровой, которая в семь часов утра 16 сентября 1925 года на Бухаринской (теперь Волочаевской) улице висела на подножке трамвая и, зацепившись, на свою беду, одеждой за проезжавшую рядом с трамваем подводу с мясом, упала и здорово разбилась. Дома ее узнали с трудом.

Особенно большая давка возникала у задней двери трамвая, так как, согласно правилам, гражданам разрешалось входить в вагон только через заднюю дверь — передняя предназначалась для выхода.

Потом, когда по Москве станут ходить трамваи с тремя дверями, правила, введенные в действие в 1943 году, разрешат входить в вагон только в среднюю дверь, а выходить — в переднюю и заднюю. (Интересное это занятие — сочинение правил!)

Кроме дверей у трамвайных вагонов были еще так называемые буфера и по обе стороны вагона — выступы. Встав на буфер или выступ и держась за окно, можно было ехать. 13 июня 1922 года некто Никитин

попытался вскочить на выступ с левой стороны трамвая, грохотавшего по Садово-Каретной улице, но ударился о трамвайный столб и погиб. Наверное, этот случай наряду с другими, подобными, побудил начальника милиции Москвы и губернии (они тогда были объединены) Стельмаховича издать 30 ноября 1922 года приказ № 252, который всем начальникам отделений милиции предписывал «вменить в строгую обязанность учнадзирателей и постовых милиционеров не допускать к проезду всех замеченных лиц, висящих на подножках, с боков, на буферах и т. п., останавливая свистком при каждом таком случае трамвай, а всех виновных в нарушении езды на трамвае задерживать и направлять в отделения милиции для составления протокола». Напомню, что штрафы были введены в феврале 1923 года. Но кого же могли напугать «протоколы», если людей и штрафы не брали. Человек всегда надеется на удачу. Сколько раз кондукторы говорили пассажирам: «Граждане, отойдите от двери, не высовывайтесь!» На стеклах окон писалось: «Не высовываться», — но пассажиры оставались глухи к этим призывам и даже видели в них попытку кондукторов и всего трамвайного хозяйства лишить их удовольствий и ограничить свободу, а поэтому нередко надписи «Не высовываться» превращались в «высовываться» (как в наши дни на стеклах вагонов метро «Не прислоняться» превратилось в «Не писоться»). А зря! Трамваи, особенно на отдельных участках пути, раскачивались, как лодки в беспокойном море. Пассажиры садились друг другу на колени, падали. Виной этому было плохое состояние путей. Так вот стоять при такой качке у открытой двери было небезопасно. Это доказал проезжавший по Генеральной (Электрозаводской) улице П. В. Абрамов, который не внял призыву кондуктора и при очередной качке выпал из вагона, разбившись насмерть. На похоронах говорили о его безвременной кончине.

Случалось, что и не столь грубые нарушения правил приводили к трагическим последствиям. 2 октября 1935 года, в одиннадцать часов вечера, по улице Герцена (Большой Никитской) шел трамвай № 31. Ехал в нем пьяный Алехин. То ли нарочно, то ли нечаянно,

но стекло в окне он разбил. Кондуктор стала кричать на него и угрожать доставлением в милицию и взысканием суммы ущерба. Испугавшись, Алехин по подсказке черта, наверное, выскочил в разбитое окно и тут же был наказан Богом (и, надо сказать, тот, как всегда, переборщил): Алехин попал под встречный трамвай, и ему отрезало обе ноги.

Стечения обстоятельств вообще бывали самые невероятные. А. П. Иванов 26 июня 1936 года на Бахметьевской (ныне Образцова) улице упал из трамвая на переднее крыло автомашины, та свернула вправо и наехала на идущую по тротуару Рахиль Кур, которую доставили в больницу, где она и скончалась.

Ну а как обстояло дело с нарушителями заповеди «Не высовываться»? Ведь кажется, что ничего плохого с высунувшимся пассажиром случиться не может. Ну разве что в глаз соринка попадет или кто-нибудь ему в лицо плюнет. Так нет — история показывает, что произойти очень даже может. Через месяц после того как Рахиль Кур скончалась в больнице, гражданка Блекман ехала на сорок седьмом трамвае в сторону площади Коммуны, свесила, надо сказать, очень красиво, за окно руку, а какой-то мерзавец сорвал с нее часы. Бог с ними, с часами, была бы голова цела! Так нет, в 1928 году, 21 августа, Федор Парфенков так высунулся в окно, что головой ударился о мачту, поддерживающую трамвайный провод, и с травмой черепа был доставлен в больницу.

О такую же мачту в результате автокатастрофы 22 октября 1925 года ударился головой начальник милиции Москвы и ее губернии Фриц Янович Цируль. На следующий день он умер в больнице. Когда-то Цируль был революционером, при старом режиме сидел в Рижском центральном. Там его подвергали пыткам: вырывали волосы, царапали крючками тело, загоняли под ногти гвозди и булавки, били, прижигали тело огнем. В годы революции и Гражданской войны Цируль участвовал в сражениях, в борьбе с бандитизмом, и никакая вражеская пуля его не брала, а вот смертельный удар нанесла никому не известная трамвайная мачта. Мачты эти стояли между трамвайными путями, поддерживая провода,

и автомашинам приходилось их объезжать. Не всем, значит, это удавалось.

Жизнь пассажиров, находящихся в трамвае и не нарушающих установленные правила, тоже, как говорится, была не застрахована. Плохие пути, старые, изношенные детали, невнимательность вагоновожатых иногда приводили к печальным последствиям.

Летом 1922 года в Москве произошли две катастрофы с человеческими жертвами. Первая случилась в Охотном Ряду. У трамвая, идущего со стороны Лубянской площади, испортились тормоза. Вагоновожатый вести трамвай отказался. Тогда контролер, требующий отправления вагона, сел на его место и поехал. В результате трамвай врезался в другой, стоящий у «Метрополя». Вторая катастрофа произошла с трамваем, шедшим по Васильевскому спуску от Красной площади к Москверекке. Спуски и подъемы для трамваев всегда являлись камнем преткновения.

Конечно, у столкновений были не только объективные, но и субъективные причины. Вагоновожатый Иванов как-то в марте 1929 года ездил к себе в деревню, а возвращаясь в переполненном поезде, не спал всю ночь и, выйдя на работу, естественно, уснул «за рулем» трамвая. В результате трамвай на полном ходу врезался на Воздвиженке в другой трамвай. Пассажиры вывалились из вагонов, но, к счастью, никто серьезно не пострадал. В 1928 году произошло два столкновения трамваев из-за того, что вагоновожатые были просто пьяны. 15 мая на углу Малой Дмитровки и Садово-Каретной и 27 мая — на Екатерининской площади (площадь Борьбы). Отметим для справедливости, что пьяных вагоновожатых было, конечно, меньше, чем пьяных шоферов.

Если говорить о происшествиях, принесенных трамваем в городскую жизнь, нельзя не рассказать о некоторых случаях, в которых потерпевшими оказались пешеходы.

Как-то вечером вагоновожатый, остановив трамвай у Курского вокзала, заметил лежащего перед вагоном мальчика. Он выскочил из вагона, подошел к ребенку и понял, что это его трамвай сбил мальчика, после чего

провез его тело на решетке, имеющейся под передним буфером, к вокзалу.

Подобные потрясения не всегда сходили с рук вагонновожатым. Один из них, Кирпичев, умер от разрыва сердца, когда с трудом остановил трамвай, заметив упавшую перед ним на рельсы женщину.

Больницы тех лет были полны трамвайными жертвами, а потеря ноги в результате трамвайной травмы не считалась редкостью.

Уже в 1925 году каждые две недели в результате трамвайной травмы в Москве погибал человек, а каждые два-три дня он получал тяжелую и ежедневно — легкую травму. Статистика конца двадцатых — начала тридцатых годов располагала данными о том, что ежедневно три человека в день калечились трамваем.

Общественность и пресса были взволнованы такими обстоятельствами. Постоянно указывалось на то, что главными виновниками несчастных случаев являются сами пассажиры и пешеходы. Они отвлекают вагонновожатого разговорами, зимой норовят до остановки выйти на площадку и пустить в кабину вагонновожатого теплый воздух (кабины тогда были неизолированными), от чего стекло перед водителем запотеваело и он не видел пути. Наконец, они провозят с собой недозволенные, опасные грузы. Летом 1926 года работники киностудии Куликов и Севалин везли в трамвае киноплёнку и аккумулятор. На площади Свердлова от искры аккумулятора загорелась плёнка. Пламя сожгло вагон. Обгорели люди. Плёнку надо было везти, конечно, на извозчике, да, видно, Куликов и Севалин решили деньги сэкономить. Так считали многие.

Вам, уважаемый читатель, наверное, приходилось наблюдать, как кошка, подойдя к мостовой, ждет, присматривается к машинам, стоящим на светофоре, но стоит только им двинуться, как кошка бросается вперед, им наперерез. По всей вероятности, каждое животное настораживает все остановившееся и затаившееся. Подобный рефлекс существует и у многих их «старших братьев». Успеть перебежать для них всегда лучше, чем долго и нудно ждать. (Ждать, впрочем, они так и не научились.) А сколько потребовалось времени, чтобы



приучить людей при переходе улицы смотреть сначала налево, а потом направо! В 1924 году, как отмечали газеты, в Москве появился новый вид спорта: перебегание линий перед близко идущим трамваем. На такие провокации, надо сказать, пускались не только пешеходы, но и автомобили, норовившие проскочить перед трамваем. Помимо спортивного азарта поперек трамвайного движения вставало и образование. 20 мая 1930 года студент, или, как тогда еще называли, «вузовец», Славский шел по улице и читал первый том «Капитала» Карла Маркса. На носу у студента были очки и экзамены. Он так зачитался открытиями в политической экономии, что не заметил подъезжавшего к нему трамвая. К счастью, рядом оказался слесарь Петров, который вообще не читал Маркса. Он сильно пнул нашего «вузовца» ниже спины, и тот отлетел от рельс прямо в объятия милиционера: «Гражданин, с вас штраф за хождение в неположенном месте». — «Но я читал первый том “Капитала”», — пытался оправдаться верный ученик основоположника научного коммунизма. «Хоть третий», — парировал страж порядка. Пришлось Славскому раскошелиться на 25 копеек. Смешные тогда были штрафы. За посадку на трамвай на ходу милиционер мог оштрафовать на рубль, но случаи такие были крайне редки. Ведь если вы не вскочили в трамвай, то и штрафовать вас не за что, ну а если вскочили, то милиционеру вас еще догнать надо.

От несчастного случая были не застрахованы и постовые милиционеры. Один из них, Астахов, служивший в 41-м отделении, 30 июня 1924 года, когда регулировал уличное движение у Яузских Ворот, был сбит трамваем № 16 и через двадцать дней умер в больнице. Молодой был, полный сил, и так нелепо погиб на посту.

В десять часов вечера 9 ноября 1927 года милиционер Рубцов сопровождал пьяного в отделение. Пьяного он в вагон посадил, хоть и с трудом, а сам попал под колеса и погиб. У него остались жена и двое детей.

Гибли милиционеры и по своей неопытности. Многие из них до службы в милиции были сельскими жителями и работы в Москве с ее узкими улицами, с ее трамваями, автомашинами, извозчиками, неорганизо-

ванными и недисциплинированными пешеходами и пассажирами, как говорится, «не бачили». Стала она для них тяжелым испытанием. Иной раз милиционер останавливает машину посередине улицы, а то и на трамвайных путях, начнет выяснять у водителя, почему он нарушил правила уличного движения, а в это время создается пробка, затор, а то и трамвай налетит на машину. В общем, происшествие накладывается на происшествие и вместо порядка получается еще большее безобразие.

Для стимуляции безопасности движения применялись, конечно, не только штрафы. Московское коммунальное хозяйство («Москоммунхоз») за идеальную езду выдавало вагоновожатым и шоферам ежегодную премию в размере 114 рублей. Деньги немалые. Правда, говорили, что выплатили их не всем и вроде как бы вообще никому не выплатили, но верить этим слухам мы, конечно, не обязаны.

Еще в конце двадцатых годов в целях безопасности было введено «психотехническое» исследование водителей городского транспорта на их профессиональную пригодность. Эта мера, надо полагать, также способствовала сокращению несчастных случаев.

От трамваев страдали не только люди, но и лошади. 10 июня 1928 года по улице Герцена лошадь тащила телегу, груженную досками. Около консерватории лошадь обогнал трамвай и при этом сильно испугал мирно шедшее животное. Резко рванувшись от трамвая вправо, лошадь врезалась в витрину магазина музыкальных принадлежностей (дом 13). Несчастную кобылу пришлось долго вытаскивать из магазина, в который она влезла наполовину.

Вообще, помимо трагических и печальных, было немало смешных и нелепых случаев. О них говорили, читали в газетах и журналах. Они давали пищу для творчества. За коляской Гоголя, тарантасом Сологуба в русскую литературу въехал трамвай Ильфа и Петрова, Зоценко, Булгакова. Бурная трамвайная жизнь была полна неожиданностей.

Корней Иванович Чуковский в дневнике записал следующее: «...вчера я видел, как в трамвае у женщины из размокшей бумаги посыпались на пол соленые огурцы,

и когда она стала спасать их, из другого кулька вылетали струею бисквиты, тотчас же затоптанные ногами остервенелых пассажиров». Писателю было не смешно, тем более что ему самому какой-то пассажир измазал пальто «вонючей рыбой». Происходило это в 1932 году.

А в 1925 году был такой случай: некто М. (история не сохранила для нас его фамилию) спешил на работу. Вскочил в трамвай (наверное, обрадовался, что успел) и ждал отправления, нервничал, ведь опаздывал на работу, а трамвай стоит и стоит. Вагоновожатый на месте, а кондуктора нет. Терпел-терпел М. это безобразия, а потом дернул за веревочку, что-то в кабине вагоновожатого звякнуло, и трамвай пошел. На следующей остановке повторилось то же самое, то же — на третьей и на четвертой. Только на пятой в трамвай вошел милиционер и пресек кондукторскую самостоятельность М. Говорили, что М. просил знакомого врача дать ему справку, что он сумасшедший, но тот побоялся это сделать.

Мальчик Вова, которому было лет десять-двенадцать, никуда не спешил. Но в один из апрельских дней 1931 года он заметил, что в трамвае № 20, стоящем на Сокольнической станции, никого нет. Он влез в кабину кондуктора, о которой так долго мечтал, и увидел две большие ручки. Эти ручки в трамвае вообще съемные, и вагоновожатый должен забирать их с собой, когда уходит, но тут, на счастье мальчика, он этого не сделал. Вовочка повернул одну из ручек, и трамвай двинулся, прошел одну остановку, другую (представляю, как радовался мальчишка), но на третьей остановке трамвай догнали запыхавшиеся взрослые и отняли его у ребенка. Одному дяде, контролеру Тришину, суд потом даже год исправительных работ дал за то, что он оставил трамвай «с ручками».

Другой, на этот раз взрослый «шутник» 17 июля 1928 года, изрядно «выпимши», ругался в трамвае. Кондуктор потребовала, чтобы он вышел. Это обидело Федорова, так была фамилия обиженного. Он злобно глянул на кондуктора и произнес: «Вот теперь я посмотрю, как это вы без меня поедете» — и вышел. Вагон только тро-

нулся, как справа от вожатого мелькнула какая-то тень и распласталась на рельсах. Это был Федоров. До вагоновожатого долетели его удалые слова: «Эй, трамвай, если хочешь ехать, бери меня, а не то я тут до вечера пролежу. У меня время есть!» Вагоновожатый звонил в звонок, просил его освободить путь, просил кондуктор, просили пассажиры. Федоров оставался глух к зову народа. Пришли милиционеры. Они подняли Федорова и понесли на руках. Он кричал, брыкался, а потом схватил одного из милиционеров за ноги, и вся компания упала на землю. Здорово извалялись, окруженные толпой милиционеры наставили себе и задержанному синяков и шишек, но в конце концов все же добрались до отделения милиции. Страдали милиционеры, надо сказать, не зря. Суд осудил Федорова на три месяца лишения свободы.

Вообще граждане, чуть что случалось в трамвае, сразу тащили виновника происшествия в милицию. Один гражданин ехал в трамвае тихо, никого не трогал. Стоявшая рядом дама попросила его передать деньги на билет. Он взял деньги, но кто-то его толкнул, и он деньги выронил. Нагнулся, чтобы поднять, а тут дама как закричит: «Что вы делаете, нахал, как вам не стыдно!» Гражданин стал оправдываться, а дама кричит: «Вы меня ущипнули за ногу, чулок порвали!» После таких слов и народ возмутился. Подхватили мужичка и потащили в милицию. Когда трамвай тронулся, одна тетка, до того молчавшая, сказала как бы про себя: «Наверное, это ее мой гусак ущипнул». Все посмотрели под сиденье, около которого стояла оскорбленная дама, и увидели под ним гусака в корзине. «Что же вы раньше не сказали об этом?» — спросил кто-то тетку. «Боялась, высадят», — ответила она.

А вот гражданин Зильберман того, что его высадят, не боялся. Он сам был милиционером. Служил в 1-м отделении милиции. Было это в 1925 году. Как-то нашел он бесхозную козу и решил свезти ее на базар и продать. Ни машины, ни лошади у него не было, и полез Зильберман с козой в вагон трамвая. Кондуктор, естественно, не пускает, кричит, а Зильберман твердит, что ему можно, что он милиционер. Коза блеет, что она

коза, народ смеется. Шум привлек внимание работников милиции. Зильберману предложили вместе с козой пройти в отделение милиции. В конце концов Зильбермана освободили не только от хлопот по продаже козы, но и от работы.

Трамвайные сцены служили барометром социально-политической обстановки в стране, да и не только. Ведь в Москву после всех войн и потрясений устремились люди из разоренных деревень и городов, устремились те, кому при царском режиме дорогу в столицу перекрывали черта оседлости, политическая неблагонадежность или уголовное прошлое. Приезжали люди из других стран. Всю эту разношерстную и разноплеменную толпу, копошащуюся на улицах и площадях, трамвай сдавливал в железных тисках своих корпусов, бросал в объятия друг друга, сближая и ссоря. Эти сгустки московской жизни плодили слухи, анекдоты, сплетни. В общем, это был передвижной театр, в котором сама жизнь ставила свои веселые и невеселые сценки.

В 1933 году к власти в Германии пришел Гитлер, а 8 мая 1934 года около двадцати двух часов милиционер Прохоров, несший постовую службу на улице Разгуляй, услышал крики, доносившиеся с трамвайной остановки. В трамвае, как оказалось, прилично одетый гражданин оскорблял пассажиров, называя их «свиньями». Милиционер высадил гражданина. Тот заявил, что никуда не пойдет и не подчинится советским жандармам, после чего ударил два раза Прохорова по голове. В 28-м отделении милиции задержанный стал обзывать милиционеров «сволочами», «бандитами», «жандармами», а потом заявил, что «только через фашизм можно прийти к культуре». Выяснилось, что поборник «культуры» был гражданином Германии Паулем Густавом Бекманом двадцати трех лет. В 1931 году он приехал в СССР работать проходчиком на шахте Метростроя. За свой безобразный поступок он получил год исправительных работ и остался работать на шахте.

Традиционно самым любимым вопросом, поднимаемым в трамвайных выступлениях, был еврейский. Помню, в трамвае на Трубной площади, когда в 1953 году все узнали о деле врачей, какая-то нетрезвая лич-

ность вещала: «Жидов надо бить. Сталин был добрый, он всем верил, а жида хотели его убить». Народ безмолвствовал. А тогда, в бурных двадцатых-тридцатых, за такие высказывания можно было запросто схлопотать срок. С. В. Чесалова в 1929 году выслали на три года в Северный край за то, что приставал в трамвае к пассажирам-евреям, выкрикивая антисемитские лозунги, а И. Я. Яковлев в 1927 году был выслан из Москвы за «выкрикивания против евреев в трамвае».

Вылетали из Москвы по воле ОГПУ не только пассажиры, но и трамвайщики. Вагоновожатый Краснопресненского трамвайного депо Иосиф Михайлович Кудрявцев как-то распространялся по поводу того, что, мол, советская власть разоряет крестьянство. За это в августе 1924 года он был на три года сослан туда, где трамваи не ходят, в Северный край.

Дореволюционный трамвай мы видели глазами К. Г. Паустовского. Трамвай двадцатых годов мы можем увидеть глазами поэтессы Веры Инбер. 17 ноября 1925 года в «Вечерней Москве» был опубликован ее очерк «А. Б. В.» о трех трамвайных кольцах. В нем В. Инбер делит москвичей «на три половины»: одна — мечется по улицам, вторая — сидит дома, третья — стоит в трамваях (сидячих мест мало)... От Страстной площади «А», нагруженный, как верблюд в пустыне, лезет к Трубе (Трубной площади), а оттуда медленно вползает к Сретенке. Его населяют портфели, кожаные кепи, куртки и иногда шубы. Население трамвая разное. Те, которые стоят в самом вагоне, и те, которые на площадке. Оба эти сословия ненавидят друг друга. Тем, кто стоит на площадке, всегда кажется, что вагон пуст, и они настойчиво требуют «продвинуться вперед». Стоящие внутри доказывают, что «вагон не резиновый»... До Покровских Ворот трамвай «А» безумно переполнен. У Остоженки снова насядет народ... Кольцо «Б» проходит по рынкам... Здесь садятся армяки и тулупы, в руках корзины и кульки. («В трамвае эти мешки и кульки, — как писал К. И. Чуковский, — истинное народное бедствие».) Бывало, влезет в вагон баба с корзиной (уж не та ли самая?! — Г. А.), в которой гусь. Кондуктор возражает: гусь может ущипнуть пассажиров, а баба возмущается: что же, мне авто-

мобиль нанимать для гуся?.. Кольцо «В» — фантастично и огромно... А № 15 ходит очень редко и когда, наконец, появляется, то возникает такое чувство, будто вы по лотерее выиграли корову. «Странно думать, — пишет В. Инбер, — что под Страстной площадью и под Кремлем, под кремлевским подземельем, где, по слухам, лежат книги ученых дьяков, когда-нибудь протянутся рельсы, засвистит свисток, зашумят людские волны, пройдет метрополитен, и мы тоже поедем этим путем, глядя на каменные своды, будем думать: — А наверху солнце. А наверху трамваи. Милые трамваи».

Кажется странным, что в то голодное тяжелое время, когда трамваи-то и ремонтировать было не на что, строились планы о введении в Москве метро. Дискуссия о строительстве метрополитена велась в 1924 году в «Известиях» Моссовета. Сторонники строительства указывали на то, что трамвай патриархален (а давно ли он казался «аттракционом» по сравнению с конкой), медлителен, слишком громоздок для нешироких, кишаших экипажами и пешеходами улиц. Достаточно одного небольшого затора испортившегося в вагоне двигателя, остановившегося поперек рельс ломовика, ворвавшегося в вагон буйного пассажира — и порядок трамвайного движения нарушен, резонно отмечали энтузиасты метрополитена. Им возражали сторонники наземного транспорта. Они говорили о том, что дело не в количестве транспорта, а в неудобном расположении в Москве контор, складов, учреждений, о сосредоточении их в центре, что и влечет за собой скопление там транспорта и, как следствие этого, заторы. Они говорили о том, что метро очень дорого и есть много больших городов, которые без него прекрасно обходятся. Как всегда, правы были и те и другие. Метро построили, но не сразу, а когда появилась возможность.

Метро отличалось от трамвая не только красотой и богатством, но и торжественностью своих обрядов. Одно отправление его поезда чего стоило. А происходило оно так: перед отходом поезда метро дежурный по станции, когда все пассажиры усаживались в вагоны, громко и распевно произносил: «Готов!» — а затем обращался к машинисту с возгласом: «Двери!» Двери авто-

матически закрывались. Когда все двери закрывались, начальник поезда командовал: «Вперед!» — и вскакивал в вагон, закрыв за собой дверь кабины. На платформе оставался дежурный в красной фуражке. Трамваю, конечно, такие почести и не снились. Утешало его то, что первое время у метро были родимые трамвайные пятна — в его вагонах контролеры проверяли билеты у пассажиров. Дело в том, что по маленькому картонному билету можно было проехать только один раз и только в один конец. Когда в июле 1935 года на станции «Красносельская» установили механические турникеты, то граждане, помимо жетонов, брали билеты. С помощью жетона они проходили через турникет, а билет сохраняли до конца поездки для контролера. Билеты тогда только собирались отменить после установления турникетов на всех станциях.

Трамвай же особенно не обновился, до метро ему было далеко, зато он являлся своеобразным украшением города. В двадцатых годах ходили разрисованные трамваи, с изображениями рабочих и крестьян, пожимающих друг другу руки и олицетворяющих «смычку» между городом и деревней. Трамваи носили названия «Красный Октябрь», «1 Мая 1923 года»... Некоторые из них имели и клички. Трамвай «А» называли «совбуром» (советским бюрократором), в нем, как мы помним, ездили «портфели», «Б» — «демократическим». Публика в нем была самая разная. Первый его вагон от Тверской улицы до Крымской площади собирал интеллигентов и ответственных работников, второй — подбирали с вокзалов молочниц, торговок, деревенских баб. Во второй вагон «общедоступного» десятого номера у Красных Ворот садились маляры и штукатуры с напудренными известкой носами, поскольку недалеко была трудовая биржа строительных рабочих. В таком «общедоступном» вагоне народ был простой и любил поговорить на разные темы. Если вы в таком трамвае разворачивали газету, то сосед обязательно просил разрешить ему почитать вторую ее половину. Трамваи же № 24 и 34 были самыми тихими и мало-разговорчивыми. 24-й шел мимо Покровских и Ильинских Ворот, Охотного Ряда, Воздвиженки, Пречистенки, а 34-й — мимо Мясницкой, Лубянки, Большой Никит-



ской, Мертвого, Левшинского переулков. В них еще можно было встретить бывшего офицера, инженера, чиновника, услышать, как аккуратная старушка говорит благообразному старичку с бакенбардами: «Смотри, Федя, дом Татьяны Алексеевны красят»...

В упомянутых воспоминаниях о поездке в Москву В. В. Шульгин пишет и о пассажирах трамваев: «...Можно было сделать различие между публикой, стремящейся в первый вагон и во второй... Петр Яковлевич (лицо, сопровождавшее Шульгина по Москве. — Г. А.) сказал мне: “Вот будете ездить в трамваях, обратите внимание: в первом вагоне всегда публика чище, больше жидов, ну и тех, кто получше одет... классов нет, плата одинаковая... а вот сама публика отбирается... второй вагон хуже: трясет и шумит”».

Отбор пассажиров шел, наверное, по привычке. До революции первые вагоны трамваев были вагонами первого класса.

И все-таки большинство людей норовили сесть в первый вагон. В душе каждый, наверное, опасался, что второй вагон в пути отстанет или отцепится.

Среди пассажиров встречались капризные, горластые и сварливые люди. Они портили кондукторам нервы. Один, например, требовал, чтобы ему кондуктор дал сдачу с «двугривенного» (20 копеек) «серебром», а не медью. «Что я вам нищий, собирать медяки?!» — возмущался он. Другая заявляла кондуктору: «Кондуктор, перемените мне билет, я этот нипочем не возьму. Вы смочили палец слюной, когда отрывали. Может, вы заразная какая?!»

Доставляли пассажиры кондукторам хлопоты еще и тем, что вечно забывали что-нибудь в вагоне. Приходилось забытое сдавать по докладной в трамвайный парк. Вот что говорилось в одной из таких докладных: «В 6 часов 13 минут пополудни в вагоне № 243 кондуктором № 712 найдена мужская левая калоша с дыркой величиной в медный пятак». Калош, вообще, в трамваях оставалось полно и почему-то всё больше с левой ноги. Все они, да и не только они, переправлялись в камеру при Управлении дорог. В двадцать девятом году, например, перечисление некоторых забытых в трам-

вещей выглядело следующим образом: «...кошелек черный (пусто). Портфель старый (пусто). Мужские кальсоны (грязные). Буханка хлеба (ржаного). Швейная машина (исправная). Вексель на 303 рубля. Дамский лифчик (с мережкой). Рыжая кошка (дохлая). Шины (автомобильные). Бусы (коралловые). Клетка (с чижами). Трубка (докторская). Труба (граммофонная). Спальная перина (пуховая). Лопаты (деревянные). Пишущая машинка (“Ундервуд”). Мастерская “холодного сапожника”».

Помимо всего этого разнообразия оставались в вагонах пилы, фуганки, обручальные кольца, чулки, пудреницы и пр. и пр.

Простое перечисление «забытого» говорит нам теперь и о рассеянности пассажиров, и о давке в трамваях, и о честности кондукторов, и вообще о том мире, в котором жили наши с вами предшественники. От списка так и повеяло пылью, затхлостью и любопытством.

Ну, о пассажирах и их барахле, наверное, хватит. Вспомним о трамвайщиках.

Основной рабочей силой в трамвайном хозяйстве все больше и больше становились женщины. Еще в 1915 году в Москве на маршруте «Б» появилась первая женщина-кондуктор. Тогда это произвело сенсацию. Газета «Русское слово» писала по этому поводу следующее: «Героиней дня, несомненно, стала кондукторша Ольга Егорова, бляха № 76, затмившая своей скромной фигурой не только слона из зоологического сада (надо сказать, что трамвай «Б» ходил мимо зоопарка. — Г. А.), но и Игоря Северянина, выступающего в клубе художников на очередном “поэзовечере”. Муж Ольги Егоровой храбро сражается с бошами (так немцев называли французы. — Г. А.), в то время как жена заняла его место в тылу». Следует добавить, что для того чтобы решить вопрос о назначении Егоровой кондуктором, городская управа собиралась четыре раза! Раздавались протестующие возгласы: «А кто детей будет рожать, мы с вами, что ли?!.. Это противно природе и укладу русской жизни!..» Когда же решение все-таки приняли, то, рассказывали, старичок, секретарь управы, скрепляя реше-

ние собрания своей подписью, даже заплакал. Представляю, что было бы с ним в 1924 году, когда появился первый вагоновожатый-женщина. Фамилия этой женщины была Деревенникова.

К 1930 году вагоновожатых и кондукторов трамваев в Москве насчитывалось семь тысяч, и многие из них — женского пола.

Женщины были не только кондукторами и вагоновожатыми, но еще и стрелочницами. В 1930 году стрелочниц в Москве насчитывалась целая тысяча! С самого раннего утра до глубокой ночи эти бедно одетые женщины должны были дежурить на трамвайных перекрестках. В жару, в холод, в дождь и метель они стояли или сидели на раскладных стульчиках и вглядывались в подъезжающий трамвай. Увидеть его номер в темноте или тумане, чтобы правильно перевести стрелку, было не так легко. В тридцатых годах им это стало делать легче. На моторных вагонах установили «лобовые огни» разного цвета: белого, бледно-лунного, голубого, оливкового, фиолетового, зеленого, красного, коричневого и синего. Если номер трамвая состоял из двух одинаковых цифр, то и фонари были одинаковыми: № 11 — два красных, № 22 — два зеленых и т. д. Трамвай маршрута «А» имел фонари бледно-лунный и красный, «Б» — бледно-лунный и зеленый. Пассажирам это нововведение понравилось. Во-первых, красиво, а во-вторых, удобно: увидел огоньки своего номера — подошел ближе к остановке, номер не твой — отошел в сторонку, чтобы другим не мешать.

Кондукторам это нововведение жизни не облегчало. Особенно им доставалось зимой. В стужу их обувь покрывалась льдом, коченели от холода руки. Вагоновожатым в конце тридцатых годов стали хоть шубы давать и валенки, а им — ничего. Зарплата была мизерной. Неудивительно поэтому, что москвички не очень-то шли в кондукторы. Их место в вагонах занимали деревенские девушки из провинции, часто неграмотные, далекие от столичной жизни с ее нервозностью и грубостью. К тому же девушки не знали города и не объявляли остановки, чем вызывали недовольство пассажиров, которые тоже были не святые. Дело иногда

доходило до смешного. Какая-нибудь баба, ехавшая от Курского вокзала с большим мешком, донимала кондуктора тем, что просила, чтобы трамвай «Б» довез ее до Брянского (Киевского) вокзала. Кондуктор долго и упорно объясняла ей, что трамвай «Б» до Брянского вокзала не ходит, что ей надо сделать пересадку, однако никакие объяснения на бабу не действовали, и она продолжала донимать кондуктора, считая, что та ее обманывает.

Пассажиры вообще не любили кондукторов. Они считали их «воплощенной грубостью, запакованной в форменную куртку с серебряными пуговицами», как писала «Вечерняя Москва», хотя, конечно, форменные куртки имели далеко не все кондукторы. Непременными же их атрибутами являлись кожаная сумка и колодка с билетами, висевшая на груди.

Критиковали кондукторов все кому не лень и за всё: за то, что рано давали отправление, когда еще пассажиры не сели в вагон, за грубость, за то, что остановки не объявляли, «как раньше», наконец за то, что объявляли их по-старому: вместо «фабрика “Большевик”» — «фабрика Сиу», вместо «Белорусско-Балтийский вокзал» — «Александровский вокзал», вместо «село Октябрьское» — «село Всехсвятское», в общем, не кондукторы, а «пережитки прошлого».

О появлении на линиях кондукторов «новой формации» писали «Известия» административного отдела Моссовета 11 августа 1924 года. Вот какой портрет рисовала газета: «“Новому” кондуктору 16—17 лет, веснушки, светлые стриженные волосы, красный платочек на голове. Объявляя остановку “Застава Ильича”, имя вождя произносит с любовью. Когда старик благодарит ее за то, что она дала ему сдачу с рубля серебром, отвечает: “У советской власти на всех рабочих и крестьян серебра хватит”». «Она не зубоскалит с водителями, — говорится далее, — и не отвечает на его заигрывания, как это практикуют те, прежние, такие, как кондукторша прицепного вагона, которая не переносит этих “костомолок”».

Не знаю, много ли было таких новых кондукторов, но какими бы они ни были, они оставались женщи-

нами, со своей нележкой женской судьбой. Работать по десять часов, когда зимой на обуви замерзает лед, уходить из дома ни свет ни заря, или возвращаться поздно ночью, бояться воров и бандитов, трепать нервы с пассажирами, есть и спать на ходу — не самая лучшая профессия для обзаведения семьей и ее сохранения. Статистика показывала, что женщины-кондукторы чаще, чем женщины других профессий, делали аборт. Да, личная жизнь у многих не клеилась.

Однажды, это было весной 1924 года, в трамвае разрыдалась кондукторша. Разрыдалась неожиданно, никто ее не обижал, да и народу было в вагоне немного. Сидела, сидела и вдруг разрыдалась. Пассажиры стали ее успокаивать, пытались выяснить, что случилось. Успокоившись, она рассказала, как четыре года назад полюбила человека. Стала с ним жить. И вот однажды, в вагоне, увидела своего любимого вместе с незнакомой девушкой. Они очень мило беседовали и никого вокруг себя не замечали. Дома она собрала вещи и ушла жить в общежитие, ничего ему не сказав. Тем и кончилось ее недолгое женское счастье.

Кондукторам-мужчинам было легче, но и им доставалось. Как-то в 1925 году у Замоскворецкого моста в трамвай «А» вошел пассажир. Стоя на площадке, он ухитрился так схватиться за поручень в вагоне, что захватил веревку, за которую дергал кондуктор, давая сигналы вагоновожатому. Широков, так была фамилия вошедшего, обругал кондуктора, когда тот попросил его войти в салон и освободить веревку. Когда же кондуктор потребовал, чтобы он не выражался, Широков его избил. Хулиган за это получил всего месяц лишения свободы.

Один кондуктор жаловался пассажиру: «А бывает так, что и в морду законопатят! Намедни пассажир ударил кондуктора, а его, голубчика, и присудили к трем целковым (30 рублям. — Г. А.) штрафа. Вышел он из суда и кричит кондуктору: “Вам набить морду только три целковых стоит!”» Случилось это в 1929 году.

Напасть на кондуктора мог не только хулиган, но и бандит. К ночи у кондуктора в сумке набиралась не очень-то большая сумма денег. Но и на нее находились

охотники. 25 февраля 1925 года в половине третьего ночи в Покровско-Стрешневе в трамвай № 13 на повороте вошел неизвестный, вооруженный наганом, отнял у кондуктора Оболенской сумку с деньгами, а колодку с билетами бросил на пол, потом подошел к вагоновожатому Демидову и, угрожая, потребовал ехать тихо, после чего вышел из вагона. В тот же день был ограблен кондуктор трамвая № 17. Преступник свалил его на пол, отнял сумку и выскочил на ходу из вагона.

30 ноября 1925 года в два часа ночи в прицепной вагон трамвая № 24 на Бухаринской (Волочаевской) улице на ходу вскочили трое, отняли у кондуктора Ольги Гольцевой сумку, в которой находилось 16 рублей.

Ограбления кондукторов не прекращались много лет. В январе 1935 года Селиверстов и Филатов в половине второго ночи прыгнули в прицепной вагон трамвая № 46 в Тюфелевом проезде (теперь его нет, это район станции метро «Автозаводская»). Селиверстов обрезал ножом ремни кондукторской сумки Каравановой, в которой находилось 60 рублей, а Филатов выхватил сумку и выпрыгнул из вагона. 12 февраля они ограбили кондуктора трамвая № 27. Селиверстов обрезал сигнальную веревку, а Филатов с ножом в руках стал грабить кондуктора. В похищенной сумке находилось 51 рубль 85 копеек. За эти и другие аналогичные преступления наши разбойнички были приговорены к расстрелу. Верховный суд оставил приговор без изменения. Да, времена менялись, но Селиверстов и Филатов этого не учли.

И все же главными врагами кондукторов были не хулиганы, не бандиты, а «зайцы». «Зайцы» бывали разные. Одни нахально сидели в вагоне, смотрели в окно и на вопрос кондуктора: «Есть ли билет?» — отвечали: «Есть!» Кондуктору было неудобно у каждого пассажира проверять билет, пассажиры обижались: что мы, шаромыжники какие, а не советские люди, что нам не верят?! Не пускать пассажиров с площадки в вагон до покупки билета не было возможности: задние напирали и загоняли в салон вошедших, даже тех, кому надо было скоро выходить. «Зайцы» другого вида протягивали кондук-

тору деньги и называли остановку противоположного направления. Когда кондуктор им об этом говорил, то они живописно ахали, забирали деньги и выходили на следующей остановке. Здесь они поджидали другой трамвай и ехали дальше. Все повторялось снова. Ехали медленно, но верно. Были и «полузайцы». Они брали билет на одну остановку, а ехали десять. «Зайцы» были разные: «по забывчивости», «по лени» и «профессионалы». «Профессионал» рассуждал так: в день я трачу на трамвай 50 копеек, в месяц — 15 рублей. Так лучше уж я уплачу раз в месяц штраф 3 рубля.

Старый москвич Эдуард Ксаверьевич Саулевич вспоминает: «Шел 1928 год — первый год учебы в МГУ. Жил я тогда в студенческом общежитии на Зубовской площади. От места жительства до места учебы на Моховой был прямой путь — несколько остановок на трамвае. Проезд стоил 8 копеек. Значит, в оба конца 16. Для студента, получавшего стипендию в 25 рублей, такая плата была накладной. Приходилось ездить “зайцем”. Задняя площадка трамвая была с двух сторон защищена раздвигающейся железной решеткой. Обычно мы, студенты, внутрь вагона не проходили, а оставались на задней площадке. Проезжая по Моховой мимо нового здания МГУ, мы отодвигали решетку с левой стороны и выскакивали на рельсы встречного трамвая. В этом был риск, но и экономия».

Бесплатно на трамвае ездили не только «зайцы», но и нищие. Нищие инвалиды входили в трамвай с передней площадки (как им и было положено), усаживались на места у выходной передней двери и начинали просить милостыню. В середине двадцатых годов нищих в трамваях было полно. На таких остановках, как «Арбатская» или «Смоленская», в каждый вагон входили нищие. Нередко больные, в грязных лохмотьях, они протискивались через переполненный вагон, оставляя на пассажирах грязь, бактерии и насекомых.

По скромным подсчетам, в Москве в начале двадцатых годов было три тысячи нищих, а проведенная в январе 1926 года их перепись показала, что нищих в городе восемь тысяч. Остается только удивляться, как голодающие москвичи смогли прокормить эту ораву.

Новая власть пыталась бороться с нищенством. Начальник московской милиции Вардзиели 20 февраля 1922 года даже издал приказ по этому поводу. В нем было сказано следующее: «Мною замечено и с мест губернии доходят слухи, что на улицах, торговых площадях и других многолюдных местах Москвы и губернии появляются нищие и инвалиды, позволяющие себе не только побираться, но и преследовать прохожих назойливыми требованиями подаяния. Этим остаткам попрошайничества в Советской республике не может быть места, так как советская власть всех граждан, не способных к труду, берет на государственное иждивение, а против бродяг и тунеядцев, зараженных праздностью, вооружается всеми мерами борьбы... Приказываю принять надлежащие меры к недопущению нищенства, привлекая виновных к ответственности».

Начальник московской милиции несколько преувеличивал. Не было у нашего государства тогда таких возможностей, чтобы обеспечить работой и всем необходимым своих граждан. Государство, конечно, старалось это сделать, но у него не хватало средств.

Среди нищих того времени, надо сказать, встречались весьма колоритные типы. По трамвайным вагонам ходил, например, один «интеллигент», который на французском, немецком и английском языках просил на хлеб, протягивая очень картинно руку за подаянием. Наверное, это его видели Ильф или Петров, а может быть тот и другой вместе, и наградили способностями Ипполита Матвеевича Воробьянинова.

В 1924 году по трамваям просил милостыню другой живописный нищий. Его называли «раненый». Он всегда заходил в трамвай с передней площадки. Голова его была забинтована, левая рука на перевязи. Босой, в грязной гимнастерке и засаленных галифе, у пояса на веревке — кружка. Он был похож на красноармейца, вышедшего из госпиталя. Сочувствующим пассажирам он объяснял, что на фронтах Гражданской войны получил шестнадцать ран, что лежал в госпитале, две недели тому назад выписался, что каждый день его бьют припадками и вот в один из таких припадков у него украли все документы. Их он, конечно, скоро получит, а пока



жить не на что, ведь на работу без документов не устроишься. Люди ему верили и подавали. Некоторые, может быть, назло властям и милиции.

Значительную часть нищих составляли крестьяне, приехавшие в Москву хлопотать по своим делам и «прожившиеся» в ней до последней копейки. Однако были и такие, которые специально приезжали в Москву нищенствовать. Этим промыслом занимались, в частности, жители деревни Новаки Тамбовской, села Бево Воронежской и станции Шамердан Казанской губерний. На арбатском рынке обосновались нищие из деревень Запрудная, Гусевка, Загоричи, Осинка Жиздринского уезда Калужской губернии. Называли этих нищих «якуталами». Традиция нищенства сложилась в их местах давно, еще до революции. Поначалу действительно просили «Христа ради», потом понравилось, и вот стали просить на «погорелое», на неурожай, на дорогу домой из мест неудачного переселения, на безработицу и т. д. Нищенством занимались и пенсионеры, ссылаясь на то, что на пенсию в 30 рублей прожить невозможно. Милиция задерживала нищих и отправляла их в трудовой дом, где для трудоспособных были мастерские, однако это не помогало. Освободившись, они опять занимались нищенством. В день как-никак рубля два насобирать было можно, ну а у некоторых нищих милиционеры обнаруживали по несколько сотен рублей.

Отцам же города в утешение оставалось лишь лицезреть надпись на обелиске Свободы, что стоял напротив Моссовета. Надпись гласила: «Нетрудящийся да не ест». Обелиск этот был воздвигнут в честь первой советской конституции в ноябре 1918 года. На нем красовались медные дощечки с выгравированным текстом нового Основного закона Страны Советов. Через год скульптор Н. А. Андреев создал фигуру, олицетворяющую Свободу (голова ее хранится в Третьяковской галерее). Скульптуру установили у подножия монумента. В те годы около обелиска играли дети, на разъехавшихся камнях его пьедестала отдыхали крестьяне, забредшие в Москву. В 1924 году изображение обелиска вошло даже в герб Москвы. Потом обелиск снесли, а в 1954 году на его месте поставили памятник Юрию Долгорукому.

Но мы что-то отвлеклись на монументальную пропаганду и забыли о трамваях. Вернемся к ним.

Одной из трамвайных проблем тех лет являлось воровство.

На трамвайных остановках действовали так называемые «суматошники». Какая-нибудь женщина, представьте, ставит слева от себя корзину и ждет трамвая. Справа от нее один парень толкает другого, и тот летит на женщину. Она, естественно, выставляет обе руки, чтобы тот ее не сбил с ног, возмущается, а в это время третий вор похищает корзину.

Когда люди лезли в долгожданный трамвай, они забывали обо всем. Здесь, в свалке, устроенной нечаянно или нарочно, из карманов так соблазнительно торчали бумажники, раскрывались сумки, что совершить кражу не составляло особого труда. Украсть можно было даже оружие. 15 февраля 1935 года Парамонов при посадке в трамвай у военнослужащего Горбанова похитил наган. Через несколько дней он совершил бандитский налет, был задержан и приговорен к расстрелу. Другой наган был украден в трамвае у командира взвода 176-го полка НКВД Шенина. А сколько денег и документов похитили в трамваях воры! У иркутского торговца Когана в трамвае «А» вынули из кармана бумажник, в котором находились 1 тысяча рублей и вексель на 500 рублей, у торговца Сергеева похитили 3 тысячи рублей, у Бурмистровой вытащили 130 рублей, принадлежащие местному строительным рабочим. Может быть, у кого-нибудь из них украл деньги отпрыск старинного рода Милославских, который «щипал» в двадцатые годы в трамвае маршрута «А» и время от времени от сих многотрудных дел отдыхал на Канатчиковой даче. Трамвай, конечно, был не единственным транспортным средством, в котором вас могли обворовать. В 1928 году в нашу страну приехал румынский писатель Панайт Истрати. Он был внебрачным сыном румынской крестьянки и грека, книги писал по-французски. Ромен Роллан назвал его «балканским Горьким» — так много он скитался по свету и перебрал разных занятий и специальностей. Был он маляром, портовым грузчиком, подручным на верфях, лакеем

в гостиницах, носильщиком на вокзалах, кухонным мальчиком в ресторанах, подавальщиком в пивных, кузнецом, постановщиком телеграфных столбов, землекопом, расклейщиком афиш, фигурантом в цирковых пантомимах, шофером сельскохозяйственных тракторов, учеником аптекаря, пилющиком дров, газетным экспедитором, странствующим фотографом, изъездил страны Ближнего Востока и Средиземноморья, и теперь, в Москве, когда он садился на Театральной площади в автобус № 1, московский вор вытащил у него бумажник с тысячью франков. Истрати было очень обидно, ведь его так душевно, так мило встречали в СССР! В следующем, 1929 году за границей вышла книга Истрати «К чужому пламени», в которой он довольно критически писал о жизни в нашей стране. Да и в некоторых интервью он говорил о нас не очень почтительно. Например, в интервью газете «Литературные новости» в Париже он подтвердил, что в СССР Горького стали называть «сладким». Но, главное, ему не могли простить троцкистских высказываний, например таких: «Если (в СССР) не появятся революционеры, которые снова превратят советскую власть в пролетарскую власть, то придет день, когда слова “коммунист”, “большевик” сделаются в глазах пролетариата еще более одиозными, чем слово “социал-демократ”»... Прошло время, об Истрати забыли и книгу «К чужому пламени» не издали. Не издана она на русском языке, к сожалению, до сего времени.

Но «вернемся к нашим баранам», то бишь к ворам. Жизнь (бедность, безработица) выбивала людей из колеи, и нередко они объединялись в воровские шайки. Воровать в трамваях, в условиях постоянной давки, как уже отмечалось, было делом не сложным, да и сроки наказания за это были не столь значительными. Наверное, в силу этих причин и произошло следующее: 30 июня 1925 года в трамвае № 11 у Чугунного моста через Москву-реку гражданина Низгольца окружила группа неизвестных и вытащила портмоне, в котором было 8 рублей 90 копеек. То, что у него украли портмоне, Низголец почувствовал, когда выходил из трамвая на остановке. Повинуясь внутреннему голосу и

инстинкту, он снова вскочил в трамвай. Здесь пассажир Сруль Донович Штерн сказал ему о том, что он видел, как у него своровали деньги. Низголец потребовал остановить трамвай. Когда трамвай остановился, потерпевший Низголец, свидетель Штерн и подоспевший милиционер задержали подозреваемых. Ими оказались: бывший портной Хацкель Ицкович Фишбойн-Коренбайзер, Борис Альтерович Якубовский, бывший парикмахер, и кондитер Георгий Давыдович Корнблит. Первый отдал Низгольцу похищенный бумажник. Среди карманников, надо сказать, было тогда немало евреев.

Помимо давки и тесноты в трамваях ворами способствовала и темнота. В начале двадцатых годов лампочек не хватало и на площадках вагонов в темное время суток свет не горел. Пойди поймай на темной площадке «темную» личность.

Были и шайки «карманников-артистов». Чтобы облегчить совершение краж, они разыгрывали в трамвае спектакль, отвлекая пассажиров от заботы о карманах. Это выглядело, например, так: в вагон входит девица «благородной» наружности и громко произносит: «Пройдите в вагон, господа!» «Господа» оставались неподвижны, ведь вагон битком набит. Тогда девица повышенным тоном: «Товарищи, подвигайтесь!» Сзади нее мужчина в кожаной кепке говорит: «“Господа” говорила вежливо, а “товарищи” — словно лает», на что девица реагировала довольно бурно: «Нахал, не вмешайтесь, куда вас не просят!» «Забыть “господ” надо, — слышалось из публики, — “господа” все в Черном море!» — «И не подумаю даже!» — возмущалась девица. «Пусть на такси ездит... Все они такие...» — слышалось из разных углов. Потом и кондуктор не выдерживал, вмешивался в дискуссию. Короче говоря, через несколько остановок целый ком пассажиров вываливался из вагона с намерением идти вместе с девицей в комиссариат. Те же, кто оставался в вагоне, обнаруживали у себя пропажу кошельков и бумажников. Дорого обходился им такой спектакль.

Как у нищих были свои места на паперти в церквях, так и у воров имелись свои маршруты, на которых они

«щипали». Маршруты распределялись между воровскими сообществами, и чужаки на них не допускались. В связи с тем, что воров было много, в милиции создавались специальные группы по отлову карманников.

Представьте: одна из таких групп наблюдает за посадкой на трамвай у Виндавского (Рижского) вокзала. Лето, жарко. Сквер у вокзала вытоптан, насаждения поломаны, на земле спят люди. Но вот пришел поезд, из дверей вокзала повалил народ. Большинство людей устремляются к трамвайной остановке. Возникает толпа. Агенты МУРа замечают группу прилично одетых молодых людей. Их человек девять-десять. Они отделяются от палатки, около которой стояли, подходят к трамваю, врезаются в толпу и начинают толкаться. В вагоне «мастера карманной тяги» также толкаются, стараясь создать и без того сильную давку. На остановке «Капельский переулок», на 1-й Мещанской улице, в вагон входит солидный гражданин с женой. Воры, почувствовав добычу, окружают его, оттесняя от жены. Одно мгновение — и кошелек у гражданина украден. Агенты всё видели, но до Сухаревой башни шума не поднимают. На «Сухаревой», как называли остановку пассажиры трамвая, они выходят вслед за ворами из вагона. Один из воров узнает агента: «Атас, шухер!» — и воры разбегаются. Агентам удается некоторых из них поймать, в частности Попича, у которого украденный кошелек. В нем не так уж много денег. Оказывается, что почти все воры — рецидивисты. Вишневский судился десять раз, Яковлев — семь, Абрамович — одиннадцать. И эта судимость у них, наверное, не будет последней.

Воры залезали в карманы, сумки, резали их бритвами, но то, что в марте 1925 года сделал повар частной столовой Иванов, превзошло многое. Он срезал в трамвае у двух девушек их красивые золотые косы! Потом, в суде, Иванов говорил, что был пьян и не знает, зачем это сделал, выражал даже желание жениться на одной из потерпевших, когда та сообщила, расплакавшись, что из-за утраты косы ее жених, телеграфист на вокзале, отказался на ней жениться. За свою гнусность Иванов получил три месяца принудительных работ.

Используя давку, гомосексуалисты искали в трам-

ваях себе партнеров. Они отводили назад руки, как бы ища опору, и если находили ее в чужих брюках и не встречали сопротивления, то заводили разговор. А уж сколько романов начиналось в трамваях — ни одна статистика не подсчитает.

Но выйдем из трамвая, пройдемся по улицам города. В начале двадцатых годов его наполнили новые люди. Многие из них не знали, что такое большой город, что такое уличное движение. Ходили, как по деревне или местечку. Как вздумается. Чтобы навести какой-то порядок среди пешеходов, Моссовет в 1924 году ввел «Правила движения по городу Москве». Правила требовали от пешеходов держаться правой стороны, запрещали возить по тротуарам сани, кроме детских, водить по улицам скот (коз, коров), играть в футбол, волейбол, носить непокрытые зеркала (они отражали свет и могли ослепить шофера). Кроме того, правила запрещали ходить по тротуарам и бульварам воинским частям в строю и конвою с арестованными (в тридцатые годы произошло несколько несчастных случаев, связанных с наездами автомашин на колонны военнослужащих и гибелью людей). Правила запрещали штукатурам и малярам носить по тротуарам ушата и ведра с красками, известью и пр., а также ходить по улицам трубочистам с их инструментами. Трубочисты должны были переодеваться.

Необходимость научить многих жителей Москвы, переехавших в нее из сельской местности, жизни в городе вынуждала московские власти создавать всевозможные правила. В 1926 году появились даже «Правила езды на санках». А на центральных улицах установили стрелки, указывающие направление пешеходного движения, и развесили плакаты: «Держись правой стороны!» (милиционер на них держал в руке красный жезл), «Не загромождайте тротуар, идя толпой, думайте о других», «Нарушение правил ходьбы часто влечет за собою смерть», «Задавят, если будешь ходить по левой стороне» (на нем была изображена перекошенная от ужаса физиономия). Однако граждан это не пугало. Отличительной чертой наших людей уже тогда являлась торопливость, доходящая до самопожертвования.

У пешеходов, как и у шоферов, была общая проблема: дорога. Иной раз, чтобы пройти по улице, приходилось нарушать правила и выходить на правую сторону, чтобы обойти рытвину или яму. Разгильдяи не всегда огораживали ямы, подвалы, и дело доходило до трагедии. Так, 29 и 30 июня 1923 года в Москве шел сильный дождь, а вернее, ливень. Вода затопила тротуары на Неглинной улице (тогда Неглинном проезде). Когда наконец вода сошла, то в подвале ресторана «Риш» нашли утонувшую женщину. Дело в том, что незадолго до ливня перед рестораном провалился тротуар. Провал заделали, но плохо, и когда произошло наводнение, халтурное сооружение под женщиной рухнуло и она упала в яму. Говорили, что в ту же яму провалился и ребенок.

Были в Москве ямы и побольше. В октябре 1925 года в Водопьяном переулке, который соединял Мясницкую улицу с Уланским переулком (теперь его нет, а на его месте Тургеневская площадь), в яму провалилась ломовая лошадь, и пожарные вместе с милиционерами два часа вытаскивали ее с помощью деревянного подъемника и наконец вытащили.

Многие улицы в Москве были вымощены булыжником. До революции булыжники подгонялись один к другому, пространство между ними засыпалось в основном мелким гравием, а также песком. Когда ремонтировали мостовые в двадцатые годы, то подгонять булыжник к булыжнику не старались, а промежутки между камнями засыпали песком. Песок, естественно, уносился дождем, выветривался, засорял буксы трамвайных вагонов, водостоки, а в сухую и ветреную погоду превращался в тучи пыли, которые, как в Сахаре, носились над городом. Ездить же по разбитым мостовым было сущим наказанием. Один иностранец, побывавший в Москве в 1931 году, описывая свою поездку на автомобиле по Тверской улице, сравнивал себя с путешественником «в бурном море в углой лодочке».

Автомобиль с первых дней своего появления стал врагом пешеходов. «Московский автомобиль, — писала одна из газет в 1922 году, — это кошмар нашей жизни. Напившись бензину, они носятся как бешеные, не при-

знаявая правил движения (а правил-то и не было. — Г. А.). Взяли себе за правило “срезать углы”, из-за чего некоторые столбы на углах исковерканы». Большинство машин тогда было иностранных, но появлялись и отечественные. Первый советский автомобиль «АМО» мог развивать скорость 75—80 километров в час! Прибор, измеряющий пройденный автомобилем путь и скорость, назывался «верстометр».

В наше время, когда машины на Садовом кольце из крайнего левого ряда делают правый поворот, невольно вспоминаются гоголевские Селифаны, Митяи и Миняи, их полная несовместимость с какими-либо правилами, регулирующими движение транспорта. Вспоминаются и «водители» гужевого транспорта, о которых В. Ф. Одоевский пишет в очерке «Езда по московским улицам». Владимир Федорович еще в 1866 году подметил особенности московских водителей. Он обратил внимание на то, что подъезжающие к лавкам на рынке возы, легковые и ломовые извозчики становятся так, как никто не становится ни в одном городе мира, а именно: не гуськом вдоль тротуара, но поперек улицы и часто с обеих сторон ее, так что по улице невозможно проехать. Обратил наблюдательный писатель внимание также и на то, что въезжающий в ворота экипаж никогда не остановится за воротами, услышав приближение экипажа с другой стороны, а как тот, так и другой будут лезть напролом, пока один другого не сломит. Подметил Одоевский и другие несуразности в вождении московского транспорта, вызванные специфической психологией московских водителей.

Жизнь заставляла московское начальство искать пути, позволяющие справиться со стихией уличного движения. Поступали предложения о строительстве в центре города подземных улиц (предлагал это еще Л. Красин в 1925 году), воздушных переходов через главные улицы (в 1930 году), но воплотить эти планы в жизнь не хватало средств.

В 1924 году по Москве стали ходить «такси», а в 1925 году появились «таксомоторы» французской фирмы «Рено». Известный драматург, автор пьесы «Интервенция» Лев Славин описывает московских таксистов в



июньском номере «Вечерней Москвы». Он пишет о том, что племя шоферов обосновалось на Страстной площади. Обычно их человек тридцать. Всегда одни и те же. Прокатных машин в городе не более ста. Зарабатывают таксисты неплохо, в день 10—12 червонцев. Попадают им иногда богатые пассажиры, которые платят за скорость, за раздавленных собак, за острое слово, за поднесенную спичку. Таксисты ловят их у дверей кафе и ресторанов. Специально для кутящей публики имеется стоянка на Рождественке, недалеко от Охотного Ряда. Здесь много ресторанов. На шоферах (шоффэрах, как тогда писали) в любую погоду кожаные костюмы, в зубах трубка, на лбу «очки-консервы».

Прошло время, шикарные «шоффэры» в крагах, с трубками в зубах ушли в прошлое. Французский журналист Морис Родэ-Сен, о котором упоминалось в первой главе, обратил внимание на то, что за рулем американских автомобилей-такси, возивших интуристов, сидели шоферы, «неряшливый вид которых составлял резкий контраст с роскошной отделкой автомашин».

Таксисты и в те годы выбирали себе выгодных клиентов, а по ближним, соответственно малооплачиваемым адресам ехать и вовсе отказывались, ссылаясь на то, что их смена кончилась, что не их очередь ехать и т. д. Это, конечно, они делали в нарушение установленных правил. Правила позволяли пассажирам требовать у шофера такси квитанцию об оплате за проезд, а шоферу — требовать от пассажира аванс за предполагаемое время его ожидания. Согласно правилам пассажир имел право бесплатно провезти на такси багаж не тяжелее 20 фунтов (примерно 8 килограммов). Можно еще добавить, что чемоданы и корзины в салонах автомашин провозить запрещалось. Они прикреплялись к кузову автомашины сзади. За каждое место багажа с пассажира взималось по 50 копеек.

Работа таксиста, надо сказать, была тогда (как и сейчас) небезопасна. У нас почему-то считалось (и считается до сих пор), что жизнь его стоит гораздо меньше его выручки. Вот и в 1935 году В. А. Смирнов, А. Д. Чепанес и В. И. Шакурин, когда Наркомтяжпром отказался отправлять их за свой счет на Дальний Восток, по-

скольку у них не было надлежащих для этого документов, решили убить таксиста и на его деньги отправиться в далекую страну, про которую им кто-то черт-те что наговорил. Они взяли нож, молоток, бритву, наняли такси и поехали. В пути их поведение шоферу Проводину показалось подозрительным, а когда он заметил, как Смирнов провел рукой по своей шее, то не выдержал и остановил машину. Сделав вид, что что-то испортилось, он открыл капот и стал ковыряться в моторе. На его счастье рядом оказался милиционер. Все три путешественника были задержаны. Они признались в своем коварном замысле, и судебной коллегией по уголовным делам Московского городского суда под председательством Макаровой-Жук были осуждены за покушение на жизнь таксиста Проводина.

Нападениям подвергались таксисты так же, как в свое время извозчики. И автомашины угоняли так же, как раньше пролетки и фаэтоны. Однажды, 6 января 1933 года, два приятеля, Квашуков и Волков, засиделись в гостях. Вышли на Тверскую в четвертом часу утра. Тишина, улица пуста. Транспорт не ходит. Метро еще не построено. Вдруг видят: едет по улице фургон «Хлеб». Это был фургон треста «Хлебопечение», а правил лошадью, тащившей фургон, возчик восьмого конного парка этого треста Телятников. Когда лошадь своей мордой поравнялась с физиономией Квашукова, тот дыкнул на нее перегаром и, выхватив из кармана сломанный браунинг, заорал во все горло: «Руки вверх!» От такой неожиданности лошадь присела, а возчик скатился со своего места на землю. Тогда Квашуков вместе с Волковым вскочил на его место и погнал лошадь к Брестскому вокзалу. После того как фургон ускакал, Телятников пришел в себя и рассказал о случившемся встретившимся милиционерам. Им удалось догнать угонщиков. Квашуков получил пять лет, а Волков — три года. Телятников же получил свою кобылу.

Приехал Телятников в Москву в начале двадцатых годов то ли из Тульской, то ли из Рязанской губернии, из которых в Москву приезжали обычно крестьяне работать ломовыми извозчиками. Так уж повелось, как повелось и то, что из Ярославской губер-

нии приезжали в Москву мужики наниматься больше в половые или официанты, а из Костромской — в штукатуры и маляры. Жили тогда многие ломовые извозчики («ломовики») в доме 10 по Костянскому переулку, напротив Головина переулка (в те годы продолжением Головина переулка был Николодербинский переулочек, так вот на углу этого Николодербинского и Костянского переулков и стоял этот дом). «Ломовики» в нем обитали еще до революции. Жизнь извозчиков была нелегкая. Загнала их сюда бедность. Да и в Москве заработок был непостоянный: когда как повезет. Клиентов стал отнимать городской транспорт, да и сами друг у друга рвали седоков. Заедали налоги. Жили они в Москве без семьи, в грязи и неуют. Вместо жены — любовница-«матрешка», которая, как говорили, «очень сладко обнимает, очень чисто обирает». Может быть, от такой жизни ломовые извозчики были особенно злые на язык и прославились своей матерной бранью.

Справиться с лошастью не просто. Лошадь — животное нервное и впечатлительное, а извозчик озлоблен, груб и жесток. Ему не до лошадиной психологии. Что произошло с лошастью, везущей 19 мая 1924 года воз по Столешникову переулку, неизвестно, но только она неожиданно понесла, выскочила на Петровку и с размаху ударилась о витрину книжного магазина, находившегося в доме 16. Между ней и магазином оказалась женщина с ребенком. Ребенок каким-то чудом уцелел, а женщина скончалась в больнице.

Люди не винили лошадей, а винили извозчиков. Они знали, что те постоянно нарушают правила, установленные для них. Правила, например, запрещали водителям гужевого транспорта (за исключением крестьян, приехавших из деревни) ездить зимой на санях «без подрезов» (то есть тормозов), препятствующих раскату, из-за чего страдали и калечились лошади, а они ездили. Правила запрещали извозчикам привязывать лошадей к деревьям, афишным тумбам, фонарям, столбам, решеткам, выезжать на тротуар, а они привязывали, выезжали. (Старые москвичи помнят торчащие из земли вдоль бордюра тротуара и у ворот каменные и металлические (в форме гриба) тумбы, на которые

извозчики накидывали вожжи, чтобы лошадь не могла уйти.)

Нередко приходилось наблюдать, как извозчики в несколько рядов, пытаясь обогнать друг друга, мчались по улице или площади.

Бывали случаи, когда они жестоко избивали выбивавшихся из сил лошадей. По этому поводу «Известия» административного отдела Моссовета 15 января 1926 года писали следующее: «В Москве на каждом шагу наблюдается жестокое обращение с лошадьми... Очень часто лошадей с возами и кладью заставляют ходить не шагом, а рысью. Возчики снега влетают в вожжи проволоку, чтобы больнее бить лошадей. С той же целью на концах вожжей делают крючья. Тяжеловозов, едущих порожняком, заставляют идти галопом...» Однажды факт жестокого обращения с лошадью стал предметом судебного разбирательства. Произошло это 4 декабря 1927 года. Три подводы тянулись от Трубной площади к Сретенским воротам. Подъем там, как известно, довольно крутой (помните картину Перова «Тройка» — дети тащат в гору бочку с водой мимо стены Рождественского монастыря). Так вот именно на этом месте лошадь возчика Петухова выбилась из сил и остановилась. Она взмокла, задыхалась. Петухов стал избивать ее кнутом. Прохожие, увидевшие эту сцену, возмутились. Один из них, Гольдберг, сказал Петухову: «Вы дайте ей передохнуть. Видите, она без сил», на что Петухов съездил Гольдбергу по физиономии и нецензурно выругался. Подошел милиционер и также потребовал прекратить истязание лошади, попытался вырвать кнут у Петухова. Тогда Петухов стал изображать из себя припадочного: упал на землю, потом вскочил, ударил милиционера и снова упал. Когда милиционер пытался задержать Петухова, ему не дали это сделать другие возчики. Наконец с помощью второго милиционера и гражданина Гольдберга Петухов был доставлен в отделение милиции. Суд осудил его на восемь месяцев лишения свободы. Добавим еще, что пока Петухов дрался с милиционером, лошадь отдыхала.

Это был не единственный случай, когда человек, начиная с грубости и распушенности, заканчивал

тюрьмой. Николай Иванович Корябкин, шофер автобазы Мосжилстроя, имеющий образование два класса, 26 мая 1935 года оскорбил грубой площадной бранью секретаря районного комитета партии за то, что тот сделал ему замечание за варварское обращение с автомашиной. (Корябкин, правда, не знал, что мужик, который сделал ему это замечание, секретарь райкома партии, но должен был знать, как посчитали следствие и суд.) Следствие обвинило Корябкина в контрреволюционном преступлении. И быть бы Корябкину «жертвой политических репрессий», если б не Московский городской суд, который переквалифицировал его действия на статью 74-ю УК РСФСР, предусматривавшую ответственность за хулиганство, и дал ему два года лишения свободы. Оплошал Коля Корябкин. Ему тогда двадцать четыре года было, а уважать людей не научился...

И ведь не только уважать их надо было, но и жалеть. Милицонерам, извозчикам, кондукторам несладко приходилось в суровые московские морозы.

Илья Эренбург в романе «Рвач» рассуждает о российском климате: «...Все дело в климате. Для других стран это абстракция, слово из учебника географии. Там погода, хорошая или плохая, и все. Здесь же климат. Он важнее, патетичнее идей, строя, законов. Здесь он — тяжесть дыхания и мощь, гранитная, всепокрывающая мощь вшивых шкур на вялом, нечесаном, заспанном теле...» Потом об извозчике: «...извозчик — это диковинное существо, чудовище, обмотанное рыжим тряпьем, под которым булькает ругань и холодеющий чай...» О трамвае: «...Мороз крепчал... Тяжело дыша и нездоровым светом освещая синь снега, подполз засахаренный трамвай. Михаил вошел, подталкиваемый другими людьми, не сгибающимися, мертвенными, похожими на мороженые туши. Какая нищета была в этом, в плотности застывающего дыхания, в густоте запахов, в сиплом выкрике кондукторши, у которой изморозь выела ресницы: “Граждане, уплотнитесь!”»

Да, немало тяжелых и безрадостных судеб сгребал в охапку московский трамвай и волок по площадям и улицам... Военные, послевоенные судьбы... Но годы

шли, шоферы стали образованнее, исчезли извозчики (последний в 1935 году возил туристов вокруг «Метрополя»), не стало такси фирмы «Рено», двухэтажных троллейбусов, но трамвай остался. Время оттеснило его на окраины, но он, как и раньше, представляет собой тот же ковчег для чистых и нечистых, праведных и грешных, трудящихся и тунеядствующих, катящийся по улицам нашего города. Скромно и не торопясь, добрался он до наших дней и въехал в третье тысячелетие. Пожелаем ему доброго пути.

## ГРЕШНЫЙ МИР МОСКВЫ

*Снимай шубу!* — Ограбление Купеческого клуба. —  
*Шайка «Черный ворон».* — Бандиты-интеллигенты. —  
*Банда палачей.* — Агенты МУРа. — *Скорбный список*  
*милиции.* — *Малины и притоны.* — *Милиционер-*  
*убийца.* — *Гомосеки.* — *Чистка в органах.* — *Хулиганы.* —  
*Воры.* — *Убийцы.* — *Убийство А. А. Иловайской.* —  
*Белый Отелло.* — *Мошенники*

«Полиция» — слово немецкое и означает, согласно словарю иностранных слов, вышедшему в Санкт-Петербурге в 1881 году, заведование общественным порядком. Слово «милиция» латинского происхождения и на русский переводится как «войско», «рать», «служба». После революции необходимость в создании рати, обеспечивающей порядок в стране, стала очевидна, и она была создана — рабоче-крестьянская милиция. Излишне говорить, что это, скорее, было ополчение по борьбе с бандитизмом, чем организация по борьбе с преступностью. Учились сотрудники милиции на ходу, на собственных ошибках.

Преступный мир тоже пополнился новичками. Многие война и революция выбили из колеи. Вернулись с фронта люди, привыкшие убивать. Безотцовщина и сиротство толкнули на преступный путь зеленую молодежь. Москвичи стали жить в страхе. По городу поползли слухи и легенды об ограблениях и бандитских налетах. Рассказывали о питерских «попрыгунчиках» огромного роста, одетых в белые саваны, которые нападают на людей около кладбищ и грабят их, о листовках со словами: «Граждане, до десяти часов шубы ваши, после — наши». Холодно, топить дома нечем, и шуба приобрела особую ценность, да и брать у многих,

кроме нее, стало нечего. Поэтому, наверное, немало историй было связано именно с шубами. Когда темнело, по закоулкам города бродил призрак титулярного советника из Петербурга Акакия Акакиевича Башмачкина.

Рассказывали, например, как к одному господину, одетому в богатую медвежью шубу, на одной из плохо освещенных улиц подошел маленький мальчик и как-то жалобно, но противно сказал: «Сымай шубу, дядя». Господин удивился, но ничего не ответил, а продолжал идти дальше. Мальчик догнал его и повторил свое требование. Тогда владелец медвежьей шубы выругался и пригрозил отвести попрошайку в милицию. Мальчик захныкал, но требовать шубу не перестал. Еще немножко, и он получил бы подзатыльник от возмущенного господина, но в этот момент невесть откуда появился здоровенный детина и хриплым басом грубо сказал: «Ну, сымай шубу, чего зря дите мучишь!» Пришлось шубу снять.

О новых формах работы с людьми в преступном мире свидетельствовали такие истории: бандит снял с девушки шубу, а также платье и туфли, а потом проводил до дома, передал родственникам и только после этого ушел. Или такой случай. Он произошел на Ордынке. К мужчине подошли два бандита с пистолетом и потребовали снять шубу или отдать 10 тысяч. Иван Иванович (назовем так потерпевшего) возвращался из гостей, где выиграл в карты приличную сумму. Ее-то он и отдал грабителям, а те ему расписочку в получении денег. Иван Иванович удивился, но расписку взял. Вскоре к нему подошли другие бандиты и потребовали шубу или деньги. Он им квитанцию показал, сказал, что его только что ограбили. Бандиты посмотрели квитанцию и отпустили его.

Бывали случаи и похлеще. Связаны они больше с актерами. Может быть, актеры сами их выдумывали, а может быть, рассказывая про известных людей, рассказчики рассчитывали привлечь к себе большее внимание и сделать свою историю интереснее — не знаю. Как говорится: хотите — верьте, хотите — нет. Так вот, один известный артист возвращается из гостей домой,



разумеется, навеселе. К нему подходит неизвестный и просит закурить. Актер стряхивает пепел с папиросы и подставляет ее неизвестному. Тот долго прикуривает, благодарит и уходит. Пройдя несколько шагов, артист обращает внимание на то, что у него на руке нет золотых часов. Его как молния пронизывает мысль: часы украл незнакомец. Актер догоняет его, набрасывается, сваливает на землю и срывает с руки часы (этот мерзавец уже успел надеть их на свою поганую лапу!). На прощание он пинает поверженного вора ногой и идет домой. Дома, сняв воротничок рубашки и расстегнув на животе брюки, он рассказывает жене о произошедшей с ним истории, ожидая восторженной реакции, но вместо этого слышит: «Какие золотые часы, вон они, на туалетном столике, ты забыл их дома». — ???!!!

Невероятную историю рассказывали про другого известного актера. С того бандиты сняли шубу, ну а чтобы не замерз, кинули какую-то рвань. Жена артиста на всякий случай (время ведь тяжелое) решила осмотреть брошенное мужу пальтишко: может, на что и сгодится. Отпоролла подкладку, а под ней нашла сверток с бриллиантами и золотыми монетами.

Такого рода рассказы были утешительны для пострадавших, но порядка в городе не прибавляли. Преступники нагнали.

Нередкими стали и ограбления церквей. 26 сентября 1918 года был ограблен Казанский собор на Никольской улице. Бандиты ранили дьякона Разумовского, похитили икону Казанской Божьей Матери, украшенную драгоценными камнями, среди которых были шестьдесят один бриллиант и тринадцать изумрудов, не считая аквамарин и яхонтов.

В ночь на 10 июля 1918 года из церкви Святой Троицы на Капельках, что на 1-й Мещанской улице, воры, взломав решетку окна, похитили восемь икон, потир, дискос, звездицу, две лжицы, два ковша, лампадку, дарохранительницу и наперсный крест.

Грабили, конечно, не только церкви. Врывались налетчики и в рестораны, клубы, одним словом, туда, куда влекло их человеческое мясо, перемешанное с золотом и бриллиантами.

Вообще, кто не мечтал красивым и элегантным войти в зал ресторана, где прожигают жизнь обрюзгшие дельцы и их дамы, продающие им за устричный писк и тягучую зелень ликера свою красоту и молодость, и, достав из кармана парабеллум, скомандовать: «Руки вверх!» — тот не романтик.

5 июля 1917 года такие «романтики» совершили нападение на Московский купеческий клуб на Малой Дмитровке (теперь в этом здании Театр им. Ленинского комсомола). В клубе находилось четыреста человек. Немало среди них было дельцов, биржевых маклеров. Примерно сто посетителей проводило время на стеклянной террасе, выходявшей в сад. Рядом в большом зале за четырьмя столами шла игра в карты. Вдруг в вестибюле раздались выстрелы и в игорный зал вошли несколько человек, вооруженные револьверами. Они скомандовали: «Ни с места, руки вверх!» Несмотря на то, что среди присутствующих были военные, сопротивление не оказывалось. Вскоре вошли еще восемь бандитов. Всеми командовал прапорщик, (большинство грабителей были в военной форме), который кричал: «Руки вверх! Стоять смирно!» Некоторые посетители клуба успели сбежать, кое-кто спрятался в саду, но большинству пришлось отдать бандитам деньги и драгоценности. Для острастки бандиты несколько раз выстрелили. В стеклах террасы остались отверстия от пуль. Милиционеры охраны клуба в это время находились в подвале, куда спустились попить чаю. Так их никто и не увидел. Окончив грабеж, бандиты по команде «Товарищи, отступаем!» ушли. Потом выяснилось, что бандиты (их было человек двадцать) подъехали к клубу на грузовике, схватили за руки швейцара, приставив к виску револьвер, содрали с него ливрею и вошли в клуб. Один из работников клуба выстрелил, убив бандита, но и сам был застрелен. Бандитов не нашли. Было не до них. После революции дело прекратили.

3 апреля 1918 года Всероссийская чрезвычайная комиссия обратилась к гражданам с таким воззванием: «Лицам, занимающимся грабежами, предлагаем совершенно отрешиться от своей деятельности, зная вперед, что через двадцать четыре часа по опубликовании этого

постановления все застигнутые на месте преступления немедленно будут расстреляны». Шутить чекисты не любили, однако даже самыми крайними мерами с бандитизмом покончить было нельзя.

На борьбу с преступностью требовалось мобилизовать массы. Люди же были запуганы и боялись сообщать милиции о преступлениях и преступниках. В подготовленной начальником московской милиции Карлом Гертовичем Розенталем в марте 1918 года инструкции уголовно-разыскной милиции имелся пункт, в котором председателю Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов предлагалось издать декрет, обязывающий население города Москвы под страхом ответственности сообщать о всех преступлениях и проступках. 26 января 1919 года московский окружной комиссар по военным делам издал приказ № 157. В нем было сказано: «Всем военным властям и учреждениям народной милиции в пределах линии Московской окружной железной дороги расстреливать всех уличенных и захваченных на месте преступления бандитов, виновных в производстве грабежей и насилия. Всем гражданам Москвы, имеющим какие-либо сведения, немедленно сообщать все им известное лично по телефонам: 4-22-60, 2-87 и 26-84 в отделы охраны Москвы по военным делам... Виновных в несообщении известных им сведений надлежит наказывать наравне с бандитами, коих они укрывают. Окружной военный комиссар Н. Муралов».

Особенно яркая вспышка бандитизма в Москве пришлось на 1922 год. После окончания Гражданской войны этим промыслом занялись мародеры. Появились банды и шайки, большие и маленькие. Банды Глобы, Панаетова и другие насчитывали несколько десятков человек.

Шайка «Черный ворон» состояла из шести человек. Действовала она в районе Арбата. Совершала ограбления. Убийство за ней числилось только одно. Состояла в ней одна дама, Лидия Федоровна Костромина, дочь петербургского чиновника. Окончила гимназию, поступила на высшие женские курсы, но будущее учительницы ее не прельщало. Влюбилась, сошлась, забе-

ременела. Пришлось уйти из дома. Стала кокоткой. Шикарная жизнь: рестораны, казино. Революция все испортила. Костромина переехала в Москву и вышла замуж: надо было как-то жить. Познакомилась с братьями Одинокowymi и Гороховым. Решили создать банду. Лихая жизнь длилась недолго и закончилась у забрызганной кровью тюремной стены.

Вообще, в преступном мире того времени все чаще стали появляться «классово чуждые элементы». Выбитые из жизни войной, конфискацией собственности, потерей работы, обычного рода занятий, люди становились на преступный путь. Свои дореволюционные замашки они вносили и в преступную деятельность. Они вежливо вели себя с дамами и любили эффектные сцены. Одна такая банда, ворвавшись в квартиру нэпмана, когда там шло застолье, заперла хозяев и гостей в ванной, а сама заняла место за столом. Распив шампанское и закусив, бандиты завладели ценностями и покинули «гостеприимный» дом. Всего, как было установлено, шайка совершила весной 1923 года более двадцати вооруженных ограблений. Об этой банде писали даже парижские газеты. В конце концов ее участники были арестованы, и в декабре 1923 года судебная коллегия Мосгубсуда под председательством Кондрашкова приговорила почти всех подсудимых к расстрелу. Верховный суд РСФСР заменил части осужденных смертную казнь десятью годами лишения свободы, но смертный приговор в отношении Жукова, Яковлева, Поегли, Линденберга оставил без изменения. Август Мартынович Поегли, которому тогда было тридцать лет, находился в Лефортовской тюрьме и ждал расстрела. Он не знал, что суд заменил потом и ему смертную казнь на лишение свободы, и свое спасение видел только в побеге. Сидевший с ним в одной камере двадцатидвухлетний Горшков, также приговоренный к расстрелу, решил бежать вместе с ним. Камера их находилась на первом этаже. «Добрые люди» подсказали им, что под камерой находится коридор, ведущий на улицу. Ночью они проломали ножками кроватей пол, спустились в подвал и по коридору вышли на дорогую свободу. Поегли подался в Петроград. Здесь он повстречал Кры-

лова по кличке «Сережка Петроградский», бежавшего с Соловков, и совершил вместе с ним несколько краж со взломом. Крали они дорогие по тем временам пишущие машинки из разных учреждений Москвы, Смоленска, Рязани и других городов. Потом их поймали и дали по десять лет. При всей ценности пишущих машинок для молодого Советского государства суд, наверное, учел, что Поегли и Крылов не являлись убийцами.

Были и другие бандиты. На преступлениях они наживались не больше, чем те, о которых мы только что упоминали, но в них они находили выход своим звериным чувствам. Это были палачи и садисты.

В Москве на Поклонной горе в деревянном домишке жила семья Павла Морозова, всего шесть человек. Весной 1922 года бандиты вошли в их дом, связали несчастных, зарубили топором, а дом подожгли. Вскоре сожгли дом 58 по Нижне-Красносельской улице, в котором ограбили и убили тем же способом семью Мамина и четырех квартирантов. Потом такие же преступления совершались бандой в Московской, Калужской и других областях. Бандиты убивали всех и не оставляли свидетелей. Но одной девочке, Анне Поздняк, удалось избежать смерти: она забралась под кровать, и бандиты ее не заметили. Вот что она рассказала: «Бандиты завели всех в одну комнату, связали руки, ноги, а некоторым завязали глаза. Когда мужчины вышли, следить за связанными осталась женщина с пистолетом. Тут в комнату вошел высокий рыжий мужик, одетый в длинный серый армяк, он что-то придерживал под полой, потом сказал: “Ну, все готово”. Затем подошел к моему отцу и ударил его топором по голове. Все стали кричать, биться, просить пощады. Убийца убивал, ругаясь площадной бранью. Когда все были убиты, трупы бросили под пол». Всего таким способом бандитами было убито более ста человек. Наконец, после одной из расправ, преследующий банду агент уголовного розыска Степанов, гнавшийся за преступниками 65 километров, пришел в деревню Лобрево Сычевского уезда Смоленской губернии. Здесь он арестовал девятнадцатилетнего Ивана Крылова, который ему назвал другого участника банды — Смирнова и его сожительницу Винокурову. Сте-

панов задержал Смирнова, приставил к его лбу пистолет, после чего тот назвал ему фамилию главара, Василия Сергеевича Котова, и его подручного, Григория Ивановича Морозова-Саврасова. Оказалось, что этот Морозов-Саврасов и был тем рыжим мужиком с топором и в длинном сером армяке, который убивал людей. Это был бандит с дореволюционным прошлым. За убийство городского он в свое время получил пятнадцать лет каторги. Революция выпустила его на свободу. Арестовать Морозова-Саврасова не удалось. 23 сентября 1922 года, когда он вместе с Котовым устроил засаду у большой дороги с целью ограбления, Котов убил его. Дело в том, что последнее время Морозов-Саврасов много пил и стал невоздержан на язык. Котов боялся, что он может выдать банду. Крестьяне села Апрелевка (под Москвой) нашли в конце сентября 1922 года недалеко от дороги труп неизвестного и закопали его. Котов и другие бандиты были схвачены и приговорены к расстрелу.

Большинство преступлений эта банда совершила не в Москве, а в окружающих ее городах и городках, а вот исключительно московской «знаменитостью» стал извозчик Петров-Комаров. Он заманивал к себе в дом на Шаболовке легковерных крестьян, приезжавших в Москву и торговавших на Конном рынке, который находился на углу Мытной улицы и Добрынинского переулка, ставил на стол угощение: самогон, мадеру — и в самый неожиданный момент наносил жертве удар молотком по голове. Завладев деньгами и имуществом убитого, он клал связанный труп в мешок и отвозил его в полуразрушенный дом в Конном переулке или в дом 24 на Шаболовке. Так он убил более тридцати человек. Петров-Комаров был алкоголиком. Жена боялась его и помогала в совершении преступлений. О кровавом бандите говорила вся Москва. Бывали случаи, когда преступники, чтобы запугать жертву, говорили: «Вяжи его комаровским узлом». В 1923 году кто-то написал мелом на стене Сухаревой башни: «Просят здесь не останавливаться воров, а то вас Комаров в мешок», а на стене кинотеатра на Лубянке красовалась громадная картина в красках, в стиле лубка: Комаров громад-

ным молотком убивает крестьянина, сидящего за самоваром и мадерой.

Вообще о бандитах писали газеты, о них ставили фильмы, писатели сочиняли романы и повести, а поэт Владимир Маяковский в одной своей авиачастушке затронул тему бандитизма так:

Летчик! эй! вовсю гляди,  
За тобой следит бандит.  
— Ну их к черту лешему,  
Не догнать нас пешему!

То, что было легко сделать летчику, не под силу простому гражданину. Оставалось только завидовать покорителям неба. Вот бандитам действительно было все доступно. Вели они себя вызывающе. Совершали нападения среди бела дня. Например, 5 июля 1923 года семь вооруженных бандитов вошли в ювелирный магазин Кроля, находившийся в доме 12 по Арбату. Бандиты назвали себя анархистами, угрожая револьверами, загнали хозяина и покупателей в отдельную комнату и там заперли, а сами забрали ценности на 500 миллионов рублей и скрылись.

Среди преступников попадались такие, которые хвастали, что они не боятся милиции, что тюрьма для них — родной дом, что жизнь — копейка и пр. Но все же у большинства из них имелась одна слабость — они были суеверны.

Правда, действовала в Москве одна шайка, которая в этом отношении являлась исключением. Состояли в ней Лоскутов, Ларичев и Филяев. Совершать преступления они начали 13 апреля 1923 года. Потом, на допросе в суде, Лоскутов сказал: «Все говорят тринадцатое — “несчастный день”. Ежели им (потерпевшим) несчастный, значит, для нас, грабителей, счастливый». В тот «счастливый» день бандиты, вооруженные револьверами, напали на магазин «Конкордия» на Земляном Валу (был еще магазин с таким названием в доме 19 на Сретенке). Войдя в магазин, скомандовали: «Руки вверх!» Пока продавцы и покупатели стояли с поднятыми руками, бандиты забрали из кассы 512 рублей, сняли с вешалки шубу с бобровым воротником, а с покупателей

часы и кольца и, выйдя из магазина, заперли его сна-  
ружи на висячий замок. Потом сели в нанятый ими для  
налета автомобиль и направились на Владимирское  
шоссе (теперь шоссе Энтузиастов). Отъехав недалеко  
от города, велели шоферу остановиться. Здесь они его  
ограбили, связали и бросили. На автомашине верну-  
лись в город и ограбили два винных магазина: на Спас-  
ской и Садово-Триумфальной улицах, забрав деньги из  
кассы.

Другие бандиты, не побоявшись Бога, совершили в  
декабре 1924 года налет на квартиру патриарха Тихона  
в Донском монастыре. Патриарха дома не было, а его  
послушник, Я. А. Полозов, оказал им сопротивление и  
двумя выстрелами был убит.

Дать достойный отпор бандиту, убийце и прочей  
нечисти может, конечно, не каждый. Для этого существ-  
ует милиция.

На третий день после революции, то есть 28 октября  
(10 ноября) 1917 года, вышло постановление Совета  
народных комиссаров «О рабочей милиции». По  
существу, создавались вооруженные отряды для наве-  
дения порядка, и поначалу им было не до сыска и  
розыска. Лишь спустя год, 5 октября 1918 года, Нарко-  
мат внутренних дел выпустил инструкцию о создании  
уголовного розыска. Он был тогда частью милиции, к  
тому же, помимо своего непосредственного началь-  
ства, работники уголовного розыска подчинялись мест-  
ным Советам. 10 июня 1920 года вышло «Положение о  
рабоче-крестьянской милиции». Согласно ему создава-  
лась уездная и городская, промышленная, железнодо-  
рожная, водная (речная и морская) и розыскная мили-  
ция. Именно в этом положении руководители подраз-  
делений милиции были названы «начальниками». Это  
название на много лет станет обобщенным названием  
работника милиции для наших не очень задумываю-  
щихся о смыслах граждан.

Повседневное руководство всей деятельностью  
милиции и уголовного розыска в масштабе страны в  
то время осуществляли Главное управление милиции  
и входящий в него «Центророзыск». В конце 1922 года  
отдел уголовного розыска Главного управления мили-



ции стал самостоятельным, он продолжил деятельность «Центророзыска».

Принимались меры к профессиональному (и не только) обучению работников милиции. Далеко не все из них умели читать, писать и считать. Малограмотность была бичом милиции. Вот, к примеру, протокол задержания, составленный одним из агентов МУРа в 1928 году: «Я заметил извеснава вора Сашку Пучкова в руке с падазрительными новыми сапагами которы крадены а посеум на основании ст. 100 УПК постановил: Сашку как он есть преступный элемент задержать и доставить в УРО на предмет установления личности». А ведь в МУРе с первых дней его существования имелись курсы для ликвидации безграмотности. Работавший тогда начальником Управления уголовного розыска Москвы и Московской губернии Фрейман 1 января 1921 года даже издал такой приказ: «Вменяется в обязанность всем безграмотным и малограмотным сотрудникам МУРа аккуратно посещать школу ликвидации безграмотности при Управлении... Присовокупляем, что посещение школы обязательно и к манкирующим будут применяться репрессивные меры». Лица, пропускающие занятия, назначались на внеочередное дежурство. Когда этой меры стало недостаточно, начальник МУРа пригрозил в приказе от 5 февраля 1921 года принимать более решительные меры, вплоть до ареста.

Нельзя забывать, что работников царской полиции в милиции практически не осталось. На них не распространялось отношение к военспецам, которое практиковалось в армии. Вместе с тем должность сотрудника милиции, наделенного большими правами, была соблазнительна для всяких проходимцев. Вообще, стало распространенным явлением производить обыски и конфискации в квартирах состоятельных людей, действуя под вывеской ЧК, ОГПУ или милиции.

Распознать и обезвредить «оборотней» было не просто. В то время в милиции и уголовном розыске не существовало ни особой инспекции по кадрам, ни секретной агентуры. Денег на оплату нелегкого, опасного, но столь необходимого труда агентов у государства не

находилось. К тому же не было никаких инструкций и указаний на этот счет. Может быть, наверху сомневались в необходимости существования секретной агентуры в государстве рабочих и крестьян? Но какой же уголовный розыск без секретных агентов? Их отсутствие или нехватку не могли компенсировать ни суровые меры к преступникам, ни штат следователей, который существовал в двадцатые годы в МУРе. Так или иначе, работа этого необходимейшего из учреждений стала кое-как налаживаться лишь в 1921 году. Вышел даже приказ, который в виде опыта, на три месяца, вводил норму раскрытия преступлений. Если в течение месяца сотрудник раскрывал менее 60 процентов преступлений, то ставился вопрос о его увольнении. Конечно, проверки жизнью такой приказ не выдержал. Работники уголовного розыска находили много способов, позволяющих им манипулировать цифрами. И в резерве имели преступления, которые, в случае необходимости, всегда можно сделать «раскрытыми», и могли «уговорить» вора взять на себя лишнюю кражу. Халтурщики находили много способов и для того, чтобы скрыть истинное положение вещей, стараясь сэкономить силы на работе. Один такой халтурщик на вопрос, почему он не проверил как следует виновность подсудимого в совершении преступления, ответил: «Плевать, это пусть суд разбирает. Наше дело поймать, маленько выяснить и отослать». Не все, конечно, так думали. Большинство работало хорошо. Повышались требования и к соблюдению законности. В приказе начальника московской милиции № 20 от 17 мая 1921 года указывалось на то, что никто не может быть заключен под стражу без протокола задержания, в котором должно быть указано: когда, в какие часы, где, за что, при каких обстоятельствах задержано то или иное лицо, как назвало оно себя при задержании. В отдельном протоколе личного обыска должно быть зафиксировано все обнаруженное и изъятое у задержанного и сдано дежурному милиционеру для доставления вместе с ним в МУР. А приказ № 9 от 28 февраля того же года предписывал составлять опись изъятых вещей с участием оценщика, указывать вес драгоценных камней в каратах, золота и серебра

в золотниках. Государство заботилось и о своем престиже, и о своей материальной выгоде. Ведь все похищенное в конце концов должно было стать его собственностью. И агентура стала потихоньку вербоваться. В Государственном архиве Москвы сохранилось «обязательство» некой Гуляевой, которая 12 октября 1922 года подписала его. В нем она обещала «не разглашать конспирации секретной части, как в бытность на службе, так и по выходе из таковой, под страхом предания суду Ревтрибунала». «Все сведения,— сказано в «обязательстве», — по выданным мне заданиям будут предоставляться без всякого вымысла и подписываться кличкой (псевдонимом) Крылова, за которую отвечаю, как за свою собственную фамилию».

Общественная мораль и теперь осуждает агентов, но нельзя забывать того, что многим из них те же москвичи обязаны избавлением от опасных преступников, сохранением своего имущества, а то и жизни. Эти «бойцы невидимого фронта», а их немало погибло от рук преступников, достойны уважения и благодарной памяти.

Иное дело агенты политической полиции во времена бесчеловечных режимов, как это было у нас при Сталине. Большинство из них сыграло мрачную роль в жизни своих соотечественников. Кто-то из них, возможно, и служил своей любимой советской власти, а кто-то понимал всю низость своего падения и страдал. Оправданием в собственных глазах был для таких людей лишь страх смерти и лишений. Некоторых из них эта иудина служба не спасла, они разделили участь своих жертв, других poslali в лагерь за отказ от сотрудничества. Вот как сложились судьбы некоторых агентов. Студент МВТУ З. принадлежал к оппозиции и был в 1925 году завербован работниками ОГПУ. Поскольку, несмотря на данную подписку, он на своих товарищей доносить не стал, его арестовали и дали пять лет.

Бывший священник К., являясь агентом НКВД, скрыл от своих хозяев встречи со священниками, высказывавшими антисоветские взгляды. Получил за это пять лет лагеря. Случалось и так, что агенты злоупотребляли своим положением. Некая С., инспектор отдела кадров

в системе Наркомлеса СССР, использовала свое положение сексота для того, чтобы избавиться от своей соперницы — жены некоего Р. Она сообщала в НКВД о том, что та работает на иностранную разведку. Ни в чем не повинного человека арестовали. Это было в 1935 году, а в мае 1941-го, когда С. отказалась сотрудничать с НКВД, ее саму арестовали и отправили на пять лет в лагерь.

Работник Горздравотдела Х., для того чтобы выслужаться перед НКВД, оговаривал людей, сообщая «куда следует», как тогда говорили, о их антисоветских высказываниях. Делал он это не бескорыстно. Присматривал, кто из знакомых побогаче, входил в доверие, «стучал» на них, а сам тем временем брал у своих жертв вещи и деньги «на сохранение» («время тяжелое, не ровен час что случится, а у меня как в сберкассе»). Когда оклеветанных им людей арестовывали, Х. завладевал их ценностями. В октябре 1942 года его самого арестовали и отправили в лагерь на десять лет. Такого не жалко.

Репрессии двадцатых-тридцатых годов прокатились и по милиции. В 1937 году был арестован и расстрелян комиссар милиции 3-го ранга Л. Д. Вуль. С 1930 по 1933 год он был начальником МУРа, а потом, вплоть до ареста, начальником московской милиции. Коснулись репрессии и рядового состава. Например, милиционер 37-го отделения Алексеев в феврале 1927 года за то, что ругал коммунистов, был выслан из Москвы на три года. Пять лет концлагеря получил в 1932 году участковый Богущкий за то, что при поступлении в милицию в 1931 году скрыл факт проживания за границей родственников. Милиционер охраны Парка культуры и отдыха Голицын в мае 1931 года получил три года за то, что постоянно выказывал недовольство условиями жизни рабочих и крестьян и расшифровал себя как секретного информатора ГПУ среди сотрудников милиции. Милиционер отряда регулирования уличного движения при 9-м отделении милиции Есаков в 1933 году был осужден на три года лишения свободы за то, что при поступлении на работу в милицию скрыл свое социальное происхождение, то есть то, что родился в семье помещика, и, кроме того, за то, что «написал анонимное письмо контрреволюционного содержания на имя Кагановича

и Булганина», в котором указал «на неправильные действия советской власти в улучшении быта милиции и ее материальных условий», а проще говоря, на тяжелую жизнь милиционеров. В 1932 году работники уголовного розыска Козылев и Лелапш были репрессированы за распространение слухов о засилье евреев в аппарате ОГПУ Нижне-Городского (как тогда писали) края. Надо признать, что Козылев и Лелапш были не так уж далеки от истины. Особенно много евреев тогда работало в отделе, ведающем местами лишения свободы Нижегородского ГПУ. Компания так заворовалась, что осужденных одевать стало не во что. По этому поводу проводилось расследование, виновные понесли наказание.

Руководил в то время Нижегородским ГПУ Матвей Самойлович Погребинский. До этого он возглавлял Болшевскую коммуну под Москвой, ту самую, о которой был снят кинофильм «Путевка в жизнь». Погребинский был интересным и предприимчивым человеком. Им при Нижегородском управлении ГПУ была создана оперативная группа из бывших уголовных преступников для борьбы с воровством и другими преступлениями. В этой группе состояли такие известные в то время личности преступного мира, как Шелухин по кличке «Гуливан», «Колька-мясо», «Карахан» и др. Идея была интересная, имелись даже кое-какие результаты, но поддержки она не нашла. Бандиты оставались бандитами со своей психологией и привычками. Сделать из них нормальных, честных людей и одновременно оставить членами преступных сообществ было невозможно. Эксперимент Погребинского провалился. После убийства С. М. Кирова обстановка в органах стала тяжелой. Московское руководство требовало больших дел. Погребинского стали обвинять в том, что он занят мелочовкой, а «враги народа» на свободе. Тогда в управлении начались «конвейерные допросы» людей, схваченных по подозрению, стало применяться насилие. Покровитель Погребинского Генрих Ягода был снят с должности комиссара внутренних дел, а затем расстрелян. Застрелился и сам Погребинский, оставив жене записку: «Я Ягоде беспредельно доверял, а он оказался

врагом народа, поэтому я жить не могу. Кончаю самоубийством. Передай детям, что уехал я в длительную командировку. Прощай». Погребинский находился в оппозиции к сталинскому руководству. Еще в 1931 году, как-то приехав в Москву, в гостинице «Селект», в присутствии Крючкова — секретаря М. Горького и его, Погребинского, секретаря Жидкова, он восхвалял Рыкова (его тогда как раз сняли с поста председателя Совнаркома) и ругал Сталина и Молотова, их политику по отношению к крестьянству. Кто-то предложил обратиться к Ягоде, чтобы он принял какие-нибудь меры, на что Погребинский бросил фразу: «Разве Ягода хозяин, он только исполнитель».

Но вернемся на несколько лет назад.

Несмотря на отдельные, внушающие оптимизм, сдвиги, положение в милиции продолжало оставаться тяжелым. В конце февраля 1922 года началась чистка с целью удаления из органов «негодного, примазавшегося элемента». Вычищались не только «темные личности», но и классово чуждые элементы, — милиция должна была стать рабоче-крестьянской и соответствовать своему названию. На руководящие должности выдвигались коммунисты.

В отчете мосгубпрокурора за первое полугодие 1923 года о качественном составе работников московской милиции было сказано следующее: «За немногими исключениями агенты МУРа являются подготовленными к исполнению возложенных на них заданий. Состав же и работа оперативной группы МУРа могут быть названы хорошими. Менее подготовленными к своей работе являются работники московской милиции. Многие не обладают достаточным для ведения дознания опытом, плохо знакомы с УПК (уголовно-процессуальным кодексом) и инструкцией по организации дознания, а кроме того, иногда не обладают самой простой грамотностью. Обычным явлением является неполнота дознания и неумело составленные протоколы, при которых бывает трудно составить правильное представление о деле. Один из крупных недостатков в работе органов милиции выражается в том, что в большинстве случаев при сознании обви-

няемого лица проводящие дознание ограничиваются этим сознанием и не собирают других улик. Недостаток этот наблюдается даже в работе МУРа». Автор этих строк, наверное, и не предполагал, сколь живуч этот недостаток

В 1924—1925 годах, после проведенной чистки, из московской милиции было уволено около пятисот человек. В штате ее насчитывалось тогда свыше семи тысяч сотрудников, что составляло лишь половину довоенного уровня. После чистки кадры милиции значительно обновились, но текучесть их не прекратилась. Например, в 1925 году в 10-м отделении милиции в Хамовническом районе из шестидесяти работников уволилось сорок семь и столько же было принято новых. Тяжелый труд и низкая оплата его заставляли людей искать более выгодную работу. «Голодный милиционер — плохой сторож государственного достояния и порядка. Милиционер должен быть материально обеспечен» — эти слова, напечатанные жирным шрифтом в журналах и газетах, воспринимались как лозунг дня. В первые послереволюционные годы милиционеры донашивали военное обмундирование. И если штанов и гимнастерок еще хватало, то с обувью было совсем плохо. Как и армию, милицию обували даже в лапти. Существовала специальная Чрезвычайная комиссия по заготовке и распределению валенок и лаптей — «Чеквалап». Большой радостью для милиционера были обыкновенные галоши. В архиве сохранилось письмо комиссара по хозяйственной части Совета Московской народной милиции на имя комиссара Первого Серпуховского комиссариата следующего содержания: «Сообщаю для сведения, что командный состав и служащие комиссариатов могут получить галоши из хозяйственной части МНМ лишь при представлении своих паспортов по ходатайству участкового комиссара, причем необходимо представлять именные списки всех нуждающихся в галошах служащих». Галоши на заре советской власти были действительно большой ценностью. И хотя предприятия «Резинотреста» уже в 1925 году выпускали их до девяносто двух тысяч пар в год, галош все равно не хватало. Много пар уходило за границу, прежде всего в

восточные страны, а также в Румынию, Латвию, Эстонию. Существовало отделение нашей фирмы по продаже галош даже в Вене. Одно время галоши отпускали только членам профсоюза, но когда члены стали давать свои книжки напрокат за умеренную плату нечленам, этот порядок отменили. А вот инвалиды Давыдов и Вознесенский благодаря галошам вошли в историю (о них писали в газете). Пользуясь льготами, они вставали в очередь в магазин «Резинотреста» и покупали галоши, а потом продавали их на базаре, естественно, дороже. Что поделаешь, с одеждой было трудно. Полицейская форма была запрещена, а новая, советская, еще только зарождалась. Милиционеры в начале двадцатых годов нередко вообще ходили в гражданской одежде.

Руководители органов милиции пытались заставить подчиненных следить за своим внешним видом. Начальник милиции одного из районных управлений милиции Москвы в 1922 году издал по этому поводу такой приказ: «При объездах отделений милиции и района мною замечено как в резервной, так и в постовой службе, что т.т. (товарищи) милиционеры, нередко и комсостав, встречаются в домашних пиджаках и разноцветных рубашках, что при исполнении служебных обязанностей буквально недопустимо. Одетые же по форме, в шинелях и гимнастерках, находятся в большинстве настолько в неряшливом виде, что перед тобой, думаешь, находится не представитель РКМ, а какой-нибудь сторож от нэпмановских магазинов... Необходимо требовать от каждого солдатской выправки... Неряшливый вид подрывает доверие граждан. Необходимо напрячь все усилия, все наше внимание и всю нашу сознательность и достичь того, чтобы граждане смотрели на РКМ не как на разгильдяев, а как на образцовую и дисциплинированную часть. Приказание это считаю боевым, на замеченных в неисполнении его буду налагать самые строгие взыскания. Приказание вывесить на видных местах». Читаешь такой приказ и видишь этого усталого, но волевого начальника, болеющего за дело, страдающего от невозможности изменить существующее положение без каких-либо крайних мер.



В январе 1923 года вышел приказ о новой форме одежды. Зимой 1924 года на милиционерах появились черные шинели с красным воротником.

Сложное, а то и безвыходное положение в вопросах снабжения порой разрешалось довольно просто: путем реквизиций, а вернее, конфискации, поскольку компенсировать изъятое имущество, как это должно быть при реквизиции, никто не собирался. Когда, например, милиции понадобились шкафы с ящичками для картотеки, начальник административного отдела Москвы предложил руководителям комиссариатов «воспользоваться правом, предоставленным последним декретом СНК (Совета народных комиссаров) о реквизиции мебели». В письме есть такие строки: «Я полагаю, что таким путем вопрос о шкафах разрешится быстро и в благоприятном смысле». Когда Бутырскому Совету потребовалось сено, начальник административного отдела обратился с письмом к заведующему Всехсвятским комиссариатом (то есть к начальнику отделения милиции) с таким посланием: «Прошу посодействовать подателю сего реквизировать один-два воза сена для лошади Административного отдела, везущих с целью спекуляции». Грамматику и стиль письма оставим на совести автора, а вот вопрос о том, было ли конфискованное сено предметом спекуляции или его конфисковали в угоду начальству, остался без ответа. Одно ясно, что работать в руководящих органах хорошо даже лошадыю: от голода не помрешь. Добавим еще, что реквизиции эти производились в 1918—1919 годах.

Отношение к собственности в те годы соответствовало духу времени. Вот что говорилось на эту тему в приказе № 89 по московской милиции от 6 сентября 1919 года: «...для советской милиции спекулянт, мошенник, всякое лицо, нарушающее распоряжения центральной или местной власти о твердых ценах, правила распределения между гражданами продуктов и товаров, — большой преступник, чем преступник и вор обыкновенный... Советская милиция в первую очередь охраняет собственность и интересы общенародные — рабочего класса и беднейшего крестьянства. Частные интересы и частная собственность охраняются только

потому, что в этой охране заинтересованы рабочие и беднейшие крестьяне, ибо и она, эта частная собственность, в конечном счете целиком принадлежит им».

Когда время военного коммунизма прошло и настало время нэпа, у милиции появились новые проблемы. Некоторые из них просматриваются в «Инструкции постовым милиционерам» за 1920 год. В ней, в частности, говорится о том, что милиционерам, несущим службу по наружной охране, запрещается не только сходить со своего поста, собираться группами, спать, но и воспрещается исключительно охранять какой-нибудь один дом, ресторан, театр и прочее по просьбе или за вознаграждение, брать на хранение какие-либо вещи или принимать поручения от частных лиц, вести разговоры с посторонней публикой, не относящиеся к делу.

В соответствии с духом времени в Москве в 1922 году было создано частное общество по раскрытию преступлений.

Буржуазия разлагала милицию. Стало возможным давать и брать большие взятки, не шедшие ни в какое сравнение с милицейским жалованьем. Вся надежда была на совесть и классовую сознательность работников милиции. Государство обращалось к милиционерам с такими лозунгами: «Рабочий-комиссар разбил буржуазию на фронте военном, рабочий-диктатор победит буржуазию на фронте хозяйственном», «В пятилетнюю годовщину зорко смотри за врагом, рабочий, крестьянин, красноармеец!», «Милиционер — часовой законности и порядка».

Вдохновленный ими милиционер Манухин написал стихотворение о милицейском долге, опубликованное 22 июня 1924 года в «Известиях» административного отдела Моссовета:

Стою на страже революционной  
И на борьбу всегда готов.  
Я власть Советов охраняю  
От нападения врагов,  
А их у нас в стране немало,  
Бандит, буржуй, лохматый поп,  
Но я на страже.. Не проморгаю,

А если нужно, то пулю в лоб!  
Уйдите лучше, вы, паразиты,  
Из нашей красной стороны,  
Вам нет здесь места, нет покоя  
И власти прежней вы лишены.  
За власть Советов, за власть рабочих  
Мы все готовы, хоть завтра, в гроб...  
Но мы на страже, не проморгаем,  
А если нужно, то пулю в лоб!

Заканчивалось стихотворение так:

...Пусть верит Коминтерн, что...  
За кровавый пот, за кровь трудящихся  
Всех в мире рас и наций...  
Жестоко отомстят... наш обновленный флот,  
Стальная армия и силы авиации!

...Довольно грозное стихотворение. И все же на этом энтузиазме, на этой решимости бороться до конца со старым, «прогнившим» миром во многом держалась тогда страна. Они помогли справиться с такими трудностями, которые не каждое поколение преодолело бы. Стремление построить новую жизнь без буржуев, помещиков, офицеров, попов немало стоило. Много пролито крови, и назад пути не было. Жертвы, казалось, были гарантом светлого будущего. Это не то что фашизм в Германии: проголосовали, утром проснулись, а у власти Гитлер. Нет, здесь было дело посерьезнее. Поэтому, наверное, многим не казалась вычурной резолюция конференции фабрично-заводских комитетов Московского отдела Всероссийского союза муниципальных работников от 9 февраля 1920 года, в которой говорилось: «Обсудив вопрос о международном положении, хозяйственной разрухе страны и о всеобщей трудовой повинности, конференция констатирует, что разрыв белогвардейского кольца победоносною Красной Армией усиливает разложение в буржуазном мире и в то же время миру труда дает возможность построиться в боевые ряды для последнего удара по старому рабскому строю... В настоящее время свобода должна выражаться в упорнейшем свободном труде на общее благо и каждый трудящийся, отбросив личные инте-

ресы, должен употребить максимум напряжения для борьбы с разрухой».

Да, что ни говори, а спасибо нашему народу, что он в те времена нашел в себе силы собраться, встать и пойти дальше. Большая в этом заслуга и милиции. Ну а МУР был вообще организацией легендарной. Служившие в нем гордились своей работой. Свои удостоверения они ласково называли «мурками». Служба в МУРе была и остается самой романтической из всех милицейских служб. Другим работникам приходилось и приходится заниматься весьма прозаическими вопросами. Прежде всего, конечно, порядком на улицах города.

До чистоты ли улиц было в первые годы советской власти, когда большинство населения задавало себе один вопрос: «Что я сегодня есть буду?» Но милиции и тогда до всего было дело. Иначе как объяснить, что начальник милиции второго района Москвы 25 апреля 1921 года издал приказ, в котором говорилось следующее: «Обязать упквартхозы и домкомы в боевом порядке приступить к очистке улиц, площадей, переулков, проездов и дворов от мусора, нечистот и т. д. Мостовые и тротуары подметать ежедневно. До 8 часов утра должно быть подметено и убрано. Отнюдь не замечать в 10—12 часов дня, когда население, проходя, глотает бездну пыли с площадей, улиц и дворов. Нажать в порядке боевого приказа на районный отдел очистки». Далее в приказе содержится обращение непосредственно к работникам милиции, которые в обстановке всеобщей неразберихи, наверное, расслабились. Вот оно: «Участковые надзиратели изволили вставать в 9—10 часов утра, являться в отделение за получением распоряжений от начальника отделения, не зная, что творится во вверенном им участке, а посему и начальник отделения не может знать, что делается в районе отделения. Этой ненормальности кладу конец... требую от помощников по административной и административно-строевой части с 9 до 10 часов ежедневно обходить некоторые из участков района и уже являться на доклад к начальнику отделения не с тем, что видел во сне в постели, а о том, что видел в районе при обходе его... Милиционеры всех отделений, за исключением

уволенных в отпуск, должны вести себя прилично, как подобает блюстителям социалистического порядка».

Эмоционально, от души написан приказ. Не знаю, разбивал ли об пол, как Чапаев, начальник милиции табуретки, но в том, что он был до глубины души возмущен нерадивостью и разгильдяйством подчиненных, сомнений быть не может.

Ну мог ли не возмутиться грамотный начальник, когда, скажем, один из его подчиненных зарегистрировал факт насильственного мужеложства не в графе «другие преступления против личности», а в графе «контрреволюционные заговоры», приписав сверху «педерастия»?

В том же 1922 году начальник милиции четвертого района, возмущившись другими безобразиями, издал приказ следующего содержания: «...Ни комсостав, ни милиционеры не имеют права отказывать в своем содействии ни нуждающимся гражданам, ни сотрудникам, хотя бы сотрудники были другого участка. Каждый, стоящий на посту, видя какое-либо нарушение в участке товарища, должен указать на замеченное нарушение, а если таковой отсутствует, то принять меры самому. Сменившись с поста или будучи свободным от службы, проходя в какое-либо время по другому участку, каждый чин милиции, заметив недопустимое, должен принять надлежащие меры и ни в коем случае не отказывать в просимом содействии товарищам другого участка. Что же касается перегона через границу к другому товарищу торговцев или подкидывания чего-либо обнаруженного, то таковые проделки буквально не допустимы. При разъяснении предлагаю предупредить всех чинов милиции, что неисполнение сего будет считаться игнорированием всех приказов и распоряжений и к таким лицам будут приняты самые суровые меры взыскания вплоть до отдания под суд».

Однако жизнь берет свое и милиционеры пускаются на хитрости. Работники речной милиции сплавляют утопленника вниз по течению до следующего участка, постовые переводят пьяных на другую (чужую) сторону улицы и т. д. и т. п.

Распушенность, оторванность от народа ставят милиционера в некрасивое, а подчас и опасное положение. В марте 1924 года помощник начальника 12-го отделения милиции Соловьев, член партии и Моссовета, и милиционер Гришин распили пол-литра водки и пошли проверять патенты на торговлю. В то время беспатентная торговля была очень модным занятием. Никто не хотел платить и уравнительный налог, составляющий 1 процент с оборота. В 1925 году, например, ежедневно за беспатентную торговлю милиция штрафовала пятьдесят-шестьдесят мелких торговцев, правда, безрезультатно. Оштрафованный тут же, на глазах милиции, продолжал торговать, перейдя на соседний угол. Особенно много было торгующих фруктами крестьян. Много было и инвалидов. Их нанимали богатые торговцы, поскольку с инвалидов штрафы брались поменьше.

Все это возмущало работников милиции. И вот, распалившись от алкоголя и законного негодования, Соловьев взял у одного торговца мануфактурный товар и бросил его в грязь, а после этого встал на него и начал топтать ногами. Толпа и главным образом другие торговцы стали возмущаться, кричать: «Бей его (то есть Соловьева), обезоруживай!» Тут в голове нашего блюстителя порядка стало проясняться, и он ясно почувствовал, что его сейчас будут бить и очень жестоко. На его счастье по рынку проходил помощник прокурора Хамовнического района Клыгин. Он тоже понял, что его поднадзорного сейчас будут бить. Врезавшись в толпу, он представился и предложил выделить из собравшихся делегатов и отправиться с ним в 11-е отделение милиции. Толпа согласилась, и вся депутация во главе с Клыгиным двинулась в отделение. Здесь, на совещании секретарей комячеек и начальников отделений милиции, Клыгин произнес речь. Он говорил о том, что если так пойдет дальше, то милиционеры превратятся в городских, что причина заскорузлости некоторых работников милиции в их отсталости, в крестьянском происхождении. Клыгин говорил о фактах избияния арестованных, о направлении в суд дел на лиц, виновных только в том, что они находились в Москве

без прописки. Он рассказал о том, как работники милиции арестовали и посадили в тюрьму женщину только за то, что она ушла от мужа...

На совещании было высказано немало здравых и ценных мыслей. Многие кивали и даже аплодировали, но заметных изменений в работе милиции не произошло.

Вообще, прекрасных порывов, нужных и своевременных приказов руководителями органов милиции тех лет издавалось много. Этому способствовало то, что в руководстве милиции находились способные и достаточно культурные люди, а также то, что государство было еще слабое и действовало с учетом обстановки: старалось, когда возможно, не обострять отношений с пролетариатом, не идти напролом. В 1918 году руководителями Совета Благоушинско-Лефортовского района, например, были направлены руководителям районного комиссариата (милиции) письма с такими предписаниями: «Во время охраны булочных милиционеры должны уговаривать толпу и ни в коем случае не держать себя вызывающе», или: «будет... крестный ход из церкви Преображения, которому предлагаем препятствий не чинить и в то же время принимать меры к устранению всяких хулиганских выходов, с какой бы стороны таковые ни исходили», или вопросы: «Почему во вверенном вам комиссариате продержали целые сутки реквизированных коров, по чьему распоряжению таковые были выдоены и куда девались две коровы?» Действительно, куда?

Требовательность к своим сотрудникам проявляли и сами руководители органов милиции. Как-то в марте 1921 года руководители МУРа прошлись по квартирам, в которых их подчиненные проводили обыски, и установили, что в 35-й квартире дома 11/28 по Каланчевской улице, где жил Агафонов, агент Макаров по окончании обыска потребовал самовар и белый хлеб. За эти действия, «роняющие достоинство агентов МУРа», Макаров был арестован на пять суток. Другой агент, Кукушкин, был арестован на пятнадцать суток за то, что, «находясь в засаде, воспользовался мукой с разрешения граждан в месте засады». Кроме того, отмечая

в выпущенном по поводу допущенных злоупотреблений приказе некорректное обращение лиц, производивших обыск, с гражданами, начальник МУРа указывал на то, что это явление недопустимо и будет впредь строго караться.

Строго взыскивали начальники с подчиненных и за рукоприкладство. 2 февраля 1921 года, например, приказом начальника МУРа был отстранен от работы за нанесение побоев арестованным агент А. П. Кашаев. Но и строгие меры не смогли изжить старых привычек. Способ установления истины с помощью насилия продолжал существовать. Стоит отметить, что самих уголовников такая форма обращения с ними представителей власти не очень-то возмущала. Это был и их метод. Именно в мордбное милиционер и преступник находили общий язык. Здесь как бы не существовало представителя закона и правонарушителя. Были тот, кто бьет, и тот, кого бьют. Преступники уважают силу и оскорбленного самолюбия не выказывают, как это делают люди, далекие от преступной среды.

Когда в начале шестидесятых годов мне на Петровке, 38 довелось увидеть такое избиение, меня начало трясти. Мне показалось диким и неестественным избиение человека, лишенного возможности защитить себя.

Попытаться оправдать эти действия можно было только с помощью логики. Задержан преступник на короткий срок, времени на длительные допросы нет, улики тоже. Почему бы идти не от улик к признанию, а от признания к уликам? Что церемониться со всякой мразью, которая, выйдя на свободу, снова совершит преступление и, может быть, тяжкое? Кто-то мучается этими вопросами, а кто-то, не мучаясь, употребляет силу для достижения нужного результата.

Существовали и другие нежелательные явления, мимо которых милицейское начальство не могло пройти. Например, игра с оружием. По этому поводу в июле 1918 года начальник уголовно-разыскного отдела милиции издал такой приказ: «Мною замечено, что сотрудники часто без всякой надобности в канцелярии и инспекторских комнатах играют револьверами и даже щелкают курками. В предупреждение



могущих произойти несчастных случаев предписываю сотрудникам УРП в присутствии других лиц без надобности огнестрельное оружие из карманов и кобур не вынимать и отнюдь не позволять себе играть оружием или щелкать курками ради баловства».

Такое предупреждение являлось совсем не лишним. В милицию пришло работать много мальчишек, для которых пистолет еще недавно был игрушкой.

«Скорбный список», опубликованный в 1922 году и насчитывающий шестьдесят пять фамилий, свидетельствует о том, что милиционеры гибли не только от пуль бандитов, но и от неосторожного обращения с оружием. Так, в 12-м отделении милиции в Малом Могильцевском переулке в 1918 году от нечаянного выстрела погиб милиционер Кузнецов, в 1919 году — Гаранин, в 11-м отделении на Дорогомилово-Тишинской площади в 1918 году был убит милиционер Круглов, во втором Пречистенском комиссариате в 1918 году убит милиционер Локне.

В ноябре 1927 года нелепый случай произошел с участковым надзирателем 27-го отделения милиции Миллером. Говорили, что он дал поиграть заряженным револьвером своему трехлетнему сынишке и тот, нажав ручонками на курок, сразил папашу Миллера наповал. Бедный ребенок от испуга заплакал. Так нелепо погиб старый член партии, участник Гражданской войны, командир кавалерийского полка, имеющий семь ранений и несколько контузий. Убийцу несли за гробом на руках, и он, от нечего делать, пускал слюни. Поговаривали, правда, что Миллер покончил с собой по политическим мотивам, но кто теперь в этом разберется? А возможно, всё это досужие домыслы, и клеймо отцеубийцы Миллер-младший носил всю жизнь совершенно справедливо. Ведь не скрывали же власти факт самоубийства помощника начальника 18-го отделения милиции (оно тогда находилось на Селезневке) Ларюшкина. Высказывалось предположение, что Ларюшкин крайне переутомился на работе. Он приходил в отделение в пять-шесть часов утра и засиживался на работе до двенадцати ночи.

Милиционеры, конечно, гибли не только под колесами трамваев, от случайных выстрелов и самоубийств. Главной причиной их гибели были убийства. После войны в руках преступников находилось много огнестрельного оружия, ну а о холодном и говорить нечего.

Милиционеров, конечно, учили стрелять. На то, чтобы достать оружие и произвести прицельный выстрел, отводилось не более пяти секунд. На вооружении милиции в двадцатые годы не было ни «ТТ», ни «макарова». Имелись пистолеты «браунинг», «маузер», «штейер», «дрезе», револьверы «наган», «волладог». Пистолеты, как правило, были меньше, их легче было носить, но зато наган был надежнее. Патроны в нем не заклинивало, как в пистолете, с предохранителя его не надо было снимать, а следовательно, сэкономив секунду, можно было сохранить себе жизнь. Калибр оружия, которым пользовались агенты, был не меньше 7,65 миллиметра, поскольку выстрел из оружия крупного калибра валил преступника с ног. И все же оружие, даже самое хорошее, не всегда спасало работника милиции. У бандита перед милиционером всегда есть преимущество: за ним первый выстрел. Вот несколько случаев разных лет, когда работники милиции погибли при исполнении служебных обязанностей.

В семь часов вечера 29 апреля 1926 года, на Арбате, недалеко от Смоленского рынка, милиционер Корольков увидел бандитов, ограбивших магазин Чаеуправления. Они пытались скрыться с места преступления на «лихаче». Корольков бросился за ними в погоню, вскочил в такси и около Горбатого моста через Москву-реку нагнал бандитов, но те выстрелили в него и убили. Похоронен Корольков на Ваганьковском кладбище. В конце декабря 1929 года, серым, пасмурным днем, в Перове, бандиты убили сотрудника Центророзыска Л. С. Шарометова. Он сопровождал артельщика «Всекобанка» Пивоварова, несшего 5 тысяч рублей. Когда-то Шарометов возглавлял розыск банды Яшки Кошелькова, отнявшей в Сокольниках автомобиль у Ленина. Получил Шарометов от бандитов пять пуль, по пуле за каждую тысячу.

Убийства милиционеров не прекращались и в последующие годы. 16 апреля 1935 года банда Лейферова, совершив ограбление, пыталась скрыться с места происшествия с мешками, набитыми похищенным. Заместитель начальника управления милиции первого района столицы Кандиано настиг их. Один из бандитов, Куняев, выстрелил в него и ранил. Кандиано это не остановило, и он, бросившись на бандита, сбил его с ног, но в этот момент главарь банды, Лейферов, выстрелил в Кандиано и убил его. В октябре того же года бандиты Куняев и Дермичев были замечены в кинотеатре, недалеко от Курского вокзала, милиционером Зверковичем, который стал преследовать их. Бандиты забежали в подъезд одного из домов на Земляном Валу, куда за ними последовал Зверкович. Там Куняев его застрелил, и бандиты скрылись. В конце концов банда была выловлена и бандиты приговорены к расстрелу.

Незадолго до войны, в ночь на 4 марта 1941 года, И. П. Губонин и Г. С. Александров убили ударом колуна по голове милиционера, несшего дежурство у итальянского посольства. Бандиты отобрали у него револьвер, с которым намеревались совершать бандитские нападения. Оказалось, что эти негодяи свою банду называли обществом «Тихая смерть».

Встречаясь с преступником один на один, милиционер должен был не только хорошо стрелять, но и драться. В арсенале уголовного мира и в то время было немало приемов, о которых знали работники милиции. Прием одесской шпаны: удар головой в лицо — часто практиковали хулиганы, преступники применяли также «вилку» — удар двумя пальцами в глаза, «датский поцелуй» — выпад, состоящий из трех ударов: кулаком правой руки в лицо, локтем левой руки в живот и носком ноги в голень или коленом в пах. Применялся еще «галстук» — преступник накидывал сзади на шею веревку или шарф и затягивал их, как аркан.

Преступник мог накинуть на голову милиционера снятые с себя пальто, пиджак или плащ, мог нанести удар в лицо полями твердой шляпы (котелка), бросить в глаза песок, табак, перец, мог замахнуться палкой или ножом и нанести ему, воспользовавшись тем, что

сотрудник, обороняясь, поднял руки, удар ногой в живот. Женщины, отбиваясь от задерживавшего их милиционера, могли ударить его концом зонтика, шпилькой от шляпы, связкой ключей, дамской сумочкой, в которой находились гиря или камень. Могли, наконец, искусать милиционеру лицо, руки. А уж об оскорблениях и угрозах, которые стражам порядка приходилось слышать постоянно, и говорить не приходится. Ужас положения милиционера состоит еще и в том, что он на себя принимает все недовольство граждан, вызванное неправильными или нежелательными решениями властей. При этом нельзя не учитывать и культурный уровень граждан, способных не только на грубость и матерщину, но и на плевки в лицо, насилие. Виноваты в этом были, конечно, не только люди, но отчасти и тяжелые условия их жизни.

Одна проститутка на Павелецком вокзале обозвала милиционера нецензурно. Было это 3 марта 1925 года. Когда ее спросили, почему она это сделала, она ответила, что находилась в нервном состоянии «от этой проклятой жизни». Жизнь для многих была «проклятой».

Заглянув в московские «дыры», нельзя было не ужаснуться. Вот хотя бы сухаревские подземные уборные. Грязь и смрад. Здесь взрослые и мальчишки-беспризорники резались в карты. Проигрывали всю одежду, оставаясь голыми. Друзья выручали, давали на время, чем прикрыться. Проигравший тут же шел на Сухаревку, крал и снова ставил похищенное на кон. Большинство игроков составляли «занюханые», то есть кокаинисты. Спали беспризорники в ямах, вырытых у стены Китай-города, и в находившихся около нее вечно мокрых, зловонных уборных. Уборные эти под полукруглыми черепичными крышами напоминали домики, стоящие у железной дороги, с балкончиков которых дежурные показывали машинистам флажки.

Ночевали беспризорники и в котлах, в которых сезонные рабочие варили асфальт. По окончании рабочего дня котлы еще долго сохраняли тепло. Беспризорники старались сохранить с рабочими хорошие отношения, и когда те оставляли что-нибудь на рабочем месте, всегда им забытое возвращали.

По отношению к другим работникам, и прежде всего к работникам торговли, беспризорники такой чуткости не проявляли. Нападали целыми стаями, «на шарап», на какой-нибудь лоток Моссельпрома, хватали пачку папирос и бежали дальше. Лотошница за ними, конечно, не гналась: пока будешь бегать — все растащат.

Когда в 1925 году в центре города появились автоматы по продаже табачных и кондитерских изделий, беспризорники наловчились стачивать об асфальт копейку царского времени, и когда этого не замечал сторож (а к автоматам были приставлены сторожа), опускали монетку в щель. Автоматы от этого ломались, но зато беспризорникам доставались папиросы и шоколадки.

Между Малым Сухаревским и Малым Сергиевским переулками находился так называемый «рваный переулочек». Настоящее его название Цветной. Мы о нем упоминали. Там, в развалинах, в двадцатые годы жили бездомные бродяги, занимались своим ремеслом под открытым небом среди груды камней проститутки. У грязной стены на бечевке были развешаны белье и лохмотья, а рядом, прямо на земле, вповалку, положив кирпичи под голову, спали пропьянствовавшие всю ночь босые люди. По вечерам по переулку было опасно ходить: убьют или ограбят. В этом переулке постоянно сводила счеты между собой и местная рвань. В ночь на 7 июля 1925 года здесь был убит Бузин — «Ленька-летчик». Убил его Гусев с Трубной площади, вынюхавший весь кокаин, продать который поручил ему Бузин.

Цветной бульвар тоже был не самым чистым местом. На бульваре постоянно обитали группы оборванных женщин. Лица их, опухшие от пьянства, были раскрашены синяками. С ними рядом находились их мужики из той же спившейся братии. «Дамы» и «кавалеры» пили, матерились и дрались, а ночью здесь же, на земле, укладывались спать. Их не смущали ни грязь, ни присутствие вонючего писсуара. Здесь же «дамы» пытались всучить себя прохожим за любую плату.

Проституток ловили, помещали в концлагерь. Находился он чуть выше Смоленской набережной и назывался «Новопесковским» (по имени одного из находя-

щихся там переулков). Концлагерь не был похож ни на Освенцим, ни на Майданек. Содержалось там несколько сотен заключенных. Их воспитывали, приглашали к ним артистов, вместе с которыми заключенные пели «Интернационал», «Дубинушку» и другие песни. В Москве и под Москвой, например во Владыкине по Савеловской дороге, создавались колонии для проституток, где заблудших обучали ремеслу и приобщали к общественной жизни.

Особенно много проституток было в центре города. Об этом, в частности, говорит акт проверки, проведенной в августе 1922 года руководством московской милиции, в котором отмечалось, что «уличная торговля» производится в полном разгаре до двух-трех часов ночи в продолжении всей Тверской, Дмитровки и пр. Толпы торговцев настолько привыкли к бездействию милиции, что, помимо прямых нарушений, бесчинствуют и хулиганят. В двадцатые годы в Москве насчитывалось пятнадцать тысяч проституток. Значительная их часть была больна венерическими заболеваниями и прежде всего сифилисом. По статистике за 1928 год, сифилисом болела треть представительниц древнейшей профессии. За это их не любили женщины и побаивались мужчины. Зато к проституткам хорошо относились домоуправы, так как те исправно платили за квартиру, и приезжие: у проституток можно было переночевать.

Распространенность венерических заболеваний подвигла народных поэтов на сочинение лозунгов в духе времени, например, такого: «Шанкеры, бобоны — становись в колонны!», а на стенах поликлиник появились плакаты: «Сифилис — не позор, а народное бедствие!» Кто-то, говорят, на таком плакате внизу приписал: «А мне от этого не легче».

Со временем лицо московской проституции несколько изменилось. Если в первые годы среди проституток было больше представительниц рабочего класса и крестьянства, то к середине двадцатых годов стало больше «интеллигенток», женщин «из общества». Многие проститутки стали представляться дочерьми фабрикантов, аристократов. Это, наверно, должно

было повлиять на оплату, да и не всегда это было враньем. Некоторые из них могли с клиентом заговорить по-французски.

Одним из излюбленных мест «приличных» московских проституток был Петровский пассаж. Здесь «подрабатывали» жены мужей, получавших 200—300 рублей в месяц, матери семейств, одним словом, женщины, занимающие положение в обществе. Они тихо бродили мимо витрин, разглядывая дорогие красивые вещи, а когда мимо них проходили мужчины, тихо и ласково шептали: «Я живу недалеко». А в ответ на вопросительный взгляд щебетали: «Тридцать рублей». На 30 рублей тогда можно было купить две коробки пудры «Коти», или три пары заграничных чулок, или фетровые боты, или модную шляпку. Красота требовала жертв, и женщины на них шли.

Несмотря на жилищный кризис, мест для притонов все же хватало. И на притоны разврата, и на наркотические, и для азартных игр, и просто воровские. Вот некоторые из них: в Головине переулке, между Трубной и Срепенкой, находился так называемый «кокаиновый домик». Держали его мать и сын Новиковы. Журналист Шляхтер, его жена, артистка, и приятель, журналист и писатель Кардашов в 1925 году открыли притон опиума для интеллигентной публики. Здесь можно было не только курить и нюхать, но прочесть маленькую книжонку рассказов француза К. Фаррера «В грезах опиума», в которой восхваляется это одурманивающее зелье.

Прелести наркотического опьянения, описанные в рассказах Фаррера, были не для всех. Нанюхавшись кокаина в притонах Цветного бульвара и Домниковки, наши любители сладостных ощущений начинали страдать от страшного зуда кожи, им казалось, что по их телу бегают вши, крысы, змеи, что они подползают к горлу, вгрызаются в кожу и т. д. До такого состояния доходили не все и не сразу. Кокаин, как главная «дурь» тех лет, оставался одной из причин совершения краж, грабежей и убийств.

В двадцатые годы в Москве проживало более тысячи китайцев. Многие из них держали прачечные. Жили они обособленно, сохраняя свои обычаи. Привычными

для них были опиум и настольные игры: лото, фишки, карты. Поэтому, естественно, в Москве существовали китайские опиумные и игорные притоны. Такие притоны были, например, в доме 24 по Последнему переулку, в доме 12 по 1-му Спасскому тупику, в домах 5 и 20 по Большому Сухаревскому переулку, в доме 8, квартире 26 по Большому Кисельному переулку, в доме 3/2 по Садово-Спасской улице и по многим другим адресам. После событий на КВЖД многих китайцев репрессировали, так что не только притонов, но и прачечных не осталось. Конечно, наркотические притоны были не только китайские. Известен, например, «волчатник» в Проточном переулке. Хозяйкой его была «касатка», грубая одноглазая баба, пользующаяся авторитетом в воровском мире. К ней в дом приносили ворованное, здесь же всегда можно было достать кокаин. «Королем кокаина» в Москве называли некоего Батинина — Батулина. Когда в январе 1925 года его арестовали агенты уголовного розыска, то в доме его они обнаружили маленькую «наркоразвесочную фабрику» с тремя работницами.

Борис Пильняк в повести «Иван Москва» писал: «...В притонах Цветного бульвара, Страстной площади, Тверских-Ямских, Смоленского рынка, Серпуховской, Таганки, Сокольников, Петровского парка — или просто в притонах на тайных квартирах, в китайских прачечных, в цыганских чайных — собирались люди, чтобы пить алкоголь, курить анашу и опий, нюхать эфир и кокаин, коллективно впрыскивать себе морфий и совокупляться... Мужчины в обществах “Черта в ступе”, или “Чертовой дюжины”, членские взносы вносили — женщинами, где в коврах, вине и скверных цветчишках женщины должны быть голыми. И за морфием, анашой, водкой, кокаином, в этажах, на бульварах и в подвалах — было одно и то же: люди расплескивали человеческую — драгоценнейшую! — энергию, мозг, здоровье и волю — в тупиках российской горькой, анаши и кокаина». Энергии этой у нас не так много, как кажется. Жалко каждой капли. Заботу о ее сохранении также взяла на себя милиция. Официально свободное обращение наркотических веществ было запрещено



14 ноября 1924 года совместным постановлением ЦИК СССР и ВЦИК. Инструкцию о хранении и торговле наркотическими веществами предлагалось издать Наркомздраву, что тот и сделал.

Что касается игр, то с появлением нэпа появился и игорный бизнес. Поначалу было разрешено играть в лото, механический ипподром, разрешались такие карточные игры, как винт, преферанс, бридж, безик. Вскоре, правда, свобода игорного бизнеса была ограничена. В соответствии с инструкцией № 355, выпущенной по этому поводу 22 февраля 1922 года, заведения, получившие разрешение на организацию у себя определенных игр и уплатившие промысловый налог, не имели права организовывать какие-либо другие игры без соответствующего на то дополнительного разрешения. Инструкцией категорически запрещались азартные игры, к которым были отнесены карты, лото, рулетка и др. Запрещались игры на деньги. Вообще азартными были признаны игры, успех в которых зависел не столько от умения играть, сколько от удачи и шулерства, и в которых расчет шел на деньги. Следует добавить, что инструкция требовала, чтобы вход в игорное заведение был свободным. Это позволяло хоть как-то наблюдать за их деятельностью. Уследить за всем было, конечно, невозможно. В игорном бизнесе существовали свои правила, не очень-то отличающиеся от приемов обыкновенных мошенников. И мошенники в игорном деле были свои, особенные. Завсегдатаи бегов, «тотошники», создавали ажиотаж вокруг лошади, которая заведомо для них не должна была прийти первой, «мазчики» в казино увеличивали ставки, вовлекая деньги играющих в оборот заведения, а «благодетели», торчавшие у игорных столов, ссужали проигравшим деньги, беря в залог ценные вещи и договариваясь о встрече на следующий день. Многие денег для возвращения долга не находили, и их ценные вещи, драгоценности переходили в руки «благодетелей».

К тридцатому году все игорные заведения в Москве были закрыты.

Но притоны разврата продолжали существовать. В 1926 году работниками МУРа был «накрыт» притон

в квартире генеральши Обуховой, в доме 8 по Благовещенскому переулку. Благородная хозяйка, хорошая мебель, культурная обстановка делали это заведение привлекательным. Притон «работал» с одиннадцати вечера до пяти утра, и за это время в нем успевало побывать до тридцати гостей. Знаком того, что свободных мест нет, был шарф на окне. Постучавшись, пришедшие говорили пароль: «архиерейский носик» или «чашка кофе». В случае каких-нибудь непредвиденных обстоятельств заведение покидали через соседнюю квартиру, которую занимал дьякон, так что, согрешив, можно было тут же и покаяться.

В доме 12 по 2-му Волконскому переулку, соединяющему Самотечную улицу с Божедомской (улица Щепкина), завела притон у себя дома дворничиха А. Ф. Миндер. Ее умерший муж когда-то был владельцем Старопокровской аптеки и имел заводик по разливу минеральных вод, а последние годы держал чайную у Красных Ворот. Когда в 1925 году мужа не стало, Аделаиде Федоровне, для того чтобы как-то сводить концы с концами, пришлось открыть «заведение».

В начале двадцатых годов притоны существовали и при некоторых банях. В сентябре 1923 года в Московском губернском суде слушалось дело о создании притона разврата в Сандуновских банях. В суде выяснилось, что банщики по требованию посетителей приглашали в номера женщин. Стоила услуга 100 рублей, половина из которых шла банщику. Проституток находили у подъезда, их там стояла очередь. Клиенты, если не указывали, какую именно женщину им привести, получали ту, которую приводили им банщики. Такими услугами посетители Сандунов пользовались и до революции.

В апреле 1926 года работники МУРа накрыли притон разврата на Пятницком кладбище. Там стоял маленький домик, который арендовал некий Акимов. Он торговал спиртным и пускал в дом парочки, с которых брал по 5 рублей. Когда сотрудники милиции нагрянули в его кладбищенскую светелку, они застали там семь таких парочек.

Для милиционеров проститутки были, конечно, соблазнительны. Они всегда выражали готовность отку-

питья от них натурой, однако пользоваться их услугами многие не решались: боялись заразиться. Находились такие, которые, прикрываясь борьбой с проституцией, «использовали» женщин совсем иных профессий. Так, в ноябре 1926 года участковый 42-го отделения милиции Павлов и агент МУРа Морозов в два часа дня пришли в общежитие Нарпита в Гончарном переулке и без всяких оснований задержали, якобы за проституцию, Садошкину и Терентьеву, живших там со своими детьми. Милиционеры привезли женщин в дежурную камеру, и Павлов стал угрожать им высылкой на Соловки. Испугавшись, женщины не стали оказывать сопротивления. Губернский суд дал Павлову пять, а Морозову — четыре года лишения свободы.

Милиционеры 24-го отделения милиции Иванов и Широков в 1925 году приходили в Ермаковский ночлежный дом (там ютилась нищета, так как с постояльцев брали всего по 20 копеек за ночь), входили в комнаты, где спали женщины, поднимали одеяла, а заметив молодых и симпатичных, забирали их как «нюхательниц» и уводили с собой. По дороге, под видом обыска, заводили в подъезд и насиловали. Милиционеров посадили. Начальника отделения Маштакова привлекли к ответственности за халатность. Он поощрял пьянство и разврат в отделении. В насилии над женщинами в возглавляемом им отделении участвовали и другие сотрудники. Защищая одного из них, Константинова, адвокат Брауде, как это обычно делают в таком случае адвокаты, во всем обвинял потерпевшую. Он сказал, в частности, такое: «Навозова (потерпевшая. — Г. А.) пыталась подкупить своим кокетством Константинова, старалась пробудить в нем животные инстинкты и сумела это сделать. Константинов потерял облик милиционера и стал просто мужчиной, а Навозова для него — не арестованной, а просто женщиной». Адвокат был прав: никакие милицейские галифе не спасут человека от грехопадения, если он его захочет.

Падению нравов способствует, как известно, и страсти к спиртному.

Как-то летом 1928 года милиционер 31-го отделения Черкасов, одетый в форму, зашел к хулигану Савось-

кину, который жил в доме 12 по 3-й Миусской улице. Савоськин еще весной обещал его угостить, и Черкасов этого не забыл. Зашел, посидели, выпили. Тут пришел еще один местный хулиган. Когда компания стала вести себя шумно, соседи возмутились, стали стучать в стену, угрожали вызвать милицию. Такой косности друзья стерпеть не смогли и стали соседей бить. Поскольку Савоськин жил в бельэтаже и матерщина хулиганов, как и вопли жильцов, стала достоянием улицы, перед окнами квартиры собралась толпа. Люди с интересом наблюдали за ходом сражения. Наконец появилась милиция, и вся троица под конвоем проследовала в отделение. Некоторые недоумевали: почему все милиционеры трезвые и опрятные, а один пьяный и растерзанный?

7 августа того же 1928 года участковый надзиратель (с февраля 1932 года участковых надзирателей стали именовать участковыми инспекторами) Зименков зашел в телефонную будку, стоящую у дома 7 по Петровке (теперь там сквер), где долго и мрачно мочился, приняв ее за уборную. Злые языки утверждали потом, что это с ним не впервой, а уголовники, почуяв запах милиционера, стали с тех пор обходить эту будку стороной.

Милиционер 17-го отделения милиции Егорченков 24 февраля 1929 года в состоянии довольно приличного алкогольного опьянения влетел в Иерусалимскую церковь, где проходило крещение младенцев, и, громко матерясь, угрожал закрыть храм. Никакие уговоры на него не действовали, а когда его попытались вывести, он стал скандалить и набросился на церковного сторожа Колесина. Сторож попытался укрыться от него в алтаре, но Егорченков извлек его оттуда и избил. С большим трудом удалось доставить этого «стража порядка» в 44-е отделение милиции на Новодубровской улице.

Егорченков оправдывался тем, что боролся с религиозным дурманом, однако рвения его начальство не оценило и из милиции уволило.

Примером особо опасного проявления служебного рвения может служить поступок, а вернее, преступление, совершенное в 1926 году милиционером

Фитинским. А дело было так. В Подмосковье жил бандит Львов. Население Орехово-Зуевского района его боялось и не знало, как от него избавиться. Львова, конечно, нужно было арестовать, но милиционеры никак не могли застать его дома. Но вот однажды милиционеру Фитинскому повезло. Зашел он к Львову, а тот сидит у самовара и чай пьет. Что делать? Надо бы арестовать, да боязно: бандит-то опасный и наверняка вооружен, да к тому же силен, как черт, при желании может в окно выкинуть. И завел тогда Фитинский с ним разговор, стал «давить на психику». Говорил о его старушке-матери, которая нуждается в помощи, о его жене, детях, о том, какая будет скоро светлая и прекрасная жизнь, как ценят люди добро и честный труд, как плохо их обижать, как подло пропивать награбленное, накопленное людьми тяжелым трудом и т. д. и т. п., и до того договорился, что бандит не выдержал, бросился перед Фитинским на колени и стал клясться завязать с преступной жизнью и прийти с повинной в милицию. Фитинский, обрадованный своим успехом в деле перевоспитания отъявленных бандитов, тоже расчувствовался и пообещал пойти с Львовым по всем инстанциям и добиться для него амнистии. На том и расстались. Придя в родное учреждение, Фитинский о своей психологической победе доложил начальнику Петру Забелину. Но вопреки всем ожиданиям, услышал не похвалу, а несколько весьма нелестных и непечатных выражений в свой адрес, которые сводились к тому, что вся милиция района сбилась с ног, разыскивая Львова, а он, Фитинский, с ним чай пьет и ведет дурацкие разговоры, чем только дискредитирует милицию. Короче говоря, Фитинскому, если он хочет оставаться в милиции, было предложено задержать Львова до 1 июля 1925 года, а если для этого потребуется убить Львова, то и убить. Фитинский покраснел как рак, ему стало стыдно смотреть в глаза товарищам. Вдруг всю свою «педагогическую поэму» он увидел совершенно в другом свете: он трус, который не смог задержать опасного преступника. Что скажут люди, узнав о том, что он, вместо того чтобы схватить бандита, стал с ним болтать черт знает о чем, как какой-то вшивый интеллигент? А что, если

Львов обманул его и теперь смеется над ним, а что, если он кого-нибудь уже ограбил или убил? Отвращение к себе смешалось в Фитинском с ненавистью к Львову. Теперь он от него не уйдет!— решил Фитинский и поклялся показать, какой он мужчина. Вскоре такой случай представился. Был тихий летний вечер. Солнце клонилось к закату. В теплом прозрачном воздухе носились жуки и стрекозы. Большие красивые бабочки застывали на зелени листьев. Все дышало усталостью и покоем. Фитинский подошел к дому, вернее к бараку, в котором жил Львов. Бандит районного масштаба мирно сидел на скамеечке около полногрудой жены и наблюдал, как перед ним, на траве, резвились два его сына, Фома и Никита. Фитинский подошел к Львову и завел разговор о том, что пора, мол, ему, Львову, написать ходатайство во ВЦИК о помиловании. В благодарные глаза Львова он старался не смотреть. Нужно было решаться. Снова уйти ни с чем он не мог. Наконец, порывшись в портфеле, как бы ища бумагу и карандаш, Фитинский достал из портфеля пистолет и выстрелил в раскаявшегося. Тот упал, то ли от пули, то ли от неожиданности, но тут же стал подниматься. Фитинский выстрелил в него второй и третий раз. Львов упал и затих. Кричать стали его жена и дети. Никто не ожидал такой страшной развязки. Вернувшись в отделение, Фитинский накатал рапорт на имя Забелина. Он писал: «Согласно вашему устному приказу доношу, что сегодня мною убит бандит Львов». Начальство опять возмутилось. Забелин кричал: «Заставь дурака Богу молиться!..» Все понимали, что совершено убийство и за него придется отвечать. И, действительно, дело на Фитинского, Забелина и Савина, непосредственного начальника Фитинского, который и передал ему указания Забелина о доставлении Львова в милицию живым или мертвым, было передано в суд. Адвокаты Трайнин и Бруштейн утверждали, что в действиях их подзащитных нет состава преступления, и настаивали на прекращении дела, однако суд все же объявил всем троим общественное порицание и запретил им на три года занимать милицмейские должности. Но Верховный суд приговор отменил за мягкостью назначенного наказания. Вторым судом

Фитинский был приговорен к лишению свободы. Справедливость восторжествовала.

Вернемся же теперь к тем гражданам, кто представлял собой порочные сообщества Москвы и с кем милиция вела борьбу.

Если проститутками был оккупирован весь центр, то гомосексуалисты облюбовали его отдельные места. Таким местом, в частности, был сад «Эрмитаж». До 1934 года государство особенно в личную жизнь гомосексуалистов не вмешивалось. Только 7 марта 1934 года, накануне Международного женского дня, наверное, решив сделать подарок женщинам, оно ввело уголовную ответственность за мужеложство. В уголовном кодексе появилась статья 154-а. 7 марта стало «черным днем» гомосексуалистов Советского Союза.

В 1934 году Московский городской суд рассматривал дело в отношении группы гомосексуалистов, существовавшей с 1927 года. Основателем ее был некто Царев, который называл себя «Катенька». Этим именем он подписывал письма своему любимому Елину, так и писал: «твоя Катенька». Нежность, с которой мужчины относились к своим братьям по полу, вызывает умиление. Например, один из членов этой компании Ровин, отдыхавший на курорте, в письме Цареву и Елину просил отпустить к нему другого гомосексуалиста, Жилиева, называя его ласково «толстопузыньким». Компания часто собиралась в квартире «баронессы» по имени Петр. Устраивала групповые сношения.

В одном из уголовных дел 1933 года мне попались показания о таком гомосексуальном «бдении». «В притоне на стенах рядом с Лениным и Сталиным, — сообщает очевидец, — висел портрет бывшей царицы, порнографические открытки. Вывешивался плакат, регламентирующий программу разврата: “До 12 часов ночи выпивка в таверне, затем сладострастное утоление своих желаний. Хозяину будут принадлежать двое по выбору”. После выпивки, возбуждающих танцев и “цыганщины”, которую исполнял “Вася-стекольщица”, определяются пары и группы. Сначала просто обнимаются, исследуя “достоинства” своих партнеров, потом

на полу, диване, кроватях, распространяя отвратительный запах, мараю все окружающее экскрементами и вазелином, матерщинясь и визжа “для страсти”, ползают друг по другу люди, не разбирая, рот ли, рука, задний проход, хватают со стола закуску, пьют мочу, облизывают мышечное кольцо заднего прохода...»

Да, отвратителен человек, ищущий наслаждения на путях, противоречащих природе! Алкоголики, наркоманы, токсикоманы по сути своей те же онанисты, убегающие от нормальной жизни в свой ничтожный, противоестественный мирок. Алкоголь, наркотики, подобно Цирцею, превращают человека в животное, не смотря ни на его способности, ни на возраст.

Обследование несовершеннолетних, проведенное в Москве в 1922 году, показало, что восемь тысяч обследованных детей, от восьми до четырнадцати лет, — это дети «легкой степени преступности»: попрошайки, воришки, хулиганы. Еще восемь тысяч детей, от четырнадцати до шестнадцати лет, нуждаются, по своей причастности к преступной деятельности, в крепких принудительных условиях труда, а четверть из них составляют «тяжелые выродки, нуждающиеся в совершенно особых условиях воздействия».

Все эти «выродки» отравляли жизнь москвичей. Нужно было принимать жесткие меры. В июне 1926 года вышло постановление ВЦИК и СНК РСФСР об усилении ответственности за хулиганство, в декабре 1927 года — постановление «О мерах к усилению борьбы с самогоноварением», установившее, наряду с административной, уголовную ответственность за изготовление спиртного, а в 1928 году в Москве и некоторых других больших городах открылись широкие двери вытрезвителей. Вопрос об открытии вытрезвителей давно назрел. Доставляемые в отделения пьяные не давали работать, загаживали помещения. Теперь их стали доставлять прямо в вытрезвители. Держали в вытрезвителях задержанных не более двадцати четырех часов. С рабочих, крестьян, служащих, инвалидов, кустарей и красноармейцев за обслуживание брали по 2 рубля, а с прочих граждан (нэпманов, творческих работников и др.) — 5 рублей.



Медицинский персонал мог поставить доставленному в вытрезвитель один из четырех диагнозов: «Совершенно трезв. Легкое опьянение. Полное опьянение с возбуждением. Бесчувственное опьянение». В примечании следовало указывать: запах денатурата, валерьяновых капель и т. д. (такого разнообразия продуктов химии, как стало потом, тогда не было, и люди, бывало, напивались валерьяновых капель).

Поскольку одной милиции со всеми безобразиями сладить было не под силу, в конце двадцатых годов стали создаваться дружины. В дружины принимали всех желающих. Поначалу, правда, не знали, как лучше использовать дружинников, и они топили печи в отделениях, подметали пол и разносили повестки. 25 мая 1930 года вышло постановление СНК РСФСР «Об обществах содействия милиции и уголовного розыска» («Осодмил»). Членами этой организации могли стать граждане не моложе восемнадцати лет, не лишенные избирательных прав и не состоявшие под судом и следствием. Осодмильцы имели право составлять протоколы о нарушении постановлений местных Советов, могли участвовать в обысках, конвоировании арестованных, несении постовой службы. В апреле 1932 года «Осодмил» было преобразовано в «Бригадмил», или БСМ — «бригады содействия милиции», которые строились не по территориальному, как «Осодмил», а по производственному признаку.

Как это, к сожалению, часто бывает, преступники использовали существование БСМ в своих целях. Летом 1934 года в Сокольническом парке преступная группа, в которую входили Зубков, Ивашков, Перевалов, Прошкина, вооруженные финскими ножами и револьвером, под видом бригадмильцев забирала на аллеях пьяных или парочки влюбленных, заводила их вглубь парка и грабила. Первой поймали Александру Матвеевну Прошкину, неоднократно судимую, и она выдала остальных участников шайки. Но как бы ни омрачали подонки деятельность бригадмильцев, участие последних в борьбе с правонарушениями заслуживало уважения со стороны граждан и всяческого поощрения со стороны государства. Добавим еще, что преобразова-

ния в области охраны общественного порядка пополнились таким важным событием, как введение в 1928 году должности инспектора по регулированию уличного движения. В декабре же 1931 года в Москве, как и по всей стране, стали действовать «Правила уличного движения». Они просуществовали до 1939 года. Необходимость в новых правилах назрела давно. Машин в городе становилось все больше. Наряду с различными легковыми автомашинами по улицам города грохотали пятитонные немецкие «бюссинги» с механическими кузовами, как тогда называли самосвалы, большие зеленые «форды», наши грозные «АМО» и другие их собратья по двигателям внутреннего сгорания. Водителей же дисциплинированных было мало. Ездили машины по городу, как хотели. Нижняя часть улицы Горького, у Манежной площади, была тогда узкая и кривая, а поэтому там часто возникали пробки. Прохожие в этих случаях слышали извозчичью брань шоферов, выясняющих отношения.

Бывали случаи, когда пьяные водители грузовиков наезжали на колонны военнослужащих, шествующих по мостовой, и давили людей.

Конечно, «Правила уличного движения» повлияли на порядок в движении городского транспорта, но гибели людей на дорогах они, конечно, остановить не могли. 18 июля 1934 года, например, автофургон «Хлеб», ехавший со стороны Большой Богатырской улицы, упал с моста в реку Яузу. Трое находившихся в машине людей спаслись, а один, Лашков, утонул. В том же году Родионов, управляя легкой автомашиной в пьяном виде, сбил на Пятницкой улице милиционера, причинив ему травму головы, и скрылся с места преступления. Его поймали и судили. Сначала по статье 59-3 «в» УК РСФСР — «Нарушение правил трудовой дисциплины на транспорте» (тогда специальной статьи, предусматривающей ответственность за нарушение «Правил дорожного движения», не существовало, она появилась в кодексе 1961 года). Московский городской суд (председательствующий Хотинский) дал Родионову три года лишения свободы «с запрещением водить машины во всех столицах союзных республик, включая Ленинград», но

Верховный суд переквалифицировал действия Родионова на статью 111 УК РСФСР — «Бездействие власти и халатность» — и снизил ему срок наказания до двух лет. При этом суд сослался в приговоре на то, что травма головы, причиненная при наезде, для милиционера не столь уж тяжкое последствие.

Принимались в городе меры и к охране социалистической собственности.

В конце 1929 года в Москве вместо ночных дежурств дворников вводились ночные сторожа. Было установлено около четырехсот постов. Сторожа имели номерные знаки и свистки, а некоторые и оружие (охотничьи ружья).

Рост хищений в государственных и кооперативных предприятиях повлек создание в мае 1931 года Отдела по борьбе с экономическими преступлениями (ЭКО), предшественника ОБХСС (Отдела по борьбе с хищениями социалистической собственности). Были и другие важные изменения. Все большую власть в стране приобретали карательные органы. Они становились душой государства, поскольку страх за свое положение в результате экспериментов в сельском хозяйстве и некоторых других вопросах у руководства страны возрастал. В храмы, молиться о своей безопасности, вожди не ходили, дружественных зарубежных стран у СССР тогда практически не было. Оставалось одно: укреплять безопасность внутри страны силой. Силу решили собрать в один кулак. Для этого в декабре 1930 года наркоматы внутренних дел союзных и автономных республик были ликвидированы и было организовано Главное управление милиции и уголовного розыска. В июле 1934 года был создан единый аппарат Наркомата внутренних дел (НКВД), в который вошли как органы государственной безопасности, так и милиции.

Вообще, в начале тридцатых годов устанавливается порядок контроля над населением, над его передвижением, переселением и пр. В декабре 1932 года в стране вводится единая паспортная система, вступает в действие «Положение о паспортах». Правда, во многих паспортах еще не было фотографий. Только в 1937 году заставили всех фотографироваться и вкле-

ивать фотокарточки. Без них паспорт считался недействительным. Так вот, с 1932 года все граждане страны, кроме сельских, в шестнадцать лет стали получать паспорта. При аресте паспорт отбирался, а после освобождения из мест заключения возвращался с соответствующей отметкой. Человек, имеющий в паспорте отметку о судимости за опасное преступление, не имел права жить в Москве и в ее стокилометровой зоне. Уголовникам пришлось селиться в Кашире, Твери, Можайске и других городах, окружавших Москву. Усилился контроль и за хождением оружия. В феврале 1932 года была введена так называемая разрешительная система. Торговля, хранение и ношение огнестрельного оружия допускались только с разрешения органов милиции, а в марте 1935 года Главное управление милиции при НКВД СССР издало постановление, запрещающее ношение холодного оружия всем, кроме тех, кому оно необходимо по роду занятий.

В те годы у милиции был еще один метод воздействия на преступный мир. Назывался он «приводом». Заподозрив кого-либо в совершении преступления, милиционер задерживал подозреваемого и доставлял в отделение. Привод заносился в справку о судимости и учитывался при назначении меры наказания за совершенное в будущем преступление. Отношение к приводам было не однозначным. Кто-то считал их необходимыми, а кто-то находил приводы не только бесполезными, но и вредными. Вред они усматривали в том, что агенты уголовного розыска, не умея или не имея возможности задержать вора во время совершения преступления, желая показать свое служебное рвение, приводили в отделение милиции известных им воров, которых вскоре сами же и отпускали. Вору тем временем присматривались к сотрудникам милиции и внутреннему порядку в отделении. Кроме того, противники приводов считали, что такое безответственное действие, как привод, позволяет лишний раз сотруднику получить взятку, а вору оговорить сотрудника в ее получении. Усиление же таким образом секретной работы с ворами весьма сомнительно, так как карманники сами не знают, где, когда и у кого совершат кражу.

Все изменения и потрясения, которые происходили в стране, касались и милиции, в частности московской. В 1929 году в ней опять прошла чистка. Одного пролетарского происхождения для работы в милиции стало недостаточно. Стала необходимой политическая незапятнанность сотрудника по отношению к руководству страны. Некоторых членов комиссий, проводивших чистку, интересовали не только отношение к оппозиции, но и «дела давно минувших дней». Бывало, пожилой член комиссии, прищурив глаз, спрашивал испуганного милиционера, которому едва за тридцать: «Вы участвовали в революционном движении 1905 года?» Тот, поморгав и откашлявшись, говорил, что помогал строить баррикады. Тогда следовал второй вопрос: «А какое наказание вы за это понесли?» Наступала неловкая пауза, и опрашиваемый был вынужден признать, что наказания он не понес. Следующая пауза становилась зловещей. У старика возникали всевозможные жуткие подозрения, начиная с того, что отвечающий врет и баррикад не строил, и кончая тем, что он агент охранки и из-за его предательства революция и была разгромлена. Ему и в голову не приходило, что мальчишку просто могли не наказать. Хорошо, что эта мысль посетила председателя комиссии и он отпускал подозреваемого с миром, хотя «революционер со стажем» еще продолжал хитро прищуривать глаз и ставить под сомнение выводы своих товарищей. Так уж, наверное, устроен человек: высказав неправильное мнение, продолжает на нем настаивать, сознавая в душе его нелепость, и даже желать в душе, чтобы оно, вопреки всему на свете, подтвердилось. А сколько несчастных пострадало от неразумных решений, основанных на неправильных выводах, и сколько преступников ушло от ответственности из-за того, что следователи упрямо придерживались одной какой-либо версии и не желали от нее отказываться! Но хватит о грустном. В жизни московской милиции, и особенно ее руководства, случались и приятные моменты. В 1928 году на 5-й Тверской-Ямской улице, напротив Краснопресненского райсовета, был построен большой жилой дом для работников милиции. Подобный дом строился и в Замоскворечье.

Радость новоселов не омрачало даже то, что, въезжая, они давали подписку о том, что по оставлении службы в милиции они обязуются из дома выехать.

Конечно, не только карательными мерами государство рассчитывало покончить с преступностью. Люди, чьим девизом было: «Бытие определяет сознание», не могли не сознавать того, что в конце концов преступность смогут победить только хорошие условия жизни и культура. Построить школы, клубы, стадионы в один миг нельзя, а вот покончить с самогонщиками — другое дело, можно. Государство, для того чтобы создать самогонщикам конкуренцию, в сентябре 1924 года стало выпускать двадцатиградусный спиртной напиток, назвав его «Русская горькая». Самогонщики в долгу не остались. Они снизили цены на свою продукцию и увеличили его крепость до пятидесяти градусов. Государство на это ответило увеличением крепости «Русской горькой» до тридцати градусов. Втянувшись в соревнование, государство увлеклось. Кончилось тем, что «горькой» стали спекулировать, пришлось устраивать облавы на спекулянтов.

Борьба с самогонщиками, спекулянтами, беспатентными торговцами, наркоманами отнимала много сил и времени у работников милиции. А надо было еще бороться с хулиганами, ворами, мошенниками и прочим сбродом.

Хулиганов в Москве было много, и нередко они чувствовали себя в ней хозяевами. Действовали они целыми оравами. Вот, например, как они вели себя в Черкизове. Представьте: кончился рабочий день, усталые люди возвращаются с работы домой, и вдруг в проходящую по улице женщину попадает дохлая кошка. Хулиганы играют ею в футбол. Крик, мат, оскорбления. В находящийся неподалеку кинотеатр «Орион» лучше вообще не ходить — все равно хулиганы не дадут смотреть картину.

Были случаи, когда хулиганы и до убийства доходили.

21 апреля 1935 года в «красный уголок» треста «Мосстройканализация» в Филях ворвалась шайка хулиганов во главе с Бородулиным. Заведующий «красным

уголком» Быков объяснил им, что идет техническая конференция и посторонним там делать нечего. Тогда по призыву Бородулина: «Режьте, ребята, ножами!» — хулиганы набросились на стоящих у входа граждан. Ударили ножами Быкова и председателя профсоюзного бюро Солдатова, смертельно ранили рабочего Забирова, ранили милиционера Роговского и рабочего Рогова.

Летом и осенью 1933 года хулиганы активизировались в Пролетарском районе столицы, где находятся такие заводы, как «Серп и молот», «Динамо», имени Сталина (ЗИС). Хулиганы избивали рабочих, издевались над женщинами, черт-те что творили в «красных уголках» и клубах. Действовали в районе две хулиганские группы. Одну из них возглавляли Михеев по кличке «Колчак» и Заравняев по кличке «Большой». Состояли в шайке и менее яркие личности под кличками «Золотой зуб», «Матрос», «Море», «Точило», «Мартын» и др. Михеев носил кинжал, Заравняев — металлическую перчатку. Вторую группу возглавлял Сотченко. Особенно активизировали хулиганы свою деятельность после того, как Сотченко и его друг Андреев были исключены из драмкружка за разлагающее влияние на кружковцев. Уязвленное самолюбие хулиганов, чей талант был отвергнут во имя порядка, стерпеть этого не смогло. Хулиганы решили, что «красный уголок» должен быть разрушен, и разгромили его, разбив к тому же бюст Ленина.

Рабочих фабрики «Дукат» терроризировали хулиганы во главе с Ивановым по кличке «Поросятник», который жил по адресу: Малый Тишинский переулок, дом 2/4, его ближайшим помощником Васиным по кличке «Колбаса» и Крупновым по кличке «Сережка-шляпа». Как-то в драке с хулиганами из другого микрорайона они зарезали финками двоих.

По вечерам хулиганы распоясывались и у храма Христа Спасителя, на фасаде которого были слова: «Господи, силою твоею возвеселится царь». Царя не было, зато веселились хулиганы. На набережной летом загорали женщины, и гуляющие мужчины ими любовались. Хулиганы приставали к женщинам и избивали мужчин. Милиция не могла с ними справиться. А место там было

чудесное. Только гуляй да радуйся. Парк у храма был засажен деревьями редких пород, от реки веяло прохладой.

Но особенно распоясывались хулиганы на рабочих окраинах города. Во 2-м Донском проезде, около студенческого «Дома-коммуны», жили строительные рабочие, приехавшие на заработки из разных деревень. По вечерам они собирались около своих барачков, пили самогон, играли на гармошке, дрались. Ссоры затевали то «сапожники», то «пензенские», которых обычно «сапожники» называли «волосатниками», так как те не стриглись. 18 августа 1933 года «пензенские» здорово избили зачинщика драк со стороны «сапожников» Сафонова. «Сапожники» решили разобраться с «пензенскими». Последние, ожидая нападения, пригласили на подмогу корешей с Колокольниковова переулка: Былинкина, Плотицына, братьев Василия и Александра Липковых. Жили они там в домах 9 и 12 и слыли известными ворами и хулиганами. Узнав о надвигающемся сражении от уборщицы барака, комендант Иванов принял срочные меры: он забрал у жильцов гармонь, принадлежащую бараку, чтобы она не пострадала, и спрятал ее. 23 августа состоялось сражение. Ему предшествовала алкподготовка. «Пензенские» выпили водки и вышли на улицу. Здесь они встретили того же Сафонова, который, не долго думая, ударил медной гирей по голове Василия Липкова и убежал в свой барак. Барак тут же был обстрелян камнями, кирпичами, гирями. Когда стекол в нем не осталось, «пензенские» и кореша с Колокольниковова переулка с криками «режь всех!» ворвались в барак. Здесь, в темном коридоре, у двери, за которой спрятался Сафонов, был зарезан не принимавший участия в драке Дашутин. Другие участники драки пострадали меньше. Неизвестно, чем бы все это кончилось, если бы побоище не было прекращено вызванными красноармейцами.

Поводом к избиению для хулиганов могло послужить все что угодно: очки, шляпа, приличный костюм, нерусская физиономия, лысина, шевелюра, наконец, просто улыбка. Вот, например, что произошло 29 апреля 1936 года со слушателями Центральной школы нацменов.



Школа эта находилась в так называемом «доме Фамусова» на Пушкинской площади. В нем когда-то жила красавица Римская-Корсакова, заставлявшая мужчин на балах прыгать через обруч, а ее служанка Дуняша стала прототипом фамусовской служанки Лизы. Так вот, когда наши нацмены — Абдулаев, Исмаилджанов и другие — возвращались с торжественного первомайского вечера в прекрасном, приподнятом настроении и пели узбекские песни, потому что они были узбеками и им хотелось петь, к ним подошли Кузьмичев, Бекасов, Медведев, Зорин и другие, всего шестеро, и стали обзывать их чурками, азиатскими мордами и прочими малоприятными словами. Один из узбеков по фамилии Нурутдинов попытался разъяснить хулиганам политику партии и советской власти в национальном вопросе (тогда и среди узбеков встречались идеалисты), но кто-то из «старших братьев» его толкнул, и он упал. Хулиганы разбежались. Около общежития хулиганы снова напали на узбеков. В руке у Кузьмичева на этот раз был нож, у Бекасова — камень, а у Зорина — палка. Они стали бить Мамедова, ударили ножом в горло Абдулаева и в плечо Исмаилджанова. К счастью, Абдулаев остался жив. Хулиганов арестовали. Кузьмичев 22 июня 1936 года был приговорен к расстрелу, который ему Верховный суд заменил десятью годами лишения свободы.

К сказанному можно добавить, что ранее, в двадцатых — начале тридцатых годов, Школа нацменов называлась Коммунистическим университетом трудящихся Востока имени Сталина. Были в Москве и Коммунистический университет национальных меньшинств Запада имени Мархлевского в Петроверигском переулке, и Университет трудящихся Китая имени Сунь Ятсена на Волхонке. Советские коммунисты были уверены во всемирной победе учения Маркса и готовили в старых московских зданиях лидеров новой эпохи.

В двадцатые годы в Москве еще существовал обычай проводить кулачные бои. Обычно они устраивались зимой на льду Москвы-реки, недалеко от храма Христа Спасителя, и в них отличался один моряк, фамилию которого история для нас, к сожалению, не сохранила. Дрался он здорово. Русская драка — развлечение кра-

сочное. В ней нет устрашающих поз, каких-то фигурных стоек и прыжков. Русские отдаются драке, как музыкант великому произведению, как птица полету, как женщина любимому человеку, безоглядно и страстно. Люди вообще любят делать то, что у них хорошо получается. У русских хорошо получались драки, и они их любили. Со временем, из-за того что власти не поощряли этот вид развлечения, драчуны стали выбирать для боев более укромные места. Например, 28 января 1923 года на железнодорожных линиях между Александровским (Белорусским) и Савеловским вокзалами сошлись в кулачном бою жители Ямской слободы и Сухаревского рынка. Участвовало до тысячи человек. Главную силу дерущихся составляли ломовые и легковые извозчики. Начинали драку, как всегда, мальчишки. Когда драка была в самом разгаре, нагрянула милиция, потребовала прекратить побоище, но на нее никто не обращал внимания. Правда, кто-то рявкнул: «Вас, что ли, бьем, уходите, пока целы!» — и снова полез в драку. Утихать бой стал лишь после того, как милиционеры открыли стрельбу.

Еще 7 марта 1926 года, в Прощеное воскресенье, кулачный бой должен был состояться у Бабьегородской плотины, но конная и пешая милиция его быстро пресекла.

Для крупных столкновений были и другие причины. До наших дней в Москве сохранились будки, где сидят чистильщики обуви. Внешне они напоминают цыган, но москвичи их всегда называли «армяшками». На самом деле они ассирийцы. Много лет назад они заняли свою «нишу» в московской жизни. Они чистят обувь, продают шнурки, стельки, гуталин. Для большинства из нас они загадка, несмотря на всю простоту их ремесла.

Конечно, в Москве чисткой обуви занимались не только ассирийцы. В 1930 году в городе неожиданно появилось много русских мальчишек с ящичками и щетками, которые занялись этим ремеслом, но скоро их самодеятельность была прикрыта, и на чистку обуви снова вернулась монополия ассирийцев. В Москве даже существовал Центральный союз ассирийцев. Москви-

чам все ассирийцы казались одинаковыми. На самом деле это было не так. В феврале 1925 года «Вечерняя Москва» поведала о том, что в столице живут ассирийцы двух племен: тиараи и канаи. Тиараев — десять семей, а канаев — шестьдесят. Все они турецкоподданные. Стоянки для чистки обуви им определял Союз ассирийцев, арендующий места у МКХ (московского коммунального хозяйства). Так продолжалось три-четыре года, и все это время племена вели между собой войну за лучшие точки в городе. Зута Михайлов был канаем. Он имел точку у дома 35 по Тверской (на углу Леонтьевского переулка). Когда дом стали ремонтировать, Михайлову пришлось пересесть к дому 37 (на угол Гнездниковского переулка). Вскоре он заболел и его место занял Вазиров из племени тиараев. Когда Михайлов выздоровел и пожелал вернуться на свое место, Вазиров его не пустил. Не помогло и обращение в Союз ассирийцев. Вазиров никого не слушался. Кончился спор побоищем. Несколько человек было ранено, один убит. В суде Вазиров заявил, что ассирийцы решили не топить друг друга и молчать. Действительно, как ни бился с ними суд, они твердили одно: ничего не видели, ничего не знаем.

И все же до нас дошел рассказ одного ассирийца о таком побоище, произошедшем, правда, несколько раньше, в декабре 1924 года. В Московском архиве хранится протокол, составленный по заявлению Калебара Георгиевича Мирзаева тридцати семи лет, персидскоподданного из города Урби. Он рассказал, что в Москве существуют две группы ассирийцев. Первая состоит из казаков («ашкретов» по-ассирийски). Возглавляет ее бывший князь округа Дизин (Турция — Персия) Малик-Дишо Лазар (по-русски Осип Лазар), проживающий в доме 3 по 3-му Самотечному переулку. У него имеются помощники: «дьякон Инвия» — Михаил Гевардизов — управляющий домом, в котором живут князь, Александр Адамов, Даниил Дзервитаев и др. Князь находится на иждивении казаков, которых насчитывается около трехсот. Вторая группа — это группа так называемых крестьян. Они большей частью неорганизованны. Проживают они в доме 20 по Живареву переулку, в до-

ме 9 по Уланскому переулку, в домах 4 и 7 по Лукову переулку и в доме 26/6 по Домниковке.

22 ноября 1924 года состоялось заседание комиссии по выдаче мест для чистки обуви, которая заседала в помещении Центрального союза ассирийцев (Каланчевская улица, дом 23/40). Председателем комиссии был священник-архиерей Бит Алхазов, который переименовал свое звание и именуется теперь «атури». Один из наших «крестьян», а именно Яков Иосифович Семенов, потребовал от князя перераспределения мест, поскольку князь распределил места неправильно: дал своим приближенным по несколько мест для чистки обуви и самые лучшие, в то время как крестьянам было дано очень мало мест и плохие, а кроме того, Семенов обвинил князя в том, что тот распределил места без согласия комиссии, членом которой он, Семенов, являлся, и потребовал от князя перераспределения мест. Князь отказался и заявил, что он князь и как князь, и как председатель комиссии может распределять места, как хочет. Тогда Семенов ответил, что в советской России князей нет и он никаких князей не признает, а кроме того, заявил, что Лазар (то есть князь) брал взятки за предоставление хороших мест. Это было принято Лазаром за оскорбление, и его главный помощник Михаил Гевардизов (дьякон Инвия) заявил, что мы покажем тебе, как оскорблять князя. На том и разошлись. Спустя месяц князь через стариков-ассирийцев предложил крестьянам прийти к нему на поклон с условием, что у того, кто его оскорбил, будут вырезаны губы. На поклон «крестьяне» не пошли и своих выдавать не стали. На следующий день, 23 декабря 1924 года, князь распорядился прекратить работу по чистке обуви в Москве, а вечером «казаки» стали подтягиваться к домам, где жили «крестьяне». У домов ассирийцев в Уланском, Лукове и Живареве переулках собралось по сотне «казаков». До вечера 24 декабря все было спокойно, а в восемь часов вечера на дом 20 по Живареву переулку было совершено нападение «казаков». Сперва напало человек тридцать, а потом сто пятьдесят. Были выбиты окна, двери, избиты палками несколько «крестьян». В доме от испуга умер девятимесячный ребенок и заболели две женщины.

Нападение было пресечено вмешательством милиции. Никого из «казаков» задержать не удалось. В тот же день было совершено нападение на «крестьян», живущих на Домниковке. Утром 25 декабря двести «казаков» напали на дом в Уланском переулке, но благодаря милиции и дворникам избиения не произошло, а вечером агенты ГПУ арестовали князя Лазара и его приближенных. Пока две недели князь сидел в ГПУ, все было спокойно, но, когда его освободили, нападения «казаков» на «крестьян» возобновились. Кроме того, князь через своих помощников передал «крестьянам», что за то, что он, князь, сидел две недели в тюрьме, нужно внести контрибуцию и прийти к нему на поклон, а иначе он будет мстить, так как, согласно обычаю, за оскорбление князя полагается месть.

Сколько правды в этом рассказе, сказать не берусь, но факт остается фактом: для драк и поножовщины в Москве существовали разные поводы.

Помимо кулачных боев и сражений между ассирийцами, обострялись в Москве и Подмосковье отношения местных жителей с цыганами. Разница между цыганским пением и цыганами, наверное, не меньше, чем между русскими гениями и простой пьянью. Конокрадство, да и вообще воровство, у цыган не считается зазорным. Местное население этого своеобразия цыганам не прощало. В начале 1926 года, недалеко от подмосковного города Пушкино, крестьяне сожгли на костре цыгана, укравшего коня. В самой Москве к цыганам тоже относились не лучшим образом и не желали их соседства. Идя, как говорится, навстречу пожеланиям трудящихся, Моссовет в апреле того же года запретил цыганам «раскидывать свои палатки» в пределах Московской окружной железной дороги. Цыгане подались за город, но и тут то и дело возникали стычки между ними и местными жителями. В Измайловском лесу произошло настоящее побоище между цыганским табором и местными парнями. Прекратить его конной и пешей милиции удалось с большим трудом.

Не жилось мирно местному населению. Из-за всякой ерунды возникали драки в общественных местах и, в частности, на рынках. Так, 18 сентября 1925 года

у входа на Сухаревский рынок возникла драка между ворами. В драке был убит вор-рецидивист Василий Никитин по кличке «Васька-Москва». Кличку «Москва», надо сказать, носил не только Никитин. И в послевоенные годы в Москве был вор под этой кличкой, который мог бритвой разрезать майку на мокром теле, не коснувшись кожи. Большие специалисты воровского ремесла в те далекие годы составляли основу преступного мира. Квалификация воров и милиционеров шла параллельным курсом. Такие воры, как Агапов по кличке «Мурзик», Сергеев — «Карие глазки», Лешка Петроградский — «Васька-шмаровоз», Карев — «Колька-король советский» и другие, были хорошо известны работникам Московского уголовного розыска.

Нередко мы слышим от стариков о том, что в их времена такого безобразия не было, был порядок. Увы! Согласиться с этим можно далеко не всегда. Казалось бы, что после репрессий 1937 года в стране установился такой порядок, что люди боятся не то что безобразничать, а вообще рот разевать. Но этого не случилось. Хулиганы оставались хулиганами.

1 мая 1938 года на Загородном шоссе шайка пьяных хулиганов, в которую входили Герман Есипов, Константин Соловьев, Иван Волков, Георгий Соловьев, подошла к палатке, торгующей квасом. Около нее стояла длинная очередь. Им захотелось капустки «провансаль», которой там торговали, а в очереди стоять не хотелось. Полезли без очереди. Когда Соколов и Коровин сделали им замечание, Волков в ответ ударил Соколова, а Константин Соловьев с криком: «Режьте, ребята!» — ударил финкой по голове Коровина, после чего Есипов всадил нож в бок Соколова, а Волков порезал финкой руку Журавлева. Хорошо еще, что потерпевшие Соколов и Коровин остались живы. В Краснопресненском районе в 1938 году тоже действовала шайка хулиганов. В нее входили нигде не работающие Михаил Нарышкин по кличке «Летчик», Михаил Лапшин по кличке «Лапша», его брат Борис — «Лапша вторая», Владимир Штукатуров, Сергей Блохин по кличке «Жеребец», Николай Шилов по кличке «Мавруха», Алексей Крючков по кличке «Крючок». Промышляла ком-

пания и раздеванием пьяных, а в ночь на 20 июля 1938 года, под угрозой убийства, затащила к забору школы № 93, около Краснопресненского парка, инкассатора конторы очистки домоуправлений Краснопресненского района Людмилу Родионову и изнасиловала. Во время изнасилования Блохин колот Родионову иголкой, чтобы она была резвее и не лежала «как бревно».

Хулиганы действовали и среди бела дня.

Наглость их не знала границ, и неудивительно, что их действия, начинаясь с обыкновенного хамства, порой заканчивались изнасилованием, грабежом, а то и убийством.

20 июля 1936 года на Чистых прудах катался на лодке маляр Михаил Белянин. Ни с того ни с сего, подплыв к лодке, в которой катались девушки, вырвал у одной из них сумку. Сначала девушки приняли действия Белянина за своеобразное хамское заигрывание, но, когда тот, вынув из сумки деньги, бросил ее обратно в лодку девушек, те поняли, что с ними не заигрывают, а просто грабят. Они стали кричать, звать на помощь, а маляр тем временем подплыл к берегу и хотел с деньгами смыться, но граждане его задержали.

Воровской мир не только мерзок, но и разнообразен. От нищего бродяги до образованного и умного мерзавца — вот диапазон лиц, занимающихся этой «профессией». На ворах не лежит каинова печать, как на убийцах, их не мучит совесть («Бог велел делиться»). Их добродетель — удачная, счастливая кража. «Доброму вору все впору», — говорят они о похищенном. Разнообразие же способов хищения позволяет вербовать в воровское сословие людей разных наклонностей и ремесел.

В двадцатые годы у воров, как у проституток и гомосексуалистов, были свои «места» в Москве. Скверик на Триумфальной площади, где теперь стоит памятник Маяковскому, назывался «пяточок». Здесь вору встречались, заводили связи. Воров здесь можно было увидеть самых разных.

Находили в Москве и воровские склады. Такой склад, например, в 1926 году был обнаружен в Дангауэровской слободе. Склад был забит роскошными коврами,

сундуками, набитыми мануфактурой, бельем и другими вещами.

Воровали кто как умел. Встречались, в частности, воры, не гнушавшиеся ради наживы тяжелым физическим трудом. Кражи они совершали с помощью подкопа, или «кобура», на воровском жаргоне. Об одной такой краже говорила вся Москва. А дело было так. На углу Большой Дмитровки и Столешникова переулка находился меховой магазин Госторга. В ночь на 12 октября 1928 года в нем произошла кража на десятки тысяч рублей. Двери, замки и окна в магазине оказались целы. Кража была совершена через пролом в стене, к которому вел подземный ход. В МУРе знали несколько специалистов по таким кражам. Одним из них был сын бывшего начальника московской сысской полиции Швабе. Правда, в то время он числился арестованным и должен был находиться в тюрьме. Однако, как выяснилось, Швабе к тому времени убежал из Сокольнического исправдома и где находился — неизвестно. Тогда агенты нагрянули к нему на квартиру с обыском и нашли в ней похищенные меха. Когда осмотрели место происшествия, то установили, что тоннель до магазина протянулся на несколько метров и что подземные работы преступники освещали с помощью специального кабеля. И вот еще что было обидно: подкоп вели дольше двух недель, за это время работники уголовного розыска три раза выезжали на место подкопа по сигналам работников магазина, но ничего не поняли и, следовательно, ничего не сделали. Правда, выставили пост, но, когда постовые менялись и пост на полчаса оставался пустым, преступники копали изо всех сил и довели-таки подземный ход до магазина, посрамив тем самым стражей порядка.

Кража мануфактуры с проломом стены магазина, находившегося в доме 27 по Сретенке, произошла в ночь на 6 июня 1925 года. Преступникам удалось скрыться, и их не нашли.

Мерлин, Печура, Грановский, Фалановский, Лурье, Алескер-Кушель, Гольбранх и Харащ сняли помещение для столярной мастерской в подвале под складом треста «Моссукно» и, проделав дырку в полу, как



крысы, тащили потихоньку со склада мануфактуру. Ими же было снято помещение для «часовых дел мастера» по соседству с магазином «Красный платок» на Сретенке, откуда они так же, сделав пролом, похитили товары. Преступники были арестованы и осуждены.

Громила, как тогда говорили, Михневич по кличке «Акробат» в ночь на 22 декабря 1924 года проломил потолок в магазине «Шелкотрест» на углу Столешникова переулка и Петровки и похитил товаров на 3 тысячи рублей. Подобным способом он из магазина, находившегося в доме 27 по Сретенке (том же самом), в ночь на 19 января 1925 года похитил товаров на 10 тысяч рублей, а в ночь на 28 февраля 1925 года из магазина Русско-Бухарского акционерного общества, в доме 11 по Третьяковскому проезду, похитил каракулевые шкурки и манто на сумму более 2 тысяч рублей. Часть похищенного была найдена в квартире его сожительницы Монастырской.

Большинство же воров подкопов не делали, стен и потолков не ломали, сейфов не взламывали. Основными их орудиями были ловкие руки, быстрые ноги и находчивость.

Вот, например, воры редкой «профессии» — «похоронники». Некто Матвей Ишкин имел высшее образование, был когда-то офицером, но за шулерство его изгнали из полка, затем служил управляющим великокняжеского имения. После революции трижды привлекался к уголовной ответственности за мошенничество, но вину его ни разу доказать не смогли и отпускали. А тем временем ему исполнилось тридцать три года. Нужно было как-то жить. И тут Матвея потянуло к покойникам. Поступил он на работу в похоронное бюро. Получив заказ на гроб, он приходил к заказчику «отмерять» покойника, а заодно прихватывал что-нибудь на память из дорогостоящего.

Другой «похоронник» — Константин Бурмин. Ему тогда было тридцать четыре года. Узнав о чьей-либо смерти, он, под видом рассыльного, приносил в дом умершего венки с лентой, на которой («это же надо!») была фамилия покойника, да не того. Бурмин,

конечно, извинялся, обещал все поправить, переменить ленту и пр. Времени он зря не терял. Пока устанавливал венки, узнавал некоторые подробности об усопшем, во всяком случае, его фамилию, имя и отчество. Через некоторое время он возвращался с «правильным» венком и объяснял, что в конторе все перепутали и послали не тот венок. В квартире он что-нибудь крал во время своего первого посещения и прятал в венок, в котором специально для этого сделал хитроумное приспособление. Оставив второй венок, он с первым покидал благодарных ему за чуткое отношение близких покойного. Таким способом Константин Бурмин совершил десятки краж и попался на сбыте краденого: каракулевой шапки и золотых запонок.

Среди воров-«похоронников» были и такие, которые приходили в квартиры под видом «плакальщиц», мойщиков трупов.

Жили в Москве и воры-поджигатели. Подождут ночью дверь в каком-нибудь деревянном доме и кричат: «Кидайте вещи, мы посторожим!» Перепуганные жильцы вещи сбрасывают, а воры с ними и смываются.

А в середине двадцатых появился в городе какой-то маньяк-пироман, который поджигал музеи. Поджег музей Л. Н. Толстого на Кропоткинской улице, Исторический музей, музей «Останкино», Музей изящных искусств имени Пушкина. Он приходил в музей как посетитель и незаметно оставлял в каком-нибудь укромном месте склянку, бутылку с зажженной жидкостью. К счастью, огонь во всех случаях удавалось вовремя потушить.

Зинаида Беко, жившая в квартире 10 дома 10 по Благовещенскому переулку, домов не поджигала и ничьей смерти не ждала. Она вычитывала в бюллетене по обмену жилой площади адреса, приходила по ним якобы с целью обмена и что-нибудь крада.

Были воры-«банковцы». Они всегда хорошо одевались и выглядели очень деловыми. Приходя в какое-нибудь кредитное учреждение, они высматривали человека с портфелем, похожего на кассира, и подменяли свой пустой с тряпьем на его с деньгами, а то и

просто незаметно резали портфель кассира, похищая из него деньги.

Представляю, какое потрясение переживали служащие, у которых государственные деньги крали тысячами. Но не меньшие потрясения испытывали бедные люди, у которых воры похищали их жалкие копейки. В 1920 году одна женщина, которая жила в доме 19 по Протопоповскому переулку, после того как ее обокрали на Сухаревском рынке, вернулась домой и повесилась, оставив четырех детей. В 1922 году другая, жившая в Сущеве, больная, нетрудоспособная женщина пошла купить хлеб на последние деньги и их у нее украли. Она вернулась домой, задушила двух своих детей и сама удавилась. Вот какой бывает цена «блатной романтики».

На рынках тогда распевали: «Пролетарии всех стран, берегите ваш карман». Воров-карманников было много. Подразделялись они на «ширмачей-шпану», «ширмачей-урок», «гастролеров», «марвихеров». Последние считались воровской аристократией. Хорошо одевались, в обществе появлялись с дамой, нередко очень привлекательной. Мелким воришкам было не до дам. Многие из них не имели постоянного места жительства и ночевали, как тогда говорили, в «гостинице Ветрова», то есть на улице. Воровали они больше на рынках, где кроме них промышляли нищие воры («стрелки»), босяки, базарные воры («хламидники»), мальчишки-«подносчики», которые предлагали гражданам поднести им до дома тяжелые свертки и, сделав пять шагов, бесследно исчезали, «отвертчики», один из которых крал, а другой отвлекал внимание жертв, и другие многочисленные и пакостные ублюбки.

Для того чтобы кошелек или бумажник не выскользнул из потных или жирных пальцев, воры натирали их толченой канифолью («каня»).

Были воры-«ширмачи». В старину карман среди воров назывался «ширманом». Кроме того, такой вор-«ширмач» (карманник) часто пользовался так называемой «ширмой», то есть набрасывал на левую руку пиджак или плащ. Эта ширма прикрывала действия его правой руки. Прижавшись к жертве, он ощупывал ее карманы, а потом одной рукой оттягивал карман, а

другой проникал в него. В одежде (пальто, брюки) у вора карманы были прорезаны, что позволяло, в случае опасности, выкинуть похищенное, не вынимая рук из карманов. Передача похищенной вещи от одного вора другому и третьему называлась «перепулька». Надо еще сказать, что все карманы у воров в те годы имели свои названия. Например, наружные карманы пиджака и пальто назывались «верхушки», внутренние нагрудные — «скулы», маленькие нагрудные карманы пиджаков — «чердачки», карманы жилета — «ужарки», задний брючный — «очко» и, наконец, боковые брючные — «шкары». Когда вор, совершая кражу, расстегивал карман, то говорили, что он его «распрягает». Вот такая терминология. Кошельки, бумажники, документы вору никогда у себя не оставляли, а выбрасывали в урны, под скамейки и прочие места.

Вор-«пушкар» «работал» на вокзале. Он подсаживался к какой-нибудь женщине и начинал разговор. Оказывалось, что он едет туда же, куда и женщина, чуть ли не на ту же улицу. Несколько раз он куда-то уходил, прося соседку приглядеть за его корзиной или чемоданом. Не выдерживала и женщина. Ей тоже надо отлучиться хоть ненадолго. Когда она возвращалась, ни соседа-попутчика, ни ее вещей не было. Другие вору на вокзалах незаметно меняли свои корзины со всякой дрянью на чужие, с добром. Были и такие, которые свои корзины и чемоданы без дна ставили на корзины и чемоданы своих жертв и, прихватив их за ручки, скрывались.

А сколько было людей просто нечистых на руку, готовых в любой момент что-нибудь украсть. Колодков и Панкратов, например, 1 октября 1928 года пытались похитить громкоговоритель со Стромьинского сквера. Зачем он им понадобился? А кому понадобился асфальтовый котел весом в тонну, который находился у ворот завода имени 8 Марта? А два телеграфных столба, тихо стоявших в саду Первой градской больницы, кому они мешали? Их ведь тоже украли.

У пролетарского писателя Ивана Рахилло 21 октября 1926 года в Доме писателей на Тверском бульваре кто-то спер полушубок из романовской овцы, в кармане кото-

рого находилась рукопись его произведения. Писателю было обидно, что рукопись украли из-за полушубка, а не полушубок из-за рукописи.

Воров не останавливала ни святость места кражи, ни имя потерпевших. 15 июля 1925 года Иванов взломал несгораемый шкаф в храме Христа Спасителя и пытался похитить деньги, но его задержали.

Был еще такой случай. Утром 7 июня 1927 года сторож церкви Иверской Божьей Матери на Большой Ордынке открыл храм и чуть не упал в обморок. Перед ним, медленно покачиваясь, висел на веревке отрок. Видение не рассеялось и после неоднократных крестных знамений, которые сторож сотворил. Когда в храм пришли работники милиции, они вынули из петли труп мальчика и осмотрели его. В карманах штанов нашли фальшивые драгоценные камни, которыми в те годы украшались иконы. Очевидно, мальчик, а это был, как выяснилось, тринадцатилетний Франс Надзвичкий, принял стекляшки за настоящие драгоценности, залез в церковь, чтобы их похитить, но запутался в веревке, пытаясь вылезти на крышу церкви, и задохнулся. Верующие потом всё говорили: «Бог наказал!»

10 июня 1935 года воры обокрали квартиру знаменитого летчика Н. П. Каманина, Героя Советского Союза и будущего наставника космонавтов, который жил на Конюшковской улице. Они взломали замок квартиры. Через неделю воров, Антонова и Юлина, задержали и нашли у них часть похищенного.

Когда жертвами преступлений становились известные люди, милиция работала особенно активно. К поискам виновных подключался местный преступный мир, и расследование, как правило, завершалось успешно.

Были воры-«домушники», они воровали в домах граждан, и воры-«городушники», они крали в государственных учреждениях. Такие «городушники» «чистили» магазины. Особенно много их попадалось в Мосторге (ЦУМе). Воры прятались вечером в каком-нибудь укромном уголке, а после закрытия магазина действовали. Многие первым делом шли в гастрономический и кондитерский отделы и там отъедались, потом шли в отделы готового платья, галантереи и набирали вещи,

а затем прятались с ними в каком-нибудь укромном месте и ждали открытия магазина, чтобы незаметно из него выйти. Кому-то это удавалось, кому-то нет. Один такой воришка был задержан в соседней пивной, куда зашел сразу после кражи и, захмелев, расхвастался своим «подвигом».

Как-то в 1929 году в Мосторге решили остаться две девчонки. Они спрятались в трансформаторную будку. Их там и заперли заботливые служащие магазина. Прошла ночь, потом день, потом еще ночь, но дверь всё не открывали. В конце концов девчонки стали барабанить в дверь и умолять выпустить их. Наконец их выпустили. Одна оказалась профессиональной «городушницей», а вторая — «гражданкой города Парижа» Жанной Гуро, дочерью недавно умершей француженки, служившей воспитательницей в семье русских аристократов. Жанна окончила семилетку и жила на иждивении родственников в небольшом провинциальном городке. За сидение в будке получила она месяц исправдома.

Другая «городушница», семнадцатилетняя Лена, и ее подружка в том же 1929 году спрятались в гардеробе Мосторга, где и уснули. Были они голодные и уставшие. Проснулись уже ночью. Первым делом направились в кондитерский отдел, отвели там душу. Потом перешли в парфюмерию. Здесь они скинули с себя жалкие обноски, вымыли свои худые и нежные тела духами, надели на себя все новое, потом набрали разных мыльных вещей, о которых могли только мечтать, а чтобы скоротать время до открытия магазина, зашли в гастроном и взяли бутылочку сладкого вина. Когда выпили и повеселели, стали играть, петь, танцевать, да так, что притомились, прилегли на кровать (на такой хорошей кровати они никогда в жизни еще не лежали!) и уснули. Служащие Мосторга застали их спящими. Они что-то бормотали во сне, и от них пахло духами. Они были очень милы в новых красивых платьях, даже будить их было жалко. Суд тоже пожалел их и дал каждой по году условно. Вскоре Лене захотелось повторить ночную сказку. Она выспалась и снова пошла в Мосторг, спряталась в том же гардеробе. Потом опять — кондитерский отдел, вещи, снова — гардероб, где утром ее и

застали работники прилавка. Во второй раз сказки не получилось, была самая обыкновенная кража, и дали ей за нее год вполне реального исправдома. Лене тогда шел восемнадцатый год. Родной матери она не помнила. Мать умерла, когда ей было семь месяцев от роду. Девочку удочерила помещица, в имении которой она родилась. Эту помещицу Лена и считала своей родной матерью. В 1917 году восставший народ, получив свободу, зарубил на глазах пятилетней Лены ее неродную мать. После этого Лена стала заикаться, на людей смотреть исподлобья, как загнанный зверек. До 1924 года она находилась в детдоме. В пятнадцать полюбила вора, стала с ним красть. На фабрику и в общежитие не брали. Скиталась по ночлежкам. Освободившись из исправдома, продолжала воровать. Так и сгинула, пропала девочка...

Став «городушницей», женщина нашивала спереди на трусы большой карман, куда прятала похищенное. Карман назывался «катькой». Если воровка не успевала спрятать украденное в «катьку», прятала под юбку, между ног.

«Городушники» считали себя воровской аристократией. Их не били, как «домушников», разъяренные потерпевшие, а с почетом доставляли в милицию. У них всегда было оправдание перед собой и людьми. «Государство не обеднеет», — говорили они. Государство с одной кражи действительно не обеднеет, а вот кооператив рыбаков на Серпуховской площади в 1925 году, когда воры похитили у него бочку паюсной икры весом 3 пуда (48 килограммов), обеднел. И какая зараза съела столько паюсной икры, до сих пор остается загадкой.

«Домушники» проникали в квартиры разными способами: и с помощью отмычек, и с помощью подбора ключей, и с отжимом ригеля замка топором. Они лезли в окна, запускали в окна и форточки «удочки» и выуживали с их помощью вещи.

В особенно голодные годы (1918—1921) развелись в городе «охотники за провизией». Известно, что люди, не имеющие холодильника (а их в то время вообще ни у кого не было), в холодное время года заворачи-

вают во что-нибудь продукты и вывешивают их за окно. Лишены такого преимущества лишь жители подвалов и первых этажей: они опасаются, что продукты похитят воры. Жители же второго, а уж тем более третьего этажа воров не боятся. Воры же нашли управу на этих оптимистов. Они привязывали к палке острый нож и срезали им узелок с продуктами, висевший в форточке второго этажа. Если одной палки было мало, то к ней привязывали другую, а если надо, то и третью. С помощью такого нехитрого приспособления воровали и лампочки в подъездах. Для этого вместо ножа к концу палки приделывали половинку черного резинового мячика, каким играли дети. Половинка эта охватывала лампочку, и вору оставалось только крутить палку, чтобы ее вывинтить.

«Прибор», которым вор выворачивал лампочки, потом хранился в криминалистическом музее МУРа, организованном в 1924 году в Гнездниковском переулке. Там же хранились рулетка, конфискованная в игорном доме, бархатная маска бандита «Сашки-семинариста», фотографии извозчика-убийцы Комарова, убийцы-палача Котова, лучших ищеек МУРа: Джима и Дэзи. Музей был призван хранить в памяти работников милиции уловки и злодейства преступников. Врага надо знать.

Воры прибегали ко всяким хитростям. Семен Мейстер и Валентин Свибильский познакомились в марте 1935 года с некой Сухановой, узнали ее адрес (жила она в доме 3 по Настасьинскому переулку) и назначили ей свидание. Суханова принарядилась и пошла на встречу, а Мейстер и Свибильский тем временем прямо к ней домой. Взломали дверь, похитили вещи на полторы тысячи рублей и скрылись. Погорели они на грабеже. 3 апреля 1935 года Свибильский зашел в мастерскую кустара Лейтмана в доме 4 по 9-й Черкизовской улице как заказчик. Когда он с хозяином обсуждал работу, в мастерскую ввалился Мейстер в милицейской форме и с наганом за поясом. Физиономия у него была красная и от него несло перегаром, так что Лейтман сначала действительно принял его за милиционера. Мейстер назвался работником уголовного розыска, после



чего стал производить обыск. Имущество лейтмана на сумму 2 230 рублей было им конфисковано, у Свибильского он отобрал револьвер «маузер». Оставив лейтману расписку об изъятии конфискованного имущества и арестовав Свибильского, Мейстер вместе с ним попытался скрыться, но друзей задержали потерпевший и рядом оказавшиеся так некстати для них граждане. Сначала налетчиков приговорили к расстрелу, но Верховный суд заменил его десятью годами лишения свободы.

В 1928 году в третьеразрядной гостинице «Урал», что в 1-м Зацепском переулке, поселилась шайка «домработниц». Они давали объявления в газетах под вымышленными фамилиями, поступали на работу, а потом обкрадывали своих нанимателей. Этим в начале двадцатых годов промышляли и дети, которых сердобольные граждане подбирали на улицах как беспризорных.

Творились в Москве дела и пострашнее. Жертвами преступников становились хорошие, уважаемые люди.

В доме 8 по Конюшковской улице (его давно не существует) жила семидесятитрехлетняя Зинаида Ивановна Соболевская, сестра Сергея Ивановича Соболевского, академика и профессора двух университетов, который ее и содержал. Старушка жила небогато, но кое-что от прошлого времени у нее осталось, а в те годы вокруг людей, сохранивших у себя «остатки прежней роскоши», вертелись отвратительные личности, алчные и жестокие, стремившиеся за счет этих остатков пожить. Некая Захарова, жившая неподалеку и как-то помогавшая хозяйке в уборке квартиры, навела на нее знакомых бандитов: Петрова, Тетина, Добровольского и Провоторова. В ночь на 27 февраля 1935 года бандиты перелезли через забор на участок Соболевской, взломали замок и вошли в дом. В первой комнате спала няня детского сада, который расположился в доме Соболевской, Осликовская. Она закричала, но ей тут же зажали рот и приказали молчать. Бандиты попытались войти в комнату Соболевской, но она была заперта. Тогда они заставили Осликовскую попросить Соболевскую открыть дверь. Осликовская постучала. Послышались шаркающие шаги, и Зинаида Ивановна

спросила из-за двери: «Ты что, Люба?» Тогда Осликовская, дрожа всем телом, пролепетала: «Бабушка, откройте, во дворе кто-то ходит». Соболевская открыла дверь, и Добровольский выстрелил ей в голову. Бандиты забрали ложки, вазочки, ризы от икон. Награбленное по дешевке продали и на вырученные деньги пять дней пьянствовали.

Погибла от рук преступников и другая профессорская вдова — Александра Александровна Иловайская. Она была второй женой Дмитрия Ивановича Иловайского, известного историка, деда Марины и Анастасии Цветаевых. Жили когда-то Иловайские в собственном доме с полукруглыми окнами под номером шестнадцать, недалеко от церкви «Старого Пимена» в Старопименовском переулке. В 1919 году Д. И. Иловайский умер, дом заселили, оставив его вдове одну комнату. Замечательная библиотека Иловайского, в двадцать тысяч томов, была согласно завещанию покойного передана Историческому музею. Музей библиотеку не взял. Работники его сказали, что книги ставить некуда, и оставили их на попечение Иловайской. В 1923 году дом был сдан в аренду Мукмельстрою. В него въехал уполномоченный этой организации от закавказских республик по фамилии Кухаренко. Он стал распоряжаться не только своим имуществом, но и книгами Иловайских. К тому же добивался, чтобы Александру Александровну переселили в меньшую комнату. Иловайская, испугавшись действий уполномоченного и опасаясь за библиотеку, решила навести справки о новом «хозяине» и пошла в представительство закавказских республик. Там ей сказали, что такой уполномоченный был, но с января 1924 года он свой мандат не продлил, и чем он теперь занимается, сказать не могут. Александра Александровна обратилась в прокуратуру с просьбой спасти библиотеку от самозванца. Тогда Кухаренко смотался в Баку, привез оттуда «мандат» и с этим «мандатом» тоже пошел к прокурору, настаивая на привлечении Иловайской к ответственности за клевету. Там уцепились за это заявление, как за повод, чтобы разобраться с этой тайной советницей, помещицей, дворянкой, вдовой Иловайского, «пресловутого историка» царских времен, а

главное, сподвижника доктора Дубровина, возглавлявшего «Союз русского народа». В заметке, помещенной в «Вечерней Москве», о ней сказано: «маленькая горбатая старуха», а представитель обвинения в судебном заседании так прямо и заявил: «Время Иловайских прошло...» Суд дал Иловайской два года и взял под стражу. В конце концов, после разных мытарств, старуху освободили и она вернулась в свою комнату. Здесь, храня библиотеку мужа, она и могла закончить свою жизнь, но судьба распорядилась иначе.

В доме 16 по Старопименовскому переулку жила домработница Грищенко со своим сыном и сожителем Мецатуновым. Тот привел в дом приятеля, Калиновского. Оба они нигде не работали и, естественно, нуждались в деньгах. К тому же лелеяли мечту о богатстве и о приобретении автомобиля. Решили для этого совершить преступление: убить и ограбить Иловайскую, о богатстве которой в их доме ходили разговоры. Участвовать в преступлении пригласили Алиханова — шофера автобазы Санитарного управления. Алиханов согласился.

23 ноября 1928 года, в десять часов вечера, когда Иловайская вышла из дома, Мецатунов, Калиновский и Алиханов подошли к ней, и Алиханов сильно ударил ее по голове. Иловайская упала без чувств. Когда она начала шевелиться, Калиновский ударил ее топором по голове, а Мецатунов — пять раз ножом. Потом они обыскали ее одежду, взяли сумочку, в которой находились 160 рублей и золотой крестик с цепочкой, а труп бросили под пол находящейся во дворе общественной уборной. После этого открыли ключом Иловайской ее комнату и взяли из нее все, что могло представлять для них какую-то ценность и что могли унести. Через два дня три урода уехали в Тифлис. В начале января труп Иловайской, объединенный крысами, был обнаружен. Сотрудники МУРа посетили Грищенко и обратили внимание на находящуюся у нее пустую коробку папирос «Басма». Грищенко не курила, а по имеющимся у них сведениям такую коробку жители дома видели у убитой. Грищенко вскоре после пропажи Иловайской стала хлопотать о том, чтобы ей передали ее комнату, сообщить же, куда

уехал ее сожитель Мецатунов вместе с Калиновским, не смогла. Выяснилось, что исчез из Москвы и Алиханов. Подозрение пало на эту тройцу. Вскоре в руки оперативников попало письмо Грищенко, адресованное Мецатунову. В письме она сообщала о допросе в МУРе и о том, что милиционеры интересовались папиросной коробкой. Агенты МУРа выехали в Тифлис и там задержали преступников. Суд осудил Калиновского и Мецатунова к расстрелу, Алиханова — к десяти и Грищенко — к восьми годам лишения свободы.

Но что значат все эти сроки по сравнению со злодеянием, совершенным этими выродками? В каком страшном сне может привидеться человеку такая его кончина, какая постигла Александру Александровну Иловойскую?

А чем были виноваты люди, встретившиеся на пути банды «Васьки-цыгана»? Банда эта орудовала летом 1925 года в Подмосковье и наводила ужас на дачников. Входило в нее семь бандитов: Дерюгин по кличке «Сенька-большой», Бредов по кличке «Митяня», Егоров — «Васька-рыло» и др. В Кускове они убили мужа и жену Масловых, убили еще неизвестных мужчину и женщину, изнасиловали и задушили девочку, в Вишняках застрелили мужчину, в Чухлинке изнасиловали и убили женщину, другую женщину убили в Чесменке. В Люберцах бандиты задушили ремнем и прикончили колом мужчину. Когда Ваську поймали, он после первого же допроса в Таганской тюрьме удавился. И правильно сделал. Жаль только, что его примеру не последовали остальные участники банды.

А что творили бандиты в Москве?

В квартире 13 дома 50 по Покровке, там, где находилась церковь Иоанна Предтечи, жил священник Остроумов. Бандиты Минтусов-Абрамов, Акулов, Михеев и другие 4 февраля 1934 года проникли в квартиру через форточку на кухне и постучали в комнату Остроумова. Когда священник открыл дверь, бандиты нанесли ему ножами двадцать два удара. Совершив убийство, они забрали серебряные ложки, ризы от икон и, устроив погром в квартире, скрылись. 21 марта эта же банда ограбила квартиру 79 дома 10 по Ново-Басман-

ной улице. Взяли дамские часы, браслеты, перебили статуэтки, порезали вещи, сломали радиоаппаратуру, разбили бюст Ленина. Всего банда совершила четырнадцать ограблений и пять убийств. Как-то в феврале 1934 года, около кинотеатра «Крым» близ Курского вокзала, бандита Минтусова задержал бригадмилец 27-го отделения милиции Шибаев. До отделения милиции он бандита не довел. Минтусов двумя выстрелами убил Шибаева и скрылся. В конце концов банду удалось ликвидировать. Все ее участники были приговорены к расстрелу.

В тридцатых годах с бандитами перестали церемониться, и это дало свои результаты: с бандитизмом в Москве было практически покончено. Без ответа остался только вопрос: откуда в бандитах это варварство, эта страсть к разрушению? Может быть, для этих изголодавшихся, одичавших, выросших в нищете людей вообще ничего, кроме еды, не представляло ценности? Наверное. И тем не менее с этими людьми надо было вести самую отчаянную и упорную борьбу. Борьба эта стоила милиции не одной жизни.

Перестрелки на улицах Москвы представляли собой яркие и опасные зрелища. Однажды, 12 ноября 1934 года, во время такой перестрелки, которая произошла в центре города, в Охотном Ряду, был ранен проходивший поблизости вице-консул Турции Секи-Рея. Его отправили в больницу. К счастью, рана была не опасной, и он вскоре приступил к своим вице-консульским обязанностям. Следует заметить, что в те годы граждане проявляли активность в преследовании и задержании преступников. И молодежь была отчаянная, да и многие из тех, кто постарше, еще не забыли своего участия в боевых действиях и не боялись рисковать жизнью. Так, летом 1936 года прохожие помогли задержать бандитов. Банду возглавлял Василий Васильевич Гришин. Он недавно был освобожден из «Белбалтлага». В Москве организовал банду. Грабили магазины, лавки. Как-то заскочили в мастерскую Шульмана в доме 35 по улице Горького (на углу Гнездниковского переулка), скомендовали: «Руки вверх!» — и приступили к ограблению. В это время в мастерскую вошел заказчик Проскура. Ему

пригрозили пистолетом и приказали лечь на пол. Когда бандиты ушли, Проскура развязал Шульмана и вместе с ним выбежал на улицу. Здесь они подняли крик. Грабители пустились наутек. За ними по улице Горького бежали Шульман, Проскура, милиционеры и прохожие. Бандиты стали отстреливаться, ранили одного милиционера, но это не остановило преследователей. В конце концов банда была поймана. Ее главарь Гришин приговорен к расстрелу.

Жестокость всегда отвратительна. Объяснить ее, скорее всего, можно эмоциональной тупостью преступника, его умственной и психической неполноценностью, наконец, социальными причинами. К тому же войны: империалистическая, гражданская, революция, белый террор, красный террор, разруха, одичание и, наконец, первородный грех русской революции — убийство царской семьи — превратили Россию в мировую плаху, с полей которой долго еще несло запахом мертвечины. Убийство стало обрядом классовой ненависти, способом добывания элементарных человеческих благ, основой авторитета многих и многих.

28 января 1926 года власть призналась в убийстве бывшей царской семьи. В «Известиях» была опубликована статья «Расстрел семьи Романовых». В ней сообщалось о расстреле одиннадцати человек: Николая, его жены, сына, четырех дочерей и четырех приближенных. Сообщалось и о том, что трупы были сожжены и брошены в шахту в урочище «Четыре брата» под Екатеринбургом, а драгоценности убитых конфискованы. «Все было окончено настолько основательно, — не без гордости сообщала газета, — что белые в течение двух лет не могли найти могилы». Одним словом: учитесь, ребята, как надо работать!

Убийств в Москве совершалось много. По страсти, по злобе, по мерзости человеческой. Преступники умерли, свидетели, наверное, тоже. Остались несколько уголовных дел в московских архивах, копии приговоров, статьи и заметки в газетах и журналах.

Начнем со страстей человеческих.

Олег Николаевич Фрелих, артист Московского драматического театра, был молод и красив. Жил он в

квартире 11 дома 9 по Гранатному переулку со своей молодой женой Верой Николаевной. Она тоже была актрисой и служила в Малом театре. Ее фамилия по сцене — Валицкая. Внешне это была прекрасная пара. Но жизнь ее не сложилась. Виной тому неуправляемая натура Олега Фрелиха. Эту натуру, по всей вероятности, он унаследовал от отца, закончившего жизнь в сумасшедшем доме. По этой ли или по другой причине, но был Олег Фрелих болезненно ревнив. Вскоре после свадьбы, увидев, что его жена танцует на балу с другим, набросился на нее и чуть не задушил. Сцена получилась пошлая и дикая. Он чувствовал это, но измениться не мог. Страсть была сильнее его. Вот как он сам рассказывал о себе следователю: «...я никогда не мог равнодушно видеть женщин, слишком играла во мне плоть. Пять лет тому назад я поехал в Новороссийск, в местную труппу. Влюбился в артистку Журавскую, которая состояла в ней. Режиссер возлагал на меня, как на артиста, большие надежды, но я ни о чем, кроме Журавской, не мог думать. Роли не учил, играл плохо. Тут у жены умерла тетка, и она приехала в Новороссийск. Журавская показала ей мои письма. Жена моя истеричка, всегда меня ревновала, но она гордая и на этот раз уехала от меня, даже не простившись. Однажды, когда мы с Журавской возвращались домой из театра и она рассказала мне, как фотографировалась с компанией мужчин, я повалил ее на землю и стал душить. Когда она захрипела, я бросил ее и убежал. После этого случая я стал мрачный и раздражительный, так что наши актеры не узнавали меня. Вскоре бросил Новороссийск и приехал в Москву. Поступил в Драматический театр. Здесь встретил Елену Николаевну Визарову. Решил, что знакомиться с ней не следует. Как будто почувствовал, что эта женщина меня погубит. Но однажды в фойе театра меня с ней кто-то познакомил. Визарова предложила мне встретиться с ней у ее подруги Вентцель. В тот же вечер мы сблизились с ней. А тут гастроли. Приехал в Одессу и чувствую, что жить без нее не могу. Получил письмо от жены. Она писала, что устала от моих измен и что я могу считать себя свободным». Тут надо заметить, что Валицкая, пытаясь вернуть мужа, встретила с мужем Визаро-

вой и рассказала ему о романе своего мужа с его женой, но тот, вопреки ее ожиданиям, на это никак не реагировал и даже стал что-то бурчать про современный взгляд на супружеские отношения. Ее это возмутило, но изменить что-либо в образе мыслей этого «великодушного рога носца» она не могла, да и не до того ей было. Она ушла и написала мужу то самое письмо, о котором упомянул Фрелих в своем рассказе следователю. А вот и его продолжение. «Тоска по Елене Николаевне не давала мне жить, — рассказывал Фрелих. — Я не мог спать, по четыре раза в день занимался онанизмом, завел даже роман со студенткой. Говорил с ней о религии, музыке, искусстве. Когда наконец вернулся в Москву, а Елена Николаевна к тому времени вернулась с гастролей из Новочеркасска, снял комнату в квартире 37 дома 1 по Палашевскому переулку, где снова стал встречаться с ней. Это были сумасшедшие дни. Но вскоре я стал замечать, что Визарова как-то изменилась ко мне. Однажды она даже начала рассказывать что-то о своих случайных похождениях. Я этого не стерпел и хотел ее ударить, но сдержался и после этого старался с ней не встречаться. Мне было так больно, ведь я отдавал ей всю душу. Как-то она позвонила и назначила встречу. Договорились встретиться на следующий день, 14 мая, в кафе, напротив Трехпрудного переулка, в девять часов вечера. Встретились, пошли по Садовой, свернули на Брестскую. Она говорила, что я сумасшедший, больной, что мое настроение калейдоскопически меняется и что я и ее делаю больной. Потом сказала, что днем была в кафе “Бом” на Тверской с Леной. На мой вопрос, кто такой Леня и почему она его так называет, она улыбнулась и сказала: “Ты ведь знаешь, что я паршивая женщина”. Тут надо заметить, что именно все порочное и дурное в Елене Николаевне сводило нашего героя с ума. Он обожал ее корявый почерк, ее неряшливость, чувственность, его необычайно возбуждал вид драного, спускающегося с ее ноги чулка. И эта «паршивая женщина» прозвучала для него как признание в измене, как хвастливое заявление о том, что она дарит свою сладость, без которой он не может и не хочет жить, другому. В голове у «Отелло» помутилось. «Я выхватил нож



из кармана пальто, — рассказал он далее, — и ударил им ее в грудь. Она вскрикнула. Я схватил ее в объятия, стал целовать и спрашивать, жива ли она. Она не отвечала. Я стал кричать, звать на помощь, но никто не отзывался — улица была пуста. Я положил Елену на скамейку и побежал на Тверскую. Оттуда привел извозчика. Мы положили Елену в пролетку и помчались в Екатерининскую больницу. Она еще стонала...»

В десять часов вечера в Новоекатерининскую больницу у Петровских Ворот была доставлена женщина лет двадцати пяти со сквозной колотой раной груди. Ею оказалась Визарова-Юккель, проживающая в квартире 13 дома 2 по Дегтярному переулку. Медицинская помощь ей не оказывалась, так как она была мертва. Олег Николаевич Фрелих прошел обследование в Алексеевской больнице на Канатчиковой даче (земля, на которой стоит больница, принадлежала когда-то купцу Канатчикову, а потом у него выкупил эту землю городской голова Алексеев, который и создал там психиатрическую больницу. — Г. А.), и врачи признали его психически больным. Он два года находился в психиатрической лечебнице профессора Усольцева. Что с ним стало потом, неизвестно.

Убийства из ревности не прекратились с утверждением нового общественного строя. Был, например, такой случай. В одном из корпусов дома 13 по Большому Балканскому переулку, там, где он выходит на Каланчевскую улицу, жил тридцатидвухлетний инженер-электрик Владимир Сергеевич Титов с женой Анной. Анна училась в Инженерно-строительном институте имени Куйбышева. Там она подружилась с однокурсником Константином Отрешко-Арским. Как-то пригласила его к себе домой. Потом он стал ходить к ней чаще, вместе стали заниматься. Титов сначала не ревновал, потом делал вид, что не ревнует, а потом делать вид ему надоело. Между мужем и женой начались ссоры. Анна сначала говорила, что у нее с Константином ничего нет и быть не может, что он просто ее товарищ, но когда ссоры зашли слишком далеко, не выдержала и бросила Владимиру, что любит Костю больше, чем его. Этого Титов пережить не мог. 20 ноября 1934

года в десять часов вечера он встретил в своем подъезде Отрешко-Арского (тот возвращался в общежитие) и два раза выстрелил в него. В Институте имени Склифосовского Отрешко-Арский сообщил, что стрелял в него Володька, то есть Титов. Титов же свою вину отрицал и утверждал, что в тот момент, когда был ранен Отрешко-Арский, он находился в кинотеатре и смотрел «Чапаева». Через девять дней после случившегося Отрешко-Арский скончался, Анна вскоре куда-то уехала, а Титов в 1936 году был осужден на пять лет лишения свободы. Из сохранившейся домовой книги следует, что Титов после войны вернулся в родной дом. Получил комнату в корпусе, выходящем на Каланчевскую улицу, там, где был так называемый «круглый» гастроном, а потом, в шестидесятые, переехал в новый район.

Александра Евтихиевна Соколова тоже не пощадила свою соперницу. В 1937 году Александре Евтихиевне шел сорок первый год. Работала она акушеркой роддома при заводе «Красный богатырь», а жила с мужем в квартире 4 дома 72 по 2-й Тверской-Ямской улице. Однажды, это было 16 января 1937 года, в дверь постучали. Она открыла. На пороге стояла Мотя Макас, ее бывшая соседка. Мотя сказала, что зашла за вещами. Дальше она стала говорить что-то совсем странное. Сказала, что уезжает с ее, Соколовой, мужем, что она беременна от него и не знает, делать ли ей аборт. Александра Евтихиевна обомлела, в голове ее как будто соединились два провода. Не помня себя, она схватила скалку и ударила ею Макас. Та с криком выскочила в коридор. Тут Соколова ее настигла. Началась борьба. Соколовой попал под руку тяжелый металлический пестик, и она им несколько раз ударила по голове мать будущего ребенка своего мужа. Макас была убита. Соколова раздела труп, разрешила его на несколько частей и сожгла вместе с одеждой в двух голландских печах. Получила она за свое преступление пять лет.

Люди, склонные к однополюй любви, ревнуют своих возлюбленных не меньше, чем их разнополые собратья. Вот какой странный случай произошел 22 января 1937 года в квартире 189 дома 6 по Мантулинской улице. В двенадцать часов дня в ней соб-

рались на чаепитие старушка Ульяна Воробейкова и молодые женщины: Муза Авдеева, Людмила Белякова и Надежда Черноусова. Надежда Черноусова принесла торт. Сама его разрезала, разложила на тарелочки и поставила на стол. Воробейкова и Авдеева съели по кусочку. Белякова есть торт не хотела, но Черноусова ее уговорила. Не успели Воробейкова, Авдеева и Белякова допить чай, как уснули. Черноусова вызвала «скорую помощь». Воробейкова и Авдеева вскоре пришли в себя, а Белякова умерла через двадцать минут после того, как ее доставили в Боткинскую больницу. Сначала все решили, что она отравилась тортом. Торт исследовали. Оказалось, что он посыпан морфием. Начали было подозревать фабрику «Моссельпром», изготовившую торт, но когда установили, что морфий имеется не только на его поверхности, но и на разрезах, грешить на фабрику не стали. Ясно было одно: убийца находилась за столом и была это, вероятнее всего, Надежда Черноусова, которая и торт принесла, и сама не пострадала. К тому же выяснилось, что раньше она работала в больнице и имела возможность достать морфий. Когда стали допрашивать свидетелей и, в частности, родителей Беляковой, то выяснилось, что между Черноусовой и Беляковой были необычные отношения. Надежда слишком явно опекала Людмилу, ревновала ее, не давала ей знакомиться с мальчиками. Людмила подчинялась ей. Окружающие замечали, что подруги были чересчур ласковы друг с другом. Особую активность в ласках проявляла Надежда. Она при всех целовала Людмилу, и у нее при этом загорались глаза. Бывало, она щипала Людмилу, устраивала ей сцены ревности. Людмила тяготилась влюбленностью в нее Надежды, но поделаться ничего не могла — Надежда подчинила ее своей воле. Выяснилось также, что, измученная своим патологическим влечением и не видя возможности связать свою жизнь с Людмилой, Надежда Черноусова предложила Людмиле Беляковой покончить с собой: отравить сначала ее, а потом отравиться самой. Как мы видим, половину этого замысла Черноусова осуществила. Московский городской суд приговорил ее к десяти годам лишения свободы.

Когда-то, до революции, убийство из ревности называли убийством на романтической почве. В советское время на этот мотив стали смотреть как на низменный. В нем усматривали покушение на право государства вмешиваться в частную жизнь людей. В статье «Уголовное право и психология. Роль мотива в уголовном праве», опубликованной в 1925 году в журнале «Право и жизнь», Г. С. Фельдштейн писал: «Ревность в своей основе является комбинацией эгоизма и злобы... половая ревность является, несомненно, пережитком стремления к полному обладанию другим лицом и использованию его. Это чувство не может при развитом состоянии общества считаться заслуживающим особой охраны и культивированию его. Мы должны видеть в ней реализацию мотива антисоциального, подсказываемого эгоизмом, злобностью как его вероятными источниками... Ст. ст. 142 и 144 УК РСФСР ставят ревность в ряд с другими низменными мотивами, если только убийство, совершенное из ревности, не осуществляется под влиянием сильного душевного волнения». Наверное, ревность — это прежде всего уязвленное самолюбие, а в самолюбии можно найти и эгоизм. Но какая же это ревность, если нет сильного душевного волнения?

Убийство на дуэли Верховный суд РСФСР также посчитал убийством из низменных побуждений. Поводом к такому суждению послужила дуэль между Тертовым и Дьяконовым, произошедшая в светлую ночь на 1 июля 1923 года в Нескучном саду. Дьяконов, бывший прапорщик царской армии, учился в военной академии. Он страстно влюбился в Тамару Мечабелли. У нее были матовая смуглая кожа с нежным румянцем на щеках и большие глаза цвета мокрой черной смородины с голубыми белками. Тамара не любила Дьяконова, и он это понимал. Жить без нее он не мог, но и смерть означала для него вечную разлуку с ней. Так и существовал он, не зная, к какому из двух берегов — жизни или смерти — пристать. Он казался себе жалким, как барон Тузенбах из чеховских «Трех сестер». Ощущение это усиливал некий Тертов, в котором Дьяконов видел Солевого, персонажа той же драмы. Тертов в свое время был «отчаянный рубака». Он не служил в разбитой цар-

ской армии, а с восемнадцати лет сражался на баррикадах Питера и Москвы. Он побывал на многих фронтах Гражданской войны, имел одиннадцать ранений. За свою недолгую жизнь он успел побыть поваренком, актером, техником, кочегаром, шахтером. Дьяконов в чем-то завидовал ему и от этого еще больше ревновал к Мечабелли. Как-то, обидевшись на очередную шутку Тертова, он не сдержался и чуть было не застрелил его. Тамара успела отвести его руку. Дьяконов понял, что она любит Тертова и тот теперь обязан ей своим спасением. Это был тупик. Как ни велика была земля, а места на ней для него и Тертова не хватало. Убить Тертова из-за угла значило навсегда пасть в глазах любимой им женщины. Застрелиться, сдав Тамару без боя Тертову, он тоже не мог. Оставалось одно: верить свою судьбу провидению, Богу, и будь что будет. Дуэль состоялась, и Дьяконов на ней был убит. Тертов пришел в милицию и обо всем рассказал.

Суд признал Тертова виновным. В приговоре он обрушился на «мещанскую психологию» кругов, в которых вращался Тертов, возмущался «славными традициями худшей части царского офицерства», но, вспомнив о том, что Дьяконов угрожал Тертову и даже стрелял в него в квартире Мечабелли, смиростивился и назначил ему наказание в виде полутора лет лишения свободы. Верховный суд, хотя и приравнял ревность к корысти и другим низменным побуждениям, отменять приговор за мягкостью назначенного Тертову наказания не стал.

Но не только ревность вызывала споры у судей и законодателей. В 1922 году они много спорили по поводу сострадания. Дело в том, что в примечании к статье 143 действовавшего тогда Уголовного кодекса говорилось о том, что убийство, совершенное по настоянию убитого из чувства сострадания, законом не карается. Появление такого пункта закона в эпоху голода и разрухи, когда людей лечить было некому да и нечем, понятно. Однако затруднения, в которые ставили при этом следственные органы лица, совершившие подобные убийства, были очевидны. Нелегко было опровергнуть утверждение убийцы о том, что он действовал из чувства сострадания.

В одной из дискуссий по этому вопросу Юрий Ларин, о котором мы уже упоминали, сослался на собственный пример. «Я, — сказал он, — болен высыханием мускулов. Через несколько лет я должен умереть». Кто-то после этих слов тихо пробурчал: «Через несколько лет мы все помрем», а Ларин, не расслышав замечания, продолжал: «Если я попрошу министра нашего здравоохранения товарища Семашко дать мне яду, то выйдет так, что вы будете его судить за то, что он избавил меня от страданий по моей собственной просьбе?» — «Не будем», — слышались голоса, а кто-то добавил: «Зачем обращаться к Семашко? Неужели этот вопрос нельзя решить самому?» Дискуссия закончилась тем, что примечание было исключено.

Убийства из ревности, из сострадания волновали граждан больше, если можно так выразиться, с литературной стороны. Не такое уж большое количество людей чувствовало себя в смертельной опасности, не соблюдая супружескую верность или, лучше сказать, соблюдая супружескую неверность. Большой страх внушали убийства из корысти, убийства без всякой видимой причины. Их совершали сумасшедшие, которых было не так уж мало. Тяжелые, голодные годы дали себя знать и в этом. Поэтому даже бедный человек не чувствовал себя в полной безопасности, а о богатом и говорить нечего. Ну могла ли подумать бедная Мария Суматохина о том, что скоро придет ее смерть, когда во дворе дома 7 по Зачатьевскому переулку ее позвала к себе в комнату Головина? А ведь именно так и случилось. Оказывается, сожитель Головиной потерял квитанцию на сданные им казенные деньги (а может быть, просто пропил их), и его нужно было выручать. Пришедшую к ней Суматохину Головина убила, труп ее расчленила и закопала во дворе в снег. Пальго же (ничего более ценного у Суматохиной не было) продала за два червонца, которые и отдала сожителю. И, уж конечно, не ожидал гибели от руки убийцы шестнадцатилетний Фома Федоров, когда осенним вечером 1925 года ютился на Вокзальной (Комсомольской) площади, страдая от голода и холода. Ни врагов, ни копейки денег у него не было. Смерть подошла к нему в виде

тихой старушки. («Набожная», — еще подумал мальчик.) Старушка наклонилась и ласково так спросила: «Что, сынок, плохо тебе?» — «Плохо, — ответил Фома, — очень есть хочется». — «Пойдем со мной, я тебя накормлю», — сказала старушка. Федоров встал и поплелся за ней, с трудом волоча ноги. Ему показалось, что они шли очень долго. Наконец вошли в какие-то ворота, за ними деревья, кусты. Запахло сыростью и прелыми листьями. «Как на кладбище», — подумал мальчик и тут в самом деле разглядел в темноте каменные надгробия. Остановился, но тут же услышал добрый голос: «Пойдем, милый, не бойся». Он пошел. Подошли к какой-то могиле. «Садись, — сказал голос, но, как ему показалось, уже не такой ласковый. — Вот я тебя сейчас и накормлю». У Фомы что-то екнуло в животе и во рту стало мокро, а силы совсем покинули его. В просвете между тучами появилась луна. Старушка возилась, что-то доставая из сумки. Он поднял голову и увидел над собой вместо доброго, участливого лица пустые старушечьи глаза и два торчащих зуба на обнажившейся нижней челюсти. Блеснул клинок ножа, и тут же он ощутил боль, потом еще и еще.

Когда Фому привезли в больницу, на его теле обнаружили семнадцать ножевых ран. К счастью, они были не смертельными. Видно, у старушки не хватило сил. Вскоре ее поймали. Это была сумасшедшая нищенка Пелагея Денисова, а кладбище, на которое она завела Федорова, — кладбищем Алексеевского монастыря. Он находился на Красносельской улице. Кладбище сюда переехало вместе с монастырем в 1837 году с того места, на котором теперь стоит храм Христа Спасителя.

Жугким историям в Москве не было конца. В 1923 году, в период нэпа, в городе существовали черная биржа, игорные заведения, казино и, естественно, было немало дельцов и биржевых маклеров. Они наживались на биржевых спекуляциях. Таким дельцом черной биржи был Сергей Сергеевич Зернов, веселый, жизнерадостный молодой человек, сын профессора. Занятия на бирже не мешали его службе в качестве юрисконсульта в тресте «Северолес». Сергей был азартен

и являлся душой игорных заведений и, в частности, казино «Прага» на Арбатской площади. Здесь, в казино, он познакомился с тридцатитрехлетним инженером-механиком М. А. Иоселевичем, папаша которого держал лавку в Петровском пассаже, человеком семейным и положительным, носившим английский костюм, бородку и усики. В Дармштадте, что в немецком княжестве Гессен, он закончил Политехнический институт, знал несколько европейских языков и работал управделами в Киевском исполкоме Москвы. Жил Иоселевич-младший в доме 4 по Мамоновскому переулку. Дом этот и теперь стоит на том же самом месте, немножко ниже Театра юного зрителя. В нем разместились представительства иностранных фирм. В этот дом, в квартиру, расположенную в бельэтаже, 21 июля 1923 года Иоселевич пригласил Зернова, встретив его на черной бирже у Ильинских Ворот. Дело в том, что Зернов продал Иоселевичу иностранную валюту на крупную сумму, и последний предложил ему завершить расчет у себя дома. К тому же на бирже, как это заметил не только Иоселевич, у Зернова имелась крупная сумма денег, кажется, 400 миллиардов. Когда в пять часов дня Зернов приехал к Иоселевичу, который был дома один, так как семья его уехала на дачу, тот проводил его в гостиную. Здесь он выстрелил в затылок ничего не подозревавшему гостю из пистолета, а затем для верности, наверное, три раза ударил молотком по голове. Приехал, как и договорились, Лурье, приятель Иоселевича, тоже игрок. Они положили труп Зернова в большую корзину, связав ему ноги и руки, замыли кровь на полу, наняли подводу и, погрузив на нее корзину с трупом, отвезли ее на Ярославский вокзал. Когда Иоселевич сдавал корзину в камеру хранения, приемщик обратил внимание на то, что из нее сочится кровь. Бдительный служащий решил заглянуть в корзину. Какой же ужас охватил его, когда он увидел связанный труп. Иоселевича, естественно, задержали. Он назвался электромонтером Вишневым, сказал, что едет в Ярославль, а корзину в камеру хранения его попросил сдать неизвестный. Объяснения монтера выглядели сомнительно: с какой это стати он взялся за такую тяжелую работу, да еще по поруче-



нию неизвестно кого? Его задержали. В корзине нашли бумажку. Она напоминала квитанции игорного клуба или казино, которые выдают там при выигрыше большой суммы вместо золота. Тогда агенты уголовного розыска с фотографиями трупа стали обходить игорные заведения. Один из служащих казино «Прага» узнал убитого, как посетителя, но не мог назвать его фамилию. На одном из найденных в той же корзине листочков, очевидно вырванных из записной книжки, удалось прочесть: «Погодиллов 5 червонцев». В книге посетителей «Праги» значился некий Погодиллов. Его нашли, допросили и узнали, что 5 червонцев ему остался должен Зернов. Нашлись свидетели, знавшие и о том, что Зернова пригласил к себе Иоселевич. «Монтеру» предъявили доказательства, и он признался в убийстве. Был шумный судебный процесс. Убийца на нем не раскаивался и вообще чувствовал себя героем. Получил он за совершенное преступление десять лет со строгой изоляцией. О преступлении Иоселевича писали не только московские газеты, но и парижские «Последние новости», добавившие к происшествию еще одну жуткую деталь, а именно то, что Иоселевич разрубил труп Зернова на куски, а уже потом погрузил в корзину. Что ж, людям всегда всего мало, даже зверств.

Корыстный мотив совершения убийства безусловно один из подлейших и, к сожалению, один из самых распространенных. Корысть — настолько широкое понятие, что охватывает вещи совершенно несопоставимые. На моей памяти были серии дел об убийствах, целью которых являлись джинсы, иностранные безделушки, видеоманитофоны, автомашины. Одним словом, вещи, совершенно различные по цене, но имеющие притягательную силу за счет моды, иностранного происхождения или внешне броского вида. Дикарь ведь реагирует на все яркое.

Теперь вошло в моду слово «киллер». Звучит оно красиво, а означает: убийца. Англичане, так те прямо так и называют подонков, убивающих по найму, убийцами, а наши газеты, журналы, телевидение называть их убийцами, мерзавцами, выродками не решаются. Почему? Неужели так уважают силу, что и подлость ей не

помеха, или настолько любят иностранные слова? Развелись в стране «авторитеты». Раньше слово «авторитет» звучало уважительно, а теперь, оказывается, авторитет — это тот же подонок, и авторитет у него существует среди таких же подонков, как и он сам. И держится этот авторитет на подлости и оружии. Суть его проста и отвратительна — личный корыстный интерес, цена — человеческая жизнь. Блатная романтика, которой окружают себя подонки, тот же плевок на асфальте. Его можно принять за монету, но ценности ему это не прибавляет. Впрочем, хватит о современности.

Вернемся в тридцатые годы, к уголовным делам тех лет. Здесь тоже холодно и страшно, как в море.

3 марта 1929 года некто Баратов развелся с женой и зарегистрировал брак с Зайцевой. Он подделал при этом документы, и жене о своей новой женитьбе ничего не сообщил. Тут получил он назначение на работу в Семипалатинск, выхлопотал для перевозки вещей товарный вагон и предложил своей первой жене тоже упаковать вещи и вместе с матерью переехать с ним в Семипалатинск «для новой жизни». Ничего не подозревавшая жена согласилась, хотя мать, чуя недоброе, ее отговаривала, да не отговорила, — видно, дочь любила своего мужа. Так и поехали мать и дочь со всем своим добром, бросив Москву, искать новую счастливую жизнь. А в дороге, когда поезд миновал российские города и потащился по бескрайним степям Казахской автономной республики, Баратов убил поленом жену и тещу, разрезал их трупы на семнадцать кусков и, уложив куски в корзины, намеревался выбросить по дороге. Бдительные железнодорожники не дали ему этого сделать. Баратов, а потом и Зайцева были арестованы. Краснопресненский нарсуд дал Баратову семь лет, а Зайцевой, как сообщнице, которая знала о его планах, полтора года.

Широкую известность в Москве приобрело дело Афанасьева-Дунаева, обвинявшегося в убийстве своей жены, Нины Амираговой, в июле 1936 года. Владимир Афанасьевич Афанасьев-Дунаев 1899 года рождения, имеющий высшее медицинское образование, врач и бывший судебно-медицинский эксперт, весной 1931

года познакомился с Ниной Амираговой, на которой вскоре женился. Сам он был рязанский и хорошей жилплощади в Москве не имел, поэтому и поселился у Нины, в коммунальной квартире 26 дома 5 по Метростроевской улице. Дом этот и теперь стоит между Обыденскими переулками, большой и красивый.

Первое время новобрачные жили хорошо, но спустя два-три месяца соседи стали замечать, что Афанасьев изменился. Он стал груб с женой, оскорблял ее, бил, угрожал ей. Он упрекал ее в измене, хотя сам не очень-то был ей верен: его не раз видели с другой женщиной. Летом 1935 года Афанасьев приревновал Нину к какому-то шоферу и устроил ей скандал, даже душил ее, потом взял нож и приказал ей молиться, сказал, что сейчас зарежет, и еще добавил: «Не кричи, не успеешь, все равно зарежу и сделаю с тобой то, от чего перевернется в гробу твой Иван Иванович». Иваном Ивановичем звали первого мужа Амираговой, который умер еще до знакомства Нины с Афанасьевым. Знакомые уговаривали Нину развестись с Афанасьевым, но Нина боялась — Афанасьев был против развода. К тому же Нина не имела никакой специальности и в материальном отношении зависела от мужа. Когда же она стала учиться машинописи, Афанасьев устроил ей скандал и запретил учиться. В общем, между супругами сложились довольно сложные отношения. В конце концов 6 февраля 1936 года они развелись. Однако Афанасьев с квартиры не съехал, а продолжал приходить ночевать и устраивать скандалы. В том же 1936 году он познакомился с женщиной по фамилии Лосс и стал с ней снимать дачу на станции Лось. Продолжал он поддерживать отношения и с Ниной и даже стал с ней ласковым и добрым.

11 июля Афанасьев предложил ей поехать с ним за город, но в тот же день они поссорились из-за какого-то пустяка: то ли Афанасьев считал, что продукты на дорогу надо купить накануне, а Нина — что это можно сделать в день поездки, то ли наоборот — неизвестно. Известно только, что поездку они отложили на следующий день. Вечером же к ним пришла соседка по дому Лачинова, которая просидела у них допоздна. Потом

они проводили ее и вернулись домой. Той же ночью Афанасьев убил Амирагову, ударив чем-то тяжелым по голове. Затем расчленил ее труп, снял с головы кожу, отрезал уши, вынул глаза, зубы, отрезал пальцы на руках, уничтожил на ее теле родинки. Тут ему помогли его профессиональные знания и навыки эксперта. Следует заметить, что преступники, да и вообще люди, обладающие определенными профессиональными знаниями и навыками, часто переоценивают их значение. Афанасьеву ничто не мешало убить Амирагову где-нибудь в лесу, но, наверное, применение своего профессионального мастерства на практике представляло для него большой соблазн. Итак, убив Нину, он упаковал части ее трупа и развез их по линии Северной железной дороги: на шестой километр, близ платформы Яуза, в район санатория «Белая ромашка», Болшевский и Лосиноостровский лес.

О пропаже Нины ее родственники заявили в милицию, а потом люди и части расчлененного Нинино трупа стали находить. Правда, опознать их никто не мог. Однако соседи убитой опознали клеенку, в которую были завернуты найденные части. Афанасьев же, заподозренный в убийстве, все отрицал. Утверждал, что лично видел, как Нина села в какую-то машину и уехала неизвестно куда. Следствие ему не поверило. В начале октября 1937 года дело рассмотрел Военный трибунал внутренних войск НКВД по Московской области. Присутствовавшие на судебном процессе очевидцы рассказывали, что Афанасьев был спокоен, гладко выбрит и «причесан до лоска». Его худую шею поддерживал накрахмаленный стоячий воротничок. Подсудимый выглядел каким-то неестественно равнодушным. Порой казалось, что перед судом стоит не живой человек, а какая-то длинная, высохшая мумия. Когда прокурор Гольст потребовал для него расстрела, Афанасьев сидел и спокойно ел яблоко.

Опровергая доводы Афанасьева в свою защиту, трибунал указал в приговоре на то, что Амирагова не могла уехать неизвестно куда и неизвестно с кем, не предупредив об этом сестру и мать и не написав им за полгода ни одного письма. Наконец, она не могла уехать, не

получив в ателье заказанные ею платья. О виновности Афанасьева в убийстве говорило, по мнению трибунала, и его собственное поведение. Буквально на следующий день после пропажи Нины он затеял в ее комнате ремонт, обтянул мебель новой материей. Кроме того, он продал принадлежавшие ей вещи: платья, швейную машинку, шкаф, шубу, диван. Более того, при тщательном осмотре комнаты, несмотря на проведенный ремонт, между половицами, под новой обивкой кресел, на стенах и в щелях стола была обнаружена кровь.

Афанасьев утверждал, что кровь оставили неаккуратные девушки, жившие одно время в комнате Амираговой, а вещи Нины он продал потому, что она его обокрала перед побегом.

Трибунал не поверил Афанасьеву и, согласившись с прокурором, приговорил его к расстрелу. Тут следует добавить, что дело это рассматривалось в 1937 году и на приговор повлияли, надо полагать, политические веяния эпохи. В ходе процесса вскрылось, что два брата Афанасьева осуждены и высланы за контрреволюционные преступления и что сам он враждебно относился к советской власти. Короче говоря, трибунал решил, что Афанасьев убил Амирагову за то, что она грозила ему разоблачением, то есть имел место «акт классовой мести, акт классового врага, боявшегося разоблачения».

Верховный суд приговор все же отменил и при новом рассмотрении, которое проходило в Московском городском суде в июне 1938 года под председательством Куцова, Афанасьев-Дунаев получил десять лет лишения свободы.

Убийство Нины Амираговой произошло в июле 1936 года, а в сентябре того же года произошло в Москве убийство еще более страшное. Предыстория его такова.

Вольдемар Карлович Линтин был зачат Евдокией Иосифовной и Карлом Карловичем Линтинными в ночь под новый, 1921 год. Что пили его родители в ту голодную новогоднюю ночь, неизвестно, но вряд ли шампанское. Пили в те годы и одеколон, и керосин, и еще черт знает что. Правда, молодым и любящим людям все

могло показаться сладким. Любовь и в 1921 году была любовью.

30 сентября 1921 года Вольдемар появился на свет. Он быстро рос, казалось, на радость отцу и матери. Карл Карлович был чиновником, неплохо по тем временам зарабатывал, и сын его особой нужды не испытывал. Жила семья в доме 4 по Большой Екатерининской улице, проходящей вдоль Екатерининского сада. Теперь там Олимпийский проспект. Дом был небольшой, деревянный. Соседом Линтиных по квартире был одинокий молодой человек по фамилии Музыкант. Наступил 1936 год. Вольдемар тогда учился в шестом классе школы № 53 Дзержинского района. Был он какой-то не такой, не как все. Обычно замкнутый, угрюмый, он жил в своем особом мире. В мире этом было много фантазии, наполненной образами бродяг и разбойников. Учиться в школе, состоять в пионерах ему было скучно, и он этим тяготился, начиная с четвертого класса. Наконец он перестал ходить в школу. Потом, в приговоре, суд так напишет об этом периоде в жизни Вольдемара: «...В результате неправильного воспитания в семье, безотказного удовлетворения всех его прихотей со стороны матери и отца, Вольдемар рос замкнутым, эгоистичным ребенком, оторванным от коллектива. Из-за отсутствия должного внимания и воспитания со стороны руководителей педагогического состава школы у него сформировались индивидуалистические, эгоистические наклонности, в силу чего Линтин в 1936 году бросил учиться в школе и строил планы беззаботной и роскошной жизни, которую он мечтал себе устроить за границей, бежав туда и занимаясь там бандитизмом». Суд, наверное, был искренен в своем мнении, и учителя, наверное, действительно мало вовлекали Линтина в общую жизнь класса, но могли ли они предвидеть, что может совершить этот тихий мальчик. Да и кто из нас не мечтал о приключениях?! С Линтиным дело обстояло несколько иначе. Казалось, в него вселился дьявол. Темные, нечеловеческие страсти стали бродить в этом тринадцатилетнем отроке. Все доброе и светлое как бы остановилось в нем, замерло, куда-то ушло. Своими мыслями он мог дотягиваться только до

денег, до вещей. С недавнего времени он почувствовал себя мужчиной и решил, что может претендовать на те места под солнцем, которые захватили пузатые, лысые, слабые. Ему не надо было думать: переступить или нет? Он был готов переступить не задумываясь.

Лев Николаевич Толстой в повести «Отрочество» пишет о душевном состоянии тех, кому перевалило за десять, у кого бывают минуты, когда мысль не обсуждает наперед каждого устремления воли, а единственными пружинами жизни остаются плотские инстинкты. Так вот Толстой пишет: «...крестьянский паренё лет семнадцать, осматривая лезвие топора подле лавки, на которой лицом вниз спит его отец, вдруг размахивается топором и с тупым любопытством смотрит, как сочится под лавку кровь из разрубленной шеи, под влиянием этого же отсутствия мысли и инстинктивного любопытства человек находит какое-то наслаждение остановиться на самом краю обрыва и думать: а что, если туда броситься?»

Вольдемар Линтин себе такого вопроса не задавал. Он решил броситься.

Итак, Линтин замыслил бежать из дому. Одному этого делать не хотелось, и он позвал с собой приятеля, Виктора Соколова. Тот был старше его на полтора года, но учился в пятом классе. Очевидно, был второгодником. Соколов согласился. Решили кого-нибудь ограбить, чтобы добыть деньги на дорогу. Линтин украл из дома 80 рублей, золотое кольцо матери, а у соседа по фамилии Музыкант — револьвер. Соколов захватил из дома кортик своего отца. 7 сентября 1936 года они бежали. Ограбление планировали совершить в ЦПКиО имени Горького, но никого подходящего для этого не нашли, да и Соколов не хотел участвовать в грабеже. Он даже позвонил домой Линтину и сказал, где они находятся. Так бесславно закончилась их первая попытка стать гангстерами.

Но мысль, внушенная Сатаной, не оставляла Линтина. К тому же взыграло его самолюбие. Он почувствовал, что должен не только сбежать, а переступить через что-то страшное. Именно это страшное навсегда порвет его связь с родителями, с домом, с Москвой, со

страной. Короче говоря, он решил убить своих родителей. Поделится этой идеей с Соколовым. Тот испугался, но отговаривать не стал. Линтин и так издевался над ним за прошлое предательство. Новый побег назначили на 26 сентября 1936 года. Вольдемар попросил у соседа велосипед покататься, а потом, вместе с Соколовым, сдал его в скупочный пункт за 225 рублей. Вечером Соколов взял дома белье и кортик и пошел к Линтину. Они должны были в этот вечер осуществить свой план, но отец Соколова обратил внимание на то, что сын долго не возвращается домой, и на то, что опять пропал его кортик, и пошел к Линтиным. Своим приходом он расстроил планы детей. Родители смогли спокойно проспать еще одну ночь. На следующий день Карл Карлович Линтин потребовал от сына, чтобы он вернул соседу велосипед, а сам ушел на работу — тогда по субботам работали. Вольдемар сказал матери, что пойдет за велосипедом, а сам, выйдя из дома, остался ждать за углом, когда уйдет мать. Здесь к нему подошел Соколов. Стали ждать вместе. Вскоре Линтина из дома ушла. Вольдемар и Виктор пришли в квартиру и стали собирать вещи. В это время вернулась Евдокия Иосифовна (как чувствовала) и, увидев, что ее сын опять убегает из дома, стала кричать и возмущаться, грозить, что позовет отца. Тут Вольдемар взял кортик и ударил им ее в спину. Она попыталась выбежать из квартиры, но сын свалил ее на пол и стал бить по голове молотком, который ему передал Соколов. Евдокия Иосифовна была еще жива, она хрипела. Мальчики ее перетащили и уложили в ванну. Здесь Вольдемар ударил ее еще пятнадцать раз кортиком. Линтина умерла. Соколов замыл кровь в комнате, а Линтин вызвал по телефону такси, быстро собрал чемодан, затем отключил в квартире свет, вывернув пробки и на такси с Соколовым уехал на вокзал. Нечего и говорить о том, какую страшную картину застали, вернувшись домой, Карл Линтин и Музыкант. Сообщили, конечно, в милицию. Вольдемара Линтина и Виктора Соколова объявили в розыск. Но найти их было не так-то легко. Никто не знал, куда они уехали. А беглецы после Саратова, куда их привез московский поезд, пустились бродить по маленьким городкам и,



наконец, в октябре того же 1936 года приехали в Ташкент. О том, чтобы перейти границу, и речи быть не могло, гангстеров из них не получилось: ни навыков, ни связей, ни опыта, ни силы у ребят не было. Даже языка узбекского они не знали. Воровали на рынках что придется, побирались, пытались совершать карманные кражи. Однажды при такой попытке они попались. В милиции Соколов назвался Борисовым и получил два года. Линтин назвался Федоровым. Он постоянно хныкал, имел жалкий, ничтожный вид, и милиционеры, пожалев, отпустили его. Оставшись один, наш «гангстер» совсем раскис. Промыкался несколько дней без жилья и пищи и пришел в милицию, где и рассказал, кто он и что совершил. Его отправили под конвоем в Москву. Отыскали и Соколова. Судебная коллегия Московского городского суда под председательством Н. С. Сымантовича 3 марта 1937 года дала Линтину, учитывая несовершеннолетний возраст, восемь лет, а Соколову — два года лишения свободы.

Евдокию Иосифовну похоронили. Карл Карлович женился на другой женщине. В 1945 году К. К. Линтин с новой женой уехал жить в Ригу. Вскоре, освободившись из заключения, к нему приехал и Вольдемар. Трудно представить встречу сына и отца, о чем они говорили. Наверняка можно сказать одно — Вольдемар отцу врал. Он так и не осознал своей вины. В июне 1948 года его вновь осудили за грабеж и кражу и дали пять лет. Освободился он по амнистии от 27 марта 1953 года. Что с ним стало потом, сказать не могу, не знаю, но думаю, что стал он вонючим уголовником, жестоким и злым на весь мир. Никто не знает, где находится его могила, чтобы вбить в нее осиновый кол.

Остановлюсь еще на трех довоенных убийствах, дела о которых рассмотрел Московский городской суд. Существовал в Москве инвалидный дом имени Радищева. Инвалиды жили бедно, но хлеба, как говорится, хватало, от голода не пухли. А вообще, смертность была относительно высокой: люди все-таки больные, да и в большинстве своем старики.

Завелся в этом доме инвалид С. В. Чернов. Боялся он смерти, и умирать ему не хотелось, а тем более

раньше других. Некоторых, у которых физиономия круглая, вообще возненавидел. И стал он вести разговоры о том, что все равно все скоро умрем, кому нужна такая жизнь, не лучше ли самому стать хозяином своей смерти, чем ждать от нее милости и дрожать от страха. Даже писал стихи на эту тему и отсылал их фельдшернице Сергеевой. Нашел он и единомышленников. Инвалидам А. А. Грузинову и Г. П. Барышникову жить надоело, и они приняли откровения Чернова чуть ли не как новую религию. Решили организовать групповое самоубийство. По намеченному плану самоубийство первыми должны были совершить инвалиды Гусев, Кострикина (она больше всех жаловалась на свою несчастную жизнь) и Чернов. Гусев и Грузинов достали где-то наган. Самоубийство было назначено на 27 мая 1934 года. Грузинов должен был помочь застрелиться Гусеву и Кострикиной, пристрелив их или добив в случае неудачных выстрелов, а затем передать пистолет Чернову для самоубийства. В назначенное время Гусев, Грузинов и Кострикина встретились в условленном месте за речкой. Гусев выстрелил себе в лоб, но то ли лоб оказался крепким, то ли пистолет слабым, но пуля дала рикошет, и Гусев, раненый, упал на землю и стал стонать. Тогда Грузинов взял наган и выстрелил Гусеву в глаз (очевидно, лоб пробить не надеялся). Гусев был убит. Видевшая эту малоприятную процедуру Кострикина стала кричать и умолять Грузинова пощадить ее, но тот, очевидно войдя в раж, застрелил и ее. В себя же он стрелять не стал (может быть, в должности палача нашел призвание и стимул для жизни?), а выстрелил в дерево. Потом они с Черновым закопали трупы и пошли, как ни в чем не бывало, обедать. Гусева и Кострикину особо не искали. Решили, что они пустились в какое-нибудь путешествие. Такое с постояльцами дома инвалидов случалось, тем более что и сам Радищев, имя которого носило их «кефирное заведение», любил путешествовать. Но Чернов своей гнусной деятельностью не прекратил. В 1935 году ему удалось сагитировать на самоубийство инвалидов: Куликова, Логинова и Облитяева. Правда, последний вовремя одумался и из дома инвалидов сбежал. Чувствуя безнаказанность, Чернов стал призывать

инвалидов к убийству работников дома. Угрожал им в своих письмах расправой. Это его и сгубило. Вмешались «органы», откопали трупы. Прижали основателей «клуба самоубийц» и арестовали их. Судебная коллегия Московского городского суда приговорила Чернова и Грузинова к расстрелу.

Находясь под впечатлением от совершенных людьми преступлений, невольно пытаешься представить духовный мир таких, как Линтин, Чернов и других, им подобных, и становится жутко, как будто заглянул в духовный мир крокодила, варана, червя: темень темная, непроглядная. И как только люди, совершив такое, могли потом жить, о чем-то думать, на что-то надеяться?

Софья Иосифовна Васильева проживала со своей падчерицей Лидой Желдыбиной в квартире 12 дома 14 по 1-й Мещанской улице. Когда стояла Сухарева башня, их дом был домом 16, потому что Сухарева башня имела сразу два номера: 1-й и 2-й, а когда башню снесли, нумерация сразу уменьшилась на два номера и дом 16 стал домом 14. Муж Васильевой и отец Лиды умер. Лида рано пошла работать и трудилась на какой-то фабрике в Каретном Ряду. В 1937 году ей было пятнадцать лет. Отношения ее с мачехой не сложились. И чем дальше, тем они становились хуже. Васильева уже не могла скрывать своей ненависти к падчерице. Она часто со слезами на глазах («артистка») жаловалась соседкам на то, что Лида ее обижает, что она боится в дом войти, что Лида все съедает, а она ходит голодная. Соседи сочувствовали, но ничем помочь не могли. В конце концов Васильева, растравив душу соседям и самой себе, решила убить Желдыбину. Казнь назначила на двенадцать часов ночи 31 декабря 1938 года. Когда москвичи подносили к губам шампанское, Васильевой захотелось насладиться кровью падчерицы. Вечером она принесла в комнату жестяной таз и поставила у сундука, на котором спала Лида. Ровно в двенадцать часов она ударила спящую девочку колуном в висок, потом еще раз. Затем схватила ее за волосы и нагнула голову над тазом, в который стала стекать кровь. Лида еще была жива. Хрипела. Васильева перерезала ей горло ножом. Когда кровь стекла, отрезала голову. Приня-

лась за тело девочки. С помощью ножниц, ножа и садовой пилы разрезала его на мелкие части. Голову, скелет и кишечник сожгла в печке, а мягкие ткани и внутренности измельчила до размеров спичечного коробка и спустила в унитаз. Когда слесарь-сантехник прочищал забитую канализацию, он не мог понять, зачем так много мяса потребовалось спускать в унитаз. Когда поползли слухи об убийстве, в комнате Васильевой был произведен обыск, под половицами обнаружили кровь. Васильева призналась в убийстве. Судебно-психиатрическая экспертиза признала ее вменяемой. Судебная коллегия Московского городского суда под председательством Васнева приговорила Васильеву к десяти годам лишения свободы. Сознание застилает и погружает во тьму не только ненависть. Встречаются, наверное, такие человеческие особи, которые способны выключать сознание и действовать в режиме животных интересов.

Некто Максимов развелся с женой и выплачивал ей алименты на содержание дочери, которой тогда еще не было года. Максимов этим очень тяготился. Денег и так было мало, а тут еще алименты. Думал сбежать, а куда, да и все равно найдут, к тому же комнату в Москве бросать нет смысла — потом не получишь, вернуться в семью — лучше удавиться. Оставался один вариант — избавиться и от жены, и от дочери. Но как? Посоветовался с другом-врачом. Тот предложил амигдалин, было такое лекарство. И вот в один из прекрасных летних дней 1936 года Максимов пришел к бывшей жене, стал говорить о том, какой он дурак, как не ценил он тех счастливых радостных дней, проведенных вместе, как прекрасно они проводили время на загородных прогулках под Москвой и что все еще можно вернуть и вспомнить молодость и т. д. и т. п. Жена раскисла, ей тоже захотелось тряхнуть стариной, и она приняла приглашение бывшего супруга поехать за город. Купили выпивку, закуску и отправились. Когда расположились на лужайке под большим дубом, Максимов открыл консервы, налил по стопке водки и по стакану «грушевой» воды. В стакан бывшей жены всыпал амигдалин. Выпили водку и сразу запили водой. Жена как выпила, так и умерла. Максимов

труп закопал и пошел к ее сестре, у которой находился ребенок. Он сказал, что дочку велела забрать супруга, и свояченица отдала ему ребенка. Дома Максимов отравил и одиннадцатимесячную дочь тем же амигдалином. Через некоторое время свояченица стала волноваться, спросила его, куда делись сестра и племянница. Максимов сказал, что дочь в деревне у его матери, а жена умерла в Первой градской больнице, у нее что-то было с желудком. Женщина не верила, тогда Максимов устроил ей свидание со знакомым доктором в помещении больницы. Тот вышел к ней в белом халате и со скорбной физиономией. Он разводил руками, говорил непонятные латинские слова и призывал быть благодарной. Но свояченица не успокоилась, заявила в милицию, и Максиму в конце концов пришлось признаться в убийстве дочери и бывшей жены.

Убийств совершалось немало, и о них можно было бы еще много говорить, но как из темного подземелья хочется выйти на свет и свежий воздух, так и от убийств хочется перейти к чему-нибудь более светлому. Итак.. мошеничество.

Преступление это требует артистизма. Может быть, поэтому так богата мошенниками и артистами русская земля? Все эти Хлестаковы, Чичиковы, Кречинские, Бендеры стали оправданием для всякого рода прохвостов, а фраза француза Талейрана «Обмануть дурака — значит отомстить за разум» — утешением их совести. Вопрос только в том, кого считать дураком. В России дураком всегда считался честный и добрый человек. Умный представлялся человеком сомнительным и от него всегда следовало ждать подвоха. Русские люди не очень-то верили в свои способности по части хитрости и обмана и предпочитали им правду и открытость. Жить в условиях честности вообще намного проще и легче. Не случайно русские купцы, многие из которых были не шибко грамотны и образованны, привыкли полагаться на честное слово. «Честное купеческое слово» стоило в России больше, чем нотариально заверенные договоры. В таких условиях в чем-то

подозревать своего партнера было немислимо, а поставить его действия под сомнения проверкой оскорбительно. Этим пользовались мошенники — как до, так и после революции.

Жульничали по-разному. Мошенничали на рынках, на черной бирже, мошенничали государственные чиновники и лошадиные барышники. Кстати, последние были к тому же и садистами. Ради того, чтобы всучить лошадь покупателю, они прибегали к разным ухищрениям, мучительным для лошадей. Например, для того чтобы увеличить возраст лошади, они спиливали ей зубы, старой понурой лошади вливали в уши масло, и она начинала задирать голову и крутить ею, чтобы избавиться от неприятных ощущений, вялую лошадь били перед продажей, и она становилась пугливой и резвой. О всех издевательствах лошадиных барышников над бедными животными и говорить не хочется. Вспомним мошенников двадцатых-тридцатых годов. Они так же, как и воры, подразделялись на тех, кто обманывал граждан, и тех, кто обманывал учреждения. Вот в центре Москвы аферист покупает у папиросницы из Моссельпрома папиросы. Дает ей червонец, получает сдачу, берет товар и отходит. Вскоре возвращается и, отказываясь от покупки, забирает деньги, но, отойдя снова на шаг, передумывает и просит продать ему папиросы за тот же червонец. Лотошница на этот раз не глядя дает ему папиросы и сдачу с червонца, хотя мошенник уже успел подменить его на другую, мелкую бумажку. Сергей Белов — танцор. Он строен и элегантен, выдает себя за иностранца. Подходит к гражданам и на ломаном русском языке просит их разменять десять червонцев (в то время червонцы принимали не везде). Кто-то из отзывчивых москвичей идет ему навстречу. Иностранец меняет, но тут же передумывает. Ему что-то не нравится, но объяснить он не может, не хватает русских слов. Он возвращает москвичу его деньги, а москвич ему его червонцы. Потом, конечно, москвич обнаружит, что «иностранец» вернул ему значительно меньшую сумму, но будет уже поздно. Обоих мошенников выловили в 1928 году и посадили, но ненадолго.

Мошенников таких называли «кувыркалами» или «вздерщиками». Раньше, до революции, «кувыркалами» звали уголовников, бежавших из ссылки. В двадцатые годы этим именем стали величать «вздерщиков», собственно мошенников, совершающих обман при обмене или размене денег. Такой «вздерщик» приходил, например, в универсальный магазин в часы наибольшего наплыва покупателей. (Это было обычно в конце рабочего дня, когда продавцы валились с ног, а кассирши со своих высоких табуреток.) Он протискивался к кассе с крупной денежной купюрой, а пробить ему чек просил на грошовую сумму. При этом он без конца что-то щебетал, отвлекая внимание кассира. Цель его — получить сдачу и сохранить свою купюру. Ну а если это не удавалось, он извинялся, получал товар и уходил.

В двадцатые годы на углу Петровки и Театральной площади москвичи, в основном москвички, торговали всяким барахлом: старыми вещами, бюстгальтерами, миндальным печеньем, цветами, чулками из шелка и фильдеперса, иностранным кружевом: «шантильи», «брюссель», сетками для волос, помадой, цветными заколками, духами. То и дело слышалось: «Цикламен», «Лориган», «Коти», «Шипр». Под видом духов продавали и подкрашенную воду, надушив при этом только пробку, которую и давали нюхать покупателям. Беспатентные торговцы собирались в существовавшем тогда узком проулочке, отделяющем Мосторг от Малого театра. Торговали здесь многие «бывшие». Не случайно газетчики окрестили завсегдаев этой толкучки «торгующими княгинями». Помогали беспатентным торговцам мальчишки и девчонки, которые следили за появлением милиции. В случае опасности они бежали к ним и кричали: «Мильгон, зекс!» После чего торговки разбежались по дворам и подъездам.

В 1926 году милиция накрыла «фабрику» по изготовлению всех этих «лориганов» и «коти». Находилась она в доме 16 по Самотечному переулку, и жил в ней кустарь Буянов. При обыске помимо флаконов с пломбами на золотых шнурках нашли форму таможенных грузчиков. В этой форме люди из фирмы Буянова сбывали глупым «графиням» свой «контрабандный» товар.

А в феврале 1925 года милиция вышла на другую подпольную «фабрику». Она занималась изготовлением фальшивых серебряных монет достоинством в 50 копеек. Основал «фабрику» Василий Иванович Куликов.

Вообще, «золотая лихорадка» и тогда не оставляла преступный мир. Это и понятно: за один золотой рубль давали двадцать пять — тридцать бумажных. Широкое распространение тогда получили всякие подделки. Подделывали чеки, квитанции, выигравшие облигации, торгсиновские книжки и пр. Г. Д. Иванов, В. А. Кочетков и их друзья похищали на фабрике фотопластинок азотнокислородное серебро, при помощи паяльной лампы переплавляли его в слитки, а слитки сдавали в Торгсин. М. Я. Либ сдавал в Торгсин переплавленные в слитки советские серебряные монеты. Дядя Бакланов и племянник Кириллов скупали золотые и серебряные монеты, а затем при помощи Цветкова и Шилкина перерабатывали их в сусальное золото и серебро, чтобы сбывать в живописные мастерские, получая при этом навар до 2 рублей с грамма.

Жулики изобретательны и наглы. Алексей Мохов, например, в 1924 году торговал на Смоленском рынке опилками, аккуратно разложив их в фунтовые пачки чая «Центросоюза», а Ольга Матвеевская подошла около школы на Сретенке к незнакомой девочке и сказала ей, что она должна отдать ей пальто, чтобы пришить пуговицы, мол, мама велела. Девочка поверила, сняла пальто и отдала Матвеевской. Та сразу пошла на Сухаревский рынок и продала его.

Как никто из преступников, мошенники действуют с учетом обстановки и примет времени. В 1927 году началось распределение товаров по предприятиям, устройство всяческих лотерей, на которых разыгрывались промышленные товары. Газета «Беднота», например, в качестве выигрыша по организованной ею лотерее предлагала: лошадь с упряжью, молотилку, льномялку, примус, стенные часы, балалайку, ручную швейную машинку, суконный отрез и сочинения Ленина. Недостаток товаров в магазинах способствовал успеху лотерей. Аферисты этим пользовались. Одна аферистка захо-



дила в квартиры рабочих, когда те были на работе, а дома сидели их зачуханные жены с бледными детьми, и сообщала им о том, что их Иван Иванович выиграл по лотерее мануфактуру и теперь для ее оплаты нужны деньги. Жены лезли в сундук или бежали к соседям одалживать деньги, а потом ждали мужей с материалом, мечтая о том, что они из него сошьют. Но шить что-либо им было не суждено. Некоторым к тому же еще и доставалось от мужей.

Аферист Штатенфельд учел другую особенность своего времени. Он приходил в чей-нибудь дом, зная, что отца семейства нет, и очень серьезно сообщал его жене о том, что муж арестован и ему грозит расстрел. Когда несчастная супруга покрывалась красными пятнами, ловила воздух пересохшим ртом и спрашивала то ли комод, то ли Штатенфельда: «Что делать?» — Штатенфельд ее обнадеживал. Оказывалось, что у него есть один человек, который может помочь уладить дело. Испуганная женщина была готова бежать за ним на край света. Они выходили на улицу, но вскоре Штатенфельд останавливался и, ударив себя (на вид очень сильно) ладонью по лбу, заявлял, что ему срочно надо в одно место. Потенциальной вдове он давал адрес нужного человека где-нибудь в районе Инвалидной или Скотопрогонной улиц, куда бедная женщина мчалась на перекладных через весь город, а сам возвращался в квартиру своих жертв. Здесь он объявлял оставшимся дома детям о том, что для того, чтобы спасти их отца, нужны ценные вещи. Вещи собирались, и мошенник с ними удалялся. Были, правда, случаи, когда дети увязывались за Штатенфельдом. Тогда он заводил их куда-нибудь подальше, а сам скрывался. Если ему это не удавалось, усыплял детей наркотиками. Суд приговорил его к расстрелу.

В конце двадцатых годов в Москву из Новосибирска приехала Инна Федоровна Шалапина. Она сняла комнату у москвичей по фамилии Мартино, представившись дочерью великого певца. Жила она бедно. Хозяйка ей не раз предлагали обратиться за помощью к родному батюшке, но она все отговаривалась, ссылаясь на то, что не хочет его беспокоить. Как-то она взяла у

хозяев отрез материала и сшила из него себе платье. Хозяева возмутились и сообщили в милицию. Шалапиной дали месяц исправительных работ. В данном случае мы имеем дело с человеком, волею объективных обстоятельств подвигнутым на мошеннический путь.

Гражданина Юнькова на путь мошенничества подтолкнула внешность. Он стал выдавать себя за секретаря ЦК ВКП(б) В. М. Молотова. В апреле 1926 года его арестовали.

А каких только мошенников не было на московских рынках! Вот один из них продает бриллианты. Они уложены на вату в маленькой коробочке. Откроешь коробочку — и бриллианты засверкают всеми своими гранями. Это самые настоящие бриллианты, не какие-нибудь «тестовские» или стекляшки. «Бери, пока добрый, задешево отдам, — предлагает продавец, — очень деньги нужны». Покупатель наконец решается, лезет за деньгами, а продавец тем временем переворачивает коробочку другой стороной и открывает крышечку, а там лежат точно такие же бриллиантики, только из стекла. Покупатель их и забирает. Завершив сделку, покупатель и продавец расходятся довольные.

Случалось и так, что покупателям везло. В марте 1925 года один москвич купил у беспризорников за полтора рубля медный слиток весом примерно 200 граммов, а когда показал его ювелиру, то оказалось, что слиток золотой и стоит не полтора рубля, а три тысячи.

Тогда, после революции, в годы эмиграции, голода, обысков и бандитизма многое из того, что стяжали за свою жизнь представители эксплуатирующего класса, разбрелось по рукам тех, для кого и медный пятак был большой удачей. Не все из них, наверное, понимали, что попало к ним в руки и как этим можно воспользоваться. В феврале 1926 года на чердаке дома в Щипковском переулке милиционеры задержали известную тогда воровку Овчинникову. В своих лохмотьях она прятала золотые и платиновые ювелирные изделия с крупными бриллиантами. В поезде, под Москвой, беспризорники украли у Рабиновича паспорт и 1030 американских долларов. Решив, что это деньги денкинские, беспризорники почти все их сожгли.

Пользуясь тем, что по рукам стали ходить драгоценности, которые простые люди раньше и в глаза не видели, мошенники стали подсовывать своим согражданам стекляшки вместо бриллиантов, медь — вместо золота, собаку — вместо шиншиллы.

Были еще мошенники-«подкидчики». Действовали они вдвоем. Сначала подыскивали жертву. Потом один из них подходил к ней и начинал разговор о чем-нибудь (где находится то-то, как добраться туда-то и пр.). Этот мошенник назывался «бург». В тот момент, когда они разговаривали, мимо них проходил второй мошенник и ронял кошелек («шмель»), набитый бумагой. «Бург» кидался, поднимал его и объявлял своим. Фраер, или «ветошный», как его еще называли, начинал спорить и требовать раздела содержимого кошелька (вместо кошелька использовали и «куклу» — туго завязанный на множество хитрых узлов платок с бумагой). Тут возвращается «подкидчик». Он вне себя от горя, он бросается к «счастливчикам» и просит, требует вернуть ему кошелек, ведь в нем огромные деньги. «Бург» незаметно передает кошелек «ветошному» и обращается к «подкидчику» с предложением обыскать себя. Тот обыскивает и кошелек, естественно, не находит. Теперь «ветошный» передает бумажник «бургу» и просит обыскать и его. «Подкидчик», или как его еще называли «бугайщик» (от слова «буга» — бумажник), обыскивает, во время обыска роется в его портмоне и подменяет его деньги на бумагу, после чего возвращает портмоне «фраеру» и уходит. Смывается и «бург».

Действовали «подкидчики» и по-другому. Когда «бугайщик» сообщал, какая сумма у него была завязана в платке («кукле»), «бург» предлагал фраеру забрать куклу, а ему отдать из своих половину суммы, что тот и делал.

А сколько было всяких игроков, опустошавших карманы доверчивых москвичей и приезжих! Работавший в те годы в московской милиции Дубинин вспоминал: «Игрой в три листика занимались специально приезжавшие из Тамбовской области. Играли на Смоленском, Сухаревском рынках... Они приезжали целой деревней со всем семейством и считали это шулерство своим основным трудом. Как-то при задержании пытались

дать мне взятку в миллион рублей. Установили за мной слежку от самого дома, наняв для этого велосипедиста, который предупреждал их криком “Идет!”, а однажды в Песковском переулке даже стреляли в меня».

Милиционеры знали многих игроков в лицо. На Сухаревском рынке, например, «работал» карточный шулер Толмачев. Посетители рынка, проходившие мимо его табурета, слышали, как он зазывал ротозеев: «Рупь поставишь — два возьмешь!» Главой сухаревских карточных мошенников был Локтев. Когда он надоел милиции и его арестовали, то в протоколе допроса на вопрос «род занятий» Локтев откровенно написал: игра в карты в «три листика». Но в тюрьму Локтев не попал. Психиатры признали его душевнобольным и рекомендовали лечение. Поместили в больницу имени Кащенко. Подлечился, вернулся на Сухаревку. Милиции заявил, что в «три листика» больше играть не будет, а будет играть в «решето», в «пирамидку». Когда же его спросили, а будет ли он обманывать, не задумываясь, ответил: «А разве есть игра без обмана?» Его снова арестовали. Народный суд Сокольнического района постановил: «Содержать Локтева в психбольнице, а если найдутся желающие взять его на поруки — освободить, запретив ему и опекуну жить в Москве пять лет. И опекун должен каждый месяц доставлять Локтева к районному врачу-психиатру». Несмотря на все внешнее обаяние Локтева, опекуна для него не нашлось, однако через несколько дней после судебного решения Локтев снова появился в помещении Сухаревского участка Сокольнического нарсуда. Об этом секретарь суда донес прокурору, и Локтева снова арестовали во время карточной игры. На этот раз в протоколе допроса в графе «местожительство подозреваемого» со слов Локтева было записано: «Больница имени Кащенко». 14 августа 1927 года Сокольнический нарсуд постановил направить Локтева в колонию для душевнобольных под строжайшую ответственность администрации. Потом говорили на Сухаревке, что видели Локтева на каком-то рынке и что он играл там в какую-то новую и неизвестную игру и нажил большие деньги, с которыми уехал за границу.

Участников игры в «три листика», которой промышлял Локтев, трое: банкометы, их еще называли «хевра», «хевристы», их сообщники — «набива», или «набивисты», и так называемые «караси», то есть те, кого обманывают. «Банкомет» выставляет табуретку на рынке и приглашает народ играть. Игра простая: из трех карт надо угадать туза. Подходят несколько человек. Один ставит 100 рублей, вытаскивает из трех предложенных ему карт туза и получает 200 рублей. Хочет играть еще, но «банкомет» возражает, мол, выиграл, теперь дай другому. «Карась» решается и указывает карту — туз. И он выиграл. Ставит 200. В этот момент «банкомет» отворачивается, а «набивист» отгибает карту, показывает «карасю» туза, и тот снова выигрывает. История повторяется, но на этот раз «банкомет» успеваает заменить туза двойкой. Проигрыш. Ставит еще. «Банкомет» отворачивается. «Набивист» отгибает карту и показывает «карасю», прикрыв большим пальцем, одно очко у двойки. Снова проигрыш. «Карась» стремится отыграться, но это ему не удастся. Ну а если «карась» все же угадает туза, то кто-то из «набивы» крикнет: «Пожар!» — «карась» обернется, а в это время туза ему заменят на другую карту.

Были не только «три листика». Были мошенники, поджидавшие свои жертвы в трактире. Туда заглядывали шедшие с рынка крестьяне, продавшие свой товар. Подсаживался к такому крестьянину мошенник, доставал из кармана спичечный коробок и предлагал отгадать четное или нечетное в нем количество спичек. При этом он позволял крестьянину самому пересчитать количество спичек в коробке. Потом, во время игры, он вынимал из коробка какое-то количество спичек и спрашивал: «Чет или нечет?» — и крестьянин никак не мог угадать, четное или нечетное количество спичек осталось в коробке. Скажет «чет» — а получается «нечет», скажет «нечет» — а получается «чет». Секрет прост: жулик вынимал из коробка то четное, то нечетное количество спичек, и соответственно в коробке оставалось четное или нечетное их количество. Простому крестьянину такие математические хитрости были неведомы, но зато приносили большие барыши мошенникам. В моду эта игра вошла в 1922—

1923 годах. Потом крестьяне поумнели, и обманывать их таким способом не стало никакой возможности.

У высоких каменных стен, опоясывающих Спасские казармы, на Садовой, недалеко от Сухаревки, в 1922 году было свое «Монте-Карло». Здесь играли «на старшего», «в ремешок», крутили рулетку, устраивали беспроигрышные лотереи. На ящике или табуретке лотерейщик выставлял часы, портсигары, электрическую арматуру и прочие интересные и стоящие вещи. Желающий их выиграть должен был внести небольшую плату, бросить кубики (их было три или четыре) и получить какую-нибудь вещь, стоящую в списке под номером, равным сумме выпавших очков. «Пожалте получить!» — торжественно провозглашал лотерейщик и извлекал на свет из висевшей на плече сумки спичку, иглу для чистки примуса или бельевую скрепку, одним словом, что-нибудь такое, что не стоило и вносимой за игру платы. Портсигары и часы оставались на табурете. Все дело было в том, что в списке они фигурировали под первыми однозначными номерами и при бросании нескольких кубиков выпасть практически не могли. Люди все-таки надеялись выиграть, выигрывали всякие пустяки и радовались этому.

Наивных людей было много не только на улицах, но и в государственных учреждениях.

Временно исполняющий обязанности директора Института выдвиженцев Иван Петрович Сахаров отличался большим азартом. Когда он был преподавателем, то играл по маленькой: зарплата не позволяла. Теперь, став «вр. и. о.» и получив доступ к кредитам, решил сыграть по-крупному. Приятели по работе, зная своего «вр. и. о.», пригласили поиграть с ним известного московского шулера Чиркова. Тот, используя всякие «накладки» и «метки», обыграл Сахарова на 28 тысяч рублей. Деньги пришлось отдать. Конечно, Иван Петрович взял их из кассы института. Об этом можно не говорить, и так понятно. Самое плохое во всей этой истории то, что произошла она в конце августа 1932 года, как раз после опубликования закона «7—8», того самого, который Глеб Жеглов «клеил» Ручникову и его подруге Волокушиной за кражу шубы у иностранцев в Большом театре. А этот

закон, как известно, предусматривал расстрел за хищение государственных денежных средств. Пришлось нашему «вр. и. о.» бежать. Оказался он в городе Васильсурске (это недалеко от Чебоксар). Купил там домик, устроился школьным учителем и прожил в тишине и трудах на ниве народного просвещения до 16 февраля 1933 года, то есть до самого своего ареста. Его, правда, не расстреляли, но срок свой он получил.

А вот Иван Михайлович Кашин, работавший в тресте «Мосочиствод», в карты не играл и ничего не крал. Он начиная с 1927 года приносил с работы чертежи, а его жена, Пелагея Петровна, их как-то стирала и превращала в батист. Из батиста шила она платки, белье, платья и продавала на рынке, а также жильцам дома и знакомым. Всего Иван Михайлович, как выяснилось, принес домой две тысячи метров чертежей. Среди них оказались чертежи Военной академии, Наркоминдела и других засекреченных организаций. На платках и кальсонах чертежи, правда, не просматривались, но все же сам факт такого разгильдяйства оставить безнаказанным было нельзя. В декабре 1933 года Судебная коллегия Мосгорсуда под председательством Грачева осудила Кашина на десять лет лишения свободы.

Однажды, в 1926 году, в Госрыбосиндикат явился неизвестный и предложил сделать портреты вождей революции из рыбьей чешуи. Предложение показалось заманчивым. Будет и по содержанию политически верно, и по форме соответствовать профилю родного учреждения. Выдали «художнику» 100 рублей аванса. Он некоторое время пошатался пьяным по синдикату, а потом вообще исчез. Так и не пришлось ликам вождей воплотиться в чешуе.

Аферист Карелин-Жуков по кличке «Лошадиная морда» получил мануфактуру по подложным документам на складе одного из синдикатов. История банальная, но кличка преступника заслуживает внимания.

В том же 1926 году, как было замечено в Москве, магазины стала посещать интересная, хорошо одетая женщина примерно сорока лет. Она представлялась как Фотиева, секретарь Наркомфина Брюханова. Частные торговцы, которых тогда уже здорово прижимали,

обращались к ней с просьбами и жалобами. Она обещала помочь. Потом набирала товар, а деньги, разумеется, не платила, ссылаясь на то, что не захватила их с собой. Конечно, она обещала сделать это в ближайшее время и даже оставляла адреса и телефоны Наркомфина. Торговцы ее успокаивали и просили только о том, чтобы она не забыла о их просьбах, а о таких пустяках, как окорок, селедка, шоколад, она может не беспокоиться. Она и не беспокоилась. Так ее и не поймали.

Были аферисты, которые собирали деньги с домовладельцев за установку новых фонарей на улице, выдавая на полученные суммы фальшивые квитанции. А один мальчик, зайдя в какое-нибудь денежное учреждение, предъявлял мандат «Дома коммунаров», подписанный А. В. Луначарским и М. И. Ульяновой, с просьбой об оказании содействия, получал деньги и уходил. Взрослым дядям и тетям, выдавшим ему государственные деньги, и в голову не приходило, что подписи на мандате поддельные, а «Дома коммунаров» не существует и никогда не существовало.

Вообще двадцатые-тридцатые годы были благодатными годами для мошенников-городушников. В учреждениях нередко трудились служащие, пришедшие, что называется, «от станка», не имеющие опыта в работе с людьми, пасующие перед нахалами. Прохвосты этим пользовались.

Александр Соломонович Холфин, студент второго курса Института советского права, состоял в комсомоле и сотрудничал в оргмассовой группе «Комсомольской правды». Однажды, в конце 1930 года, ему понадобилась машина — надо было произвести впечатление на девушку. Недолго думая, он проник в кабинет ответственного редактора газеты, когда в нем никого не было, и вызвал из правительственного гаража автомашину, на которой потом катал потрясенную красавицу. Ему это дело понравилось, и он еще не раз вызывал себе авто, настаивая на иностранной марке. Когда ответственный редактор газеты узнал об этом, его чуть не хватил удар. Он потребовал, чтобы Холфин немедленно пришел к нему. Холфин понимал, что эта встреча не при-



несет ему никакой радости, и на нее не пошел. Не теряя времени, он захватил свою учетную карточку, взяв ее под каким-то благовидным предлогом в бюро комсомола, и смылся. Устроился работать в Наркомвнешторг. Поверив в волшебную силу телефона, он и там, выдавая себя за заместителя наркома, требовал предоставления автомашины. В июне 1934 года ему захотелось работать в Совнарком РСФСР. Власть, размах, перспектива были созданы, как будто нарочно, для него. Он снова снимает телефонную трубку и, набрав номер Совнаркома, не своим голосом представляется: «Персиц, секретарь МК ВЛКСМ». Он говорит о международном положении, о происках кулацких элементов, о кознях церковников и о необходимости укрепления комсомольской ячейки СНК. В качестве первого шага такого укрепления он предлагает принять на работу в Совет народных комиссаров А. С. Холфина. Через несколько минут он звонит по тому же телефону, только на этот раз своим голосом. Ему предлагают зайти, сославшись на то, что именно Персица кто-то злоупотребляет. Холфина это не смущает. Он приходит в СНК. Ему говорят, что Персиц в МК ВЛКСМ не работает. Тогда Холфин начинает что-то плести про инструктора ЦК ВЛКСМ Румянцева. Ему обещают подумать, он откланивается и уходит. Больше он в Совнарком не появляется. Сорвалось! Но Холфин не опускает руки. Он решает устроиться в Наркомюст. Звонит по телефону наркому Крыленко, представляясь одним из секретарей МК ВЛКСМ (на этот раз специально спрашивается, работает ли тот), и договаривается о приеме на работу Холфина. В июле 1934 года Крыленко назначает его на должность консультанта орггруппы Верховного суда РСФСР. Когда обман раскрывается, Холфина осуждают «за самовольное присвоение себе звания или власти должностного лица, сопряженное с дискредитированием советской власти», на два года лишения свободы.

Телефонный трюк Холфина в 1939 году повторил Олег Ромуальдович Курнатовский. Он позвонил председателю Комитета по делам искусств при СНК СССР и, представившись секретарем ЦК ВКП(б) Щербаковым, попросил принять его, Курнатовского, на работу.

На другой день он явился в комитет как протеже самого Щербакова, но был изгнан из него как шелудивый пес. К тому же в НКВД на него собрали еще кое-что и, обвинив в клевете на органы НКВД (родители его были не так давно уволены оттуда), дали пять лет лишения свободы.

По мере сил и возможностей дискредитировал советскую власть и морочил чиновникам голову сын харьковского актера Владимир Иосифович Гриншпан. В 1927 году за присвоение звания инженера он был сослан на Урал, но на место ссылки не явился. Вскоре он оказывается в Ленинграде, только зовут его теперь не Владимир Иосифович, а Владимир Осипович, и фамилия его уже не Гриншпан, а Громов. Вроде бы ну что особенного — несколько изменил фамилию, только и всего. Защищался от антисемитов, что поделаешь — жизнь заставила. Все это так. Получается, что фамилия, как фальшивый документ, с ним легче куда надо пройти, куда надо втереться. (Не будем забывать, что тюрьмы и в то время были забиты русскими ворами и что никакая национальность честности не гарантирует.) И не лучше ли просто зарекомендовать себя честным, порядочным, нужным человеком. Тогда никакая национальность не помешает. Но было ли на это время у Владимира Иосифовича? Да к тому же к самосовершенствованию он не стремился. Считал, что и так хорошо. Пусть такими пустяками занимается граф Толстой, думал Гриншпан, а у него Ясной Поляны нет, и ждать помощи не от кого, жить же хорошо хочется, и немедленно. И устраивается он тогда на должность товароведа потребкооперации в Ленсоюзе. Затем фабрикует документы о том, что работал главным инженером в Москве, и поступает на ту же должность в Санвинтрест. Вскоре ГПУ его арестовывает и помещает на пять лет в концлагерь, а в мае 1932 года его освобождают досрочно, заменив лишение свободы ссылкой. Громов местом ссылки назначает себе Москву. Он фабрикует документы о своей инженерной деятельности и получает направление в Ростов-на-Дону. В анкете указывает, что окончил Харьковский политехнический институт. Разбираясь в технических вопросах, как балерина в аст-

рономии, он, руководя капитальным строительством, творит такие чудеса, что впору бежать. Но Громов не таков. Он понимает, что уйти с хорошей должности, не справившись с работой, — значит испортить всю биографию, которую он, вопреки всем статьям Уголовного кодекса, денно и нощно пишет с неутомимой энергией. Тогда он затевает склоку и уходит как борец, пострадавший за правду. Простенько и очень эффектно.

Вернувшись в столицу, он устраивается в «Скотоводтрест» и получает назначение в город Уральск. Там он ни черта не делает, срывает строительство совхоза и, боясь разоблачения, опять ввязывается в склоку и уезжает. Зарплата, подъемные и командировочные служат ему утешением в его нелегкой судьбе борца за идею.

Казалось бы, сколько можно ставить себя в дурацкое положение и заниматься тем, в чем ты ничего не смыслишь? Так бы подумал любой нормальный человек, но не таков Громов. Для него деньги не пахнут и стыд — не дым, глаза не выест. В другой московской организации он получает назначение в Хабаровск, опять главным инженером по капитальному строительству с окладом 1 500 рублей. В Хабаровске он обвиняет руководителей стройки в неправильном расходовании средств и даже находит в этом поддержку коллектива. Обнаглев, он даже пишет письмо в местные органы о том, что стройкой руководят вредители. Здесь же, в Хабаровске, он похищает несколько типовых проектов домов и сельскохозяйственных сооружений, составленных работниками Наркомзема, и дает поручение подчиненным скопировать их. Потом ставит на них свои подписи и выдает за собственные. Это приносит ему доход в 2 250 рублей. Когда его спрашивают, почему он ничего не знает и ничего не делает на работе, он заявляет, что ему мстят за разоблачения, и уезжает в Москву. Здесь он добивается приема у наркома земледелия Яковлева. Он требует выплаты ему компенсаций за неиспользованный отпуск и стоимости обратной дороги с семьей. Семья его в это время безвыездно живет в Харькове. Его это угнетает. В Харькове ему тесно. Он мечтает о жилплощади в Москве. Работая теперь во Ржеве, он пишет письмо председателю Моссовета Булганину. В письме,

на бланке Наркомзема и от имени заместителя наркома Цылько, он называет себя инженером, бывшим партизаном, научным работником. Булганин пожалел «заслуженного партизана» и выделил ему комнату в доме 36 по Дружниковской улице. Кипучая энергия Громова и здесь творит чудеса. Он сразу становится председателем оргбюро ЖАКТа и пытается переоборудовать под жилье примыкающую к дому конюшню. Когда это не удается, переоборудует под жилье помещение шахты Метростроя и получает в нем две комнаты. В январе 1934 года Громов является в Главрыбу и как инженер-строитель-архитектор договаривается с заместителем управляющего Балхашским рыботрестом Соболевским-Кобелевским о назначении на должность главного инженера этого треста. В этот момент в кармане Громова уже лежало направление на работу в Дальтрансголь во Владивостоке и более 2 тысяч рублей «подъемных». Что делать? Раздвоиться, а может быть, расстроиться, ведь еще и в Енисейске его ждет работа в Севполярлесе и 5 тысяч рублей! Другой бы растерялся, но Владимир Осипович не таков. В Дальтрансголь и Севполярлес он сообщает о том, что заболел тифом и находится в красноярской больнице. Сам же в это время проживает в Харькове, под боком у жены, от имени которой дает телеграмму в Енисейск со слезной просьбой оказать содействие в виде материальной помощи на поездку в Красноярск для спасения больного мужа. Разделавшись с сибиряками и дальневосточниками, Громов приступает к строительству рыбокомбината на Балхаше. Он требует выделения 85 тысяч рублей, жалуясь одновременно на то, что вредители мешают ему развернуть строительство. Указанная сумма вскоре поступает на имя Соболевского-Кобелевского, назначенного главным бухгалтером стройки. Тот на радостях начинает пьянствовать. Громов забирает у него под расписку 57 650 рублей. Это наконец-то дает ему возможность погулять и отвести душу. Большие деньги рождают грандиозные замыслы. Он пишет докладную записку на имя наркома пищевой промышленности А. И. Микояна, в которой ходатайствует о выделении на строительство 2 миллионов рублей и перечисляет меры, принятые

им к строительству комбината. Резолюция начальства, красовавшаяся на сочинении Владимира Осиповича, была краткой: «Составлять такие документы наркому может только самый злейший и отъявленный враг пролетарского государства». И тем не менее 11 мая 1934 года Громов назначается начальником строительства комбината, добивается выделения на строительство 1 миллиона рублей, из которого успевает присвоить 5 тысяч. Когда же стало известно, что никакого строительства нет, что на месте возводимого гиганта по-прежнему пасутся козы, Громова снимают. Он пишет письмо наркому и просит аудиенции. Ему отказывают, а 27 июня арестовывают. Судебная коллегия Московского городского суда под председательством Хотинского приговаривает Громова-Гриншпана к расстрелу. «Награда» наконец нашла «героя».

Последний, о ком хочу рассказать, — Павел Владимирович Соловьев. В 1935 году Судебная коллегия Московского городского суда под председательством Хотинского осудила его на десять лет лишения свободы. Был он еще молод, но получал уже две пенсии. Одну — как инвалид войны, а другую — как инвалид труда, хотя ни тем ни другим не являлся. Выдавал себя за работника ОГПУ или прокуратуры, имея образование в объеме сельской школы. В то время этого, правда, было достаточно для работы в столь солидных учреждениях. Так вот этот инвалид-чекист, согласно приговору суда, «благодаря притуплению классовой бдительности у отдельных работников ряда учреждений, создал себе авторитет и, войдя в доверие, выкачивал из НКПС (Наркомата путей сообщения) огромное (суд, к сожалению, не указал какое, наверное, и сам не знал) количество железнодорожных, трамвайных, автобусных и по водным путям билетов, присвоил пропуска во все закрытые распределители Мосторга, Горторга, военного кооператива и др. (распределители снабжали продуктами и промтоварами руководящие кадры учреждений), отовсюду выкачивая огромное (опять не указывается какое) количество продуктов и товаров». Когда он отдыхал в Крыму, выдавая и там себя за работника ОГПУ, то познакомился с Кромниковым, «краснознаменцем» (тот

имел орден Красного Знамени). Как-то он попросил у Кромникова орден, чтобы с ним сфотографироваться. Нацепил орден, петлицы с ромбами (тогда еще звезд не было, а были «шпалы», кубики и ромбы) и явился в Масандровские подвалы. Там расчувствовались и подарили «старому партийцу и заслуженному революционеру» несколько бутылок коллекционных вин.

Читатель, наверное, утомился перечислением человеческих гнусностей. Несмотря на то что подлость в чем-то привлекательна и без нее жизнь человеческого общества была бы пресна, она не может не отталкивать, как все грязное и мерзкое. В ней человек переступает через человеческое, и преодоление это хоть и может показаться притягательным, как прыжок с платформы на железнодорожное полотно, но, как и все на свете, надоедает. Хочется на простор, на свежий воздух. Это желание живет в нас как инстинкт самосохранения человеческой породы. Как отголосок этого желания живет в нас чувство справедливости, осуждения греха и порока. И не столь важно, свершится ли возмездие человеческим судом или самим ходом жизни. Но все же, как бы мы ни любили нашу страну и наш народ, не можем себе представить, как бы мы жили, если бы не было милиции.

## СЛУЖИТЕЛИ МОСКОВСКОЙ ФЕМИДЫ

*Суд — театр. — А судьи кто? — Классовый подход. — «Суд независим и подчиняется только райкому». — Дело «Промбанка». — «Воздушный пирог». — Мужчины и женщины. — Мелкие пакостники. — Новый червонец. — Являются ли взгляды Л. Н. Толстого «религиозным убеждением»? — Судебные споры в кругах интеллигенции. — Казусы со служащими Фемиды. — Раскаяние заместителя генерального прокурора. — Нужна ли нам адвокатура? — Может ли адвокат ходить в казино?*

До революции Московский губернский суд находился в Кремле. В двадцатые годы он занимал дом 18 по Тверскому бульвару, а в тридцатые — переехал на Каланчевскую улицу, в дом 43, где и просуществовал до начала восьмидесятых. Московская городская прокуратура сначала помещалась в доме 7 по Столешникову переулку, а потом, в тридцатые годы, переехала в дом 27 по Новокузнецкой улице, где находится и по сей день.

Судебно-прокурорская система Советского государства сложилась не сразу. Оно и понятно. Никто заранее ее не разрабатывал и не конструировал. Знали, что она не должна походить на существующую, царскую, при которой бедному лучше было не судиться с богатым, где сложность законов и волокита процессов также отнимали у простого человека веру в справедливость. Ему ведь, простому человеку, не было никакого дела до того, что Александр II провел прогрессивную судебную реформу, венцом которой стал суд присяжных, ему была нужна не прогрессивная форма, а доброта и чуткость со стороны государства, этого же, к сожалению, не могут ввести в действие никакие реформы. Антон Павлович Чехов хоть и радовался тому, что у присяжных, когда они принимают решения, «напряжена совесть», но все же особых восторгов в отно-

шении современной ему юстиции не высказывал. В книге «Сахалин» он писал: «...наша мыслящая интеллигенция повторяет фразу, что всякий преступник составляет продукт общества, но как она равнодушна к этому продукту! Причина такого индифферентизма кроется в чрезвычайной необразованности нашего русского юриста: он мало знает и также не свободен от профессиональных предрассудков... Он сдает университетские экзамены только для того, чтобы уметь судить человека и приговаривать его к тюрьме и ссылке, поступив на службу и получая жалованье, он только и судит и приговаривает, а куда идет преступник после суда и зачем, что такое тюрьма и что такое Сибирь, ему неизвестно и неинтересно и не входит в круг его компетенции». Конечно, на это замечание Чехова каждый судейский чиновник мог ответить, что он честно выполняет свои обязанности, соблюдает закон, а за исполнение наказания отвечают чиновники по пенитенциарному ведомству. И по-своему он, наверное, был прав. Не мог же он отвечать за все установленные в государстве порядки. И если он наказал виновного по закону, то тем самым выполнил свой долг, и совесть его спокойна. А за то, что несовершенен закон или несовершенны места изоляции человека, пусть болит совесть у тех, кто создал их таковыми. Так, раздробившись на несколько маленьких совестей, совесть человеческая, став совестью судейской, помогала ее владельцу сохранять свое достоинство. Но не будем так уж строги к судьям и к проведенным реформам. В конце концов суд не только наказывает, он ведь еще решает споры, оправдывает, а при новой судебной системе разрешить спор правильное стало легче, а осудить невиновного стало сложнее. Конечно, если государство хочет быть справедливым до конца, оно должно не только судить хорошо, но и хорошо наказывать («хорошо» не в смысле «жестoko», а в смысле «разумно»).

Было, надо сказать, сделано шаг и в этом направлении.

После опубликования чеховского «Сахалина» каторга на острове была ликвидирована. Наверное, Чехов явился тем философом, о котором писал Виктор Гюго в очерке «Париж». «Мудрость законодателя заключается



в том, — писал автор «Отверженных», — чтобы следовать за философом, и то, что берет начало в умах, неизбежно завершается в своде законов. Законы — это продолжение нравов». Звучит торжественно и безапелляционно. Почему же, когда персонаж одной из пьес Н. А. Островского спрашивает: «Как тебя судить: по совести или по закону?» — в театральном зале возникает смех? Может быть потому, что совесть персонажа не вызывает доверия, что обитает она в скудном умишке и толстом брюхе? Суд «по совести», конечно, понятнее и ближе простому человеку, чем суд «по закону». «Закон, что дышло: куда повернул, туда и вышло», — гласит русская пословица, а французы говорят: «Кто придерживается только буквы закона — тот жесток». Выходит, как ни крути, а суд все равно плох, всегда люди судом недовольны. Может быть, это еще потому так получается, что кричат только недовольные, а довольные помалкивают. Ведь призывают же к войне живые, когда убитые молчат.

Если мир, по мнению Шекспира, — театр, то суд — театр вдвойне. Люди-актеры играют в нем роли, уготованные им судьбой. Этим суд всегда привлекал внимание. До революции домашние спектакли иногда принимали форму судебных заседаний.

После революции традиция устраивать суды-спектакли сохранилась. Школьники судили Онегина, Обломова, Фамусова, Скалозуба и других литературных персонажей, а советские писатели заочно судили своих собратьев по перу (Гиппиус, Мережковского, Зайцева, Куприна, Ходасевича и пр.), эмигрировавших на Запад. Даже в частях внутренних войск рекомендовалось проводить «политические суды» с целью повышения политической грамотности личного состава. Инструкцией по этому вопросу, составленной в 1922 году, рекомендовалось «при выборе тем суда намечать тезисы или содержание обвинительного акта, речь обвинителя и защитника, составлять подробный план опроса обвиняемых и свидетелей, судебного приговора. Весьма полезно, — говорилось далее, — чтобы все участники суда, которые предварительно намечаются, детально обсуждали содержание и план судебного процесса и

его репетировали, чтобы он приобрел характер сценический. В основу речей обвинителя должны лечь интересы республики рабочих, крестьян и вообще всех трудящихся. Обвинитель должен просить вынести самый суровый приговор... В основу же речи защитника должны лечь смягчающие обстоятельства, как то: неосознанность подсудимого, его неразвитость, его воспитание и пр. ...В протоколе допроса, в частности, следует указывать имущественное положение допрашиваемого, его партийность, политические убеждения, а также чем он занимался и где служил:

а) до войны 1914 года, б) до Февральской революции, в) до Октябрьской революции, г) с Октябрьской революции до ареста».

Сохранились и другие «привычки милой старины». Около судов, особенно у губернского, на Тверском бульваре, толпились завсегдатаи, любители послушать судебные драмы. Некоторые повестки обещали интересное зрелище. Например, в Хамовническом суде в апреле 1925 года можно было послушать дело об оскорбительном неуважении к вождям революции со стороны Афанасьева или о распространении Храбровым слухов об ожидающемся еврейском погроме.

В середине двадцатых годов большой интерес вызвал процесс над работниками Первого родильного дома (потом это был роддом имени Грауэрмана), допустившими, что крысы заели новорожденного, а также процесс над игуменом Николо-Песковского монастыря Варнавой, который под видом юноши-келейника держал при себе девицу Пшеницыну. Когда девица забеременела, Варнава выпроводил ее из святого места в грешный мир, подтолкнув в воротах обители свою любимую тощей коленкой в упругий зад.

Судебные процессы в городском и Верховном судах были интересны не только своими сюжетами, но также и «перлами российской словесности», которые можно было на них услышать. Оглашая приговор, судья мог оповестить мир о том, что Аверьянов «убил сторожа насмерть», или слова «подсудимый свистнул» заменить тирадой: «Заложив с двух рук четыремя пальцами в рот, произнес свист».

Вообще суд является местом, не предназначенным для юмора и смеха. Нередко его стены оглашаются воплями, рыданиями. Что поделаешь? Судьба не всегда решается так, как хочется. И несмотря ни на что, смех подстерегает судей довольно часто, а иногда и сами судьи дают для этого повод. Вот, например, такой случай. Рассмотрев дело в кассационном порядке, судьи городского суда удалились в совещательную комнату. Кассационное определение судьей-докладчиком подготовлено, дело ясное, но для порядка надо посидеть, подождать, чтобы люди думали: судьи дело решают, совещаются. А судьи заговорились: беседа шла то ли о футболе, то ли о международном положении. Наконец вышли с торжественным видом в зал. В зале люди встали, смотрят на них, раскрыв рты, ждут решения. А судьи стоят, молчат, потолок и стены разглядывают. Только одна мысль тревожит: что это он, то есть докладчик, определение не читает? И у докладчика поначалу такая же мысль была, тоже ждал, а когда вспомнил, быстро за делом в совещательную комнату юркнул. Народ не понял юмора, а судьи об этом случае долго не могли забыть. Произошел он в конце шестидесятых годов.

Много интересного мог почерпнуть зритель в высказываниях судей и других участников процесса. Вот, например, обвиняемый, облезлый мужичонка, стараясь вызвать к себе жалость, говорит суду: «Все имущество мое состоит из тела, души и паспорта. Тело мое старческое, дряхлое, душа моя измученная, издерганная, а паспорт, охраняющий спокойствие души моей, уже просрочен». А вот бывший поп на вопрос о своем социальном происхождении отвечает: «Хоть я из священников, да из тех, что давно рясы на галифе переменили». Среди подсудимых попадались и «придурки», такие как этот, например, который на вопрос судьи о его профессии провозглашает: «Я — душевнобольной алкоголик, морфинист, кокаинист, вор-рецидивист, бывший клоун цирка Труцци, прошу милостыню и играю на руке, как на корнет-а-пистоне», а выслушав приговор, удаляется из зала под марш, который исполняет, зажимая нос рукой и изображая трубу. Или другой,

сказавший в последнем слове: «Граждане судьи, в ваших руках гармошка. Как вы сыграете — так я и спляшу».

Процессы по гражданским делам тоже были не лишены юмора. От ответчика можно было услышать: «За квартиру я всегда вношу управдому в зад, а не в перед» или: «Категорически заявляю, что автор ребенка не я».

Одним словом, суд — это театр, вмещающий все жанры, от фарса до трагедии. Судьи в нем — режиссеры. Какими же они были, судьи двадцатых-тридцатых годов?

Об уровне требований, которые предъявлялись к ним в послереволюционное время, свидетельствует письмо Московского Совета в адрес руководства одного из заводов «с просьбой срочно прислать в местный районный совет список товарищей, рабочих предприятия, имевших право быть заседателями в местном народном суде». (Требования к заседателям вполне можно отнести и к судьям.) В письме, в частности, говорилось: «...к работе заседателя... привлекаются лица с восемнадцати лет, непопороченные по суду или в мнении своих товарищей. Не могут быть заседателями враги Советской власти и лица, не признающие ее декретов и созданных ею учреждений. ...Никто не должен бояться, что у него не хватит умения и способностей творить суд. Для того чтобы отличить ложь от истины, правого от виноватого, достаточно быть честным человеком и руководствоваться чистой совестью и природным здравым смыслом. Чем шире будут составлены списки заседателей, тем полнее отразится народная совесть в новых судах».

Как и для заседателей, для судей чистая совесть и здравый смысл, конечно, необходимы. Не без основания считалось, что честный и умный человек на судебском месте лучше грамотного и знающего законы прохвоста. Кроме того, как и во всех других учреждениях, в подборе судебных кадров существовал классовый подход. Совместить честность, здравый смысл, юридическую грамотность и пролетарское происхождение в одном лице не всегда удавалось. В 1925 году прокурор города Сергей Николаевич Шевердин, у которого

были умные глаза и бородка клинышком и которого Лев Шейнин в рассказе «Динары с дырками» назвал «добрейшим и умнейшим стариком, политкаторжанином», на одном из совещаний сказал: «Народные судьи хороши, но безграмотны в правовом отношении». Что ж, государству приходилось чем-то жертвовать. Считалось, что легче выучить честного, чем перевоспитать нечестного или сделать «своим» политически неблагонадежного.

Первое время после революции действие законов царского времени сохранялось. Отступление от них могло иметь место в тех случаях, когда они противоречили революционно-социалистическому правосознанию или были отменены декретами новой власти, но уже в 1918 году «Положение о Народном суде» объявило об упразднении старых процессуальных норм в области судопроизводства. Судам было запрещено ссылаться на законы царского времени. Единственным источником права стало революционное правосознание, а проще говоря, политически направленный произвол. И тем не менее до 1923 года судебная «самостоятельность» не отличалась жестокостью. Перед судьями еще лежали законы царского времени, на которые они ориентировались, руководствуясь революционным правосознанием.

Обстановка в стране, интересы государства требовали превращения суда в инструмент наведения порядка. Суды же были слишком самостоятельны, не существовало для них ни единого руководящего центра, ни единой кассационной инстанции. В 1921 году Наркомюст получил наконец право отменять судебные решения, а в 1923 году были созданы губернские суды, которые стали руководить работой народных судов. Вскоре были созданы Верховный суд и Государственная прокуратура. Прокурор республики стал одновременно наркомом юстиции. Государство получило возможность руководить деятельностью судов и следить за законотворчеством местных органов власти.

В начале двадцатых годов, когда новая экономическая политика стала расшатывать устои коммунистической нравственности, было замечено, что «в ряды судей

пробрались классово чуждые элементы». Юрий Ларин, о котором мы упоминали, 15 ноября 1923 года выступил в газете «Известия» со статьей «Кто наши судьи?». Он указывал в ней, что из пятидесяти девяти московских судей только тридцать восемь имеют пролетарское происхождение и что по своим политическим убеждениям большинство судей представляют собой «нейтральную слякоть». Он же в газете «Правда» за 10 ноября 1923 года, ссылаясь на результаты проверки работы судов, проведенной комиссией во главе с членом президиума ЦКК Сольцем, писал о том, что «личный состав судей нуждается в основательной чистке и замене пусть лучше неопытными, но надежными в партийно-классовом отношении товарищами». В статье указывалось на то, что по классовому составу хорош только губсуд, а в народных судах 40 процентов судей беспартийные и буржуазного происхождения. Автор призывал использовать партийных работниц из женотделов, указывая на то, что «партийные женщины всегда оказываются очень хорошими на судебных местах». В дальнейшей жизни это пожелание осуществилось. Большую часть судей в Москве составляли женщины.

Женское сердце действительно подсказывало иногда правильное, гуманное решение. Это было особенно важно в то время, когда не хватало законов. Как-то в 1923 году в народный суд милиционер привел девочку. Судья Иванова обратила внимание на ее опрятность, белый бант в светлых, немного вьющихся волосах и на книксен, который она сделала, войдя в кабинет. Из милицейского протокола следовало, что девочка занималась спекуляцией и оказала неповиновение работникам милиции. Вины своей она не отрицала. Судья стала разбираться, и выяснилось, что Нина, так звали девочку, старший ребенок в семье. Семья живет в подвале. Мать ходит на биржу труда, но устроиться на работу не может. Есть дома нечего. Все надежды семья возлагает на то, что Нина заработает на торговле яблоками — 50—70 рублей в день — и что-нибудь купит, чтобы не умереть с голоду. Патента на торговлю у Нины нет и быть не может, так как ей нет еще шестнадцати лет. А нет патента — торговля незаконная. Попала девочка в

милицию. Продержали ее там до ночи, а потом отпустили, только она идти домой отказалась: страшно. В милиции посчитали такое поведение дерзостью и на следующее утро привели девочку в суд для наказания. Только судья оказалась не формалисткой. Взглянула с тоской на милиционера (хотя он был и ни при чем — выполнял указания начальника), вздохнула и девочку отпустила. На этом суд и закончился.

Вообще судьи при рассмотрении так называемых «общеуголовных дел» в те послереволюционные годы были довольно свободны и выносили смелые и даже неожиданные приговоры.

В 1920 году Василия Николаевича Стрельцова, задушившего на глазах восьмилетнего сына жену в квартире 14 дома 38 по Селезневской улице, суд оправдал. Судьи выслушали показания подсудимого о том, что убитая во время обеда обижала его, плеснула в него водой, замахнулась вилкой. В приговоре было сказано: «...Суд находит, что г-н Стрельцов, несмотря на содеянное им, все же не может считаться элементом, свободное общение которого среди граждан республики может являться опасным для последних, так как все показания свидетелей подтверждают справедливость такого положения, обрисовывая Стрельцова как положительного человека, хорошего семьянина и любящего отца... Суд, руководствуясь вышеизложенным, революционным правосознанием и субъективным впечатлением, приговорил: Стрельцова по суду оправдать».

Проще говоря, суд не стал решать вопрос о наказании Стрельцова, а ограничился лишь оценкой его личности. В общем-то, это было в духе времени. Данные о личности подсудимого, истца, ответчика играли очень важную роль. В приговорах встречались такие формулировки, как «принимая во внимание пролетарское происхождение подсудимого...». Направленность закона против враждебных в классовом отношении лиц проявлялась и в области гражданско-правовых отношений. Так, гражданско-процессуальный кодекс 1924 года содержал статью 4, которая позволяла суду в случае, «если встречается вопрос, не разрешенный законом, применять свое классовое право-

сознание». А для того чтобы в стране не было богатых наследников, закон ограничивал ценность передаваемого по наследству имущества 10 тысячами рублей.

Поощрение беднейших слоев населения проявлялось и в амнистиях. Так, по амнистии 1922 года подлежали освобождению рабочие и крестьяне, совершившие преступления вследствие тяжелого материального положения, а также инвалиды Красной армии и флота, совершившие преступления «под влиянием голода и нужды в связи с демобилизацией и безработицей».

Классовая линия в работе суда, прокуратуры, органов внутренних дел проходила по судьбам человеческим, и не каждый работник карательных органов мог провести ее хладнокровно там, где она причиняла незаслуженные страдания людям. Чтобы эту линию выпрямить, судьям напоминали слова В. И. Ленина о том, что «наши судьи должны помнить, что они — пролетарские судьи, окруженные врагами всего мира». Совесть работников губсуда облегчало, в частности, и то, что до 1925 года они вообще не имели права снижать назначенное народным судом наказание («и рады бы снизить, да закон не позволяет»). Кроме того, после проводимых регулярно проверок судьям устраивали головомойку. Указывали на попустительство нэпманам, на недостаточную защиту интересов трудящихся, на мягкость в отношении классовых врагов и пр. Доставалось и прокурорам. Например, прокурор Хамовнического района Павлов в сентябре 1929 года получил семь лет лишения свободы за то, что пожалел выселенных из своих квартир, как классово чуждые элементы, безработную Бабушкину и жену расстрелянного генерала Яндковского и поставил их на очередь на получение жилплощади.

В 1930 году в прокуратуре провели «чистку». В комиссию по «чистке» вошли члены секции революционной законности Моссовета и столько же рабочих завода «Арматура», шефствующего над прокуратурой. Многие прокурорские работники слетели тогда со своих насиженных рабочих мест. «Будет знать прокуратура, что такое “Арматура”», — шутили проверяющие. «Была у нас прокуратура — осталась только “арматура”», — шутили прокуроры.



Несмотря ни на что, судьи и прокуроры работу свою любили. Для человека, пришедшего, как говорится, «от станка», работа судьи была почетна, и он ею очень дорожил. Один бывший рабочий, ставший членом трибунала, вспоминая свою судейскую деятельность, писал: «Для нас трибунал — это было все. Мы забывали свою семью, жили в трибунале».

При суде Преображенского участка на Покровской улице, в своей крохотной квартирке жил пожилой судья по фамилии Куколь. В 1924 году он осудил бандита. Тот сбежал из-под стражи, пришел в квартиру Куколя и убил его и его жену. Судей этот злодейский акт не запугал. Никто свою работу не оставил.

А ведь судьи, прокуроры, следователи не относились к хорошо оплачиваемым чиновникам. Следователь, к примеру, в середине двадцатых годов получал 75 так называемых товарных рублей. Судьи были не богаче, а прокуроры, так те даже беднее следователей.

О материальном обеспечении следователей, их нагрузке говорят сохранившиеся в архиве докладные записки. Например, в справке о работе прокуратуры Москворецкого района за 1925 год сказано: «...Народные следователи сильно перегружены и следствие быстро оканчивать не могут. Следователи, работая непосильно, могут окончательно подорвать свое здоровье (в наше время такой довод никогда не приводился, несмотря ни на какую нагрузку)... Необходимо принять меры и увеличить штаты. Требования, предъявляемые по существу ходом самого дела к высокому уровню квалификации следователей, не соответствуют разряду получаемого ими содержания». В другой докладной записке говорилось: «Тяжелое материальное положение безусловно сказывается на самочувствии и в связи с этим на работе даже хороших сотрудников». Непосредственно об условиях, в которых приходилось им работать, в той же справке можно прочитать следующее: «...В камере (так по-дореволюционному называли тогда кабинет следователя) в служебное время следователи производят только допросы, знакомство с поступающими делами, а писание постановлений и заключений производится исключительно на дому, так

как эту трудную и требующую сосредоточения работу выполнять в камере при шуме и допросах, проводимых другими народными следователями, невозможно. Следователи работают ежедневно, не исключая праздников, не менее двенадцати часов в сутки». Из-за отсутствия помещений им приходилось допрашивать потерпевших, подозреваемых и свидетелей, находящихся в одной комнате.

Помещений для судов также не хватало, и судьи подолгу ждали, когда освободится зал, чтобы рассмотреть дело. С целью разгрузки народных судов от мелких дел в ноябре 1929 года были созданы товарищеские суды на предприятиях.

С приходом новой власти в Москве развелось множество представительств разных краев, губерний и других организаций. Все они занимали помещения и без того в густонаселенном городе. В 1927 году московские власти решили «разгрузить» город и ликвидировали в нем сто двадцать представительств торговых, промышленных и кооперативных иногородних организаций. Борьба между разными конторами за владение помещениями принимала порой просто батальные формы. Как-то в сентябре 1934 года Московский областной суд принял решение о передаче помещения Пролетарского народного суда, находившегося в доме 16/36 по Товарищескому переулку, Замоскворецкому райжилтресту, а тот, в свою очередь, предоставил его студентам института инженеров общественного питания под общежитие. Жить студентам было негде. Приходилось ютиться в помещении рабочего клуба имени Баскакова. В восемь часов утра 11 октября 1934 года в этот самый клуб к студентам пришел заместитель директора института по административно-хозяйственной части Зверев и объявил им радостную весть: под общежитие передано помещение народного суда. Помещение это было совсем рядом, дорогу перейти. В это время уборщица суда Аграфена Кузьминична Акчуткина мочила под краном тряпку, намереваясь протереть полы. В суде было тихо, и только старая осенняя муха тупо и упрямо билась в грязное оконное стекло. По коридору бродила худая судейская кошка. Землетрясение началось сразу.

Загрохотала входная дверь, затряслись дощатые полы. По ним затопала студенческая рать с кроватями, стульями, тумбочками, мешками и чемоданами. Тут же вместе со студентами-несунами появились студенты-распорядители. Они указывали несунам куда что тащить и где ставить. Студентов было человек семьдесят. Судейские столы, шкафы с какими-то бумагами они выталкивали через дверь и окна на улицу, то есть в переулочек, все еще Товарищеский. Последней в окно полетела кошка. Работа шла быстро, если не сказать весело. Законопослушные, как никогда, студенты завершили всю операцию к десяти часам утра. Еще долго потом по переулочку, как сироты, бродили судьи и искали в выброшенных столах и шкафах уголовные дела. В этот день их должно было слушаться около пятидесяти. Вскоре на место аннексии прибыли прокурор города и начальник милиции. К концу дня властям города удалось вернуть студентов и судей в исходное положение. Пропало несколько папок с документами, но судьям было не до них. Есть хоть куда на работу ходить — и то хорошо.

Следователи и судьи испытывали недостаток не только в помещениях. Не хватало бумаги, чернил, пишущих машинок. Приходилось как-то выходить самим из тяжелого положения. Хамовнический суд в 1920 году вышел из положения следующим образом: рассмотрев уголовное дело по обвинению В. М. Антонычева в подделке документов на пользование велосипедом (с велосипедами тогда было строго), суд в приговоре указал: «Пишущую машинку (изъятую у Антонычева) конфисковать и оставить для нужд суда».

Когда узнаешь об обстановке, царившей в народных судах в двадцатые годы, невольно думаешь, как мало изменилась она за несколько десятилетий. В шестидесятые-восьмидесятые годы да и теперь кое в чем она очень напоминает прошлое.

Вот какой увидели ее работники юстиции, проводившие проверку работы московских народных судов в 1923 году: «...Мучительно долго не начинается процесс. До вечера ждут доставку подсудимых. Специального помещения для свидетелей нет. Свидетели бродят по коридорам, общаются с допрошенными свиде-

телями. Представители обвинения вынуждены все это время шататься по коридорам суда. У защиты также комнаты не имеется. Дела им не даются на дом. Знакомиться с делом они вынуждены в общей канцелярии суда. Нередки случаи, когда защитнику дается большое дело на ознакомление не более чем на полчаса. Нельзя не указать также на недостаточно серьезное отношение к своим обязанностям секретарей судебного заседания. Это преимущественно молодые девицы, которые не встают, когда докладывают суду, пересмеиваются с посетителями из публики и вообще держат себя несерьезно. Нередки случаи, когда при допросе подсудимых и свидетелей председательствующие не проявляют необходимого такта. Дают в своих репликах оценку правдоподобности показаний и высказывают свое мнение по поводу того или другого, требующего выяснения обстоятельства».

Увы! Вместе с политическим крутозором и классовым чутьем пролетариат принес в суд прямоту и грубость. «Интеллигентов» пролетарские судьи не любили. «Интеллигенты» проигрывали «пролетариям» в прямоте и силе выражения своих чувств. Они опускались до интриг, что для «пролетариев» было мелко. Работавшая после революции судьей А. Мониная в своих воспоминаниях касалась этого вопроса. Она писала (журнал «Пролетарский суд» за 1924 год, № 4—5): «...В Президиум Совета народных судей входили элементы с мелкобуржуазной психологией. Проявлялись карьеристические наклонности, особенно среди интеллигентов, которые выражались в весьма тонком подсиживании друг друга, заметить которое рабочему было невозможно». С годами, отдаляясь все больше от пролетариата и становясь все более чиновниками, судьи стали разбираться в «подсиживаниях». Правда, некоторые из судей свою непосредственность еще долго сохраняли. Драматурги братья Тур в 1935 году описали такой случай, произошедший в театре на спектакле «Отелло». Сидел в партере народный судья. Сидел спокойно, никому не мешал. Когда же стареющий мавр начал, задыхаясь и рыча, произносить монолог: «Нет, не хочу пролить я эту кровь...», судья оживился. Ну а

когда Отелло взревел: «Смерть, смерть блуднице!» — и кинулся на Дездемону, судья не выдержал и громко произнес: «Пять лет со строгой изоляцией припаял бы я этому мерзавцу!» Что ж, не так уж много за жизнь любящей и верной жены.

Не только судьи посещали театры, артисты тоже приходили к судьям. В 1922 году отмечалось пятилетие народных судов Московской губернии. По этому поводу состоялось торжественное заседание народных судей и следователей. На совещании выступили нарком юстиции Курский, председатель Моссовета Богуславский, начальник административного отдела Моссовета Орлеанский, товарищи Бранденбургский, Черлюнчакевич, известные деятели советской юстиции, и Ю. Ларин. Заседали до четырех часов. После перекура был обед с тостами, а затем концерт «с участием выдающихся артистов», который закончился в три часа ночи. По окончании концерта начались танцы. Вот как отмечали в голодный 1922 год московские судьи свою первую пятилетку!

В 1925 году в доме 3 по Столешникову переулку (этот дом стоял на углу Большой Дмитровки, где теперь архив, в котором хранятся документы новейшей истории) был открыт клуб ответственных работников юстиции. Работал он ежедневно, кроме среды, с шести часов вечера до двенадцати часов ночи. В его программе — дискуссии, лекции, концерты. Ежедневно крутили кино.

Тем для дискуссий хватало. Ну зачем, к примеру, в Уголовном кодексе нужна статья о наказании за оскорбление, если есть статья, предусматривающая ответственность за хулиганство, не пора ли сузить понятие квалифицированной кражи, предоставить суду право самому решать вопрос об окончательном сроке лишения свободы при сложении наказаний, не ограничивать его рамками, оговоренными кодексом, не лучше ли прекращать дела на граждан, осужденных на большие сроки, если в результате нового осуждения наказание по первому делу все равно будет поглощено новым наказанием и т. д.? Кстати, когда судьям Мосгубсуда в 1925 году было предложено высказать свои пожела-

ния об изменениях судопроизводства, они предложили следующее: сократить до минимума количество следственных инстанций, сократить число допросов одного и того же лица в ходе следствия, исключить, по возможности, передачу дела от одного следователя другому, предоставить прокурору право прекращать дела в случае необнаружения виновного, упростить ход судебного следствия, ввести регламент, позволяющий судье ограничивать время выступления защитников и т. д.

Вообще желание провести реформы за счет адвокатуры было довольно распространенным.

9 апреля 1928 года в Театре Революции на улице Герцена (Большая Никитская) (теперь там Театр им. Вл. Маяковского) даже проводился диспут на тему «Нужна ли адвокатура?», а пленум Мосгубсуда в январе того же 1928 года высказался не только за категорическое недопущение защитников к делу в процессе предварительного следствия, но и за полное упразднение защиты вообще. Народные судьи, бравшие слово на пленуме, доказывали, что защитники выступают лишь с одной целью: выиграть дело во что бы то ни стало (исключения из этого правила крайне редки). Они затягивают слушание дела, заявляя всякие ненужные ходатайства. Приводились цифры, подтверждающие то, что 70—80 процентов волокиты происходит по вине защиты.

Судьи, принимавшие участие в дискуссии на эту тему на страницах «Вечерней Москвы», писали о том, что «в губсудах защита не нужна, так как там рассматриваются дела о контрреволюционерах, бандитах, крупных растратчиках и заботиться об их защите в классовом суде пролетарского государства нечего, суд сам, без особой посторонней помощи, разберется в этих делах и наградит каждого по заслугам...». Судей, участвующих в дискуссии, возмущали и заработки адвокатов. Они даже подсчитали, что в 1927 году адвокаты получили от своих клиентов 5 миллионов рублей! Могло ли это оставить судей равнодушными?!

Нельзя не признать, что основным стимулом реформ, предложенных судьями, была экономия умственных затрат и времени. Многим хотелось избавиться от адво-

катов, как от лиц, знавших закон и мешавших вынесению обвинительного приговора. Отсутствие контроля со стороны адвокатов позволило бы им решать такие дела «по совести». К тому же судьи были перегружены работой и им было не до качества судебного разбирательства. Надо было прежде всего справиться с количеством дел. Приговоры тех лет даже по крупным делам, где много эпизодов, много подсудимых, помещались, как правило, на пяти-шести листах, а то и меньше. Совсем незначительную часть приговора занимало приведение доказательств. В качестве примера можно процитировать фрагмент приговора по делу А. В. Кузнецова, обвиненного в том, что он, занимая должность директора Московского автомобильного завода «КИМ» («Коммунистический интернационал молодежи»), нынешнего АЗЛК, 29 сентября и 2 октября 1940 года допустил опубликование в газете «Известия» заведомо ложной информации о состоянии автозавода «КИМ», рассчитанной на обман правительства и общественного мнения, о регулярном начиная с 1 октября 1940 года выпуске заводом малолитражных автомашин, в то время как в действительности по состоянию на 15 октября 1940 года завод автомашин не выпускает. Так вот «доказательства» вины занимают в приговоре три строчки: «Виновность обвиняемого Кузнецова подтверждена на предварительном следствии и на судебном следствии всеми материалами дела и показаниями свидетелей — Постолюковского, Корма и др. показаниями». О том, признал ли Кузнецов себя виновным или нет, не говорится вообще. А ведь назначил суд Кузнецову по этому приговору наказание в виде четырех лет лишения свободы. Наверное, не обошлось здесь без указаний свыше.

Вышеупомянутым пожеланиям судей об упрощении судопроизводства не было дано осуществиться. Тем не менее не без учета конкретной обстановки в эти годы складывалась система взаимоотношений, требований и подходов, существовавших в прокурорско-судебных органах несколько последующих десятилетий.

Заместитель прокурора Московской губернии Сорочинский в 1925 году в одном из своих докладов говорил: «Обвинительное заключение является словом обвини-

тельной власти, а потому оно должно, не превращаясь в объективную докладную записку, содержать главным образом материалы обвинения, надо избегать пересказа свидетельских показаний, надо делать ссылки на страницы дела. В конце обвинительного заключения надо привести показания обвиняемого со всеми изменениями». Характерным для документов той поры было наличие смелых выводов без глубокого исследования доказательств или довольно вольного их истолкования.

Можно в этом усмотреть верхоглядство, а можно и отсутствие крючкотворства. Во всяком случае, оценке доказательства придавалось тогда значение не меньшее, чем самому доказательству.

Порой такая оценка выглядела довольно спорной, если не сказать больше.

В качестве примера вольного толкования судом жизненных обстоятельств можно привести приговор, вынесенный Московским городским судом под председательством Макаровой 13 октября 1933 года в отношении слушателя военной академии Михаила Иосифовича Литвина двадцати девяти лет от роду, неженатого, члена профсоюза с 1925 года. В приговоре указано: «25 июля 1933 года на станции Ленинград в мягкий вагон № 5 поезда № 23 сели пассажиры: сотрудник ГПУ Криштофов Сергей Михайлович с женой, Криштофовой Евгенией Михайловной, на места 25, 26, а место 27 занял Литвин. Литвин лег спать, а муж и жена Криштофовы остались в коридоре вагона до двенадцати часов ночи, когда один за другим они вошли в купе, сели на место Криштофовой, поговорили, обменялись поцелуями, и Криштофова быстро заснула. Криштофов забрался на верхнюю полку и также заснул, потушив горевшую в вагоне свечу. Убедившись в том, что Криштофов спит, Литвин, до этого не спавший, слез со своего места, разделся, оставшись в одних трусах, и пришел к Криштофовой. Сначала сел, затем лег около нее, стал ее ласкать и целовать. Криштофова, будучи уверенной в том, что около нее муж, в темноте, находясь в полусонном состоянии, отвечала на ласки Литвина и взаимно отдавалась ему. Только в порыве ласки, после поло-



вого сношения, глядя по голове лежащего на ней мужчину, она по особенности волос убедилась в том, что стала жертвой постороннего мужчины, Криштофовая стала кричать и звать на помощь своего мужа...» Муж, мирно храпевший на верхней полке, услышав крик в темноте, не сразу сообразил, где он и что происходит, но, поняв, что кричит жена, скатился с полки, наступив на живот Литвину, который, быстренько вернувшись на свое место, изображал из себя спящего. Потом, в суде, Литвин признался в овладении женой работника ГПУ. Он объяснил, что побудило его к этому непреодолимое желание, которое разожгли в нем сами супруги, совершившие в его присутствии половой акт. Супруги категорически отвергли в суде эту «гнусную ложь». За них вступился суд, указав в приговоре на то, что половой акт между супругами «не только ничем не подтверждается, но и опровергается самим фактом совершения полового акта Криштофовой с Литвиным вместо мужа...». Судья, очевидно, исходила из того, что Криштофовой вполне было достаточно одного полового акта. Объяснить такое теоретизирование судьи можно тем, что сама она в то время не была замужем. Потом, выйдя замуж, она станет Макаровой-Жук и приговоры ее станут более жизненными.

В конце концов Литвин был признан «в половом отношении морально разложившимся человеком» и осужден за изнасилование.

Смелые мысли судей касались не только конкретных обстоятельств уголовных дел, но и судебной процедуры в целом. Были судьи, которые замахивались на сами основы судопроизводства, например на совещательную комнату. Е. Кельман в 1930 году выступил в журнале «Советская юстиция» со статьей на эту тему. Он ссылаясь на опыт Англии и Швейцарии (немецкой), где судьи в процессе открыто высказывают свое мнение о виновности или невиновности подсудимого. Он писал о том, что советскому суду незачем прятаться от народа для принятия решения по делу, что открытость вообще основная черта советского строя. Он указывал на то, что при существовании совещательной комнаты наши «нарзасы», как тогда называли народных заседа-

телей, недостаточно активны, что судья подавляет их волю в совещательной комнате. Открытое совещание, по мнению Кельмана, станет хорошей школой советского права как для «нарзасов», так и для трудящихся, находящихся в зале суда. Возможность принять участие в обсуждении дела будет привлекать широкие массы трудящихся, заставляя их втягиваться в ознакомление с вопросами советского права, так как им придется публично высказывать свое мнение, а чтобы не опозориться, им придется учиться. Таким образом, считал Кельман, после выступления сторон, если суд найдет нужным, высказываются присутствующие по строгому регламенту, а затем «по конкретным проектам резолюции» высказывается президиум собрания, то есть состав суда, и председательствующий ставит на голосование подготовленный проект приговора. Эта форма судопроизводства, как считал Кельман, открыла бы перед всеми гражданами, находившимися в зале судебных заседаний, мотивы, которыми судьи руководствовались при принятии решения по делу, и сделала бы шаг к отмиранию суда вообще.

«Замысловато, но интересно», — мог бы сказать В. И. Ленин. Но по этому пути советская судебная система не пошла. Совещательную комнату не отменили. Правда, когда в совещательных комнатах, а практически в кабинетах судей, были установлены телефоны, судьи смогли сделать свои совещания не столь уж тайными. Во всяком случае, им была предоставлена возможность в случае необходимости позвонить и посоветоваться с кем надо по возникшему у них вопросу.

Воспоминания современников свидетельствуют о том, что суд иногда обходился без совещательной комнаты, не дожидаясь изменений в законодательстве.

Сергей Михайлович Голицын в своих «Записках уцелевшего», опубликованных в третьем номере журнала «Дружба народов» за 1990 год, рассказывает о рассмотрении в народном суде дела о выселении в 1929 году всей их семьи, как буржуазной, из Москвы. Дело слушалось во Фрунзенском народном суде. «На совещание суд не удалялся, — вспоминал С. Голицын. — Судья схватил дело, перевернул его и показал пачку с конца, а

последней была справка о заработке, показал он сперва правому заседателю, потом левому. А те, всё заседание сидевшие молча, только головами кивнули (их за это прозвали «кивалами». — Г.А.).

Судья начал писать, через пять минут закончил, дал подписать правому заседателю, дал левому, а тот, это видели все, замотал головой и подписать отказался. Судья встал и предложил встать всем присутствующим. Он начал читать, прочел те, всячески порочащие нашу семью доводы, какие уже не раз повторял. Суд постановил выселить семью бывших князей Голицыных из Москвы, как лишенных избирательных прав, решение может быть обжаловано в городской суд в двухнедельный срок.

Впоследствии отец, будучи юристом по образованию, всё возмущался — это неслыханно, что суд не удался на совещание».

Судьи с каждым годом все больше становились чиновниками, исполняющими волю партийно-советского аппарата, и атрибуты правосудия, такие как словопрения в процессе, тайна совещательной комнаты и пр., занимали в его работе все меньшее место.

С каждым годом над судом и следствием всё больше довлело партийное руководство. Партийные органы решали главный вопрос — кадровый. Без утверждения райкома не вступал в должность ни один судья. Такую привычную для всех фразу: «Суд независим и подчиняется только закону» произносить стали на новый лад: «Суд независим и подчиняется только райкому». В таком же положении были и следователи, и прокуроры.

Вмешивались партийные руководители и в существо работы судей и прокуроров.

В 1924 году, в своей квартире 69 дома 3 по улице Грановского, покончила с собой старая коммунистка, следователь ВЧК, Евгения Богдановна Бош. Когда-то она была подпольщицей в Киеве, потом бежала от преследований царской охранки в Японию, затем в Америку и Швецию, работала в эмиграции с Лениным. Перед Февральской революцией вернулась в Россию. Участвовала в перевороте, работала в «Помголе» (была такая органи-

зация, занимающаяся помощью голодающим), затем — следователем ЧК вместе с Конкордией Громовой, Яковлевой, Еленой Стасовой, Ревеккой Мейзель, Пластининой, Петерсом, Лацисом, Кедровым, Атарбековым, Саенко, Шварцем, Шульманом, Ограновым, Вахминым, Миндлиным, Гольдиным и другими, ну а потом, уйдя на покой, поселилась в правительственном доме. Некролог о ней в «Правде» написал Бухарин. Так вот, когда, узнав о случившемся, в квартиру Бош пришел помощник начальника 8-го отделения милиции Пупелис, его встретил неизвестный (это был один из членов ВЦИК) и попросил в комнату, где находился труп, не входить и дознание вообще не проводить. Он заявил, что всё уже выяснено по партийной линии и на месте происшествия был товарищ Сталин. Пупелису после этого ничего не оставалось, кроме как ретироваться. Самоубийство старой большевички объяснили невозможностью для нее смириться с болезнью (ослабевшим сердцем), мешавшей ей участвовать в построении коммунизма. Что произошло на самом деле и какова была истинная причина самоубийства — неизвестно. Следствие было лишено возможности это установить.

Необходимость иметь в лице судей, следователей и прокуроров надежных, преданных партии и государству людей требовала тщательного их отбора и постоянного контроля. Назначение и перемещение судей и прокуроров на другие должности, в частности, необходимо было согласовывать с партийными органами. В отчете московского губернского прокурора уже за 1923 год указывалось на три столкновения по этому поводу прокуратуры с партийными органами. Первый произошел из-за перевода прокурора Цейтлина из Серпуховского в другой район. Партийные органы настаивали на том, чтобы Цейтлин остался. Второй — из-за клинского прокурора Заволжского, которого парторганы требовали убрать за то, что он лично поручился за одного контрреволюционера и освободил его из-под стражи. И наконец, третий конфликт произошел из-за помощника прокурора Коломенского района Ершова, проявившего инициативу в наказании по партийной линии

некоторых коммунистов в связи с пьянством и «другими поступками, не совместимыми с достоинством члена партии».

Осложняли жизнь прокурорам и судьям не только партийные, но и советские органы. Мосгубисполком в одной из своих резолюций того времени отмечал, что «со стороны многих Уисполкомов (Уездных исполкомов) чувствовалась скрытая тенденция рассматривать прокуроров подчиненными лицами... Судьи и прокуроры назначались и смещались исполкомами, которые делали предписания прокурорам. В одном уезде имел место случай, когда Уисполком в своем постановлении выразил недоверие всему составу суда. Это постановление было изменено после того, как суд пригрозил уйти в отставку». В самой Москве так далеко, может быть, и не заходило, но свои сложности были и здесь.

Чтобы лучше почувствовать дух того времени, обратимся к приговорам, вынесенным Московским городским судом. В архиве сохранились приговоры начиная с 1933 года.

В приговоре по делу Краснова и Ефремова судья Староверов дал такую политическую оценку случившемуся, указав на то, что семь бочек технического сала на фабрике «Свобода» они похитили в период развернутого социалистического строительства, в условиях ожесточенной классовой борьбы, когда классовый враг, чувствуя свою гибель в открытых боях, стал действовать скрытно, как сказал вождь партии товарищ Сталин — «тихой сапой» («сапа» — это траншея, которую рыли осаждающие крепость, подойдя к ней на расстояние меньше ружейного выстрела. — Г. А.). И это были не только слова. Злоумышленников суд приговорил по известному указу от 7 августа 1932 года (на нем мы остановимся ниже) к расстрелу. Хорошо еще, что Верховный суд их пожалел и заменил расстрел десятью годами лишения свободы.

А вот что писал член суда Беляев в приговоре по делу Разина-Раздина-Радзина Дмитрия Алексеевича-Андреевича (судьи тогда не мучились точным установлением фамилии, имени и отчества, а просто перечисляли фамилии, упоминавшиеся в документах) и Сте-

пана Егоровича Морева, которых он приговорил к расстрелу за разбойное нападение на кассира: «Разин — указано в приговоре — происходит из семьи торговца, имевшего свою мельницу, а Морев — из семьи кулака, и они являются настолько социально опасными элементами (следует заметить, что семьи их были раскулачены, а имущество конфисковано. — Г. А.), что не поддаются никакому исправлению. Как классово чуждые элементы, всеми способами они пытались вредить социалистической стране. Морев скрыл свое социальное происхождение. Будучи вооруженным, он, соответственно его идеологии, грабительским способом пошел на самое жестокое преступление (он ударил по голове кассира, причинив легкое телесное повреждение, и отнял деньги. — Г. А.) — грабеж в вооруженном виде». Разину и Мореву назначенный горсудом расстрел был также заменен лишением свободы.

В приговоре, вынесенном в 1934 году по делу Алексея Сергеевича Николаева, осужденного за грабеж, читаем: «Николаев, скрыв свое классовое лицо (он был сыном трактирщика), пробирается в ряды коммунистической партии для того, чтобы иметь возможность при помощи партийного билета пролезть в учебное заведение, а затем в советский хозяйственный аппарат, где путем хищения социалистической собственности наносить вред советскому государству... Не имея права, как классовый враг, находиться в стенах советских учебных заведений, Николаеву, благодаря отсутствию бдительности отборочных комиссий и при помощи партбилета, удается в 1927 году окончить рабфак им. Плеханова». Не жалели резких слов судьи и в отношении лиц, совершивших хищения с использованием своего служебного положения. В приговоре, вынесенном в 1933 году по делу Яна Леопольдовича Басевича, управляющего московской конторой «Союзрыбсбыта», сказано: «...с первых же дней занялся грязными делами (Басевич отпускал товар по запискам «нужным людям» и знакомым по себестоимости), его надо характеризовать как рвача, разложившегося элемента, человека, который урывал везде, где только возможно. Если свой авторитет в этом случае не помогал, то Басевич, шан-

тажируя именем руководящих работников, добивался своей цели, у Басевича аппетит на государственные деньги большой».

Нельзя сказать, чтобы судьи были лишены сострадания. Бедность, нищета подсудимых порой трогали их сердца. В апреле 1933 года в Московском городском суде под председательством Хотинского слушалось дело по обвинению Александра Роше и Владимира Козырева, ограбивших квартиру своего товарища. В этой квартире была «такая ценность, как патефон». Преступники связали домработницу, вынесли похищенное на улицу, где и были задержаны милиционерами. Обоим было по девятнадцать лет. Роше жил с отцом, Козырев — с отчимом. Матери их умерли. Дома их не кормили, приходилось даже копаться в объедках. Найти работу не могли.

Назначая подсудимым меру наказания в виде непродолжительного заключения, суд в приговоре написал следующее: «Преступление это, безусловно, является тягчайшим преступлением. Выход из временного затруднительного положения путем совершения преступления является двойным преступлением, нельзя и недопустимо в советской стране пойти по этому пути, нужно было пойти на любую работу, хоть временную, а работать пойти может каждый, кто в этом нуждается. Нельзя в девятнадцать лет отделаться тем, что этот грабеж был мальчишеским, тем более когда обвиняемые — выходцы из трудовой советской семьи, хотя у отца Роше и отчима Козырева не хватает советского духа в воспитании детей. Но все же суд не может считать обвиняемых такими социально опасными элементами, которым требовалась бы длительная изоляция от общества».

Жизнь не стояла на месте. О кулаках стали забывать. Жить стало лучше, жить стало веселее. Заговорили о радостях бытия, о достижениях социализма. Тогда, в октябре 1936 года, член Московского городского суда Виноградов в приговоре по делу о хищениях и взятках на холодильнике № 2 записал: «Успешное строительство социалистического хозяйства, колоссальный рост культурного и материального благосостояния трудящихся масс Советского Союза вызвали необычай-

ную потребность трудящихся масс в разнообразных продуктах питания. Народный комиссариат пищевой промышленности в целях удовлетворения растущих потребностей трудящихся масс в получении разнообразных продуктов питания и в целях расширения ассортимента продуктов пищевой промышленности организовал в 1935 году на холодильнике № 2 массовое механизированное производство фасованного мороженого и так называемого мороженого «эскимо», поставив перед рабочими холодильника сложную, почетную и ответственную задачу». Казалось бы, выпуск мороженого должен был стать для всех работников холодильника № 2 делом высокой гордости и чести... Одним словом, директор холодильника Окульшин, его заместитель Бродский, начальник торгового отдела Кисельман и другие участники компании не оправдали высокого доверия. Тащили, что могли, «создали абсолютно открытую обстановку семейственности и круговой поруки». Причиненный ими ущерб составил около 2 миллионов рублей. К расстрелу никто из них приговорен не был. Отделались воры и взяточники лишением свободы на не столь уж длительные сроки, а иные вообще остались на свободе.

Знакомясь с приговорами тех лет, невольно обращаешь внимание на то, что подобные компании жуликов часто уходили от строгого наказания. Имели ли место в данном случае связи или личные симпатии членов вышестоящих судебных инстанций к осужденным по национальным или каким-нибудь другим причинам, утверждать не берусь, но нередко преступники, подобные Бродскому или Кисельману, отделялись незначительным сроком лишения свободы, а то и просто легким испугом.

Постановление ЦИК и СНК СССР от 7 августа 1932 года «Об охране имущества государственных предприятий, колхозов и кооперации и укреплении общественной (социалистической) собственности» на эту часть преступников практически не распространялось. В этом законе указывалось на применение смертной казни за хищение на водном и железнодорожном транспорте, за хищение колхозного и кооперативного



имущества, за понуждение колхозников к выходу из колхозов, указывалось также на неприменение к осужденным по этому закону амнистии.

Спустя четыре года в статье 131 Конституции СССР будет записано: «Лица, покушавшиеся на общественную социалистическую собственность, являются врагами народа». Государство устало от бесконечного воровства общенародной собственности и решило показать зубы.

Воровство существовало всегда, но в середине двадцатых годов произошел особый рост растрат и хищений. Большая их часть совершалась в государственных организациях (56,2 процента). При этом причины, заставившие виновных растратить казенные деньги, были далеки от нужды и крайне тяжелого стечения обстоятельств. Даже напротив. 17 процентов осужденных побудило залезть в карман государства пьянство, 10 процентов — проигрыш в карты, 3 процента — проигрыш на бегах. Нужда же толкнула на преступление менее 4 процентов виновных. Было замечено, что некоторые из осужденных, чтобы получить более мягкое наказание, демонстрировали свою бедность «напоказ». Причина морального разложения крылась, по мнению тех, кто изучал этот вопрос, в захвате среднего и низового аппарата представителями мелкой буржуазии, то есть нэпманами. Обращало на себя внимание и то, что 22 процента растратчиков составляли коммунисты. Масло в огонь подлило выступление авторитета в мире коммунистической идеологии, Емельяна Ярославского. Его речь любили цитировать адвокаты, защищавшие партийных растратчиков. А сказал Емельян Ярославский следующее: «Не понимаю, чем суд занимается! Жестоко карает коммунистов-растратчиков. Ну что такое, если коммунист и растратил три тысячи рублей? Ведь если принять во внимание, что он был на красных фронтах, жертвовал своей жизнью, то ведь это ерунда!»

Эта мысль Ярославского противоречила высказыванию В. И. Ленина о том, что коммунистов надо карать в три раза строже, чем беспартийных. Теперь эта ленинская фраза не вписывалась в жизнь. Коммунисты тоже хотели пожить и не желали отвечать в три раза строже своих классовых врагов.

В отсутствие собственности на средства производства воровство государственного и общественного имущества становилось главным источником обогащения.

В 1929 году Корней Иванович Чуковский присутствовал на судебном заседании по делу Батурлова и других, рассматривавшемуся в Московском городском суде. Подсудимые обвинялись в хищении. Для себя Чуковский сделал два открытия. Первое касалось «“природы” подсудимых»... «Не чувствуется никакой разницы между их (обвиняемых. — Г. А.) психологией и психологией всех окружающих, — пишет в своем дневнике Чуковский. — Страна, где все еще верят бумажкам, а не людям, где под прикрытием высоких лозунгов нередко таится весьма невысокая “мелкобуржуазная” практика, вся полна такими, как они. Они плоть от плоти нашего быта. Поэтому во всем зале — между ними и публикой — самая интимная связь. Ту же связь ощутил, к сожалению, и я. И мне стало их очень жалко». Второе, что поразило автора дневника, это нелепость и ничтожество цели, за достижение которой люди (подсудимые) шли на преступление. Чуковский пишет: «...Оказывается, люди так страшно любят вино, женщин и вообще развлечения, что вот из-за этого скучного вздора идут на самые жестокие судебные пытки. Ничего другого, кроме женщин, вина, ресторанов и прочей тоски, эти бедные растратчики не добыли. Но ведь женщин можно достать и бесплатно — особенно таким молодым и смазливым, — а вино? — да неужели пойти в Эрмитаж — это не большее счастье? ...Русский растратчик знает, что чуть у него казенные деньги, значит, нужно сию же минуту мчаться в поганый кабак, наливать до рвоты вином, целовать накрашенных полуграмотных дур и, насладившись таким убогим и бездарным “счастьем”, попадаться в лапы скучнейших следователей, судей, прокуроров. О, какая скука, какая безвыходность!»

Нормальному человеку понятны мысли Чуковского, но куда деться человеку от азарта, когда хочется сразу и много. И вино — не бутылку с полочки, а так, чтобы залиться, и женщин — не соседку или секретаршу, да еще с капризами, претензиями и тайно, а такую, с которой можно не стесняться, чтобы служила тебе как цирковая

моська, а чуть что — пошла вон! Мещанин наслаждается не вином и женщиной, а властью над ними, доступностью для себя всего, чего лишен ближний. Ради этого он готов побыть и в роли пакостника, представшего перед судом.

Посещал суд и Илья Эренбург. Его зарисовки происходящего нам тоже интересны. В романе «Рвач» читаем: «Так или иначе, стоит просмотреть любую повестку губсуда, чтобы увидеть весьма однородный перечень статей Уложения: присвоение, хищение, взяточничество, подлог. Разнообразие сказывается исключительно в материале. Тайны производства, а подчас гениальные фокусы урывания раскрываются в тихих невыразительных залах. Психология отсутствует, как и в современной литературе. Кажется, что это не суд, а техническое заседание, ревизия бухгалтерии, курс нормального торговлеведения».

Способов хищений и их укрывательства было действительно много. Вот, например, такой: мошенники договаривались с представителями снабженческих организаций об отпуске товара с оплатой через банк. Через два-три дня они приносили фиктивные банковские документы — поручения о перечислении денег на текущий счет продавца от вымышленной организации и получали товар по фиктивной доверенности.

Для ликвидации такого опасного преступления, как взяточничество, еще в 1922 году заместитель наркома юстиции и старший помощник прокурора республики Н. Крыленко дал специальное официальное разъяснение, в котором говорилось следующее: «...при каждом Совнарсуде установить специальную камеру, где сосредоточить наиболее крупные дела о взяточничестве, черпая заседателей для этой камеры из ударного списка (в него входили наиболее решительные коммунисты)... установить рассмотрение дел о взятках в порядке сокращенного судопроизводства, без допущения сторон и с вызовом наименьшего количества свидетелей при определении меры наказания применять максимум наказания... В случае если не окажется улик для признания виновным, тем не менее, однако, будет установлена их (подсудимых) социальная опасность

по роду занятий и связи с преступной средой — предлагается широко использовать предоставленное ст. 49 УК РСФСР право в виде меры социальной защиты определять запрещение проживания им в определенных местах Республики и на срок до трех лет». Но строгости не помогали, хищения и взятки продолжали существовать. Жизнь вносила изменения в планы борьбы с преступностью, когда на скамье подсудимых оказывались те, кто имел влияние и связи.

Громким делом в середине двадцатых годов стало дело «Промбанка» (он находился на Биржевой площади), который возглавлял Александр Михайлович Краснощеков. Он родился в Киеве в 1880 году, в семье приказчика. В молодости принимал участие в революционной борьбе под руководством Моисея Урицкого, будущего руководителя Петроградской ЧК. Его арестовывали и ссылали. В 1902 году он эмигрировал сначала в Германию, потом в США. Здесь он окончил университет, стал юристом и экономистом. В июне 1917 года вернулся в Россию, примкнул к большевикам. В Иркутске белые посадили его в тюрьму, из которой он был освобожден восставшими рабочими. В 1921 году он стал председателем Временного правительства ДВР — Дальневосточной республики. Но вскоре с этой должности был смещен за стремление к личной диктатуре, сотрудничество с представителями других партий (меньшевиками, эсерами), поощрение свободы печати и слова в ДВР, а главное, за «чрезмерный упор в публичных выступлениях на независимость ДВР от РСФСР». В Москве Краснощеков стал членом ВСНХ (Всероссийского совета народного хозяйства), заместителем наркома финансов. Поняв, что наступает век авиации, он организовал в столице акционерное общество по созданию самолетов «Добролет», пообещав новенький самолет каждой организации, которая приобретет акции общества на 25 тысяч рублей. В 1923 году Александр Краснощеков организовал в Москве «Промбанк» и сам стал его председателем. Собралась тогда вокруг него довольно теплая компания, состоящая из его брата Якова, как и он, приехавшего из Америки, а также Виленского, Берковича, Моргулиса, Соловейчика

и прочих ребят, отчаянных и ушлых. Палец им в рот не кладут — откусят. Всех их объединяли круговая порука и верность своему руководителю. Неслучайно про бухгалтера Моргулиса Краснощеков говорил: «Мне нужна собака, которая будет кусаться по моей указке». И Моргулис кусал. Естественно, чужих, а не своих. Своего племянника, шурина, брата, сына и невестку он пристроил на работу в «Промбанк». Конечно, не он один «радел родному человечку», пристраивали на теплые местечки своих близких и другие сотрудники банка.

Незаменимым человеком в «Промбанке» был Илья Соломонович Соловейчик. Он мог достать все и в любое время дня и ночи. Мог, например, сообразить цыганский хор, дорогое вино, шикарную закуску, одним словом, все, что было необходимо, ведь жили «пролетарии умственного труда» на широкую ногу, хотя и расплачивались с парикмахером за счет банка. Только на вино, например, Леонид Семенович Виленский и Исаак Леонтьевич Беркович потратили 550 рублей золотом, Яков Краснощеков за счет банка приобрел домашнюю обстановку, корову и трех лошадей (ну какой банковский служащий не любит быстрой езды?!), жена Александра Краснощекова, Гертруда Бриксон, ездила за границу за счет банка, получив тысячу долларов «на представительство». Ну и мужчины, надо сказать, не скучали. Погулять ездили в Петроград в отдельном специальном вагоне. Брали с собой корзины с винами, фруктами, снедью из «бывшего времени». Останавливались в «Астории», «Европейской», приглашали цыган. Однажды, захмелев, брат Яков стал бросать цыганам золотые монеты. Немало перепало банковского капитала и любовницам наших героев. Кстати, одной из них была Лиля Юрьевна Брик. Предметом ее страсти стал Александр Михайлович Краснощеков. Когда его арестовали, она вместе с Осипом Бриком и Маяковским даже переехала в Сокольники, чтобы быть поближе к тюрьме «Матросская Тишина», где находился возлюбленный.

Драматург Борис Ромашов написал пьесу «Воздушный пирог», сюжет которой очень напоминал промбанковскую эпопею Краснощекова, и в 1925 году передал

ее для постановки в Театр Революции. Среди действующих лиц в пьесе были братья Коромысловы: Илья и Федор Евсеевичи, жена Федора, Софья Мироновна, и его любовница Рита Керн (ее играла Бабанова). У Риты приятный голос, что-то среднее между меццо-сопрано и контральфо, она скучает по театру, а когда парикмахер причесывает ее, говорит: «Я же вам сказала, голубчик, гладенько на пробор, а по бокам букли». (Не правда ли, напоминает Л. Брик на фотографии Родченко?) Она неоднократно звонит на работу Федора Коромылова и спрашивает, почему до сих пор за ней не прислали новую автомашину. Когда звезда Коромылова закатилась, Рита Керн произносит такой монолог: «Кто мы — дрянь, накипь, пена. Так зачем же эта деловая белиберда везде и всюду? Жить! Резать! Хватать! Все равно. Даешь — берешь! В этом цель! В этом наше назначение!» Персонаж по фамилии Рак спрашивает ее: «Погодите, Рита, а искусство?» — «Рынок, валюта». — «А религия?» — «К черту религию». — «А любовь, наконец?» — «Любите. Только не так, как вы совершаете банковские операции. Любовь всегда порядочное дело, в ней не может быть жульничества. Любовь без обмана». — «Не все люди одинаковы. Одни собирают, другие растрачивают». — «Я растрачиваю, точно я всегда мечтала стать профессиональной проституткой, я бросаю Коромылова».

Пьеса заканчивалась появлением агента ГПУ. Правда, немой сцены, как в гоголевском «Ревизоре», не было. Фигуру в кожанке все давно ждали.

Судил компанию Краснощекова в 1924 году сам А. А. Солец — «совесть партии» и председатель коллегии по уголовным делам Верховного суда СССР. Суд назначил Краснощекову шесть лет одиночного заключения. Но отсидеть положенное не пришлось, вскоре его перевели в тюремную больницу, подлечили и отпустили. В 1926 году он уже начальник Главного управления новых лубяных культур Наркомзема СССР. Александр Михайлович, находясь на свободе, написал книгу «Современный американский банк», которая вышла в 1926 году, но и это его не спасло. В 1937 году он был расстрелян. Ему припомнили и Америку, и хорошие отношения с Троцким.

Конечно, таких дел, как дело «Промбанка», было немного. Но и в средних, и небольших делах, как в капле воды, отражались жизнь страны, ее экономика.

В октябре 1935 года в Московском городском суде рассматривалось дело по обвинению Исаака Моисеевича Родчина, Степана Григорьевича Розанова и еще тринадцати человек. Председательствовал на процессе Хотинский. Подсудимые — работники комиссионного магазина № 23 Октябрьского района и спекулянты. Суть дела состояла в том, что работники торговли оформляли через магазин покупку и продажу станков, стали и прочих предметов, не имеющих никакого отношения к товарам народного потребления. Делалось это для того, чтобы увеличить сумму товарооборота, от которой зависела и величина получаемого продавцами оклада. Кроме того, продавцы, как указывалось в приговоре, «потеряв бдительность, допустили такое положение, что ряд спекулянтов скупали на стороне отдельные предметы, как, например, обувь и т. п., сдавали их в магазины, наживая крупные суммы. То же самое делали и отдельные кустари, сдавая свою продукцию через магазин под чужой фамилией, скрывая свои доходы, а отсюда обман налоговых органов. Кроме того, отдельные работники магазинов, войдя в преступное соглашение со спекулянтами, получали от последних взятки, помогая им скрывать свои доходы, одновременно быстрее реализовывали приносимые ими (спекулянтами) вещи, тем самым умышленно задерживая реализацию той или иной вещи, принесенной трудящимся».

Одним словом, частная инициатива ломилась в закрытую дверь социалистической экономики.

В начале тридцатых годов суды от упрощенного судопроизводства, ссылок и сокращенных сроков рассмотрения уголовных дел перешли, как уже говорилось, к расстрелам. Государство решило привести преступный мир в трепет. И, надо сказать, применение этой жестокой меры способствовало искоренению бандитизма.

В начале тридцатых годов расстрел называли «высшей мерой социальной защиты» (термин, свойственный социологической школе уголовного права),

а затем «высшей мерой уголовного наказания». Таким образом, смертная казнь в просторечии стала называться «вышкой».

Но были и такие приговоры, которые поражают своей жестокостью не меньше, чем иные преступления. Утешением для судей, получивших установку на применение столь бесчеловечных наказаний, могло бы служить изречение Гитлера: «Жестокость в настоящем есть залог мягкости в будущем». Но Гитлера судьи не читали и оправдывали, наверное, свои действия тем, что совершали их во имя счастливого будущего.

Так, например, грузчик артели «Пятилетка» двадцативосьмилетний Новоместнов, ранее не судимый, за хищение девятнадцати мешков сахара с Краснопресненского сахарного завода был приговорен к смертной казни (к нему вот постановление от 7 августа 1932 года было применено), и Верховный суд РСФСР оставил приговор без изменения.

Чаще, правда, Верховный суд, как было замечено выше, расстрел заменял десятью годами лишения свободы. Так случилось с Филистовичем, заместителем начальника секретной части оружейно-арсенального отдела Наркомтяжпрома, присвоившим девять иностранных секундомеров стоимостью по тысяче рублей золотом каждый, с Ожигановым и Салтыковым, совершившими кражу «через посредство пролезания, — как писал суд, — под подворотню со склада Госфиниздата в доме № 19 по Пятницкой улице 242 метров дерматина, стоимостью по твердой цене 438 рублей 02 копейки», со Свириным, похитившим мешок вермишели из магазина на Дубининской улице.

Также смертная казнь была заменена десятью годами лишения свободы С. А. Иванову, укравшему в ночь на 14 февраля 1933 года сливочное масло, папиросы «Люкс», «Дели», «Бокс» на 4 538 рублей, и Г. К. Филину, укравшему мануфактуру (мадаполам, плетенку), пять юбок «кепочный товар» и двадцать три пары галош на 600 рублей.

Свою непримиримость суды демонстрировали не только по отношению к расхитителям социалистической собственности, но и к нарушителям морали.



Когда 14 сентября 1935 года между станциями Перловская и Тайнинская бросилась под поезд Гаврилова, то за доведение ее до самоубийства был осужден Гаврилов, врач Октябрьского райздравотдела, который, живя с Гавриловой, сделавшей от него два аборта, постоянно оскорблял и унижал ее, отказался на ней жениться.

Встречались прохвосты, которые и женитьбу использовали как способ легального овладения недоступной женщиной. В 1936 году за изнасилование был осужден Панаритов, который, зарегистрировав брак с Фроловой, прожил с ней три дня и развелся. Суд посчитал такое поведение половым мошенничеством и осудил Панаритова на три года лишения свободы за изнасилование. В приговоре суд сослался на характеристику Панаритова из домоуправления, в которой было сказано: «В интимной жизни характеризуется отрицательно».

Досталось от суда и Сергею Денисовичу Карташкину, инженеру-конструктору завода № 158. Председательствовал на процессе член Мосгорсуда Глушков. Приговором от 13 апреля 1940 года Карташкин был приговорен к двум годам лишения свободы. А произошло следующее: Карташкин, которому было тогда тридцать лет, в июне 1937 года предложил восемнадцатилетней Наташе Остряковой из города Чкалова (ныне Оренбург) стать его женой. Наташа согласилась, собрала свои пожитки и приехала в Москву. Поселилась она в комнате у Карташкина. Вскоре Наташа забеременела, а Карташкин с регистрацией брака не спешил: то работы много, то паспорт в сейфе забыл. А тут еще подвернулась Карташкину смазливая Катя Никишина из планового отдела. Стал Карташкин с Катей добрым, а с Наташей злым и раздражительным. Как-то в ссоре заявил ей, что не любит ее и женится на другой. Наташа не могла пережить такого удара и выпила уксусную эссенцию. Врачам удалось ее спасти. Вскоре и роды подоспели. Отвезли Наташу в роддом, а Карташкин тем временем женился на Кате и прописал ее в своей комнате. Наташе идти было некуда, и добрые люди оставили ее в роддоме. Так и прожила она в нем полтора месяца. Потом в это дело вмешалась общественность. Дошло дело и до

Прокуратуры СССР. Та дала указание вселить Наташу с ребенком (девочкой) на жилплощадь Карташкина. Карташкин отвел ей угол размером в 3 квадратных метра, мебели не дал. Краснопресненский же народный суд постановил выделить Остряковой половину комнаты Карташкина, а Мосгорсуд осудил Карташкина на два года, однако Верховный суд пожалел его и снизил наказание до года исправительных работ. Вернулся Карташкин из тюрьмы домой, и зажили они вчетвером в одной комнате. Катя Никишина родила мальчика, а вскоре началась война. Карташкина мобилизовали и отправили на фронт. На войне он погиб, а две вдовы еще долго жили со своими детьми в одной комнате.

Довело до тюрьмы аморальное поведение и кузнеца Алексея Васильевича Малолеткина. Было это в 1935 году. Кузнец жил в общежитии. Шел ему тогда двадцать пятый год, женат он не был и «в свободное время,— как отмечал суд в приговоре,— вместо повышения своего культурного уровня, ухаживал за девушками, стремился завести знакомства с девушками, пользующимися в общежитии репутацией “мировых”, то есть девушками недостаточно строгого поведения в быту и личной жизни». Хоть и был Малолеткин стахановцем, но, по мнению суда, «в культурном отношении, благодаря слабой постановке культурно-массовой работы в общежитии, являлся рабочим отсталым и неразвитым». «Мировые» девчонки так не считали. Петрова, например, отдалась ему на третий день знакомства в кустах у парадного подъезда общежития, Митина тоже отдавалась Малолеткину в вышеописанных кустах, а кроме того, в кубовой, в коридоре и вообще везде, где только можно. Были и другие, не менее «мировые» девчонки. Жизнь, одним словом, была прекрасна. Но девушкам надо было и о будущем подумать. Кузнец не только был хорош, как мужчина, он еще и зарабатывал неплохо и не пил. «А не женить ли его на себе?» — подумали «мировые» девчонки и поставили (каждая в отдельности, конечно) перед кузнецом этот вопрос. Теперь, перед тем как отдаться, каждая девушка стала спрашивать Алексея, женится ли он на ней, на что кузнец кивал. Этот жест, по мнению девушек, не остав-

лял сомнений в серьезности его намерений. Ничего им тогда не хотелось так, как этого кивка, а тот считал просто невежливым в такой момент говорить девушкам не то, что они от него ждали. И Алексей, и девушки в эти моменты были рады обманываться. Но время шло, страсти остывали, у Алексея появлялись новые возлюбленные, а семейная жизнь все не начиналась. Наконец настал момент, когда кузнец стал бегать от некоторых «мировых». Тогда те пошли к прокурору. Прокурор завел дело. Обвинил Малолеткина в том, что он «использовал в половом отношении путем обмана, обещая жениться, работниц инструментального завода Петрову, Орлову и работницу фабрики № 1 Текстильно-галантерейного треста Митину». Кузнец с горя запил.

В Московском городском суде дело рассматривалось под председательством Александрова. Малолеткину был вынесен оправдательный приговор. В нем указывалось на то, что «если Малолеткин даже и обещал жениться, то делал это в момент взаимного экстаза, и нельзя было придавать его словам серьезного значения». Кроме того, суд указал в приговоре на то, что девушки прекрасно знали о том, что Малолеткин проживал в общежитии, отдельной комнаты не имел, а следовательно, всерьез при таком положении жениться не мог.

Государственный обвинитель Колотушкин с приговором не согласился. По протесту прокурора приговор был отменен и при повторном рассмотрении Малолеткин получил полтора года. «Мировые» девчонки остались незамужними и лишенными тех простых радостей, которые доставлял им кузнец. Зато честь прокурорского мундира была спасена.

Вообще, чем дальше отдалялись годы Гражданской войны, чем крепче становились государство и его карательные органы, тем труднее было судьям принимать независимые и смелые решения. Это касалось, конечно, не только суда. В статье Мальцева «Советское правосудие», опубликованной 20 марта 1924 года в парижских «Последних новостях», сообщалось о том, что вновь созданная в России прокуратура поначалу рьяно взялась за работу, но больших дел у нее не получилось. Попытка провести «чистку» среди привилегированных

совслужащих не увенчалась успехом. Высокие начальники своих жуликов в обиду не давали. Пришлось переключиться на самогонщиков. Забили ими тюрьмы так, что пришлось объявлять амнистию. Мальцев также указывает на то, что прокуратура поначалу пыталась конкурировать с ГПУ. Прокуратура прекратит на кого-нибудь дело, а ГПУ возьмет да и его посадит. Прокуратура решит привлечь к ответственности, а ГПУ сошлет предполагаемую жертву куда-нибудь подальше и т. д.

В конце тридцатых годов была создана прокуратура при НКВД. Что она могла сделать? Только создавать видимость дела да надувать щеки. Хотя, ради справедливости, надо сказать, и эта прокуратура иногда поднимала свой голос в защиту законности. Как-то она подготовила и разослала «на места», то есть в подчиненные прокуратуры областей, краев и автономных республик, письмо (подписал его заместитель прокурора при НКВД СССР Катанян), в котором указывалось на то, что следствие очень расширительно толкует статьи Уголовного кодекса, предусматривающие ответственность за государственные преступления, в результате чего вместо халатности обвиняют виновных во вредительстве, что влечет за собой неоправданно высокие меры наказания. Было это в 1940 году. Тогда в нашей стране снова заговорили о законности.

При ознакомлении с судебно-прокурорской практикой тех лет очень важно учитывать не только год, но и месяц, и даже день принятия решений, поскольку на их вынесение, безусловно, влияли «последние указания», данные партийным руководством страны и города. После ликвидации «ежовщины», например, свидетели превращались в обвиняемых и, наоборот, обвиняемые становились свидетелями.

Рита Леоновна (фамилии ее я, к сожалению, не помню) работала в Мосгорсуде еще до войны. Она была тогда секретарем судебного заседания. Так вот на нее произвело сильное впечатление, когда во время суда над одной особой, оговорившей в «ежовщину невинного человека», конвой оставил ранее осужденного и теперь оправданного и встал около бывшей свидетельницы. С плеч ее, как на всю жизнь запомнила юный

секретарь, упала на пол котиковая шубка. Так сначала сажали одних, а потом сажали тех, других, которые помогали сажать первых.

Может быть, не столь эффектная, но весьма впечатляющая история произошла в ноябре 1939 года с работником системы тарной промышленности инженером Стрельцовым. Он не сошелся характером с руководителями своего ведомства и, недолго думая, накатал на них заявление в Прокуратуру СССР. В заявлении он обвинил тринадцать руководителей тарной промышленности во вредительстве и потребовал над ними суда как над врагами народа. (Не по чину замахнулся, да и не вовремя: «ежовщина» стала немодной.) А когда оказалось, что приведенные им сведения не соответствуют действительности, его привлекли к ответственности за ложный донос и дали два года лишения свободы.

К чести судей Московского городского суда надо сказать, что и в самый разгар репрессий, в начале 1937 года, они проявляли принципиальность и смелость. Судья Рожнов, в частности, направил на доследование уголовное дело по обвинению в контрреволюционной агитации Матрены Сидоровны Кульковой. Он установил, что соседка по квартире, на показаниях которой строилось обвинение, находилась с Кульковой во враждебных отношениях и хотела за счет ее комнаты увеличить кухню. Из прокуратуры дело в суд не вернулось.

В марте 1937 года Московский городской суд под председательством члена суда Иванова оправдал Синева и Молоткова, обвиняемых по 58-й статье за то, что они не хотели подписываться на государственный заем (была такая форма отъема денег у советских граждан, когда им приходилось часть получки в добровольно-принудительном порядке сразу менять на облигации). Суд указал в оправдательном приговоре на то, что действия Синева и Молоткова нельзя расценивать как контрреволюционный выпад и что они являются следствием недостаточной политической грамотности обвиняемых.

В то же время судьи оставались людьми своего времени, и их мировоззрение было частью мировоззрения, царившего в стране. Их, наверное, искренне возмущало

то, что вызывало негодование и у других советских людей. Ну как было не осудить братьев Иосифа и Владимира Покиных, которые выступали против спасения челюскинцев, против колхозов, радовались гибели самолета «Максим Горький», или не осудить Александра Багрова, который, когда в газетах был опубликован проект сталинской конституции, острил, говоря вместо «конституция» — «проституция»? И судили.

Конечно, судьи дел не выбирали и сами их не создавали. Они рассматривали те дела, которые поступали из следственных органов. В 1935 году, например, поступило дело на германского подданного Фрица Элендера, члена коммунистической партии Германии, технического руководителя пуговичной фабрики имени Балакирева. Элендер обвинялся в том, что утвердил образец пуговицы № 17, на которой был изображен контрреволюционный знак, и допустил эту пуговицу в массовое производство. Что за знак — неизвестно, очевидно, крест или свастика, а вернее, что-нибудь, напоминающее их. Элендер был не первым, кто пострадал на галантерейном производстве. В 1929 году Андрей Сергеевич Некрасов за изготовление запонок с изображением фашистского знака был выслан в Маробласть (была такая на территории Марийской республики) на три года.

В общем-то, непримиримое отношение советских людей к антисоветским символам можно понять. У судей были моральные основания для вынесения обвинительного приговора. Но как быть, когда подсудимый действовал из лучших коммунистических побуждений? В апреле 1935 года перед судом предстали технический директор завода «Парострой» Франц Клементьевич Снежко и мастер Сергей Николаевич Морозов. Они обвинялись в том, что отправили в Турцию вместе с котлом и запасными частями к нему брошюру «1 Мая». Положил в ящик эту брошюру по их указанию рабочий Стаканов. Судья не знал, чем мотивировать обвинительный приговор. В конце концов переписал то, что было в обвинительном заключении: «Снежко и Морозов прекрасно понимали недопустимость и противозаконность своих действий в

отношении иностранного государства: посылки в Турцию брошюр о 1 Мая», и приговорил обоих к общественному порицанию.

Рассмотрение гражданских дел было тоже делом нелегким, но не менее интересным. Например, такой случай: маленькая девочка нашла на улице червонец и передала его отцу. Только она это сделала, подбегают два мужика и каждый кричит, что червонец принадлежит ему. Отец спрашивает: а какой был червонец — старый или новый? Мужики в один голос кричат: «Старый, старый!» А червонец-то совсем новый. Не отдал отец девочки мужикам червонец, а понес его в отделение милиции, хотел сдать по всей форме, а там червонец не принимают: у нас, говорят, не Госбанк, не магазин. Принес отец девочки червонец домой и запер в шкатулку до выяснения. А мужики тем временем на него в суд подали, чтобы с него этот червонец взыскать. В Рогожско-Симоновском народном суде судья всех выслушал, долго рассматривал червонец, щупал его, нюхал, а потом принял решение: «Признать червонец бесхозным и сдать его в фонд помощи беспризорным детям». То-то радости было у беспризорной детворы!

Судья, наверное, хотел, чтобы от этого червонца многим хоть немного досталось. Тогда чувства коллектива, равенства владели умами судей. Эти чувства являлись основой их «классового правосознания», которым они должны были руководствоваться.

Когда сын И. Горбунова-Посадова, друга Л. Н. Толстого, Михаил отказался в 1921 году посещать занятия по военной подготовке в университете, сославшись на то, что он, хоть и неверующий, но является последователем взглядов Л. Н. Толстого о непротивлении злу насилием, возник спор. В суде в поддержку студента выступали известный литератор Шохор-Троцкий, сын соратника Л. Н. Толстого В. Г. Черткова — Владимир, а также отец юноши, И. Горбунов-Посадов. Говорили они долго и вдохновенно, настаивая на освобождении Горбунова-Посадова-младшего от занятий по военной подготовке. Однако суд их доводам не внял и студента от занятий не освободил. В подтверждение своего решения суд сослался на то, что учение Л. Н. Толстого

не может рассматриваться как религиозное убеждение, а поэтому закон об освобождении от военной службы по религиозным убеждениям к данному случаю отношения не имеет.

Аналогичная история произошла в 1923 году с Антоном Мельниковым, который жил на Плющихе. Так вот, он тоже уклонялся от занятий по военной подготовке, ссылаясь на свои религиозные убеждения. Мосгубсуд допросил Антона и «нашел его совершенно неразвитым, а его религиозные убеждения ничем не отличающимися от религиозного учения так называемой православной религии», которая, как, наверное, следовало бы добавить суду, службу в армии не отрицала. Суд Мельникову в иске отказал.

Здесь, может быть, будет к месту рассказать о случае, произошедшем с другим последователем учения Л. Н. Толстого, одним из его секретарей, В. Ф. Булгаковым. Произошел этот случай 7 марта 1922 года в Малом театре. Работник Моссовета Андреев в антракте распространял среди публики билеты лотереи, вырученные средства от которой предполагалось употребить на помощь голодающим. Подошел уполномоченный по распространению билетов и к Булгакову. Тот как раз что-то с аппетитом дожевывал и на распространителя нечаянных радостей внимания не обратил. Но тот был настойчив и от Валентина Федоровича отставать не собирался. Выбрасывать деньги на какие-то дурацкие билеты тому не хотелось, но показать себя жмотом поклоннику учения о любви к ближнему тоже было неудобно. И тогда Валентин Федорович, покрываясь от ушей до носа красными пятнами и заикаясь, выпалил в наглые глаза вымогателя из Моссовета: «Лотерея развращает как тех, кто ее устраивает, так и тех, для кого она устраивается, а потому я ее уподобляю спекулятивному предприятию и билеты приобретать отказываюсь!» (Эту яркую мысль секретарь, наверное, когда-то слышал от своего патрона, когда тот был в плохом настроении, и сейчас она пришла как нельзя кстати.)

Андреев исчез, а вскоре в газете, кажется, в «Известиях», появилась заметка, в которой отказ В. Ф. Булгакова от покупки лотерейного билета изображался



как антисоветчина. Валентин Федорович испугался и написал опровержение, в котором клялся в любви к трудящимся массам.

Вот что получается, когда умные мысли вместо хозяев начинают высказывать их секретари, а тем более бывшие.

Взгляды Л. Н. Толстого по-своему преломлялись в умах закоренелых уголовников. Один из них, например, так цитировал покойного графа: «Если тебя ударили по одной щеке — бей ножом».

Но вернемся к делам судебным. Были они разные. То жилтоварищество судилось с писателем Львом Никулиным, желая получить с него квартплату как с лица свободной профессии (а они платили больше рядовых трудящихся), писатель этому всячески сопротивлялся и суд его поддержал; то Московский драматический театр требовал, чтобы Алексей Николаевич Толстой вернул аванс, выплаченный ему за пьесу «Делец», от которой театр отказался; то суд признавал переводчиком «Тиля Уленшпигеля» Осипа Мандельштама, к которому переводчики Каряшин и Торнфельд предъявили иск, обвинив поэта в плагиате; то суд постановлял взыскивать по одному проценту от доходов за показ фильма «Броненосец Потемкин» в пользу его создателей Шутко-Агаджановой, написавшей первый сценарий, и Эйзенштейна, создавшего сценарий режиссерский; то взыскивал алименты с балетмейстера Касьяна Голейзовского в пользу сына, родившегося в Одессе; то расторгал брак Ф. И. Шаляпина с Иолой Игнатьевной Торнаги, оставшейся в России, и т. д. и т. п. Дел, в общем, хватало.

Заявление о разводе с Торнаги Шаляпин в октябре 1927 года прислал в Краснопресненский народный суд. В нем он обязался ежемесячно выплачивать своей бывшей жене по 300 долларов. Именно это обещание больше всего и потрясло как суд, так и общественность. Суд указал в определении, что на эти деньги можно содержать не одну Торнаги, а целый детский сад. Газета «Вечерняя Москва», у которой от зависти к шаляпинским доходам начались корчи, просто обвинила великого русского певца в преступлении. Она писала:

«Щедрость эта дает некоторое представление о материальном достатке Федора Ивановича и тем самым как нельзя лучше поясняет источники его недавних антисоветских проявлений (продался, мол, Шалапин. — Г. А.), вызвавших справедливое возмущение трудящихся нашей страны».

Рассматривая дела о нарушении авторских прав, суды неохотно шли на взыскание гонораров.

В 1930 году композиторы Николаевский, Минц, АLEXIN, Глиэр обратились в суд с иском к «Музтресту» о взыскании с него гонорара за выпущенные им грамофонные пластинки с записями сочиненной ими музыки, но Мособлсуд в иске отказал. Музыка должна принадлежать трудящимся.

Отказал суд в 1928 году и композитору Д. Покрассу, требовавшему от Малого театра уплаты гонорара за музыкальное оформление к спектаклю «Любовь Яровая». В третьем действии за сценой исполнялись отрывки из его романсов, а также из романсов Бакалейникова, песенка «Все, что было...», танго и пр. Покрасс настаивал на оплате своего труда. Отказывая в иске, Мосгубсуд указал на то, что музыкальное оформление, сделанное композитором, «представляет собой печальное заимствование в виде фона. Романсы Покрасса, ввиду их пошлости и полного несоответствия современной идеологии, запрещены репертуарным комитетом к публичному исполнению так же, как контрреволюционный гимн “Боже, царя храни”, который напевает пьяный белогвардеец-курьер».

Следует признать, что суд в данном случае вступил в полемику не с композитором, а с отрицательными персонажами пьесы. Эпоха, наверное, была такая, трудно было не увлечься. И напрасно защитники композитора ссылались на то, что Мусоргский использовал в «Борисе Годунове» собственное сочинение на библейскую тему «Поражение Сенахериба», а романс «Белой акации гроздь душистые», созданный на основе песни «За Русь святую», не меняя в нем ни одной ноты, удалось превратить в песню «За власть Советов», — ничего не помогло. Суд остался при своем мнении. А может быть, он был прав?

Судьи тоже были люди, и им было свойственно ошибаться. Решения по делу зависят и от состояния здоровья судьи, и от его настроения. И дело не в том, что судья может сорвать на подсудимом злость или излить на него плохое настроение. Нет, такие случаи, думаю, бывают крайне редко, а просто в силу тех или иных причин судья может что-то забыть, что-то просмотреть, что-то не учесть, а то и неправильного совета послушаться. Вот и ошибка.

По мере укрепления государственного аппарата и судебно-прокурорской системы, в частности, возрастала роль взаимного контроля судей и прокуроров за работой и жизнью друг друга. Они стали все больше обращать внимания на то, что купил их товарищ по работе, как он одет, что позволяет себе на обед, выпивает ли и т. д. Судьи понимают, что каждый нечестный судья, каждый взяточник бросает на них тень. Да и совместная работа, к примеру, когда дела во второй инстанции рассматриваются в составе трех судей, не позволяет последним проявлять безразличие к моральному облику своих товарищей. Один может брать взятки, а тень недоверия упадет на всех троих. А секретарь судебного заседания? Попадется аферистка и будет брать взятки «под судью». Вам, наверное, приходилось слышать о том, как кто-то передавал через секретаря судье взятку? А кто может сказать, дошли ли деньги до судьи или остались у секретаря? Ну и, наконец, адвокат. Наговорит клиенту о том, что надо судью «подмазать», и клиент, наслушавшись всяких разговоров о взяточничестве судей, передаст адвокату деньги. Идут в суд. Клиент остается в коридоре, а адвокат заходит в кабинет к судье (то же происходило и с прокурорами, и со следователями), очень любезно осведомляется, например, когда начнется слушание дела, или задает другой какой-нибудь малозначительный вопрос, потом выходит в коридор и с довольным видом сообщает клиенту о том, что деньги судье переданы. Разбираясь в судебной практике, адвокат может предвидеть выгодный для своего клиента результат и этим воспользоваться. А сколько тягостных минут, а то и часов доставляют судье знакомые, друзья, родствен-

ники, назойливо просящие, умоляющие, требующие выручить из беды какого-нибудь «ни в чем не повинного человека», попавшего «в ситуацию». Такое «интеллигентное бревно» из одноименного чеховского рассказа, не способное понять, почему судья не желает удовлетворить его просьбу, надолго может испортить служителю Фемиды настроение, и тому потребуется очень высокое сознание своего долга, своей чести для того, чтобы не поддаться на слезные уговоры. Хочется ему этого или нет, но судья должен безжалостно переступить через дружеские отношения, любовь, родственные связи и пр. Не каждый на это способен. Но в этом, наверное, состоит честь и достоинство судьи, прокурора, работника милиции.

С назидательной статьей по поводу морального облика советского судьи выступил в 1924 году в журнале «Пролетарский суд» судья Овчинкин. Он писал следующее: «Все люди, как люди, и все с недостатками: хочется и судье “переменить картинку” — почему бы не сходить в пивную и не распить бутылки три-четыре пива или на лавочке с приятелем, ведь ходят рабочие и крестьяне и пьют. Человек же, стоящий у власти, должен сильно над всем этим призадуматься. Что значит выпить пару пива в пивной, в компании? А вот что: побыл раз — захочется побывать и другой, завяжутся связи в пивной, да тут денег не хватит, а в пивной народу всякого много, дадут и займы, а даст-то тот, кто знает, что с тебя взять — вот почему нельзя ходить по пивным человеку, стоящему у власти. Станешь появляться в нетрезвом виде, кто бы ты ни был, потеряешь всякий авторитет среди масс. Следует ли вести легкие знакомства с женщинами? Не всегда это знакомство сходит с рук: ловкая женщина сумеет выпросить на чулки — дело пустое, — а потом на башмаки, а дальше на юбку, а пройдет немного времени, гляди и сам завернулся в юбку: весь измаран, забыл про семью, про детей. Возьми, к примеру, Краснощекова. Он был парень хороший. Перестал проверять себя и увлекся, в результате шесть лет тюрьмы — и навсегда ушел из нашей семьи». (Здесь Овчинкин ошибся: Краснощеков ушел из семьи советских

работников не навсегда, а только на год, как уже было сказано выше.)

Овчинкин во многом был прав. И большинство судей, как и прокуроров, и следователей, разделяли его взгляды, но все-таки нет-нет да с кем-нибудь из них происходил какой-нибудь казус.

Вечером 25 июля 1940 года один народный судья Куйбышевского района М. К. Орлов, член партии, имеющий низшее образование (с судьями в те годы такое случалось), вместе с народным заседателем Поповым и родственником Киселевым зашел в буфет речного вокзала «Потылиха», это там, где теперь киностудия «Мосфильм». Выпили, потом добавили еще. Хотели повторить, но администрация им этого не посоветовала — и так хороши. Попов и Киселев настаивать на отпуске спиртного не стали, а наш судья, что называется, «полез в бутылку». Стал орать, что он судья, что всех пересаждает, употребляя при этом самую грязную матерщину. Когда Моргунов, тоже посетитель буфета, попросил разбушевавшегося Михаила Кузьмича, так звали судью, выйти, тот набросился на него и, возможно, избил бы, если бы не заседатель с родственником. За нетактичное поведение в общественном месте получил М. К. Орлов два года лишения свободы.

Аналогичная история произошла в ночь на 15 апреля 1939 года с прокурором Александром Николаевичем Семеновым, членом ВКП(б), имевшим высшее образование. Он устроил скандал в ресторане «Метрополь». Кричал, что он прокурор, ударил по физиономии официанта, а когда милиционеры Савельев и Педаев предложили ему проследовать в 50-е отделение милиции, совсем вошел в раж и стал угрожать увольнением их с работы. Получил он за это год исправительных работ. Глупо выглядит чиновник, угрожающий применением самых решительных мер, когда он пьян и находится вдали от своего служебного положения, скажем, где-нибудь в пивной или в бане.

Бывали случаи, когда судьи, прокуроры, следователи, пьянствуя без отрыва от производства, теряли дела, вещественные доказательства и пр.

И. о. народного следователя (слово «следователь» зву-

чало как-то несовременно, и к нему, как и к «судье», приставили, в порядке поощрения, слово «народный») Бауманской райпрокуратуры Александр Ефимович Булычев, получая от начальства дела для расследования, их не открывал. Просто указывал в отчете, что они ушли в суд и все. Зато регулярно посещал пивные. Однажды в пивной на Каланчевской улице уборщица нашла уголовное дело, оставленное там рассеянным Александром Ефимовичем. Дошло до начальства. Пошло расследование. Оказалось, что Булычев и взятки брал, и сберегательную книжку из дела украл. А кончилась вся история пятью годами лишения свободы.

Обрушивались на головы работников суда и прокуратуры, помимо законных, и незаконные репрессии. Тема эта отдельная и большая. Приведу только несколько примеров.

Иван Потапович Сафонов, помощник секретаря Замоскворецкого народного суда, в апреле 1925 года был осужден на десять лет концлагеря «за участие в контрреволюционной организации, ставившей своей целью свержение Советской власти». В 1929 году он умер в Соловецком лагере. Реабилитирован за отсутствием каких бы то ни было доказательств. Но даже если и представить, что Сафонов и еще несколько таких же «революционеров» собирались и болтали о свержении режима, то заслуживала ли эта болтовня такого жестокого наказания?

Елена Евграфовна Трокинер, секретарь Дзержинского районного народного суда, была приговорена к трем годам лишения свободы в исправительно-трудовом лагере за то, что «распространяла клеветнический вымысел о руководстве ВКП(б), органах НКВД и о захвате в СССР власти лицами еврейской национальности».

Еще я хотел бы вспомнить о Григории Константиновиче Рогинском, заместителе генерального прокурора СССР. Его арестовали перед самой войной. Обвинили в связи с правотроцкистской организацией и вредительстве. Вредительство его состояло в том, что он давал необоснованные санкции на арест, не вел борьбу с фальсификацией уголовных дел. И это было правдой. Не понимать этого Рогинский не мог, но в суде заявил:

«Виновным себя не признаю». На вопрос судьи, почему он признавался на следствии, ответил: «Держался два года, не признавая антисоветской деятельности, но больше терпеть следственного режима не мог». Потом, запутавшись в собственных объяснениях, все-таки сказал: «Виновен я в том, в чем виновны все прокурорские работники, проглядевшие вражескую работу в органах НКВД, прокуратуры, суда. О нарушениях законности знало руководство Прокуратуры СССР, постановления Особого совещания подписывал сам генеральный прокурор Вышинский».

Нелегко было определить свое место в репрессивной машине заместителю генерального прокурора. Как начальник над подчиненными — проглядел, как подчиненный перед начальством — не мог послушаться. А что же на самом деле? Был здесь, конечно, и непреодолимый, панический страх перед властью, было и самовнушение, так помогающее творить зло во имя прекрасного будущего, было и стремление удержать свое высокое, обеспеченное и ответственное положение. Все это сплелось в судьбе человека и несло его по течению с надеждой, как всегда, на лучшее.

Если после революции сохранились слова «следователь», пусть даже «народный», «судья», «прокурор», то слова «адвокат» не стало. Слово «адвокат» новая власть не воспринимала. Говорили «защитник», «поверенный», «правозащитник» — только не «адвокат».

Высшая власть в стране, которую поначалу возглавлял бывший помощник присяжного поверенного и среди представителей которой было немало культурных и образованных людей, понимала, что цивилизованное государство, даже отмирающее, невозможно без института адвокатуры, но низы и даже средние слои общества не могли понять, как можно защищать преступников, а тем более контрреволюционеров. Доходило до смешного. Член коллегии защитников Ю. Рост был приговорен «к расстрелу без применения амнистии» за то, что в июле 1919 года получил от подзащитного Бардова 300 тысяч рублей и шантажировал судью Пресненского района Соболева» (так была расценена речь адвоката в защиту интересов своего клиента).

Другому «правозаступнику» повезло больше. Защищал он интересы сына генерала царской армии, в квартиру которого незаконно вселился рабочий и стал к тому же распродавать его мебель. Сначала все шло хорошо, захватчику грозило выселение. Но тот под конец выдвинул последний и самый неопровержимый аргумент: хозяин-то квартиры — сын царского генерала! В зале наступила тишина. Было слышно, как по спине председательствующего забегали мурашки. Он понял, что чуть не стал пособником классового врага. В иске тут же было отказано, а правозаступник, скрывший от суда самое главное, привлечен к уголовной ответственности. «За ведение с корыстной целью антипролетарского дела» адвоката приговорили к двум годам принудительных работ. Вскоре, правда, его от наказания освободили на основании амнистии.

Такие факты были, конечно, скорее исключением, чем правилом, а вообще-то в то время многие адвокаты выслались из Москвы просто как классово чуждые элементы. Например, Николай Александрович Кропоткин в 1927 году был вынужден из своей квартиры 2 дома 3 в Чистом переулке на три года уехать в Сибирь. Его обвинили в том, что он поддерживает связь с монархистами. Трудно в те годы было интеллигентному человеку не поддерживать связь с какими-нибудь нежелательными лицами, поскольку таковыми он был просто окружен, это были его родственники, друзья, знакомые. Перестать с ними здороваться, разговаривать, встречаться было просто противоестественно и аморально.

Адвокатов не жаловали и судьи. Тот же Мальцев в статье «Советское правосудие», опубликованной в газете «Последние новости», выходившей в Париже, описывает свои впечатления от судебной процедуры, имевшей место быть в одном из районных судов города Москвы. Вот что он писал: «...атмосфера судебного разбирательства носит угнетающий характер, смягчились только внешние приемы председателя и членов суда, позволяющих себе во время военного коммунизма резкие окрики, нестерпимые грубости по адресу представителей защиты, свидетелей и публики. Защитни-



кам на каждом шагу “дипломатично” дается понять, что их присутствие в зале суда допускается лишь для того, чтобы приходящие в суд представители рабочего класса могли убедиться воочию, каким “буржуазным пережитком” является защита, как мало влияют речи защитников на исход судебных процессов».

Увы! Ораторское искусство, которым в России когда-то гордились, которое не только служило обогащению русского языка и отгачиванию мысли, но и установлению истины, пришло в упадок. Оно, при отсутствии принципа состязательности в процессе, стало ненужным. От нехватки слов тупела мысль, от отупения мысли скудело слово. Явление это, надо сказать, удручало не всех.

В романе И. Эренбурга «Рвач», о котором упоминалось выше, судебная процедура начала двадцатых годов изображается следующим образом: «Мы часто присутствовали на судебных разбирательствах наших губсудов или нарсудов и можем, не колеблясь, сказать, что прямою, честной оголенностью как заданий, так и форм, подвижностью суждений и приговоров, не связанных традициями, они выгодно выделяются среди европейских судилищ, которые к первичной охоте на красного зверя присовокупили красноречие захудалого парламента, парад ярмарочного балагана. Да, у нас судят, а не щеголяют перед дамочками речами, пышными, как балахоны адвокатов, судят всерьез, то с лупой часовщика, то выстукивают, подобно врачу. В этих кропотливых рабочих разборках более, чем где-либо, сказывается природа власти, заботливая суровость государства, ничем не прикрытая...» Что ж, наверное, и такой взгляд на судебные процессы тех лет имеет право на жизнь. Стыдно, наверное, было тратить силы на красноречие перед бедными, голодными людьми.

В газете «Вечерняя Москва» в то время как раз шло обсуждение адвокатуры. Было это в 1924 году.

В одной из опубликованных в ней статей (автор А. Долинский) описывались типы адвокатов. Например, такой: «...Вкус его воспитан на речах Плевако. Ораторские упражнения почерпывает он из Бобринцева-Пушкина. Жесты — с фотографий Лабири, костюм от мод-

ного портного чеха на Петровке», или такой: «...Костюм приличный, но скромный. В петличке значок МОПРа или друзей воздушного флота. Разговор деловой. Знает постановления партийного съезда. Он может в своей речи ввернуть что-нибудь вроде: “У Карла Маркса в ‘Классовой борьбе во Франции’ сказано” или: “Вот что сказал по этому поводу Ильич в речи на съезде водников”. Швейцар в суде знает его по имени-отчеству».

Адвокаты в Москве были, конечно, разные. Были и интеллигенты старой школы, и наглые прохвосты, приехавшие в столицу с мечтой об обогащении, и адвокаты новой волны, чья натура и страсть к эффектной деятельности не позволяли просиживать брюки в тесных советских учреждениях.

В ходе дискуссий об адвокатуре возникали, в частности, споры по поводу того, что может и чего не может говорить адвокат в судебном процессе. Например, совершенно недопустимой была признана фраза одного адвоката, который в пылу судебной полемики ляпнул: «Пусть республика сначала обеспечит трудящихся, а потом сажает на скамью подсудимых».

Долго и малопродуктивно спорили юристы о том, может ли адвокат защищать нэпмана-предпринимателя в трудовом споре с рабочим.

В январе 1924 года в Москве образовалась группа «революционных адвокатов». Возглавлял ее С. Б. Членов. Группа требовала «орабочения адвокатской корпорации». В ее манифесте были такие слова: «Для нас завоевания Октябрьской революции дороже судебных уставов 1861 года. Адвокат хотя бы с двумя годами революционно-судебного стажа в классовом рабоче-крестьянском суде для нас дороже адвокатов с двадцатью пятью годами работы в старой адвокатуре». Как на основополагающие в «революционной адвокатуре» принципы группа указала на следующее: борьба за влияние на адвокатскую массу в целях пролетаризации ее психологии, защита духа советской конституции, строго классовый подход к процессам. И уже на закуску, отдавая дань красноречию, провозгласила: «Знамя советского адвоката должно взвиваться выше и держаться крепче знамени дореволюционного адво-

ката». И все-таки, несмотря на всю революционность, отношения у адвокатов с судьями и прокурорами строились по типу отношений между собаками и кошками. В отчете президиума Московской коллегии защитников за 1923 год сообщалось о фактах столкновений служителей Фемиды.

Один судья в процессе по гражданскому делу, возможно, желая уменьшить пыл адвоката, заявил ему, что дело его подзащитного безнадежное. Адвокат позеленел и потребовал занести эти слова судьи в протокол судебного заседания. Тогда судья, покраснев, как обложка партбилета, удалил защитника из зала, как ученика из класса за плохое поведение. Лучше бы уж в угол поставил.

Как-то, уйдя в совещательную комнату для вынесения приговора, один из народных заседателей, разгоряченный речью защитника, вернулся в зал, подошел к последнему и сказал: «Ваша речь по делу носила агитационный характер, а агитация нам за пять лет надоела». На этом не кончилось. Заседатель еще несколько раз порывался подойти к защитнику и затеять дискуссию. Наконец его товарищи не стерпели, затащили его в совещательную комнату, откуда уже не выпускали.

В октябре 1922 года произошла такая история. Слушание дела подходило к концу. Шли прения. Судья нервничал. Надо было слушать следующее дело. Народ ждал. Подсудимого привели, а прокурор все говорит и говорит. Есть хочется, а он о революции, о международном капитале. Судья терпел, потом, когда прокурор заговорил о деле, стал его тихо спрашивать: «Вы кончили?» — но тот продолжал. Наконец, уловив недобрый взгляд судьи, изрек: «Я кончил» — и сел. Когда свою речь начал защитник, председательствующий ненавязчиво кинул ему: «Пожалуйста, поскорее и только не касайтесь существа». Адвокат, стесненный присутствием клиента, от которого зависела сумма гонорара и немалая, не придавал значения словам судьи и стал говорить как раз о существе дела. У судьи заныла печень. В знак протеста он отвернулся к народному заседателю и стал о чем-то с ним говорить. Тогда адвокат прервал свое выступление, а на слова председательствующего

щего: «Продолжайте свои объяснения», прозвучавшие с затаенной злобой, изрек: «Может быть, я вам мешаю разговаривать?» Суд дослушал адвоката, вынес решение, а потом накатал в президиум Московской губернской коллегии защитников письмо, в котором требовал наказать защитника за то, что тот хотел скомпрометировать суд. В президиуме с судьей не согласились и защитника не наказали.

Зато когда защитник попадал к судьям, то уйти от ответственности ему было нелегко. В 1935 году Московский городской суд приговорил к пяти годам лишения свободы с конфискацией имущества адвоката Наума Григорьевича Вольфа за то, что он, помимо гонорара, получал с клиентов денежные суммы и налогов с них не платил. Денежные вознаграждения, которые адвокаты получали сверх установленной таксы, назывались «микстами».

Не оставляли без внимания блюстители морали и частную жизнь адвокатов. Когда в 1922 году один адвокат послал знакомому свою визитную карточку с просьбой прислать к нему клиентов, его обвинили в саморекламе и «поставили на вид». Впрочем, вида никакого не было. Адвокат продолжал искать клиентов — жить-то на что-то надо.

А вот адвокат по фамилии Кобро в феврале 1922 года заработал «предупреждение» за посещение казино. Основанием к преследованию послужил рапорт агента уголовного розыска, заметившего Кобро в игорном заведении. Адвокат играл там в карты. По мнению уголовного розыска, посещение игорных домов совершенно недопустимо для члена коллегии защитников. Президиум Мосгубколлегии защитников с этим мнением согласился и записал в своем решении: «Основанная на низменных инстинктах человеческой природы, имеющая целью недопустимое обогащение, не обусловленное ни трудом, ни искусством, сама по себе азартная игра является общественным злом. Основной признак ее — азарт, то есть такая страсть, которая нарушает душевное равновесие игрока, овладевает им, понижая в нем чувство долга и ответственности за свои поступки. Посещение игорных домов налагает известное клеймо

на человека и лишает его доверия». Суд был, я думаю, прав. Что бы ни говорили прогрессивно мыслящие и не страдающие комплексами сограждане, но тот, кто спешит к богатству, не останется честен. Так, по крайней мере, говорят французы.

Адвокаты, конечно, люди свободной профессии, и им дозволено многое. Совсем другое дело судьи, прокуроры, следователи. Здесь строгость необходима. Она гарантирует не только уважение к людям этой профессии, но и обеспечивает нормальную работу государства.

Книжка  
название  
автор  
издательство  
год издания  
место издания

## КАЗЕННЫЙ ДОМ

*Казнить или помиловать? — Тюрьмы, исправдома и допры. — «Праздношатательство». — Соломон Бройде «В советской тюрьме». — Амнистии и «разгрузки». — «Камерный театр». — Игры и забавы. — Конвоиры и надзиратели. — Московские тюрьмы*

Советский Союз был великой тюремной державой. Причин тому много, и одна из них — традиция.

В России тюрьмы официально существуют с 1550 года, когда правил Иван Грозный. Практиковалось до этого, конечно, заточение в монастыре, но оно не было в полном смысле наказанием за уголовное преступление. Монастырскому заточению могло быть подвергнуто просто неудобное царю лицо. Как вид наказания тюремное заключение быстро приобретало популярность. Согласно Уложению 1648 года оно уже назначалось в сорока случаях. Было оно срочное и бессрочное. Одиночное и неодиночное. По закону от 15 июля 1887 года одиночное заключение не должно было превышать полутора лет. При этом в первый год три дня заключения засчитывались за четыре, а затем два дня засчитывались за три. Как наказание тюрьма назначалась на срок от двух месяцев до двух лет. Бессрочными могли быть только каторжные работы. Существовали еще исправительные арестантские отделения. В них помещали трудоспособных мужчин сначала на срок до шести лет, потом до четырех. Пока в местах заключения существовали телесные наказания, исправительный дом привилегированным лицам заменялся ссылкой в Сибирь.

Непривилегированные люди, содержащиеся в заключении, за совершенные проступки могли быть подвергнуты следующим наказаниям: выговору, аресту, лишению горячей пищи, наказанию розгами, бритью половины головы и, наконец, «закованию» в кандалы.

Много дикостей и жестокостей знали царская тюрьма и каторга. О них немало написано. И существовали эти дикости, когда в России уже сформировалась интеллигенция, культурное общество. Интеллигенция, как во многом и простой народ, видела в арестанте мученика. Христос ведь тоже был арестантом. Причем арестантом он был на деле, а царем на словах. Этот евангельский взгляд на арестанта дополнялся мечтами русской интеллигенции об уважении человеческой личности, стремлением к преобразованиям, навеянными гуманистами Запада, и т. д. Но в то же время преступников культурные люди боялись. Идеи идеями, а страх перед зверем, даже в человеческом обличье, человеку передан еще предками и преодолеть его ему не дано.

После революции места заключения уцелели, уцелело даже деление их на тюрьмы и исправительные дома. Системы ГУЛАГа еще не было создано, и осужденные в основном направлялись для отбытия наказания в исправительные дома. Существовали, правда, концентрационные лагеря, в которых содержались по большей части классово чуждые и социально вредные элементы.

Две революции — буржуазная и пролетарская — здорово потрепали тюрьмы, но совсем их не снесли. Наверное, руководители государства учли печальный опыт Бастилии. В конце концов, зачем тюрьму сносить? В крайнем случае можно переоборудовать в гостиницу или общежитие. Не так уж много в Москве таких крепких зданий, как Бутырская или Лефортовская тюрьмы, да и врагов у новой власти было немало. В конце тридцатых годов, когда жительница Москвы Валентина Михайловна Пеняева-Семенова во всеуслышание заявила: «Руководство советской власти в свое время обещало сравнять с землей тюрьмы и церкви, а вышло не так: церкви уничтожили, а тюрем еще больше понастроили», власти сочли это высказывание антисоветской клеветой и репрессировали ее.

Валентина Михайловна, конечно, преувеличивала. И церкви не все снесли, и тюрем много не настроили, больше использовали старые. Приспособили под тюрьмы и монастыри. Да, тюремные здания уцелели, но не существующий в них режим. Не может хорошо быть в тюрьме, когда в стране плохо: беспорядок, отсутствие твердой власти, разруха. Тюрьма — ячейка нашего общества. Для кого-то она мимолетная связь, для кого-то любовь пожизненная. Одни предпочитают ей смерть, другие хотят укрыться за ее стенами от превратностей жизни. Но что бы там ни было, для нормального человека она всегда страшна и отвратительна, во-первых, позором и, во-вторых, тем, что лишает его возможности выбора, свободы совершения простейших поступков. Нельзя, например, встать и выйти на улицу, когда захочется. Хотя, что может быть проще?

Когда в январе 1918 года комиссар по арестным домам Москвы Б. Тимофеев выяснял у тюремных чиновников, почему их учреждения находятся в таком плачевном состоянии, то они в один голос (это были слуги царского режима) утверждали, что разруха в тюрьмах началась только с октября 1917 года. Комиссар этому не поверил. Он счел, что все разрушения «были и раньше, но, возможно, в несколько меньшем масштабе». «Разрушения», нашедшие отражения в «Докладной записке об арестных домах г. Москвы», выглядели следующим образом: «Комиссариаты, совершая обходы и облавы, забивают арестные дома людьми лишь по подозрению в личности. Не устанавливая личность обычным путем, они предпочитают держать в арестном доме до той поры, пока не представится возможность на свободе разобраться, кто и за что задержан. В таком ожидании проходят иногда многие недели. Забыто разделение арестованных на взрослых и несовершеннолетних. Не будем говорить о слухах об избиениях и расстрелах в арестных домах, установить их до сих пор путем ревизии не удалось, да и едва ли удастся. Но, принимая во внимание общий культурный уровень команды, состоящей на восемьдесят процентов из старых городских, можно с большой вероятностью поверить этим слухам: случаи симуляции побе-



гов и пристреливания бегущих, к сожалению, известны всем... Камеры содержатся крайне грязно... В камере для пьяных весь пол сплошь покрыт лужей разложившейся мочи, испускающей зловоние... В камерах нет ни матрацев, ни подушек. В баню арестованных не водят никогда, белья не полагается, люди месяцами сидят на драных лохмотьях, кишат паразитами... Пища для арестованных, как общее правило, заставляет желать не только лучшего, а хотя бы сколько-нибудь сносного. В некоторых арестных домах готовят горячее без мяса и рыбы, а в качестве единственного питательного вещества идет в горячее жаренный в растительном масле лук. Такая похлебка выдается дважды в день и фунт черного хлеба... Многие арестанты, имеющие у себя некоторые ценные вещи, продают их служителям за бесценок, чтобы те купили им еду...»

Но и похлебка из жареного лука подавалась не всегда. Бывало, что арестанты ничего, кроме соли и кипятка, не получали.

Постепенно жизнь в местах заключения немного наладится. В Москве будут действовать городской исправдом в Кривом переулке в Зарядье, Сретенский исправдом в 3-м Колобовском переулке. В Малом Трехсвятительском переулке, у Хитровской площади, существовал Мясницкий дом заключения. Женский исправдом был создан в Новоспасском монастыре (о жизни в нем рассказала в своих воспоминаниях дочь Л. Н. Толстого, Александра Львовна). Над входом в этот исправдом были начертаны слова: «Преступление искупается трудом». Первый (показательный) женский исправдом в Москве находился в Малом Новинском переулке. Теперь ни тюрьмы, ни переулка нет. На их месте Новоарбатский проспект. Экспериментально-пенитенциарное отделение Института по изучению преступности и преступника содержало своих подопечных на Солянке, в помещении Ивановского монастыря, в котором когда-то была заточена известная садистка и убийца Салтычиха. Трудовой дом для несовершеннолетних нарушителей находился в Сиротском переулке, на Шаболовке. Существовали, конечно, Бутырская тюрьма, Лефортовский изолятор специального назна-

чения (он построен в форме буквы «К» — Катрин, в честь Екатерины II). Когда-то это была военная тюрьма. В семидесятых годах XIX века в ней был возведен корпус на двести пять одиночных камер. Сокольнический исправдом обретался на улице Матросская Тишина. В нем был корпус, построенный еще в XVIII веке. Таганский дом предварительного заключения находился на углу улицы Малые Каменщики и Новоспасского переулка. Эта тюрьма имела специальный корпус на четырехста шесть одиночных камер и представляла собой довольно мрачное пятиэтажное здание. Существовали в Москве тогда Краснопресненская пересыльная тюрьма, а также некоторые другие учреждения, например, такое как «Криминологическая клиника». Здесь изучали преступников. Клиника находилась в Столовом переулке, в помещении бывшего полицейского арестного дома. Тогда камеры в нем были одиночные, теперь в них находилось по четыре преступника. Днем они работали — клеили пакеты, а в свободное время шлялись по камерам, которые не запирались.

Следует добавить, что такие учреждения, как Таганская, Лефортовская тюрьмы, Мясницкий дом заключения, в двадцатые годы имели сельскохозяйственные отделения: «Лобаново», «Авдотье-Тихвинская колония» и пр.

Для государства тюрьма — не роскошь. Она позволяет ему проявить гуманизм там, где во времена неизвестности и борьбы не на жизнь, а на смерть царствует казнь. Если просмотреть решения органов ВЧК в 1918 году, то в них не увидишь наказаний в виде лишения свободы. Общественное порицание и расстрел — в зависимости от классового происхождения. Было не до тюремных сроков, когда даже лозунги бредили ожиданием конца: «Все на свои места: мировой хищник подступает к твердыням нашего социалистического отечества», «Наступает решительный час: будьте готовы умереть за торжество мировой революции». Чекисты понимали, что их ждет в случае поражения. Отступить было некуда.

К. Радек, публицист и революционер, приводит слова Дзержинского, которые раскрывают взгляд на ЧК

не как на орган правосудия, а как на военную организацию, перенесшую военные методы борьбы в гражданское общество. Вот что, по свидетельству Радека, говорил Дзержинский: «ЧК — не суд. ЧК — защита революции, как Красная армия, и как Красная армия в гражданской войне не может считаться с тем, принесет ли она ущерб частным лицам, а должна заботиться только об одном — о победе революции над буржуазией, так и ЧК должна защищать революцию и побеждать врага, даже если меч ее при этом падет случайно на головы невинных».

Нужно совесть поставить в определенные рамки, и тогда она не будет мучить. Иван Карамазов зря причитал по поводу того, что Бога нет и все дозволено. Дело не в Боге, а в человеке. Жестокому и Бог не помеха. Он и его именем будет творить зло.

Конечно, смертную казнь придумали не в 1917 году. Она стара как мир. Но в России с этого года перестала существовать одна из двух неперменных фигур ритуала казни — фигура священника. Казнимый остался один на один с палачом. Чарлз Диккенс в своих «Картинках с натуры» описывает Ньюгетскую тюрьму, в которой содержались и приговоренные к казни через повешение. Его потрясло тогда, что в тюремной церкви на специальную скамью смертников в последнее воскресенье перед казнью сажали обреченного на смерть и проносили над ним, как над покойником, «отходную», а рядом, еще не так давно, на скамье стоял предназначенный для него гроб.

Другой великий англичанин Оскар Уайльд в «Балладе Редингской тюрьмы» сообщает о том, что тела казненных заливали известью и закапывали в поле, после чего в этом месте три года было запрещено что-либо сеять. В балладе есть такие строки (в переводе В. Брюсова):

И пламя извести все гложет  
Там тело мертвеца:  
Ночами жадно гложет кости,  
Днем гложет плоть лица,  
Поочередно плоть и кости,  
Но сердце — без конца!  
Три долгих года там не сеют  
И не сажают там...

Но литература литературой, а жизнь жизнью, да к тому же большинство тех, кто решал вопрос казнить или миловать, не читали ни Диккенса, ни Уайльда. В России ни верхи общества, ни низы его не очень-то ценили человеческую жизнь. Не случайно, наверное, Виктор Гюго еще в 1829 году, когда во Франции была отменена смертная казнь, разразился таким пассажем: «Мы надеемся, что мерзкая машина (гильотина) уберется из Франции. Пусть ищет пристанища у каких-нибудь варваров, не в Турции, нет, турки приобщаются к цивилизации, и не у дикарей, те не пожелают ее, пусть спустится еще ниже с лестницы цивилизации, пусть отправится в Испанию или в Россию».

Как говорится: премного благодарны! Но что поделаешь?! Из тоскливой российской песни этого короткого и страшного слова не выкинешь. Согласно Уложению 1649 года, в России помимо повешения применялись колесование, четвертование, сажание на кол, сожжение на костре, заливание горла расплавленным металлом, закапывание живого в землю. Казнь обставлялась торжественно и собирала большое количество зрителей. Палачи, набираемые в основном из преступников, были популярными личностями. Московские мальчишки подражали им и играли в казнь.

Но ничто не вечно под луной. Ушли в прошлое времена Ивана Грозного, Бориса Годунова. У смертной казни в России стали появляться противники. Главным же аргументом сторонников смертной казни была жестокость преступников. Ведь не случайно преступники так не любят садистов, маньяков, одним словом, тех, на чьем примере всегда легко доказать необходимость применения смертной казни и, вообще, суровых мер воздействия. Эти люди навлекают на преступный мир особый гнев общества и, как результат, применение жестоких наказаний.

Бывает, правда, что жестокость становится аргументом в политической борьбе, как это было после революции.

В ответ на слабые возражения против излишней жестокости ЧК, раздающиеся из своего же, большевистского лагеря, в октябре 1918 года чекист Петерс писал:

«Пусть не плачет наша мягкотелая публика над одним или другим эксцессом при проведении в жизнь настоящей диктатуры пролетариата. Буржуазия мало придушена, она ждет своих союзников... На фронте не хватает лошадей, а буржуазные дамы катаются на лихачах. Кавалерия идет в бой без седел, а их продают по сказочным ценам. На фронте не хватает автомобилей, а под флагами иностранных консулов скрывается 200 наилучших автомобилей...» Наверное, здесь все-таки суровость и решительность мер путались с жестокостью.

Чекиста Ивана Жукова возмутила статья М. Ольминского в «Правде» за 8 октября «О Чрезвычайных Комиссиях», и вот что он писал в редакцию «Еженедельника ЧК»: «Когда Чрезвычайная Комиссия начала ловить и истреблять пачками всех хулиганов и бандитов, воров и грабителей, контрреволюционеров, спекулянтов, взяточников и т. п., в это самое время наш милый товарищ Ольминский кричит: “Позвольте, разве так можно! Нужно обязательно нормы выработать!” (Ольминский, кстати, говорил: “Можно быть разных мнений о терроре, но то, что сейчас творится, это не террор, а сплошная уголовщина.”) Товарищ Ольминский, если очень Вам желательно все делать по норме, то будьте добры, сядьте и вырабатывайте Ваши милые нормы, преподнесите их на тарелочке готовенькими. В это время, пока Вы займетесь выработкой норм, бандиты, контрреволюционеры и т. п. свора возьмет Вас голыми руками за горло без всякой нормы и будет Вас и нас душить, пока всех не передушит... Когда наши тов. интеллигенты кричат о нормах, то невольно навязывается мысль — вот так “коммунисты”! Кажется, что это писали бывшие милые товарищи Авиловы, Мартовы, Сухановы и их братья. Нужно сказать прямо и открыто языком рабочего, что интеллигентам нечего стало делать, все переговорили и все переписали, не с кем стало вести полемику...» (Еженедельник ЧК. 1918. № 3).

Написано от души. Наверное, и своя доля истины имеется. Человеку присущи обычно две реакции на случившееся: эмоциональная и, так сказать, «по раз-

мышлении зрелом». У многих эмоциональная остается единственной. Она может быть правильной или нет, но когда она выражается в коротких восклицаниях: «уничтожать!», «расстреливать!», «вешать!» — то не грех заставить себя в этот момент спокойно поразмышлять и постараться посмотреть на случившееся со стороны и, может быть, даже из будущего. Сейчас об этом, наверное, легко говорить, а тогда, когда окружающие тебя так не думали и ты со своими обдумываниями волей-неволей мог показаться им контрреволюционером, лучше было не заниматься философией, а действовать в рамках «революционной совести». Заставить думать всех в роковые минуты истории задача непосильная живущим на земле.

Кто сейчас может сказать, заслуживали ли расстрела все шестьсот человек, поставленные к стенке по решению Ревтрибунала с 22 мая по 22 июня 1920 года? «Известия» сообщали, что шестеро из них были расстреляны за шпионаж, тридцать восемь — за измену и переход на сторону врага, пятнадцать — за невыполнение боевого приказа, сорок пять — за восстание и сопротивление воинским частям, двести семьдесят пять — за дезертирство и саморанение, девяносто девять — за бандитизм и мародерство, тринадцать было расстреляно за буйство и пьянство, остальные за различные уголовные преступления. Конечно, преступление преступлению рознь. За шпионаж, например, иногда привлекались те, кто просто переходил границу в поисках куска хлеба или с целью перепродажи какого-нибудь барахла, чтобы прокормиться. Вот пример: в Москве жило семейство Левшиных, тульских помещиков. Было у них имение и на Кавказе. Управляющим домами Левшиных в Москве был Мазанов, а имением на Кавказе — Франке. Последний вместе с Жуковым, возившим за плату на Кавказ почту, в начале июля 1918 года повез туда деньги Левшиным, находившимся в своем имении с августа 1917 года. По дороге к ним еще пристала Воронова — она отправилась на Украину за мукой. Ехать одной ей было страшно. Отъехали они недалеко. Вскоре их задержали чекисты. Обнаружили крупные суммы денег и заподозрили в

шпионаже, а может быть, решили просто деньги изъять, сказать теперь трудно. Началось следствие. ВЧК выдала чекисту Фридману, проводившему расследование, «ордер». Выглядел он так: «ОРДЕР годен на одни сутки. Поручается товарищу Фридману произвести обыск, выемку документов и книг, наложение запрета и ареста на товары гр. гр. Вороновой и Мазанова. В зависимости от обыска задержать граждан... Вороновой и Мазанова. Реквизировать или конфисковать его товары и оружие.

Председатель комиссии Ф. Э. Дзержинский

(подпись)

июля 26 дня секретарь».

Обвинение в шпионаже вскоре отпало. В заключении по результатам расследования следователь написал: «Выше обозначенные граждане, обвиняемые в шпионаже, безусловно, никакого отношения к шпионажу не могут иметь потому, что все означенные граждане мало знакомы с политикой и никто из них в политических вопросах не разбирается, а потому их в этом отношении можно оправдать... За провоз денег на Кавказ я и предлагаю оштрафовать обоих граждан конфискацией всех отобранных денег, но другой вины за Франке и Мазановым не вижу. Воронова женщина служащая, и я не могу предположить, чтобы она могла быть причастна к шпионажу, что подтверждает то, что она ничего не знала, куда едет Жуков, с какими целями, и сама она в политических вопросах ничуть не разбирается. Ехала Воронова за мукой, в чем шпионажа не вижу». 16 сентября 1918 года Московский окружной суд освободил «под поручительство в сумме одной тысячи рублей» Жукова, Франке и Мазанова. Была освобождена и Воронова.

Помимо шпионажа были и другие тяжкие преступления. В частности, существовало понятие «технической контрреволюции». Выразалась она в повреждении механизмов, хищении бумаг из учреждений, шифров и т. д.

Смертная казнь в то время грозила, как правило, агентам охраны и царским тюремщикам, замеченным в жестоком обращении с заключенными. В мае 1926

года был расстрелян по решению коллегии ОГПУ Александр Николаевич Даль, помощник начальника Зерентуйской каторжной тюрьмы («Нерчинская каторга») за жестокое обращение с каторжниками. И в царских тюрьмах камеры были забиты выше нормы, случались самоубийства и избиения заключенных охранниками. Это не забывалось.

Но хватит о грустном. Случались ведь преступления поменьше, а то и совсем малюсенькие. Посадить в тюрьму, например, могли, обвинив «в уголовном прошлом», как это случилось в 1922 году с Н. В. Васильевым, задержанным на Сухаревке. При «старом режиме» он был судим за кражи в 1894, 1895, 1898, 1903, 1905, 1911 и 1915 годах. В 1919 году его поместили в концентрационный лагерь. В 1922 году задерживали за пьянство и игру в карты. Следователем в отношении него сделано следующее заключение: «Учитывая, что Васильев имеет восемь судимостей и четыре привода, без определенных занятий и места жительства, и является социально опасным для трудящихся, а посему полагал бы: Васильева изолировать от общества». Из этого следует сделать вывод, что судимости за уголовные преступления, приобретенные до революции, своего значения не утратили. Не утратили отрицательного к себе отношения бродяжничество и проституция. Первое даже приобрело новое название: «праздношатательство», его мы заимствовали у древних римлян. Там праздношатающихся называли «ардальонами». Таких ардальонов в Москве было немало, и это естественно: в деревне жилось плохо, в городе не было работы. Люди искали возможность прокормиться и попадали в тюрьму.

Какой же была эта тюрьма послереволюционных лет в Москве?

Копаясь в каталоге Российской государственной библиотеки, я случайно наткнулся на книги С. О. Бройде «В советской тюрьме», «В сумасшедшем доме», «Фабрика человеков» и др.

Если верить Бройде, обвиненному впоследствии в плагиате и использовании чужих литературных трудов, он в 1920 году, как меньшевик, был арестован и шестнадцать месяцев провел в московских тюрьмах и



Институте судебной психиатрии имени профессора В. П. Сербского. Арест, надо сказать, не прошел для него даром, Бройде потянуло в литературу, и он оставил редкие для такого жанра оптимистические воспоминания о пребывании в советской тюрьме тех лет. Его книги о московских местах заключения стали популярными. В свое время их издавали отдельными тиражами, печатали в газетах, журналах.

Обратимся к книге «В советской тюрьме». В ней автор описывает, как попал в Бутырскую тюрьму «с корабля Чеки», то есть с Лубянки. Тюрьма произвела на него солидное впечатление. Прежде всего — четыре массивные башни: Полицейская, Пугачевская (в ней когда-то содержался Емельян Пугачев), Часовая и Северная. Первые две являлись карантинными. В них арестанты высиживали первые две недели после ареста, чтобы не занести какую-нибудь заразу в тюрьму. Северная башня была тогда необитаемой, а в Часовой содержались анархисты. Во дворе, посередине красного тюремного четырехугольника, стояла белая церковь. На первом этаже тюрьмы находилась кухня, а над ней так называемая «прачечная». Здесь содержалось до ста женщин. В тюрьме имелась больница. Ее называли «околоток». Инфекционных больных обслуживали анархисты. Камеры в «околотке» не закрывались ни днем, ни ночью. Вообще в то время в Бутырской тюрьме содержались большей частью политические, а также те, кто совершил преступления по должности. Среди политических было немало коммунистов, не согласных с курсом, проводимым их партией. Камеры, в которых сидели коммунисты, находились в тринадцатом коридоре, и поэтому этот коридор называли «коммунистическим». Бывало, коммунисты пели все хором «Мы жертвою пали», «Интернационал» или «Смело, товарищи, в ногу», а в другой раз можно было увидеть, как полковник царского Генерального штаба делал в «коммунистическом» коридоре военные обзоры войны с Польшей. В тюрьме находилось немало культурных, грамотных людей: ученых, артистов, литераторов. Тюрьма становилась университетом не только жизни. Неграмотные могли слушать лекции

ученых, а ученые — выполнять грязную работу. Бройде видел, как товарищ министра народного просвещения царского времени чистил уборную и выносил ведра с мусором. В 1922 году здесь же сидел Прохоров, отец которого был хозяином текстильной фабрики («прохоровской мануфактуры»). Он сошел с ума и умер в психиатрической больнице. Об этом пишет в своей книжке Сайд Курейша (о нем будет сказано ниже). Курейша сообщает также, что второго брата Прохорова он встретил на Соловках.

В Бутырской тюрьме находилось более ста поляков. Им отвели отдельный коридор. Они вывесили в нем свой герб, открыли театр, в котором ставили пьесы на польском языке. Короче говоря, создали свой обособленный мир со своим языком, обычаями и порядками. Других обитателей тюрьмы это возмутило, они устроили скандал, стали поляков бить. В результате польской тюремной республике пришел конец.

Рядом с «коммунистическим» тринадцатым был четырнадцатый коридор. В нем сидело немало евреев. При наступлении какого-нибудь религиозного праздника одна из камер превращалась в синагогу. «Надо было видеть, — писал Бройде, — тот азарт, то надрывное рыдание, которое возносилось в молитвах евреями. “Ссудный день” в тюрьме для верующих евреев превращался в обращение к Богу о пощаде. В этот “скорбный” по ритуалу день Богом решались судьбы людей, то есть от него исходили в Чеку приказы об ордерах на свободу. Это могло показаться смешным, но как часто слышал я именно такую примитивно построенную молитву. В “еврейской” камере десятков-другой молящихся составлялся из малокультурных ортодоксальных евреев. Над ними зло, открыто издевались евреи-интеллигенты. За это их бесцеремонно на время молитвы выталкивали из временной синагоги.

Православным священникам из заключенных давали возможность устраивать служение в тюрьме, в коридорах. Служили они и всенощные».

В тюрьме существовал театр. Бройде стал его главным режиссером. Поставил «Дни нашей жизни» Лео-

нида Андреева. В спектакле принимали участие и мужчины, и женщины. Арестанты были благодарными зрителями. Люди тянулись к искусству.

В книге «Фабрика человекoв» (так именуется тюрьма), написанной не Бройде, а, согласно «Словарию псевдонимов», Игорем Силенкиным, автор отбывал наказание в Таганской тюрьме и руководил там самодеятельным театром. Спектакли ставились в тюремном клубе, под который была отдана церковь, расположенная рядом с тюрьмой в Малых Каменщиках. Зрительный зал был рассчитан на триста человек. Помимо двадцати мужчин в нем играли женщины — соучастницы бандитов, хозяйки квартир («хаз»), проститутки. В тюремном клубе шли спектакли и концерты, поставленные не только силами самодеятельности, но также профессионалами московских театров: Малой оперы («Кармен»), Еврейского, Украинского. Выступали в нем Шаляпин, Москвин и другие прославленные артисты.

И вообще, демократические порядки в советских тюрьмах двадцатых годов были гордостью работников МВД. В разговорах с журналистами они непременно отмечали, что в них не бреют голов, нет колпаков и серых халатов с бубновыми тузами, нет карцеров и лишения горячей пищи, что в них предоставляют отпуск заключенным, вставшим на путь исправления, и т. д.

Вернемся теперь из Таганки в Бутырку. Соломон Оскарович описывает концерты «на карантине», которые давали вновь поступившие заключенные, имеющие вокальные способности. Особенно шумным успехом пользовались профессиональные певцы, которых превратности судьбы заносили в тюремные стены. Певцы становились на подоконник карантинной башни, просовывали голову сквозь решетку и пели. Окна камер, выходящих во двор, облепляли заключенные. Они тихо слушали и громко аплодировали, чем радовали артистов, не все из которых были избалованы таким успехом, какой им дарила тюрьма.

Помимо самодеятельного драматического театра, пения среди заключенных, прежде всего, конечно, уголовных, процветала чечетка. Каждый уважающий себя налетчик умел ее отбивать. Наряду с татуировкой она

была непременным его атрибутом. В тюремных камерах можно было слышать, как блатные разучивают перенятые ими друг у друга новые коленца модного танца. Если любовь к чечетке была присуща по большей части преступникам, так сказать, активного действия: налетчикам, хулиганам, то преступникам, использующим в своей деятельности интеллект, — мошенникам, аферистам — были ближе куплеты, рассказы, байки. Активной творческой жизни в тюрьмах способствовало то, что по распоряжению В. И. Ленина от 30 июня 1920 года проведение культурно-массовой работы в тюрьмах было поручено Наркомату просвещения, а нравы в этом наркомате были мягче, чем нравы в Наркомате внутренних дел. Правда, и в последнем еще не сформировалось той суровости, о которой мы привыкли слышать.

В двадцатых годах в Москве издавался журнал «Тюрьма». В опубликованной в нем «Исповеди» бандита «Кульпяного», возглавлявшего банду «ткачей» и выданного муровцам своим соратником по кличке «Архирей», были такие слова:

На воле жил я — бить учился,  
В тюрьму попал — писать решился.  
Вот вся история моя...  
Я — молодой бандит народа,  
Я им остался навсегда.  
Мой идеал — любить свободу,  
Буржуев бить всех, не щадя.  
Меня учила мать-природа,  
И вырос я среди воров.  
И для преступного народа  
Я всем пожертвовать готов.  
...Я рос и ждал, копились силы  
И дух вражды кипел сильней.  
И поклялся я до могилы  
Бороться с игом нэпачей.

В этом стихотворении интерес преступника совпал с классовой ненавистью строителей новой жизни. Может быть, такие совпадения в какой-то степени способствовали тому, что длительное время, почти все второе десятилетие, меры наказания уголовным преступникам были не столь суровы, ведь большинство их имело пролетарское происхождение.

В ноябре 1923 года бандиты ограбили квартиру нэпмана на Пречистенском бульваре и были схвачены на месте преступления. Один из них, Спасокукотский, интеллигентный молодой человек, сын врача и студент юридического факультета, на суде развивал теорию о том, что нельзя грабить государственную собственность, что же касается частной, то она может быть экспроприрована в зависимости от относительной полезности ее обладателя. Психиатры признали Спасокукотского психически больным, и суд направил его на принудительное лечение. Им почему-то показались странными рассуждения подсудимого о дозволенности ограбления обладателей частной собственности.

Вообще же нередко классово чуждые элементы — нэпманы, чиновники — довольно неплохо устраивались в тюрьмах. В 1923 году комиссия во главе с членом Президиума ЦКК (Центральной контрольной комиссии ЦК ВКП/б/) Сольцем проверила дела на лиц, находящихся в московских тюрьмах. Комиссия сделала такой вывод: «Карательная политика народных судов не имеет классового направления... Даже в тюрьмах взяточники, нэпманы имеют все привилегии (преимущества): они отпускаются на работы в учреждения, заходят к себе на квартиру повидать семью, хорошо питаются».

Из книг Бройде мы узнаем о том, что в Лефортовской тюрьме автора использовали в качестве агента по снабжению стройматериалами. Днем он ходил по делам, а ночевать возвращался в тюрьму. В книге описывается случай, когда он, придя вечером в тюрьму, долго не мог попасть в нее, так как дверь была закрыта и никто не открывал. Конечно, не всем так везло. Может быть, сказалось особое обаяние мемуариста, а может быть, тому были иные причины? Не знаю.

Вспоминаются в связи с этим слова А. И. Герцена о тех, кто не пользуется в России привилегиями: «Чтоб знать, что такое русская тюрьма, русский суд и полиция, для этого надобно быть мужиком, дворовым, мастеровым или мещанином... с такими полиция не церемонится: к кому мужик или мастеровой пойдет жаловаться, где найдет СУД?»

Пройдут десятилетия, и та же невеселая мысль придет к поэту Иосифу Бродскому, отбывавшему ссылку в наших северных краях.

У населения тюрьмы были свои, тюремные интересы. Прежде всего тюрьма жила слухами об амнистиях, о «разгрузках» — такие проводились в двадцатые годы.

Амнистию ждали в январе по случаю Кровавого воскресенья, в феврале — в связи с годовщиной Февральской революции, в марте — в честь Международного дня работницы или, как его еще называли, Международного коммунистического женского дня, а также в честь Дня Парижской коммуны, ожидали ее в августе, потому что в прошлом году она была в августе, ждали и к 1 Мая, и к 7 Ноября, ждали в декабре по случаю очередной годовщины образования СССР.

Если амнистию ожидали в основном к праздникам, то «разгрузку» ждали постоянно. Тогда в тюрьмах количество арестантов не было секретом. Число их официально вывешивалось на специальных досках, да и те заключенные, что работали в канцелярии тюрьмы, знали о количестве в ней эков. С увеличением их числа надежда на «разгрузку» возрастала. Тюрьма радовалась каждому новому заключенному. Чем больше — тем лучше: росли шансы выйти на свободу по «разгрузке».

В ожидании амнистии или «разгрузки» надо было как-то коротать время. Читать любили немногие. Большинство интересовалось разве что судебной хроникой в газетах. При этом жалели и воров, и бандитов. Когда же узнавали о том, что легко отделался какой-нибудь заворовавшийся чиновник, — возмущались: «Расстрелять надо было гада!»

В тюрьме был свой «театр для себя», ведь заключенные любили шутки. Лев Леонтьев в книге «Заключенные», вышедшей в 1927 году, описывает, в частности, такой розыгрыш:

«Какой-нибудь заключенный ожидает освобождения: то ли срок ему подходит, то ли ждет он помилования, отмены приговора. Человек, естественно, нервничает. Позабавиться за счет этой нервности и не очень уравновешенной психики нервничающего — нетрудно.

Разыгрывающие входят в соглашение с кем-нибудь из заключенных другой камеры, имеющих право хождения по коридору, чтобы он в нужный момент, когда надзиратель чем-нибудь занят, подошел к волчку (глазок в двери камеры. — Г. А.) и под видом “начальства” “вызвал на свободу” намеченную жертву.

Тем временем жертва обрабатывается.

Как только кому-нибудь удавалось под тем или иным предлогом выйти в коридор, он по возвращении в камеру сообщал — так, между прочим, не глядя на жертву, чаще всего даже вполголоса:

— А Фирсова-то (к примеру, фамилия жертвы) сегодня на свободу! Сейчас из канцелярии приходил один, справлялся: здесь он?

Фирсов, разумеется, вскакивает как ужаленный:

— Что? Что ты говоришь? Кто справлялся?

— Да там, один. Черт его знает, кто он! В форме, не знаю...

— Ну?!

— Ну спрашивал! Фирсов, говорит, здесь?

— Ну?

— Что “ну”? Спрашивал, говорю!

— Да говори ты, черт собачий, чего спрашивал?

— А я не знаю. На свободу, говорит, что ли...

— Да что он говорил?

— Да отстань ты от меня, сволочь паршивая! Чего пристал! Говорил! Кому говорил? Сказал тебе — не знаю, значит, не знаю!

И отойдет, и больше от него слова не добиться. Но почва подготовлена. Фирсов ждет. Напряженно ждет.

Вдруг где-то хлопнула дверь на коридоре, кто-то подходит к камере, открывается волчок — один глаз только видно, — и этак начальственно:

— Фирсов здесь?

— Есть! Есть! — поспешно отзывается Фирсов.

— Как имя!

— Иван.

— Отчество?

— Петрович.

— Он самый! Ну, собирайся с вещами! На свободу!

Волчок “пока” закрывается. А Фирсов спешно собирает свое барахло, рассеянно благодарит искренне радующихся за него товарищей, дарит соседу ложку, взять ее с собой — дурная примета. Раздает все, что ему лишнее на свободе, и “не в себе” от радости ждет. Вот-вот загремит дверной засов и:

— Фирсов, на свободу!

Но время идет, а сакраментальная фраза не раздается.

Товарищи между тем подзадоривают:

— Стучи, Фирсов, в двери! Что это они тебя, паразиты, маринуют?

Фирсов не выдерживает, стучит. Подходит коридорный надзиратель:

— Что надо?

— Да вот меня, Фирсова, вызывали на свободу!

— Фирсова? Понятия не имею! Никто тебя не вызывал!

И волчок захлопывается, а в камере дикий хохот:

— Купился!

Но Фирсов “купился” твердо. Теперь он не верит, что его попросту разыграли. И мечется, бедный, между правдой и ложью, не зная, где одна, где другая. И ждет. Ждет до горького разочарования, до бессильных, нередко, слез втихомолку, после вечерней поверки, когда всякая надежда должна рухнуть». Бывали шутки злые и примитивные. Жертвами их часто становились спящие сокамерники. Вставят такому между пальцами ног кусочки бумаги и подожгут. Спящий от боли проснется, начнет крутить ногами, как будто на велосипеде едет. Эту «шутку» так и называли «велосипед».

Или еще: свяжут двух спящих за ноги или за другие, сугубо мужские части тела, а потом ка-ак гаркнут у них над ухом. Те от испуга вскочат, да тут и завизжат от боли и, не поняв, что произошло, начнут тужить друг друга. Вставляли еще в нос «пфимфу» из ваты и поджигали. Спящий набирал полную грудь вонючего дыма, задыхался, кашлял под общий хохот сокамерников.

Издевались и над неспящими. «Рубили банки»: оттягивали кожу на животе и били по оттянутой коже ребром ладони. Руки у тюремных садистов были крепкие,



так что после второго удара могла появиться кровь. Была еще такая дурацкая игра: «загибали салазки», то есть закидывали ноги кверху, да так, что не всякий позвончик выдерживал.

Поскольку иметь ножи заключенным не разрешалось, играли с ложками. Несведущего новичка клали на нары, оголяли живот, и «палач», плюнув ему на живот, растирал слюну, а потом с криком: «Поддержись, ожгу!» — сильно бил по этому месту ложкой. «Шутили» с новичками и так: положат под одеяло с головой, а потом бьют по голове ложками, предлагая угадать — кто ударил.

Существовала также игра «Выбор старосты». Начинаясь все с крика: «Долой старосту! Давайте нового выбирать!» После этого каждый писал записку с именем нового старосты и вкладывал в согнутый локоть. Всем завязывали глаза, в том числе и новичку. Он подходил и зубами вытаскивал записку. Одна из них не поддавалась. Тогда новичок срывал повязку и видел перед собой половой член сокамерника. Член подбирали обычно наиболее убедительный.

«Развлечения» эти описывал еще знаменитый российский тюрьмовед М. Н. Гернет в книге, названной им «В тюрьме». Что же касается старост, то таковые существовали еще в дореволюционных тюрьмах. Обычно их выбирали из так называемых «Иванов», то есть закоренелых бандитов, и делали они все, что хотели. В 1915 году вышло распоряжение о том, что администрация может назначать себе помощников из заключенных для раздачи продуктов, приема прошений и пр. После революции, ветры которой подули в тюремные щели, возникло даже самоуправление заключенных. Снова стали командовать «Иваны». Но в ноябре 1920 года появилось «Положение об общих местах заключения в РСФСР», которым вводилась должность «дежурного по кухне». Заключенные назначались дежурными по очереди. Они принимали продукты для кухни от кладовщиков. Это делалось еще и для того, чтобы не было разговоров о том, что тюремное начальство обкрадывает заключенных.

Исправительно-трудовой кодекс, вышедший в 1924 году, позволял выбирать дежурного из заключенных

«высшего разряда», то есть наиболее сознательных и заслуживающих доверия. Согласно кодексу, заключенные могли выбирать и культурно-просветительную комиссию из лиц пролетарского происхождения. В августе 1925 года стало действовать «Положение о культурно-просветительной помощи в местах заключения». На основании него в тюрьмах появились камерные и коридорные культурники.

Камерные культурники избирались по одному на каждые пятнадцать заключенных, коридорные — по одному на коридор. Список избранных утверждал начальник тюрьмы. Собирались культурники не реже двух раз в месяц на совещание, имея на нем право совещательного голоса. Заседала комиссия культурников под председательством заместителя начальника тюрьмы по учебно-воспитательной работе. В обязанности культурников входило получение и раздача газет и книг заключенным, проведение с ними бесед по поводу прочитанного, вовлечение заключенных в работу мастерских, надзор за санитарным состоянием камер и коридоров и т. д.

Культурная работа в тюрьмах не ограничивалась чтением газет и постановкой спектаклей. Например, заключенные Лефортовского изолятора в 1931 году совершили экскурсию на пароходике по Москве-реке.

У Таганского домзака прохожие нередко могли видеть, как заключенные подметали тротуар и поливали его из лейки. Картинка была довольно миленькая.

В Сокольниковском исправдоме двери камер не запирались, и можно было ходить из одной в другую.

Вообще в двадцатые годы можно было услышать или прочесть в журнале такие полные гуманизма мнения ученых, как, например: «свидание через решетку — это мучительство!», что заключенных надо воспитывать по-разному, в зависимости от их преступных наклонностей и т. д. В конце двадцатых в рации заключенных, хотя бы и формально, а то и на деле, бывало мясо. Вот, например, рацион колонии ОГПУ на 2 января 1928 года: хлеба — 520 граммов, мяса — 100 граммов, картофеля — 150 граммов, капусты — 100 граммов, гречневой крупы — 100 граммов, масла — 20 граммов и соли —

25 граммов. Было так не всегда. Обычной едой была «баланда».

В 1928 году в Москве открылась выставка изделий, выпускаемых силами заключенных. Заключенные делали мебель, фотоаппараты, чернильные приборы, ткали ткани, создавали станки и приборы, доили коров, выращивали овощи и фрукты, и, вообще, чего только не делали на зависть оставшимся на свободе их нечистые руки.

Но ничего им не помогало. Власти все больше смотрели на них не как на падших и заблудших, а как на волков из чужой, враждебной стаи.

Нарком юстиции Н. Крыленко, например, настаивал на том, что преступников следует изолировать от общества и после отбытия ими наказания, направляя в ссылку. Суровые мнения по поводу ужесточения режима в лагерях и тюрьмах постепенно стали преобладать в коридорах власти.

В 1929 году были ликвидированы изоляторы спецназначения и введена следующая система мест заключения: а) дома заключения для подсудимых и пересыльных; б) колонии (открытые и закрытые); в) дома заключения для срочных заключенных и г) исправительно-трудовые лагеря.

Созревала система ГУЛАГа. В тюрьмы и лагеря стало больше попадать озлобленных, ожесточенных людей, потерявших всякую почву под ногами. Жизнь за решеткой, за колючей проволокой они начинали воспринимать как новую и неотвратимую свою судьбу. Становилось меньше театра, меньше хора, а больше чифира и карт.

Существовали в тюрьме (впрочем, как и всегда) свои неписанные правила. Люди, живя «на воле», могут не знать, что делается у соседей по квартире. Тюрьму, какой бы большой она ни была, новость облетает с быстротой молнии. Передать кому-то, что кто-то «скурвился», что кому-то нельзя доверять, что кто-то объявил голодовку или о чем-то другом, было необходимо любой ценой.

Главное развлечение заключенных — карты. Иметь их, конечно, не полагалось. Доставать их с воли было

хлопотно, да и могли отобрать надзиратели. Карты делали сами. В книге «Заключенные» Лев Леонтьев описывает процесс их изготовления: «При помощи “клейстера” из хлеба и воды склеивается несколько кусков бумаги, чтобы карты были поплотнее. Затем эти плотные листы аккуратно разрываются, а если есть нож — разрезаются на части, соответствующие величине обыкновенных игральных карт. Тем временем из той же бумаги изготавливается трафарет в один знак каждой масти — черва, бубна, трефа, пика, из микроскопического кусочка химического карандаша, разведенного в воде, изготавливается краска. При помощи трафарета на карты наносится необходимое число знаков в том же порядке, что и на обыкновенных картах. Фигуры изображаются условно: вместо рисунка короля, дамы, вальта — ставятся в надлежащем месте начальные буквы “К”, “Д”, “В”, и карты готовы».

Конечно, тюрьма есть тюрьма, но все же можно сказать, что в то время она еще не была адом (хотя, как понимать это слово). Да и сроки, унаследованные новым порядком от царского режима, за уголовные преступления не угнетали. Иметь десять-пятнадцать судимостей («хвостов») — такую роскошь могли себе позволить даже молодые преступники. Сроки наказания за многие преступления исчислялись месяцами. В этом сказывалась не только невозможность содержания под стражей большого количества заключенных (ими действительно были забиты арестные дома (тюрьмы). На 21 мая 1923 года в них содержалось 2 186 человек вместо положенных по штату 969, в исправительных домах вместо положенных 4 504 заключенных содержалось 4 909), но и снисхождение к большинству уголовных преступников как к элементам, не чуждым пролетариату в классовом отношении. К тому же, как уже было сказано, смягчению тюремных нравов способствовало и унаследованное от царского режима представление о сроках наказаний. Например, согласно статье 169 Устава «О наказаниях, налагаемых мировыми судьями» царского времени за обычную кражу полагалось наказание не свыше шести месяцев, а за нарушение общественной тишины (хулиганство), по ста-

тье 38 — арест до трех месяцев. Заключение, приговоренные к столь кратким срокам, смотрели в будущее с оптимизмом, а работников тюрьмы не очень-то заботило их перевоспитание.

В 1926 году начальник Главного управления мест заключения Москвы Ширвиндт информировал московское руководство о том, что 40 процентов заключенных осуждено на срок до года лишения свободы. В частности, при проверке в Сретенском домзаке оказалось значительное число лиц, осужденных на срок от двух-трех недель до трех-четырёх месяцев.

Поскольку краткие сроки лишения свободы никого не исправляли и никого не устрашали, а заключенные лишь даром поедали государственный хлеб, судьям в начале двадцатых годов была дана установка: суровые меры и репрессии применять в отношении классовых врагов и деклассированных преступников-профессионалов. В отношении же социально неустойчивых элементов — в максимальной степени развить практику замены кратких сроков лишения свободы иными мерами социальной защиты, главным образом принудительными работами без содержания под стражей. Были работы «по специальности», но был и «грубый физический труд». Среди наказаний, не связанных с лишением свободы, практиковались и такие как общественное порицание, понижение по службе и даже перевод из одного города в другой. Во времена существования «трудовых армий» такое решение суда было вполне допустимым.

В принудительных работах оказались свои сложности. Известно, что в те времена была большая безработица, люди, ничем не опороченные, месяцами ждали работу, состоя на учете на бирже труда, а осужденные к принудработам устраивались без всяких проблем и только проценты с заработка выплачивали. Это ли не стимул для совершения незначительных преступлений? Осуждение преступников, таким образом, ставило их в привилегированное положение перед безработными, не совершившими ничего противоправного. К тому же, согласно существующему положению, исправительные работы могли заменяться штрафом, да еще

в рассрочку. Бывали случаи, когда осужденных направляли для отбытия наказания в магазин, где они работали или который им принадлежал. Допускалась замена осужденного к исправительным работам другим лицом, например родственником или просто нанятым.

Закон от 17 июня 1928 года был призван положить конец всем этим безобразиям. Согласно ему, лицам, отбывающим исправительные работы, платили только 10 рублей в месяц. Желающих устроиться на работу с помощью приговора стало меньше.

Безработица толкала людей не только в суд, но и прямо в тюрьму. Как-то в 1925 году к двум неделям ареста был приговорен некий Бобылев. (А надо сказать, что и тогда замена осужденного к лишению свободы другим лицом не допускалась.) Приговор был исполнен, а Бобылев продолжал ходить на работу. Стали поговаривать о раздвоении личности. Потом-то оказалось, что вместо осужденного Бобылева в арестном доме находился безработный Бастрыгин. Боясь из-за ареста потерять работу, Бобылев попросил его отсидеть за него срок за определенную плату. Бастрыгин с удовольствием согласился. Не знаю, сидел ли он при Александре III — «миротворце», при Николае II — «кровавом», при Керенском, но то, что он сидел при нэпе и не за себя, а за другого, как старик Фунт в «Золотом теленке», — бесспорно.

Своеобразие времени сказывалось не только в тюремном режиме. Его можно обнаружить и в конвоировании арестованных. Надо сказать, что автомобильным транспортом в начале да и в середине двадцатых годов наши исправительные учреждения наделены не были. Заключение везли по городу в сопровождении конвоя. Бывали при этом случаи побегов заключенных, а бывало, что и конвой терял арестованного.

Особенно отличался своими потерями милиционер 49-го отделения милиции Расщупкин. Как-то, в начале 1925 года, он конвоировал в тюрьму другого милиционера — Савостьянова и по дороге потерял его. (Наверное, просто отпустил под честное слово.) Правда, на следующий день Савостьянов нашелся. В другой раз Расщупкин зашел с конвоируемым в столовую по-

обедать «по-товарищески». Выпили, поговорили, и Расщупкин так расчувствовался, что отпустил арестанта домой. Тот, как говорится, ушел и не вернулся. Еще один интересный случай произошел с Расщупкиным, когда он «прозевал» двух малолеток, которых сопровождал в исправдом. Недолго думая, Расщупкин уговорил двух беспризорников назваться именами беглецов и доставил их в исправительное учреждение. Когда самозванцы поняли, где находятся, то подняли крик и назвали свои настоящие имена. Расщупкину, к счастью, вскоре удалось найти беглецов и доставить их в исправдом. Милиционер Макаров конвоировал в Волоколамский исправдом Тихомирова и Милютину, осужденных на десять лет лишения свободы. Милютину сдал в Новинский исправдом, а с Тихомировым отправился бродить по городу. Заходили в чайные, к знакомым Тихомирова. Наконец Макаров отпустил Тихомирова на базар, откуда он не вернулся. Правда, через некоторое время Тихомиров нашелся. Макаров за халатность был осужден на три месяца ареста.

Вообще конвоиры были ребята простые. Старых конвоиров, надзирателей, охранявших царские тюрьмы, расстреливали, в лучшем случае сажали. Им не могли простить жестокого обращения с заключенными. (Правда, кое-кому удалось пристроиться и при новой власти: бывший начальник Кутамарской, а потом Зарентуйской тюрем Ковалев, например, одно время заведовал, скрыв свое прошлое, концентрационными лагерями, но таких, как он, было немного.)

Новые конвоиры и надзиратели были душевнее, по крайней мере к своему брату, пролетарию. Например, компанию надзирателей из Таганского дома заключения можно было часто видеть в пивной «Стенька Разин» на Таганской площади. Они проводили там свободное от дежурства время за дружеской беседой. Как-то раз, 17 июля 1926 года, среди бела дня к их компании подошла жена одного из надзирателей (его в компании не было) и поинтересовалась, где находится ее муж. Это назойливое любопытство так возмутило Саввушку Петрова, сидевшего за столом в форме и с наганом на боку, что он не выдержал и, не будучи в силах контро-

лизовать выражения, отчитал жену неизвестного надзирателя, а потом заявил ей: «Какое тебе дело, где твой муж?!» После этих слов вышеупомянутая жена потребовала у подошедшего к столику милиционера отвести Петрова в милицию. Милиционер поступил умно. Он не стал задерживать Петрова, а объявил, что пойдет за постовым, который имеет право задерживать людей в форме. Пока милиционер ходил, а собравшаяся толпа обсуждала случившееся, вся компания через черный ход смылась из «Стеньки Разина». Жена конвоира осталась ни с чем. Не мог же Саввушка сообщить ей о том, что ее муж спит беспробудным сном после вчерашнего у продавщицы Нинки из мясного отдела гастронома, что напротив!

Конечно, не всем так везло, как Саввушке. Фельдшер санчасти Бутырской тюрьмы Евдокия Алексеевна Вельнер-Зубарева за то, что передала письмо политической заключенной Прусаковой ее дочери 29 марта 1929 года, была выслана из Москвы на три года с запрещением проживать в ряде крупных городов страны.

На тот же срок был выслан из Москвы в июне 1927 года Александр Николаевич Гранатовский. Он работал старшим помощником начальника Таганского дома заключения. Вина его была в том, что он, во-первых, скрыл свое офицерское звание и службу в белой армии, а во-вторых, приходил на работу в нетрезвом состоянии, устраивал пирушки с заключенными, разрешал им по своему усмотрению свидания и передачи.

Многие из задержанных, перед тем как попасть в тюрьму, содержались в специальных помещениях при отделениях милиции. Жизнь в них тоже была, как говорится, не сахар. Из справки, составленной по результатам проверки такого помещения при 22-м отделении милиции, что у Павелецкого вокзала, за 1925 год узнаем, что на день арестованному полагались похлебка и фунт (409,5 грамма) хлеба, которые доставлялись из городского арестного дома, а также кипяток. Его привозили из милицейского клуба. Конечно, это были голодные годы. Прилично кормить арестантов было непозволительной роскошью для страны. Сайд Курейша (мусульманин из Индии) в книге «Пять лет в советских тюрьмах» пишет



о том, что в 1923 году в Бутырской тюрьме началась голодовка, вызванная отвратительной пищей. Заключенные требовали увеличения дневной порции хлеба с одного до полутора фунтов, выдачи двух, а не одной, столовых ложек сахара раз в десять дней и улучшения качества супа. Голодовка переросла в бунт. Заключенные били стекла в окнах, кричали на всю улицу о своих требованиях и несправедливостях тюремного начальства. У стен тюрьмы собралась толпа. В тюрьму прибыла комиссия во главе с прокурором Катаняном. Прокурор сказал, что требования будут уважены. Тюрьма успокоилась. Но на следующий день из каждой камеры взяли по несколько зачинщиков бунта, которые, как считал Курейша, были расстреляны без суда. Проявилось ли здесь коварство прокурора? Не думаю. Просто прокурор ничего не решал. Решало ОГПУ. Что касается расстрела, то, возможно, он и был, хотя свидетельств его не сохранилось. Методы революционной борьбы были ближе и народу, и его правительству, чем методы буржуазной юстиции.

После большой Бутырской тюрьмы заглянем в маленькую, в Сретенскую. Если бы мы в двадцатые-тридцатые годы пошли от Трубной площади вдоль бульвара к Петровским Воротам, то в конце первого переулка направо (3-го Колобовского) увидели каланчу Сретенской пожарной части, а под ней Сретенский арестный дом. Там и теперь стоят красные аварийные машины, только Мосгаза. Близкое соседство пожарников и тюремщиков приводило иногда к недоразумениям. Пожарник заберется на каланчу дежурить, ну а милиционер, охраняющий дом заключения, запрет вход на каланчу да уйдет куда-нибудь с пакетом. Пожарник так и сидит на каланче, дожидается своего освобождения.

В мае 1924 года корреспондент «Известий» административного отдела Моссовета увидел в домзаке чистоту, цветочки на окнах, портреты вождей над койками арестованных. Заключенные, как сообщалось в корреспонденции, выписывали «Правду», занимались в школе, устраивали литературные вечера. Прямо не тюрьма, а литературный институт. Хотя почему бы не повесить

портреты вождей, не раскрыть окна? Однако то ли время шло быстро, то ли корреспонденту устроили хороший прием в домзаке, но только картина, которую представлял он в 1926 году, стала совсем иной. Посещавший в те времена дома заключений по делам службы работник уголовного розыска Павел Сергеевич Ларионов рассказывал, как, войдя в камеру, давал команду всем отойти в противоположный угол. Если этого не сделать, то заключенные, стоявшие сзади, забросают тебя вшами. Вот такая была обстановка. Вообще Сретенский домзак был старый, давно не отремонтированный. Побывавшие в нем отмечали, что в камерах душно, с потолков валилась штукатурка, полы прогнили, камеры переполнены. Вместо одиннадцати — пятнадцати человек в них содержалось тридцать пять — сорок, поэтому многие спали под койками, в проходах, прямо на полу или подложив под себя тонкие дореволюционные матрацы, содержавшие в себе немного гнилой соломенной трухи. Ели заключенные на полу — столов не было. Учебно-воспитательную часть домзак возглавлял некий Певзнер. Фактически он был главным в этом убогом заведении. Он переводил арестованных из камеры в камеру по своему усмотрению, вызывал их (не являясь следователем) к себе на допрос после одиннадцати часов вечера и, вообще, делал все, что хотел. Воспитательная работа в тюрьме не велась. Из книг, хранившихся в библиотеке, заключенные крутили сигарки и делали карты, которыми играли в «стос». В 1927 году Сретенский домзак возглавил Фрумзон. В это время руководство страны стало уделять больше внимания производственной деятельности осужденных. Выполнение плана тогда являлось основным показателем в деятельности исправительно-трудовых учреждений. Заключенные Сретенского домзак работали в каменоломнях у Щелковских фабрик, за Клязьмой. Добывали желтый камень, содержащий магнезит, необходимый чугунолитейным заводам. В летнее время заключенные купались в Клязьме, играли в городки, ловили рыбу.

Двухэтажный кирпичный четырехугольник женской Новинской тюрьмы выходил на Новинский буль-

вар (часть Садового кольца в районе Нового Арбата). Во дворе ее стояло здание церкви. Тюрьма эта считалась образцовой. Рассчитана она была на двести сорок женщин, которых собирали сюда из разных концов страны. Начальник тюрьмы Давыдова устроила в ней ясли, в которых дети под присмотром осужденных — нянечек проводили весь день, а вечером, после трудового дня, детей забирали матери. К детям была приставлена вольная сестра, тюрьму ежедневно посещал врач. Работали осужденные на ткацкой фабрике, которую Давыдова открыла на месте полукустарной прачечной. В тюрьме существовали самодеятельность, школа и даже товарищеский суд. Возглавляла его осужденная за бандитизм Бажанова. Сам факт создания образцовой тюрьмы говорил о том, что власти поняли, что без тюрем государство существовать не сможет.

Характерно, что в предисловии к первой книге Соломона Бройде «В советской тюрьме», вышедшей в 1922 году, Н. Мещеряков, судебный работник, писал о том, что тюрьма обречена на близкую гибель. В предисловии же к книге «Фабрика человеков», вышедшей в 1934 году, председатель Военной коллегии Верховного суда СССР В. Ульрих писал: «Книга Бройде... дает достаточно яркую картину того, что делается в стенах Таганского дома заключения, Лефортове и других местах... заключенные, охваченные энтузиазмом ударничества и соцсоревнования, досрочно выполняют свой Таганский промфинплан». Менялись времена, менялись планы. Стиралась грань между вольным и подневольным трудом. В конце концов, дисциплину труда легче укрепить в тюрьме, чем на свободе. Да и о повышении зарплаты рабочим думать не надо. В тюрьмах и исправдомах заработали станки. В Сокольнической тюрьме стали делать кровати, столы, в Лефортовской — открыли ткацкую фабрику, в Таганке — типографию и т. д. В 1928 году в Москве прошла выставка изделий, созданных в местах лишения свободы, а в 1929—1930 годах места заключения вообще перешли на самокупаемость.

Определив в один ряд производственные мощности «на свободе» и «за решеткой», власти поставили себя

тем самым в сложное положение: и там и там требовались кадры, в том числе и квалифицированные. Квалифицированные были больше среди политических, а их в двадцатые годы в основном высылали. Это не шло на пользу лагерному производству. Тогда, в тридцатые, специалистов стали сажать.

Стремление властей к очищению главных городов страны и прежде всего Москвы от чуждых элементов нашло свое воплощение и отражение в «Положении о правах ГПУ в части административных высылки, ссылки и заключения в концентрационные лагеря» от 2 апреля 1924 года. В положении было сказано следующее: «В целях борьбы с преступностью лиц, признаваемых в порядке, установленном ниже, социально опасными, Президиум ЦИК Союза ССР постановляет: Предоставить ОГПУ (Объединенному государственному политическому управлению. — Г. А.) право в отношении лиц, признаваемых ими на основании ниже перечисленных признаков социально опасными: а) выслать таковых из местностей с запрещением дальнейшего проживания в этих местностях на срок не свыше трех лет, б) выслать таковых из тех же местностей с запрещением проживания сверх того в ряде местностей или губерний, согласно списка, устанавливаемого ОГПУ, на тот же срок, в) выселять с обязательством проживания в определенных местностях по специальному указанию ОГПУ и обязательным в этих случаях гласным надзором местного органа ГПУ на тот же срок, г) заключаться в концентрационный лагерь сроком до трех лет, д) высылать за пределы государственной границы Союза ССР на тот же срок. Вынесение постановлений о высылке возложить на Особое совещание в составе трех членов Коллегии ОГПУ по назначению председателя ОГПУ и правом опротестовывать таковые в Президиум ЦИК Союза ССР. Право высылки за границу Союза ССР и заключения в концентрационный лагерь принадлежит исключительно Особому совещанию при ОГПУ (ОГПУ существовало только в Москве, в республиках — были просто ГПУ).

ГПУ Республик, согласно тому же положению, имели право высылки в пределах республики в отношении

следующих лиц: 1) подозреваемых в совершении бандитских налетов, грабежей, разбоев, а также их помощников и укрывателей в случае отсутствия точных данных для направления дел о них в порядке судебного преследования, 2) не имеющих определенных занятий и не занятых производительным трудом, 3) профессиональных игроков на бегах, скачках и в игорных домах, 4) шулеров и аферистов, 5) содержателей всякого рода притонов и домов терпимости, 6) торговцев кокаином, морфием, сантонином, спиртом, самогонном и другими спиртосодержащими веществами без соответствующего на то разрешения, 7) спекулянтов черной биржи, в отношении коих имеются данные об их особой злостности или связях с социально-преступной средой, 8) лиц, социально опасных по своей прошлой деятельности, а именно: имевших в прошлом не менее двух обвинительных приговоров или четырех приводов по подозрению в имущественных преступлениях, или посягательствах против личности и ее достоинства (хулиганство, вовлечение в проституцию, сводничество). Категории лиц, на которые подлежит распространение указанных прав, не могут быть расширены без особой санкции каждый раз Президиума ЦИК Союза ССР».

Много людей, согласно этому положению, были «вычищены» из Москвы, Ленинграда и других больших городов. Если предположить, что все (или почти все) они выселялись на законных основаниях, то сколько же у нас было нехороших людей! Были, правда, и хорошие. К ним прежде всего относились коммунисты. Государство взяло их под защиту. 16 июня 1921 года вышел циркуляр, подписанный секретарем ЦК ВКП(б) Молотовым, наркомом юстиции Курским и председателем Верховного трибунала Крыленко «О взаимоотношениях парткомов с судебными и следственными учреждениями РСФСР». В нем говорилось о том, что, несмотря на категоричность положения о подсудности коммунистов общегражданскому суду и суду партии, в некоторых случаях ответственность перед общегражданскими судами ставится в зависимость от мнения ЦК. Циркуляр при решении вопроса о при-

влечении коммунистов к уголовной ответственности предлагал руководствоваться следующими положениями: «1) при возбуждении дела против коммунистов судебно-следственные учреждения должны в течение двадцати четырех часов ставить в известность об этом местный партком, 2) допросы коммунистов до суда в порядке предварительного следствия проводить так же, как и в отношении других граждан. О производстве ареста не позднее чем через сутки следственные учреждения извещают соответствующий Уком или Губком, 3) просьба местных партийных комитетов сообщить о характере дела и представить возможность ознакомиться с самим делом должна удовлетворяться судебно-следственными учреждениями. В случае секретности дела о нем осведомляют лишь Президиум (Бюро) Комитета или секретаря. В случае возбуждения уголовного дела на более ответственных отдельных коммунистов или раскрытия преступной деятельности большинства членов местного партийного комитета дело должно быть передано в вышестоящую судебно-следственную и партийную инстанции. Следственные учреждения обязаны изменить меру пресечения в отношении членов РКП и освободить от ареста с заменой его поручительством, в случае поручительства не менее чем трех членов РКП, которые должны получить предварительную санкцию обкома».

К этой ленинской норме, по существу, вернется Н. С. Хрущев после осуждения сталинского террора по отношению к членам партии. А тогда, в тридцатые, властям было не до сохранения партийных кадров — надо было бороться с врагами. Сталин доверял чекистам. В 1937 году он так обосновал свое доверие: «Заклятые враги революции ругают ГПУ, — стало быть, ГПУ действует правильно». Результатом высочайшего доверия стало предоставление работникам ГПУ права внесудебной расправы с гражданами. Как воспользовались доверием работники этого учреждения, известно.

Когда граждане первого в мире государства рабочих и крестьян перестали смотреться в зеркала, опасаясь увидеть в них физиономию врага народа, в стране снова вспомнили о законности. Ежов, нарком внут-

ренных дел, и кое-кто из его окружения были расстреляны, а высшее политическое руководство страны пожурило чекистов. В постановлении Совета народных комиссаров СССР и Центрального комитета ВКП(б) от 17 ноября 1938 года, подписанном Сталиным и Молотовым, отмечалась «большая работа, проделанная органами НКВД по разгрому врагов народа и очистке СССР от многочисленных шпионских, террористических, диверсионных и вредительских кадров из троцкистов, бухаринцев, меньшевиков, буржуазных националистов, белогвардейцев, беглых кулаков и уголовников, а также от шпионов, переброшенных в большом количестве из-за кордона под видом так называемых политэмигрантов и перебежчиков из поляков, румын, немцев, латышей, эстонцев, харбинцев и проч.». Далее же работа НКВД подвергается критике и вот за что. В постановлении говорилось: «...работники НКВД совершенно забросили агентурно-осведомительную работу, предпочли действовать более упрощенным способом, путем практики массовых арестов, не заботясь при этом о полноте и высоком качестве расследования. Работники НКВД настолько отвыкли от кропотливой, систематической агентурно-осведомительной работы и так вошли во вкус упрощенного порядка производства дел, что до самого последнего времени возбуждают вопросы о предоставлении им так называемых «лимитов» для производства массовых арестов».

«Лимит» — это цифра, обозначающая максимальное количество людей в селе, районе, городе, над которыми работники НКВД творили суд и расправу по своему усмотрению. Ни Сталин, ни Молотов не могли возмущаться указанным фактом, ведь этот «лимит» существовал с их дозволения. Они только пожурили следователей за увлечение им. Еще они обязали прокуроров знакомиться с протоколами допросов и делать на документах соответствующие отметки. Заметьте: не допрашивать обвиняемых, а только знакомиться с протоколами допросов! Мог ли прокурор при таком порядке проверить истинность записанных в протоколе слов?

Но о прокурорах после. Пока мы только можем понять, почему с каждым годом человеку в нашей

стране становилось все труднее и труднее отказаться от тюрьмы. Отказаться от сумы было легче. Страна строилась, росла, на кусок хлеба можно было заработать. В обществе, устремленном в новую, прекрасную жизнь, тюрьма оставалась местом позора и порока. Судимость перечеркивала жизненные планы многих людей. Конечно, подавляющее число заключенных за общеуголовные преступления тогда, как и сейчас, являлось мерзавцами. В этом, вообще, не должно быть никаких иллюзий. Их несчастный, жалкий вид за тюремной решеткой и на скамье подсудимых не должен никого смущать. Нередко за то, что они делали на свободе, мы готовы были их убить, а теперь жалеем. Так уж устроен человек, и не надо его за это ругать. Доброта и отходчивость — не самые плохие качества его природы. Защита одиночки от обрушившегося на него общества с его милицией, прокуратурой, судом, тюрьмами и лагерями — моральная основа для существования адвокатуры.

Законы тюрьмы жестоки и не страдают всепрощением к оставшимся на свободе, да и не только к ним. Чтобы убедиться в этом, обратимся к фактам. О них мы узнаем из приговоров, вынесенных Московским городским судом в тридцатых годах XX столетия.

В камере № 22 Таганской тюрьмы среди других заключенных находились Матвеев и Баканов. Как-то Матвеев выиграл в карты у Баканова сапоги и рубашку. Получив выигрыш, он положил его под свою кровать. Через две недели Баканов их забрал. Матвееву это не понравилось, и он стал угрожать Баканову расправой. 25 марта 1935 года заключенных 22-й камеры вывели на прогулку. Остались в ней спавший Баканов, Самородок и Калеченков, все они лежали на своих кроватях, а Матвеев ходил по камере злой и что-то бормотал. Потом взял большую доску от своей кровати, подошел к Баканову и несколько раз ударил его доской по голове, причинив сотрясение мозга. Суд приговорил Матвеева к расстрелу, который был заменен ему десятью годами лишения свободы.

11 ноября 1937 года Московский городской суд приговорил к смертной казни Петра Григорьевича



Попова двадцати трех лет. В Таганской тюрьме, где он находился за какое-то преступление, была в моде такая шутка: когда кто-нибудь из сокамерников спал или просто лежал, глядя в потолок, ему в нос насыпали табак. Вдохнувший его вскакивал, начинал чихать, кашлять, плевать под общий хохот сокамерников. Один из новеньких, Григорий Васильевич Маслов, выступил против такой «шутки» и даже пригрозил Попову. Тогда тот выдернул из койки длинный железный прут и три раза ударил им Маслова по голове, раздробив ему череп.

В ноябре—декабре 1938 года в Краснопресненской пересыльной тюрьме сформировалась группа заключенных, грабившая сокамерников, так сказать преступники в квадрате. Руководил группой В. И. Гребенников. Бандиты отбирали у заключенных деньги, белье, одежду, обувь, продукты. У одного заключенного проволокой вытащили изо рта золотые зубы. 14 декабря Гребенников с товарищами попытался снять сапоги с заключенного Митряева. Тот оказал сопротивление. Тогда Гребенников ударил его по голове крышкой от параша и убил. Московский городской суд вынес Гребенникову смертный приговор.

Да, прошло время веселых зэков, любивших чечетку и блиставших тюремным жаргоном, для которых самым страшным оскорблением было слово «проститутка». В это слово вкладывалось понятие не «публичная женщина», а понятие «предатель», «изменник». Меньшим ругательством было «кобел». Означало оно «дурак», «болван». В сороковые и пятидесятые годы, когда сроки стали длинными, как лагерные бараки, заключенные сделались злыми и особенно жестокими. Оскорбительное «козел» стало достаточным основанием для убийства. «Козел» — это не дурак и не изменник. Это вонючая мразь, рядом с которой нельзя находиться. Соблюдение закона, повелевающего убить за такое оскорбление, стало проявлением самоистребления, предела человеческого озверения, возникшего в невыносимых условиях жизни. Заключенные стали постоянными обитателями резерваций, колючая проволока превратила для них нормальную, сво-

бодную жизнь в потустороннюю. Даже их собственное тело стало для них тюрьмой, которая не давала им возможности вырваться на волю. Они и его возненавидели. Проигрывали целиком или частями в карты, прибивали ржавыми гвоздями за мошонку к нарам, выкалывали на лбу обрекающие на новые репрессии слова: «Раб КПСС». От взрослых в своей жестокости не отставали подростки. Как-то, уже в семидесятые годы, помню, в одном поезде, в вагонзаке, везли несовершеннолетних преступников — русских и чеченцев. Чеченцы, издеваясь над русскими, заставляли их быстро поедать буханки черного хлеба.

Вольно или невольно, но в местах лишения свободы с годами выковывались свои варварские законы чести. К этому времени в стране, за исключением небольшого круга старых партийцев, ревностно охраняющих идеалы, за которые они шли на смерть, не осталось слоев населения, в которых ценою жизни утверждались бы определенные правила и принципы. Офицерства, гвардии, где вопросы чести решались на дуэли, не стало. Да и сами дуэли были признаны пережитком прошлого. Чиновники не знали, что значит уйти в отставку, если под сомнение была поставлена их честь или способность решить какой-нибудь вопрос. Честь женщины или свою собственную стали отстаивать судами, скандалами и доносами.

В преступном мире было по-другому. К концу двадцатых годов преступник не надеялся выйти на свободу через несколько месяцев. В Уголовном кодексе 1926 года появились статьи 58 и 59, предусматривающие ответственность за широкий круг правонарушений. При этом наказание за них предусматривалось до десяти лет лишения свободы. Ответственность за бандитизм наступала по признаку принадлежности к банде даже в том случае, если банда преступлений не успела совершить или член банды в них не участвовал. Впоследствии к бандитизму стали приравнивать преступления, совершенные в местах лишения свободы.

Вдаваться в тему жестокости репрессий тридцатых годов не имеет смысла. Об этом и так много сказано и написано. Вернемся лучше к заключенным.

Поскольку число их, осужденных на длительные сроки, возрастало, а освобождение из мест заключения ничего, кроме новой посадки, не предвещало, в лагерях стала складываться мораль закрытого общества. Расправы лагерного и тюремного начальства с арестантами в случае совершения и сокрытия кем-либо из них преступления привели к тому, что совершивший преступление сам шел «на вахту» и сообщал о совершенном им преступлении. Бесправие арестантов компенсировалось выработкой ими своего кодекса чести. Смертельным оскорблением стало вышеупомянутое слово «козел». Если человек не хотел потерять всякое уважение и превратиться в отщепенца, он должен был убить обидчика, оскорбившего его этим словом. Драк не устраивали. Резали, как барана. Подходили к спящему, будили (считается, что спящий начинает кричать, когда его режут), и обиженный бил его ножом, вернее, каким-нибудь заточенным предметом: напильником, долотом и пр. Конечно, так было не всегда, возникали и драки, но результат был один и тот же — смерть. Обиженный шел на это даже тогда, когда ему оставалось совсем немного до освобождения. Лагерные законы суровы. Нам они представляются проявлением дикости, зверства. Напротив, для тех, кто их придерживается, они дают повод для самоуважения. Лев Николаевич Толстой в романе «Воскресение» отмечал: «Обыкновенно думают, что вор, убийца, шпион, проститутка, признавая свою профессию дурною, должны стыдиться ее. Происходит же совершенно обратное. Люди, судьбою и своими грехами-ошибками поставленные в известное положение, как бы оно ни было неправильно, составляют себе такой взгляд на жизнь вообще, при котором их положение представляется им хорошим и уважительным. Для поддержания же такого взгляда люди инстинктивно держатся того круга людей, в котором признается составленное ими о своем в нем месте понятие». Вот, наверное, откуда при культе силы в преступном обществе все эти «паханы», «воры в законе» и прочие — выросшая из грязи и крови преступная аристократия. Она была создана новой властью взамен той, старой

родовой русской аристократии, так мозолившей глаза и раздражавшей простого мужика в прямом и лагерном смысле (на лагерном жаргоне «мужик» — человек впервые попавший за решетку).

О московских тюрьмах написано много и еще много будет написано. Но сейчас мне хочется выйти из этой главы, как из самой тюрьмы. Неестественное положение людей, замкнутое пространство, специфический запах — все это давит на психику. Когда за твоей спиной лязгает железный засов и ты оказываешься на улице, среди людей, то как хорошо глотнуть вольного воздуха и поскорее уйти подальше от толстых тюремных стен.

## ИЗОБРЕТАТЕЛИ И ФАНТАЗЕРЫ

*Россия — страна талантов. — Привычки Сталина. — Злые языки. — Изготовление скелетов. — Забытые таланты. — «Интернационал» на флейте водосточных труб. — Люди и звери. — Оживление и омолаживание. — Кровопускание. — Передача мысли на расстояние. — Михаил Чешко — изобретатель изобретенного. — «Человекоизобретальня» анархиста Гордина. — Гибель «Максима Горького». — Приметы и предрассудки*

Когда хотят сказать о России что-нибудь хорошее, обычно говорят, что она богата талантами. Таланты у нас действительно были и есть — это факт. После революции их стало особенно много. Может быть, потому, что люди свободу почувствовали, а может быть, потому, что есть было нечего, надо было как-то проявить себя. Не знаю. Точно только можно сказать, что жизнь людей очень изменилась по сравнению с 1913 годом (несколько десятилетий потом наши достижения будут сравниваться именно с этим годом, последним мирным годом в жизни страны перед эпохой войн и потрясений). Теперь, после 1917-го, каждый день приносит столько событий, сколько в дореволюционной российской жизни и год не приносил. Как-то энциклопедист Д'Аламбер сказал, что гений, талант — это тот, кто имеет «наибольшее количество ума в единицу времени». В те тяжелые годы и ум обострился, и время сжалось. Настала эпоха наибольшего количества ума (или безумия) в единицу времени.

Да и как могло быть иначе? Не стало ни Бога, ни царя. Рухнули старые порядки и авторитеты. Новые лидеры заговорили о прекрасном будущем, о том, что скоро весь мир будет жить при коммунизме, когда все будет бесплатно, а золото пойдет на изготовление нужников,

о том, что человек изменит русла рек, передвинет горы и пр. и пр.

Стало много праздников. Они были и коммунистические, и церковные. Распоряжением президиума Московского Совета рабочих и крестьянских депутатов от 17 сентября 1918 года праздничными днями признавались: 1 января — Новый год, 9 января — Кровавое воскресенье, 12 марта — низвержение самодержавия,

18 марта — День Парижской коммуны, 1 мая — День Интернационала, 7 ноября — День пролетарской революции, 7 и 8 января — Рождество, 19 января — Крещение, 7 апреля — Благовещение. Кроме того, праздничными считались два дня Пасхи (суббота и понедельник, помимо воскресенья), Вознесение, Духов день, 19 августа — Преображение, 28 августа — Успение Божьей Матери. Таким образом, насчитывалось семнадцать праздничных дней. К тому же в канун Рождества и в пятницу Страстной недели занятия, то есть работа в учреждениях, должны были заканчиваться в 12 часов дня.

Как бы быстро ни летело время, что бы ни творилось в стране, а привычки не исчезали. Быт оставался бытом, таким как он сложился за много лет и у «бывших людей», и у революционеров.

Даже Сталин сохранял свои привычки в быту. С. Е. Прокофьева (она была женой Г. Е. Прокофьева — заместителя наркома внутренних дел, расстрелянного при Ежове) вспоминала: «Летом 1931 или 1932 года мы с мужем (Г. Е. Прокофьевым — одним из руководителей ГПУ) жили на даче, недалеко от Зубалово, где были дачи Сталина, Ворошилова, Микояна. Однажды, когда мы гуляли по лесу, встретили Сталина. Он предложил нам пойти к нему чай пить. “Вас будет поить моя хозяйка”, — сказал он с явным удовольствием. Мы пошли, пили чай из самовара, а дочь Сталина, Светлана, открывала его кран маленькой ручкой. Когда Сталин смотрел на нее, глаза его тепло лучились. У Сталина была очень скромная обстановка, даже убогая. Чай пили из разных чашек. Сервиза не было».

Москвичи всегда любили пить чай. Это у них вошло в привычку. Существовало немало и других милых ста-

рых привычек: интересоваться прогнозом погоды, беседовать на завалинке у дома или у колодца, выставлять герань на подоконниках, зимой укладывать между рамами вату, посыпая ее разбитыми елочными украшениями и кусочками серебряной бумаги, держать в доме кошек, солить на зиму огурцы и капусту, сушить белье на морозе и много-много других. Сохранилась в Москве и одна из самых древних привычек — привычка распространять слухи и сплетни.

Когда в 1923 году заболел Ленин, по Москве поползли слухи о том, что он помешался, стал совсем как ребенок, говорили также, что он давно умер. Тогда об этих разговорах писалось в газетах и они не считались преступными. За последние годы царствующая династия подготовила почву для распространения сплетен про руководство страны. Уважение к властям, копившееся веками, было утрачено при последнем государе. А ведь формировалось уважение не только благолепием царского дома, прессой, церковью, но и уголовным законом. По Уложению царского времени смертная казнь не полагалась даже за умышленное убийство, а за угрозу убийством государю императору полагалась. Угроза наказания тогда исходила от центральной власти. Теперь, после революции, жестокости творились от имени народа, и народ почувствовал себя на какое-то время силой.

Сила эта старалась выжить. Одни люди верили в революцию, ждали хорошей жизни и терпели, другие — ничего не ждали и проклинали время, в которое им выпало жить. Были, конечно, и такие, которые вообще любили все ругать. Они брюзжали намного больше тех, кто действительно в результате революции много потерял. Они шутили по поводу смерти Ленина. Например: Минин после помещения тела Ленина в мавзолей говорит Пожарскому: «Скажика, князь, какая мразь у стен кремлевских завелась?» или: «В шесть часов пятьдесят минут пришел Ленину капут».

У тех, кто боролся за новую власть, такие «шутки» вызывали гнев. Ну а власть, естественно, мимо таких безобразий пройти не могла.

Вот несколько примеров того, как она реагировала на неуважение к себе. Михаил Максимович Жиленков в апреле 1927 года за дебош в Большом театре, поношение советской власти и за то, что бросил в портрет Ленина свою фуражку, был выслан на три года в Курскую губернию. Степан Михайлович Лада за распространение в том же году слухов о расстреле работника мавзолея, допустившего его затопление и повреждение останков вождя, получил три года концлагеря. Петр Степанович Трубин в июле 1929 года был выслан на родину, в Рязанскую область, под надзор милиции, за то, что на Красной площади, у мавзолея, ругал Ленина. Александра Васильевича Степанова в мае 1934 года выслали на два года в Карелию, в район Белбалткомбината, за то, что он во время ремонтных работ на мавзолее, при установке подставки для микрофона, сказал другому столяру, Крылову, что бывают случаи, когда в подобные подставки закладывают динамит. Крылов намек понял и сообщил куда следует. В том же году Леон Григорьевич Фарбьяж в польском клубе на Малой Грузинской улице два раза выстрелил из духового ружья в портрет Сталина и получил за это три года исправительно-трудового лагеря.

Доставалось от власти и шутникам. Андрей Матвеевич Веденеев, которому было тогда двадцать лет, в ночь на 25 января 1934 года позвонил в Кремль и сообщил, что приехавшими с Дальнего Востока лицами готовится теракт против товарища Сталина и других членов политбюро. Шутника нашли с помощью телефонной станции, арестовали и отправили на три года в лагерь. Тот же срок получил Адежан Хайрудинович Сунгатов, который 27 апреля 1933 года пытался проникнуть в правительственную ложу Большого театра. 26 марта 1935 года в комендатуре Кремля был арестован и отправлен в сумасшедший дом Лев Захарович Шахтман. В этот несчастливый для него день он пытался получить пропуск к Сталину или Ворошилову. Ему понадобилось сказать им что-то очень важное.

Шутки с властью стали опасными. Не прощала она и ошибки. Один наборщик районной малотиражки в номере за 26 февраля 1936 года в слове «Сталин» вместо



буквы «т» набрал букву «р». Получил за это три года, но вмешался прокурор, и уже не за ошибку, а за «политическое хулиганство» наборщик был приговорен к десяти годам лагеря.

У хозяев страны были свои проблемы. Они, как Гамлет, не верили в загробную жизнь, но поверили призраку, призраку коммунизма. Эта вера дала им право жертвовать собой и убивать других. Призрак коммунизма выстрадало человечество, призрак отца, очевидно, подстроил Гамлету «друг Горацио». Реальным призрак своего идейного отца, Ленина, Сталин сделал, забальзамировав его труп. Став реальным, призрак укрепил его власть. Казалось, Ленин встанет из саркофага, протянет Сталину руку и их профили станут рядом, как на плакатах.

Остаться нетленным! Это ли не доказательство святости в глазах православных?! А могут ли быть грешны апостолы, стоящие на мавзолее? После смерти и Сталин стал нетленным и лег рядом с Лениным. Я его видел. Он был в маршальском мундире, при орденах. Для нас это не было чудом. Наоборот, это было естественно, что любимые вожди лежат, как живые, рядом. А тогда, в середине двадцатых, для многих это было чудом. На улицах Первопрестольной еще валялись трупы лошадей, да и трупы людей на улицах москвичи еще не забыли. В 1918 году газеты печатали «скорбные списки», в которых перечислялись люди, убитые на улицах и доставленные в морги. Их имена вычитывали родные в столбцах газет. А сколько было таких, про которых никто так и не узнал! Вообще всякая смерть ужасна, а смерть на улице, безвестная, как у собаки, страшна вдвойне.

Души непогребенных по-человечески зывают к совести оставшихся в живых.

Побывавший в 1932 году в Екатеринбурге М. Москвин в книге «Хождение по вузам», вышедшей в Париже, рассказал о посещении музея в доме купца Ипатьева, в котором произошел расстрел царской семьи. Он пишет: «...часть комнат реставрирована и показана в том виде, как при царской семье. В стеклянном шкафчике оружие. Табличка на шкафчике гласит: “Револьвер

и шашка рабочего Верх-Исетского завода Матросова, приведшего в исполнение приговор Екатеринбургского Совета рабочих депутатов над царской семьей». Об участии в расстреле Юровского ничего не сообщалось. Власти понимали, что это подогреет антисемитизм. Хватит одной Каплан, стрелявшей в Ленина.

Прошло много лет, у большевиков было достаточно времени, чтобы захоронить останки расстрелянных. И место захоронения известно, и белочехи не наступали, и о восстановлении монархии в России речь не шла, да и царской семьей семья Романовых (не говоря уж о их домочадцах, расстрелянных вместе с ними) не являлась: царь отрекся от престола и за себя, и за наследника. Но никаких мер принято не было, во всяком случае об этом ничего не известно.

Уважение к покойным — непереносимое условие человечности. Так, по крайней мере, заведено в обществе, не исповедующем людоедство. Впрочем, есть и у нас, нелюдоедов, занятие, претендующее на владение телом усопшего. Занятие это — изготовление скелетов. Занимался им в двадцатые годы в Москве некий Иван Ипатич. Так, по крайней мере, звали его те, кто знал.

Представьте: медицинский институт, в белом кафельном анатомическом зале, где у трупов, как белые черви, копошатся студенты, в уголке находится маленький столик вроде сапожного верстака. «Это, — рассказывал в 1926 году Иван Ипатич, — моя мастерская, где я подготавливаю скелеты к сборке. А начинается все с мацерации, то есть с вымачивания частей тела. Она происходит в подвале». Там, в подвале, запах еще удушливее, чем в анатомичке. Мертвецы лежат на каменных скамьях. В отдельной кладовой стоят большие чаны и высокие глиняные горшки. В них, под крышками, полтора года мокнут части человеческого тела. «Когда мясо отделится от костей, — рассказывал далее Иван Ипатич, — кости белят хлором. Для того чтобы окончательно уничтожить запах, их сушат на солнце, потом собирается скелет». «Скелетист» разъяснял, что не всякий человек годен на скелет. После того как студенты «обрабатывают» покойников, он отбирал на скелеты

молодых, а старых отправлял на кладбище. Это делалось потому, что у молодых кость крепкая. За свою трудовую деятельность, а проработал он тридцать пять лет, Иван Ипатич сделал шесть тысяч скелетов (по двести в год). Его «выпускники» разошлись по школам, институтам. Беспомощные перед юными оболтусами, они равнодушно зажимали челюстями вставленные папиросы и приветствовали живых поднятыми костями кистей.

Скелет является самым долговечным памятником человеку, его носившему и на него опиравшемуся. Лишил его этой привилегии только крематорий, построенный в Москве в 1927 году. Жару в девятьсот градусов скелет не выдерживал. Первыми (для опыта) сожгли двух женщин, умерших в больнице. Первым, сожженным официально, стал рабочий Мытищинской водопроводной станции Ф. К. Соловьев, скончавшийся от воспаления легких.

Интерес к сожжению трупов возник у московского руководства еще в 1925 году. Именно тогда в Москве был заложен завод по сжиганию мусора и устроена выставка по сжиганию трупов в разных странах. А в 1926 году в Москву из Германии привезли две печи для крематория. Сооружение этого предприятия вызывалось необходимостью. С одной стороны, в городе росли население и смертность, а с другой — тридцать два кладбища, на десяти из которых захоронения были прекращены, занимали очень много места — 72 гектара. К тому же одним махом кладбище не уничтожишь, нужно время. Тление продолжается семь — десять лет, а в сырой земле так все тридцать, а ведь только после его завершения можно что-то делать на месте кладбища. То ли дело крематорий — два часа и от человека остается один-два килограмма фосфорнокислого кальция. Положил в урну, закопал — и порядок.

Но вернемся к живым. Сколько смелых, отчаянных мыслей копошилось в их головах. Они хотели к 1940 году построить Волго-Донской канал, провести железную дорогу через Гималаи, построить в Москве, в Охотном Ряду, Дворец труда. В нем должны были разместиться аудитории на сто, тысячу, четыре и восемь тысяч

человек. На крыше — ангар для аэропланов, радиостанция, световая реклама.

В выходявшем в Москве журнале «Культурное строительство» за 1929 год излагались мечты о Москве 2029 года. Предполагалось, что над Москвой из стекла или из другого, более нежного материала будет возведен купол. Он будет укрывать город от дождя и снега, а в хорошую погоду — убираться. Когда будет жарко, жители столицы смогут на специальных подъемниках подниматься на такую высоту, на которой им будет прохладно. Там будут оборудованы места для отдыха. Внедрение в жизнь телеаппаратов позволит москвичам не ходить в гости и на деловые свидания, а встречаться, с кем они хотят, не выходя из дома, и тогда на улицах и в транспорте станет меньше людей. Самолеты будут летать из Москвы во все части света!

Авиация уже тогда входила в жизнь и становилась символом социалистического строительства. В 1924 году Троцкий сказал: «Война будущего — это авиация, помноженная на химию».

В двадцатые годы вообще процветало то, что в последующие годы будет предано анафеме. На станции Жаворонки под Москвой еще в 1930 году существовала Центральная станция по генетике сельскохозяйственных животных. Кое-где красовался лозунг «Генетика — путь к улучшению животноводства». В 1927 году Московский губернский суд оправдал врачей-гомеопатов, сославшись на то, что гомеопатия не является лженаукой.

То, что стало входить в жизнь в шестидесятые-семидесятые годы, появилось в двадцатые. Например, в 1925 году в криминологическом институте профессор В. П. Санчов производил опыты по применению киносъёмки для раскрытия преступлений, снимая места происшествий и следы преступления.

К изобретательству потянулись и малообразованные люди. Русский эмигрант К. Борисов в своей книге, о которой мы уже не раз говорили, писал о том, что Россия в 1923 году страдала двумя болезнями: малярией и страстью к изобретениям. Он отмечал, что в Москве различные технические комитеты завалены

проектами электровозов, подводных дредноутов, летающих автомобилей, а один крестьянин изобрел деревянный велосипед, после того как в каком-то журнале увидел фотографию настоящего. «Девяносто девять процентов из всех этих проектов, — писал Борисов, — безграмотный бред. Народ изобретает то, что давным-давно изобретено».

Конечно, за изобретателей обидно, но не обидно за человеческую мысль в России. Она зашевелилась, задвигалась, забурлила. В 1927 году крестьянин Кобецкий изобрел ветряной двигатель для мельницы, крестьянин-самоучка Кузнецов, тот, который помог отремонтировать знаменитому летчику Россинскому самолет, когда тот сделал вынужденную посадку в его деревне, сконструировал пропеллер для аэроплана, лучше французского, как писали газеты. Он же изготовил самолетные лыжи, усовершенствовал вентилятор. В 1925 году машинист Казанцев придумал железнодорожный тормоз не хуже тормоза Вестингауза.

Первый московский небоскреб — здание «Моссельпрома», стоящее на стыке Калашного и Кисловских переулков, покрасили синей и черной краской так, что создавалось впечатление, будто здание это сделано из стекла. К тому же от того, что черной краской были проведены вертикальные линии, здание казалось еще выше. Очень уж хотелось нам перегнуть Америку.

В 1924 году Арсений Авраамов решил сыграть «Интернационал» и «Варшавянку» на органе заводских труб. Ему предоставили такую возможность. Руководил своим «оркестром» Авраамов во дворе МОГЕСа. Однако техническое несовершенство созданного им инструмента сделало мелодии революционных песен неузнаваемыми для широкой публики. Но кое-какой шум все-таки получился. «Опыт сделан, — писал немного удовлетворенный Арсений Авраамов в журнале «Художник и зритель», — сделан на скромные двадцать червонцев, отпущенных МК на все расходы. Это доказывает отсутствие в замысле утопического элемента. Затратив несколько большую сумму, приспособив к гудкам клавиатуру для сольного исполнения, мы сможем иметь грандиозный паровой орган, готовый к услугам Моск-

вы в любой торжественный момент революционного быта. А быть может, внедримся и в бытовые будни, приветствуя “Интернационалом” начало и конец каждого рабочего дня, оповещая столицу о точном времени и вообще вытесняя и заглушая колокольный звон старой культуры рабочим ревом гудков и сирен, самым тембром своим, много говорящим пролетарскому сердцу». Но идее Авраамова не суждено было осуществиться, да и город стал слишком шумным, чтобы его смогли перекричать заводские гудки.

Какие бы фокусы и изобретения ни выдумывали люди, самым интересным в городе все же были они сами, их поступки, замашки, привычки.

Вообразите такую картину: 3 марта 1928 года. Весенний солнечный день. На Страстной (Пушкинской) площади продаются разноцветные воздушные шарики. Вдруг одна связка шаров, их в ней штук двадцать, вырвалась из рук продавца и полетела в небо. На высоте десяти — двенадцати метров связка зацепилась за телеграфный столб. На площади толпа. Все смотрят на шары и ждут, что будет. Несколько энтузиастов карабкаются на столб. Наконец одному удается достать связку. Он, довольный, спускается на землю и вручает ее продавцу. Толпа расходится. А в наше время стал бы кто-нибудь взбираться на телеграфный столб за воздушными шариками? Сомневаюсь.

Или вот такая картинка: сидит беспризорник на каком-нибудь Сухаревом рынке и через нос протягивает веревочку, из одной ноздри в другую. Фокус? Фокус. А секрет прост. У беспризорника от постоянного нюхания кокаина («марафета») сгнила носовая перегородка и ноздри стали совмещенными.

Показывали люди чудеса и более серьезные. В 1923 году в кинотеатре «Форум» на Колхозной площади выступала Нина Глаголева — «живой арифмометр», как ее называли. Она извлекала за две-три секунды кубические корни из девятизначных чисел, возводила на глазах публики без записей и подсказок в квадрат трех- и четырехзначные, запоминала длинный ряд цифр в любом направлении.

Не успела Нина закончить свои гастролы, как в 1924

году в Москву из Владивостока родители привезли на консультацию к столичным светилам сына — мальчика четырех лет и восьми месяцев от роду по имени Витя. Умственное развитие Вити соответствовало его возрасту, но физическое ушло далеко вперед. Ростом он был с двенадцатилетнего и производил впечатление взрослого мужчины. У него отросли усы, борода. Говорил он густым басом. Мышцы его были развиты чрезвычайно сильно, как и половые органы. Ребенком заинтересовались профессора и медицинские сестры. Но вернуть ему золотое детство не смогли. Нянькам, с которыми он гулял, приходилось не просто. Когда мальчик хотел «пи-пи», они бежали с ним домой. Обращаться с ним в этом случае как с маленьким было небезопасно. Могли заметить посторонние и устроить скандал, позвать милицию.

Фантазию людей будоражили также кинематограф и цирк. Американец Гарри Гудини без всяких приспособлений освобождался от цепей, опутавших его, выходил из запертых на стальные замки тюремных камер, поднимался со дна рек, куда его бросали в ящиках закованном в кандалы. Его любимым трюком было освобождение от смиренной рубашки, когда он висел на балконе небоскреба. 31 октября 1926 года Гудини умер от перитонита, унеся тайны своих трюков в могилу.

С незапамятных времен людей развлекали и пугали чревоушители. Их секрет не могли разгадать многие поколения. Считали, что они говорят животом, а женщины, чревоушительницы, и того ниже. А оказалось, что говорят они так же, как и все люди, — голосовыми связками. Только развиты они у них чрезвычайно сильно, и достаточно слабого дуновения воздуха, чтобы извлечь звук. Правда, звуки получаются или высокие и писклявые, или низкие и глухие, как из бездны. Такими глухими звуками чревоушители пугали верующих еще в храмах Древнего Египта, а также в Средние века. Эразм Роттердамский описывает случай, когда священник, воспользовавшись своими чревоушительными способностями, склонял к сожигательству женщину, угрожая ей муками в аду. Имел место факт, когда другой священник добивался того

же самого от одной вдовы, имитируя загробный голос ее мужа, повелевающего ей не оказывать сопротивления скромному служителю церкви. Вдовица, конечно, не посмела послушаться. Отцом современного чревовещания, или выражаясь научно, вентролокистики, является англичанин Чарлз Эльверти. Вместе с куклой «Мистер Бокс», которая отвлекала зрителей от его чуть шевелящихся губ, Эльверти выступал с 1873 по 1913 год. Его учениками были даже царственные особы: английский король Эдуард VII, дядя Николая II, и принц Мекленбургский, муж королевы Голландии.

Ну а шпагоглотатели разве не удивляли людей? Когда для обыкновенного человека смазывание горла люголем является довольно неприятной процедурой, что же говорить о заглывании шпаги длиной в 55—60 сантиметров! Почему 55—60? А потому, что длина рта и глотки составляет 10—12 сантиметров, пищевода — 25—28, желудка — 20—22. И того 55—60 сантиметров. Заглотить больше человек не может даже тогда, когда глотает не шпагу, а кишку для измерения кислотности. Кстати, впервые исследование желудочного сока в 1777 году шотландский врач Стивенсон провел с помощью шпагоглотателя. Тот заглотал металлический сетчатый цилиндр с кусочками мяса, а через некоторое время цилиндр извлекли обратно. Врач сделал открытие, а циркачу достались лишь собственные слюны.

В цирках щелкали бичи укротителей. Укрощали даже кошек. Укротителем выступал лилипут. Кошки были выкрашены под тигров. Вид у них был весьма свирепый. Однажды они за что-то разозлились на своего повелителя и набросились на него. Цирк огласил истошный крик лилипута. После того как разъяренных животных удалось оттащить, укротителя унесли с арены на носилках под сочувственные стоны зрителей.

Кошка — это, конечно, не тигр и не медведь. Не съест, не искалечит. Люди же, привыкая к большим зверям, начинают и в тиграх видеть кошек. Так случилось с одним служителем зоопарка 18 октября 1926 года, который, разговаривая с сослуживцем, просунул руку



в клетку тигра, желая погладить полосатого друга. Тигр сначала взял в пасть палец «старшего брата», что тому, надо полагать, понравилось, а потом, видимо, решил «погрызть косточку» и отхватил служителю руку.

В июне 1940 года сотрудница зоопарка С. Е. Чудаева решила, наверное, повторить этот эксперимент, на сей раз с белой медведицей по имени «Снегурочка». К удовольствию публики, она кормила медведя мороженым. То ли потому, что мороженое было плохое, то ли потому, что медведица была голодная, но рука бедной женщины оказалась в пасти зверя и была сильно изуродована.

Раз уж мы заговорили о животных, то вспомним не только печальные, но и занятные сцены, происходившие в Москве тех лет с их участием.

29 мая 1928 года в восемь часов вечера у дрессировщика Ивановича из дома 15 по Немецкому (ныне Волховскому) переулку сорвалась с цепи медведица. Она выбежала на Бакунинскую улицу, свернула направо и встретилась с витриной продовольственного магазина. Увидев на ней конфеты и печенье, медведица решила заглянуть в магазин. В дверях она столкнулась с женщиной, не пожелавшей уступить ей дорогу. Произошла небольшая потасовка, в результате которой медведице все же удалось войти в магазин. Здесь она устремилась к витрине и стала поедать конфеты, шоколад, печенье и прочие вкусные вещи. Вскоре за ней примчался озверевший укротитель, который связал животное, обозвал нехорошими словами и увел домой.

1 июля 1935 года из зоопарка сбежала самка козерога. Она промчалась по улице Горького, по Грузинской улице, где ее гнала толпа с криком и улюлюканьем. Особенно усердствовали мальчишки (эти враги рода человеческого — как называл их Диккенс). Наконец козерог со всего маха влетел в открытые двери парикмахерской и врезался рогами в зеркало. Зеркало, конечно, вдребезги. Перепуганные клиенты полезли под стойку в зале ожидания. Наконец, когда парикмахеры опомнились, они позвонили в зоопарк, оттуда приехали «козороголовы» и забрали беглянку.

Да, не все относились к животным по-доброму. Находились мерзавцы, которые изводили животных

как в зоопарке, так и просто на улицах и дворах. В ноябре 1926 года в зоопарке погибла антилопа. В ее сердце нашли булавку. Слону подбросили хлеб с куском бритвы, а в клетке у льва нашли патрон. Кто-то надеялся, что он взорвется, когда лев начнет его грызть. Дирекция зоопарка в конце концов была вынуждена запретить посетителям кормить животных.

Но никто не мог запретить людям кормиться животными и птицами, и не только мясом кролика, курицы или барана, но и голубями. В 1923 году живший в доме 11/13 по Трубниковскому переулку Довгун решил есть голубей (время было действительно голодное). Довгун сделал сеть и приладил ее к кухонному окну, выходящему во двор. На подоконник он сыпал хлебные крошки. Когда голуби слетались на крошки, он дергал за веревочку и сетка накрывала голубей. После того как управдом Рыбин по просьбе жильцов сломал сеть, чтобы Довгун не держал окно открытым и не выхолаживал квартиру, Довгун стал заманивать голубей в пространство между рамами. Как только голуби заходили в это пространство, пожиратель голубей дергал веревку, наружная рама захлопывалась, голуби оказывались в ловушке. В суде, куда соседи все-таки обратились, один из свидетелей, Налетов, так описывал охоту Довгуна: «...омерзительная картина. Голуби в сетке трепыхаются, а он в ночной рубашке, с засученными рукавами, с перекошенным от ненасытной алчности лицом, душит их одного за другим». Нормальным людям действия Довгуна казались противоестественными. Довгун думал по-другому и в свое оправдание ссылался на то, что соседи защищают голубей по своей религиозной отсталости, так как видят в голубе «святого духа». Против такого довода трудно возражать. Суд тоже не посмел этого делать. Он разрешил Довгуну охотиться на голубей, но с условием, что он не будет застуживать квартиру.

В 1923 году поедание уличных голубей, наверное, можно было оправдать трудностями момента. Но время шло и объектом охоты все больше становилась подмосковная дичь. Даже не верится, что в довоенные, тридцатые, годы на охоту из Москвы можно было отправиться

чуть ли не на трамвае. Недалеко от железнодорожной станции Кунцево (тогда она находилась в 11 километрах от Москвы) водились вальдшнепы и лисицы, а у станции Одинцово, кроме того, — тетерева и зайцы. В Люберцах водились бекасы и дупеля, в Химках и Малаховке — утки, а в Битце — куропатки, вальдшнепы и зайцы. Охотники ехали на охоту с собаками. Для них в железнодорожных кассах продавались специальные билеты.

Богаты были пригороды Москвы и рыбой. В Москве-реке плавали подусты, щуки, судаки и другая рыба, в реке Истре — голавли, щуки, окуни и шереспёры (жерехи), в Клязьме — лещи, налимы, язи, в Лопасне — окуни и лини, в Уче, в двух километрах от станции Болшево, водилась любая подмосковная рыба. Ловили москвичи рыбу также в прудах и озерах. В Кунцевских и Кусковских прудах, как, впрочем, и во многих других, ловили карасей, в Кузьминском пруду помимо карасей ловили окуней, ершей и плотву, из Святого озера в Косино тащили больших щук, а из Люблинского — линей и лещей. В прудах Кучина и Реутова водились раки. Ловить рыбу дозволялось удочками, сачками, перемётами с пятьюдесятью крючками, сетями и бреднями до 20 метров длиной да еще одной снастью, которая называлась «паук».

Животными, охоту на которых никто не осуждал, были мыши и крысы. Охотиться на них в одиночку москвичам было не под силу, поэтому в двадцатые годы существовали специальные отряды для борьбы с крысами, но и они особого успеха в этом деле не имели. На 1 апреля 1929 года крыс в Москве насчитывалось два с половиной миллиона, примерно по крысе на душу населения. Крысы заселяли в Москве 228 миллионов квадратных метров жилой площади, проще говоря, почти всю столицу. Размножались они со страшной быстротой, ведь за год крыса может произвести на свет 860 крысят! В 1930 году они сожрали продуктов в городе на 5 миллионов рублей! Крысы наггели. Они даже не стеснялись людей. Житель Москвы Смирнов с возмущением писал в московские «Известия» о том, что в вечернее время по витрине булочной 63 на Трубной улице бегают крысы. Если бы только там! В 1931 году Москва

по количеству крыс занимала четвертое место в мире после Парижа, Лондона и Гамбурга. Москвичи заставляли крыс на лестничной клетке, в уборной, на кухонном столе и т. д. Те, кто не хотел встречаться с ними, входя на кухню, громко топали перед дверью ногами, стучали по батарее отопления. Во всех московских квартирах жили кошки. На мышей они охотились, но крыс побаивались. В 1931 году Москва объявила крысам войну. Их стали травить по всему городу. В результате количество их снизилось до миллиона шестисот тысяч. Убитых крыс утилизировали. Из их зимних шкурок шили шубы — их мех напоминает выхухоль. На шубку уходило сто тридцать две крысы. Летняя крыса шла на пошив детской обуви. Специалисты утверждали, что ее кожа крепче искусственного шеврета, используемого для этой цели.

В неуравновешенность жизни общественной природа добавляла свою собственную неуравновешенность. В начале января 1925 года в городе так потеплело, что стаял снег и возобновилась езда на колесах. Потепление вызвало и нашествие на город невиданного количества мышей, а в конце февраля — «небывалый доселе, — как отмечала газета «Беднота», — прилет степных орлов». В те годы в лесах Московской губернии водились рыси, которые нападали на людей. Но самым страшным стало появление волков-людоедов. В Вятке, например, они набрасывались на людей прямо на улицах. В Москве до этого, конечно, не дошло, правда, на окраину города волки иногда забегали, ну а в Подмоскowie они совсем обнаглели. В начале февраля 1926 года около Мытищ объявился какой-то бешеный волк. Он загрыз мужчину, разорвал на куски мальчика и покусал, кроме того, еще сорок человек.

Тогда за убийство волков стали давать премии: за волчицу — 20 рублей, за волка — 15, за волчонка — 5.

За убийство живого гуся не давали ничего. Это понятно: гусь — не волк, не съест, руку не откусит. Но бывают и исключения. Во дворе дома 14 по Проезжей улице, теперь это улица Лобачика в Сокольниках, один гусь напал на трехлетнюю Машу Савинкову. Он повалил ее на землю и стал бить крыльями. Когда подос-

пели люди, девочка была без сознания, ну а когда пришел врач, то и вовсе мертва.

Волки, рыси, злющий гусь — все это, конечно, страшно, однако доступно нашему воображению, хотя бы потому, что это звери и птицы нашей весьма средней полосы. Ну а что должен был думать и делать москвич, когда недалеко от станции Поварово Октябрьской железной дороги объявился тигр, да еще какой: большой, полосатый, зубастый? А главное, откуда он взялся в наших лесах?

А взялся он вот откуда. 29 мая 1929 года на поезде № 29 тигра везли из Москвы в Ленинград для того, чтобы обменять на жирафа. Везли его в клетке в сопровождении проводника. Когда поезд проехал Сходню, тот куда-то вышел. Тигр, заметив, что никто за ним не смотрит, сломал клетку и на полном ходу соскочил с поезда. Когда в поезде заметили прыжок хищника, то сообщили в Москву. Сообщение это сильно взволновало всю охотничью братию. Еще бы, могла ли кому-нибудь из наших «вольных стрелков» присниться такая добыча? На поезде и в автомобилях охотники разных клубов, кружков и обществ, возрастов и национальностей, роста и веса двинулись в Поварово. Но прекрасной охоты у них не получилось. Роскошного заморского зверя убили местные крестьяне. Его расстреляли почти в упор. Тигр не защищался, только рычал. Ведь был он не дикий и людей не боялся — в зоопарке его от них отделяла решетка.

За убийство тигра охотников наградили и сняли в кино. Москвичи видели их на экране и восторгались.

Все эти жуткие и даже малоправдоподобные истории будоражили фантазию москвичей, и без того издерганных жизнью. Чтобы хорошо работать, люди должны были высыпаться, а какой может быть сон, когда едят клопы и снятся кошмары?

Случалось, что потрясенные увиденным во сне люди совершали отчаянные поступки.

В ночь на 10 июня 1925 года из окна второго этажа выпрыгнул шофер Гладков, живший на Краснохолмской улице, а в ночь на 4 сентября того же года с третьего этажа выпрыгнул рабочий Осман Ерзин. Он жил в доме 2 по 3-му Краснопрудному переулку. И тому и дру-

гому приснились страшные сны. Живы они остались чудом, хотя и здорово покалечились.

А в ночь на 11 апреля 1928 года на Арбате раздался душераздирающий крик. Кричал мужчина, висевший на карнизе пятого этажа дома 10 (он стоял на углу Арбата и Гodeинского, ныне Арбатского, переулка. Этот переулок соединяет Арбат с Новым Арбатом). Когда мужчину втащили в окно, то выяснилось, что он лунатик и на карниз вышел во сне, но неожиданно проснулся и, испугавшись, сорвался с подоконника.

Самоубийства и помешательства тоже случались. Если древние греки, сойдя с ума, боялись, что на них обрушится небесный свод, люди Средних веков опасались вселения в душу дьявола, то психически больные двадцатых-тридцатых годов XX столетия боялись преследований ГПУ и выдумывали прожекты переустройства общества. Причины самоубийств были самые разнообразные. Как и в прежние времена, люди кончали с собой из-за несчастной любви, из-за неизлечимой болезни. Не редкими были самоубийства из-за бедности. Евдокия Алексеевна Прохорова, например, узнав о том, что ее муж отказался выплачивать ей алименты, 22 мая 1925 года бросилась в пролет лестничной клетки дома 45 по Мясницкой улице (напротив Харитоньевского переулка), но чудом осталась жива. Один молодой человек, фамилия которого нам неизвестна, решил расстаться с жизнью после того, как его исключили из комсомола «за социальное происхождение».

После самоубийства Есенина весной 1926 года в газете «Молодой ленинец» (будущий «Московский комсомолец») появился «Рассказ о пяти повешенных». В нем сообщалось о самоубийствах, совершенных студентами Вхутемаса на Мясницкой. Один студент, участник поэтического кружка «Вольница», повесился в туалете «с зажатым в помертвевших губах папиросным окурком», студентка повесилась, естественно, в женской уборной, написав на стене: «Прощайте, ребята», третий повесился, опасаясь исключения из комсомола за дебош, однако его удалось спасти, и т. д.

Да, нервы у людей были напряжены. И вот такая кар-

тина: второй час ночи на 27 августа 1927 года, угол Армянского и Кривоколенного переулков. По нему идут четыре человека и вдруг в окне первого этажа видят такую картину: на постели, в одном нижнем белье, лежит мужчина и медленно вдавливая себе в грудь нож. Лицо мужчины дергается в ужасных конвульсиях. Один из прохожих, недолго думая, разбивает окно, врывается в комнату и поднимает крик. Прибегает милиционер. Самоубийцу тащат в отделение. Там оказывается, что это восемнадцатилетний артист, эстрадный танцор, и что он не покушался на свою жизнь, а репетировал номер. Вот какие были «номера».

Новому времени такие «номера» были не нужны. Эпоха ковала образ нового человека, создавала для него новые железные рамки. Несоответствие этим рамкам воспринималось некоторыми как несчастье. Тяжела судьба человека, который должен вписываться в какие-либо рамки, идейные или физические.

В Китае, например, из людей делали уродов для балаганов. Одного несчастного неоднократно оперировали и сделали до того похожим на животное, что признать в нем человека можно было лишь после того, как он начинал говорить. Другого в самом раннем возрасте поместили в кувшин, и он вырос с тельцем, по форме и размеру напоминающим кувшин, но с огромной головой. Советские люди читали об этом и ужасались.

Интересные темы, волновавшие москвичей, затрагивало и радио. В Москве в двадцатые годы были две радиостанции: имени Коминтерна и имени Попова. Их передачи некоторые москвичи слушали по своим детекторным приемникам. Помимо опер, концертов, боя курантов Спасской башни в семь часов утра, лекций о международном и внутреннем положении, «Радиопионера», уроков английского языка и телеграфной азбуки, можно было услышать лекции и беседы на такие темы, как «Можно ли улучшить человеческую породу», «Жизнь человека до рождения и после смерти», «Когда прекратится жизнь на Земле», «В чем душа держится», «Чудеса исцелений от болезней», «Внушение и гипноз в мире преступности» и, наконец, «Возможно ли скрещивание между челове-

ком и обезьяной». Людям, наверное, представлялась тогда заманчивой мысль о том, что плод такого скрещивания может стать сильным и бесстрашным чудовищем, которое можно будет посылать вместо себя на войну. Такое вольномыслие продолжалось недолго. В октябре 1925 года на радио был введен политконтроль. За содержанием передач стали смотреть ЦК ВКП(б), МГСПС и Главлит.

Чудеса, перемены и открытия окружали людей со всех сторон. Вся страна попала в другое измерение. Изменились границы. Возникли новые государства: Финляндия, Эстония, Латвия, Литва. Изменилась система мер и весов: в 1926 году была введена десятичная (метрическая) система. Вершки, пуды и сажени ушли в прошлое. Изменился календарь. Мы догнали по времени Европу, от которой отставали на тринадцать дней. Не могло не отразиться на нас и изменение масштаба цен. После копеек царского времени миллионы вскружили голову. стакан кваса — миллион. Дети потеряли привычное понятие о числах. Воспитанные на миллионах, они привыкли думать, что лишь с миллиона начинается счет. «Какое-нибудь астрономическое расстояние, — писал все тот же Борисов, — в миллионы километров им кажется совсем пустяковым». Может быть, это помогло нам в освоении космоса? Не знаю. Во всяком случае, детям, читающим «Юный следопыт», приключенческий журнал тех лет, не сиделось дома, их влекли дальние страны и отчаянные похождения. Из них потом выросли многие ученые, принесшие пользу и славу России.

Взрослых тоже влекло к фантазиям. Булгаковский профессор превратил собаку в человека и человека в собаку, в рассказе Бориса Пильняка «Иван Москва» оживала египетская мумия. Жизнь и литература как сообщающиеся сосуды смешивали реальность и фантазию, факты и вымысел. Как-то, на исходе XIX века, Антон Павлович Чехов занес в свою записную книжку такой малозначительный факт: «маленький, крошечный школьник по фамилии Трахтенбауэр». Ему, Чехову, наверное, показалось занятным сочетание крошечного человечка с тяжеловесной и трескучей фамилией. Про-



шли годы. Крошечный школьник, наверное, вырос и превратился в дядю с бородой, но вот в повести Вениамина Александровича Каверина «Черновик человека», которую он начал писать в 1931 году, появился «крошечный гимназистик» Трахтенбауэр, тот самый, из чеховской записной книжки, ничуть не подростший.

Говорят, что М. А. Булгаков вывел в образе Филиппа Филипповича Преображенского своего дядю, гинеколога. И жил Филипп Филиппович в доме 24 по Кропоткинской улице, как дядя, и, как дядя, был профессором. Но были в то время и другие профессора, похожие на Преображенского. Они делали операции, подобные тем, которые делал булгаковский профессор. Конечно, собак в людей они не переделывали, но омолаживание с помощью пересадки половых желез животных производили. Начали заниматься омолаживанием хирургическим путем профессора Штейнах в Вене и Воронов в Париже. Штейнах перевязывал мужчинам семенные канатики для того, чтобы гормоны не растрчивались, а шли на питание организма. Воронов же занимался пересадками. Это был высокий красивый человек с яркими голубыми глазами. На груди его красовалась ленточка ордена Почетного легиона. В молодости он прослужил несколько лет домашним врачом шейха в Каире. Там он обратил внимание на раннее старение евнухов и стал заниматься проблемой зависимости старения от состояния половых желез. В своих занятиях он добился таких успехов, что в Париже сочли возможным назначить его руководителем хирургического отдела «Коллеж де франс». Правительство предоставило ему для опытов овец. Сначала он экспериментировал на них. Овцы стали лучше обрастать шерстью. Тогда Воронов перешел к операциям на людях. Он пересаживал им половые железы обезьян. Первая операция была сделана им 12 июня 1920 года. Его клиентами стали знаменитые врачи, художники, артисты, ученые. Известный драматург и редактор газеты «Котидьен» Шарль Малонто благодаря сделанной ему операции сохранил в свои семьдесят лет свежесть чувств и изрядно надоел парижским дамам своими ухаживаниями. Утверждали даже, что Воронов пересадил яички

французскому министру Клемансо и английскому Ллойд Джорджу. Потом он выпустил книгу под непонятным названием «Греффес Лестисукулер», в которой описал свою научную деятельность, отказался от опытов над людьми, слишком много, видно, было к нему претензий, и вернулся к баранам в африканских колониях Франции. С ними было спокойнее.

Его коллеги в России также занимались омолаживанием людей — это профессора Немиллов, Халатов, Бехтерев, доцент Гораш в Ленинграде, профессора Мартынов, Кольцов, Завадовский в Москве. В клинике профессора Мартынова, в частности, людям пересаживались эндокринные железы макак, котов и овец. Результаты получались противоречивые, но все же были случаи, когда операции способствовали омоложению.

Семидесятидвухлетний профессор медицины Викторов, подвергшийся операции (ему были пересажены яички макаки в клинике профессора Мартынова), спустя год после нее записал в своем дневнике, что у него повысилась работоспособность, он стал легко подниматься по лестнице, не держась за перила, стал ходить большими шагами, спокойно пользоваться трамваем, его волосы потемнели, улучшилось зрение, повысился аппетит, улучшился сон, «начали появляться эротические сновидения и, тоже во сне, довольно энергичные эрекции». Что ж, профессора можно было бы поздравить с такой удачей, правда, если это все ему не приснилось.

Достижения медицины не обошли стороной и зоопарк. Вход в него был тогда с Грузинской улицы. Так вот, пройдя слоновник, в котором томился слон, подаренный Москве бухарским эмиром, а потом клетку с попугаем, который на слова посетителей «попка дурак» совершенно справедливо отвечал: «Сам дурак», можно было подойти к вольеру, в котором находились, судя по табличкам, омоложенный козел, петух, превращенный в курицу, и курица, превращенная в петуха. Некоторые скептики утверждали, что козла подменили, а на клетках с домашней птицей просто перевесили таблички. Возразить против этого было трудно: никто, как назло, не помнил, как выглядел этот козел в молодости.

Все эти опыты будоражили фантазию писателей и научных деятелей.

Немало внимания ученые уделяли крови человека. В 1926 году доктор Манойлов в полукустарной лаборатории, с помощью изобретенного им реактива, определял половую принадлежность крови. Мужская кровь после введения реактива обесцвечивалась, женская — нет. Ученый пошел дальше. Он стал проводить опыты по установлению национальной принадлежности по крови. По его мнению, кровь разных народов окисляется по-разному. В 187 случаях из 222 он определил национальность правильно.

Творческое беспокойство было присуще и доктору из Химико-фармацевтического института при ВСНХ С. И. Чечулину. Он стремился к оживлению удаленных из организма органов. В институте им демонстрировался опыт по оживлению отрезанной собачьей головы. Голова была соединена со специальным аппаратом трубочками, через которые в нее подавалось «орошение». Доктор долго бился над изобретением раствора, способного обеспечить жизнедеятельность отрезанного органа. Необходима была жидкость, которая несла бы в себе кислород. Ничего не придумав, он стал использовать в своих опытах кровь собаки. Чтобы кровь не сворачивалась, применял немецкий препарат «Бауэр-205», или «Германик». Собачья голова в его лаборатории жила три с половиной — четыре часа. Рефлексы ей были не чужды, но преданных взглядов на Чечулина она не бросала. Не заслужил, значит.

Да, немало собак стало жертвой экспериментов. Но жизни их не пропали даром. Заработали на «искусственном питании» сердце, почки, легкие и другие органы человека. Так вносили свой скромный вклад в спасение человеческой жизни никому не известные Шарики и Жучки.

В 1930 году Москву потрясла история, произошедшая в Ташкенте с профессором Михайловским. Было известно, что еще в 1928 году этот профессор переливал людям кровь обезьян. Теперь же он заявлял, что мертвого человека можно оживить, надо лишь промыть ему кровь. Профессор сообщал также, что пока он производит опыты на животных, но скоро, по получении из Франции специального препарата для промывания крови, он

проведет опыт на человеке. В Париже в то время действительно рекламировался кровеочиститель «авранин», его-то, по всей вероятности, и имел в виду профессор из Ташкента. Этот «авранин» реклама представляла как индийский бальзам, излечивающий от всех болезней.

Тот это был бальзам или не тот, не знаю, но известно, что 30 июля 1929 года профессор умертвил морфием бродячую собаку, выпущенную из нее кровь промыл и должен был уже приступить к оживлению животного, как вдруг в этот самый момент его позвали принимать зачеты у студентов. Он оставил собаку на попечение своей жены, являвшейся его же ассистенткой, и вышел из операционной. Когда он вернулся, собака так же тихо лежала на столе, солнце заигрывало с водой в стеклянном графине, но ни жены, ни собачьей крови не было. Оказалось, что жена вылила ее в раковину. Опыт не удался. Труп бедного животного выбросили на помойку, а профессор назначил новый опыт на 5 августа. Утром этого дня его нашли убитым, с огнестрельной раной на левом виске. Рядом лежал пистолет. В предсмертной записке Михайловский обращался к жене и теще, которые, как он считал, его не оценили. Он писал, в частности: «Повсюду темнота и удушье. Везде этика, тактика и политика обильно сдобрены многоэтажным слоем лжи. Я запутался в лабиринте разнообразной по форме и по строению лжи и превратился в какого-то самому себе немилостивого бездельника...» Вдову подозревали в убийстве профессора. Считали, что она, как верующая, сорвала опыт и убила мужа, стремясь не допустить воскрешения из мертвых бездомного кобеля. Москвичам оставалось по этому поводу только гадать.

А в самой Москве, как и до революции, в двадцатые годы существовали заведения, в которых кровь выпускали из человека, а не из собаки. В переулках Заяузья можно было встретить старую железную вывеску над входом в полуподвал. На ржавой вывеске был изображен палец, направленный в сторону двери в заведение, и орудия парикмахерского искусства: ножницы, помазок, бритва. Рядом — подбородок с русой бородкой. В общем, это была вывеска старой цирюльни. Но

в заведении не стригли и не брили. Если бы вы попросили об этом хозяина, он бы сослался на то, что бритва не в порядке, или на то, что воды нет. Правда, бритва, ремень для ее точки, фиксатуар для волос имели место быть, но всего лишь для декорации. Главное помещение «цирюльни» находилось за дверью, закрытой шторой. Комната, которая там пряталась, была невелика. В ней находились стол, стулья, кровать. На столе стояли стаканы странной формы, а рядом с ними небольшие деревянные кубики с четырьмя острыми пластинками. Пластинки прикреплялись к пружинкам, пружинки соединялись с крючками, похожими на курок пистолета. Стоило только спустить курок, и острые пластинки выскакивали наружу. Если прижать такой кубик к руке, то, спустив курок, можно было легко сделать надрез на руке и пустить кровь. Вот такое заведение, такая услуга. Оно имело своих завсегдатаев. Особенно оживленно в «кровопускальне» бывало в банные дни, когда хозяева Якиманских переулков, «болотные дельцы» (с Болотной площади и улиц), «охотнорядские воротилы», напарившись, искали здесь успокоения и блаженства в избавлении от распиравшей их сосуда крови. Когда клиентов становилось слишком много, хозяину помогали жена и дети. Пущенную кровь собирали в стаканы с толстыми краями. Надрезов обычно делали три-четыре. Чтобы кровь шла быстрее, «хирург» бросал в банку горящую бумагу и прижимал банку к надрезу. Кровь шла быстрее, клиент, как теперь говорят, «балдел». Услуга эта стоила рубля три. Среди замоскворецких кровопускателей известностью пользовались Иван Петров и Павел Калявин.

Люди образованные решали вопросы посложнее.

Проблемы жизни, смерти человека, его способностей очень волновали ученых того времени. С Запада к нам по этому поводу тоже проникали кое-какие мысли. Но по смелости им с мыслями москвичей было тягаться трудно. Способствовало такой смелости мысли то, что с русской науки в эти годы была снята церковная цензура. Эксперименты на людях казались мелочью по сравнению с экспериментом, проводимым над нацией. Кроме того, нужды мировой революции, построения

общества людей нового сорта требовали смелого вторжения в природу и психику человека.

Много внимания ученые стали уделять передаче мысли на расстояние. В Москве существовала секция «Общества неврологии, рефлексологии и биофизики» при Институте по изучению мозга. К 1927 году лаборатория секции провела пять тысяч опытов по передаче мысли на расстояние и не выявила ни одного неспособного к передаче или приему мысли субъекта. Было, правда, отмечено, что особенно хорошо передаются мысли между людьми, сходными по умственной деятельности. Мысли передавались не только внутри Москвы, но и из Москвы в Подольск и даже в Саратов.

Владимир Леонидович Дуров, основатель знаменитого «уголка», внушал свои мысли собакам. Делал он это так: подзывал к себе собаку по кличке Лорд, брал ее голову в свои руки и строгим взглядом смотрел в ее умные глаза. Воля собаки таким образом парализовывалась, она всецело была во власти своего хозяина. Дуров до полного забвения окружающего мира сосредоточивался на мысли о столе и лежащей на нем книге. Он представлял перед собой ножку стола, его поверхность, книгу, лежавшую на ней. Запечатленные таким образом детали передавались им непосредственно в глаза Лорда. Затем Дуров командовал: «Иди!» Лорд подходил к столу и брал книгу. Был ли в этой книге кусок колбасы, не сообщалось.

Инженер Кажинский сконструировал для проведения опытов даже специальный металлический изолятор. Этот изолятор соединялся с землей проводом (заземление). Дуров влезал в изолятор и из него внушал собаке свои мысли, а инженер Кажинский то заземлял изолятор, то отключал заземление. Эти опыты проводились с целью проверки теории об излучении человеческим мозгом электромагнитных колебаний, позволяющих передавать мысли на расстояние.

Выдвигались и другие смелые предположения и гипотезы. В 1928 году в Днепропетровске и Париже вышла в свет книга советского врача-венеролога Фридлянда «За закрытой дверью». Автор не только живо и обстоятельно рассказывал о жизненных

ситуациях, в которые попадали его клиенты, но и делал определенные научные выводы. Интересен его пассаж о причинах гомосексуализма. Вот он: «...причина гомосексуализма в том, что зародыш получает в какой-то доле своей половой железы деталь, соответствующую особенностям женской половой железы... Стоит только отыскать дефект в строении органа и удалить его из организма, чтобы восторжествовала норма». По мнению Фридлянда, у гомосексуалистов соотношение верхней половины туловища к нижней 100:108, а у нормальных людей 100:100.

Не забудем, что это говорилось в 1928 году, то есть через три года после того, как знаменитый Ломброзо в «Дневнике подростка», вышедшем в 1925 году, утверждал, что проститутками рождаются.

Омоложение человека, оживление его, передача мыслей и другие, заимствованные из сказок, идеи соответствовали эпохе, в которую люди «рождены, чтоб сказку сделать былью». Недостаток научных знаний и возможностей для исследований заменялся смелостью и фантазией. Кроме того, интеллигенция благодаря таким скороспелым невероятным открытиям стремилась повысить в глазах властей свой авторитет. А это для людей, вышедших из непролетарских слоев, в то время было очень важным. От их научных успехов иногда зависели не только материальные блага, но и сама жизнь.

Творцам из пролетарских слоев в этом отношении было проще, но у них были свои проблемы. Они были скромны и не умели поднимать шум вокруг своего имени. В 1927 году самоучка-математик, изобретатель логарифмической линейки Курилко, влачил полугодное существование. Не лучше обстояло дело и у сочинителей из народа. Старик Ожегов, сочинивший песню «Чудный месяц плывет над рекою», ходил едва ли не «с ручкой», собирал хлеб; автор песни «Бывали дни веселые» Горохов умер в канаве под Малоярославцем, всеми забытый; рабочий поэт Шкулев, чью песню «Мы кузнецы и дух наш молод» так часто пели тогда, лежал в деревне, разбитый параличом и всеми забытый.

Да, нелегкая им выпала доля. Мне понравилась шарада из «Вечерней Москвы», сочиненная в 1926 году, в которой слово «доля» было зашифровано так:

Предлог шараду начинает,  
Кончает же одна из ног.  
А вместе все — один клянет,  
Другой, напротив, — восхваляет.

Эта самая доля одних изобретателей одаряла сумой, а других — тюрьмой. На то были разные причины.

Михаил Алексеевич Чешко родился в 1893 году. С одиннадцати лет он начал работать. Работал курьером, половым в трактире. В 1908 году (ему тогда шел пятнадцатый год) на нервного смышленного мальчика обратил внимание человек с «бескрайней» фамилией Океанов, оккультист и хиромант. Он сделал из Миши своего медиума. Тот отгадывал сны и предсказывал будущее. Они разъезжали по России. Афиш, плакатов и снимков, рекламирующих творимые ими чудеса, хватило бы на целый грузовик. Постепенно слава об отроке, слышащем голоса из загробного мира, разрасталась и дошла до дворца. «Чудесного мальчика» пригласило к себе царское семейство. После подзатыльников в трактире на Мишу свалились слава и деньги. Последние, как вспоминал потом Михаил Алексеевич, у них с Океановым водились саквояжами. Миша полюбил их со всей страстью, присущей юному чувству. Но Фортуне что-то не понравилось в его взгляде, и в 1911 году его заподозрили в получении мошенническим путем 17 тысяч рублей. Океанова смыла волна событий, а его, Мишу, посадили в тюрьму, но вскоре, правда, выпустили. Следствие тянулось бесконечно долго. Наконец, когда в 1914 году началась война, про него совсем забыли. К Михаилу Алексеевичу тогда вернулись силы, и он кинулся помогать отечеству. Его чаще всего можно было встретить в разных благотворительных организациях. Именно в них Михаил Чешко учуял особенно стойкий аромат купюр царского времени. Он создал для помощи голодающим «Всероссийский братский союз», который просуществовал аж до 1923 года. Особенность всех благотворительных организаций, в которых сотрудничал Чешко, состояла в том, что средства действительно собирались, но не расходовались, во всяком случае, на цели благие. В связи с этим Чешко дважды арестовывали, даже судили. В тюрьме Михаил Алексеевич,



как говорится, «закошил»: он стал требовать принятия параша в Лигу Наций и угрожал Чемберлену исключением из ВКП(б). Его направили на исследование в Институт судебной психиатрии имени профессора Сербского. Оттуда он сбежал. Когда его задержали чекисты, он убедил их в своем пролетарском происхождении и в том, что натерпелся от царских ищеек и тюремщиков. Заподозрив в словах Чешко правду, чекисты его отпустили. Михаил Алексеевич, который, надо отдать ему должное, никогда не тянулся к высоким государственным постам, и на этот раз нашел свое скромное место под солнцем. Он стал уполномоченным по Москве и ее окрестностям по проведению американских аукционов (заграница тогда скупала в России ценности) и сбору пожертвований по подписным листам, а в 1926 году мы видим его уже заведующим лотерейным отделом тифлисского (Тбилиси тогда назывался Тифлисом) общества «Друзья детей». Остап Бендер ходил тогда в рваных ботинках, строил из себя сына лейтенанта Шмидта и бредил о Рио-де-Жанейро. Чешко же уже тогда понял, что всем этим благотворительностям и «обществам защиты детей» скоро придет конец. Он решил переквалифицироваться в изобретателя. Изобретать он стал в области вычислительной техники. Ни ЭВМ, ни компьютеров тогда не было. Вершину человеческой мысли в этой области олицетворяли счеты с деревянными костяшками и арифмометр. Учет же стал одним из главных столпов нового социалистического государства. Считать нужно было много. Не случайно в тридцатые годы арифмометр стоил полторы тысячи рублей. Для сравнения скажу, что бенгальский тигр стоил в то время 3 тысячи рублей.

В основу своего изобретения Михаил Алексеевич положил старый счетный прибор, заменив в нем одну железную деталь на картонную. Выпускать новый прибор должна была артель «ИРТ» (ее название состояло из согласных, входящих в слово «изобретать»). Под будущее чудо техники Чешко собрал в разных организациях и конторах почти 40 тысяч рублей, но тут в его деятельность вмешался МУР. Чешко кинулся в прокуратуру. Здесь ему поверили. Дело было прекращено, а

помощник прокурора республики написал даже письмо заведующему Центральным бюро изобретений, в котором сообщал о невинности Чешко и о прекращении в отношении него уголовного дела. Чешко удалось заполучить копию этого письма. Он сделал из него выписку, приложил ее к своим письмам, выполненным на типографских бланках, которые разослал в сентябре 1930 года заказчикам, требовавшим выслать прибор или вернуть деньги. В письмах он ссылался на прокурора республики и предлагал свою задолженность списать за счет государства. (Очень мило, не правда ли?) Вскоре Чешко, надо отдать ему должное, силами артели, состоящей из соседей и родственников, наладил выпуск счетчиков. В целях рекламы он собрал положительные отзывы о своем приборе у сорока московских бухгалтеров. В 1931 году он написал брошюру под названием «Правила пользования счетчиком системы М. А. Чешко», в которой утверждал, что с его помощью можно производить умножение каких угодно чисел, деление с любой точностью и вычислять проценты. На самом деле счетчик был способен автоматически лишь умножать в пределах ста двадцати. В четвертом номере журнала «За социалистический учет» за 1931 год его изобретение было подвергнуто уничтожающей критике.

Когда дело по обвинению Чешко в мошенничестве было возобновлено, его снова арестовали. Из Института судебной психиатрии имени профессора Сербского на сей раз ему сбежать не удалось. Психиатры признали его психически здоровым и отметили в его поведении черты театральности. Чешко покушался на самоубийство, объявлял голодовки, заявлял отводы суду. Ничего не помогало. Тогда он снова вернулся к изобретательству, на сей раз в области медицины. Он совершил мировое открытие, благодаря которому человек избавлялся от всех болезней и мог жить до двухсот лет. Приглашенные специалисты категорически отвергли великое изобретение. В ответ Чешко объявил их ретроградами и вредителями и заявил ходатайство о их отводе. Он уверял суд, что от реализации его препарата государство получит золота столько, сколько не поместится в зале суда. Но и это

было напрасно. Судебная коллегия по уголовным делам Московского городского суда под председательством Е. М. Львова не поддавалась на искушение и 31 августа 1934 года признала Чешко Михаила Алексеевича, с низшим образованием, застройщика дачи в Мамонтовке, виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 169 части второй Уголовного кодекса РСФСР (мошенничество), и осудила его на пять лет лишения свободы с поражением в правах. Патент Чешко на изобретение счетчика был аннулирован.

Были и другие изобретатели печального образа.

Врач Сергей Семенович Кудрявцев, лечивший в Институте патологической физиологии, придумал способ лечения людей смесью лекарства от сифилиса (сальверсана) и яда (стрихнина). Когда один из пациентов Кудрявцева, Еселевич, умер после проведенного ему таким образом лечения, Кудрявцева привлекли к ответственности и дали год исправительных работ по месту работы. Заодно суд объявил общественное порицание директору института профессору Семену Сергеевичу Халатову. (А еще говорят, что от перемены мест слагаемых сумма не меняется!)

Дмитрий Павлович Григорович при царском режиме работал конструктором на авиационном заводе Щетинина. Скопив деньги, он приобрел собственный заводик. В те времена авиастроение не было столь дорогим делом, как теперь. На своем заводе он сконструировал самолет не хуже иностранного. Когда после революции завод национализировали, Дмитрий Павлович остался работать на нем конструктором. Сначала все было вроде бы ничего. Завод выпускал аэропланы, Григорович конструировал новые. Но со временем обстановка на предприятии стала меняться, на бывшего владельца стали смотреть косо, не доверяли ему. Ну и Дмитрий Павлович стал не тот. Запил, стал нелюдим, допускал ошибки в расчетах. В конце концов им заинтересовались работники ГПУ. Подход у них был простой: если ответов на поставленные вопросы найти не удавалось, они их сами придумывали. Короче говоря, Григоровича арестовали и обвинили в том, что «он, работая в опытном отделе самолетостроения авиатреста, орга-

низовал группу и в течение 1926—1928 годов создавал заведомо непригодные самолеты (И-2, И-2бис)». В сентябре 1929 года Григорович по статье 58-7 УК РСФСР (вредительство) получил десять лет концлагеря, но уже в апреле 1930 года его досрочно освободили. Нашлись умные люди, которые поняли, что не так уж много у нас авиаконструкторов, чтобы использовать их на земляных работах.

Авиация, полеты в стратосферу в те довоенные годы были в большом почете, не меньше чем в семидесятые — полеты в космос. В кинофильме «Цирк» неповторимая звезда российского экрана Любовь Орлова совершала полет из пушки на Луну, под купол цирка. Но то было в кино, а в жизни было ли такое? Оказывается, было. Артист цирка П. С. Гамза, инженеры С. А. Речинский и А. Л. Балабан создали аттракцион «Пушка» и гастролировали с ним по стране. Летом 1938 года они приехали в Москву и выступали в парке МВО, в Лефортове. Из сконструированной ими пушки совершали полет над головами зрителей и падали в специально поставленную сетку полетчица Мирошниченко и полетчик Платонов. Как-то Мирошниченко неловко приземлилась на сетку и повредила руку, а 30 июня Платонов перелетел через сетку и, упав на землю, разбился насмерть. Техническая экспертиза, в которой принимал участие даже знаменитый укротитель львов Борис Эдер (это его львы в кинофильме «Цирк» позорно бежали от изобретателя Скамейкина), содержала выводы о том, что в своей гибели виноват сам Платонов, который «добавочным толчком своей мускульной силы вызвал перелет через сетку». Свой вывод эксперты мотивировали тем, что несчастный случай с Платоновым произошел при выполнении пятого полета, то есть четыре раза Платонов летал нормально, а на пятый — взял и оттолкнулся. Изобретателей номера суд оправдал. Верховный суд оставил приговор без изменения. На месте гибели смелого полетчика не осталось ни креста, ни камня.

Не каждому было дано совершать такие поступки, как Платонову. Жизнь диктовала людям свои скромные условия, и они их принимали. В 1925 году пешком из Ялты в Москву пришел журналист Донской. Он пот-

ратил на свое путешествие семьдесят дней и три пары ботинок. Вряд ли его поступок мог тогда кого-нибудь удивить. Добираться до Москвы своим ходом — дело не новое. Не каждый в нашей стране имел лошадей, это, во-первых, а во-вторых, не всегда в ней были автомобили, поезда и самолеты. В начале же, да и в середине двадцатых годов с транспортом было так плохо, что некоторые предпочитали ему собственные ноги, и шли в Москву учиться будущие студенты из Перми, Екатеринбурга, Астрахани и других далеких городов.

Кому в Европе могла прийти в голову мысль пройти такое расстояние не ради славы или денег?

Изобретать невероятное для русского человека всегда приятнее, чем обыденное. Может быть, отчасти и поэтому русские оказались в космосе раньше других, а шведы изобрели примус. Прожектками политическими наша страна тоже не обделена. В Москве, на Тверской, напротив кинотеатра «Арс» (теперь там драматический театр имени Станиславского) в начале двадцатых существовал клуб анархистов. Потом клуб закрыли и его завсегдакаи переместились в столовую неподалеку, также на Тверской. В ней кормили со скидкой только изобретателей. К изобретателям были приравнены писатели и сочинители политических манифестов. Скидка на питание, таким образом, стимулировала политическое творчество. При входе в столовую красовалась вывеска: «Изобретатели всех стран — изобретайтесь!», а еще через несколько метров другие: «Организуемые всего мира — организуйтесь!», «Отсталый труд есть кража. Анархия есть автоорганизация», «Эстетика я-ям, меня-ям, себя-ям» и плакат: «Столовая анархо-универсалистов (индивидуалистов). Есть пиво». В столовой на столах книжонки: В. Л. Гордин «План человечества», «Аксиомика языка АО», «Выведение из всех тупиков-разрух, или Путь к бессмертию». Откроем одну из них. На титульном листе читаем: «Перевод с языка Человечества АО и Скороизобретален. Издание Всеизобретальни. Напечатано во внесоветской Аотипографии. Аоград Москва, Аоулица (Тверская), 68, Аопереулук (Благовещенский), 5. 2-й год по изобретении Человечества». Автор книжки, В. Л. Гордин, анар-

хист, не чуждый литературного творчества. «Мой труд именем “Социофилософия”, — пишет он в предисловии, — пал жертвой моих “грехов молодости”, пропал в М. Ч. К. во время моего ареста по поводу бомбы в Леонтьевском переулке». В 1919 году анархисты взорвали там дом 18, при этом погибло несколько видных большевиков. Наверное, пребывание в ЧК отбило у Гордина любовь к анархизму, и он, отказавшись от своих идейных отцов — Прудона, Бакунина и Кропоткина, — придумал «всеизобретательство», теорию весьма невразумительную, вместившую в себя анархизм, коммунизм, толстовство и просто бред сивой кобылы. «Человекоизобретальня, — писал Гордин, — это искусственное общество, в котором нет тюрем, преступников, милиционеров, воров, проституток, развратников, пьяниц, курильщиков и прочей нечистоты, это культурное единение людей, отвергающих религию, науку и искусство, не разделяющееся на народы, национальности, языки, классы...» Как прийти к этому всему, Гордин особенно не размышляет. Неоднократно он декларирует исключительно мирный путь. Только в конце книжки он бросает такую фразу: «За периодом бескровных боев автоматов (танков или аэропланов) между собой без присутствия человека наступит второй период полной защиты». Понимай, как знаешь.

Труд Гордина представляет скорее литературный и исторический интерес, чем политический. В нем содержатся хлесткие характеристики многих общественных и политических установлений, существующих в человеческом обществе. Вот, например, что он пишет о патриотизме: «Патриотизм — убийца, мясник народов, преступник, поджигатель мировых пожаров крови». И далее: «Если отечество есть грабеж и разбой, то национальность, народ — это крупная шайка грабителей и разбойников. Национальный язык есть воровской язык, язык шайки, нужный и применяемый для утаения своих воровских и грабительских замыслов от всего Общества, от Человечества. Национальность есть объединение полулюдей для борьбы с Человечеством — это очаг разнузданного эгоизма и шовинизма» и тут же: «Человечество против всякого интер-

национализма». Не поздоровилось в книге Гордина и семье. О ней сказано следующее: «Семья — очаг грубого эгоизма, семья безнравственна. Семья — есть клоака, публичный дом, место постоянного, самого разнузданного разврата, узаконенного за добродетель... Семья есть воровское гнездо, куда семья стаскивает — утаскивает все от общества. Семья есть разбойничий вертеп, там убивается, сокращается человеческая жизнь, развращается, убивается женщина многодеторождением». Досталось городу и деревне. «Город — очаг вырождения, неврастении, умопомешательства, угашения жизни, болезней, словом, преддверие к могиле. Деревня — это логовище животного в образе человека». Не забыл Гордин и о демократии. «Демократизм — хаос, анархия... Парламент — это говорильня, своего рода публичный дом, где люди торгуют мифом своей давно умершей или мертворожденной совести». Наконец, Гордину принадлежит определение человека как «онанирующего животного». Возможно, он хотел этим подчеркнуть жалкую способность человеческого разума достигать естественного наслаждения своим доморощенным способом.

Желание покончить с прошлым иногда переходило в желание покончить с настоящим. Перейти эту грань было совсем нетрудно. То, что граждан России называли именами Иван, Петр, Степан, Дарья, Лукерья, никого не удивляло. То, что эти имена содержатся в святцах, тоже мало кого беспокоило. Святой, надо полагать, перед тем как стать святым, просто человеком был, его ведь не в честь святого назвали, а в честь отца, деда или просто так, имя понравилось. Тем не менее у сторонников прогресса возникало желание со всеми этими старыми именами покончить и заменить их новыми. Новые решили производить от фамилий выдающихся революционных деятелей и явлений, олицетворяющих время. В 1926 году вышел календарь, в котором были перечислены имена, которые предлагалось дать новорожденным младенцам. Младенцев мужского пола предлагалось назвать Троц, Бакун, Луначар, Черныш, Ульянов, Солидар, Володар, Лавуаз (от Лавуазье), Сен (от Сунь Ятсена), Молот, Рабфак, Проф, Нэп. Было

еще имя Ленмазн (Ленин, Маркс, Энгельс), а младенцев женского пола — Протеста, Револа, Декрета, Энгельсина, Совдепа, Металлина, Пролеткультга, Цика.

Некоторые послушались совета и назвали.

Впрочем, современные имена получили не только дети. На Петровке, напротив Пассажа (теперь этого здания нет), находился большой кондитерский магазин, до революции принадлежавший фирме «Эйнем». В нем были белые кафельные стены и зеркальные потолки. Когда в 1922 году был введен нэп, в магазине появились торты: «Ленин» (он был с шоколадным кремом), «Калинин», «Красный интернационал», «Роза Люксембург» и другие, не менее вкусные и идейные кондитерские творения.

Существует теория о взаимозависимости имени и судьбы человека. («Как вы яхту назовете, так она и поплывет», — поется в мультфильме «Приключения капитана Врунгеля».) Я же в эту теорию не верю. В этом меня убеждает сама жизнь. Милиционер Злодеев, служивший в тридцатых годах в 26-м отделении милиции, не был злодеем, судья Сокольнического народного суда того времени Гамбургер не походил на бутерброд, а сменовеховец Гитлер не мечтал о господстве над миром. Более того, фамилии иногда означали прямо противоположное тому, что делали люди, носившие их.

18 мая 1935 года над Москвой, в Тушине, летел огромный самолет — гордость советского воздушного флота. Назывался он «Максим Горький». В его серебристом брюхе размещалась даже типография, выпускающая газету. Размах его могучих крыльев составлял 63 метра. А его создатель, Андрей Николаевич Туполев, уже мечтал о самолете с размахом крыльев в 100 метров. Туполев говорил, что дальнейшее утяжеление самолета сделает полет еще более надежным и еще более спокойным, менее зависящим от местных атмосферных условий. Строительству огромных самолетов и название было дано, казалось бы, противоречивое: «Тяжелое самолетостроение». Последний полет этого гиганта описал Борис Пильняк в повести «Созревание плодов». «Справа и слева рядом с крыльями “Максима” шли два истребителя. Левый стал отделяться, правый пошел на петлю.



И вдруг правый истребитель вышел из петли, поднявшись над “Максимом”, ударил “Максима” в левое плечо. “Максим” вздрогнул и качнулся, точно хотел сбросить с себя истребитель. “Максим” накренился на правое крыло... Над “Максимом” поднялся черный клуб дыма... “Максим” падал, “Максим” ломался в воздухе, разваливаясь на куски. “Максим” падал кусками на землю... “Максим” упал на лес... основная его часть упала на дом, развалив крышу и повиснув на доме, завалив его собою...» Эта катастрофа потрясла всю страну. Все проклинали летчика, который выдрючивался перед публикой, наблюдавшей за полетом «Максима Горького» на Тушинском аэродроме. Фамилия же этого летчика была Благин.

Ему был посвящен такой стишок:

Тихо реют траурные флаги.  
Вся страна склоняется, как мать.  
Очень нелегко, товарищ Благин,  
О твоей кончине горевать.

В 1934 году Наташа Трусс, работница завода ЦИАМ, делавшего самолеты, поступила в планерно-летную школу. Ей хотелось быть смелой и не отставать от подруг. В сентябре учащиеся должны были прыгать с парашютом. Тогда, чтобы прыгнуть, надо было вылезти на крыло, а оторвавшись от самолета, дернуть за кольцо. Наташа два раза вылезала на крыло, но прыгнуть не смогла. Ей было страшно. Из-за этого на нее рассердился даже начальник аэроклуба, а некоторые стали говорить, что она оправдывает свою фамилию. Наташа не могла этого вынести. Она упростила инструктора поднять ее в воздух. 1 августа 1935 года она нашла в себе силы отделиться от самолета, но это было последнее, на что у нее хватило сил. Потом она потеряла сознание, упала и разбилась. Безумство трусов, как и безумство храбрых, заслуживает уважения. Просто у храбрых оно лучше получается.

Имя, как и даты жизни, — то немногое, что остается от человека на его могиле. Как же не чтить его человеку?

Власти празднование именин раздражало. Особенно раздражало 30 сентября — «Вера, Надежда, Любовь

и мать их София». В этот день было особенно много именинниц. «Известия» Моссовета в 1925 году по этому поводу писали: «...Во что же обошлась Москве именинная кампания? Если на каждую именинницу положить по червонцу, то круглым счетом получится сумма в миллион рублей, брошенных в угоду пустой традиции». Возмущала и традиция отмечать еще один, некрасивый день календаря — 1 апреля. «Вечерняя Москва» за 2 апреля 1935 года по этому поводу разразилась бранью: «Обыватели, пошляки и тупицы праздновали вчера свой годовой праздник — 1 апреля... Всех глупее эта бессмысленная традиция — один раз в год ставить друг друга в глупое положение... — Товарищ Иванов, только что звонили, что Ваш мальчик обварил себя кипятком! Бегите домой!.. А когда Иванов час спустя возвращается, его встречает дружное гоготанье товарищей. И бегали наивные Ивановы к заву, к начальнику, к заболевшей жене... Подумайте, сколько лишних минут и часов было потеряно вчера на фабриках, заводах, в учреждениях. Не пора ли уже кончить с этой пошлейшей “традицией”?» Допускаю, что автора этой заметки здорово разыграли 1 апреля. Разыгрывали москвичи друг друга и в другие дни. Распространена была такая телефонная шутка. Звонили в квартиру и говорили подошедшему к телефону: «Говорят с телефонной станции. Оберните телефонный аппарат мокрой тряпкой. Мы проверяем, как ваш телефон будет работать на индуктивном токе».

Были шутки и поглубе. Как-то 7 февраля 1928 года в милицейском клубе имени Цируля вышел на сцену милиционер и объявил: «Товарищи, печальная история, артисты скончались. Вечер переносится на 11 февраля».

Но таких глупых шуток было мало. В большинстве своем шутки придумывались не злые и даже забавные.

Случались, конечно, и недоразумения. В 1935 году служащий одной из многочисленных контор Кульков поехал отдыхать в Грузию, в Кобулет. Через несколько дней он зашел на почту и дал телеграмму в родное учреждение о том, что умирает от скуки и приглашает друзей приехать к нему. Телеграфистка все перепутала и отбила такой текст: «Кульков умер. Приезжайте».

Весть о безвременной кончине цветущего сотрудника потрясла учреждение, тем более что перед отъездом Кульков роздал долги. Собрали деньги, купили гроб, венки с трогательными надписями и отбыли в Кобулету. Каково же было потрясение приехавших, когда на вокзале их встретил «покойник». По выражению одного из его сослуживцев, «лицо у Кулькова было здоровое, как бомба». Да, хорошо, когда все хорошо кончается! Например, как в довоенной кинокомедии «Девушка спешит на свидание», в которой происходит нечто подобное.

Недоразумения случались не только с отдельными людьми, но и с целыми районами. Руководителям Ерошевского района Нижневолжского края (был такой в двадцатых — начале тридцатых годов в низовьях Волги) пришла телеграмма из Москвы за подписью некоего Воробьева. Смысл телеграммы исказил телеграфист, в результате чего ерошевские начальники решили, что Москва требует от них заготовки воробьев. Переспрашивать они не решились и приступили к уничтожению воробьев. У воробьев в России это была, наверное, единственная Варфоломеевская ночь. Москвичи над этим случаем долго смеялись.

Но как ужасно, когда в сознании людей живут злые, дикие предрассудки! К сожалению, они, как правило, долговечны. Жертвой одного из таких предрассудков стала молодая домработница, деревенская девушка, которую в 1924 году заразил сифилисом ее хозяин, книжный торговец, которому кто-то посоветовал «передать» свою болезнь невинной девушке для того, чтобы выздороветь. Факты такого «лечения» были не единичны.

Существовал еще один дикий предрассудок. Жертвой его стала Мария Зотова. А дело было так: в квартиру 1 дома 39 по 1-й Бухвостовой улице (она соединяет Преображенскую улицу с Краснобогатырской и Богородским Валом) к своим родственникам, Зотовым, приехал из подмосковной деревни Сергей Васильевич Дергачев. Ему тогда было двадцать два года. В начале 1934-го он женился и перешел жить к жене, в другую квартиру того же дома, а в конце июля отправил жену в

деревню проводить декретный отпуск. Вскоре он зашел к Зотовым. Дома была только их дочь, шестнадцатилетняя Маша. Дергачев изнасиловал ее. В октябре Мария сообщила ему, что она беременна. Дергачева это не обрадовало. Сказать о случившемся родителям Зотова побоялась. Нужно было делать аборт. Денег на аборт у нее не нашлось. Дергачеву же их было жалко, и тогда он решил избавиться от Маши. 30 октября он сообщил ей, что нашел врача, который сделает ей аборт. Вечером они встретились на станции Барыбино Павелецкой железной дороги. От станции пошли лесом. Мария шла впереди. Неожиданно Сергей накинул ей на шею веревку и сильно затянул ее. Мария обернулась и полными ужаса и непонимания («за что?») глазами посмотрела на него, потом, захрипев, упала и перестала подавать признаки жизни. Он оттащил тело за веревку подальше от тропинки вглубь леса и стал уходить, но тут вспомнил взгляд Марии и то, что слышал от людей: в глазах убитого запечатлевается образ убийцы. У него была безопасная бритва. Ею он порезал глаза девушки. Когда по лицу потекла кровь, успокоился: никто о нем теперь не узнает. Потом взял Машину сумку, в которой были 43 рубля, галоши и берет, и уехал домой. Наступила ночь. В лесу стало совсем темно и тихо. Маша пришла в себя, почувствовала боль в глазах. Поняла, что лежит на земле: пахло сыростью, под руками шуршали сухие листья и было очень темно. Она испугалась. На небе ни луны, ни звездочки, не видно даже собственных рук, и тут она вспомнила лицо Сергея, душившего ее. Думала закричать, позвать на помощь, но не смогла — голоса не было. Когда услышала шум поезда, решила идти к станции. Спотыкаясь и падая, дошла до платформы. Было по-прежнему темно. Она поняла, что ослепла. К ней подошел милиционер...

30 декабря 1936 года Московский городской суд под председательством В. Ф. Подымова вынес Дергачеву смертный приговор. Его дочери тогда было четыре месяца.

Конечно, не все предрассудки приводили к столь страшным развязкам. Например, члены общества «Элиш Редевус», созданного в начале двадцатых годов

Асикритовым, Ивакиным, Веревкиным и другими, считали возможным «изведение» человека через фотографию. Проще говоря — занимались мошенничеством. До революции Асикритов держал в Москве свое фотоателье. В тридцатые годы члены общества были репрессированы как шпионы и вредители.

Жили в Москве в те годы колдуны и знахари разных видов и мастей. В 1923 году В. Г. Гузов, например, лечил все болезни (кроме слепоты и прогрессирующего паралича) за одну неделю с помощью... изумруда.

В середине двадцатых годов некто Кочетков лечил просто руками и не говорил, что он экстрасенс. Дело было гораздо проще: по совету одного старичка он потерял руки о застывшее облако, которое лежало за сараем, и руки стали лечебными. Кочетков, надо сказать, производил впечатление на своих пациентов. Ему в то время было шестьдесят пять лет. Благообразная внешность и длинная седая борода внушали доверие. На столе в его полутемной комнате горела свеча, лежали череп и толстая «Древняя книга заклинаний и заговоров». Говорили, что лечение его помогало.

В доме 4 по Глухареву переулку (он находится между Большой Спасской и Грохольским переулком) жила гражданка Воробьева. В ее просторной комнате, украшенной роялем, фикусами и кисейными занавесками, устраивали свои бдения поклонники и поклонницы святого «отца Михаила», который изгонял бесов. Страждущие с Сухаревки, Астраханского, Скорняжного, Докучаева, Живарева переулков стекались сюда для очищения и молитвы. Когда все были в сборе, снимали с «отца Михаила» валяный сапог, ставили его в угол, и некая Нина Викторовна, «из благородных», распустив волосы, садилась к роялю и играла от «Возрадуемся братия» до «Со святыми упокой». «Отец Михаил», вооружившись кадиллом, окуривал им свой валенок, и собравшиеся, став на колени, пели под аккомпанемент рояля священные песнопения. Потом пьяный «отец Михаил» блуждал по общему коридору без штанов и безобразничал. Несколько лет «отец» изгонял из своих поклонниц бесов, а они одаривали его кто чем мог. Потом оказалось, что вовсе он не святой, а простой тульский крестья-

нин Михаил Снетков и что он и в Бога-то не верует. В 1928 году его судили и дали три месяца лишения свободы. Так старец «пострадал за веру».

Причиной невероятных слухов могли служить не только суеверия темных людей, но и неосведомленность в науке людей грамотных и в некотором смысле даже образованных, например журналистов. В декабре 1939 года некий Владимир Татаринов в парижской газете «Возрождение» опубликовал статью под мало-понятым названием «Атомная бомба». В ней он писал: «...Достаточно, чтобы в одном каком-нибудь месте земного шара, в одной частной лаборатории, освободили нужное количество внутриатомной энергии, чтобы взрывчатая реакция, искусственно вызванная, пошла бы далее уже вполне естественным путем, уничтожая всю материю и превращая ее в энергию. Остановить эту цепочку взрывов не будет никакой возможности, и мир со всеми его обитателями погибнет огненной смертью». Вот как понял «цепную реакцию» человек «второй древней профессии».

От «ученых» и мистиков в своих фантазиях не отставали и «истинно верующие». В 1925 году они стали распространять письма, в которых сообщали о явлении под Киевом Христа Спасителя двум мальчикам-пастухам: одиннадцатилетнему Николаю Куприенко и четырнадцатилетнему Емельяну Рыщенко. Когда отроки, выгнав скот, сели завтракать, в небе ярко блеснула молния, хотя на небе не было ни облачка, ни тучки, небо на западе вдруг стало розовым, и возник большой, сияющий, как солнце, крест шириной аршина полтора. На верхнем конце креста появился человек, который в один миг приблизился к мальчикам. Испугавшись, Николай сказал Емельяну: «Тикай, бо мабудь нечистый», но Господь остановил их и сказал: «Нет, я чистый». После этого он стал говорить вещи, противоречащие политике партии: ругал обновленцев, призывал не подчиняться властям, говорил об антихристовой печати в виде пятиконечной звезды и прочее, а затем, не проотивившись, исчез.

Другое происшествие случилось в ночь на 14 мая 1927 года. Мещанке Могилевской губернии Домне Чме-

левой привиделся сон: ни с того ни с сего появились перед ней святой Николай в полном архиерейском облачении, в митре, с посохом в руке, преподобный отец Серафим в рясе и епитрахили с деревянным крестом на груди и отец Иоанн Кронштадтский с большой книгой в руке и также в епитрахили. Со святым Николаем она подошла к реке. Берега ее были обрывисты и круты, а на середине находился большой корабль. На корабле было много священников и прочих людей. Корабль украшали красные знамена, звезды и афиши. Погода была тихая, но подойти к берегу корабль не мог. Люди пытались шестью сдвинуть корабль с места, но не могли этого сделать. Вдруг корабль стал тонуть. Увидев такую картину, Домна обратилась к святителю Николаю: «Святитель, спаси этот корабль, ведь много ты помогал плавающим и утопающим. Спаси и этот корабль. Он погибает!» Николай взглянул на корабль, махнул рукой и ответил: «Корабль должен погибнуть. Если ты хочешь знать, что это за река и что это за корабль, я скажу тебе: река — это мир, а корабль — это все царство нынешнее, украшение его — украшение Антихриста. Люди на корабле — это те, кто поклонились ему и дали ему обещание все исполнить». Потом, вспомянула Чмелева свой сон, Николай ругал обновленцев, а у одного архиепископа поднял митру, и она увидела на его челе пятиконечную звезду. «Обновленец!» — вскричала она. Тот засмеялся и отошел в левую сторону, и вид его стал темный... а перед тем как проснуться, увидела Домна, как стоит она перед Голгофой, руки сложены крестообразно, а голос говорит ей: «Вторично меня распяли более как первый раз, а кто распял: архиереи и священники...» И еще ей был голос, чтобы она сказала народу, чтобы он покаялся. Потом ее вывели за дверь, и она больше ничего не видела и не слышала. Тут она и проснулась.

Народ, ходивший в церкви, верил всем этим рассказам. Нельзя не верить тому, чему верят окружающие тебя люди. Так жили в Москве суеверия, фантазии и открытия, пугая и сбивая с толку москвичей и приезжих, готовых поверить чуду и отвернуться от истины, если она не приносит им ни надежды, ни радости.

## ПОЭТЫ

*Восемь тысяч поэтов. — «Кафе поэтов». — «Мансарда Пронина». — Зойкина квартира. — Суд над Сергеем Есениным. — Два поэта. — Несчастные судьбы русских писателей. — Народное творчество*

«Поэты пушкинской поры» ввели в России моду по любому поводу писать стихи. Любители рифм исписали ими девичьи альбомы, деловые бумаги, донесения. Их последователи заполняли своими виршами студенческие тетради для лекций, почтовые открытки, письма. Стихи царапали на стенах подъездов и туалетов. Чуть родившихся, а то и недоношенных, их тащили в редакции газет и журналов в надежде пристроить под своим или вымышленным именем. Казалось, написать стихотворение — это самый короткий и прямой путь к самовыражению.

Можно зевая пройти по Эрмитажу или Лувру, но нельзя обойти стороной собственное творение, будь то первая акварель или напечатанное на последней странице местной газетки стихотворение. Оно завораживает, притягивает к себе, хочется перечитывать его снова и снова. В любви к печатному слову в России, наверное, отразилось ощущение чуда, чуда прикосновения к вечности.

Любовь к поэзии в России связана не только с любовью к печатному слову. Поэзию любят бескорыстно, как самих себя, а то и сильнее, в ущерб себе. Сколько раз стихи приводили их сочинителей в тюрьмы, лагерь, ссылки. Но ни гонения, ни отсутствие таланта не останавливали людей на тернистом пути стихосло-



жения. Богатство языка и свобода словообразования открывают в русскую поэзию широкую дорогу всем, кому надоела проза. XX век в России был веком поэзии и смерти. Революция, Гражданская война не отбили у людей охоту писать стихи. Даже наоборот. В начале двадцатых годов в стране насчитывалось, по скромным подсчетам, восемь тысяч поэтов. Особенно богата поэтами была Москва. Поэтов-профессионалов в ней насчитывалось не менее двух тысяч. В городе существовали десятки поэтических организаций. Объединившись, несколько поэтов создавали новую школу, выпускали манифест. «Ничевоки», «имажинисты», «конструктивисты», «акмеисты», «парнасцы», «заумники» и прочие воевали друг с другом и сами с собой, распались, объединялись, засасывали в свои ряды неискушенных и бездарных. Поэтом мог стать каждый, кого хватило на пару стихотворений. С ними он приходил в Союз поэтов (СОПО), его зачисляли в союз, и он начинал ходить по редакциям и терзать редакторов. В Москву приезжало много поэтов из провинции. Они, как и поэты-москвичи, отбивались от дома, от своего основного дела и превращались в литературных бомжей.

В 1924 году в Москве, при «Моспрофобре», открылась «Студия стихописания». В ней поэты получали пищу духовную. Пищу телесную они получали в столовой СОПО на Тверской. В десять часов вечера столовая превращалась в пивную. За счет нее бесплатно или почти бесплатно подкармливали поэтов. В 1920 году здесь же, в доме 18, — второй дом от Георгиевского переулка в сторону Пушкинской площади (его теперь нет), напротив телеграфа, было «Кафе поэтов». До революции здесь тоже находилось кафе. Называлось оно «Домино». Стены «Кафе поэтов» были расписаны по-современному, а при входе на стене висели распятые брюки Есенина, и вошедшему бросалась в глаза цитата из его стихотворения: «Облаки лают, ревет златогубая высь... Пою и взываю: Господи, отелись». «Кафе поэтов» было единственным в Москве, где можно было в то время (в 1920—1921 годах) съесть пирожное. Из-за отсутствия в стране муки, молока, сахара и других про-

дуктов изготовление пирожных и мороженого запрещалось. 6 августа 1918 года вышло по этому поводу специальное постановление президиума продовольственного комитета Московского Совета, которым воспрещалось «как производство, в том числе и домашнее, так и продажа мороженого всех сортов». Но дело, конечно, было не в пирожных, поэтам нужно общение, а в том неуютном мире, в котором они жили, общение было просто необходимо.

В Москве существовало несколько заведений, где встречались, спорили и пили поэты, и не только они. В 1922—1924 годах в Мамоновском переулке, где теперь Театр юного зрителя, существовало кабаре «Не рыдай». В кабаре выступали Игорь Ильинский, Рина Зеленая, Михаил Жаров, пел романсы приезжавший из Петрограда замечательный русский артист Владимир Николаевич Давыдов. Здесь бывали Маяковский, Есенин. На углу Тверской и Гнездниковского переулков, в доме, который потом был снесен, находилось кафе «Бом». Его еще до революции открыл М. А. Станевский, исполнявший в знаменитом клоунском дуэте «Бим-Бом» роль Бома. После революции клоуны некоторое время находились в эмиграции. Кафе было национализировано, а в ноябре 1919 года в его помещении открылось кафе «Стойло Пегаса». Здесь можно было часто встретить его учредителей-имажинистов: Есенина, Мариенгофа, Шершеневича. В доме 10 по Брюсовскому переулку находились сад-ресторан «Флора» и кабаре «Монстр».

Директор знаменитого петербургского кафе «Бродячая собака», закрытого в 1915 году, Борис Константинович Пронин переехал в Москву. Вместе с женой, Марией Эмильвной Рейнгардт, он жил в квартире 6 дома 32 по Большой Молчановке (дом и поныне цел). Здесь, в ночь на новый, 1923 год он открыл скорее клуб, чем кафе под названием «Странствующий энтузиаст». В этом названии был намек на хозяина. Привычка собирать вокруг себя интересных людей, дарить людям радость общения не покидала Бориса Константиновича. Было ему тогда сорок восемь лет, а жене семнадцать. В кругах московской интеллигенции его квартиру называли «Мансардой Пронина». Бывали в ней Соло-

губ, Гумилёв, Качалов, Москвин и многие другие писатели, поэты, художники, артисты. Приходили и иностранцы. За вход взималась плата: 1—3 рубля. Деньги небольшие, но они помогали поддерживать «Странствующего энтузиаста». Посетители приходили с вином и закуской. На вечерах пели, декламировали, танцевали, устраивали диспуты. Органы НКВД, заинтересовавшиеся этими собраниями, констатировали через своих агентов, что собравшиеся ведут контрреволюционные беседы и черносотенную пропаганду (агентам же надо было что-нибудь сообщать, ведь им платили деньги). Кончилось все тем, что 4 декабря 1926 года Пронина и Рейнгардт арестовали и выслали в Маробласть (Марийской АССР тогда еще не было) на три года. «Мансарда» перестала существовать.

Было в Москве одно злачное местечко. Туда навывались поэты-имажинисты Есенин и Мариенгоф. В «Романе без вранья» Анатолий Мариенгоф пишет: «На Никитском бульваре в красном каменном доме на седьмом этаже у Зои Петровны Шатовой найдешь не только что николаевскую “белую головку”, перцовки и зубровки Петра Смирнова, но и старое бургундское и черный английский ром. Легко взбегаем на нескончаемую лестницу. Звоним условленные три звонка...» Далее Мариенгоф описывает, как они с Есениным попали в засаду, устроенную чекистами, и ночевали на Лубянке. По описанию участника засады Самсонова, квартира Шатовой находилась на самом верхнем этаже указанного дома, на отдельной лестничной площадке, и тремя своими стенами выходила во двор. Попастъ в нее можно было, назвав пароль. Сюда из Туркестана лихие молодцы — «Левка-инженер» и «Почем-соль» — привозили кишмиш, муку и урюк. Квартиру посещали всякие темные личности: дельцы черной биржи и даже шпионы. Чекисты пасли эту квартиру. Когда ее обитатели были арестованы, то чекисты их сфотографировали в тюремном дворе. В десятом номере «Огонька» за 1929 год есть эта фотография. Есенин на ней в шляпе и довольно грустный. Поскольку квартира Шатовой была «веселой», а ее хозяйку звали Зоей, то посчитали, что она и была прообразом булгаковской «Зойкиной квартиры».

Зоя Петровна Шатова помогала в организации кафе имажинистам, анархистам, сама в середине двадцатых годов открыла кооперативную столовую «Красный быт» на Пречистенке. Поскольку она членами кооператива оформила нанятых рабочих, кооператив ее признали «лжекооперативом» и столовую закрыли. Тем и кончилась ее предпринимательская деятельность. Эксплуатация чужого труда в СССР не допускалась.

Поэты разнообразили и украшали жизнь города не только скандалами в питейных заведениях и на вечерах поэзии. Они вторгались в жизнь улиц и площадей. Те же имажинисты расписали стены Страстного монастыря строками своих стихотворений, а потом заказали эмалированные дощечки с названиями улиц: «улица Есенина», «улица Мариенгофа», «улица Кусикова», «улица Шершеневича». Эти дощечки они развесили на домах. Тверская стала улицей Есенина, Петровка — Мариенгофа, Большая Дмитровка — Кусикова, Никитская — Шершеневича.

Один оригинал поставил себе памятник на Цветном бульваре, изобразив себя обнаженным Аполлоном, а не понимающую его искусство публику и злобную критику — собачонкой, хватяющей его за пятку.

Время шло. Поэты выросли, старели, спивались, умирали, но озорство, любовь к острому слову, оригинальной рифме их не покидали.

В 1928 году Владимир Маяковский побывал в ресторане Дома писателей, находившемся тогда в «Доме Герцена» на Никитском бульваре. Ему не понравилось, что в ресторане сидят не столько писатели и поэты, сколько нэпманы, спекулянты и девицы сомнительного поведения (то же в домах творческой интеллигенции наблюдалось и в шестидесятые — восьмидесятые годы), и он написал о своих впечатлениях стихотворение, закончив его так:

...прав один рифмач упорный,  
в трезвом будучи уме,  
на дверях мужской уборной  
бодро вывел резюме:  
«Хрен цена  
вашему дому Герцена».  
Обычно заборные надписи плоски,  
Но с этой согласен

В. Маяковский.

Александр Вентцель, художник, конферансье и сочинитель басен, рассказывал о том, как однажды в курительную комнату при туалете Дома писателей зашел Маяковский. Заметив на двери туалета надпись «Уборная закрыта по случаю ремонта», он предложил придать надписи стихотворную форму. Недолго думая, Вентцель выпалил: «Уборная закрыта по случаю ремонта!» — сделав ударения на буквах «а». Маяковский подошел к нему и поцеловал.

Маяковского многие любили, но многие и ненавидели. Больше недоброжелателей было среди тех, кто любил салонные романы. Они не воспринимали поэта и замечали в нем только грубость и гнилые зубы. Есенина, наверное, любили больше. Его поэзия ложилась на музыку, как девушка на пуховую перину: легко и непринужденно. А как мог не полюбить Есенина человек, не лишенный чувства привязанности к хмельному?

Что же вы ругаетесь, дьяволы,  
Или я не сын страны,  
Или я за рюмку водки  
Не закладывал штаны?

Автор этого четверостишия не мог не стать отголоском каждой пьющей и рвущейся из измученного и усталого тела души.

Власти не преследовали поэта. Сталин его не замечал. Троцкий хвалил, Бухарин свои «Злые заметки» о «есенинщине» написал после его смерти. Есенин печатался, критика его любила. В июньском номере «Огонька» о нем было сказано: «Поэт сейчас, по-видимому, находится в расцвете своего крупного дарования. В каждом новом своем произведении он выступает со всевозрастающим мастерством, в котором зрелость сочетается с разнообразием и богатством настроений и сюжетов. От Есенина и критика, и многочисленные его поклонники-читатели ждут весьма и весьма многого».

Литературный критик П. С. Коган в 1922 году писал о нем: «...бунт Есенина, это крестьянский бунт, без выдержки, бунт непрочный, срывающийся и тем не

менее близкий и сродный социальной революции. Революция близка ему по необъятности трудовых задач, поставленных ею... Есенин — один из немногих поэтов, душа которого бушует пафосом наших дней, который радостно кричит: «Да здравствует революция на земле и на небесах!»»

Осмысливать сказанное критиком порою труднее, чем сказанное поэтом. Одно ясно: из убогой деревенской избы, где он спал на жесткой лавке, Есенин перебрался в особняки, кабаки и отели. Из однородной и ему подобной среды, лица в которой отличались одно от другого разве что количеством веснушек, он перешел в среду разноплеменную, непонятно говорящую и постоянно суетящуюся. В ней он и сам стал невидалью, посланцем иного мира. Он поражал окружающих не только талантом, но и обликом. Говорили о необычайной голубизне его глаз, о розовости его золотых волос.

Илья Шнейдер вспоминал, как однажды, в особняке балерины Балашовой на Пречистенке, Айседора Дункан, оставленная Есениным, погрозила кулаком лепному ангелочку на стене — он был похож на Есенина.

Прошлая деревенская жизнь, конечно, вошла в плоть и кровь поэта. Расставаться с милыми привычками детства нелегко. Бывало, Есенин, вспоминая их, устраивал «театр для себя». Однажды, закончив работать за письменным столом, он дунул на электрическую лампочку, потом щелкнул ее как маленькую непослушную девчонку по носу и уж после этого выключил. Конечно, тот деревенский быт казался примитивным, просты были отношения между людьми, незатейливы драки с товарищами. Теперь, в большом городе, все было иначе. Воздух в нем в те дни, как писал Пастернак, пах смертью. Это щекотало нервы и угнетало душу.

Однажды, вспоминал Шнейдер, пришел Есенин с каким-то человеком и представил его как знаменитость: «Знакомьтесь, Блюмкин!» Это был тот самый Блюмкин, который убийством немецкого посла Мирбаха сорвал Брестский мир с немцами. Блюмкин — чекист. Он достал из кармана пачку ордеров, позволяю-

щих ему по своему усмотрению применять репрессии к врагам революции, и потряс ею перед присутствующими.

Власть палачей над людьми сколь отвратительна, столь и соблазнительна для неокрепших душ. Не могла она не вносить смятение и страх в сердце поэта. Он спустился в трюм российского корабля — в кабак. Русский мужик, даже поэт, в пьяном виде бывает крайне неприятен. Есенина тоже опьянение не украшало. Из души выплескивалось все, что в ней бродило и не находило выхода в трезвом состоянии: подозрительность, страх, бытовой антисемитизм, брань. Скандалы, дебоши сменялись стыдом за самого себя, стыд сменялся желанием заглушить его в себе вином и т. д. Не был Есенин наследственным алкоголиком. Алкоголизм стал его платой за раскрытие собственного таланта в чуждой среде.

Суматошный русский человек, живший в нем, не давал ему покоя. Из Германии он пишет А. Мариенгофу: «...так хочется мне отсюда, из этой кошмарной Европы в Россию, к прежнему молодому нашему хулиганству и всему нашему задору... В голове у меня одна Москва и Москва. Даже стыдно, что так по-чеховски». Но и в Москве, по возвращении, все было не так гладко и хорошо, как хотелось.

Столкновения Есенина с органами правопорядка не являлись редкостью. Остановимся на одном таком случае. 20 ноября 1923 года Есенин вместе с поэтами Орешиним, Клычковым и Ганиным находился в пивной на Мясницкой улице. Как объяснял потом Есенин, они пили пиво и обсуждали издание нового журнала, хотели идти к Троцкому и Калинин у просить деньги. Через некоторое время они заметили, что человек, сидящий за соседним столиком, их подслушивает. Тут Есенин и говорит кому-то из товарищей: «Дай ему пивом в ухо». Началась ссора. Неизвестный назвал Есенина «русским хамом», на что Есенин ответил «жидовской мордой» (многие русские ругательства строятся довольно просто: к слову «морда» прибавляется прилагательное, обозначающее национальность: «еврейская морда», «татарская морда», «английская морда», «французская морда» и т. д.). После таких слов гражданин

вышел и вскоре вернулся с милиционером. Марк Вениаминович Роткин, так звали гражданина, указал милиционеру на сидящих за столом поэтов и назвал их контрреволюционерами. Милиционер пригласил всю компанию в 47-е отделение милиции. Вслед задержанным Роткин бросил: «Русские мужики — хамы!» После того как поэтов увели из пивной, кто-то из посетителей сказал, вздохнув: «Один жид четырех русских в милицию отвел». Потом Демьян Бедный и Сосновский приписали эту фразу Есенину. Рассказывают также, что когда в милиции Есенин позвонил Бедному с просьбой о содействии в освобождении, тот ему отказал. В половине десятого вечера в Мясницкой больнице поэтов подвергли судебно-медицинскому освидетельствованию «на предмет алкогольного опьянения». Все оказались в легкой степени опьянения. Затем дежурный по отделению заполнил протокол-заявление Роткина и допросил задержанных. Ночевали они в отделении. На следующий день, поскольку речь шла не о хулиганстве, а о «разжигании национальной вражды», поэтов препроводили в Московский губотдел ГПУ, где их допросил начальник второго отдела Юрьев. Здесь же был оформлен ордер на личный обыск и арест. Вскоре, по постановлению того же Юрьева, Есенин, Клычков, Орешин и Ганин были освобождены из-под стражи и с них была взята подписка о невыезде. Дело было передано в Московский городской отдел ГПУ, но там оно лежало без движения, а в феврале 1924 года было передано на рассмотрение Краснопресненского народного суда, однако ввиду болезни Есенина (он находился тогда в Шереметевской больнице) рассмотрено не было. 9 мая 1927 года уполномоченный 5-го отделения следственного отдела ОГПУ Гендин прекратил его в отношении Ганина и Есенина в связи с их смертью, а в отношении Клычкова и Орешина — за давностью. Это решение на следующий день утвердил Генрих Ягода.

Эта история не ограничилась уголовным делом. 11 декабря 1923 года, вечером, в Доме печати, слушалось «дело четырех поэтов». Судьями были Керженцев, Касаткин, Нарбут, Аросев, Николай Иванов, Плетнев. Обвинителем — критик Сосновский. Защитниками —



Абрам Эфрос, Андрей Соболев и Вячеслав Полонский. Милиционер Лапин, доставивший всю компанию в отделение, сказал на суде: «Выпьют на две копейки, а скандалят на миллиард». Свидетель Юрьев (следователь ГПУ) рассказал о том, как Клычков на допросе вступил с ним в длинные объяснения по поводу «засилья жидов в литературе». Редактор журнала «Красный перец» Борис Волин рассказал о дебоше, устроенном недавно Есениным в «Стойле Пегаса». В свою защиту обвиняемым пришлось бить себя в грудь и клясться в любви к евреям. Клычков рассказал о своем заступничестве за евреев в стане белых, а Орешин заявил, что теперь, как бы ни напился, «слово “жид” у меня и клещами не вырвешь». Защита Есенина больше сводилась к его болезненному состоянию. Была представлена медицинская справка из психиатрической больницы о том, что болезненное состояние психики не позволяет ему полностью отвечать за свои поступки. Сам Есенин говорил что-то невразумительное, что подтверждало, по мнению защиты, выводы врачей. Да и не был он, в сущности, антисемитом. Дружил с евреями, в одном из писем писал, что в России его больше всех понимают еврейские девушки. Но в России в то время было явно нарушено национальное равновесие. Новая национальная политика изменяла и во многом искажала привычный русский быт. Это, конечно, не оправдывало антисемитизм и хамство, но объясняло причины многих столкновений. Смириться с новой реальностью было легко не всем, а выразить все в словах еще труднее. Потому, наверное, и вырывались из надрытой русской груди так часто антисемитские лозунги и оскорбления. Одним словом, шуму на процессе было много, прозаседали до ночи, заклеили поэтов позором и, наверное, правильно сделали: в стране пролетарского интернационализма не место национальной розни и унижениям национального достоинства. Малые народы к таким унижениям особенно чувствительны, а борьба с антисемитизмом была к тому же одним из главных завоеваний революции.

Страна жила новыми идеями. Антисемитизм, как и вера в Бога, был атрибутом старого, «проклятого» про-

шлого. Носителей же новых идей было вполне достаточно для того, чтобы набить ими какую-либо аудиторию и дать отпор нарушителям новой морали. К тому же на крестьян, а нахулиганившие поэты были как раз крестьянского происхождения, в городе стали смотреть как на кулаков-мироедов, к которым многие симпатии не испытывали. Когда есть нечего, а кто-то что-то прячет (кулак, во всяком случае), то о каких симпатиях может идти речь?

Да, не последней причиной идейных расхождений между поэтами являлось их происхождение: социальное, национальное и пр. Молодой красивый поэт Павел Васильев происходил из семиреченских (сибирских) казаков. Можно не говорить о том, что политика государства в отношении казачества не вызывала у него симпатии. На этой почве у него постоянно возникали конфликты с государством и товарищами по цеху. Один такой конфликт произошел в мае 1935 года. Обитал тогда Васильев в общежитии поэтов, наискосок от Художественного театра. Общежитие это, надо сказать, жило не по монастырским порядкам. Пили поэты не меньше рабочих. Так вот, в этом самом общежитии, возбужденный алкоголем и несправедливостями властей по отношению к казачеству, Павел Николаевич Васильев набил, извините за выражение, морду «комсомольскому» поэту Джеку (Якову) Моисеевичу Алтаузену. Тот, видно, неодобрительно отозвался о казаках. Тогда поэты Прокофьев, Асеев, Луговской, Сурков, Инбер, Кирсанов, Уткин, Безыменский, Жаров и некоторые другие написали открытое письмо в «Правду». Они потребовали наказать Васильева, указывали на то, что он окружил себя группой «литературных молодчиков», носителей самых худших сторон представителей богемы. Они писали также, что с именем Павла Васильева связано такое явление современной литературной жизни, как возникновение всяких «салонов» и «салончиков», фабрикующих «непризнанных гениев» и создающих им искусственные имена.

Возмущенных поэтов поддержал писатель А. М. Горький. В статье «Литературные забавы» он по поводу хулиганского поведения Васильева сказал, что

расстояние от хулиганства до фашизма «короче воробьиного носа». Поэты поддержали эту мысль классика. В воздухе тогдашней России после убийства С. М. Кирова чувствительные носы могли без труда уловить запах приближающейся крови, поэтому намеки на фашизм, как они, наверное, думали, могли вызвать интерес «компетентных» органов. Но тогда, в 1935-м, Васильев отделался легко. Краснопресненский народный суд дал ему всего полтора года за хулиганство. В 1937 году, обвиненный в совершении политического преступления, Васильев был расстрелян. Было ему тогда двадцать семь лет. Донос хоть с опозданием, но достиг своей цели. Теперь прах Павла Васильева покоится в общей могиле «невостребованных прахов» старого московского (Донского) крематория вместе с прахом Александра Михайловича Краснощечекова, возглавлявшего когда-то советскую Дальневосточную республику (о нем упоминалось в главе «Служители московской фемиды»).

Джек Алтаузен, который был старше Васильева на три года, погиб в 1942 году под Харьковом. Так смерть уравнила певца православной России и сторонника «пролетарского интернационализма».

Иначе и быть не могло. Очень уж мрачные тени от расправ и истреблений классов и сословий легли на прекрасные идеалы братства трудящихся всех стран.

На фоне всех этих ужасов каким безобидным и наивным кажется теперь все это хулиганство поэтов! Взять хотя бы выходку поэта Ярослава Смелякова, кстати, сторонника Павла Васильева, в Доме литераторов (если не ошибаюсь). Однажды он ни с того ни с сего положил на колени жены артиста Соломона Михоэлса, бывшей аристократки, Анастасии Павловны Потоцкой, свои длинные ноги, и бедный Соломон Михайлович бегал по Дому, ища защиты от хулигана.

Но вернемся к Есенину...

Все эти суды, алкоголь, прилипчивые женщины старили его душу. Как-то, незадолго до последнего своего путешествия (в Ленинград), Есенин пришел к Изрядновой, своей первой жене, у которой был сын

от него. (По иску Изрядновой суд установил незадолго до этого отцовство Есенина, который его и не оспаривал.) Зашла соседка. Заговорили о том, как быстро бежит время, как быстро растут дети, а их родители стареют. Есенин с грустью сказал: «Да, выходит, я уже старик, ведь ему (сыну) уже одиннадцать лет». Изряднова подала в суд иск о взыскании с Есенина средств на содержание ребенка, но так как Есенин часто менял место жительства и суд не мог вручить ему повестку, дело было приостановлено. Живи в наше время Пушкин или Толстой, на них тоже, может быть, в судах были бы иски о признании отцовства, о взыскании алиментов. Иметь ребенка от гения хорошо, но ведь и кормить его надо. Дети великих людей тоже хотят есть.

Даже после самоубийства Есенина в гостинице «Англетер» возня вокруг его имени и наследства не закончилась. Началась судебная тяжба. В ноябре 1926 года та же Изряднова, Зинаида Райх, имевшая от Есенина двух детей, и сестры поэта обратились в суд с иском о признании недействительным его брака с Софьей Андреевной Толстой, внучкой Л. Н. Толстого, на том основании, что Есенин заключил с ней брак, не разведясь с Айседорой Дункан. Суд иск удовлетворил. Московский губернский суд в январе 1927 года это решение отменил и направил дело на новое рассмотрение, предложив допросить Дункан. Хамовнический районный суд под председательством судьи Боброва отказал в иске и признал брак Есенина и Толстой действительным, сославшись на то, что «они жили в одной комнате и вели совместную трудовую жизнь». Отсутствие документов о разводе Есенина с Дункан и вызов ее на допрос суд посчитал несущественным. Кто знает, может быть, если бы суд счел допрос Дункан необходимым и она бы приехала в Москву, то сохранила бы свою жизнь? Но в ночь на 16 сентября 1927 года, за месяц до рассмотрения дела в Хамовническом суде, она погибла. Когда Айседора села в открытую машину, которую хотела купить, на шее ее, как обычно, был длинный ажурный шарф. Машина резко рванула с места, шарф закрутился в колесе, сдавил горло Дун-

кан, и она замертво упала на мостовую. У нее был разбит позвоночник, сломаны руки, изуродовано лицо. Могли ли Есенин и Дункан думать, когда любили друг друга, о том, что скоро их шеи сдавит петлею смерть?

Несчастливая жизнь и ранняя смерть русских писателей, поэтов не были, конечно, привилегией советской эпохи. Судьба их дореволюционных собратьев это подтверждает.

Писатели, бытописатели, очеркисты, народники, собиратели фольклора, жившие в XIX веке, золотом веке русской литературы, да и в начале века XX, влачили жалкое существование и были насыщены горем и печалью, как и сама Россия.

Николай Успенский, двоюродный брат известного писателя Глеба Успенского и сам писатель, последние двадцать лет своей жизни жил в нищете и беспробудном пьянстве, ночевал в ночлежках, просил подаяния, играя на гармошке и рассказывая разные истории на ярмарках и базарах, забавлял людей в поездках и тем зарабатывал на хлеб. Когда же бороться за существование стало невозможно, он зарезался. Произошло это в Москве 26 октября 1889 года. Василий Алексеевич Слепцов покончил с собой в сорок два года. Павел Иванович Якушкин, исходивший Россию в поисках стихов и песен, вел странническую, бесприютную жизнь, спал где придется и у кого придется. По скромности своей он отказывался у чужих людей от постели и спал на полу, подложив под голову полено. В сорок два года он умер, истощенный болезнями и пьянством, к которому привык за время общения с народом, который его угощал. Федор Михайлович Решетников воспитывался у родственников, которые нещадно по всякому поводу и без били его. Он озлобился, превратился в волчонка. Его заперли в монастырь. Там он под влиянием монахов пристрастился к пиву, настоящему на табаке. Занимаясь литературным трудом, жил в нищете, пьянствовал и в тридцать лет умер. Александр Иванович Левитов тоже прожил жизнь бесприютным странником и пьяницей и в тридцать пять лет умер от чахотки. Иннокентий Васильевич Федоров (Омулевский) был алкоголиком и умер в нищете сорока семи лет от роду. Анд-

рей Осипович Новодворский тоже жил в нищете и в двадцать восемь лет умер от чахотки в казенной больнице. Михаил Илларионович Михайлов был сослан в Сибирь по политическим мотивам и там умер. Всеволод Михайлович Гаршин покончил с собой, кинувшись в пролет лестницы дома, в котором жил. Семен Яковлевич Надсон умер в двадцать пять лет от чахотки. Были и другие, не менее тяжелые судьбы.

Но вернемся в довоенное время, к поэтической самодеятельности. В двадцатые годы работать в поэзию шли с производства, как в милицию по набору. Журнал «Огонек» печатал энтузиастов. Поэт Колычев любил писать о стройках:

Подымаю умное бревно,  
Пробую легонько и не падаю.  
Знаю, что податливо оно  
И нести его легко, как радугу.

Будет дом, просторный и большой!  
С окнами, чуланами и спальнями.  
Только б в нем жилося хорошо,  
Чтоб сияла в нем зря зеркальная.

Всем своим чадом, скрежетом и вредоносностью вошел производственный процесс в творчество Ивана Устинова. В его стихотворении «ГЭТ», посвященном введению в строй в 1929 году завода электрических трансформаторов, есть такие бодрые строки:

Река бумаги золотом плывет  
Из лакировки по валам широким,  
И льется в чаны желтоватый мед,  
И липнет к горлу выгорклая окись.

Беря пример с железных лошадей,  
Здесь все интернационально.  
И радостно куется новый день  
На пролетарской наковальне.

В конце двадцатых годов поэт-футурист Сергей Третьяков сравнил современную литературу с вокзалом, от которого поезда расходятся в различных направлениях. Сам Третьяков гремел кандалами железных рифм. Они прямо-таки разили противников:

А мы ему — брось,  
А мы ему — брысь.  
А мы его враз.  
Нацелив глаз,  
Мордой в грязь —  
Хрясь!

Впрочем, поэту был не чужд не только мордобой, но и любовная лирика:

Сердце — не цепь,  
Пускай погасает.  
Сердце — собака:  
Сорвется — искушает.

Укушенных сердцем называли влюбленными. Уколы от укусов не помогали, и поэты тянулись к водке или политике.

К стенке банкиров!  
Долой растяп!  
Рабочий мира, «Дашь Октябрь!» —

призывал поэт Третьяков, а упомянутый выше Колычев писал о Ленине:

И Москва — словно песня!..  
Простора  
Век не знал этот город нелепый,  
В этой склоке усов и бород  
Проходил он в потертой кепке.

Ведь починкой России боля,  
Я, не гордый его подручный,  
Вечно отперта дверь мавзолея:  
Мы и с трупом его неразлучны!

Счастливым был тот, чьи поэтические порывы совпали со временем, кто искренне мог воспевать романтику буден и твердую поступь социализма. Они печатались в газетах и журналах, выступали на митингах, встречались с пионерами, дарили хорошеньким журналисткам свои интервью. Некоторые строчки их стихотворений были особенно пронзительными и въеда-

лись в душу. Вспомните хотя бы строки Багрицкого: «Нас водила молодость в сабельный поход. / Нас бросала молодость на кронштадтский лед. / Боевые лошади уносили нас. / На широкой площади убивали нас, / но в крови горячечной...» и т. д. или слова Павла Когана о том, «...что мальчики иных веков, быть может, будут плакать ночью о времени большевиков...».

Ну а те, кто восторга по поводу современности не разделял, кто злобствовал или просто считал свою поэзию личным делом, кто не печатался, а сочиненное рвал, выбрасывал или хранил как память о своих творческих порывах? Что с ними? У каждого своя судьба. Вообще, «теневая» поэзия России огромна. Сколько можно было бы найти в ней прекрасных и интересных произведений, если бы все написанное «для себя» сохранилось!

Часть этого богатства уцелела благодаря работникам НКВД, которые изымали стихи, как и прозу, и письма, и дневники при обысках, и приобщали к делу в качестве вещественных доказательств. Вот одно из таких «преступных» стихотворений, написанных в 1939 году. Называется оно «Куда вы летите?». Поэт, обращаясь к птицам, летящим в теплые края, просит их рассказать людям о том,

Как нас обирают  
И в тюрьмах гноят.  
Он просит:  
Вы спойте им песню  
Про наших детей,  
Как горько их детство  
От наших властей.

Как с ручкою крошка  
Весь день, не часок,  
Стоит у окошка  
И просит кусок,

По грязным столовкам,  
Пока не следят,  
Движением ловким  
Охлебки едят,



Мне больше не в силу  
Неволю терпеть  
И легче в могилу  
Холодную лечь.

В другом стихотворении есть такие строки:

Кто кричал «вся власть Советам!»,  
Кто стрелял по юнкерам,  
Кто по Зимнему при этом  
Приказал бить крейсерам?  
Кто старался в ряд три года  
Коммунистов защитить?  
Кто считал, что всем свобода —  
Лишь отнять да разделить?

Значит, ты теперь не кайся,  
Кто виновник — понимай.  
Знай живи да улыбайся,  
Вечно руки поднимай.

Кто сумел создать Советы,  
Тот колхознику сродни,  
Поищи его в себе ты,  
Что посеял, то и жни!

Другой поэт, еще в 1928 году, обращаясь к русскому народу, писал:

Так возьми ж ты всю власть в свои руки,  
Укажи человечеству путь  
И избавь нас от страшной сей муки,  
Хоть немножечко дай отдохнуть.

Нередко самодеятельные поэты прибегали к переделке широко известных поэтических произведений на новый лад. Например, «Размышление у дверей исполкома» на мотив некрасовского «Размышления у парадного подъезда». В нем есть такие строчки:

Стонешь ты от нужды, размышляя,  
Где кусок тебе хлеба добыть,  
И привычная совесть тупая  
Твой старается ум умертвить...

Как и Н. А. Некрасов, поэт обращался в нем к простому русскому человеку, бессильному перед равнодушным чиновником, на сей раз советским. Для при-

дания особого веса сказанному люди прибегали к мелким литературным фальсификациям. В тридцатые-сороковые годы появились стихи, письма, интервью Сергея Есенина. От имени вымышленного Александра Бериегофа (очевидно, перепутали с Анатолием Мариенгофом) неизвестным автором было написано письмо Есенину. В нем есть такие строки: «Помнишь, в двадцатом году мы ехали в поезде, а комиссары с руганью отбирали хлеб да картошку, вели борьбу с беззащитными мешочниками. Поезд тронулся с какой-то станции, а ты смотрел с грустью в окно и вполголоса запел по-рязански частушки:

Комиссаров у нас много,  
То бандит, то хулиган,  
Лаять начали на Бога,  
За ремнем носить наган.  
За разор своих отцов  
Одним бы душу я потешил —  
Всех бы этих подлецов  
На осинах перевешал».

Есенину приписывались и такие строки:

А если виноват народ страны,  
Убив царя, нарушив веру в Бога,  
Обрушатся все козни сатаны,  
А стало быть, туда ему дорога.

Есенину также приписывали пророческие высказывания о коллективизации, о войне с Германией и Японией и пр.

В сочиненном неизвестным автором письме Есенина Бухарину говорится: «Итог моей жизни — добровольная смерть. Со смертью России умрет и Есенин».

Видно, тяжело было на душе у людей. Они искали опору. Авторитет любимых поэтов помогал им выжить. Подавляющая масса самодеятельной поэзии, как и самодеятельных изобретений, была убога и примитивна, будь то гражданская лирика или антисоветские частушки, блатные песни или эротические стихи и поэмы. Переделывали и гимн страны, в то время это был «Интернационал». Уголовники пели:

Никто не даст нам избавленья,  
Ни туз, ни дама, ни валет,  
Добьемся мы освобожденья:  
Четыре сбоку — ваших нет —

когда держишь нож, четыре пальца всегда оказываются сбоку.

В начале тридцатых годов появился «Интернационал» «политический». Вот его текст:

Терпи, проклятем заклеянный  
Народ, привыкший быть рабом,  
Молчит наш разум возмущенный,  
Бессильный справиться с умом,  
В одно мгновение все разбито,  
И как исправить, вот вопрос,  
Мы у разбитого корыта  
Теперь сидим, повеса нос,  
Никто не создал нам несчастья:  
Ни черт, ни жид, ни кто другой,  
Добились мы советской власти  
Своею собственной рукой.

Чтоб нам покончить с этой властью,  
Чтоб на Руси не правил жид,  
Не надо думать задней частью,  
А тем, чем думать надлежит,  
Лишь сынам международным  
Семьи пархатого жида  
Дано Россией править целой,  
Самим же русским никогда,  
И если гром великий грянет  
И сгинет комиссаров рать,  
Тогда нам сердце перестанет  
Лучи на карточки менять.

Припев.  
Это есть наш последний  
И жестокий урок,  
Чтобы каждый из русских  
Призадуматься мог.

В 1935 году до Москвы из Ленинграда дошло стихотворение, написанное, по мнению работников НКВД, Алексеем Васильевичем Репиным. Вот оно:

Погиб непризнанный мессия,  
И благодарная Россия  
Под звуки пушек и мортир  
Спустила Ленина в сортир.  
Корявый быт уже построен,  
В обломках бьется старый мир,  
Народ весь русский, будь спокоен,  
Ты до сих пор и наг, и сир,  
Тебе сулят золотые горы,  
Социализма рай иной,  
Верхи ведут все время споры,  
Как осчастливить шар земной.  
Но это только рассужденья,  
Хотя и есть плоды трудов,  
Нас только вводят в заблужденье  
На самом деле дураков.  
Весь месяц шарись, суетишься  
И утомишься, словно вол,  
Придет получка, разозлишься,  
В расчетной книжке только кол.  
Ты обеспечен голодовкой  
В теченье этих всех годков,  
Нас кормят всех одной мурцовкой  
На самом деле чудаков.  
Плати за все расходы ЦИКа,  
За неуменье строить жизнь,  
У нас в быту еще так лихо,  
Ну хоть живой ты в гроб ложись,  
А кто ж ведет страну к провалу,  
Кто налагает карантин,  
Детей толкает в пасть к Ваалу?  
Почтенный Сталин — осетин,  
И, ликвидируя все классы,  
Вся эта фракция вождей  
Лишь околпачивает массы  
И мчится к гибели своей.  
А Ленин ваш, воспетый в лире,  
Не кто иной, как враг людей,  
Он, похороненный в сортире,  
Лежит среди остальных б...

Репин обвинялся в том, что состоял в подпольной контрреволюционной организации на заводе «Большевик» имени Ломоносова, что он, «являясь родственником известного художника, считал себя законным претендентом на известную долю его капиталов, погибших благодаря Октябрьской революции, и на этой почве затаил вражду к советской власти». На допро-

сах, которые проводил оперуполномоченный Ленинградского НКВД Попов, А. В. Репин не отрицал своих высказываний о том, что в СССР не диктатура пролетариата, а диктатура Сталина, что Калинин представляет собой манекен, который только выполняет приказания, что, когда у власти были Троцкий и Зиновьев, было еврейское засилье, а после того как они были удалены от руководства, засилье стало грузинским: Сталин, Орджоникидзе, Микоян. О своих родственных связях А. В. Репин рассказал следующее: «Художник Илья Ефимович Репин является моим двоюродным дедом, то есть родным братом моего родного деда, Василия Ефимовича Репина, артиста императорских театров. В мае 1919 года я попал в плен к белым под станицей Екатеринославской (на Дону) и пробыл у них до падения Новочеркасска в 1920 году. Живя в Ленинграде, получал от Юрия, сына И. Е. Репина, материальную помощь в иностранной и советской валюте через художника Бродского».

Национальный вопрос, в разрешении которого русский народ и его самодеятельные поэты видят, наверное, единственную возможность построения счастливой жизни, затрагивался в произведениях и других самодеятельных поэтов. Вот одно из них. Слова произносятся от имени Александра III:

Отец мой дал вам суд гуманный,  
Мой сын к правленью вас призвал,  
И луч свободы, вами жданный,  
При нем хоть слабо, но сиял.  
Свершив над ним свой суд кровавый,  
Народ, чего добился ты?  
Ведь нет свободы, нет и славы  
Там, где господствуют жида.

В 1924 году, в эпоху нэпа, появилось стихотворение «Коробочка»:

Ах, полным-полна коробочка, потеряла счет рублей,  
Полюбила Русь-зазнобушка спекулянтов-торгашей,  
На гешефте все устроено, всюду произвол царит,  
И все спит, как заколдовано, только жид один не спит,  
Называет всех «товарищи», занял высшие посты,

Мы — ослы непонимающие разеваем только рты,  
Серебро скупает, золото, прибирает все к рукам,  
А бумагу с серпом-молотом оставляет дуракам.  
Жид все взял, мы ж не торопимся, все на митингах сидим.  
Рыба как об лед колотимся, голодаем и дрожим,  
Хлеба нет и все разутые — жид вчистую обобрал,  
А взамен он дал Советы нам, ВЧКу и Трибунал.  
Хорошо, привольно стало, век бы жить, не умирать.  
Нет буржуев, как бывало, нас не гнет уж капитал,  
Через край живет коробочка, потеряла счет рублей,  
Обобрали Русь-зазнобушку вплоть до липовых лаптей.

Распространялось также стихотворение, в котором перечислялись различные виды деятельности и должности, от продавца — до директора банка, и все занимали евреи.

Ну и еще одно, последнее, в нем выражается крайнее раздражение представителя коренной национальности засильем инородцев во власти:

Йоффе, Кац, Леон Бронштейн,  
Розенфельд, Минор и Дан,  
Гоц, Нахамкес и Эпштейн,  
Шнейдер, Ге и Апфельбаум,  
Шпицберг, Либер и Коган,  
Абрамович, Цедербаум,  
Шрейдер, Блехман, Карахан,  
Кто они? Зачем так много  
Семитических имен?  
Может быть, то синагога?  
Может быть, синедрион?  
Нет, то русского народа  
Вседержители судьбы.  
Правят им уж больше года  
В грозный час его борьбы.  
У украинцев есть гетман,  
У поляков тоже — круль,  
А у русского народа  
Не то Мойша, не то Сруль.

В этой самодеятельной поэзии слились антисемитизм, естественное возмущение невиданным влиянием инородцев и иноверцев в России. Звучал в этой разноголосице и голос, враждебный новой власти. Он пользовался против нее старым и испытанным оружием — антисемитизмом.

Но, пожалуй, хватит о поэзии, о ней и так много написано. Да и невозможно собрать в одной главе, и даже книжке, все отклики наших граждан, облаченные в стихотворную форму, на события быстротекущей российской жизни, в которой, помимо метаний, полных растерянности, озлобления, поиска причин всех наших несчастий, было много прекрасного, возвышенного и героического. Были в ней вера в будущее, энтузиазм первых пятилеток, чистота и идеализм. Появилось много не только русских, но и национальных поэтов. Одни только евреи дали Багрицкого, Уткина, Светлова, Жарова, Когана и других, всех не перечислишь. В их поэзии ощущались и планетарность, и патриотизм. «Я патриот, я воздух русский, я землю русскую люблю», — писал Павел Коган. Творили такие великие, незабываемые поэты, как Маяковский, Пастернак, Ахматова, Заболоцкий, Кедрин. Звучали стихи и давно ушедших поэтов: Некрасова, Плещеева, Никитина, Надсона, Кольцова, Михайлова. Пока жива наша Россия, она будет помнить о них.

## ПИВНАЯ ЭСТРАДА

*Пивное изобилие нэпа. — Отмена «сухого» закона. — Смерть алкоголика. — Самоубийство в пивной «Василек». — Борьба с самогонщиками. — Артисты. — Администраторы. — Черная актерская биржа. — Бродячие артисты. — Борьба с безыдейностью. — В чем обвиняли Вадима Козина. — Парк культуры*

Что в России всегда пользовалось поддержкой и любовью народа, так это пивные. В них мужская часть населения отогревала душу, оттаивала после неуютности цехов, коммуналок и общежитий, после грубостей начальства и сварливости жен, писка капризных и ненасытных детей. Здесь люди не думали о форме разговора и жили его нехитрым содержанием. Здесь велись нескончаемые, ни к чему не обязывающие беседы, в них каждый говорил свое, не слушая собеседника, говорил одно и то же долго и монотонно и наконец выговаривался. На душе становилось легче, можно было прожить еще один суетливый день своей однообразной жизни с надеждой на вступление вечером в «пивное братство».

Надо сказать, что при нэпе дело со всякого рода питейными заведениями обстояло неплохо. Были они на разные вкусы и возможности. Открылось множество частных и моссельпромовских пивных. Вывески на последних писались белыми буквами на синем фоне, вывески частных — желто-зелеными. Названия частных общепитовских заведений были довольно разнообразны: «Арбатский уголок», «Вегетарианское питание», «Белый лебедь», «Джалита», «Лондон», «Новая Италия», «Новинский уголок», «Новая Россия», «Общественная еврейская столовая». На Рождественке несколько уют-



ных «духанов» содержали грузины. Куправа держал «Эльдорадо», Цирикидзе — «Канаду», а Асатиани — «Новую страну» — в доме 2. Теперь на этом месте «Детский мир». В доме 6 Габечивадзе держал «Эдем», а Китайшвили — «Эльбрус». В доме 14 существовала столовая с грузинским названием «Замок Тамары», и держал ее некто Жедринский. Кроме перечисленных, на Рождественке, со стороны Охотного Ряда, находились рестораны «Ливорно», «Ориент», «Савой», а на самом углу — пивная «Новая Бавария». Вообще здесь был целый квартал ресторанов, внешне похожих друг на друга: глухие стены, узкие двери, тусклые вывески. У дверей проститутки и таксисты. Рестораны занимали обычно полу-подвальные помещения.

Были заведения и получше этих. В середине двадцатых годов очень прилично на общем фоне выглядел ресторан «Эрмитаж», открытый еще в XIX веке французом Оливье. Там были чистые скатерти, хорошая посуда, вежливая и опытная прислуга. Не так смотрелись в 1919—1922 годах многие другие, в прошлом шикарные московские рестораны.

Софья Евсеевна Прокофьева вспоминала, что когда она приехала в 1920 году из Киева в Москву, то жила в номере гостиницы «Славянский базар» на Никольской улице. В столице тогда стояла холодная зима, дров не было, и постояльцы бывшей гостиницы топили «печибуржуйки» мебелью красного дерева. На первом этаже, в холле, находился фонтан. Он был превращен в общественный туалет, просуществовавший до начала нэпа.

В середине двадцатых годов, после голода, скудных пайков, осьмушек хлеба, открытие пивных, наверное, принесло великую радость. И пусть хозяева разбавляли пиво водой, сливали в пустые бутылки недопитое пиво из кружек и выдавали его за свежее, люди этого не хотели замечать. Появилась частушка:

Ленинград город большой,  
В каждом доме по пивной.  
«Красная Бавария» —  
Все для пролетария.

«Красную Баварию» вполне можно было заменить на завод имени Бадаева, а Ленинград на Москву: в ней

тоже, почти на каждой улице, появились пивные, в которые трудящихся приглашали вывески и газетные объявления. Например, о пивной в доме 1 по Большому Сухаревскому переулку, что между улицами Сретенка и Трубная, можно было прочесть следующее: «Пиво подается в холодном и теплом виде с роскошной бесплатной закуской. С шести часов вечера выступают артисты». Было это объявление опубликовано в 1922 году. Воспоминаний о пивной в Большом Сухаревском переулке и о «роскошной закуске», к сожалению, не сохранилось, но о некоторых других пивных кое-какие сведения дошли и до наших дней. Самой лучшей моссельпромовской пивной считалась пивная на Страстной площади. Брезгливые открывали дверь в нее ногами. В пивной царили грязь, вонь и давка. В воздухе, перемешиваясь с запахами человеческих тел, пива и воблы, висел тяжелый непрекращающийся мат. Столики в пивной бралась с боем, впрочем, как и пиво. Но люди ко всему этому привыкли и принимали как должное.

Кабачкую Москву тех лет запечатлели в своих произведениях не только газетчики и заезжие иностранцы, но также писатели и поэты. Илья Эренбург, например, в романе «Рвач» сделал это так: «...Михаил зашел в пивную, в маленькую вонючую пивную Смоленского рынка, где плотность щей, аромат воблы, кислая муть пива и все звуки: сморканье (пальцами), вечная агония шарманки, икота, брань — говорили об устойчивости скуки. Такие учреждения выпитывают всех несчастливцев, душегубов или же пачкунов, людей жадных до чужой судьбы, слюнтяев, романтических “котов”, пьяных метафизиков, трогательную сволочь, которой немало в нашей столице. Другая здесь Москва, не та, что ходит на митинги и к Мейерхольду. Шарлатанство здесь доходит до чудотворства, а в домостроевской грубости, среди тухлых сельдей и казанского мыла, любой мордобой принимает видимость сложнейшего психологического акта. Здесь что ни хам, что ни плаксивая шлюха, — то Достоевский в переплете, уникамы, герои, кишашие, как снетки. Растравленная, расчесанная душа подается и просто, и с закуской, с гарниром, под пиво

или под самогон». Одним словом, «снова пьют здесь, дерутся и плачут». Так мрачно описать пивную, наверное, мог человек, ничего не понимающий в задушевной пьяной беседе и предпочитающий ей мурлыканье за столиком парижской «Ротонды».

Дошли до нас и простые дневниковые записи писателей о пивных тех лет, не искажающие реальность в угоду красивому слогу.

Корней Иванович Чуковский в 1927 году сделал такую запись: «...останавливаюсь у кабаков (пивных), которых развелось множество. Изю всех пивных равные люди, измызганные и несчастные, идут, ругаясь и падая. Иногда кажется, что пьяных в городе больше, чем трезвых...» Как все-таки страшно увидеть себя со стороны. А ведь люди, наверное, считали свое положение нормальным. И пивка можно попить, и закусить горошком или соленой сушкой, и на бильярде поиграть, и музыку послушать.

В некоторых пивных можно было прочесть на стене: «Пейте пиво, господа, — пиво лучше, чем вода». В получении пива в пивных никто не ограничивался, даже самые пьяные. Здесь можно было встретить и женщин, и даже детей. Частные пивные открывались в пять утра и поили посетителей до семи вечера, остальные — с семи до одиннадцати вечера. Когда пиво кончалось, заведение закрывалось раньше. В день пивная продавала до ста десяти ведер пива. Это примерно четверть ведра на каждого посетителя. Когда социологи попытались выяснить, почему люди пивную предпочитают клубу, выяснилось, что в клубе «стеснительно», а в пивной можно шуметь, пить, петь, браниться. В пивной свобода — не то что в клубе.

Значительным событием в жизни Москвы стала продажа сорокаградусной водки после нескольких лет «сухого» закона, когда только в аптеке, по рецепту врача, можно было получить 100 граммов спирта или коньяка. Этот закон, конечно, способствовал протрезвлению российского общества, но пьянства не искоренил. Люди не только гнали самогон, они пили политуру и прочую гадость. В июне 1924 года, как сообщала газета «Беднота», крестьянин Сергеев выпил шесть бутылок

политуры и помер, и это был не единственный случай. Кроме того, государству нужны были деньги, а водочная монополия сулила ему большую прибыль. Короче говоря, 4 октября 1925 года, в воскресенье, у магазинов, торгующих спиртным, выстроились очереди, кое-где по триста-четыре человека. Каждый магазин продавал в среднем по две тысячи бутылок в день. В первый день в магазинах была раскуплена не только водка, но и закуска. Вскоре появилась новая, лучше очищенная горькая водка «Винторга» в бутылках с белой головкой (сургуч, обливший горлышко, на этих бутылках был окрашен в белый цвет). Водка продавалась как в обычных бутылках, так и в четвертинках («мерзавчиках»). За один день Москва выпивала четыре тысячи ведер водки. Это, конечно, привело к тому, что больницы и отделения милиции были забиты пьяными (вытрезвителей тогда еще не существовало). Водку пили дома, на улице, в пивной. Водка, конечно, не пиво. Бисмарк сказал как-то, что от пива человек становится глупым и ленивым. Да, пиво расслабляет и даже настраивает человека на философский лад. Водка же действует как «озверин», она злобных делает агрессивными, похотливых — жестокими, слабых убивает. В пивных полюбили мешать пиво с водкой. Времена долгих, неторопливых бесед, несвязного бормотания, нестройного пения стали отходить в прошлое.

Случались в пивных и драматические происшествия. Предыстория одного из них такова. Жил в Москве Федя Шустов. В 1918 году, когда ему исполнилось пятнадцать лет, вступил в комсомол, а в 1925 году — в партию. И все было хорошо, но в 1929 году вскрылись какие-то недостатки в его классовом происхождении, и Шустова исключили из партии «за обман». В те времена сокрытие классового происхождения, службы у белых и прочих изъяснов в биографии строго каралось. Могли отдать под суд за то, что в графе о социальном происхождении вместо «из дворян» укажешь «из служащих». Жизнь заставляла Шустова скрывать свое лицо. Делал он это неумело, поэтому дважды — в 1931 и 1935 годах — его судили за подделку документов. В Дмитровской исправительно-трудовой колонии

под Москвой, где он отбывал наказание по последнему приговору, Шустов подружился со Степаном Кривцовым, осужденным за убийство. Друзья решили бежать из колонии. Побег удался. Встретились, как и договорились, в Москве. По поддельным документам получили паспорта, и казалось, можно было зажить спокойно. Но однажды летом Шустов встретил на Сретенке своего старого знакомого Хирова, который знал о его аресте и очень удивился, увидев осужденного на свободе. Шустов о встрече рассказал Кривцову, а позднее познакомил его с Хировым. Тот ни словом, ни намеком не выдал своего намерения сдать его властям, но и от угощений не отказывался. Вскоре Шустову и Кривцову надоели неопределенность и зависимость от Хирова, и они решили его убить. Достали яд — цианистый калий. В очередной раз Кривцов пригласил Хирова в пивную. Пошли. По дороге Кривцов купил две четвертинки водки. Одну отдал Хирову, другую оставил у себя. Пришли в пивную № 18. Находилась она в доме 20 по Неглинной улице, это на углу Трубной площади, рядом с аптекой. В пивной взяли две кружки пива, бутылку клюквенной воды, четыре бутерброда с колбасой «собачья радость» и 200 граммов сосисок. Распили бутылку, которая была у Хирова. Запили пивом. Пока Хиров допивал, закинув голову, пиво из кружки, Кривцов добавил во вторую бутылку яд и разлил ее содержимое по стаканам. Чокнулись, поднесли стаканы ко рту, и в этот момент Кривцов пожаловался на боль в животе и быстренько вышел из пивной. Хиров пить не стал. Ему показалось подозрительным внезапное исчезновение собутыльника. Он вышел за ним на улицу, но вместо него увидел у дверей пивной Шустова. Схватив его за руку, спросил, почему он к нему не ходит. Шустов вырвал руку, пробурчал что-то вроде «зайду» и побежал за трамваем. Хиров возвращаться в пивную не стал, а, не дождавшись Кривцова, ушел домой. На столе в пивной осталась отравленная водка. Вскоре ее заметил постоянный посетитель и алкоголик Трефелев. Осмотревшись и не найдя тех, кого можно было бы принять за хозяев зелья, Трефелев привычным движением опрокинул стакан в беззубый рот и в тот же момент повалился

на стол, не издав ни звука. Окружающие решили, что он мертвецки пьян, и вынесли его на улицу, положив на скамейку у трамвайной остановки. До утра Трефелев пролежал под синим московским небом, а когда лучи утреннего солнца позолотили его фиолетовые щеки, дворник вызвал милицию и труп Трефелева отправили в морг. Шустова и Кривцова вскоре отыскиали. Судебная коллегия Московского городского суда под председательством Запольского приговорила каждого к десяти годам лишения свободы «с содержанием в местах, исключаящих побег». Трефелева же в пивной еще долго вспоминали и жалели.

В другой московской пивной с голубоглазым названием «Василек», находившейся в доме 8 по Большой Спасской улице, на углу Докучаева переулка, 26 августа 1923 года, в воскресенье, произошло следующее. Днем в нее вошел бледный, плохо одетый молодой человек лет двадцати, Всеволод Полуэктов. На днях его освободили из Бутырской тюрьмы, куда он попал за кражу. Он не был вором. На кражу его толкнула нужда. Бабушка, мать и сестра голодали. Работы не было. Пока он находился в тюрьме, бабушка умерла, а мать и сестра стали нищенствовать. Всеволод понял, что помочь им он не в силах. Вор из него не получился. Дома хранился пистолет отца. Он взял его и вышел на улицу, зашел в пивную. В пивной подошел к гармонисту и попросил его сыграть романс «У камина». Сел за столик и, опустив голову, слушал. На пиво денег не было. Гармонь тоскливо выводила мелодию, и он вспоминал слова: «Ты сидишь одиноко и смотришь с тоской, как печально камин догорает...» Когда гармонист дошел до того места, где звучало: «Подожди еще миг, и не будет огней, что тебя так ласкали и грели», — раздался выстрел. Юноша упал на заплыванный пол, из его виска вытекала кровь. Потом в кармане его пиджака нашли записку: «Хотелось бы описать переживания перед смертью. Чем так жить и так мучиться, лучше умереть». Могила Полуэктова не сохранилась.

Что бы ни происходило в пивных, течения жизни в них оно не останавливало. Выносили пьяных, убрали трупы, выставляли хулиганов, а народ продолжал

пить пиво и вести нескончаемые разговоры. Были пивные, где играли на бильярде. Например, в «Украинской новой Баварии» на Воронцовской улице в доме 42, в кооперативных пивных на Маросейке, 6/8, Солянке, 27, в частных пивных: «Большой Московской» на Лубянке, 31, «Медведь» в доме 21 по улице Герцена и др. Но и в них были те же грязь, шум, мат, что и во всех других, и пол был также завален окурками и шелухой от семечек, а из-за табачного дыма нечем было дышать.

А вот как выглядела пивная пошкарнее. У входа елочки в кадках, на стенах картины: «Утро в сосновом лесу» Шишкина, «Венера» Тициана, плакаты: «Если хочешь быть культурным, окурки и мусор бросай в урны», «Здесь матом просят не крыть» или «Неприличными словами просят граждан посетителей не выражаться». Были и другие плакаты, такие как: «Лицам в нетрезвом виде ничего не подается», «За разбитую посуду взыскивается с посетителя», «Со всеми недоразумениями просят обращаться к заведующему», «Во время исполнения концертных номеров просят не шуметь», а еще можно было кое-где прочесть и такое: «Пей, но знай меру. В пьяном угаре ты можешь обнять своего классового врага».

В пивных и ресторанах тогда можно было увидеть портреты Карла Маркса, Ленина, Троцкого, Зиновьева и других «вождей». Владельцы этих заведений, наверное, хотели таким образом показать свою преданность новой власти. Однако власть посмотрела на это дело иначе и в августе 1924 года запретила «вывешивание в заведениях трактирного промысла (за исключением столовых, обслуживающих рабочих и служащих) портретов вождей революции», а в 1926 году запретила посещать пивные военным. Тем приходилось ради такого дела переодеваться в штатское.

Те, кто побогаче, ходили в рестораны. Рестораны высшего разряда закрывались в два-три часа ночи. Такими ресторанами были «Прага» на Арбатской площади, «Гранд-отель» на площади Революции, «Савой» на Рождественке, «Европа» в доме 4 на Неглинной улице, где потом был ресторан «Арабат» (дом снесен), «Крыша» в доме 10 по Гнездниковскому переулку и др. В 1925

году «Прага» стала моссельпромовской столовой. Посетить ее звала безапелляционным тоном реклама, сочиненная поэтом Маяковским: «Каждому нужно обедать и ужинать. Где? Нигде, кроме как в “Моссельпроме”». С семи часов вечера в этой столовой играл оркестр, после десяти начиналась эстрадная программа, с двенадцати пел русский хор и звучали цимбалы.

Как это обычно бывает, доходов от законной торговли всегда мало. Богатство сулит обман. Такая уж философия выработалась у людей. Поэтому, когда новой властью была запрещена торговля алкоголем, нашлось немало охотников торговать именно им. 1 декабря 1917 года начальник московской милиции издал приказ № 5, в котором говорилось: «Кафе, трактиры и рестораны при наличии продажи или распития в них спирта и его суррогатов могут быть закрываемы властью местного комиссара... Если же есть только твердая уверенность, что в ресторане происходит продажа и распитие спирта и пр., но улики на то нет, то закрывать единолично властью комиссара не следует. Предварительно необходимо обратиться в противоалкогольную комиссию с протоколами и мотивировками». Надо сказать, что поначалу власти запретили не только спиртное, но и бильярд в пивных и ресторанах. Что ж, когда-то в Англии появились шахматы, но потом их запретили, поскольку азарт игроков был настолько велик, что доходило до поножовщины. Запрещен был в свое время и теннис, приводивший к беспорядкам и бесчинствам со стороны зрителей. У нас в те послереволюционные годы были люди, которые считали бильярд буржуазной игрой и намеревались его вообще искоренить. До этого, правда, не дошло, но на открытие бильярдных тогда требовались специальные разрешения. В июне 1918 года были закрыты бильярды в ресторане «Мартьяныч», который находился в верхних торговых рядах (в ГУМе), в трактирах Коркунова в Псковском и Кукуева в Зарядьевском переулках (эти переулки, а также переулки Москворецкий, Кривой, Елецкий, Ершов и Мокринский находились на месте Васильевского спуска и гостиницы «Россия»). Это были заведения, в которых за хорошие деньги можно было получить из старых запа-



сов, например, такие вина, как «Макон», «Сатэн», «Сэн-Жульен», «Потэ-Канэ», «Портвейн Елисеева», «Лафит», «Медок», «Аи», коньяк «Юбилейный» 1912 года, «Хинную водку», «Опорто», «Мадеру» и другие напитки из подвалов Абрау-Дюрсо, запасов мадам Клико и складов Смирнова.

Народ, конечно, такими напитками избалован не был. Все пили самогон, несмотря на ту войну, которую вело с самогонованием и нарушением своей винной монополии государство. Пили и бензин, добавляя в него специи, чтобы изменить вкус и запах. Называли такой напиток «автоконьяк». Он действовал на психику, а иногда просто убивал. Но все-таки наиболее распространенным был самогон. Бензин мог достать не каждый. Машин тогда было мало.

В архиве сохранился документ, отражающий решительность борьбы с самогонщиками. Это рапорт агента второго района МУРа Нестеровича о задержании им в октябре 1925 года Евдокии Тимофеевны Кошечкиной, сожительницы известного злостного самогонщика и вора Климова. В рапорте говорится о том, что у Кошечкиной «неоднократно обысками было обнаружено разное количество самогона, за что судилась... неуловимая, при задержании ее обнаружить, ввиду ее опытности, ничего не удалось. Социально вредный элемент. Необходимо изолировать от общества». Начальник отдела смягчил: «Полагал бы выслать таковую из пределов Москвы и Московской области». Косая резолюция начальника отделения: «Согласен».

С целью обнаружения торговли спиртным милиция устраивала налеты на предприятия общепита. Дело в том, что нередко лица, получившие патент на открытие столовой, кафе или закусочной, устраивали в них фактически питейные заведения. Для создания условий, позволяющих уйти от ответственности, они перестраивали помещение. Правда, отдельных кабинетов не делали: налоги за них больно высокие — дороже выйдет. Делали вот что: возводили перегородку, кухню устраивали напротив входной двери, отгораживали ее стеной, в которой делали окошко для выдачи пищи. Дверь в кухню имела один цвет с перегородкой — не

сразу найдешь, да и на крючок всегда была закрыта изнутри. Работников в столовой человек пять-шесть. Один дежурил на кухне около окошка, другой — около сигнализации, находившейся у входа, или в буфете. Сигнальная кнопка на полу или за стойкой. Нажмешь на кнопку — на кухне зазвенит звонок. Чтобы звонил не очень громко, колокольчик обвязывали тряпкой, тогда его только на кухне и слышно. Ведь там, в стене, замурован бидон со спиртом. В некоторых заведениях поступали по-другому: наливали спиртное в резиновый пузырь и носили под одеждой. При появлении нежелательных гостей спиртное уничтожалось, а «стенка» на кухне заливалась водой.

Шло время, и уходили в прошлое не только напитки и закуски, но и целые улицы, переулки, площади. Была в Москве Домниковская улица, в народе ее называли Домниковкой, и шла она от Садового кольца до Каланчевской (Комсомольской) площади. Теперь этой улицы нет, на ее месте другая, широченная, с огромными, застекленными зеркальными стеклами домами. Летом 1923 года в газете «Известия» об этой Домниковке писали следующее: «Узкая, грязная, как коридор вертепа, заселенная сводницами, проститутками и ворами ...на каждом шагу притоны разврата: трактир Кучерова, чайная “Теремок”, Ермаковский ночлежный дом. Главари бандитских шаек пойманы и расстреляны: “Мишка-цыган”, терроризировавший всю Москву ограблениями в Орликовом переулке, “Пашка-крестник” — организатор ограбления почты в Воронеже, бандиты “Яшка-барин” и Васька Кошельков... По вечерам улица пьяная. На каждом шагу пивные, рестораны, трактиры. Ветер развеивает красные занавески притонов. Афиша оповещает о выступлении артистов, бывших знаменитостей. Артисты “бродячие”, они не состоят в Союзе, но Домниковка их любит». Я помню старую Домниковку, с ее двухэтажными серыми домами, грязными дворами, узкую и тесную.

Увы! Таких улиц в Москве было немало. Жизнь на них была своеобразна и не лишена острых, драматических моментов. На каждой — свои хулиганы, свои сумасшедшие, свои таланты. Ими гордилась улица. Существовало тогда и такое понятие, как «пивная эстрада».

До революции в Москве было всего двести эстрадных артистов. В 1923 году их уже насчитывалось свыше полутора тысяч. Стать артистом нетрудно. Нужно было перед доброй комиссией спеть пару куплетов и получить аттестат, по которому на бирже труда выдавали путевки на выступления. С таких эстрадников не брали налоги, что тоже стимулировало увеличение их численности. У артистов в Леонтьевском переулке, где тогда находилось помещение Губрабиса (Рабис — это профсоюз работников искусств), была «черная биржа» (потом она переместилась на Рождественку). На ней, минуя биржу труда, заключались соглашения на выступления в клубах и пивных. В Москву тянулись актеры из провинции. В женщинах ценилась главным образом внешность. Принадлежность к актерскому цеху служила некоторым лишь прикрытием проституции. Существовали так называемые «капеллы». Вечером «хористки» по команде «папаши»: «Девочки, в зал, гости пришли!» — приступали к своим обязанностям. Поскольку лишних помещений в пивных не было, то загримированным артистам также приходилось сидеть в зале до выхода на сцену. В некоторых пивных находились маленькие комнаты, используемые как грим-уборные. В них мужчины и женщины при свете грязной лампочки у куска разбитого зеркала наводили красоту перед выходом на маленькую сцену. Были заведения, в отдельных кабинетах которых царили пьянство и разврат. Гостей спаивали и обирали.

Нелегко тогда было артисту найти место под солнцем, особенно если этот артист был подвержен слабостям человеческим.

Актер Сорин служил в разных драматических театрах. Последнее время у Мейерхольда в спектакле «Д. Е.» («Даешь Европу») играл малюсенькую роль рабочего Флореско. Вообще, в коллективах он подолгу не задерживался. Не позволяли широта натуры, любовь к праздности и всяческим возлияниям. Оставшись безработным и обидевшись на театральные рутинеров и моралистов, Сорин окунулся в народную жизнь: был грузчиком на вокзале, истопником, отжимщиком белья в китайской прачечной «Шанхайская» на Живодерке.

Наконец устроился на нештатную должность по соби- ранию заказов в издательство «Кинопечать» за нищен- скую плату: 12—15 рублей в месяц. Вскоре директор издательства проникся к нему состраданием и предло- жил должность «помощника инкассатора на процен- тах». Зарабатывал Сорин уже по 120 рублей в месяц. Деньги небольшие, но жить на них можно. Можно, но скучно. Потянуло в театр, к успеху, к веселой актер- ской жизни. Он верил в то, что, узнав его, публика раз- разится овацией, с ярусов на сцену полетят цветы и звонкие молодые голоса взорвут зал криками: «Браво, Сорин!» Увы! Второму пришествию не суждено было свершиться. Куда бы он ни обращался, ответ был один: «Взяли бы с радостью, но сейчас совершенно нет мест, может быть, к весне что-нибудь образуется». В одном театре администратор даже выразил готовность уво- лить одного актера, а на его место взять его, Сорина, но наш герой отказался: он не примет такой жертвы! На самом деле, его не брали, так как опасались рецидивов «русской болезни», да и сам он потерял вид: голос охрип, глаза слезились, нос приобрел устойчивый сизый цвет. Одним словом, сцена для него оказалась закрытой, и он запил, «как Есенин». В состоянии изрядного подпития он любил читать «Черного человека» и разбил не одно зеркало, бросая в них палки. Шел 1926 год. Однажды он зашел в казино и проиграл в нем казенные деньги — 6 250 рублей. К тому же его там заметили работники издательства и донесли директору, а это означало неминуемое увольнение с должности. Возвращаться на работу Сорин не стал. Он погрузил все свои пожитки в маленький чемоданчик и уехал в Поти. Работал в порту грузчиком. Его разыскивали и наконец нашли. Судили показательным судом в клубе Белорусско-Балтийской железной дороги. Этот процесс стал его прощальными гастролями. Ему было приятно выступить в зале, напол- ненном публикой. А когда он на весь зал завыл: «О рим- ляне, сограждане, друзья!» — у присутствующих сдали нервы. В зале стали больше кашлять и сморкаться, а некоторые дамы и кондукторы зарыдали навзрыд.

Суд дал нашему герою пять лет с поражением в пра- вах на два года. В Москву Сорин не вернулся.

После того как частники, антрепренеры, фининспекторы отошли в прошлое, донимать артистов, отнимать у них заработанные гроши остались администраторы. Они же, правда, организовывали артистам «халтуры», левые концерты, где деньги шли от заказчиков артистам напрямую, минуя счета филармонии и Госконцерта. Администратор при таком положении для артиста стал все равно что архиерей для псаломщика и, разумеется, этим пользовался...

В апреле 1934 года в Московском городском суде под председательством члена суда Грачева рассматривалось уголовное дело в отношении администратора Колонного зала Дома союзов Федора Николаевича Воронина. Надо сказать, что тогда сцена Колонного зала была первой концертной площадкой Москвы. Ни Дворца съездов, ни Олимпийского стадиона тогда не было, да и сам зал по своей строгой красоте и акустике прекрасен и не превзойден до сего дня. Выступать на его сцене было большой честью для артиста. Так вот Федор Николаевич вместе со своим товарищем, пианистом Финкельштейном, с которым жил в одной квартире, стал склонять артистов выступать бесплатно, но не то чтобы совсем, а чтобы деньги, полученные за выступления, полностью или частично передавать им, Воронину и Финкельштейну. Артисты соглашались, уж очень хотелось им выступить в Колонном зале. Таким образом, как записано в приговоре, подельники (они же друзья и соседи) получили 500 рублей от Бравина, 400 — от Хрусталева и столько же от Образцова (будущего основателя Московского театра кукол), а из гонораров Каминки и Николаева они удержали по 300 рублей, даже не спросив на то их согласия.

Воронин использовал также и другой из сравнительно честных способов отъема денег у граждан: он брал у артистов «взаимы» довольно крупные суммы. Если те отказывали ему в такой любезности, то он их больше приглашениями на участие в концертах не беспокоил или проводил с ними такой эксперимент: приглашал на концерт, а когда артисты приезжали, говорил, что программа концерта изменена и их номер не пойдет. Так случалось с Эммануилом Каминкой, отка-

завшимся «одолжить» Воронину полторы тысячи рублей, и с Сергеем Образцовым, который перед этим потребовал у Воронина, чтобы тот вернул одолженные ему 400 рублей.

Давая оценку вымогательствам Воронина, суд записал в приговоре: «Преступная деятельность обвиняемого Воронина была направлена к срыву полного обслуживания трудящихся высокохудожественными постановками эстрадных концертов и неотвратимо совращала на путь коммерческо-халтурной деятельности, внося в артистическую среду дух рвачества, вредного протекционизма и морального разложения».

Получил Воронин пять лет в исправительно-трудовом лагере. Финкельштейн отделался легким испугом.

В июле 1935 года к исправительно-трудовым работам были осуждены администраторы московской конторы концертно-эстрадного бюро Наум Яковлевич Котляревский и Макс Исаевич Львов. Злоупотребления их состояли в том, что они для получения больших процентов с договоров на проведение концертов и спектаклей в клубах и дворцах культуры (чем выше стоимость концертов или спектаклей, чем их больше, тем соответственно больше сумма процента с договоров, заключенных администраторами) обещали их дирекции участие популярных артистов, таких как Кара-Дмитриев, Смирнов-Сокольский, Рудин и Корф, Бурлак, Батулин и др. Артисты и не думали принимать участие в концертах, организованных Котляревским и Львовым, как не думали давать «Лес» Островского, «Пиковую даму» Чайковского на картонажной фабрике или на заводе «Краскодубитель». В клубы вместо них приезжали артисты театра «Санкультура» со спектаклем «Люди в белых халатах» или участники художественной самодеятельности завода «Самоточка» с агитками, разоблачающими происки империалистов. И хотя такая замена не устраивала зрителей, и они после антракта пытались из клуба улизнуть, но было уже поздно: администраторы успевали накрутить себе проценты с лживых договоров.

В тридцатые годы некоторые артисты сами для себя стали коммерческими директорами. Те, кто знал себе

цену, отказывались выступать за установленную им «ставку», то есть сумму, назначенную государством с учетом звания и прочих данных. Требовали заплатить за выступление две, три, четыре ставки. За это их критиковали в печати, устраивали товарищеские суды и прочее, а началось это деление артистов по разрядам и ставкам в прошлом, втором, десятилетии.

В середине двадцатых годов, по мере усмирения частной стихии, произошли некоторые изменения, коснувшиеся и актерской среды. Артистов разделили на две группы: «А» и «Б». Первым разрешалось выступать не только в пивных, но и в рабочих клубах, а там платили больше. Обычно рядовые артисты за вечер в пивной получали по 5, а то и по 2—3 рубля. «Первачи» за выступление получали по 100 рублей и более. Хозяин пивной, в которой выступали артисты, брал с посетителей по 10 копеек с каждой бутылки («с пробки»). Когда в пивной устраивали «бенефисы» и выступали несколько артистов, то «на пробку» накидывали по 20—30 копеек.

В 1926 году «Посредрабис» переехал в дом 6 по Рождественке (это на углу Кузнецкого Моста), и туда же переместилась черная актерская биржа. Сюда, в поисках работы, приходили не только артисты театров, эстрады, но и артисты кино. Здесь можно было увидеть детей, великанов, карликов и даже животных с их владельцами. В целях поисков персонажей для киносъемок заведующий киноотделом «Посредрабиса» имел своих уполномоченных в ночлежных домах и на рынках. К двум часам посетителей набивалось, как соленых огурцов в бочке. Не протолкнуться. Начинался вечный спор со швейцаром, не пропускавшим тех, кто в галошах. Сдать их в гардероб стоило 5 копеек, а не у каждого они имелись. На плакаты «Не курить» никто не обращал внимания, поэтому дышать было нечем, дым стоял коромыслом. В середине двадцатых годов в Москве насчитывалось восемь тысяч безработных артистов. Особенно много безработных актрис. Их в три раза больше, чем требуется! А сколько безработных музыкантов!

Когда музыкальные театры под давлением материальных обстоятельств вынуждены были сократить

свои оркестры, сотни хороших музыкантов хлынули в пивные. Вытесненные же ими со своих табуреток самодеятельные таланты устремились на черную биржу труда искать счастья. Помимо них на бирже немало провинциалов. Москва не делала для них исключения, в то время как провинция столичных музыкантов у себя не принимала. Два театра в Москве — Революции (там теперь театр Маяковского) и Мейерхольда, — сочувствуя их тяжелому положению, предоставляли безработным музыкантам свои помещения для выступлений. По Москве даже расклеивались афиши о симфонических концертах. Давали их два оркестра, состоящих из безработных музыкантов. Зарботки их были ничтожны, ведь выступать они имели возможность лишь раз в неделю — в воскресенье днем, когда театры не работали. Могли бы выступать и по понедельникам, но не велел «Рабис»: понедельник — день отдыха его членов. Отношение к выходному было, можно сказать, религиозное. Ничего не поделаешь! Ведь не понедельник для артиста, а артист — для понедельника.

Помимо «Посредрабиса» были, конечно, другие способы пробиться на сцену. Артисты забрасывали директоров клубов, парков, садов письмами, предлагая свои услуги. Нередко такие письма писались на специальных бланках. На них артисты или группы артистов были запечатлены во всем блеске и великолепии. Вот одно из таких писем. Написал его директору сада «Эрмитаж» Павел Александрович Гайдаров 28 июня 1927 года. Актерская судьба занесла его тогда в Кисловодск. На расклеенных на кисловодских заборах афишах, возвещавших о выступлениях Гайдарова, как и на бланке письма, отправленном им в столицу, перечислялся обширный репертуар артиста: «художественные эскизы, инсценировки, политическая сатира, трансформация, рассказы, монологи». В письме, о котором идет речь, Гайдаров сообщал: «О себе говорить не буду, наверное, слышали, а если слышали “с плохой стороны” (что теперь не удивительно), то предлагаю ДЕБЮТ, а в условиях сойдемся. Репертуар свой, новый и разрешен Главлитом на литер “А”».



Артисту не повезло. Директор «Эрмитажа» раздраженным почерком через все письмо начертал: «Сообщите, что вся программа заполнена».

Представляю кривую усмешку на лице артиста, когда он получил этот банальный, пошлый ответ. В первый момент, возможно, им овладело злорадство и он представил себе пустой зал «Эрмитажа», бойкотированный публикой, узнавшей о том, что пошляк-директор ответил талантливому артисту отказом. Потом Гайдаров махнул на все рукой, занял деньги и напился. Кто может понять душу артиста?!

Не знаю, как вы, читатель, отнеслись бы к гастролям Гайдарова, а я обязательно пошел бы в сад «Эрмитаж». Интересно было бы взглянуть на его художественные эскизы и трансформации. Но, увы, прошедшего не вернешь и минуту живой жизни не заменишь никакими описаниями и воспоминаниями. Слова «Лови момент!» особенно пронзительно звучали в те времена, когда возможности кинематографа были очень ограничены, а видеозапись вообще не существовала.

Да, не было тогда телевидения, кино хранило молчание, и единственной возможностью насладиться в полной мере искусством оставались театр и эстрада. В 1927 году в Москве существовало сто пятьдесят пивных и столовых, где была эстрада. В месяц в них проходило полторы тысячи представлений. Артист за вечер нередко выступал два-три раза. Репертуар простой. В те времена песни улицы и эстрадные песни не очень-то отличались. Народ любил задушевные блатные песни. В них были грусть заброшенного человека, жалость к себе и вместе с тем удаль, ласкающая самолюбие. В 1923 году, например, распевали:

Эх-ма, семерых зарезал я,  
Дальше солнца не угоняй,  
Сибирь наша сторона...

Еще в середине тридцатых годов на толкучке можно было услышать, как под гармонь какой-нибудь инвалид распевал охрипшим голосом «Перед судом», «Жену алкоголика» или заводил:

В наших саях под медвежьей шкурою  
Желтый лежал чемодан.  
Каждый невольно в кармане ощупывал  
Черный холодный наган...

В основу содержания тех песен нередко ложились действительные истории, преступления.

Фамилия одного из певцов, избравшего местом своих выступлений Сухаревский рынок, была Коблюков. Конечно, это не народный артист, не знаменитость, но пусть через много лет кто-нибудь, прочтя эти строки, подумает и об этих, давно ушедших людях, представит визг потрепанной гармошки и далекий голос человека довоенных лет.

На улицах приходилось выступать не только самодеятельным певцам, но и безработным актерам. В двадцатые годы устраивались гулянья у Новодевичьего монастыря. Там безработные артисты исполняли «запрещенный» репертуар. Монастыря как такового не было. В его помещении разместился музей. Открыт он был во вторник, пятницу и воскресенье. Билет стоил 25 копеек. В покоях царевны Софьи находились детские ясли. Впрочем, на гуляньях в выходной день для того, чтобы отвлечь людей от пьянства, власти устраивали представления, но ничего не помогало. С искусством конкурировала коммерция. Действовали две пивные. Одна торговала распивочно и навынос, другая — только навынос. На траве валялись пьяные, все было загажено пустыми бутылками, обедками, рванными газетами.

Приходилось артистам ходить и по дворам. Помню, еще в пятидесятые годы в наш двор в Большом Сухаревском переулке приходили певцы и музыканты из общества слепых. Играли на аккордеоне, пели. С балконов и из окон им бросали деньги. Не случайно артисты называли себя «веселыми нищими».

Журнал «Огонек» за 1925 год рисует такую картинку уличных выступлений: «Здесь и шарманщик с попугаем, который за 5—10 копеек вытаскивает из ящичка пакетик со “счастьем”. Счастье “дореволюционное”, например: “Проживете до 97 лет. Счастливым месяц май. Находитесь под планетой Юпитер. В 1913 году женитесь (по любви) на молодой интеллигентной особе. Приданое

двести тысяч". Здесь и кукольный театр за занавеской с городовым, полковником, попом, которых лупит дубиной Петрушка. Здесь и медведица Марьяванна с медвежонком. По приказу своего хозяина она показывает, как девки за водой ходят, как мужик напивается, да в грязи валяется... Здесь же музыканты со скрипкой, гармошкой сверлят уши жильцов обширным репертуаром фальшивого звучания от "Интернационала" до "Кирпичиков". Певец поет и Евгения Онегина, и тореадора, и баядерку...»

В 1926 году уличные выступления циркачей и прочих артистов, как и гадалок, были запрещены Моссоветом. Но в пивных искусство еще продолжало свое существование.

Выступать в питейных заведениях, как и во дворах домов, конечно, сложно. Надо было перекричать царивший там шум. Нередко какой-нибудь подвыпивший посетитель лез на эстраду, чтобы расцеловать артиста, и требовал, чтобы тот выпил с ним пару бутылок на брудершафт. Существовали развлечения и иного рода. Одну танцовщицу, одетую в матросский костюм, заставили танцевать умирающего лебедя под «Кирпичики». Женщинам, вообще, приходилось тяжелее, чем мужчинам. Если они осмеливались ответить дерзостью на домогательства содержателя пивной, то могли навсегда лишиться возможности выступать на пивной эстраде.

В публике считалось, что, для того чтобы добиться артистки, достаточно преподнести ей цветы. Кое-где действительно сложилась такая практика, но ведь нельзя забывать о том, что большинство артисток имели семью и далеко не все из них отличались легким поведением. И все же большего успеха часто достигали не те артистки, которые талантливее, а которые красивее, лучше одеты, более развязны, кто смирился со своим положением. Меньше унижений переживает, надо полагать, тот, кто ниже опустился.

Журнал «Новый зритель» утешал пивных артистов. «Живые актерские силы не должны бояться работы в пивной, — писал он в 1925 году. — Выступления на эстраде не менее плодотворны, чем на сцене. Ничего, что он (зритель. — Г. А.) сидит за столом, попивает пиво и

кругом стоит шум разговоров. Если исполнение эстрадной программы интересно, вопросы в ней затрагиваются близкие слушателю, то шум затихнет, внимание будет приковано к эстраде, а возобновленные в перерыве разговоры будут полны другим содержанием, продиктованным эстрадой».

Возможно, какие-нибудь куплеты и наполняли разговоры в пивных новым содержанием, но не чечетка, которую, кстати, наша публика очень любила. Завез ее в конце XIX века в Россию негр Боб Гопкинс. Танцевали чечетку на деревянных подметках и без, была чечетка американская и английская, более легкая и подвижная.

Любил народ и свое родное, русское искусство. Пели в пивных куплеты, частушки, романсы, играли на аккордеоне, бывало, выступал и хор. По словам очевидца, выступление русского хора в пивной выглядело обычно следующим образом: запевал тенор, обычно здоровенный дядя с широкой грудью и зализанными волосами. Пел он, откинув голову, выставив правую ногу и оттопырив на груди мизинец с бирюзовым перстнем. Другим солистом был бас. Он невысокого роста, подстрижен под бобрик, в поддевке, пел, распахнув пиджак и выставив серебряную цепочку от часов, которая красовалась на его животе. Хор выступал в русских национальных костюмах в сопровождении двух баянистов. Концерт вел конферансье. Иногда это был сам хозяин.

После хора объявлялось выступление артистки Инсаровой. Конферансье аплодировал, приглашая публику сделать то же самое. Публика аплодировала. Певица немолода, со следами былой красоты на лице, одета в откровенное декольтированное платье. Она пела:

Так и вы, мадам, спешите,  
Каждый миг любви ловите.  
Юность ведь пройдет,  
Красота с ней пропадет.

После Инсаровой выступал мужчина. Это был Ваня Коробейников. Он исполнял частушки, отбивая подбитыми яловыми сапогами чечетку:

Жена с мужем подрались,  
Подрались, развелися.  
Пополам все разделили,  
Пианино распилили.

Он пользовался успехом. Зал подпевал ему.

Шел 1925 год. Пивная эстрада была на подъеме.

В пивной «Арбатский подвал» пелись песни Покрасса, Прозоровского, Кручинина, записавшего знаменитые «Кирпичики». Один артист исполнял озорные куплеты: «Мальчики и дамочки едут на курорт, а с курорта возвращаясь, делают а...» Тут артист останавливался и спрашивал у публики: как бы вы думали, что они делают? Из зала кричали: компот, аборт, апорт, развод, аккорд, фокстрот, налет...

Ну а заканчивал свое выступление артист так:

Я куплеты вам пропел,  
Вылез весь из кожи.  
Аплодируйте, друзья,  
Только не по роже.

В зале хохот и свист.

Шутить вообще любили. Шутки были разные. Например, один конференсье (это было в 1936 году) спрашивал: какая разница между мужем, женой и орехами? И отвечал: «Орехи грызутся по праздникам, а муж с женой каждый день». Одна певица, исполнявшая песню «Мы на лодочке катались», после слов «не гребли, а целовались» громко чмокала. Артист Бельский пел душещипательную песню о любви, которую по ходу исполнения сопровождали всевозможные эффекты. Он произносил: «стонала душа» — и за сценой раздавался вой, он сокрушался: «сердце разбилось» — и на сцену из-за кулис летели осколки бутылок, он выдавливал из себя: «пилит сердце» — и публика содрогалась от душераздирающего звука пилы. Когда наконец он изрекал: «с сердца свалился тяжелый камень», то из кармана его пиджака вываливался камень и с грохотом ударялся о сцену.

Популярный чтец, исполнитель рассказов А. П. Чехова, Марка Твена, Эммануил Каминка (про него еще

ходило такое двустиишие: «Эстраде нужен Э. Каминка, как попе третья половинка») придумал такую шутку. Он как-то в качестве конферансье вел концерт и после каждого номера предупреждал публику о том, что в конце концерта будет такое, что все встанут и будут аплодировать. Когда концерт закончился, зрители остались сидеть на своих местах, думая, что сейчас будет тот замечательный номер, который обещал конферансье, но он все не появлялся, и люди стали уже расходиться. В это время появился Эммануил Каминка, сел за рояль и стал играть «Интернационал». Вместо всеобщего вставания и аплодисментов произошел скандал. Случилось это в 1928 году, в Евпатории. Но об этой истории говорила и Москва.

В те годы еще можно было похулиганить и вообще позволить себе быть не очень «политически выдержанным». Куплетист Гриша Райский, например, в двадцатые годы распевал такое:

Я, Гриша Райский, известный куплетист,  
Пою себе куплеты, как будто ничего,  
Пою себе направо, пою себе налево,  
Никто мене не слушает, а я себе пою.  
И ГЕПЕУ мне знает, и дамы обожают.  
А почему?  
А потому, что я Гриша Райский,  
Известный куплетист...

Даже в официальном концерте, где-нибудь в филармонии или консерватории, можно было исполнить что-нибудь безыдейное. В Колонном зале Дома союзов Татьяна Букольева могла себе позволить спеть изящный салонный романс:

Она казалась елочной игрушкой  
В оригинальной шубке из песцов,  
Красивый ротик, маленькие ручки, —  
Такой изящной фесей дивных снов...

Популярные певцы того времени — Орлова, Дулетова, Равич, Эльга Каминская, Юровская — любили вставлять в свой репертуар романсы на слова Оскара Осенина. Зал с замиранием сердца слушал: «Я помню

блеск вина в бокале...» или «Ты смотришь на меня так холодно и грозно. Зачем ты так глядишь, мне страшно, перестань...»

Людей, далеких от салонного романса, это возмущало. Они видели в нем выражение классово чуждой, прогнившей идеологии.

Иногда действительно дело доходило до форменного безобразия. 21 января 1929 года в «Севхимтресте» проводился торжественный вечер по случаю очередной годовщины памяти В. И. Ленина. Сначала все было очень чинно и пристойно. Заслушали доклад, стихи о великом вожде, звучали «Мы жертвою пали» и «Смело мы в бой пойдем», но постепенно обстановка печали и торжественности в зале и на сцене рассеялась. После антракта и посещения буфета народ расслабился, повеселел. Начались игры, шутки, а кончилось все тем, что куплетист Мармеладов при одобрении всего зала спел:

Цыгане шумною толпою  
По эсэсэрии идут  
И, приближаясь к Волховстрою,  
Всю ночь «Кирпичики» поют.

Зрители и артисты разошлись довольные друг другом. Хорошо еще, что на этом вечере не выступал «король московских шутов» И. Высоцкий. В его репертуаре была игривая песенка, в которой имелись такие слова: «Люблю я женщин рыжих, коварных и бесстыжих... Эх, рыжая бабенка игривее котенка!» Подобные песенки распевали и другие известные московские куплетисты: Соболевский, Александров, Матов, Савояров.

Только валять дурака, петь пошлые куплеты и салонные романсы эстрада пивная и непивная долго не могла. Пришли иные времена. Надо было откликаться на злобу дня, воспитывать новое поколение советских людей. И эстрада откликалась и воспитывала, как умела. В начале двадцатых годов хоры, оркестры, ансамбли баянистов, театр «Синяя блуза» выступали на площадях, улицах, в клубах, на предприятиях почти ежедневно. Эстрадный театр «Синяя блуза», в смысле рабочая куртка, ставил «живые газеты», в которые включали стихи, песни, гимнастику с хореографией и даже цитаты из

речей государственных деятелей. Был, конечно, и юмор. В выступлениях 1927 года «Синяя блуза», учитывая значение, которое руководство страны придавало промфинплану, исполняла «Интернационал» на эту тему. «Мы укрепим бюджетный план своею собственной рукой», — пели синеблузники. Антисоветскую шутку о том, что в «Правде» нет известий, а в «Известиях» нет правды, они, несколько смягчив, представили в таком виде: в «Правде» много известий, но и в «Известиях» много правды (много — это еще не все!). Синеблузники осмеливались даже играть с модными тогда политическими терминами. В монологе о любви было, в частности, такое: «Влюблен я в одну губ-кожу без всякого полит-просвета и целыми днями у нее агит-пропадаю», а заканчивался монолог так: «Больше-вичить нету мочи!»

Был случай, когда на просьбу зрителя спеть что-нибудь о растратчиках конферансье, ведущий выступление «Синей блузы», ответил: «Их достаточно среди вас здесь». Откликаясь на борьбу с мешанством, синеблузники пели: «Наш устав строг: ни колец, ни серег. Наша этика — долой косметику».

Не отставали от синеблузников и другие артисты. Знаменитый клоун и акробат Виталий Лазаренко сочинил частушку о кооперативной торговле времен нэпа:

В окнах кооператива  
Ананас, лимон и сливы,  
Полны все окошечки,  
Только нет картошечки.

Артист Борис Тенин откликнулся на тему модного тогда омоложения:

Встретил я одну девчонку,  
Ест она морожено.  
Оказалась старушонка,  
Только омоложена.

На тему об «уплотнении», целью которого было заселение всей жилой площади, без излишков, пели такую частушку:



Все в Москве так уплотнились,  
Как в гробах покойники.  
Мы с женой в комод легли,  
Теща в рукомойнике.

А вот куплет образца 1929 года по другому волнующему вопросу:

Новый быт хорош бесспорно,  
Волга — матушка-река,  
Только вот вода в уборной  
Заливает берега.  
Сирень цветет,  
Не плачь, пройдет...  
Ах, Коля, грудь больно,  
Ох пахнет, довольно!

Когда в 1925 году стали прижимать нэпманов и увеличивать налоги, появилась частушка:

У буржуев тьма тревог,  
На сердце — обуза,  
Говорят, введут налог  
На большие пуза.

Про фальшивомонетчиков сочинили:

Сенька с Петькой при луне  
Заперлись в бараке,  
Помогают там казне  
Выпускать дензнаки.

Противоречие между городом и деревней, выразившееся в том, что крестьяне по талонам, полученным за сданный им государству хлеб, не могли приобрести ничего нужного, а предлагалось им совсем бесполезное, нашло воплощение в таких частушках:

Получил Ярема фрак,  
Не налезет что-то,  
А у прочих мужиков  
И теперь забота:  
В лавках им взамен портков  
Выдают монокли.  
Вишь ты, на ноги никак,  
Даже плешки взмокли.

Артистов эстрады власти упрекали в том, что в их выступлениях не затрагивались политические темы. Артисты, конечно, понимали, что копаться только в житейских мелочах нельзя, но и протаскивать недостатки общественной жизни опасались. Выход был найден. Сатира и юмор взялись за иностранный капитал. Здесь и критика, здесь и мировой масштаб. Да и вся страна жила мировыми проблемами. Слова: Лига Наций, Чемберлен, Чичерин, ультиматум и другие — не сходили со страниц газет, и артисты не должны были отставать от времени. Тем более в других жанрах, даже в цирке, политика занимала не последнее место. В 1927 году в цирковом представлении «Взятие Перекопа» участвовало триста красноармейцев, изображавших красных, белых, французов, участвовала и артиллерия, стрелявшая холостыми. На арене — красные: Буденный, Блюхер и белые: Врангель, Слащев. Рассказывали, что и в театре Мейерхольда били по партеру из пулемета тоже холостыми патронами. Публике это нравилось. Не всех привлекали романсы и арии. Когда в 1928 году певица Фридман стала петь перед красноармейцами французские песенки, из зала раздались крики: «Довольно!» В том же году некий Шульман решил порадовать аудиторию еврейскими песенками и куплетами. Успеха он не имел. К тому же весь его репертуар в первый же вечер был запрещен цензурой. Правда, Шульман не растерялся и на следующий день пел в синагоге. Вообще выступления в культовых учреждениях не поощрялись. Артист Полетаев за пение в церкви был исключен из профсоюза. В то же время такие выдающиеся солисты, как Нежданова, Катульская, Петров, Козловский, Михайлов, пели в храмах, и это сходило им с рук. Очевидно, «выдающимся» прощали.

Опыты политической сатиры рождали свои «шедевры». На мелодии «Мурок», «Кирпичиков» и прочих любимых массаами произведений звучали, например, такие слова:

Всех буржуев бьем примерно  
До победного конца.  
Все под знамя Коминтерна.  
Ланца-дрица-гоп-ца-ца!

В том же 1927 году исполнялись такие песни:

Ныла у меня душа,  
А теперь, Алеша, ша!  
Не занует она больше,  
Коммунизм растет и в Польше,  
И в Лондоне, и в Кантоне,  
И у немцев, и испанцев,  
У французов, итальянцев,  
И у прочих всех народов,  
У красивцев и уродов.  
Строим мы каналы, реки,  
Строим фабрики, аптеки,  
Строим МОПР и нарпит,  
Процветает новый быт.  
С неба прет фабричный дым  
И, вопще, «Освиахим».  
Да здравствует интернациональный Интернационал!  
Граждане, я все сказал!

Особенно любили склонять в частушках английского министра иностранных дел Остина Чемберлена. В Саду имени Баумана, что на Новой Басманной улице, Снежина и Брусова, исполнявшие частушки, пели:

Мне вчера приснился сон,  
Хожу, как потеряна,  
Чемберлен, вишь, без кальсон  
Целовал Чичерина.

(Чичерин был тогда министром иностранных дел СССР.)

Другая частушка звучала так:

Чемберлены поспешили  
Ультиматум нам прислать.  
«Ульги» — к делу мы пришили,  
Матом будем отвечать.

Но как ни старались эстрадные артисты сделать свой репертуар идейным, тучи над ними сгущались. Сперва прозвучала критика, потом посыпались запреты. В конце двадцатых годов началось гонение на пивную эстраду. Репертуар взяли под контроль. Особенно строго стало в 1930 году. Последним днем выступле-

ний эстрадных артистов в пивных было назначено 15 марта, а для оркестрантов — 1 мая 1930 года. Теперь в пивных, кроме шума голосов и звона пивных кружек, ничего нельзя было услышать. Велась борьба с «легким жанром».

В 1931 году была ликвидирована «Ассоциация московских авторов», или, как писали тогда, «кооперативная лавочка “фокстротчиков” и “цыганщиков” во главе с “вредителем” Переселенцевым». Враги ассоциации — пролетарские композиторы и музыканты — радовались, как дети, узнав о том, что Переселенцев получил четыре года строгой изоляции. А главной виной Переселенцева было то, что возглавляемая им ассоциация издавала ноты романсов и других безыдейных произведений. К тому же он много лет бесконтрольно хозяйничал в Музторге. А уж этого ему никак не могли простить. «Легкий жанр», отвлекавший внимание трудящихся от идейных произведений, оказался легкой добычей критиков. Сам Нейгауз сказал: «Легкий жанр в музыке — это до сих пор в подавляющем большинстве случаев то же, что порнография в литературе». Так раскулачивание перешло на музыку. Из композиторского сословия стали «вычищать» нэпманских лжекомпозиторов. Разоблачали «приспособленцев», тех, кто к старым формам прицеплял современные идейные ярлыки, такие как «Эх раз, еще раз. Только для рабочих масс» или: «Ну этот венчаться не станет, да сердце-то в партию, в партию тянет» (музыка Ольги Тихоновой, слова Чуж-Чужанина).

Возмущало пролетарских критиков и исполнение коммунистической песни «Смело мы в бой пойдем» на мотив белогвардейской «Белой акации», а «Марша Буденного» на мотив обрядовой свадебной песни. Досталось даже песне «Вздыхайте выше наш тяжкий молот» за то, что песня эта, по мнению критика, являлась «не усилием бойца, а показателем бессилия».

Особенно доставалось от пролетарских критиков «Кирпичикам». Песня эта была действительно очень популярной, поскольку в простой и доступной форме отражала социально-экономические сдвиги в обществе, произошедшие после революции и Граждан-

ской войны. Одна фраза чего стоила: «И по винтику, по кирпичику разнесли весь военный завод». Киностудия «Межрабпомрუსь», вдохновленная содержанием песни, в 1925 году ее экранизировала. Шли «Кирпичики» и в театре. История, заимствованная театром из песни, была простая, но душевная. Маруся и Семен работали на кирпичном заводе, полюбили друг друга, потом Семен пошел на войну, а там и революция. После годов разлуки и страданий Маруся и Семен снова встретились на кирпичном заводе, где любовь их продолжилась. Музыкальные же критики утверждали, что «Кирпичики» притупляют классовое сознание. «Послушал молодой человек “Кирпичики”, — рассуждали критики, — раз послушал, другой да выпил, да закусил — какой же он после этого идейный борец за светлое будущее?»

А что бы сказали критики, услышав эту песню с другими сомнительными и даже вредными словами, например, такими:

Задымилась печь, закипел котел,  
И пошла самогоночка в ход.  
Вместо водочки николаевской  
В ней отраду нашел от невзгод.

И это пелось в то время, когда в стране шла ожесточенная борьба с самогоноварением!

Борьбе с моральным разложением, проституцией, по мнению пролетарских критиков, мешала еще и «цыганщина». «Цыганщина» расслабляет — утверждали они. Прослушав как-то на концерте романс «Я вас люблю, вы мне поверьте, я буду вас любить до смерти», один из критиков съязвил: «Первые-то две строчки певица пела спокойно, а последнюю (“Я буду вас любить до смерти”) — с криком и надрывом, мол, смотрите, как я горяча, страстна, ваша пятерка не пропадет даром!»

Сторонников идейной музыки возмущало и то, что в магазине грампластинок «Коммунар» на Тверской покупатели часто спрашивают продавца о таких пластинках, как песенка «Ах ты, Коля-Николай», фокстроты «Эрика», «Две кошечки», «Завивайтесь, кудри», «Аллилуйя», «Мисс Эвелин».

Фокстроты, да и вообще танцы, которые танцевали парами, раздражали. Главным доводом критиков было то, что танцующие допускают возбуждающие прикосновения. К этим прикосновениям присоединяется к тому же и вызывающая, будящая нездоровые мысли, музыка. Из-за этой музыки и возбуждающих прикосновений танцы типа фокстрота следовало запретить. Запретить следовало и вальс. За что? А за то, что «состоит он из бессмысленных однообразно круговых движений, доводящих человека до головокружения». Признавая «танцульку» ярким проявлением старого быта, некоторые все же находили в танцах элементы физического воспитания и предлагали молодежи водить хороводы, плясать лезгинку, гопак, русского.

Раздражали строгих критиков своей безыдейностью и пластинки с записями «сценок». В одной из них рассказывалось про такой случай: толстая тетка лезла в трамвай у Сухаревой башни, но поместиться в вагон не смогла и встала на подножку. Кондуктор стал просить ее сойти с подножки, ругал, уговаривал, но ничего не помогало. Тетка с подножки сойти не желала. И лишь после того, как кондуктор обратился к ней по старорежимному вежливо: «Мадам, нравственно прошу вас сойти с трамвая», она сошла. А в сцене из оперетты Дунаевского «Ножи» критикам не нравилась фраза, которую произносил главный герой Павел Пирушкин: «Мы сами творцы полового вопроса!»

Все это было, по мнению критиков, чуждо пролетарскому искусству. Вот и получалось, пролетариат — одно, а пролетарское искусство — другое. Склонность пролетариев к спиртному, не всегда идейным частушкам не учитывалась. Нужно было создавать новую пролетарскую мораль, мораль передового класса, осуществившего революцию.

Пролетарские композиторы мечтали вместо дурацких песенок и сценок, которые раскупали москвичи, записать на пластинки революционные гимны и колхозный устав.

На эстраде (не пивной) претензии стали предъявляться не только к репертуару, но и к внешнему виду артиста, к его поведению. «Мособлрабис» исключил

из профсоюза Кузьмина и Звольского за то, что они на работе под портретами вождей пролетариата повесили портрет Николая II. Когда певица Н. Д. Гранат явилась на концерт в клуб «Красный богатырь» одетая не по форме, а в бальном декольтированном платье, заведующий клубом позвонил в «Центропосредрабис» с просьбой принять к артистке соответствующие меры. Певице пришлось срочно переодеться. Влетело Ананьеву и Мезенцеву, посмевающим в одном из клубов спеть есенинское «Письмо к матери». Влетело также за антисемитизм исполнителю частушки:

Птичка божия не знает  
Ни заботы, ни труда.  
Целый день она порхает,  
Потому — еврейка.

Но хуже всех пришлось исполнителям цыганских романсов. Тем вообще запретили выступать. Потом, правда, сжалились и объявили: «В связи с тяжелым материальным положением исполнительниц цыганского жанра им временно разрешено выступать на концертах в рабочих клубах исключительно с этнографическим репертуаром». При этом «Рабис» поставил им условие, чтобы они «в возможно кратчайший срок изменили жанр и репертуар».

В 1930 году досталось и «Синей блузе». Специальная комиссия, проверившая ее деятельность, пришла к выводу, что ее коллектив не имеет связи с рабочим зрителем, в ней, то есть «в блузе», отсутствует «рабочая прослойка» и вообще она засорена «недостаточно квалифицированными актерами (что правда — то правда: «Синяя блуза» фактически была самодеятельностью) и классово чуждыми элементами». Комиссия указала также на то, что «во время гастролей в Германии ее участники посещали ночные кабачки, чем дискредитировали советское искусство перед лицом зарубежной рабочей общественности». Было принято решение очистить коллектив от неквалифицированных артистов и классово чуждых элементов. Интересно, совпала ли неквалифицированность с классово чуждостью?

Оперетта с ее графами, баронами, шикарно одетыми женщинами, сомнительными танцами все больше и больше становилась чужеродным явлением в советском искусстве. В январе 1930 года рабочие завода «Красный богатырь» смотрели в театре оперетту «Леди и солдат». После спектакля состоялось ее обсуждение. На нем рабочие говорили о том, что оперетта далека от интересов рабочего класса и не проникнута нужной ему идеологией. Рабочий Паклин сказал, в частности, что оперетта должна быть подана в классовом разрезе. Артисты его не поняли, но согласились.

Когда через год музыкальный критик В. Блюм заявил о том, что музыка и идеология не связаны и что в «социалистическом хозяйстве» пригодится и «веревочка Сильвы» (тоже еще Осип нашелся!), музыкальная общественность возмутилась и подвергла нерадивого Блюма общественной порке, чтобы не защищал западную и нэпманскую халтуру и цыганщину.

В те годы вырабатывался моральный кодекс советских деятелей культуры. Молодое Советское государство хотело видеть в них не богему, а трудящихся.

Считалось непристойным участие артиста в рекламе товаров, тем более иностранных. Популярную певицу Тамару Церетели ругали за то, что она рекламировала иностранную пуховку (пудрилась), а надпись на рекламе с ее изображением гласила: «Я пудрюсь только “киской Лемерсье”». Пуховка была из лебяжьего пуха с маленькой косточкой и основой из розового шелка. Подобные буржуазные штучки раздражали пролетариат. С ними пора было кончать.

Директором Московского мюзик-холла назначили рабочего завода «Авиаприбор» Оглоблина, а в январе 1930 года в «Главискусстве» началась «чистка». Современнику это слово, может быть, ничего не говорит, но тогда оно стоило людям много здоровья и нервов.

Тридцатые годы прошли в очищении рядов и укреплении морали. На Апрелевской фабрике грампластинок в 1931 году было уничтожено свыше 80 процентов матриц пластинок легкого жанра. Правда, на Сухаревском рынке еще можно было за большие деньги приобрести и Лещенко, и Вертинского, которых сильно ругали в



газетах. Известный публицист Татьяна Тэсс писала о Вертинском: «Белогвардейский Пьеро, демонстрирующий в парижских кабачках свое обсыпанное трагической мукой лицо с глицериновыми глазами и лирический голос сифилитика». Читаешь такое и думаешь: когда у публициста не идет содержание, он наваливается на форму, которая становится игривой, хлесткой, с привкусом грязи и похабщины.

Тогда же пластинки Вертинского, Лещенко и других эмигрантов стали «запрещенными», но их все равно слушали, закрыв поплотнее дверь.

В ноябре 1937 года Московский городской суд осудил Григория Ароновича Шлезингера за то, что он, «не желая заниматься общественным полезным трудом... выдавал себя за изобретателя... и в начале 1932 года предложил Научно-исследовательскому институту молочной промышленности получать витамин “Д” путем воздействия на молоко ультрафиолетовых лучей, а также подобным образом увеличивать завиток на мерлушках». Так вот в этом приговоре сказано: «Вещественные доказательства по делу: сто четыре граммофонные пластинки и патефон, отобраанные при обыске у Шлезингера, конфисковать в доход государства. Пять граммофонных пластинок (запрещенных) исполнения Лещенко уничтожить». Сурово и несправедливо.

В начале тридцатых годов критики навалились на многих любимых народом артистов: на Изабеллу Юрьеву, Тамару Церетели и многих-многих других. Не забыли критики и про Вадима Козина. 10 февраля 1940 года в «Комсомольской правде» появилась статья Георгия Хубова «О пошлости на эстраде». В ней говорилось: «Козин исполняет песенки, в которых густая пошлость слегка приукрашена интимной чувствительностью. У Козина нет голоса, но есть эстрадный опыт, который позволяет ему играть этой внешне наивной чувствительностью, — она выражена в его “смиренной” позе и во всей его вкрадчивой манере исполнения. Нет сомнения, что Козин не лишен некоторых эстрадных способностей...»

В тридцатые годы Козин пел, в частности, песни из репертуара Изы Кремер, такие как «Танго смерти»,

«В далекой знойной Аргентине» и пр. Под названием «Танго смерти» даже выпускались духи, мыло, одеколон.

Всю войну Козин выступал, гастролировал. Но вот война кончилась, и Козина арестовали. Музыкант его ансамбля Л. И. Штейнберг написал донос на Вадима Алексеевича. Причиной доноса, по словам Штейнберга, явились фашистские взгляды Козина. Безоговорочно поверив доносчику, работники НКВД и суда обвинили певца в том, что он «клеветал на советскую действительность, руководителей ВКП(б) и Советское правительство, пропагандировал свою ненависть к Советской власти, отрицал возможность построения социализма в СССР, охаивал жизнь в нем трудящихся, осуждал политику ВКП(б) в области сельского хозяйства. Кроме того, высказывал намерения бежать за границу и установил преступную связь с администратором бригады артистов немцем Дюбиком-Дюбеком». Свои антисоветские мысли Козин, по утверждению следствия и суда, высказывал в дневнике, который он вел с 1928 года. Самого дневника не было. Штейнберг потерял его во время ремонта своей квартиры. Так это или не так — неизвестно. Но Козин по статье 58-10 части второй получил восемь лет лишения свободы, после чего навсегда стал жителем Магадана.

Борьба за чистоту репертуара и эстрадных рядов была частью общей борьбы с буржуазными пережитками в сознании людей. Западная мода, танцы не вписывались в новую мораль. Закрывались частные танцевальные школы, где молодежь обучалась фокстроту и чарльстону.

А вот что произошло с работниками столовой Пешковского промыслово-кооперативного товарищества. Директор ее, Владимир Иванович Гольденберг, по постановлению Особого совещания при Коллегии ОГПУ СССР в ноябре 1929 года был отправлен на три года в концлагерь, а работницы столовой Ольга Владимировна Раевская и Мария Николаевна Калачева высланы на тот же срок в Северный край. Они были признаны виновными в том, что, «являясь представителями привилегированных в прошлом сословий (купцов и дво-

рян), работая в столовой, которую посещали работники штаба РККА и РВС, а также представители иностранных посольств, создали обстановку “фокстротно-буржуазного типа”, облегчая возможность в разговорах разглашения военной тайны и знакомства работников иностранных миссий и военнослужащих, т. е. в целях шпионажа». Вот что значит заводить легкую музыку в неподобающем месте!

Один критик в сентябре 1930 года писал о фокстроте: «Пока его танцевальное выражение не отойдет к компетенции историков (как это, например, случилось с жигой, менуэтом или гавотом), и пока он не станет музыкой как таковой, а не музыкой для танцев — до тех пор в “употребление” он может “отпускаться” в ограниченных дозах и в облагороженных формах: можно разрешить фокстроты, сочиненные видными композиторами и предназначенные не для танцев, а для исполнения, содержанием (эмоциями) ничего общего не имеющие с похабным танцем». Но композиторы не баловали массы «классическими» фокстротами.

Нападкам со стороны критиков подвергалась не только танцевальная, но и классическая музыка. В конце 1930 года в «Вечерней Москве» некий М. Гронберг так писал о Сергее Васильевиче Рахманинове: «В чисто художественном отношении Рахманинов навряд ли заслуживал бы особого внимания (Гронберга, надо понимать)... Даже в дореволюционное время, в пору рахманиновского расцвета, у серьезных и передовых (!) музыкантов Рахманинов-композитор считался звездой отнюдь не первой величины. В наше время творчество этого “последнего Чайковского”, этого “певца дворянской печали” глубоко враждебно и чуждо нашему слушателю. Зачем же устраивать концерты, целиком посвященные этому творчеству?.. Мы считаем по меньшей мере бестактным и абсолютно неприемлемым, недопустимым организацию у нас подобных концертов — каких-то странных поминок по Рахманинову!» Кончалась заметка маленьким грязеньким доноском: «Кстати, интересно выяснить роль во всем этом деле Исполбюро 1-го МГУ — ответственного организатора данного концерта».

Да, чем «лучше и веселее» становилась жизнь советских людей, тем свирепее становилась критика.

Заедали артистов не только критики, но и хулиганы. В садах и парках выступать было небезопасно.

В 1925 году в Замоскворецком саду (бывший «Ренессанс»), что у Большого Краснохолмского моста, завелась шайка хулиганов. Хулиганы не только громко матерились, ставили подножки посетителям, избивали их, посыпали их темную одежду пудрой, а светлую мазали сажей, открывали краны для поливки, сами мочились на глазах у публики, а на замечания оборачивались к критику своих действий всем телом, они еще мешали артистам: кидали им под ноги на сцену различные предметы, кошек, гасили в саду свет и т. д. Шайку возглавлял Иван Цыганов по кличке «Могила». Долго милиция не могла справиться с хулиганами, так как они отбивали у милиционеров своих задержанных товарищей, запугивали свидетелей. Люди негодовали, но ничего с хулиганами сделать не могли. Еще Чарлз Диккенс возмущался тем, что государство не ведет должной борьбы с хулиганами, хотя и получает с граждан налоги, чтобы содержать полицию. Он писал по этому поводу следующее: «Все мы бессильны против хулигана, потому что подчиняемся закону, тогда как единственная забота хулигана состоит в том, чтобы нарушать его при помощи силы и насилия». В конце концов на хулиганов все же устроили облаву и арестовали их. Суд вынес им не очень строгий приговор, но все же большинство их село на два-три года.

Другие хулиганы развинтили аппарат, с помощью которого гастролеровавшая в СССР Мери Альстон в парке имени Прямикова (на его месте теперь Андроньевская площадь) демонстрировала аттракцион «мертвая петля в автомобиле». В результате произошла авария. Автомобиль разбился, Мери Альстон, к счастью, осталась жива, отделавшись ушибами.

Сами хулиганы тоже, бывало, откалывали номера. Так, один из них, по фамилии Сальма, в сентябре 1926 года, раздевшись догола, стал кувыркаться и лазать по деревьям Пречистенского бульвара. Милиционеры долго ловили его, как сбежавшую из зоопарка обезьяну.

Воры если и не давали представлений, то, случалось, участвовали в них. Летом 1929 года иллюзионист Кио в Бауманском саду показывал фокус с пропажей вещи. Партнерша артиста брала вещи у зрителей и передавала их ему. Тот складывал их в шкатулку, а затем стрелял в нее из большого старинного пистолета. Вещи из шкатулки исчезали и оказывались в противоположном конце зала. Публика замирала от неожиданности и награждала иллюзиониста громкими аплодисментами. Оставалось самое простое: вернуть вещи. Но однажды, открыв шкатулку, обнаружили, что пропали золотые часы, позаимствованные для фокуса у одного из зрителей. Кто-то их спер. Пришлось артисту выплатить пострадавшему их стоимость.

Обкрадывали воры и квартиры артистов. Так, шайка, в которую входили Холин, Доброхотов, Клепиков, Зеленев и другие, 15 мая 1925 года совершила налет на квартиру артистки театра Комиссаржевской Рутц, красивой блондинки. Проявление к ней внимания со стороны наркома просвещения Анатолия Васильевича Луначарского дало повод злым языкам острить на эту тему. Ходил даже такой анекдот: «Скажите, где Анатолий Васильевич Луначарский? — Не знаю, то ли с Рутц, то ли с Сац». (Сац — девичья фамилия его жены — Розенель, однофамилицы Наталии Сац, основательницы детского музыкального театра.) Так вот к этой самой Рутц, в квартиру на Малой Дмитровке, в шесть часов вечера ввалились пятеро бандитов. Они загнали домоладцев в ванную комнату, а пятилетнюю дочь артистки захватили, угрожая задушить ее, если им не отдадут все ценности. Два часа бандиты хозяйничали в квартире, перевернули все вверх дном, забрали серебро, одежду и ушли. В ту же ночь в одной из квартир на Тверской улице, во время дележа добычи, преступники были схвачены агентами МУРа.

Несмотря на отсутствие у милиции технических средств, нищенскую зарплату и чрезвычайную загруженность сотрудников, органы внутренних дел все-таки неплохо раскрывали преступления. Как-то в марте 1928 года в Москву из Германии приехал писатель Эрих Штойер. В мюзик-холле у него украли часы так,

что он и не заметил. Когда вор пытался совершить очередную кражу, работники МУРа его схватили. Нашли золотые часы. Людей в мюзик-холле было много, а вор не мог указать на того, с кого снял часы, ведь он не приглядывался к лицу потерпевшего. Тогда агенты МУРа попросили конферансье объявить о находке, что тот и сделал. Штойер откликнулся и получил свои золотые часы. Честь Москвы была спасена.

Конечно, воры отравляли жизнь не только артистам, но и зрителям. 18 октября 1926 года в театре импровизации и художественного чтения «Семперанте», находившемся на углу Тверской и Гнездниковского переулков, какой-то умник срезал ножницами подол платья у сидящей перед ним жены директора одного из московских кинотеатров, а 31 марта 1927 года в Большом театре у приехавшего в нашу страну французского писателя Люка Дюртена вор вырезал карман пиджака и похитил бумажник, в котором находилось 300 долларов.

В клубах и кинотеатрах трезвые и пьяные мерзавцы портили людям настроение. Хулиганы, к примеру, терроризировали посетителей клуба МОГЭСа «Красный луч». Находился он в так называемой «Приваловке» — районе грязных узких переулков за зданием МОГЭСа. Другая шайка не давала жить посетителям клуба медико-санитарных работников «Красный Октябрь» у Яузских ворот. Хулиганы занимали чужие места, устраивали драки в зале и вестибюле, избивали людей. Бездействием милиции в отношении нарушителей общественного порядка народ, естественно, был недоволен. Клоуны «Бим-Бом» использовали это недовольство в своем номере. Номер был такой: Бим выкатывал на сцену бочку, в которой сидел Бом, и просил Бома из нее выйти — тот отказывался и требовал, чтобы его об этом попросила публика. Публика просила, аплодировала, но Бом вылезать из бочки отказывался. Он настаивал на том, чтобы все встали, в том числе и «товарищи комиссары». Публика вставала. Тогда Бом вылезал из бочки в форме городского царского времени.

Шутка была по тому времени довольно смелая. Согласно ей получалось, что советские люди соскучились по городovým.

Шло время. Фининспекторы свирепствовали, милиция, хотя и без городских, усиливала борьбу с ворами и хулиганами, нэп ушел в прошлое. Настало время массовых мероприятий. 8 июня 1929 года в Москве произошло торжественное событие — был открыт Парк культуры и отдыха имени Горького.

В 1936 году парк переживал эпоху своего расцвета. Рядом с Крымским мостом появилась станция метро «Парк культуры». На метро можно было доехать до другого парка, «Сокольники». Издали ЦПКиО имени Горького выделялся двумя сооружениями: «Колесом обозрения» и парашютной вышкой. Смелчаки прыгали с нее, застраховавшись стропами, прикрепленными к башне. Тот, у кого не хватало смелости шагнуть в пустоту, мог спуститься вниз по металлической спирали, сев на коврик.

Был и другой аттракцион для тех, кто любил сильные ощущения. Назывался он «Параболоид чудес». Представлял из себя небольшую комнату, в которую входил желающий и садился на корточки. Тут комната начинала вращаться. Сперва медленно, потом все быстрее и быстрее. Постепенно скорость ее доходила до 40 километров в час. Сидящего на корточках все больше и больше прижимало к стене и поднимало к потолку. В конце концов он на потолке и оказывался. Потом скорость вращения комнаты начинала замедляться, и гость параболоида начинал сползать по стене на пол. Не все из этого аттракциона выходили победителями. Некоторые выползали на четвереньках. Было смешно.

Тот, кто хотел уюта и покоя, мог зайти в «Кафе под зонтиком», побродить по аллеям. На площади Пятилетки, посреди фонтана, стояла огромная статуя «Девушки с веслом». Парк украшали и другие статуи: «Девушка-пловец» Иотко, «Пионер с луком» и «Пионер с ружьем» Телятникова, «Мальчик с обручем» Баженовой и др. В те годы вообще любили скульптуры. Были они белые и большие. Два огромных спортсмена стояли, например, в нишах станции метро «Площадь Свердлова» («Театральная») и смотрели на Охотный Ряд.

В парке создавались условия для всякой самостоятельности. Мужчины могли побороться, женщины повышивать, дети выпиливать. Существовали одно время «Клуб юных остроумов», аллея карикатур. По инициативе Л. М. Кагановича в парке был построен «Зеленый театр».

После посещения парка Сталиным В. Гусев сочинил стихи. В них были такие строки:

Здесь старые дубы и клены  
Высокую память хранят.  
Здесь Сталин прошел, окруженный  
Веселой ватагой ребят.

А другой поэт, Алексей Сурков (о нем у К. Симонова: «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины»), в стихотворение, посвященное Парку культуры, ввел такие строчки: «Любимый и близкий с портрета, в усы улыбаясь, глядит».

В парке были цветники и аллеи, площади и пруды. Художник-цветовод Бежани создал из цветов портреты Ленина и Сталина.

Появилась специальность массовика-затейника. Людей нужно было развлекать, учить веселиться. За годы войн и лишений они разучились себя забавлять. Раскрепоститься, стать свободнее им помогала водка, но меры в ее употреблении люди не знали и веселье превращали в свинство.

Нужно было придумать безалкогольные развлечения, да такие, которые ни в чем не противоречили бы политике партии.

Несмотря на все благие порывы, уровень новых развлечений не особо отличался от уровня ушедших. В новых агитстихах, к примеру, слышались вирши двадцатых годов:

Ура, товарищ угнетенный,  
Уж рабства нету на земле.  
Семен Михайлович Буденный  
На рыжкей скачет кобыле.

Появились в них и новые мотивы, более соответствующие современному уровню военной техники:



Тыр-пыр пулемет,  
Выше, выше самолет.  
Мчится кавалерия,  
Грохочет артиллерия.

Под руководством массовиков в парке играли так: массовик показывает — все повторяют: приседают, похлопывают себя по коленям и громко говорят: огонь. Потом встают, поднимают обе руки, трясут кистями и говорят: воздух, затем поворачиваются кругом и говорят: вода. Кто сделает неправильное движение — штрафуетя.

А вот игра «Четыре цвета». У массовика-организатора четыре флажка: красный, зеленый, голубой и оранжевый. Он поднимает по одному флажку, не соблюдая порядка, а играющие, в зависимости от цвета, выполняют те или другие действия. На голубой — хлопают в ладоши; на красный — кричат «ура»; на зеленый делают поворот кругом; если два флажка, например, голубой и красный — хлопают в ладоши и кричат «ура».

Игра «Перепутанное слово» заключалась в следующем: массовик составлял список слов, в которых был перепутан порядок букв, например: рулжан вместо журнал, тремасинт вместо сантиметр, аталоп вместо лопата, раписапо вместо папироса, отактел вместо котлета, некосир вместо керосин, куринос вместо рисунок, упечах — чепуха, кихенат — техника и т. д., а играющие должны были их отгадать, произнеся слово правильно.

Любили задавать загадки типа: сколько концов у пяти палок (многие кричали «пять!»), или: сидит человек, а вы не можете сесть на его место. Где он сидит? — У вас на коленях, или: что было после 21 июня — 22-е (тогда еще не думали, что это дата начала войны), или еще спрашивали, как правильно писать: шесть плюс семь равняется одиннадцати или одиннадцати? Кто кричал одиннадцати, кто — одиннадцати, а на самом деле — тринадцати.

Любили петь хором. У массовиков для этого были заготовлены тексты песен, написанные большими буквами на больших листах бумаги. В общем, развлекались, как могли.

Тридцатые годы стали вообще временем массовых гуляний, массовых игр и массовых шествий. Ради них руководители нашего государства были готовы снести храм Василия Блаженного и Исторический музей. К проведению торжественных мероприятий готовились, их фотографировали, снимали на киноплёнку. Например, в Управлении московских зрелищных предприятий (УМЗП) по случаю 1 Мая 1932 года был разработан специальный план. В нем говорилось, что в основу организации 1 Мая должны быть положены решения XVII партконференции, а целями проведения праздничных шествий должны стать мобилизация творческой инициативы трудящихся на успешное завершение пятилетнего плана, разоблачение интервенционистических планов империалистов против СССР, пропаганда огромных достижений ленинской национальной политики и пропаганда боевых задач Коминтерна. Шествие по Москве должно было продемонстрировать также готовность советских людей к решительному и развернутому наступлению на капиталистические и оппортунистические элементы.

Составители плана указывали, что, «реализуя участие в демонстрации, нужно иметь в виду не только оформление карнавальной машины, но и колонны работников театра, а также подбор словесного и музыкального текста для карнавала. Надо добиться, чтобы все колонны театров вносили максимум оживления, красочности, бодрости в ряды демонстрантов, являя образцы затейничества, коллективной декламации и массовых песен». Каждому театру предписывалось, какой теме должно быть посвящено оформление его колонны, его передвижного стенда. Так, Театр Революции должен был сделать передвижную выставку на тему «Коммунистическое движение на Западе. Классовая борьба в Европе и Америке», Театр оперетты — на антирелигиозную тему, Театр сатиры — показать успешное построение социализма в СССР и безработицу в капиталистических странах и т. д.

С годами политический смысл демонстраций, по крайней мере для ее участников, улетучивался. На демонстрацию шли компаниями, с гитарами, аккорде-

онами. Колонны были большие, двигались медленно, и люди успевали напеться, натанцеваться, а также выпить и закусить. Было шумно и весело. Для кого-то, наверное, участие в демонстрации было нежелательным, но не пойти на нее значило дать повод к осуждению со стороны партийной и профсоюзной организации. В конце тридцатых годов участие в демонстрации давало возможность увидеть Сталина. Отказаться от такого «счастья» советский человек не мог, во всяком случае, не должен был.

И все же, несмотря на все запреты, принуждения, ограничения и прочее, в нашей стране существовали замечательная эстрада, оперетта, цирк, ведь эти жанры служили отдушиной в условиях подавления личности идеологией. Многие из прошлого теперь покажутся бедным, даже примитивным, и тем не менее по талантности и душевному теплу, которое актеры отдавали публике в своих выступлениях, эпоха, подобная этой, наступит не скоро, может быть, не наступит никогда, а имена Утесова, Шульженко, Ярона, Карандаша и многих-многих других останутся в памяти народной.

## «КОММУНАЛКИ» И «БЫВШИЕ ЛЮДИ»

*Общежития. — Теснота и грязь. — Борьба за существование. — Инженер Дцинзельский. — Смерть домоуправа Коромыслова. — «Калгановщина». — Выселение «бывших». — Пощечина «отцу русской демократии». — Зять германского императора. — Церковь и власть. — Болтуны. — «Сборища» монархистов. — История профессора Плетнева. — Неудачники. — Поджигательница. — Опустившиеся аристократы. — Чистки. — Аукционы. — Дюрер на Смоленском рынке. — Русский язык и время*

Когда в России плохо, люди ее «глубинки» бегут в Москву. Столица, как свеча на ветру, сама вот-вот погаснет, а манит к себе, как последняя надежда. Начинается внутренняя миграция из разоренных и окровавленных городов и селений в уют тесного московского жилья, к свету улиц, к человеческому общению. Многообразие голосов из разных мест сливается в единый хор, возглашающий единственное стремление чеховских трех сестер: «В Москву, в Москву, в Москву!»

Сюда, в Москву, после революции устремились, чтобы не сдохнуть с голода, чтобы не замерзнуть, не одичать, чтобы учиться, работать, найти свое место под солнцем, тысячи и тысячи граждан «новой свободной России». Стремилась, не задумываясь о том, где жить, где работать. Вместе с собой несли в Москву свои взгляды, привычки, сложившиеся в «вороньих слободках», деревнях и местечках. Перебравшись в столицу, пользовались ею, чтобы выжить, не спрашивая о том, может ли она принять всех желающих. Москва-старушка прогибалась, крихтела, но терпела.

Летом 1921 года в Москву прибыли тысячи беженцев из голодающего Поволжья. На Казанском вокзале в связи с этим был организован «питательный пункт», в помещении Зачатьевского монастыря на Остоженке разместили две тысячи детей.

Война, объявленная новым строем дворцам, увеличила число хижин, превратив в них бывшие дворцы. В течение пяти лет после революции отопление в городе не работало. От холода и сырости дома осели, их стены потрескались, рамы в окнах покосились, стекла полопались. Люди стали покидать свои насиженные гнезда. В Москве образовались так называемые «рваные дома», где полностью или частично перестала теплиться жизнь, а остались трещины, облупленная штукатурка да забитые досками провалы окон. Вот как описывается состояние дома 9 по Большой Дмитровке (это второй дом от Камергерского в сторону Столешникова переулка, принадлежал он тогда Москоммунхозу) в решении Особой сессии Советского народного суда Москвы от 3 сентября 1922 года: «...Системы водопровода, канализации и отопления разрушены, в квартирах отсутствовали водопроводные краны, раковины и батареи центрального отопления, сняты кухонные плиты, в большинстве квартир разобраны полы, всюду грязь, мусор».

Не вынесли испытания холодом в суровую зиму 1919/20 года и многие домишки на окраинах. Люди покидали их и переселялись в городские квартиры. В Москве шло «уплотнение». С его помощью государство смогло освободить для новых жильцов двенадцать тысяч комнат. В них-то и устремились жители подвалов, рабочих окраин и приезжие. Стало тесно, но к тесноте в столице было не привыкать. Еще до революции здесь существовало такое понятие, как «коечно-каморочные квартиры». Их было свыше двадцати семи тысяч и жили в них триста пятьдесят тысяч человек. Что эти квартиры из себя представляли? Крошечные комнатки-клетушки, отделенные друг от друга перегородками, не достигающими до потолка, общие кухни, уборные. В «передних» таких «квартир» и коридорах стояли койки для «одиночек».

После революции стали создаваться в Москве «дома-коммуны». Как правило, это были большие, хорошие здания, из которых полностью выселялся весь «нетрудовой элемент», а заселялись они жителями пролетарского происхождения. Эти дома государство ремон-

тировало за свой счет, снабжало конфискованной мебелью, бесплатным топливом и создавало «коммунистические учреждения»: ясли, детские сады и пр. В середине двадцатых годов в такие «дома-коммуны» было переселено тридцать три тысячи рабочих и двенадцать тысяч служащих.

Но хороших больших зданий Москве явно не доставало. Это и не удивительно. Ведь с 1914 года, с начала «германской» войны, в Москве ничего не строилось. Кроме того, немало домов в центре города заняли разные учреждения переехавшего сюда в 1918 году из Петрограда советского правительства.

Теснота, отношение граждан к захваченному жилью как к чужому, а не своему собственному, низкая культура людей, привычка жить в плохих условиях — все это уродовало и захламляло город.

Даже в учреждениях далеко было до элементарного порядка. Вот как выглядели в 1918 году некоторые из них: «...Полы, особенно в передних, покрыты грязью чуть ли не на вершок, стены сплошь оклеены разными циркулярами, объявлениями и пр. С потолков падает накопившаяся месяцами пыль, оконные стекла совершенно непроглядны от грязи, помещения, как канцелярии, так и передних, накурены едким дымом, и полы устланы окурками...»

Общежития тоже глаз не радовали. Особенно мрачно выглядели общежития рабочих. Даже названия рабочие придумывали им отнюдь не веселые: «Соловки», «Бутырки», «Бардачки». Вот, например, как выглядело одно из них в 1925 году. Это была казарма с высокими потолками на шестьдесят кроватей. У двери топилась печка, обитая железом. К ней прислонялись валенки для сушки. Жалобно хрипел граммофон. Несколько мальчишек в пальто и шапках курили, играли в карты, матерились. Полы в уборной были залиты мочой. Выйдя из этого смрадного места, люди, не снимая обуви, ложились на свои кровати. Все к этому привыкли. Никому и в голову не приходило сделать им замечание.

Не лучше была обстановка в общежитии Краснохолмской фабрики. В комнатах накурено. От цемент-

ных полов зимой холодно, а летом пыльно. Кровати тесно сдвинуты, постели смяты и сбиты в сторону сапогами. На них ложились не раздеваясь и не снимая сапог. Наволочки на подушках лоснились от давно не мытых, сальных голов. В мужской комнате на шестьдесят кроватей приходилось восемьдесят жильцов, из них несколько жен рабочих с детьми. Некоторые кровати так и были заняты целыми семьями. На полу окурки и плевки. Вентиляция отсутствовала. Было душно и шумно. Среди проживавших встречались довольно колоритные личности, например комсомолец Журавлев. Последний раз его умыли сразу после рождения, и с тех пор он являлся ярким противником всех средств личной гигиены, утверждая, что бактерии от грязи дохнут. Это ведь о Журавлеве местный врач сказал: «Все, что на нем и на его постели, нужно сжечь, а его вылечить». Нам теперь трудно сказать, была ли медицина тех лет в состоянии вылечить Журавлева. Товарищи же по общежитию воспринимали его как «ходячую заразу» и требовали выселить, на что Журавлев не реагировал и водил в свою постель проституток.

Конечно, с годами обстановка в рабочих общежитиях улучшилась, в них стало чище, но долго еще невнимание государственных и общественных организаций к этому вопросу и одичание людей будут порождать мерзость, о которой и вспоминать противно. Но надо. Надо, чтобы одергивать себя, не позволять себе опускаться, убоявшись того убожества, в которое сползли и еще могут сползти наши люди. В качестве такого «устрашающего» примера можно привести описание общежития рабочих, приехавших на уборку урожая в 1933 году. И хотя находилось оно не в Москве, но и не так уж далеко от нее. Вот это описание: «...Барак общежития расположен в центре городка, кругом дома набросаны разного рода отбросы, распространяющие большое зловоние, и около стен, крыльца происходит оправка рабочих. Внутри помещения очень грязно. Около печи сушатся грязные портянки, полы грязные, шкафов нет, а поэтому посуда и пища хранятся под подушками на кроватях. Света нет, так как нет керосина, и керосиновая лампа не имеет стекла. Вещи рабо-

чих, а также лопаты, топоры, косы и пр. находятся под кроватями. Вешалок для одежды нет. Нет также столов, стульев, табуреток. Рабочие едят на койках и подоконниках. Матрацы и наволочки настолько грязны, что имеют вид «помойных тряпок», а сами кровати расставлены как попало. Стены не оштукатурены и не побелены, а в щелях кишат клопы. Уборные переполнены и содержатся в антисанитарном состоянии».

Перечисление «недостатков» можно было бы продолжить, но, наверное, хватит. Удручает еще и то, что беспорядок и грязь в общежитии сотворили не какие-нибудь белоручки, а рабочие, которые могли бы, при желании, за один день навести порядок в своем доме. Почему они этого не делали? Лень было, или команду ждали? А может быть, потому, что привыкли к такой жизни и она не очень-то их тяготила? Если так, то это самое страшное. Когда у человека, живущего в скотских условиях, появляется безразличие и ему становится все равно, умылся он или нет, прибрал постель или оставил ее сваленной, надел чистое белье или донашивает до дыр грязное, общество катится вниз. Такое общество перестанет противостоять даже смерти. Это ли не вырождение?

Если московские рабочие помогали крестьянам работать в поле, то крестьяне приезжали в Москву строить дома. Тех, кого принимали на работу в строительные организации, поселяли в общежития. Общежитий, конечно, не хватало, и тогда городские власти стали их строить.

Летом 1926 года на берегу Яузы, недалеко от Преображенской Заставы (теперь только Преображенской площади), был возведен «Городок крестьян-строителей» — 25 деревянных барачков на 100—150 коек в каждом. Один барачок занимал клуб со столовой и читальной, а еще один — женщины, которые в основном привлекались к работе по обслуживанию «городка». «Городок» был обнесен забором. Поначалу сезонников пускали в него по пропускам. Днем в «городке» было пусто и тихо. После пяти собирался народ. Кое-кто шел в столовую обедать, но большинство обходилось черным хлебом и чаем: надо было экономить каждую копейку, иначе



с чем домой вернешься? Зарабатывали сезонники от 1 рубля 30 копеек до 2 рублей 50 копеек в день, то есть почти как фабричные рабочие, которые получали 60—70 рублей в месяц. За ночлег в бараке платили 15 копеек. Члены профсоюза жили в бараках бесплатно, но много ли их было среди деревенских мужиков?

Хорошими считались бараки на Яузе, но их было мало. Деревня разорялась, Москва строилась, и летом 1929 года сезонных рабочих в Москве было уже 120—150 тысяч. Приглашали их в Москву так называемые корреспондентские пункты, которые называли еще «Острова Сахалинские», наверное, за то, что приглашенных ими в Москву людей ждала полная неизвестность. Пункты не проверяли квалификацию приехавших. Этим занималась биржа труда. Крестьяне, не имеющие строительной специальности, нанимали за пару рублей мастеров, которые и проходили за них испытания. Так собирались в Москву со всех концов простые чернорабочие. Поселившись в бараке, они выписывали из деревень своих жен, а то и все семейство. Приехав на время, семейство оставалось в Москве навсегда. В некоторых организациях сезонников за такое самоуправство увольняли, но уволенные устраивались на другое строительство и из Москвы не уезжали. Население города за счет приезжих все увеличивалось. В бараках строителей открывались так называемые «балаганы» — отделенные занавесками места, занимаемые семьями. В семьях, естественно, появлялись дети, а в «балаганах» — люльки. За раздающийся из них по утрам писк люльки прозвали «будильниками». В бараках сушилось стираное белье, рабочие, из-за отсутствия табуреток, ели, сидя на постелях, кругом царили грязь, мусор, отбросы. Жизнь в таких условиях вела к одичанию. «Культрабату у нас проводят клопы», — шутили обитатели этих ночлежек.

Отдушиной становилась водка. В неуточное время ее можно было купить у кухарок, которые состояли при бараках. Потом, когда к мужьям понаехали жены, кухарок уволили, но они все равно продолжали жить в бараках и заниматься шинкарством, а проще говоря, торговать спиртным.

Подобные бараки-общежития сезонных рабочих существовали на Складочной улице (семейное общежитие Мосстроя), в Оболенском переулке, на Потылихе, на Потешной улице. И везде в них были духота, грязь, выгребные ямы, воровство и пьянство.

Эту ужасную привычку москвичей жить в грязи отметил в своей книге, на которую мы уже ссылались, и К. Борисов. Он писал: «...кругом грязь и беспорядок и, что самое главное, население настолько привыкло к этому, что как будто не замечает, в какой грязи оно живет. Давно немытые окна, паутина в углах — казалось бы, все это нетрудно привести в порядок, но, очевидно, считается излишним. Ведь и раньше было здесь грязно, тесно, бестолково и тем не менее бесконечно мило...» Это «мило» относилось, конечно, не к грязи и паутине, а к тому, что они покрывали.

Студенческие общежития, в отличие от рабочих, выглядели несколько чище. Но и здесь были грязь, теснота. Спать некоторым студентам приходилось на досках, на полу. Студентки следили за собой больше. Они занавешивали простынями часть комнаты и мылись в корыте. На баню денег не хватало, впрочем, как и на все другое. Стипендия студента в 1923 году, например, составляла 7 рублей 80 копеек. Из них за обеды вычитали 3 рубля и за общежитие — 1 рубль 60 копеек. Оставалось всего 3 рубля 20 копеек на месяц. Приходилось, конечно, подрабатывать, но даже когда и появлялись деньги, привычка экономить на всем, на чем можно, оставалась.

Журнал «Смена» в 1927 году в заметке, посвященной нечистоплотности молодежи, писал: «Зачастую в понедельник комсомолец приходит на работу прямо с гулянья. На его ногах по 40 рублей лакированные шимми, шевиотовый костюм, галстук. Он снимает с себя ботинки, пиджак, рубашку, надевает халат и — о ужас! — шея и спина грязные, рубаха нижняя рваная, из носков пальцы выглядывают, несет нестерпимым потом!» Вот каким бывал «свежий кавалер» в двадцатые годы XX века.

Руководители города старались как-то бороться за чистоту сограждан. В городе стала действовать Чрез-

вычайная санитарная комиссия. В 1920 году с 1 по 10 апреля ею были организованы «банная неделя» и «неделя стрижки и бритья». В течение этих десяти дней москвич по предъявлении «банного ордера» имел право помыться в бане и в любой парикмахерской (частной и муниципальной) постричься и побриться бесплатно. Парикмахеры были обязаны делать на ордерах пометки о произведенной работе и одновременно вносить в свою ведомость номер «банного ордера» клиента, указывая при этом, какую работу сделал (постриг, побрил и т. д.). Это было необходимо для контролирующих органов. Предвидя сопротивление этому благому начинанию со стороны нерадивых работников банно-парикмахерского хозяйства, власти города пригрозили уклоняющихся от проведения в жизнь «банной недели» заключать в концлагерь на три месяца.

Надо отметить, что уже тогда новая власть крепко взялась за работников бытового обслуживания. В парикмахерских вывешивались объявления: «Мастера обеспечены предприятием и особого вознаграждения за труд не принимают». В 1924 году были отменены чаевые и на предприятиях общественного питания. Газеты писали, что «официанты почти без исключения и оговорок приветствуют отмену чаевых». Обыватели читали эти реляции со смешанным чувством радости и тревоги. Они понимали, что за качество обслуживания им все равно придется расплачиваться. Отцы города об этом и слышать не хотели.

Касаясь общежитий, добавим еще, что были они не только рабочие и студенческие. Существовало, например, общежитие писателей. Находилось оно в доме 3 по Покровке, на углу Девяткина переулка. Жили в нем в двадцатые годы Артем Веселый, Михаил Светлов, Юрий Лебединский, Марк Колосов, Валерия Герасимова, Николай Кузнецов и другие работники пера. Жили бедно. Платили им мало. Скитались они по издательствам и редакциям в надежде пристроить где-нибудь свои сочинения, выпрашивали авансы. Чай и хоть какой-нибудь обед за весь день мог позволить себе не каждый, а уж о домашнем уюте многие и мечтать не могли. От бедности своей за большие романы не

садились: пока такой роман напишешь — с голоду подохнешь. Писали больше рассказы, в крайнем случае повести. И все-таки некоторые, такие как, например, Андрей Соболев (еще один бродяга в русской литературе), когда его спросили, что главное для писателя в наше время, ответил, что главное — это чтобы у писателей не было гувернеров, которые будут им указывать, что писать и как писать. С таким мнением были согласны не все. Сергеев-Ценский, например, проклинал то обстоятельство, что писатели в нашей стране считаются людьми свободной профессии, вроде частного извозчика или уличного музыканта, а следовательно, не имеют никаких льгот. Свобода при бедности начинала писателей утомлять. Вспоминались слова И. В. Сталина о том, что одной свободой не проживешь. Эта мысль вождя нашла подтверждение в судьбах и Соболева, и Сергеева-Ценского. Первый вскоре застрелился на Тверском бульваре, а второй дожил до восьмидесяти трех лет.

Писатели тогда утешали себя тем, что студенты рабфака получали стипендию 23 рубля, а пособие по безработице, на которое они могли рассчитывать, составляло 22 рубля 50 копеек.

Как следствие тесноты и бедности появились в Москве подкидыши. В середине двадцатых годов в дома младенца ежедневно поступало по 100—200 подкидышей. Детей находили в подъездах жилых домов, у церковных ворот и дверей больниц, одного даже под лавкой в трамвайном вагоне отыскивали. Государство предлагало гражданам брать детей на воспитание, обещая приплачивать им за это в месяц по 25 рублей на каждого, но те не спешили, так как самим было жить трудно и тесно. Когда детские учреждения переполнялись свыше всякой меры, в них устраивали «разгрузку» — разводили детей по родителям, обрекая их нередко на нищенство. Беспризорников государство предлагало взять крестьянам, обещая по достижении ими восемнадцати лет наделять каждого землей, но крестьяне беспризорников брали неохотно — не хотели иметь лишний рот в своем доме.

Теснота в Москве способствовала распростране-

нию болезней. Москвичи болели «инфлюэнцей», как тогда называли простуду, скарлатиной и даже сонной болезнью. В 1929 году в Москве свирепствовал страшный грипп, от которого умирали люди. Газеты писали, что от этого гриппа в Испании умирает каждый день сто человек. Грипп так и называли «испанка». Ходил даже анекдот: муж телеграфирует жене: «Я жив. Лежу с испанкой».

Строительство жилья не поспевало за ростом населения, и плотность проживающих на каждый квадратный метр площади все возрастала и возрастала.

Корней Иванович Чуковский в своем дневнике 14 февраля 1923 года сделал такую запись: «В Москве теснота ужасная: в квартирах установился особый московский запах — от скопления человеческих тел. И в каждой квартире каждую минуту слышно спускание клозетной воды, клозет работает без перерыву. И на дверях записочки: один звонок — такому-то, два звонка — такому-то, три звонка — такому-то и т. д.». Но что ни говори, а для тех, кто вселился в хорошую светлую комнату из подвала, хибары, а то и просто с улицы, жизнь и в коммунальной квартире была счастьем. Ведь обитали в Москве и так называемые «бесквартирники». Они жили в проходных комнатах, ютились в передних, коридорах, чуланах и кухнях у родственников и знакомых, занимали, рискуя жизнью, помещения, грозящие обвалом.

Люди жили везде, где только можно. Студенты Духовной академии в 1925 году жили, например, в Ильинской башне Китай-города, а одна воровская шайка ютилась в нише Китайгородской стены. Во многих домах даже парадные подъезды были забиты вещами, мебелью и всяким хламом. Забивали их не только для того, чтобы использовать как склад, но еще и для того, чтобы в дома не просочились люди с улицы и не обжились в них.

Борьба за экономию жилой площади в столице стала важнейшей задачей граждан и жилищно-коммунальных организаций города. В больших каменных домах шла постоянная, невидимая снаружи, перестройка. В 1932 году на Арбате один работник магазина «Маслоцентра» переоборудовал себе под жилье чердак дома

35. В доме 3 под жильем была преобразована уборная, а в доме 1/2 по Арбатской площади, в котором находилось общежитие для иностранцев, из трех уборных две были сломаны и отданы под кухню, в то время как кухня приспособлена под жилье. В доме 35 по Кривоарбатскому переулку были кому-то сданы «под застройку» три кладовки. К тому времени одну из них за 10 рублей снимал портной, а две другие — еще какие-то кустики.

25 апреля 1926 года из Страстного монастыря выселили монахинь, для того чтобы расселить в нем семьи сотрудников некоторых учреждений.

Получить комнату в Москве было практически невозможно. В 1925 году, например, в Краснопресненском райсовете ежемесячно стояло на очереди двадцать семь тысяч человек, а вселиться могли не более пятидесяти-шестидесяти очередников.

Постановлением президиума Моссовета от 28 августа 1924 года «Об урегулировании жилищного дела в Москве» устанавливалась жилищная норма на человека в пределах 16 квадратных аршин, что составляет примерно 12 квадратных метров. Жили, конечно, и потеснее, когда на человека приходилось и 4, и 3 квадратных метра. Если в квартире освобождалась комната, то ее жильцы переезжали по степени нуждаемости в большую комнату с тем расчетом, чтобы излишки жилплощади сконцентрировались в одной или нескольких комнатах. На такое самоуплотнение жильцам давалось две недели. Если они этого не делали, производилось принудительное уплотнение, то есть в освободившуюся комнату вселяли нового жильца. Слова «уплотнение» москвичи боялись. Особенно те, у кого было, что уплотнять. Поговаривали о том, что на «уплотнение» правительство пошло в угоду «рабочей оппозиции», обвинявшей партию в отрыве от пролетарских масс.

Как бы там ни было, люди искали любую лазейку, чтобы их не уплотняли.

Один нэпман за свой счет отремонтировал квартиру (сделавших ремонт не уплотняли) и просил суд не вселять в нее семью рабочего, но суд, учтя, что жалоб-

щик «имеет оптовое дело на Никольской улице», а вселившийся — пролетарское происхождение, отказал в иске.

Когда же бывший владелец квартиры Поликарпов в 1924 году попытался вернуть свои вещи, которыми завладели въехавшие к нему сестры Гуревич, суд ему в иске отказал, сославшись на то, что «бывшие владельцы квартир часто оставляют свою мебель в комнатах, заселенных в порядке уплотнения, отнюдь не из сочувствия “голякам”, въезжающим в квартиру, а из чувства самосохранения: раз мебель стоит в комнате квартирантов, она все-таки не будет забрана, а если останется в коридоре, то, пожалуй, попадется кому-нибудь на глаза и тогда прощайся с ней». Занятная логика. Мебель, конечно, в сундук не спрячешь, но разве это значит, что ее можно присваивать?

Новые жильцы не только разворовывали и присваивали мебель. Они с ней по-варварски обращались. На красном дереве, карельской березе ампира и барокко «мирного времени» появлялись круги от кастрюль и сковородок; толстые фолианты «Человек», «Мужчина и женщина», «История человечества» и другие шли на растопку печей; мальчишки выковыривали переливчатый перламутр из инкрустированных столиков и вырезали свои имена на всем, что попадалось под руку.

В трудную минуту вещи выручали своих владельцев. Нэпманы любили старину и охотно ее покупали. Ну а когда после коллективизации продукты подорожали и стали многим не по карману, «бывшие» понесли свои сокровища на продажу особенно активно.

Борис Пильняк в романе «Волга впадает в Каспийское море» отметил это явление российской жизни. Он писал: «Люди умирали, но вещи живут — и от вещей старины идут “флюиды” старинности, отошедших лет». В 1929 году в Москве, Ленинграде, по областным городам возникли лавки старинностей, где старина покупалась и продавалась — ломбардами, госторгом, госфондом, частниками. В 1929 году было много людей, которые собирали «флюиды».

Те, кто старинные вещи не продавал, а хранил, боялись за их сохранность. Находилось немало охотников до старины.

Боялись москвичи и надолго покидать свои жилища, ведь уехавший более чем на полтора месяца из Москвы жилец терял право на свою жилплощадь, так же как и жилец, осужденный на срок свыше трех месяцев даже за самое незначительное преступление. Вот за выехавшими на дачу квартира сохранялась дольше: с 15 апреля по 30 сентября, то есть на пять с половиной месяцев.

Привычка и необходимость дореволюционного времени иметь прислугу, с одной стороны, и тяжелая жизнь в деревне — с другой, сделали в те годы домработницу обычным атрибутом многих московских семей, в том числе и тех, которые жили в коммунальных квартирах. На бирже труда имелся даже специальный отдел по найму домработниц, а потом был организован и профсоюз домработниц. Наниматели должны были платить им жалованье, хотя бы 5 рублей в месяц, вносить за них «соцстрах», предоставлять им отпуск, спецодежду, а кроме того, выдать им расчетную книжку, а при увольнении — выходное пособие. Сначала домработниц можно было нанимать по телефону, но потом, когда пошли претензии от нанимателей, решили приглашать последних на биржу. Поскольку домработниц часто селить было некуда, они спали в коридорах, передних и на кухнях. В середине двадцатых годов половина всех московских домработниц ночевала на кухнях. С 1929 года жить на кухнях они могли только с согласия всех жильцов квартиры.

Катастрофический недостаток жилья, игнорирование жильцами элементарных правил общежития и пренебрежительное с их стороны отношение к жилью вынуждали московское руководство ввести довольно строгие «Правила внутреннего распорядка в квартирах». В правилах, введенных в действие в январе 1929 года, говорилось следующее: «...Ночной покой с двенадцати часов ночи. Входные двери черного и парадного ходов должны быть всегда на запоре... при пользовании ванными жильцы обязаны после мытья вымывать последнюю начисто. Стирка и полоскание белья в ваннах категорически запрещается (стирать надо было в корытах), не разрешается загромождение коридоров



сундуками, шкафами и другими громоздкими предметами... воспрещается хранение дров в комнате более однодневной потребности и колка их в квартирах, на лестницах».

Охватить все безобразия, творимые жильцами, и предотвратить разрушение ими жилого фонда было, конечно, не под силу никаким правилам. И виноваты в этом не только жильцы, но и условия их жизни. Например, в солидных, многоэтажных домах дореволюционной постройки ступеньки лестниц, когда-то застеленные коврами, стерлись и покривились, потому что жильцам приходилось тащить по ним санки с дровами или мороженой картошкой на верхние этажи. Лифты, даже если они и имелись в наличии, не работали.

Старели особняки. В 1934 году об одном таком особняке под № 4 по Неопалимовскому переулку газета писала: «Всюду грязь, из подвала несет гнилой картошкой, во дворе, у помойки, черные горы шлака... температура в доме зимой не выше двенадцати градусов. Жильцы первого этажа всю зиму не вылезают из валонок». О доме-городке № 12 по Никитскому бульвару сообщалось, что он строится уже десять лет, а уже нет ни одного исправного «стульчака», то есть унитаза. В 1927 году в доме 37 по улице Фридриха Адлера (Живодерке) одна гражданка провалилась сквозь пол своей квартиры на нижний этаж!

В общем, проблемы, конечно, существовали, но как-то они решались, не погибла Москва. Вольно или невольно, но и люди должны были «притереться» друг к другу, хотя это оказывалось и нелегко. Поводов для конфликтов было много, а если еще его участники принадлежали к разным группам населения, то тем более. Если участвовали в конфликте «бывшие», то конфликт приобретал «классовый» характер, если участником его был жилец нерусской национальности, то конфликт становился межнациональным. В моменты обострения отношений между жильцами из окон кухонь коммунальных квартир несло: «буржуй», «жид» или еще что-нибудь в этом духе.

В романе «Рвач» И. Эренбург описывает как раз такую коммунальную квартиру в доме на Малой

Никитской улице (в недавнем прошлом улице Качалова) в конце двадцатых годов. Занимает это описание довольно большой абзац. Привожу его с некоторыми сокращениями:

«Любой писатель, занятый своими героями, обитающими в нашей столице, вынужден учитывать значение квартирному кризису, который является не только проблемой хозяйственного восстановления, но и психологическим фактором, зачастую определяющим чувствования и поступки сотен тысяч людей. Стоит лишь сравнить спокойствие, уравновешенность жителей Ленинграда, где в любой квартире две-три комнаты заколочены, как ненужные (для экономии топлива), с нервичностью, даже озлобленностью москвичей, чтобы понять все значение квартирному кризису. Квартира № 32, это рядовая московская квартира. На входной ее двери красовался длинейший список фамилий с пометками: “звонить три раза” или “стучать раз, но сильно”, “два долгих звонка, один короткий”. Все двадцать семь обитателей квартиры должны были, прислушавшись, считать звонки или удары, отличая долгие от коротких. Многие ютились в проходных комнатах. Можно хранить стыд день, месяц, но не годы. Раздевались, не обращая внимания, — пусть проходят. Но иногда находила злоба, и тогда, запирая дверь, принуждали соседа топотать в морозной передней. Жили, вопреки поговорке, и в тесноте и в обиде, оживляя будни сплетнями, ссорами, скандалами. Каждый досконально знал жизнь другого, знал ее во всех деталях, знал белье соседа, его любовниц, его обеды, его долги и болезни. Поражение частицы заставляло содрогаться весь организм. Обыску у одного, понос у другого создавали бессонницу двадцати семи душ. Кухня была общей, и меню каждого оценивалось с точки зрения этики, эстетики, а также возможности вынужденного переселения в Нарым. Все двадцать семь искренне ненавидели друг друга. Швейге, наблюдая вялость уходящего утром от Сонечки Шурки Жарова, негодуяюще шептала на кухне: “Она же его погубит, эта дрянь! Вы только посмотрите, он даже с лестницы сойти не может”. Служащего Госбанка Дани-

лова попрекали тем, что его жена изводит полфунта масла на обед: “Сразу видно, взяточник”. Когда умер год тому назад муж Швейге, жена Данилова объяснила, что он умер от супружеской требовательности “старой ведьмы”. Коммуниста Чижевского долго побаивались, но как только выяснилась принадлежность его к оппозиции, Швейге немедленно дошла до колкого замечания: “Кофейник нельзя в раковину выпораживать, засоряется, некультурно это...” История всех стычек могла бы составить увлекательный роман с выразительным названием “Квартира № 32”...»

Да, сколько интереснейших сцен и сюжетов (и не только о стычках) дарила миру жизнь московских коммуналок и как жаль, что они канули в Лету!

В связи с тем, что между жильцами происходили споры и ссоры по поводу мест общего пользования и платы за коммунальные услуги, правила содержали ответы и на эти вопросы. В них, в частности, было сказано следующее: «...Уборка мест общего пользования должна производиться всеми жильцами поочередно на равных началах... от уборки кухни могут быть освобождены лишь те жильцы, которые ею вовсе не пользуются». Об оплате счетов в правилах говорилось: «Рекомендуется счета за электрическую энергию раскладывать между пользователями последней пропорционально количеству свечей (мощность ламп тогда в просторечии измеряли не ваттами, а свечами: сорок свечей, сто свечей и т. д.). Счета за газ — пропорционально количеству часов горения газа».

Как оплачивать свет в местах общего пользования, в правилах не говорилось. Наверное, составителям этих правил не хватило смекалки и фантазии. Жильцы выходили из положения по-своему. В одной квартире платили все поровну, в другой — в зависимости от количества членов семьи, а в третьей — каждая семья имела собственную лампочку над своим кухонным столом.

Вспомните хотя бы коммунальную квартиру в «Вороньей слободке», в которой жил Васисуалий Лоханкин, персонаж романа Ильфа и Петрова «Золотой теленок», как он заплатился за то, что не гасил за собой свет в уборной, и как не помогли ему ссылки на слабое здо-

ровые и семейную трагедию. Помните, дворник Никита Пряхин на его вопль: «От меня жена ушла!» — отвечал: «От всех жена ушла». И этот ответ был неслучаен.

Объединенные равенством перед жилищно-коммунальными организациями люди не могли и не хотели прощать тех, кто нарушал это равенство, они чувствовали себя обкраденными.

Люди несознательные, конечно, пытались обмануть государство и соседей, тайно подключая лампочки к электросети в своей комнате, вставляя спички в электросчетчики, останавливая ими вращение колесиков, накручивающих копейки и рубли. Газовых счетчиков тогда не было. Они появились после войны.

Газ в то время был редкостью. Москвичи топили печи, готовили на примусах и керосинках. Керосинки коптели, примусы шумели, дрова потрескивали, давая людям пищу, тепло и уют. Иногда, правда, керосинки вспыхивали, а примусы взрывались, что приводило к ожогам их владельцев и пожарам в квартирах. «Известия» Административного отдела Моссовета 8 апреля 1925 года поместили специальные правила обращения с примусом. В них, в частности, говорилось: «Примус рассчитан на применение керосина, поэтому не пользуйтесь бензином и, в особенности, смесью керосина и бензина. Если горелка примуса засорена, то может произойти взрыв, содержите горелки в чистоте и почаще прочищайте их (в то время продавались специальные иголки. — Г. А.). Не обливайте примус снаружи керосином, — последний может вспыхнуть. Не жгите примус слишком долгое время, так как он может сильно разогреться и взорваться». Поистине у хозяйки, пользующейся примусом, должны были быть аккуратность и выдержка минера. Однако обойтись без примуса, керосинки, а еще и керогаза (разновидности керосинки) люди не могли, хотя и стоили они не так дешево. Примус, например, в 1927 году стоил 8 рублей 75 копеек и являлся, как и керосинка, синонимом домашнего очага. Однажды суд, рассмотрев дело о разводе, записал в своем решении: «Исходя из современных жилищных условий, ясно доказано, что пользование одним общим примусом обозначает совместное ведение одного

общего домашнего хозяйства» и взыскал с ответчика алименты на содержание ребенка.

Стирали и гладили свои вещи москвичи в квартирах. Химчисток и прачечных тогда не было. Вот как выглядела, например, стирка. Белье замачивали в корыте вечером в теплой воде, добавив в нее соду или поташ. На следующий день его стирали с мылом и содой, а потом кипятили с примесью мыла в чане или котле на печке. После кипячения терли руками, били валиками, а потом прополаскивали несколько раз в холодной воде и развешивали на чердаке или во дворе. После такой стирки квартира нередко наполнялась паром и на потолке и стенах появлялись пятна сырости. Гладили белье утюгами, которые нагревались на плите или угольями изнутри. От таких утюгов у хозяек порой кружилась голова — они давали угар.

Для того чтобы иметь свои глаза и уши в каждой квартире, поддерживать в них порядок, государство учредило звание «ответственного по квартире». Избирался на этот пост один из жильцов квартиры большинством голосов своих соседей, а затем его кандидатура утверждалась домоуправлением. Если ни один из кандидатов не набирал абсолютного большинства, то ответственного назначало домоуправление из кандидатов, рекомендуемых отдельными группами жильцов. В обязанности «ответственного по квартире» входили наблюдение за сохранностью жилья, контроль за правильной пропиской жильцов в квартире, содействие домоуправлению в сборе с жильцов квартирной платы, осведомление жильцов о всех распоряжениях домоуправления и наблюдение за их исполнением. Ответственный по квартире был также обязан в течение двадцати четырех часов представлять домоуправлению для прописки документы вновь вселившихся жильцов, а также сообщать туда о выезде жильцов из квартиры. Жильцы «ответственного по квартире» боялись и старались ему понравиться. А тот, кто ночевал в квартире на «птичьих правах», старался проникать в квартиру и покидать ее незаметно, когда ответственный спал.

Весьма значительными фигурами тех лет были фигуры домоуправа, председателей домкома, жилто-

варищества, начальника ЖАКТа (жилищно-коммунального товарищества) и прочих вершителей судеб «коммуналок». Некоторым из них высота положения кружила голову, и они переставали ведать, что творят.

Поэт Ярослав Смеляков в стихотворении «Рассказ о том, как одна старуха умерла в доме № 31 по Большой Молчановке» (дом этот снесли при строительстве Калининского проспекта — Нового Арбата), опубликованном в «Литературной газете» за 5 ноября 1933 года, писал:

...и рука твоя темнеет,  
и ужасен синий лик.  
Жизнь окончена,  
Над нею  
Управдом и гробовщик.

Управдом действительно, как священник, сопровождал жильца от рождения до смертного часа. Управдомы, председатели домкомов были необходимы и выполняли большую и нужную работу. Но домов в Москве было много, и хороших организаторов коммунального хозяйства на местах не хватало.

Председателем домкома дома 36/2 по Сретенке (теперь это дом 34, последний перед Колхозной площадью) в начале двадцатых годов был назначен Артамонов. Когда-то, на Гражданской войне, его лягнула лошадь, и с той поры он стал пить, как извозчик. Напившись, он вламывался в квартиры подопечных граждан и, угрожая наганом, обещал искоренить буржуев и неплательщиков. Заслышав нетвердые шаги «преда», все живое, включая кошек и собак, пряталось куда попало. А однажды, 27 февраля 1926 года, Артамонов «под мухой» заявился в котельную дома, избил мирно спавшего там истопника Котова и ранил его в руку из нагана. За эти художества председатель попал на несколько месяцев в тюрьму. Суд учел его боевые заслуги.

О смелых решениях председателей жилищных товариществ можно также рассказать немало интересного. Читатель помнит, что, согласно установленным правилам, жилец мог отсутствовать в квартире не более полутора месяцев. Этим правилом пользовались соседи и руководители жилищных организаций для

захвата жилплощади. Помните, что началось, когда из «Вороньей слободки», где жил Васисуалий Лоханкин, пропал летчик Севрюгов?

«Долетался желтоглазый», — сказала ничейная бабушка. «Пропал квартирант», — радостно произнес Никита Пряхин, суша над примусом валяный сапог. И все решили забрать комнату пропавшего авиатора.

История эта у Ильфа и Петрова закончилась оптимистически. «Будь у Севрюгова, — читаем в романе, — слава хоть чуть поменьше той всемирной, которую он приобрел своими замечательными полетами над Арктикой, не увидел бы он никогда своей комнаты, засосала бы его центростремительная сила сутяжничества, и до самой своей смерти называл бы он себя не “отважным Севрюговым”, не “ледовым героем”, а “потерпевшей стороной”. Но на этот раз “Воронью слободку” основательно прищемили. Комнату вернули ее владельцу, а вскоре Севрюгов переехал в новый дом».

Произошло это, правда, не в Москве, а в выдуманном городе Черноморске. Но в столице, надо сказать, происходили истории ничем не хуже. Звания, награды и связи приобретали с каждым днем все большее значение. Не имея их, можно было попасть в довольно нелепую ситуацию: как это случилось с гражданкой Марковой, проживающей в доме 9 по Спиридоновской улице. Летом 1925 года она уехала в санаторий. Это событие не осталось без внимания председателя жилтоварищества Михаила Фраймовича. Он сфабриковал акт о том, что Маркова не живет в квартире свыше четырех месяцев, и вселил в ее две комнаты своего приятеля, слушателя Академии воздушного флота, Моисея Гартмана. Часть вещей Марковой Фраймович, по доброте своей, оставил Гартману, а часть велел перенести в домовый клуб: пусть народ пользуется. Вернувшись из больницы, Маркова чуть не попала в нее снова. Все же у нее хватило сил, чтобы обратиться к прокурору. За самоуправство Фраймович получил полтора, а Гартман — год лишения свободы. Московский городской суд заменил Гартману лишение свободы на общественное порицание, сославшись на то, что «сам по себе он натура не преступная и не опасная для общества». Ну что ж, суду виднее.

Бывший надворный советник Николай Голубев до революции имел в Москве дом. Он ему достался по наследству от отца. Кроме него в доме жили его брат Григорий и сестра Татьяна с мужем, Ксаверием Польди. В конце двадцатых органами НКВД Ксаверий был сослан на Север, но потом сбежал из ссылки и тайно жил у жены. Соседи Голубевых, Берг и Орлов, донесли на Польди куда следует, и он был вновь арестован, а затем, в июне 1933 года, была выселена из квартиры за невозможностью совместного проживания по иску Берга и сама Голубева-Польди. К тому времени главный бухгалтер института Главвиапрома Берг решил создать в доме Голубева ЖАКТ (Жилищно-коммунальное товарищество). Голубев этому воспротивился. Берга же в его начинании поддержали работник кролиководческого хозяйства Орлов и Елизавета Александровна Верендеевская, ровесница уничтожения крепостного права в России. В конце концов ЖАКТ был создан, и секретарем его стал, естественно, Берг. Тогда Голубевы обвинили Берга в том, что он — бывший крупный фабрикант и домовладелец, Орлова — в том, что он сын псаломщика, а Верендеевскую — в том, что она является дочерью того самого Верендеевского, который при царе имел в Москве свой дом и трактир. В доносе, который написали Голубевы, сообщалось и о недостойных советских людей высказываниях вышепоименованных граждан. В качестве свидетеля от пролетариата выступал на процессе слесарь Горшечников. После него в зале судебных заседаний долго сохранился запах перегара, устранить который не помогало никакое проветривание. Суд осудил всех троих за контрреволюционную агитацию. В октябре 1935 года городской суд дело прекратил, придя к выводу о том, что Голубевы оговаривают Берга, и даже возбудил уголовное преследование в отношении Горшечникова за лжесвидетельство. А вскоре Голубевы были осуждены за клевету на Берга и покинули отчий дом. От буржуазии, хоть и бывшей, тогда избавлялись без сожаления.

Донос, как форма борьбы за существование, получил довольно широкое распространение. Правда, не всегда он помогал. Московский городской суд нередко преподносил доносчику первый кнут.



В коммунальной квартире на Ульяновской улице жили Ермакова, Шевелева и Иванова. У Ивановой была самая лучшая комната. Ермакова очень хотела в ней жить. В другое бы время ей пришлось отравить соседку, чтобы завладеть ее комнатой, но теперь, в конце тридцатых годов, этого делать было не нужно. Поговорила с подругами. Те предложили написать донос. Вместе с Шевелевой она написала, что Иванова вынашивает план убийства руководителей партии и правительства, и отправила донос куда следует. Учитывая особую опасность подготавливаемого теракта, чекисты не стали раздумывать, а сразу арестовали Иванову. В тюрьме она пробыла с августа 1938-го по апрель 1939 года. Судебная коллегия по уголовным делам под председательством Дерябиной освободила Иванову и дело в отношении нее прекратила, а Ермакову и Шевелеву осудила за оговор.

Агент Ростокинского банно-прачечного треста Гридин полжubil товарища по работе Байкову и сошелся с ней. Жить Гридину было негде, он снимал угол у соседей Байковых по квартире. Встречаться с Байковой было негде. Днем в квартире дети, вечером муж, а страсть настойчиво требовала своего практического воплощения. Наконец душа агента не выдержала, и в апреле 1937 года он написал донос на мужа Байковой. Того посадили. С апреля по сентябрь 1938 года Гридин вел с Байковой безмятежную жизнь. Но в сентябре суд, вопреки всем ожиданиям Гридина, оправдал Байкова, и тот вернулся домой. Вновь начались мучения. Второй донос Гридин писал без сомнений и угрызений совести, как отчет о реализации мочалок и веников. Он писал о том, что Байков ругал советскую власть, что он поносил органы государственной безопасности за их несправедливость и жестокость, говорил о засилье евреев и разорении крестьянства. Одним словом, обо всем, что думал сам и о чем без его доносов все знали. Донос не помог. Прошла «ежовщина», и Гридин сам предстал перед судом. Член Московского городского суда Морозов, осуждая Гридина на год исправительных работ, указал в приговоре на то, что Байков не мог быть с ним откровенным и тем более вести антисо-

ветскую агитацию в его присутствии, так как находился с ним во враждебных отношениях. Суд был прав. В то время даже друзьям не доверяли, не то что любовникам своих жен. Вот чем закончился этот поистине шекспировский сюжет.

В приведенных историях невольно бросается в глаза поведение судей. В то время как на Лубянке не знали, как человека после ареста выпустить на улицу, у них, наверное, таких и дверей-то не было, судьи людей оправдывали и выпускали на свободу. Может быть, время изменилось, а может быть, чем проще человек и честнее, ему правильно поступить легче, вместо того чтобы ссылаться на трудности времени?

«Коммуналки» вписали свою страничку и в отечественную судебную медицину. Побывавший как-то в этом учреждении (оно находилось в доме 42 по Мясницкой улице) корреспондент одной из московских газет узнал, что у жильца одной из коммунальных квартир суп однажды приобрел красивый фиолетовый цвет. Оказалось, что в нем был разведен чернильный карандаш. Бывали случаи, когда соседи мясо обливали сулемой, а однажды в лабораторию судебно-медицинской экспертизы пришел жилец, которого соседи настойчиво выживали из квартиры. Он весь чесался, и тело его было покрыто волдырями. Оказалось, что соседи в его постель подсыпали сушеных чесночных клещей. Несчастный, завалившись в кровать, согрел их своим телом, они ожили и впились в его хилое тело.

Бывало, недостаток жилья ставил людей в довольно щекотливое положение. Ну что делать мужу и жене после развода в одной комнате? Разменять комнату? Но это не так просто. В результате получались нелепые ситуации. В 1927 году в одном из народных судов суд допрашивал такого бывшего мужа, и вот что тот ему поведал: «Она (жена) меня ударила супом (очевидно, тарелкой с супом или кастрюлей). Била как следует и крыла как полагается». Судья поинтересовалась: «В каких же вы теперь с ней отношениях?» На что бывший муж довольно вяло ответил: «А какие могут быть отношения? Никаких отношений. Спим на одной кровати, только и всего». Суду стало скучно, и он объявил перерыв.

Впрочем, у разведенных супругов был еще один выход: перегородка. Кто стену возводил, кто шкаф ставил, кто ширму, а кто и просто — веревочку. При рассмотрении в суде одного гражданского дела женщина, которая после десяти лет совместной жизни развелась с мужем, заявила: «У меня бывают молодые люди. Пьем чай, болтаем, а он, не поздоровавшись, бродит по комнате или сядет в угол и смотрит зверем. Моя просьба: разрешите поставить перегородку». Суд подумал и разрешил.

В 1928 году Краснопресненский народный суд рассматривал иск бывшей жены к бывшему мужу о выселении из комнаты. Жена говорила: «Он пьет, скандалит... В комнате одна кровать. Он придет, ляжет. Мне приходится отгораживаться веревочкой». Муж говорил: «Скандалим оба, а пьет она красное, а я белое». Суд принял, естественно, сторону красного и выселил мужа, а в решении записал следующее: «Выселить Захарова из комнаты, так как он имеет в общежитии койку, живет там, значит, выселение из комнаты не может нанести ему материального ущерба». Суд, наверное, подразумевал то, что комната государственная и все равно Захарову не принадлежит.

Не всегда, конечно, жилищные вопросы разрешались мирно. Иногда наступала и кровавая развязка. В квартире 17 дома 5 по Бахметьевской (ныне Образцова) улице жил Владимир. В 1939 году он пустил к себе в квартиру своего приятеля Федора Николаевича Ламенкова, шофера первого автобусного парка, с женой. Им было негде жить. Ламенкову в квартире понравилось, и он решил остаться в ней навсегда. Для этого он задушил Владимирову, прижав его лицом к дивану. Владимирову похоронили. Врач выдал справку, что он умер «от сердца». Как-то, разоткровенничавшись, Ламенков рассказал о совершенном убийстве своей жене, Серафиме. Та отнеслась к этому спокойно, но когда отношения между супругами испортились, пригрозила Федору разоблачением. Испугавшись, он заманил Серафиму в Химки и там, в лесу, убил, ударив

кирпичом по голове и задушив. Теперь-то наконец он может спокойно жить в квартире 17, подумал душегуб. Но спокойствие его длилось недолго. Труп Серафимы нашли, родственники опознали его. Подозрение сразу пало на мужа, не проявлявшего к тому же никакого интереса к судьбе исчезнувшей жены. Его арестовали. Пришлось признаться и получить десять лет лишения свободы. Прося в последнем слове суд о снисхождении, Федор Николаевич и не предполагал, что приговор избавит его от мобилизации на фронт.

Такую же «бронь» получил в 1940 году Дмитрий Иванович Данилов. Проживал он со своим родным братом Иваном в квартире 11 дома 3 по Малому Кисельному переулку. В 1939 году с ними в комнате стала жить жена Дмитрия, Мария Суркова. Мария ссорилась с Иваном, а потом и возненавидела его. Решив от него избавиться, она стала подговаривать Дмитрия убить брата. Дмитрий не соглашался. Как же убить того, с кем вырос, с кем делил каждый кусок хлеба! Как-то, во время выпивки, Мария подсунула Ивану стакан каустика, но Дмитрий, заметив это, выбил у нее стакан из руки. Этого Мария не стерпела и ушла из дома. Дмитрий, очень ее любивший, ходил за ней и уговаривал вернуться. Условием возвращения было одно: убийство Ивана. Наконец Дмитрий сдался и пообещал исполнить ее требование. 29 апреля 1940 года в комнате, в Малом Кисельном переулке, собрались Дмитрий и Иван Даниловы и Мария Суркова с братом Николаем. На столе закуска, выпивка. Дмитрий пил много, но не пьянел. Старался вспомнить все плохое, что сделал ему в жизни Иван. Ссору с Иваном начала Мария. Дмитрий за нее вступился. Между братьями произошла драка. Дмитрий подмял под себя Ивана и, не глядя ему в лицо, стал душить какими-то, казалось, чужими руками. Потом, когда почувствовал, что Иван не сопротивляется, отпустил его и, потеряв силы, упал лицом на кровать рядом. Николай и Мария его подняли. Труп Ивана завернули в одеяло, и Дмитрий с Николаем вынесли его во двор: мол, если что, не видели его и что с ним произошло, не знаем. Когда же тучи над Дмитрием стали сгущаться, он пошел к другому брату Марии, тоже Ивану, служившему милиционером на Киевском вок-

зале, посоветоваться что делать. Они выпили, расположившись в пульмановском товарном вагоне, и Иван посоветовал Дмитрию все брать на себя — за групповое больше дадут. Дмитрий так и сделал. Пошел в милицию и признался в убийстве. Московский городской суд осудил его на десять, а Марию Суркову (выгородить ее Дмитрию не удалось, подвел брат Николай) на шесть лет лишения свободы. Комната в квартире 11 освободилась. Кто-то радовался, получив ее.

Немало было в Москве коммуналок, где люди жили дружно, помогали друг другу. Даже отдельные ссоры не нарушали добрых, человеческих отношений. До сих пор мне вспоминаются коммунальная квартира на Петровских линиях, напротив ресторана «Аврора», потом «Пекина», потом «Будапешта»; кошка Машка, обжора и распутница; девочка Ляля; мальчишка Борька, который, прячась от своей бабки Дуняши, предлагал мне: «Давай схоронимси!»; его старшая сестра Наська, горькая пьяница, которую однажды нашли спящую голой на Центральном рынке; три сестры — Роза, Марьяна и Антонина Агранян, чудесные, добрые женщины, родной брат которых, Сергей Иванович Агранян, был автором слов песни «Я по свету немало хаживал», ставшей теперь гимном Москвы, и другие милые сердцу люди. Рассказывали, что Сергей Агранян сочинил стихотворение и показал его поэту Лисянскому. Тот его подправил и отнес Дунаевскому. Получилась песня «Дорогая моя столица, золотая моя Москва»...

Коммунальные квартиры сближали людей. В них они опрощались. Некоторые мужчины позволяли себе выходить в коридор в кальсонах, заколотых английскими булавками, а женщины появляться в трико какого-нибудь ядовитого цвета. На глазах жильцов в квартирах подрастали женихи и невесты, подглядывавшие за любовными играми взрослых. А сколько кошачьих романов заканчивалось в них собачьими свадьбами! Сколько новых москвичей появились на свет благодаря тесному общению граждан коммуналок!

К сожалению, жизнь даже очень дружных и культурных квартир иногда омрачали хулиганы. Жиль-

цов дома 39 по Пятницкой улице терроризировали братья Розановы, Трифон и Борис. Они били стекла в окнах, плевали людям в лицо, могли и ударить кого не лень. В предвоенные годы в доме 17 по Верхней Красносельской улице жили мать и дочь Ф., Елизавета и Нина. Если верить соседям, то они постоянно засоряли «места общего пользования», а проще говоря, уборную и ванную, выливали нечистоты в раковину на кухне, где жильцы мыли посуду и готовили еду, обмазывали стены и кухонную утварь соседей калом, мазали им также кран и раковину.

В одной из коммунальных квартир на Спиридоновской улице в 1926 году жил инвалид Петушкин. По вечерам из его комнаты неслись дикий вой и матерщина. Когда его стыдили и просили не выражаться при детях и женщинах, он обещал «набить морду». В этом Петушкину верили и старались не попадаться ему на глаза.

В 1925 году в доме 4 по Доброслободскому переулку, что на Разгуляе, жил инженер Дцинзельский. По коммунальной квартире он разгуливал в исподнем, а в своей комнате перед окном мог пройтись и голышом. Вообще он был шутник: соседским детям мазал лица мылом, проходящих ранним утром молочниц тискал так, что они визжали как поросята, будя жильцов дома. По ночам, бывало, он так свистел, что соседи заслушивались и не спали. Зная артистическую натуру инженера, соседи ему многое прощали. Не мог его простить только домоуправ. Дцинзельский обзывал его Чемберленом, этим врагом трудового народа, акулой капитализма. Труженик коммунального хозяйства больше всего на свете боялся, что кличка эта прилипнет к нему и отразится на карьере. Он даже добился того, чтобы Дцинзельского оштрафовали на 20 рублей. В тот же день проклятый инженеришка подошел к домкомовскому клубу, когда там кончилось собрание, и при всех жильцах вновь обозвал его Чемберленом. Домоуправ спрятался от него в уборной и вышел из клуба, только когда стемнело. Дома он слег в постель и вскоре умер.

Еще одна жуткая история произошла с домоуправом дома 31/13 по Квесисской улице Коромысловым.

Его пригласил к себе жилец дома Бокулев. У него как раз уехала в деревню жена, и появилась возможность «отвести душу». Купили они с Коромысловым водки, закуски и пили долго и счастливо до тех пор, пока Бокулеву не надо было уходить на работу. Он оставил Коромыслову водку, закуску, запер его в комнате и ушел. Когда вернулся, гость сидел за столом, только мертвый. Смерть его, как потом выяснилось, наступила от отравления алкоголем. Бокулев растерялся и не знал, что делать. Больше всего он боялся, что жена узнает о его пьянке. Чтобы не поднимать шума, решил спрятать управдома под кровать, а сам из дома ушел. Жена, как всегда, вернулась не вовремя. Заглянув во время уборки под кровать, Мария Васильевна, так звали жену Бокулева, увидела под ней мужские ноги в белых парусиновых туфлях. Выпрямившись и сделав «руки в боки», хозяйка комнаты зычно скомандовала: «А ну, пакостник, вылезай!» — но реакции не последовало. Мария Васильевна повторила команду — никакого эффекта. Испугавшись, она побежала к соседям и вместе с ними извлекла из-под кровати окоченевший труп домоуправа. О том, какие гонения после всего этого претерпел от своей жены Бокулев, можно только догадываться. Одно скажу: стал он после этого домоуправов бояться и всегда вовремя платить за комнату, чтобы какой-нибудь домоуправ не занес ему на дом жировку, как тогда называли счет на квартплату, а то, не дай бог, с ним еще что-нибудь случится — греха не оберешься.

Случались в Москве и такие происшествия, которые становились событиями общественной жизни. На Малой Ордынке под № 35 стоит небольшой одноэтажный дом. До революции он принадлежал купцу Трифону Калганову, торговавшему тогда и при нэпе рыбой. После революции жившего в доме Калгановых Пржевальского «из дворян» расстреляли, а хозяев уплотнили. В дом тогда въехали семьи Крыжевских и Тумасян, а в 1926 году — семья Сергея Семеновича Караваева, коммуниста и крупного работника промысловой кооперации с пятью детьми. Вскоре Караваев стал председателем правления домкома. Трифону это, конечно, не нра-

вилось. Вскоре конфликт уладился как бы сам собой. В 1927 году Трифона Калганова арестовали и выслали, а потом и вовсе расстреляли. Его сына «вычистили» из Института народного хозяйства имени Плеханова, но из Москвы не выслали. Отношения между Калгановым-младшим, его сестрой Шишкиной и Караваевыми, и без того недружественные, обострились. Караваев потребовал, чтобы Калгановы убрали из дома собаку. Те не соглашались. Тогда Караваев подписал предписание о выдворении из квартиры животного. 22 октября 1928 года сын купца пришел в домком, вход в него был со двора, и потребовал, чтобы Караваев отменил свое предписание. Караваев отказался это сделать, и тогда Калганов ударил его ножом и убил. Убийство потрясло московскую общественность: еще бы, нэпман поднял руку на коммуниста! С трибун и газетных полос загремело по стране, ставшее жутким, слово «калгановщина». Тогда вообще с помощью суффикса «щин» бичевали многих. Были «юровщина», «альтшуллеровщина», «платоновщина», «есенинщина», «пильняковщина», появлялись «подкулачники», «подпильнячники» и прочие враждебные элементы. Нечего и говорить, что Калганов-младший был расстрелян. Шишкина — выслана. Вскоре были выселены из дома «за невозможность совместного проживания» Крыжевские и Тумасян. Их обвинили в порче электрических проводов, засорении канализации и прочих коммунальных грехах. Собака Калгановых стала бродячей, но их дом уцелел.

Немало тогда в связи с этим делом из Москвы было выселено «социально опасных» личностей.

Доставалось, конечно, и собакам. Один рабочий, имеющий шестерых детей, предъявил в суде иск к соседу-нэпману, держащему в квартире четырех больших собак. Рабочий указывал на то, что собаки жрут котлеты, а его дети у них эти котлеты отнимают. Собаки из-за этого дико воют и рычат, и он боится, что они покусают его детей. Суд постановил выселить собак из квартиры. Не исключено, что и теперь по Москве бегают одичавшие потомки тех нэпманских кобелей.

Выселение из столицы неудобных и подозритель-



ных граждан с первых дней советской власти стало одним из главных способов ее советизации. Начинало сбываться мрачное предостережение, сделанное еще в 1907 году философом и историком литературы Михаилом Осиповичем Гершензоном: «Русская интеллигенция должна быть благодарна царскому правительству, что оно своими тюрьмами и штыками защищает ее от народного гнева, горе всем нам, если мы доживем до того времени, когда падет царь...»

Дожили. Царь пал. Буржуй и интеллигент одевались одинаково, и восставшему пролетарию было очень трудно их различать. Большинство же различать и не пыталось: «Все они одинаковые...»

Чем хорош интеллигент для того, кто его ненавидит? Тем, что с ним не надо воевать. Его можно просто бить. И этим правом в отсутствие закона люди, естественно, пользовались. Одним словом, как сказал Гамлет, «несчастья начались — готовьтесь к новым».

В августе 1922 года на основании п. 2 литеры «е» «Положения о ГПУ» от 16 февраля 1922 года из Москвы были высланы литераторы и ученые. Освободились: квартира 3 в доме 14 по Большому Власьевскому переулку (дом цел и поныне), в ней жил философ Николай Александрович Бердяев, квартира 1 дома 9 по Крестовоздвиженскому переулку, в ней жил Венедикт Александрович Мякотин — историк, публицист, один из лидеров партии народных социалистов, состоявший ранее в редколлегии журнала «Русское богатство», а в 1918 году возглавивший «Союз возрождения России» — профессорско-преподавательскую организацию по преобразованию России в цивилизованную, свободную и хорошо обеспеченную страну. Узнав о преследовании ГПУ своих товарищей по союзу, он в октябре 1920 года сам явился в указанную организацию и получил пять лет концлагеря, но в апреле 1921 года был освобожден. Опустела квартира 8 в доме 10 по Моховой улице. В ней жил профессор МГУ, кадет Александр Александрович Кизеветтер. Из квартиры 71 дома 3 по Шереметьевскому переулку был выслан Дмитрий Михайлович Щепкин. Во Временном правительстве он был товарищем министра внутренних дел, а в Союзе обществен-

ных деятелей, который тогда существовал, одно время заменял Родзянко, когда тот уехал за границу. Из своей университетской квартиры в доме 11 по Моховой был выдворен ректор Московского университета Михаил Михайлович Новиков, а из квартиры в доме 25 по Староконюшенному переулку — профессор МГУ Михаил Соломонович Фельдштейн. Все они были высланы за границу.

После того как в 1920 году ГПУ арестовало и осудило деятелей «Национального центра», освободилась квартира 31 в доме 2 по Гранатному переулку, в ней жил Сергей Петрович Мельгунов, редактор журнала «Голос минувшего», председатель кооперативного издательства «Задруга», автор известной книги «Красный террор в России: 1918—1923». Вместе с Мякотиным, Пешехоновым, Чайковским и другими он, кроме того, организовал «Союз возрождения России», а после ареста и высылки Мякотина возглавил его. Собирался этот «Союз меча и орала» в комнате правления Толстовского фонда, который возглавляла Александра Львовна Толстая, дочь Льва Николаевича. Она поила собравшихся чаем из самовара. Ее тоже посадили, и квартира 25 в доме 18 по Мерзляковскому переулку, в которой она жила, освободилась.

В начале двадцатых годов за границу были высланы профессор-литературовед Юлий Исаевич Айхенвальд (он жил в квартире 9 дома 2 по Новинскому бульвару), Исай Григорьевич Лежнев-Альтшуллер, редактор журнала «Новая Россия» (жил он в квартире 7 дома 15 по Большой Полянке). Он был выслан за то, что сформировал вокруг своего журнала группировку антисоветски настроенной интеллигенции «для последующей борьбы с советской властью». Выслан был и Максим Альфредович Танкар, занимавший квартиру 3 в доме 47 по Арбату. Выслали его за то, что он вместе с Александром Семеновичем Гальдером, жившим в квартире 28 дома 31 по Малой Бронной улице, сыном бывшего совладельца Московского угольного бассейна, утверждал, что эксплуатировать Московский угольный бассейн России невыгодно и его следует сдать в аренду иностранцам. Танкар был гражданином Швейцарии и отде-

лался высылкой, а Гальдер, как гражданин СССР, да еще с учетом своего социального происхождения, получил пять лет концлагеря.

Людам, которых выслали на Запад, конечно, повезло. Правда, и там их жизненный путь не был усеян только розами и лилиями. Профессоров, философов и вообще «интеллигентов» не любили жившие там монархисты. Они считали интеллигентов виновниками падения монархии.

12 мая 1927 года Павел Николаевич Милюков, бывший министр иностранных дел Временного российского правительства, выступал в Риге с лекциями о судьбах родной страны. На одной из них, озаглавленной «Европа, Россия и еврейство», благороднейший Павел Николаевич, критикуя советское руководство, говорил: «...Что же сделали коммунисты для еврейства? Ничего, кроме фанфаронского проекта Крымской еврейской республики, выработанного для отвлечения еврейских масс от сионизма. Крымский проект оказался блефом...» — «А что еще можно ждать от этих антисемитов? Это возмутительно!» — прошелестело по рядам и откатилось аплодисментами. В перерыве, поднявшись на сцену, к Милюкову подошел молодой человек. Привыкнув к поклонению среднего интеллигентского состава, Павел Николаевич любезно улыбнулся юноше, ожидая получить от него очередной комплимент, но вместо него совершенно неожиданно получил сильную пощечину, прозвеневшую на весь зал и всю Европу. С носа вождя мыслящей российской интеллигенции слетело пенсне, лицо одеревенело и запыхало пунцовым румянцем. Бывший предводитель бывшей кадетской фракции бывшей Государственной думы перестал видеть окружающее. Перед его близорукими глазами плыли радужные круги. Павла Николаевича сразу окружили поклонники. Они, как могли, успокаивали его. Возмущению собравшихся мерзким поступком не было конца. Вскоре выяснилось, что мерзавцем, нанесшим оскорбление «отцу русской демократии», оказался монархист Адеркас. Его судили и приговорили к трем месяцам ареста. Пройдет время, и в 1927 году он попадет в лапы НКВД вместе с такими же, как он, «монар-

хистами-террористами», Самойловым и Строевым, и навсегда будет лишен возможности бить по физиономии бывших министров бывшего Временного правительства.

И все же за границей жить было можно. Не каждый же день там били по физиономии! Некоторым, таким как Сашка Зубков например, Фортуна даже иногда улыбалась своей кривой улыбкой.

Александр Зубков, как и многие другие бездомные русские, в начале двадцатых оказался в Берлине. Занимался он тем, что выходил с подносом на сцене берлинского театратора «Синяя птица», принадлежавшего также эмигранту из России Якову Южному. Однажды, когда в спектакле, по смелому замыслу режиссера, на сцену в очередной раз был вынесен настоящий столовый серебряный прибор, Сашка стянул из него ложку. История эта получила огласку, и ему ничего не оставалось, как покинуть шумный Берлин, пахнущий духами и дорогими сигарами. Он переехал в Бонн, где жил его приятель, служивший тренером на теннисном корте. Приятель приютил Сашку. Он же рассказал ему о том, что на кортах собирается весь бомонд Бонна и что их посещает даже принцесса Шарлотта, вдова владетельного князя маленького княжества Липпе, сестра экс-кайзера Германии Вильгельма II. (К тому времени Вильгельм покинул Германию и жил в Голландии.) Несмотря на свой шестидесятилетний возраст, принцесса полна сил и возможностей. Сашка загорелся желанием увидеть княжескую вдовушку. Но приятель, пытаясь охладить его пыл, сказал, что для появления на корте надо иметь элегантный вид, а его-то как раз Сашка и не имел. Костюм его истрепался и скорее годился для посещения пивных на окраине города, чем для появления на великосветском корте. Тогда Сашка умолил другого своего приятеля дать ему на время свой костюм, чтобы хоть раз взглянуть на принцессу. Приятель в конце концов согласился. Пиджак пришелся Сашке в самый раз, а вот брюки оказались узкими до неприличия. Но именно это обстоятельство и сыграло в судьбе Сашки роковую роль. Принцесса, заметив Сашку, сразу оценила его мужское достоинство, которое облегали брюки, хотя

и не подала виду. Их роман был недолгим, но бурным. Наконец Сашка убедил Шарлотту в том, что внебрачная связь с ним компрометирует ее аристократическое происхождение и он, как порядочный мужчина, лучше уйдет в монастырь, чем заставит ее страдать от гонений света.

Принцесса намек поняла и запросила у брата Вильгельма разрешения на брак. Вилли, узнав о готовящемся мезальянсе, пришел в бешенство и, разумеется, отказал сестре в благословении. Если бы он мог, то, наверное, еще бы раз объявил России войну, но времена уже были другие, да и сам он был не тот. Шарлотта же плюнула на его возражения и обвенчалась с партнером по теннису, став вместо фон Гогенцоллерн мадам Зубковой.

Новый член семьи одного из царственных домов Европы вскоре потребовал у Вильгельма какие-то поместья и замок в Баварских Альпах, направив ему по этому поводу письмо с разными намеками и грамматическими ошибками, а не получив ответа, захватил бриллианты жены и отправился в Берлин. Там он бриллианты продал, а деньги прокутил с танцовщицами из кафешантана, подцепив при этом какую-то неблагозвучную болезнь. Когда деньги кончились, Сашка вернулся к жене и стал таскать в княжескую постель служанок, дарить им фамильные драгоценности, бить посуду, если его не обеспечивали карманными деньгами, а как-то даже набил морду мажордому за то, что тот спрятал от него бутылку водки. Только принцесса все прощала ему и, сокрушаясь, произносила: «Мой Саня травмирован революцией». Эту фразу выучил и неоднократно повторял ее старый попугай.

Но долго так продолжаться не могло. Терпению любвеобильной Шарлотты пришел конец, когда Сашка в очередной раз обокрал ее и прокутил краденое со срамными девками. Скандальный бракоразводный процесс смаковался европейской прессой.

После развода Сашка Зубков стал республиканцем. Он покинул принцессу и начал выступать на эстраде, правда, под чужим именем. Пел пошленькие куплеты и рассказывал старые анекдоты. Во Францию, Бельгию

и Германию его не пускали, и он завалился в Люксембург, где стал кельнером в одном из тамошних ресторанов. Как-то напившись, он забрался на эстраду и обратился к публике с вопросом: «Хотите, я расскажу вам о моей первой брачной ночи с принцессой Шарлоттой?» Публика, к ее чести, слушать откровения прохвоста не захотела и освистала его.

Зубков подался в артисты. Афиши театра, на сцене которого он подвизался, сообщали об участии в спектаклях «шурина последнего германского императора».

Потом Сашку видели за столиком в вильнюсском ресторанчике «Блины» на проспекте Гедимина, где под плакатом «Если водка мешает тебе работать — брось работу» он ронял пьяные слезы в пивную кружку. Закончил же свой жизненный путь Александр Зубков в нищете и умер от туберкулеза в больнице странноприимного дома в Бельгии.

Вот какие превратности судьбы поджидали наших людей на дорогах Европы в годы угаров и кризисов.

К сказанному можно добавить, что Сашка Зубков имел довольно паскудное отношение к известному случаю, произошедшему с Сергеем Есениным в Париже.

Приехав из Берлина в Париж, Сергей Есенин и Айседора Дункан остановились в отеле «Карлтон». Вечером в ресторане отеля был банкет. На банкете Дункан пригласил на танго наемный танцор. Дункан отдавалась танцу, а окружающими воспринималось — танцору. Есенин не выдержал и закатил скандал, после чего ушел в «Шахерезаду» — шикарный кабак, в котором блюда русской и французской кухни отпускались по бешеным ценам. Обслуживающий персонал ресторана составляли русские эмигранты — белогвардейские офицеры, а метрдотелем служил наш знакомый, Сашка Зубков. Есенину сразу не понравилась его холуйская рожа, и они чуть не подрались.

Перед отъездом в Германию Есенин, на сей раз вместе с Дункан, снова зашел в «Шахерезаду». Они сидели за столиком под большим абажуром. Официант, наполняя есенинский бокал шампанским, тихо сказал поэту: «Вот, господин Есенин, я флигель-адъютант свиты Его императорского величества, а теперь наливаю вам

шампанское». — «А ты, холуй, меньше разговаривай!» — ответил Есенин.

В ответ на это флигель-адъютант ударил Есенина по физиономии, и тут же на него налетели еще шесть питомцев Зубкова. Они стащили с поэта костюм и в одном белье вытолкали на улицу.

Зубкова вскоре из метрдотелей «Шахерезады» выгнали, и он устроился в театр «Синяя птица», где и украл серебряную ложку, ну а что с ним случилось потом, вы уже знаете.

И тем не менее в России находились люди, которые Зубкову завидовали. Были это те, кто вместо высылки на Запад угодил в ссылку.

В марте 1925 года, например, из Москвы выслали и заключили в концлагерь сразу сорок пять человек. Среди них были пианист из кинотеатра Фроловский, модельер-художник Олышев, актер Воынский с женой, балериной Терновской, художник-реставратор Гвоздилов, преподаватель МГУ Судейкин и другие представители «ненужных» профессий.

В послереволюционные годы в России входило в моду единомыслие. К инакомыслию относились с недоверием: оно могло нанести вред хрупкому здоровью не окрепшего еще государства, на которое многие возлагали большие надежды. Тем не менее было немало тех, кто нет-нет да и брякнет что-нибудь невпопад. Такое бряканье не поощрялось: оно могло зародить в душе у кого-то сомнение в правильности политики партии или внушить представление о вседозволенности.

Несмотря на все трудности, в новой жизни было много свершений, и эти свершения служили аргументом в борьбе с недовольными и сомневающимися. Ну а как не наказать тех, кто не хочет замечать наших достижений?

Возьмем хотя бы некоторые из них. К 1938 году в Москве была ликвидирована оспа и в тринадцать раз сокращена заболеваемость сифилисом, работало четыреста амбулаторий, поликлиник и диспансеров, сто тридцать две больницы, было открыто девяносто два высших учебных заведения и сто сорок три тех-

никума, каждый третий, живущий в Москве, учился, с безграмотностью населения было почти покончено. Были закрыты церковно-приходские школы и духовные семинарии, и советские дети, вместо того чтобы повторять сказки о непорочном зачатии, воскрешении и прочих несуразностях, засели за геометрию, химию, литературу и другие нужные и прекрасные науки.

К тому же Москва строилась. В конце двадцатых годов в ней были построены планетарий и Центральный телеграф, здание «Известий» на Пушкинской площади, а также здание будущего ЦСУ на Мясницкой улице. Оно состоит из стекла и бетона и стоит на столбах. В нем шестнадцать открытых кабинок лифта беспрерывно движутся вверх и вниз. Поравнялась кабинка с полом — сделал шаг и поехал. Поскольку дом проектировали иностранцы (Ле Корбюзье и др.), то и система этих подъемников заимствована была у иностранцев и называлась «Патер ностер», а по-нашему «Отче наш». Говорили, что лифты эти так называли потому, что перед тем как прыгнуть в кабину, от страха «Отче наш» читали. Боязно, наверное, поначалу было прыгать. На самом деле название это напоминало о перебирании католиками четок при чтении молитв.

В 1937 году возникло и здание Северного речного порта, а потом дома на улице Горького и других улицах.

Планетарий же представлял собой целый звездный театр, а телеграф не только вызывал восхищение своим внешним видом и большим пузатым глобусом на фасаде, но и тем, что в нем творилось. Многочисленные девушки принимали телеграммы у граждан и переправляли их в зал, где стояли аппараты Морзе, по трубкам пневматической почты, а также подвешивая их креплениями, как белье к веревкам, к движущимся проводам. На верхнем этаже здания стояли телетайпы, они передавали телеграммы не точками и тире, а буквами на бумажных лентах. Телеграммы сюда поступали из правительственных учреждений. Из дверей нового здания то и дело выскакивали почтальоны, разносившие телеграммы по всему городу.

В общем, в Москве было что посмотреть и чем полюбоваться.



Чужими на этом празднике жизни вместе с аристократами, жандармами, офицерами, интеллигентами оказались и служители религиозных культов: священники, муллы, раввины, пасторы, ксендзы и ламы. Самым любимым словом, которым молодая советская пресса награждала тогда «церковников», было слово «изуверы».

Для большевиков церковь была страшна не только тем, что она распространяла «опиум для народа», то есть религию, но и тем, что являлась самой массовой общественной организацией. Число верующих во много раз превышало число коммунистов, и хотя партийных билетов они не имели, но зато были объединены идеей, в корне противоречащей коммунистической идеологии с ее атеизмом. Темный народ относил атеистов к нехристям, а нехристей к антихристам.

Новая власть, естественно, делала все, чтобы ограничить влияние своих конкурентов на народ. Дом в Донском монастыре, в котором жил патриарх Тихон, был заселен чекистами. Об этом вспоминает в книге «Исповедь агента ГПУ», изданной в Праге в 1925 году, Николай Беспалов. Его настоящая фамилия Бородин. В 1920 году он был завербован чекистами и освещал по их заданиям действия эсеровских организаций. Выехав на заграничную работу в Чехословакию, там и остался. 13 июня 1945 года он был арестован контрразведкой «Смерш» и умер в тюрьме. В своей книжке Бородин-Беспалов писал: «...позднее в доме патриарха поселился уполномоченный секретного отдела ГПУ “по духовенству” Генкин. Создавалось впечатление, что все живущие в доме советские люди — служащие Чеки. В мае 1923 года в связи с процессом московского духовенства был произведен обыск... весь штат патриарха арестован... а семьи тихоновских служащих были подвергнуты притеснениям, в довершение всех бед подворья были объявлены общежитием ГПУ. Стали выселять жильцов».

Самого патриарха Тихона, в миру Василия Ивановича Белавина, 19 января 1865 года рождения, уроженца города Торопца Псковской губернии, арестовали 17 апреля 1923 года и обвинили в том, что он «составлял сведения о репрессиях, применяемых

Советской властью по отношению церковников, пользуясь сведениями из недостаточно верных источников, имея целью дискредитировать Советскую власть». Обвиняли патриарха и в том, что он в своем послании призывал верующих к противодействию органам власти при изъятии церковных ценностей. Тихон по этому поводу на допросе пояснил: «Мое послание по поводу декрета об изъятии ценностей я не считаю контрреволюционным, так как в нем нет призыва к активному противодействию Советской власти». Спор об активном и неактивном сопротивлении шел долго. Патриарха отпустили. Он продолжал жить в Донском монастыре, но теперь уже под домашним арестом. Сказанные им в воззвании слова о том, что «...учитывая тяжесть жизни для каждой отдельной христианской семьи вследствие истощения средств, мы допускаем возможность духовенству и приходским советам с согласия общин верующих использовать находящиеся во многих храмах драгоценные вещи... на помощь голодающим», конечно, не устраивали новую власть, но и не давали возможности объявить Тихона врагом трудового народа. Патриарха в его резиденции даже посещали врачи. Ежедневно бывал у него доктор Щелкан, посещали его профессор Кончаловский, доктор Покровский, на консультации приглашался профессор Д. Д. Плетнев.

7 апреля 1925 года патриарх умер от «грудной жабы» в лечебнице имени Бакунина на Остоженке. Проститься с ним к Донскому монастырю пришло много москвичей. Очередь по четыре человека в ряд протянулась на полторы версты. Простаивали в ней люди по пять—семь часов. Властям это было неприятно. Но пришлось стерпеть. Им было досадно, что про покойного нельзя сказать ничего плохого. В отношении царя это было сделать нетрудно. Литературный критик Юрий Соболев в 1928 году в «Вечерней Москве» выступил со статьей по случаю десятилетия расстрела царской семьи. Он писал: «...революция вынесла свой справедливый приговор, уничтожила ничтожество, могущее стать знаменем черной реакции».

Николай II, конечно, натворил дел, и это давало

почву для литературных импровизаций по его адресу в советской прессе. Что же касается патриарха, то власти, не найдя о нем ничего гнусного, решили просто предать его имя забвению. В январе 1924 года вышел циркуляр Наркомюста № 254, которым поминание имени патриарха с присоединением к нему его звания признавалось политической демонстрацией против советской власти и как уголовно наказуемое деяние служило основанием для расторжения договора с верующими, взявшими в пользование храм. Короче говоря, упоминание патриарха в молитвах влекло за собой закрытие храма. И не только. В соответствии с директивой ВЦИК от 18 августа 1922 года тот, кто упомянет патриарха в своих молитвах, может быть выселен из мест проживания в административном порядке или заключен на три года в лагерь.

Вот имя Ленина в молитвах поминать разрешалось. Владимир Ильич не был отлучен от православной церкви. После его смерти патриарх Тихон, как об этом сообщала «Вечерняя Москва» от 25 января 1924 года, сказал: «Мы с Владимиром Ильичом Лениным, конечно, расходимся, но я имею сведения о нем как о человеке добрейшем и поистине христианской души. Я считал бы оскорблением памяти Владимира Ильича и неуважением к его близким и семье, если бы мы, православное духовенство, принимали участие в похоронной процессии, ведь Владимир Ильич никогда не выражал желания, чтобы православное духовенство провожало его».

Раввин московской синагоги сначала вроде бы вызвался провожать прах основателя Третьего интернационала, но в последний момент сказался больным и не пошел.

Государство со служителями культа не церемонилось. Многие из них в двадцатые годы были высланы из Москвы. Репрессии коснулись не только духовенства. В 1924 году из Москвы были высланы студенты, члены «теософского общества» и «христианского студенческого союза», а затем подверглись ссылке члены мистико-монархических кружков «федоровцев» и «савельевцев». В начале двадцатых годов в Москве существо-

вала секта так называемых «трезвенников» во главе с братом Иванушкой. Она проповедовала трезвую, непорочную жизнь. 10 октября 1922 года секта собиралась организовать на Воробьевых горах крещение в водах Москвы-реки, но милиция этому воспрепятствовала. Жили сектанты в деревне Зыково на Старом шоссе и подрабатывали торговлей.

Были в те времена и проповедники-одиночки, такие как Сергей Ионович Демин, уроженец Москвы, но постоянного места жительства в ней не имеющий. Проповеди его, как он сам признал, сводились к тому, что вожди Советского государства — антихристы, что Сталин, Калинин, Ворошилов являются членами еврейско-масонской организации, а Гитлер — умнейший человек. Он говорил, что в убийстве Кирова виноваты евреи, что они специально подослали убийцу, чтобы разыграть комедию классово-борьбы, ораторствовать, кого-то обвинять, чтобы потом жестоко расправиться со своими политическими противниками. Иосифлян<sup>\*</sup> он также убеждал в том, что Сталин, Каганович, Ворошилов, Калинин, Молотов — члены еврейско-масонской организации, в борьбе с которыми методы «Союза русского народа» вполне применимы.

Это направление русской мысли имело силу потому, что было доступно, а тем самым и соблазнительно для широких народных масс, усвоивших в марксизме лозунги, а в религии обрядность. В зависимости от своего душевного склада, состояния здоровья и толщины кошелька люди усваивали из религии то или иное. То с именем Бога шли кого-нибудь колотить, то запирались с ним в монастырях, то грешили, чтобы потом от души покаяться. Из всего услышанного мною о сущности религии самыми умными мне представляются слова одной малограмотной старушки. А сказала она следующее: «Будь добрым, честным, люби людей, помогай им — вот тебе и Бог». Лучше не скажешь.

<sup>\*</sup> Иосифляне (в XX веке) — устоявшееся обозначение право-консервативного оппозиционного движения в Русской православной церкви, возникшее в конце 1927 года в лице духовенства и мирян, вслед за митрополитом Иосифом (Перовых) отвергавших «Декларацию» заместителя патриаршего местоблюстителя митрополита Сергия (Страгородского) и вытекавший из нее контроль органов ОГПУ над кадровой политикой Московской патриархии.

Но жизнь в те, ставшие теперь далекими, годы складывалась так, что посеянное когда-то, где-то, кем-то «разумное, доброе, вечное» все меньше давало всходов и все больше зарастало бурьяном. Люди становились молчаливее, скрытнее и недоверчивее. И все же русская привычка изливать душу первому встречному продолжала существовать.

Дураку было понятно, что нельзя хвалить дореволюционные порядки, жизнь в капиталистических странах, нельзя хорошо отзываться о Троцком и участниках оппозиции. Однако находились такие, которые это делали, а потом сами же страдали.

Ну, возьмем, к примеру, Кузьму Дорофеевича Крылова. Вахтер МХАТа, солидный человек, а в 1925 году ругал на чем свет стоит советскую власть и Ленина, за что, естественно, был выслан из Москвы на три года. На тот же срок был выслан из Москвы переплетчик общества политкаторжан Антон Антонович Ярмак, который ни с того ни с сего 21 февраля 1927 года кричал на Лубянской площади: «Да здравствуют Троцкий и Зиновьев!» 9 июня 1927 года Лидия Ивановна Ананьева рисовала на афишах фашистские знаки. Получила за них три года лишения свободы, а Василий Васильевич Баскаков в октябре 1929 года был выслан из Москвы на три года за то, что пел царский гимн. В год «великого перелома» и «Боже, царя храни!» Кустарь-одиночка Василий Петрович Шишкин тоже распевал «Боже, царя храни!», но этого ему показалось мало. Узнав о кончине великого князя Николая Николаевича, он не пожалел денег и заказал в церкви панихиду по усопшему. Его, конечно, выслали на три года. На тот же срок в том же году были высланы неработающие Александр Иванович Никитин и Николай Евграфович Семенов, которые высказывали недовольство снятием колоколов с церкви. Извозчик Михаил Иванович Башкин в марте 1930 года говорил седокам, что в Москве невозможно купить хлеб, и за это отправился на два года в Сибирь.

Излишне говорить, что советским гражданам ругать вождей было совершенно противопоказано для здоровья. Тем не менее такие отчаянные головы находились, и в немалом числе.

11 октября 1935 года Чумак продавал на улице Горького книги. Среди них были брошюры с портретами Сталина. Подошел к Чумаку Тихонов и стал материться и ругать вождя — мол, такой-сякой и деревню разорил, и в городах есть нечего, и тюрьмы людьми забил. Чумак подозвал милиционера, и Тихонова арестовали. Дали ему пять лет.

Некий Павел Николаевич Купраг, бомж польского происхождения, высказывал мысль о том, что убийство Кирова было совершено по приказу Сталина. Получил он за свое предположение восемь лет.

За неодобрительные отзывы о Феликсе Эдмундовиче Дзержинском в 1926 году выслали из Москвы Александра Васильевича Филиппова, Алексея Алексеевича Невского и Анну Сергеевну Бородину, которая в день похорон Дзержинского говорила, что «хоронят паразита».

Да, озлобленных людей было немало, а низкий культурный уровень многих из них делал их протест неприглядным, а подчас просто глупым и хамским в глазах их культурных соотечественников, даже тех, кто не симпатизировал новой власти. Бывало, что распушенность и дикость наших людей оборачивались печальными последствиями для них же самих.

Герман Григорьевич Солопов, рабочий из Курска, 5 марта 1925 года явился в Замоскворецкий райком партии, добился того, что его принял первый секретарь райкома Каравай, и прямо в кабинете ударил этого самого Каравая по голове бронзовой статуэткой Владимира Ильича Ленина, стоявшей на письменном столе. От столкновения с бронзовым вождем на голове Каравая появилась большая шишка. Солопова схватили и, как рассказывали чекисты, в кармане у него нашли револьвер системы «наган». Солопова арестовали и вскоре расстреляли. Заодно выловили еще тринадцать его приятелей. Все они, как члены контрреволюционной организации, были репрессированы. Объяснения Солопова о том, что секретаря он ударил за бюрократизм и равнодушие, проявленное к его просьбам, были оставлены без внимания.

Счетовод завода «Красный богатырь» Петр Степано-

вич Поляков 11 марта 1927 года бросился на министра тяжелой промышленности Орджоникидзе, когда тот выходил из клуба завода, закончив выступление. Чекисты расценили этот выпад как попытку избияния одного из руководителей партии и правительства. Петр Степанович доказывал, что хотел обнять Серго и поцеловать. Ему не поверили. Дали Полякову за покушение на наркома три года концлагеря. Правда, потом, в марте 1928 года, освободили и направили в Марийскую область, а в 1929 году вообще разрешили жить в Москве.

Были среди советских людей и такие, которые к вождям с объятиями не бросались, ничего контрреволюционного не говорили, но зато делали то, что не следовало. Их тоже коснулся меч советской Немезиды.

В июле 1927 года из Москвы выслали Марию Архиповну Муханову. Она хранила газеты «белогвардейского содержания», такие, как «Речь», «День» и прочие дореволюционные издания. В январе того же года был приговорен к трем годам лишения свободы Леонид Иванович Батай, библиотекарь Военно-воздушной академии, за то, что делал на полях книг заметки антисоветского содержания, а в марте выслана на три года в Северный край Татьяна Людвиговна Катуар. Она жила в квартире 3 дома 6 по Гранатному переулку и происходила из тех самых Катуаров, с именем которых связана станция по Савеловской дороге между Лобней и Икшей, называемая Катуар.

В 1929 году на три года в Сибирь, по путевке ГПУ, выехал из Москвы Василий Яковлевич Бурдаков. Он хранил у себя дома альбом с фотографиями царя и царских министров.

Одному такому «хранителю» по фамилии Тенберг следователь НКВД задал вопрос: «Спрашивается: лояльно настроенный к советской власти человек стал бы держать такой портрет в полной сохранности на протяжении двадцати лет существования советской власти?» И знаете, что этот «лояльно настроенный человек» ответил? Он ответил буквально следующее: «Конечно, советский человек этого бы не сделал. Я же объясняю нахождение у меня этого портрета тем,

что я его забыл». Выходит, что и портрет царя хранил и не виноват! Такого быть не могло. Раз хранил — значит, мало боялся, не проверял, что имел, а такого быть не должно.

И все-таки во времена репрессий, о которых всем было известно, находились люди, продолжавшие хранить у себя недозволенное. Спасибо им, конечно, за это. И, вообще, спасибо всем, кто не выбрасывает на помойку то, что составляет приметы времени, кто не стирает с поверхности жизни пыль воспоминаний о чем бы то ни было. Для того чтобы хранить золото и бриллианты, много ума не требуется, а вот для того, чтобы сохранить примус, тарелку довоенного репродуктора, билет на концерт Утесова, нужна мудрость! Ну и удача, конечно. В нашей жизни, полной потрясений, сделать это не всегда легко.

Время революций жестоко. Сколько было людей, которым просто припоминали старое, хотя советской власти они ничего плохого не сделали, да и не могли сделать.

Льва Николаевича Гинерман-Гана в июне 1925 года выслали за то, что в дореволюционные годы он служил репортером петербургских газет «Русское слово» и «Биржевые ведомости». Не такое уж это вредное занятие писать репортажи.

В 1925 году бывшему омскому вице-губернатору Николаю Ильичу Князеву власти припомнили борьбу с революционным движением в 1905 году и заключили на три года в концлагерь.

Вообще Москва старалась избавиться от «бывших». В мае 1925 года выслали в Киркрай (Кировский край) бывшую княгиню Скорину-Щербатову. Жила она в доме 17 по Харитоньевскому переулку. В 1927 году выслали бывшего смоленского губернатора Константина Антоновича Шумовского. Жил он в квартире 7 дома 9 по улице Маросейка и работал делопроизводителем Мослесостроя. Обвинили его в антисоветских настроениях. За монархические убеждения выслали «бывшую княгиню» Наталью Павловну Урусову. Она жила в квартире 40 дома 7/10 по Знаменской улице и заведовала расчетной конторой управления спальных вагонов Московского железнодорожного узла.



Признали антисоветчиком и выслали из Москвы и Ивана Павловича Вокчука, члена кооператива «Радуга», проживающего в квартире 15 дома 10 по Казенному переулку. Был Иван Павлович родственником Гучкова, «бывшего военного министра» Временного правительства.

В 1929 году выслали из Москвы и учителя физкультуры Артема Николаевича Протасова за то, что он был сыном харьковского губернатора.

В июне 1927 года в возрасте пятидесяти двух лет был арестован Леонид Георгиевич Судейкин, сын известного в свое время полицейского деятеля Судейкина, убитого народовольцем Дегаевым, которого он же и завербовал. Леонид же Георгиевич, хотя и служил некоторое время в полицейском управлении московских вокзалов, но ни в чем предосудительном, с точки зрения революционеров, замечен не был и при новой власти занимал скромную должность старшего статистика хлебного отдела Госбанка. Тем не менее тень отца Судейкина позвала его на три года в Сибирь.

В 1929 году выслали из Москвы графиню Оболенскую, торговавшую с лотка всякой мелочью на Смоленском рынке, бывшего колчаковского офицера Шидловского, бывшего владельца ликвидированного предприятия Гинцбурга, бывшего хозяина суконной фабрики Загладина, бывшего князя и блестящего офицера Кропоткина. Из дома 1/2 по Трубниковскому переулку выселили графиню Ланскую, сыновей бывшего обер-прокурора Священного синода Саблера Десятковских, фабриканта Корнилова, владельца многих московских домов Паутынского, бывшего фабриканта Дианова, бывшего военного прокурора Войцеховича и др. В январе 1930 года был выселен из Москвы фабрикант Шулейкин, а из дома 7 по Большой Пироговской улице — бывшие «господа»: Неселер, Нейман, Борских, Узадовский и Краузе.

С «бывшими» тогда не церемонились. Билинская, жившая в доме 12 по Собачьей площадке, когда-то пела в оперетте Потопчиной (была такая антреприза). Муж ее был директором фабрики. Занимали они пятикомнатную квартиру. После революции не стало мужа, не

стало оперетты, не стало пяти комнат. Осталась одна, телефон в квартире и членство в профсоюзе «Рабис». С 1923 года Билинская состояла на учете на бирже труда и получала пособие как неработающая. Получала она его и тогда, когда срок выплаты пособия истек. В 1927 году ее пособия лишили.

Когда с графини Уваровой, у которой тоже осталась одна комната, стали требовать квартплату по повышенным расценкам, как с нетрудового элемента, ей пришлось пустить в свою комнату жильца, рабочего Лилина. Тот, как рабочий, платил мало. Денег не хватало, и она решила пустить второго жильца. Лилин запротестовал. Кончилось тем, что графиню вообще выселили из квартиры «за спекуляцию жилплощадью».

Пресса поддерживала классовую линию в жилищном вопросе и предоставляла свои полосы письмам представителей пролетариата. В 1932 году в газете жильцов и работников пятого домового треста «Арбат» Фрунзенского района Москвы «За социалистический быт» было опубликовано письмо, подписанное словом «рабочий». В письме говорилось: «На сегодняшний день есть факты, когда бывшие люди продолжают проживать в лучших квартирах, а в то же самое время некоторые лучшие пролетарии, к тому же еще ведущие активную общественную работу, продолжают жить в подвалах. В доме 32 по Арбату проживает Саличев, в прошлом торговец, и Журавлев — рабочий, активный общественник, в прошлом эксплуатировавшийся на предприятии Саличева в качестве рабочего, со своей большой семьей — в подвале. Надо раз и навсегда кончить церемониться с бывшими и не только их спускать в подвалы, но и выселять совсем из Москвы, а квартиры передавать рабочим, активно участвующим в общественной жизни».

Письмо подействовало. Саличева из Москвы выселили, а его дочь, занявшую тридцатиметровую комнату отца, переселили в подвал. В комнату Саличева вселили рабочего из подвала. Справедливость восторжествовала. Тем более что этим рабочим, вселенным в квартиру Саличева, как раз и оказался наш «активный общественник» Журавлев, написавший письмо.

Не давали спуску и «бывшим», укравшимся на подмосковных дачах. Недалеко от Москвы по Курской железной дороге (в Люблино или Кузьминках) существовала дача фабриканта Серикова. Жили на ней дочь фабриканта с мужем, бывшим полковником царской армии Тверицыным, его сын от первого брака, бывший адъютант царской армии, а также родственник Сериковых, бывший фабрикант Ермолаев. Часть дачи хозяева сдавали, причем не рабочим. Это возмутило местные власти и общественность. Подали в суд. Суд взыскал с Тверицыных три с половиной тысячи рублей недополученной квартплаты, посчитав, что дачу надо было сдавать не на лето, а на весь год, и выселил всех «дачников» к чертовой матери, с тем чтобы отдать ее рабочим. Правда, поселились ли они там или нет, — неизвестно.

«Бывшие», естественно, стремились друг к другу. В одной из московских газет общение этих людей изображалось следующим образом: «...обернитесь на тихий, убегающий вверх и поросший травой Николо-Песковский переулочек с низкими барскими особняками и древней церковкой — и вы словно шагнете на 5—10 лет назад. В узких кривых переулках и тупичках аристократического района жива еще старая барская белокаменная Москва, доживающая последние дни (конец двадцатых годов) в подполье. Ежедневно они (бывшие люди) собираются в домашних столовых на Арбате или в его переулках. Вход в эти столовые “только по рекомендации”, хозяйка столовой — бывшая генеральша или баронесса, или кисловская львица. Стол сервирован, как табльдот на заграничном курорте, разговор преимущественно на французском языке. “Бывшие люди” не то забавляются, как старые дети, не то, разыгрывая какой-то старомодный водевиль, титулуют друг друга: “ваше сиятельство”, “ваше превосходительство”, “граф”, “княжна”. Все по молчаливому уговору стараются не замечать того, что “граф” проедает последнюю трость с золотым набалдашником, а “княжна” является прямо со Смоленского рынка в стоптанных веревочных туфлях на босу ногу и в кольцах, надетых брильянтами внутрь, к ладони, чтобы не привлечь внимания, кого не следует, что “баронесса” “готова на все” за флакон заграничных духов...»

Вряд ли стоит сомневаться в правдивости автора этого текста. Были «столовые», «салоны» и французская речь, и выручка со Смоленского рынка. Излишним можно признать лишь злорадный тон автора в отношении этих хоть и бывших, но все-таки людей.

Конечно, люди отживших убеждений имели привычку собираться на квартире у кого-нибудь из единомышленников и злословить на счет советской власти, и это, с точки зрения ее сторонников, было нехорошо, но, надо признать, не так уж опасно. Чекисты же считали своим долгом эти «осиные гнезда» контрреволюции разорять. И разоряли.

Были разорены, например, такие «гнездышки»: квартира 1 дома 6 на Кадашевской набережной. В ней жили супруги, княгиня и князь Мещерские: Софья Григорьевна и Павел Павлович. Их обвинили в том, что они собирали у себя «людей своего круга, которые допускали антисоветские высказывания». Посещавший эту квартиру Юлий Яковлевич Миллер-Закомельский и некоторые другие участники «сборищ», как называли чекисты собрания гостей на квартирах бывших аристократов, тоже были высланы из Москвы вместе с хозяевами квартиры.

Освободилась от прежних хозяев и квартира 43 дома 53 по Пятницкой улице, на углу Вишняковского переулка, где жил Гудим-Левкович. Вместе с другими сторонниками монархии квартиру эту посещала Любовь Владимировна Миллер. Было ей тогда, в 1929 году, двадцать девять лет. Она «рьяно защищала от нападок единомышленников великого князя Николая Николаевича», за что и получила три года концлагеря от своих оппонентов с Лубянки. Жила она в квартире 10 дома 2/4 по Охотному Ряду.

Собирались монархисты и в доме 7 по Большому Кисельному переулку у Клавдии Ивановны Чернышевой, и в квартире 103 дома 17 по Петровке у Лидии Васильевны Кирьяковой, секретаря издательства «Вестник промысловой кооперации». В обвинении, предъявленном Кирьяковой, высланной на три года в Архангельскую губернию, говорилось, что в организованном ею нелегальном антисоветском политико-литератур-

ном салоне «группировалось ядро активных колчаковских сподвижников, на сборищах читались произведения Булгакова и других писателей».

Устраивались «сборища» на квартирах князей Голицыных и княгини Гагариной. Среди посетителей были отпрыски старых русских фамилий, таких как Раевские (Артемий Иванович Раевский, жил он в доме 41 по Большому Афанасьевскому переулку), Шаховские (Лев Андреевич Шаховской, заведующий технической и постановочной частью Большого театра, и его жена Ирина Николаевна, машинистка редакции газеты «Экономическая жизнь», жили они в квартире 4 дома 8/1 по Большой Дмитровке), княгиня Софья Владимировна Скорина-Щербатова (она жила в доме 17 по Харитоньевскому переулку) и многие-многие другие. В сущности ничего вредного для существующего режима они не делали. Просто по габаритам своего социального происхождения они не вмещались в рамки стандарта, допускаемого новой властью, за что и поплатились.

Впрочем, по отношению к «бывшим» применялись не только выселение, лагеря и ссылки, но и другие методы.

После установления советской власти в стране была введена уголовная ответственность, в частности, за сокрытие офицерами царской армии своего воинского звания, а также за уклонение от регистрации и сообщение о себе заведомо ложных сведений.

Инструкция же ВЦИК «О выборах в городские и сельские Советы» за 1926 год перечисляла лиц, лишенных права участвовать в выборах. К ним относились служащие и агенты бывшей полиции и охранного отделения, члены царского дома, а также лица, прямо или косвенно руководившие действиями полиции, жандармерии и карательных органов как при царском строе, так и при белых контрреволюционных правительствах. Относились к ним служители религиозных культов всех вероисповеданий и толкований, бывшие офицеры и чиновники белой армии, члены семей лиц, лишенных избирательных прав. Оговорка была сделана для тех, кто служил у белых, но потом служил у красных и защищал революцию.

Среди «лишенцев», как называли тогда лиц, лишенных избирательных прав, были и нэпманы, эксплуатирующие чужой труд.

Лишение избирательных прав являлось бы само по себе не такой уж большой помехой в жизни, если бы не влекло за собой ощутимых последствий практического характера. «Лишенцы», например, не получали карточки и были вынуждены покупать все по коммерческим, довольно высоким, ценам. Кстати, гонение на нэпманов, среди которых было много евреев (в 1924 году евреям принадлежало в Москве 75 процентов парфюмерных, 55 процентов мануфактурных, почти половина ювелирных, свыше трети галантерейных магазинов, а также повсюду в Москве евреи пооткрывали маленькие будочки, в которых торговали хлебом с колбасой), вызвало даже разговоры о преследовании евреев в СССР. Эмигрантская газета «Руль» в 1931 году писала: «Лишенцев в Союзе пять процентов, а среди евреев — сорок-пятьдесят. Раскулачивание распространено и на еврейские местечки... лишение прав означает, что у них (лишенцев) отнимали карточки и хлеб приходилось покупать по сорок копеек фунт».

Политизация жизни принимала подчас довольно уродливые формы. Возникло и окрепло, например, такое явление, как травля. Если человек становился неудобным, нежелательным в результате, скажем, высказанного им мнения, не совпадающего с линией партии, он подвергался травле. При государственной монополии на средства, как теперь говорят, массовой информации, по знаку руководящей руки свора журналистов, как стая легавых, с воем и заливистым лаем бросалась преследовать намеченную жертву. Самый страшный, нокаутирующий удар наносила газета «Правда». Помещенный в ней фельетон делал изображенного в нем персонажа человеком конченным. Так произошло, в частности, с профессором медицины Д. Д. Плетневым.

8 июня 1937 года Елена Сергеевна Булгакова записала в своем дневнике: «Какая-то чудовищная история с профессором Плетневым. В “Правде” статья без подписи: “Профессор — насильник-садист”. Будто бы в 1934 году принял пациентку, укусил ее за грудь, разви-

лась какая-то неизлечимая болезнь. Пациентка его преследует. Бред».

Елена Сергеевна нашла правильное слово. Именно «бред». Вот что в этой статье говорилось: «Семнадцатого июля 1934 года Плетнев принял Б. у себя на дому около двенадцати часов ночи. Затем профессор учинил отвратительное насилие над пациенткой. Совершенно неожиданно Плетнев стал кусать ей грудь, прокусив ее до крови. Б. тяжело заболела, болезнь осложнилась и в настоящее время перешла в хроническую форму... Он давал ей деньги, а когда в результате болезни она стала нетрудоспособной, прервал с ней отношения, предложил ей отступного три тысячи рублей. Она написала ему письмо: "07.01.37. Д. Плетневу: Будьте прокляты, преступник, надругавшийся над моим телом. Будьте прокляты, садист, применивший ко мне свои гнусные извращения! Будьте прокляты, подлый преступник, наградивший меня неизлечимой болезнью, обезобразившей мое тело. Пусть позор и унижения падут на вас, пусть ужас и скорбь, плач и стенания станут вашим уделом, как они стали моим с тех пор, как вы, профессор-преступник, сделали меня жертвой вашей половой распущенности и преступных извращений. Я проклинаю вас. Б." — это потрясающий человеческий документ...»

Действительно, документ можно было бы назвать потрясающим, если бы речь в нем шла не о насморке (или о чем-то в этом роде, как это имело место в данном случае), а о чем-нибудь ужасном. Нарвался Плетнев на сумасшедшую или аферистку, сказать трудно. Вернее, было и то и другое. За людьми состоятельными (а Плетнев был известным врачом, возглавлял Российское терапевтическое общество и, наверное, неплохо зарабатывал) любители легкой наживы и тогда вели охоту. Плетнев к тому же был высоким красивым мужчиной, и его любила известная опереточная примадонна Татьяна Бах. Так вот к нему-то и привязалась эта проклятая Б., которая просто терроризировала несчастного профессора. Плетнев обращался в различные инстанции с просьбой оградить его от домогательств Б. Она устраивала скандалы в клинике Первого МГУ, где он работал, требовала, чтобы терапевтическое общество при-

казало ему ее умертвить, чтобы он выписал ей наркотический яд и т. д. «Сейчас, — писал в жалобе на свою тяжелую долю затравленный профессор, — предстоит торжественное заседание Терапевтического общества, где я должен присутствовать. Я не могу туда идти...» Несчастный боялся того, что в зале раздастся истошный вопль Б., посылающей ему проклятия. Покоя ему не было не только на работе, но и дома. Аферистка звонила на квартиру, изрыгая мерзости и угрозы на головы дочери Плетнева и домработницы.

По настоянию Плетнева психиатры обследовали Б. и признали ее психически нормальной. Милиция взяла у нее подписку о том, что она прекратит дискредитировать профессора, но и это не помогло. Охота на председателя терапевтического общества продолжалась. Шло время. Наступил 1937 год — время, когда и за выражение лица можно было выжать статью Уголовного кодекса. Плетнева обвинили в покушении на изнасилование.

17—18 июля 1937 года Судебная коллегия Московского городского суда под председательством И. А. Смирнова, с участием прокурора С. В. Галунского и защитника Н. В. Коммодова в закрытом судебном заседании рассмотрела дело Плетнева Дмитрия Дмитриевича шестидесяти трех лет, профессора медицины, женатого, несудимого и установила, что «17 июля 1934 года, около девяти часов вечера, Плетнев принял в своем врачебном кабинете у себя на дому (квартира № 9 дома № 10 по Большому Левшинскому переулку) Брауде С. С. Предложив ей раздеться и уложив на диван для выслушивания, он, Плетнев, воспользовавшись беспомощным состоянием доверившейся ему, как врачу, женщины, допустил по отношению к ней ряд сексуальных действий, направленных к совершению полового акта, и не привел в исполнение своих преступных намерений вследствие сопротивления со стороны Брауде». Суд раскрыл в приговоре содержание «сексуальных действий, направленных к совершению полового акта». Состояли они в том, что Плетнев «в состоянии половой запальчивости, выслушивая Брауде, взял в рот сосок ее груди». Возникнове-



ние в дальнейшем у Брауде мастита суд, не располагая на этот счет заключением экспертов, связал тем не менее с действиями Плетнева. Против Плетнева обернулось и то, что он давал Брауде деньги. Впрочем, то, что он перестал их ей давать, тоже обернулось против него. Суд в приговоре указал, что действия Плетнева в отношении Брауде «явились результатом глубокого морального падения и недопустимы в условиях социалистического общежития. Эти действия Плетнева преступно нарушают не только основные принципы социалистической морали и врачебной этики, но и охраняемые законом права женщины, гражданки социалистического государства на ее личную неприкосновенность».

Получил профессор Плетнев два года условно. Верховный суд оставил приговор без изменения. Рассказывали, что Брауде еще долго ходила по судам и кричала, что они потакают насильникам и садистам. Потом и она умолкла. Плетнев же вскоре был привлечен в качестве обвиняемого по делу «антисоветского, правотроцкистского блока» вместе с Бухариным и Ягодой. Профессор признавал себя виновным и каялся в несовершенных преступлениях, как и другие обвиняемые. На этом его биография и закончилась. Его, как не принимавшего непосредственно активного участия в умерщвлении тов. В. В. Куйбышева и А. М. Горького, но содействовавшего этому преступлению, суд приговорил к тюремному заключению сроком на двадцать пять лет. Из тюрьмы он не вернулся.

Как жестоко и несправедливо обошлась судьба с этим человеком! Некоторые из «бывших», наблюдая такую жизнь и не видя никаких перспектив, вынашивали планы побега из «первого в мире государства рабочих и крестьян». Так было с Марией Георгиевной Багратион-Мухранской, представительницей известного рода. Родилась она в 1910 году в Тбилиси. После революции эмигрировала с родителями и жила в Париже. Там она закончила парижский филиал нью-йоркской школы изящных и прикладных искусств. В 1936 году из самых благих побуждений приехала в Москву. Жила в квартире 1 дома 6 по Щетининскому переулку (это

около Большой Ордынки), работала, кажется, в какой-то редакции, связанной с искусством. Жить ей было несладко. Она поняла, что жить в России, в таком суровом политическом климате, она не может. Хотела вернуться в Париж — не пустили. Тогда она стала вынашивать план побега. Из всех вариантов самым доступным показался ей морской: на лодке через Балтийское море в Швецию. Было это уже в 1949 году. Тот, с кем она поделилась мыслью о побеге, сообщил куда следует, и отбыла Мария Георгиевна не на лодке, а в товарном вагоне, и не в Швецию, а то ли в Потьму, то ли в Караганду, а может быть, еще куда, но только не на Запад.

Заносило в СССР людей не только из Парижа, Берлина и других европейских столиц. В 1931 году занесла к нам нелегкая Генриха Иосифовича Глезера. Когда-то, до двадцати семи лет, он жил в Польше, а в 1902 году муза дальних странствий позвала его в Африку. Стал Генрих Иосифович уже не польским, а африканским евреем. Завел на земле туарегов торговлишку, скопил капитал, купил два дома, женился на Еве Абрамовне Инфельд, бывшей жене врангелевского офицера, которая делала и продавала куклы, завел двух сыновей и, казалось, обрел достойное место под жарким африканским солнцем. Но тут, как на грех, слухи о «советском Израиле» позвали Генриха Иосифовича в дорогу, в первую в мире страну социализма. Он продал свои дома, набил чемоданы нужными и ненужными вещами и вместе с женой отплыл на пароходе в Россию. Его сыновья не захотели бросать Африку и остались. Тогда Африка была еще колониальной, и в ней можно было жить. Оказавшись в Москве, Глезер положил свои капиталы в Госбанк и стал жить на проценты. Осмотревшись, он убедился в том, что евреев здесь действительно много, но все они какие-то не такие, да и жизнь какая-то странная: все как бы повернуто одной стороной, фотографируется как-то боком, что ли, в общем, неестественно. И все чего-то боятся. Генрих Иосифович долго думал и решил, что все безобразия в стране происходят из-за того, что правит в ней не еврей Троцкий, а грузин Сталин. Своими мыслями он делился с друзьями. Он был уверен: свои евреи его не подведут,

не донесут на него. Но Генрих Иосифович на этот раз ошибся и, видимо, в последний раз. НКВД стало известно о том, что он ругает жизнь в СССР, восхваляет жизнь в капиталистических странах, проклинает вождей партии и членов правительства, а недавно вообще сорвал со стены портрет Сталина и шмякнул его об пол. Наконец Глезера арестовали, и Московский городской суд (председательствующий Иванов) дал ему пять лет лишения свободы, а чтобы Ева Абрамовна без него одна в Москве не скучала, дал три года и ей.

Встречались «бывшие», которые не надеялись ни на перемены в СССР, ни на побег за границу, но почитали своим долгом привлечь внимание «заграницы» к своей несчастной жизни и раскрыть ей глаза на жизнь в СССР. Такие обращались в иностранные посольства.

В августе 1926 года Николай Алексеевич Ильинский написал письмо в британскую миссию. Он называл советское правительство «бандой политических разбойников и убийц» и просил предоставить ему британское подданство. Он даже обещал информировать миссию о положении дел в СССР. Сам он нигде не работал и мог информировать разве что о положении на бирже труда или о ценах в магазинах. Англичане его порыв не оценили. Зато он был отмечен органами ГПУ, посадившими его на три года в концлагерь.

Иван Андреевич Ширяев, счетовод акционерного общества «Международная книга», в 1929 году получил тот же срок за посещение иностранных посольств, где сообщал о том, что в советской России власть находится в руках евреев. Иностранные посольства эта информация не заинтересовала.

А вот Дора Ивановна Костанда в концлагерь не попала. В июле 1936 года ее выслали в Казахстан как социально опасный элемент. Вина ее состояла в том, что она посещала посольства Германии и Италии и просила оказать ей содействие в выезде из СССР. Позднее, в 1941 году, она получила пять лет исправительно-трудовых лагерей за то, что писала из Казахстана в высокие инстанции о произволе НКВД. Вышеуказанный комиссариат ей за ее писания этот произвол и учинил.

Наблюдались среди «бывших» и такие, кто не спорил о божественном предназначении России, о ее крестном пути, великой исторической миссии, кто не порывался бежать за границу и не служил в ГПУ. Они просто опустились.

Сын бывшего владельца пассажа, находившегося на углу Кузнецкого Моста и Неглинной (около ЦУМа), Солодовников, стоя у входа в бывший магазин своего родителя в ряду торговых бюстгальтерами, чулками и прочими причиндалами, монотонно повторял: «Духи на вес... Шипр-Коти... Духи на граммы...»

Родственница бывшего председателя Совета министров России Горемыкина по имени Клавдия занималась проституцией и продажей кокаина. В 1927 году она была за это арестована.

Дочь царского военного министра Сухомлинова, обвиненного современниками в измене отечеству, стала постоянной обитательницей Ермаковской ночлежки. «Известия» от 14 июня 1923 года писали о ней: «Сегодня местная знаменитость — мадемуазель Сухомлинова, дочь бывшего министра... вконец опустившаяся. Ходит в рубище, морфинистка».

Уличным сумасшедшим стал один из потомков князей Шаховских. Время от времени его помещали в сумасшедший дом. Остальное время он бродил по улицам оборванный и грязный и просил «Христа ради».

Графиня Надежда Михайловна де Гурно, дочь петербургского врача, незадолго до революции бросила институт, вышла замуж за студента Роттермунда, бросила и его. Вышла за другого, но тот умер. Тогда она покинула Северную столицу и переехала в Москву. Шел 1918 год. Она пропадала в «Кафе поэтов». Читала там свои стихи, воспевая всепобеждающую красоту женского тела: «Я женщина и нагота моя всеильна / Вам говорит о страсти неземной. Я женщина, я властна и капризна / С холодной и преступною душой». На квартире, где жила, собирала богему. Посещали ее и дельцы черной биржи: Персиц, Носов и др. Они выставляли угощение, а Надежда Михайловна — девочек. Так и стала ее квартира притоном разврата. Не отставала от своих девиц и сама графиня, страстная была женщина. Судеб-

ные психиатры, которые обследовали ее, отметили в заключении, что «натура она неуравновешенная, с пониженным чувством стыда, наркоманка и в половом отношении извращенная натура». Простим ей эти слабости, тем более что и суд ее не осудил, а по рекомендации психиатров в декабре 1927 года направил «на полтора года на принудительное лечение» в психиатрическую больницу.

Некоторые «бывшие» торговали «николаевскими» деньгами. Еще в начале двадцатых годов тысяча «николаевских» рублей на черном рынке стоила двадцать четыре тысячи советских. За такую «торговлю» бывший совладелец табачной фабрики Василий Николаевич Бастанжогло в свое время поплатился жизнью, его расстреляли по постановлению ВЧК. Его сотоварищи по делу получили по десять-пятнадцать лет. Их тогда называли «прожигателями тыла», а имущества у них конфисковали на 10 миллионов рублей.

Ирину Трофимовну Митину до «тяжелого болезненного состояния психики», как отмечали судебные психиатры, довели превратности судьбы. Историю ее жизни узнаём из приговора Московского городского суда, подписанного судьей Александровым 1 августа 1935 года.

Есть в Липецкой области город Чаплыгин (бывший Раненбург), а недалеко от него находилась деревня Чернышово-Дикое. В этом самом диком Чернышове, в крестьянской семье, в 1887 году и родилась Ирина Трофимовна Митина. С восьми лет она жила в Вишняках под Москвой, в доме князей Волконских, раненбургских (город Чаплыгин в Липецкой области до 1948 года) помещиков и владельцев деревеньки Чернышово-Дикое, и пасла господскую птицу. Когда ей исполнилось четырнадцать лет, на нее обратила внимание сама княгиня и сделала своей горничной. Через три года хозяйева просватали девушку за почтового чиновника Кириллова, а в приданое дали дачу со всей обстановкой и несколько золотых вещей. Ирина не любила Кириллова, но человек он был положительный, и будущее с ним сулило ей спокойную жизнь и достойную старость. Муж любил ее, к тому же он имел собственный дом в селе Богородском и два дома в Черкизове. Став

женой и барыней, Митина перестала работать у князей, но время от времени посещала свою благотельницу, которая, как она говорила, в ней души не чаяла. Дни ее проходили в домашних делах, заботах и ожидании с работы мужа. Деток, трехмесячную Танечку и годовалого Ванюшу, прибрал Бог, а других взамен не дал. Тихая жизнь кончилась в 1917 году. Князя успели сбежать за границу, и Митина потеряла с ними связь. Дом в Вишняках супруги продали и переехали в Богородское. Жили на доходы от двух домов в Черкизове, которые сдавали. Вскоре один из домов сгорел. Второй — отняла новая власть, а дом, в котором они жили, заселили новыми жильцами, оставив им одну комнату. Муж с горя запил, а потом и вообще пропал. Так в один год рухнуло все благополучие Митиной, растаял сон, в котором она, золушка, некогда пасшая господских гусей, жила барыней, попивая за одним столом с княгиней чай из кузнецовского фарфора.

Жить как-то было нужно. Пошла на фабрику. Зарабатывала гроши. Стала пить с горя. Побиралась, чтобы добыть деньги на водку, а иногда и воровала. Как-то на пожаре украла шубу, выброшенную погорельцами из окна. Продала ее и почувствовала себя богатой. В 1928 году сама подожгла железнодорожный вагон, надеясь что-нибудь украсть, но он оказался пуст. Ее осудили. Когда вышла из тюрьмы, на работу не брали. Опять стала красть. В 1932 году попала в концлагерь на «Медвежью гору». В 1934 году вернулась в Москву, где и началась ее «пиромания». Она стала жечь дома в Черкизове. Именно здесь у нее когда-то стояло два дома. Она же, теперь бездомная, должна была слоняться по холоду, не имея своего угла, где могла бы преклонить голову! А ведь было ей тогда уже сорок восемь лет. От озлобления и ненависти на весь мир у нее помутился разум. В конце декабря 1934 года она подожгла дом 4 по Сборовскому переулку, дом 3 в Лоченковом переулке, дом 12 по 2-й Бухвостовской улице, дом 6 по Котовскому переулку и дом 44 по Большой Черкизовской улице, в феврале 1935 года подожгла дом 34 по той же улице, а в декабре 1935 года дом 24 по Знаменской улице и дом 24 по Часовенной улице. Дома эти были деревянные,

двухэтажные. Поджигала она обычно лестницу в подъезде. Жильцы подожженных домов подтвердили, что видели ее на пожаре, она помогала им вытаскивать из огня имущество. Митина же вину отрицала.

Член Московского городского суда Александров указал в приговоре: «Митина из чувства классовой мести за изъятые у нее дома и золото стала поджигать дома в Черкизове, а также с целью кражи имущества во время пожара» и приговорил ее к расстрелу.

Верховный суд пожалел поджигательницу и снизил ей наказание до десяти лет лишения свободы. Суд учел, что дома не сгорели, имущество похищено не было и что Митина, согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы, «находится в тяжелом болезненном состоянии».

Да, «реформа» 1917 года ударила «одним концом по барину, другим по мужику». Тем, кто пользовался при старом режиме покровительством своих господ, при новом строе пришлось несладко. Зависть, которую они вызывали у людей своего класса, превратилась в классовую ненависть. На их простые лица легла тень чуждых аристократических профилей их бывших хозяев.

«Бывших» людей не любили. В кинофильме «Чапаев», шедшем на довоенных экранах с огромным успехом, главный герой, глядя на идущих строем белых офицеров, произносил: «интеллигенция». В шедшей тогда пьесе Афиногенова «Страх» звучала мысль о том, что «человек непролетарского происхождения или, по крайней мере, неплебейского происхождения, — как это отмечала в 1932 году газета «Правда», — почти неизбежно оказывается в рядах наших классовых врагов», и в чем-то она была права. Разница мироощущения и мировосприятия интеллигента и пролетария не могла, наверное, не отразиться и на миропонимании того и другого. То, что один воспринимал спокойно, как должное, другого коробило и возмущало. Звучащая в спектакле фраза: «Дворянин, стоящий у станка, — еще не пролетарий» — отвечала духу времени.

В тридцатые годы страницы газет зачернели призывами типа: «Вредителей и шпионов — вон из рядов интеллигенции», «Выкорчевывать корешки нейтра-

лизма», «Нет и не может быть “аполитичных” и “нейтральных” специалистов» и пр.

От «бывших» избавлялись. Их не только высылали, но и увольняли с работы. Нужно было уступать места для новых людей. «Незаменимых у нас нет», — провозглашал Сталин. Появились «выдвиженцы» — пролетарии, закончившие рабфаки и другие учебные заведения.

После проверки в 1928 году Ленинской библиотеки проверяющие пришли в ужас: из 327 сотрудников только двадцать три члена ВКП(б) и десять комсомольцев, зато бывших дворян — шестьдесят два, а потомков почетных граждан — двадцать. Короче говоря, 70 процентов работников библиотеки — «чуждый в классовом отношении элемент». Стало быть, Ленинская библиотека — «убежище для контрреволюционно настроенной интеллигенции, укрывшейся в тихом месте». В результате проверки двадцать два сотрудника, в том числе и директор библиотеки Виноградов, были уволены. Их заменили выходцы из пролетариата.

В 1936 году прошла «чистка» в Академии художественных наук. Было «вычищено» семнадцать человек, в том числе и ее вице-президент Г. Г. Шпет. Ему поставили в вину то, что он издавал формалистов (Ярхо, Недовича, Петровского), а вот «пролетарских» критиков — Когана и Аксельрода — почти не издавал.

Подобного рода «чистки» проводились не только в больших государственных организациях. В начале 1930 года подверглись проверке вокально-музыкальные и хореографические курсы. Проверяющие отмечали, что руководители курсов не занимаются общественно-политическим воспитанием детей, что вместо 75 процентов детей рабочих на курсах занимается не более четверти. В результате курсы закрывались или менялись их преподаватели и ученики.

Доставалось, впрочем, не только простым смертным. На И. С. Тургенева все больше смотрели как на помещика, от «зеркала русской революции» Л. Н. Толстого — отворачивались: пацифизм был не в моде, Ф. М. Достоевского обзывали реакционером и мракобесом, ругали «чеховщину». Находились такие, что даже А. С. Пуш-



кина упрекали за то, что он был сторонником крепостного права, противником свободы печати и искренним доброжелателем Николая I. Так, по крайней мере, в 1925 году о нем отозвался некто Пиксанов, сделавший доклад о «Солнце русской поэзии».

Вообще в интеллигентах возмущало многое. А Приградова, выступившего в газете «Известия» административного отдела Моссовета в 1924 году со статьей «Отрыжка старого», возмущало, например, то, что медицинские «светила» зазнались. А выразилось это в следующем: один крупный общественный работник, как рассказывал Приградов, позвонил такому «генералу от медицины», а ему ответили, что профессор принимает только тех, кто записан, то есть приходи, записывайся, плати огромные деньги (а это могут только нэпманы) и тогда — пожалуйста, а просто по телефону договориться нельзя. Больше всего автора возмутило то, что «светило» посчитал ниже своего достоинства поговорить с «крупным общественным деятелем» по телефону, что того даже не спросили, кто говорит. «А это уж слишком!» — с возмущением вырвалось у него.

На фоне всеобщего бескультурья и малограмотности знания, которыми обладали интеллигенты, выглядели как частная собственность, которую нельзя ни конфисковать, ни поделить, ни уплотнить. Это раздражало. Хорошо еще, что у интеллигентов были свои недостатки, на которых можно было отыгаться. Они, эти недостатки, дали немало пищи любителям изящной словесности тех лет. «Известия» Административного отдела Моссовета с возмущением писали: «Сколько слезливого сюсюканья иных поклонников антикварной Москвы по поводу “умирающей” поэзии “тихих” арбатских переулков и “исчезнувшего уюта” изящных особняков в районе Большой Молчановки и Собачьей площадки...» В 1929 году некий Розенталь в статье «Аромат последних усадеб», опубликованной в «Вечерней Москве», высмеивал тоску интеллигентов по дворянскому быту, по чистоте тургеневских барышень, по сентиментальности человеческих отношений. В 1935 году Эрлих в опубликованной в «Правде» за 24 июля статье «Интеллигенты от викторины» дал карикатуру на

«интеллигентов», блиставших знаниями, почерпнутыми из отделов «смеси» популярных изданий, то есть знаниями поверхностными, случайными и не особо нужными.

Разумеется, и среди лиц интеллигентных профессий попадались прохвосты. Были и такие, кто наживался на кражах и сбыте музейных ценностей. Еще в 1924 году через антикварный магазин «Главнауки» в Историческом музее продавались картины известных западных и русских художников по цене 2—3 червонца с готовыми отметками: «вывоз за границу разрешен».

В Москве тогда были и другие роскошные антикварные магазины. Один находился в доме 32 на Арбате, а второй — рядом с консерваторией. В последнем магазине можно было приобретать антиквариат на торгсиновские боны, так что возможности для наживы имелись. Ценности не обязательно было красть. В начале двадцатых годов на Смоленском рынке, например, можно было приобрести елизаветинский фарфор, старинные иконы, цветной бахметьевский хрусталь, шитье из бисера, лукутинские табакерки, мебель времен Павла I, статуэтки Гарднера и Попова и многое-многое другое. Кто-то, говорят, купил на нем даже гравюру Дюрера. На аукционе в «Праге» картины известных художников шли за гроши, по 3—4 рубля за штуку. Картина Васнецова стоила 12 рублей. Рамы — дороже.

На аукционе в Петровском пассаже тоже можно было кое-что приобрести. Сюда после революции из Ленинграда завезли тюки и ящики с имуществом царей и князей, хранившихся в кладовых. Из дворца Юсуповых, в частности, привезли мебель в стиле «ампир» (в свое время за нее было заплачено 10 тысяч рублей золотом), ковры из Хорасана и Тебриза, французские и фламандские гобелены, секретер из розового дерева времен Екатерины II, картины Поленова, Сурикова, Сомова, Айвазовского, хрусталь, фарфор Севра, Сакса, Вены. С молотка все это шло по дешевке. Аукцион должен был сбывать вещи, а не хранить их.

Торги на аукционе начинались не ранее одиннадцати часов. В зале собирались специалисты по скупке и перепродаже старины, заходили случайные люди

и просто любопытные. В конце зала находилось возвышение, обтянутое синей материей. Вокруг него — полки, на которых лежали разные вещи. На возвышении сидел аукционист. Одна московская газета зарисовала его облик так: «Он как будто сошел с обложки папирос “Сэр”: начисто выбритый подбородок, тщательный причесок, крепко затянутый галстук... Он произносит сотню слов в минуту: — Старинный силуэт в раме 3 рубля. Силуэт — кто больше? 3 рубля 20 копеек слева. Раз... 3 рубля 50 копеек — у окна, раз, 3 рубля 50 копеек два... 3 рубля 70 копеек у дверей — раз... 4 рубля гражданин в пенсне, 4 рубля. Раз, два... 4 рубля три... Никто больше? Правая рука отщелкивает на счетах цифры, берет молоток и стучит. Публика в зале приучена: безмолвно подымает руку и пальцами показывает цифры. Один палец — 10 копеек, два пальца — 20 копеек и т. д. Сотрудница с удивительной быстротой разносит квитанции: — Солонка? Кто солонка? Иногда ошибается. Тогда аукционист громко возвещает: — Ольга Николаевна, синий абажур — дама сзади, шляпа с белым пером!» Аукцион имел успех. В зале всегда было полно людей. Ежедневно на продажу приносили свои вещи сто пятьдесят — двести человек. С продавца и с покупателя устроители удерживали по 10 процентов.

Были аукционы, которые приносили своим хозяевам доходы и побольше. В одном из павильонов сельскохозяйственной выставки действовал постоянный аукцион по продаже картин. Картины Мясоедова, Коровина, Айвазовского и других здесь шли с молотка как картины неизвестных художников по цене от одного до двадцати пяти рублей! Говорили, что среди «неизвестных» художников тут можно было встретить и Рафаэля. Некоторые картины списывались на аукционах как непроданные и исчезали. Работник аукциона Васильев, например, списывал в день по пятнадцать картин Бруни, Гофмана, Чумакова из коллекции князя Одоевского и музея имени наследника цесаревича.

Над такими участниками аукционов и похитителями картин в Москве происходили шумные судебные процессы. Определенную известность приобрели и музейные воры, такие как Петр Никитович Соколов

по кличке «Козел», Рудько, он же Коноваленко, Матвей Игнатьевич по кличке «Корзубый», приговоренный к смертной казни за кражу бриллиантов с иконы в часовне Иверской Божьей Матери. Смертную казнь ему тогда заменили десятью годами ардома (арестного дома, а проще — тюрьмы), из которого он сбежал и вместе с Соколовым обокрал фабрику Московского ювелирного товарищества, устроив в стене пролом. Их попытку обокрасть «золотую комнату» Исторического музея муровцы предотвратили, «накрыв» воров-взломщиков на сходке в Реутове. Кроме Рудько и Соколова были задержаны Георгий Константинович Новоселов по кличке «Аэроплан», Виктор Алексеевич Пушкинов, Николай Михайлович Леонов и другие «любители старины». Рудько же после этого опять удалось скрыться.

Борьба с расхитителями драгоценностей не всегда находила должное сочувствие у людей. Из их памяти еще не выветрились слова: «Грабь награбленное», да и не до драгоценностей было людям. Многих же все эти «пережитки проклятого прошлого» просто раздражали.

Один товарищ, например, в письме, направленном в 1929 году в редакцию газеты, требовал запретить церковный колокольный звон (набатный звон был запрещен еще в 1918 году), потому что он будит его в шесть утра и мешает спать. Другой в 1923 году возмущался тем, что в кафе музыканты играют по заказу марш «Под двуглавым орлом», а третий — что вино-торговец на Театральной площади ухитрился скомбинировать вывеску своего заведения на фоне трехцветного российского флага. В 1924 году граждане требовали убрать с вывески магазина Моссельпрома, что на углу Тверской и Охотного Ряда, слова «быв. Чичкина» (до революции в Москве купец Чичкин имел лучшие молочные магазины), а через некоторое время, когда этот магазин станет гастрономом «Мясохладобоев Наркомвнутторга СССР», их будут возмущать стоящие в нем две хрустальные вазы с конфетами из-за того, что на их крышках красуются двуглавые орлы. Стронники прогресса обращали внимание властей на то, что наряду с папиросами «Пролетарскими», «Крас-

ноармейскими», «Невой», «Трезвоном» существуют контрреволюционные: «Сенаторские», «Ампир» и даже «Царские» и название их напечатано по правилам старой орфографии!

С годами из магазинов исчезли бронзовые статуи и хрустальные вазы. Их разбили, растащили, распродали временные хозяева, которые сами сгнули, не оставив после себя ни полезного дела, ни благодарной памяти потомков. Еще в шестидесятые-семидесятые годы большие хрустальные вазы украшали Филипповскую булочную на Тверской, а металлические скульптуры — лестницу аптеки Феррейна на Никольской, торговый зал «Военторга». Помню при входе в меховой магазин на углу Столешникова переулка и Большой Дмитровки огромного бурого медведя, стоявшего на задних лапах.

Стремление покончить со старым проявлялось и в отношении к словам. В сентябре 1924 года Управление Московской телефонной сети отдало распоряжение — не давать соединения тем абонентам, которые при вызове станции будут обращаться к телефонисткам со словом «барышня». Газета «Известия» Административного отдела Моссовета писала по этому поводу: «Старые слова, вызывающие в памяти крепостнические времена, должны быть навеки стерты. “Барышня” умерла. На ее месте родились “товарищ”, “гражданка”. И именно так должны обращаться к телефонным труженикам те, кто, звоня по телефону, не может отстать от старой привычки». Так, молоденькое хорошенькое существо под названием «барышня» грубо оттеснили в сторону суровые «телефонные труженики». Правда, ни «гражданка», ни «товарищ» на телефоне не прижились. Со временем «барышню» сменила «девушка» — «барышня» эпохи социализма.

К слову сказать, незадолго до войны в Москве стала вводиться автоматическая телефонная связь. Номер телефона начинался с буквы. Семь из десяти букв обозначали телефонные станции. «В» (3) обозначала Кировскую телефонную станцию, «Г» (4) — Арбатскую, «Д» (5) — Миусскую, «Е» (6) — Бауманскую, «Ж» (7) — Таганскую, «И» (8) — Дзержинскую и «К» (9) — Централь-

ную. Буквы «А», «Б» и «Л» тогда были свободны, не было станций. Буква «З» вообще отсутствовала, наверное, из-за тех, кто не выговаривал букву «Ж» и мог этим сбить с толку телефонистку. С этой буквой связана и появившаяся тогда довольно грубая шутка: «Чтобы звонить на Таганку, надо вставить палец в “ж” и крутить до отказа».

Но вернемся к русскому языку. Он, как и все в стране, изменялся. Все меньше в нем оставалось красоты природы, все больше засорялся он выхлопными газами автомобилей, чадом заводских труб, дурел от толчеи и скоротечности городской жизни. Кто-то принимал новый язык спокойно, не задумываясь, и при виде таблички со словами «Уходя, гасите свет» действительно его гасил. Ну а кто-то возмущался, даже протестовал. Эмигрант Петр Пильский 1 мая 1927 года выступил в газете «Сегодня», выходившей в Париже, со статьей «Косноязычные фигляры». Он писал о том, что в газетном языке СССР появились совершенно необыкновенные слова: «останов фабрик», «типизация хлеба», «бесплановость», «окороть»... «Кто может понять, — писал Пильский, — что значит “дауэсизация” (это, наверное, от Дауэса, западного политического деятеля. — Г. А.), “инвестиция”, “субвенция”. Между тем вся эта кренделящая и грохочущая печать именуется себя “пролетарской” и “рабоче-крестьянской”. Советская печать... если и ухитряется подслушать жаргон человеческой толщи, то только хулиганствующей улицы — такие слова, как “буза”, “барахло”, “шамовка”, “даешь”, “кипуха”, “бузотер”. Только неизлечимая глупость, всеобъемлющая пошлость могли выдумать “выпуклость расходов”, “одноименную речушку”, “наскучившегося крестьянина”, “больные мелочи”, “лай французской буржуазии”, “словесную продукцию” и т. д.»

Мнение эмигранта для нас, конечно, не закон, и такие слова, как «инвестиция» и «субвенция», вошли в газетный язык. Попробуй их теперь оттуда вышиби. Дело не в этом. Просто, наверное, наступило время, когда сложными понятиями стали пользоваться люди, имеющие скудный словарный запас. Преимущество таких граждан состояло в том, что им не надо было переучиваться, они усваивали новый язык, как

младенцы, вступающие в жизнь. Тем же, кто русский язык изучал в гимназиях, кто много читал, приходилось несладко. Их то скрючивало, то перекашивало, то дергало. Желчность и нервный смех оставались их уделом. Ну как им было не нервничать, когда в 1927 году в журнале «Смена» они, например, могли прочитать такой эпитафия к статье «Защита скотства»: «Собрать все книги бы да сжечь — полковник Сологуб (вместо Скалозуб из “Горя от ума”». А что возмущаться, разве обязаны были знать сотрудники редакции молодежного журнала фамилии царских полковников?

Мне вспомнилась красноречивая опечатка, допущенная на бланке одной «фирмы» еще в 1916 году. Вместо «Англо-американская контора» — «Нагло-американская контора». Может быть, это было сделано нарочно? В этом случае нельзя отказать мошенникам, в отличие от журналистов, в чувстве юмора.

Появились слова «ширпотреб» — товары широкого потребления, «руковод» (синоним руководителя), «деловод», «стекловица» — передовая статья в газете «Известия», редактором которой был Стеклов, «фабзайцы» — учащиеся школ фабрично-заводского ученичества (ФЗУ), «комса» — комсомольский актив, «задрыга» и много-много других, неожиданных и интересных слов. Зато некоторые, еще не так давно обычные слова люди позабыли. Они не стали говорить «милостивый государь», «сударь», «сударыня», «ваше степенство», «почтеннейший», «чего изволите?». Когда дни недели стали называть по порядковым номерам: «первый день шестидневки», «второй день шестидневки» и так далее, то стали забываться такие простые слова, как понедельник, вторник и пр.

К концу второго десятилетия XX века в стране появились новые понятия, о которых раньше никто и не помышлял. В научных кругах в тридцатые годы обсуждалось английское слово «television». Некоторые наши ученые считали, что для передачи изображения на расстояние это слово не подходит. Его лучше заменить словом «дальновидение», а аппарат, с помощью которого можно смотреть это изображение, назвать «дальнозор». Однако это слово у нас не прижилось. Зато Крым в

наших газетах стали называть «Всесоюзной здравницей», а Север — «Всесоюзной лесопилкой». В 1927 году, когда заработали наши автогиганты, появилось слово «автомобилизация». Писали не «фашизация», а «фашистизация», не «для девочек» (туфли, например), а «девочки». Употребляли слово «напряжем» (силы). Появился оборот «коллективная читка», это когда на политзанятиях один читал газету, а несколько человек его слушали. Список тем для занятий (по экономике, рационализации и пр.) получил название «темник». Исчезло из оборота слово «приказчик». Продавцов стали называть «работниками прилавка». Домашнюю прислугу стали величать «домашними работницами». Почтальонов переименовали в «письмоносцев».

Появились новые эпитеты с отрицательным оттенком. Фуражки, которые носили некоторые студенты и инженеры еще с дореволюционных времен, стали называть «вредительскими», потому что их надевали те, кого судили за вредительство (например, по «шахтинскому» процессу в середине двадцатых годов, когда донецких инженеров обвинили во вредительстве). Зато в моде стали большие «моссельпромовские» кепки.

Киномеханика, у которого во время сеансов часто рвалась пленка, во вредительстве не обвиняли. Ему топали, свистели и пренебрежительно называли «Гаврилой». Почему? Непонятно. Наверное, с такими личностями сочетается это имя в сознании народном. Впрочем, «гаврилами» тогда называли не только киномехаников, но и железнодорожных машинистов, шоферов и вообще всех, у кого по той или иной причине не клеилась работа. О деревенской женщине могли сказать «Нюшка с трудоднями», а о милиционере — «Сопля в мундире», вместо «есть» говорили «шамать».

Новые условия жизни, конечно, требовали новых слов. Однако и старые слова приобретали тогда новый смысл. Товары, например, стали не продавать, а отпускать. Приобретение их стало не покупкой, а отовариванием. Объяснялось это дефицитом и карточками. На них нельзя было ничего купить. Норма отпуска товара по карточке была строго ограничена. Проблема состояла еще и в том, что в магазине не всегда имелись товары, указанные в карточке.



На июль 1930 года Моссовет установил, к примеру, следующий порядок снабжения населения продуктами по карточкам (купонам): «Сахар будет отпускаться по купонам 18 и 29, чай по купонам 19, макароны по купону 20, манная крупа для детей по купону 20 детского талона, разные крупы для взрослых по купону 21. Отпуск мяса будет производиться говядиной, бараниной и консервами, “тушенка” — в зависимости от наличия в магазине. По детским талонам отпускается исключительно свежее мясо. В магазинах, имеющих соответствующие приспособления, по желанию покупателей полученное ими мясо может быть в их присутствии превращено в фарш с выдачей его на руки полностью вместе с костными частями...» Газета сообщала, что вместо 300 граммов маргарина можно получить 250 граммов масла.

Продажа продуктов в коммерческих магазинах, где карточки не спрашивали, ограничивалась. В 1933 году, например, в таком магазине можно было купить за один раз не более килограмма белого и килограмма черного хлеба.

В середине тридцатых годов положение с продуктами улучшилось. Имея деньги, можно было купить разнообразные кондитерские и молочные товары, хлеб, мясо, рыбу.

Цены на продукты питания в 1937 году выглядели следующим образом: килограмм пшеничной муки стоил 4 рубля 60 копеек, гороха лущеного — 3 рубля 60 копеек, гречки — 1 рубль 82 копейки. Кусок хозяйственного мыла можно было купить за 2 рубля 28 копеек, банку сардин — за 4 рубля 75 копеек, кеты натуральной — за 3 рубля 50 копеек, килограмм мятных пряников — за 5 рублей 75 копеек, килограмм повидла — за 4 рубля 30 копеек, килограмм кофе — за 10 рублей 90 копеек. Пол-литровая бутылка вина стоила рубля 4, бутылка побольше рублей 5—7. Подешевели масло и мясо, которые еще в 1932 году стоили соответственно 18 и 8 рублей.

Уже в середине тридцатых годов с продуктами в Москве стало лучше. Не везде и не всегда, конечно. В декабре 1936 года представители Горпродторга про-

верили один из магазинов в Первомайском районе и остались недовольны. Их возмутило то, что на прилавках магазина отсутствуют семга, лососина, севрюга, паюсная и кетовая икра. «Почему, — спрашивали проверяющие, — не всегда бывает сельдерей, петрушка, свежие капуста и хрен, разливное подсолнечное масло, творожные сырки с изюмом или с цукатами?» Ну а когда они узнали о том, что в магазине нет голя, печенки, селедки «иваси», а также сельдей «голландских» и сорта «шотландка», возмущению их не было предела.

Подлили масла в огонь и представители общественности. Те жаловались: «Отправляешь ребенка в школу, а свежую булочку за 36 копеек купить ему не можешь. Хлеб по утрам всегда черствый, да и тот только черный, а если белый — то восьмидесятипятипроцентный. А спросишь “минский” или “украинский”, так тех вообще нет!»

Может показаться странным, но от перечисления продуктов, которых в магазине в тот день не было, веет чуть ли не избытком, о котором могли только мечтать москвичи в двадцатые годы.

Покупатели в тридцатые годы стали разборчивее, и не только в еде. «Раньше, — вспоминала одна продавщица тех лет, — покупатель брал пальто, юбку или блузку, зачастую не обращая внимания на фасон». Такая стоворчивость покупателей, конечно, устраивала продавцов, но жизни в городе не украшала. А начальству хотелось видеть народ красивым и хорошо одетым.

В 1935 году, чтобы усилить контроль над работниками торговли и повысить их ответственность за свою работу, было решено завести в магазинах «жалобные книги». Их пытались ввести еще в 1926 году, но тогда они не прижились. Теперь же работникам торговли приходилось с этим нововведением считаться, а заодно и вообще учитывать мнение покупателей. Реагировали на замечания продавцы, конечно, по-разному. Когда в жалобную книгу магазина № 27 Сокольнического райпотребсоюза покупатель внес запись о том, что в магазине продается несвежая семга, продавцы стали ее обнюхивать со всех сторон и уверять покупателя в том, что она совсем свежая, и почти убедили, но вме-

шался санитарный врач и приказал рыбу уничтожить. С холодильниками тогда было сложно. Мясо и рыба нередко продавались «с душком», а молоко прокисшим. Порча продуктов, бракованные товары, дефицит того и другого, постоянные очереди требовали от продавцов большой выдержки и железных нервов. Покупатели попадались с норовом. Один, например, в магазине на Каланчевской улице, недалеко от Ермаковской ночлежки, искусал продавца. Правда, и продавцы спуску покупателям не давали. Чтобы как-то сдержатъ страсти, был выдвинут лозунг «Покупатели и продавцы, будьте взаимно вежливы!».

Одной из причин очередей и давок в магазинах стала выросшая покупательская способность советских людей. Заработная плата в конце тридцатых годов, на примере работников торговли, выглядела следующим образом: лотошник получал 120—150 рублей, заведующий ларьком — 400—500, заведующий магазином — 700—800, продавцы получали по 500—600 рублей.

По сравнению, скажем, с 1923 годом, когда максимальный оклад составлял 200 рублей, а костюм стоил 250, жизнь в стране, конечно, улучшилась.

В конце 1936 года в Москве были закрыты торгсины, о которых в свое время ходила такая частушка:

Как в Торгсине на витрине  
Есть и сыр и колбаса,  
А в советском магазине —  
Солнце, воздух и вода.

1 мая 1936 года на углу Петровки и Кузнецкого, где в наше время был магазин «Товары для женщин», в помещении бывшего Торгсина открылся магазин шляп. Рестораны «Метрополь», «Прага», «Савой», работавшие прежде как торгсины, перестали принимать в оплату за угощение золотые часы, кольца и прочий буржуазный инвентарь. В столице открывались новые магазины, клубы, строились дома. Уцелевшие «бывшие» возвращались из ссылок, вживались в новую жизнь. Иные приспособились к ней давно. Например, дьякон церкви Иоанна Предтечи, что в Староконюшенном переулке, Никандров еще в 1924 году обрел бороду и открыл

трактир-чайную на Мясницкой. Некоторые дети «классово чуждых» родителей отказывались от своих отцов и матерей, другие — скрывали свое непролетарское происхождение: надо же было получать образование и устраиваться на работу.

Бывало, правда, что прорывало. Нервы, наверное, не выдерживали. 18 октября 1935 года на площади Свердлова (теперь она называется Театральной) художник Е. И. Боденко подрался с бухгалтером А. И. Мининым, а когда их приятель Н. И. Мельников, тоже интеллигентный человек, попытался их разнять, Боденко откусил ему нос.

Вот такое происшествие...

## МОРАЛЬ

*Аборты, любовь и проституция. — На что тратить половую энергию? — Разводы и алименты. — Влияние нэпа. — «Клуб сумасшедших». — «Юровщина». — «Альтишуллеровщина». — Борьба с мещанством. — Мода. — Чистота и гигиена. — Интеллигенция. — Есть ли бог на Марсе? — Красная свадьба. — Клуб в храме «Старого Пимена». — Вопросы лектору. — Новые моральные ценности. — Страх как примета времени. — Что такое советский человек? — Нужен ли нам Ремарк? — Анекдоты и шутки. — Евреи и анти-семитизм. — Пережитки прошлого. — Новые люди*

В 1917 году в России началась новая жизнь, пришла иная мораль. Во многом это была мораль старая, только сложилась она не в эксплуатирующих, а в эксплуатируемых массах. Простой человек и до революции уважал труд, честность, скромность. Новый строй выбрасывал на свалку алчность, корысть, продажность, взаимную между людьми ненависть по расовым, религиозным и национальным признакам. Новая власть хотела вообще стереть как можно больше граней между людьми, оставленных «проклятым прошлым». Она старалась устранить противоречия между трудом и капиталом, между городом и деревней, между умственным трудом и физическим и т. д. Должна была остаться одна большая грань: между трудящимися и нетрудящимися.

Революция дала немало прекрасных примеров самопожертвования во имя всеобщего блага. Эти люди смотрели с портретов, названий улиц и площадей на своих современников и потомков немигающим взглядом, вопрошая: «А ты что сделал для освобождения человечества?» — и чистые души, как и во все времена, вытягивались в струнку, трепетали, готовые на подвиг и самопожертвование. Ну а души не столь возвышенные

старались отвернуться и не видеть пылающего взора павших бойцов. Немало было и таких, которым вообще все эти жертвы и подвиги были чужды. И чем дальше отдалялась революция, тем тусклее становился взор ее героев. Рядом с моралью революции, моралью классовой борьбы, наконец, моралью официальной, государственной, поставляемой обществу для ежедневного пользования агитпропом (в партийных органах были отделы агитации и пропаганды), существовала другая, будничная и повседневная мораль, формируемая накопленными традициями, привычками и условиями жизни.

Философствовать по поводу морали можно без конца. Можно восхвалять новую мораль, можно ее ниспровергать. Можно сравнивать коммунистическую идеологию с христианством, фашизмом и пр. Можно позавидовать религии в том, что она обещает рай на небе, а не на земле, что на земле она дает человеку лишь правила поведения, а коммунизм и фашизм — ставят задачи для достижения практических, земных целей. Получается же, что цель остается недостижимой, а принцип «цель оправдывает средства» достижения цели не гарантирует и приводит к конфузу.

Пытливая человеческая мысль, наверное, тем и прекрасна, что ни перед чем не останавливается, является самым созидющим и самым разрушительным орудием на свете. Какой-нибудь диктатор и врагов уничтожит, и оппозицию, и режим установит жестокий, но наступит момент — появится один человек, другой, третий, которые начнут думать, искать ответы на вопросы и постепенно подвергать сомнениям духовные ценности, провозглашенные тираном святыми и незыблемыми. Проходит время, и монолиты нерушимых стен рушатся, став трухлявыми, как прогнивший пень. Жизнь не спрашивает: хорошо это или плохо, она просто идет и идет, ни перед чем не останавливаясь, опровергая своим течением всяческие законы и установления. Чем был бы мир, развивающийся по указанию даже самого умного начальства? Лужайкой в райских куцах, загоном для скота? Человек ведь и сам не знает, чего он хочет, кроме двух вещей: жить и любить.

В тиши разрухи и грохоте первых пятилеток моло-

дых занимал и половой вопрос. Революция изменила взгляд на женщину и на ее права. Фантазии освобожденного разума доводили революционеров в области половых отношений до крайностей: от уважения к женщине как к боевому товарищу до общего пользования ею. Сватовство, согласие родителей на брак, различия в вероисповедании и национальности между женихом и невестой объявлялись низложенными. Аборт перестал быть «страшной тайной» и «грехом». Разрешение на него можно было получить в любом райздраве (районном отделе здравоохранения исполкома). Уже в начале двадцатых при Мосздраве была организована специальная комиссия по изучению противозачаточных средств. На женщин, получающих их, имелись специальные регистрационные карточки. Но то ли женщины не хотели, чтобы их учитывали, то ли средства были не очень надежными, деторождаемость в СССР по-прежнему регулировалась способами, выдуманными еще до исторического материализма.

Аборты в Москве в конце двадцатых — начале тридцатых годов стоили от 25 до 350 рублей. Делали их как врачи в домашних условиях, так и бабки-повитухи.

В Марьиной Роще, например, в двадцатые годы жила такая повитуха по прозвищу «Бутыриха». Было ей тогда за семьдесят. Имела она девятнадцать детей, лечила от разных болезней. Могла и кости вправлять, и роды принимать, и аборты делать. Крепкая была старуха. В 1924 году за аборты ее осудили и дали год лишения свободы, но говорили, что, выйдя на свободу, она дела своего не бросила, да и трудно было бросить — клиенты одолевали.

Увлечение свободой становилось опасным. Отменять семью и нравственные устои человеческого общества основоположники научного коммунизма не собирались. Они хотели лишь упразднить угнетение женщины и старую, буржуазную семью, основанную на материальном расчете. Но, как всегда, все хорошие идеи, овладевшие нашими массами, превращаются в нечто противоположное. Может быть, это происходит потому, что к новым идеям у нас особенно чутки двоечники, ведь им более, чем хорошим ученикам, свойственно надеяться на лучшее и легче расставаться с

настоящим, которое постоянно напоминает им о их лени, недобросовестности и никчемности.

Кто-то с этим может и не согласиться — суть не в этом, а в том, что нормальные люди в нашей стране наконец поняли, что с безобразиями надо кончать.

Борясь за здоровый быт и семью против пережитков прошлого и темноты, гинекологи и идеологи писали статьи и книги. В 1927 году появились, например, такие книги: «О любви» Смидовича, «Половой вопрос» Ярославского, другой «Половой вопрос» Залкиндта, «Биологическая трагедия женщины» Немиловой, «Половые извращения» Василевского и др. В них говорилось не только о необходимости повышения половой культуры и соблюдении гигиены, но и о необходимости привлечения молодежи к занятиям физкультурой и спортом. Некоторые авторы даже цитировали Фридриха Ницше, считавшего лучшим средством от навязчивой сексуальности колку дров.

Доктор Гельман в 1923 году сравнил состояние полового влечения москвичей в эпоху революции и после нее и пришел к выводу о том, что революция ослабила его на треть. Причину такого явления он увидел в том, что революция использовала энергию, выработанную половыми железами человека, на дело освобождения трудящихся.

Чтобы быстрее донести до широких масс свои мысли и советы, ученые стали читать лекции и проводить в молодежных аудиториях диспуты о любви и дружбе. На диспутах можно было услышать очень революционные, с точки зрения семейного права, слова, например такие: «Нечего регистрировать брак как торговую сделку на бирже. Брак — пережиток старого быта. Долой росписи и печати! Долой алименты! Долой идиотизм семейной жизни! Регистрация брака унижает человеческое достоинство. Брак — союз добровольный и в регистрации не нуждается!»

Когда такого оратора кто-нибудь из присутствующих спрашивал: «А кто после развода детей содержать будет?» — тот, не задумываясь, отвечал: «Родители сами договорятся, как им обеспечивать своих детей».

Одна из самых передовых женщин своего времени, Александра Михайловна Коллонтай, которая также



выступала против регистрации брака, отвечала на этот вопрос по-другому. Она считала, что алименты не только унижают женщин, но толкают мужчин в объятия проституток. «К тому же, — спрашивала Александра Михайловна, — какие алименты может выплатить фабричный рабочий, студент или безработный со своего скудного жалованья, стипендии и пособия?» Вместо алиментов она предлагала ввести всеобщее обложение, нечто вроде небольшого налога на все трудоспособное население, из которого создать фонд материнства и младенчества. «Чем получать поддержку от бросившего мужчины, — говорила она, — лучше получать поддержку от общества».

Выступал на тему семьи и брака также нарком здравоохранения Николай Александрович Семашко. В 1927 году вышла его книга «Против алиментной эпидемии, или На алименты надейся, а сама не плошай». На написание брошюры наркома подвигла проблема разводов и вообще несерьезного отношения молодежи к браку. Надо сказать, что существовавшие тогда законы способствовали этому. Одно время для развода даже не требовалось согласие другой стороны, да и когда оно требовалось, народные суды тоже довольно легко расторгли брак. Не удивительно, что в них в то время ежедневно рассматривалось по пятьдесят дел о взыскании алиментов на содержание детей. Помимо моральной стороны, тревожившей общественность, рассмотрение судами дел требовало больших материальных затрат, связанных с вызовом свидетелей, отрывом их от работы и пр. К тому же количество разводов и взысканий алиментов не сокращалось. Встречались папаши, выплачивавшие алименты на четырех и более детей. Алименты на содержание одного ребенка составляли 5—10 рублей в месяц и особо не ущемляли легкомысленных отцов, а те этим и пользовались. Но дело не только в алиментах. Наркома волновали аборты, калечившие женщин, проституция, развращенность молодежи и прочие невеселые вещи.

В статье «Больной вопрос», опубликованной еще 11 июля 1920 года в «Известиях», Семашко рассказывал о враче, которому одна женщина целовала руки за

то, что он когда-то отговорил ее делать аборт. Нарком призывал на двери каждого акушера вывешивать обращение к женщинам, разъясняющее их нравственные обязанности перед коллективом и обществом, состоящие в пополнении его новыми членами. Поповская же мораль с ее «неубиением живого существа» была, по мнению наркома, в данном случае неуместна.

Нарком не ограничивался выступлениями в печати. Он, как было уже сказано, активно участвовал в диспутах. На одном из них, проходившем в Политехническом музее, затрагивались вопросы, связанные с венерическими заболеваниями и проституцией. Народа собралось много. В дверях была давка. На диспут рвались толстовцы, фрейдисты, сторонники воздержания и сторонники «опорожнения». Существовала такая «теория опорожнения». Согласно ей, чем раньше человек вступает в половую жизнь и чем активнее ее ведет, тем меньше глупостей делает. Наркома встретили рукоплесканиями. Он поклонился и объявил, что в данный момент для тревоги за половую жизнь в стране оснований нет. Зал разразился аплодисментами. Далее нарком оповестил аудиторию о том, что венерические заболевания в стране сокращаются, а услугами проституток граждане свободной России стали пользоваться меньше. О проституции оратор, в частности, сказал: «...По советским законам милиция обязана соблюдать правила вежливости и корректности по отношению к проституткам и не допускать грубого с ними обращения — не потому, что мы им симпатизируем, а потому, что видим в них жертв отрицательных сторон быта и социальных условий. Кто виноват в проституции? — вопрошал оратор и сам себе отвечал: — Виноват спрос». В этом Семашко горячо поддержал профессор Елистратов. Он даже потребовал, чтобы лица, пользующиеся проститутками, рассматривались как наиболее опасные эксплуататоры и как таковые лишались гражданских прав. «Женщина пойдет на проституцию, — продолжал Семашко, — тем скорее, чем она ниже в духовном отношении. Мужчина воспользуется проституткой тем скорее, чем он более обеспечен и духовно развит. Анкета среди рабочих показала, что чем выше квалификация, тем выше процент пользования проституткой».

Тезис наркома о том, что духовное развитие не помеха в общении с проститутками, не только не противоречил излияниям на этот счет в русской литературе (вспомните Добролюбова, Чернышевского, Куприна и др.), но и нашел подтверждение в предложении одного студента организовать «дом терпимости для нуждающихся студентов». Мотивируя свое предложение, студент ссылаясь на отсутствие государственных заведений такого рода и на наносимый этим здоровью молодежи вред. Однако голос его не был услышан. Не надеясь на государственную поддержку, студенты некоторых общежитий приглашали к себе женщин легкого поведения и передавали их из одной комнаты в другую на коллективное содержание.

Некоторые студенты выходили из трудного положения другим путем. Они селились коммуной по пять — семь человек без различия пола, исповедуя любовь и изгнав из своей среды непорочность и ревность как пережитки буржуазной морали.

В ноябре 1924 года Москва заговорила о голых людях, появившихся на улицах города. Это пропагандировало красоту человеческого тела общество «Долой стыд». Милиция пресекала эту самодеятельность. Находились энтузиасты этого движения и среди простых тружеников. Рабочие Пискунов и Черкасов явились в клуб, поделив один костюм пополам. На одном были брюки, а на другом — пиджак. Получили они за это по два месяца ареста невзирая на всю революционность.

Находили москвичи и более замысловатые развлечения.

Жил в Москве некто Карманов по прозвищу «Кабуки». Почему его так прозвали — не знаю. Может быть, он был похож на японца, а может быть, любил играть роль женщины, как в японском театре «Кабуки». Только прохвост он был не из последних. В 1917 году занимался бандитизмом, а в 1924 году был осужден за картежную игру, то есть за шулерство. Выйдя на свободу, решил взяться за ум и поступил на работу в Мосгуботдел профсоюза строителей, защищал права трудящихся. В этом же «союзе» работали Касперович, который в 1926 году сел на год за растрату, и Иванов, судимый в 1923 году

за мошенничество. Эти трое, а также другие работники отдела — Данилов, Наумов, Иванов, Бурдин, Гужбовский — часто встречались в пивной на Садово-Спасской улице. Эту пивную посетители называли «тетей». Так вот в этой самой «тете» они решили создать общество по проведению свободного времени соответственно своим запросам. Назвать общество решили в честь его главного инициатора Карманова — «Кабуки». Накатали даже устав, в котором записали: «Общество создается на платформе пьянства, существует на основе строгой дисциплины и конспирации». Согласно уставу члены общества должны были пьянствовать пять-шесть раз в неделю. Помимо «платформы» общество имело президиум, собирало членские взносы, одним словом, было ничем не хуже в смысле организации, чем существовавшие тогда такие общества, как, например, «Ленинизм в медицине», «Прочь руки румынских захватчиков от Бессарабии», «Руки прочь от Китая» или «Общество воинствующих материалистов». Разве что цели и методы были свои, особенные. Ну, например: «содействие друг другу в передаче из рук в руки женщин». Кстати, о женщинах. Члены общества привозили на авто проституток прямо в губотдел. Естественно, что со «строгой дисциплиной и конспирацией» получалось не всегда. В конце концов веселой компанией заинтересовались «органы». «Конспираторы» пытались обратить все в шутку, но слишком серьезные по тем временам слова «устав», «президиум», «членские взносы» не дали им этого сделать. Был суд, шум в печати и приговор. Карманов, Данилов и Касперович получили по три года лишения свободы с последующей высылкой на тот же срок в Нарым. Кроме того, суд запретил им в течение трех лет занимать ответственные должности. Были наказаны и другие члены «Общества Кабуки».

Конечно, даже таким жестоким образом покончить с подобными безобразиями было невозможно. В 1935 году бацилла разврата и пьянства завелась в московских крытых бассейнах, в особенности в Сталинском и Пролетарском районах. Директор одного из бассейнов Н. Н. Сухоруков вовлекал девушек-спортсменок в пьянство и разврат. Для тех, кто не сопротивлялся но-

вым веяниям, создавались хорошие условия: их окружали вниманием, выдвигали, создавали славу. Такая система существовала на протяжении нескольких лет. Когда же руководители бассейнов что-то не поделили между собой и переругались, то всплыли факты «аморалки». Специальная комиссия проверила все закрытые бассейны и не только в Москве. Главными виновниками разврата оказались «старые спортсмены и сынки аристократов». Одного такого обнаружили в Ленинграде. Там тренером оказался бывший барон Остен-Сакен. Правда, ничего противоправного или аморального он не совершал, но проверяющие в то время как-то умудрялись связывать разврат и пьянство одних с социальным происхождением других, получая в результате политически грамотный и классово направленный документ. Так и на этот раз. Закрытые бассейны были очищены от классово чуждых элементов, и в них вводился институт политических руководителей, то есть комиссаров, а кроме того, было признано нецелесообразным назначать мастеров спорта на административные должности. Партия призывала выводить мерзавцев на чистую воду. Статья в «Правде», рассказывающая обо всех этих событиях, вышла под заголовком «Классовые враги под маской спортсменов». Ни больше ни меньше.

Да, в те годы аморальность нередко признавалась уголовным преступлением. Для бедных людей, чье мнение пытались поддерживать официальные круги, разврат, аморальность были признаками буржуазного и, следовательно, враждебного общества. Трудолюбие, скромность, моральная чистота являлись основой пролетарской морали. В мораль эту, правда, вторгалась жизнь со своими поправками, порожденными некультурностью, нищетой, плотскими инстинктами и прочими помехами, искажающими благие мысли и пожелания.

Молодежь, конечно, волновали не только половые проблемы. Диспуты на литературные темы собирали у дверей Политехнического музея толпы безбилетников. Они-то и занимали большинство мест, на которые интеллигентная публика с билетами фактически

не допускалась. У входа в музей в такие дни разъезжала конная милиция. А какие люди выходили на эстраду перед публикой: Маяковский, Олеша, Всеволод Иванов, Вера Инбер, Кирсанов, Катаев и не только. Здесь учил собравшихся писать стихи профессор Шенгели, призывал гильотинировать устаревших стихотворцев Осип Брик. Илья Сельвинский окрестил поэтов, подражавших символистам, «мандельштампами». Здесь, на диспуте, по вопросу: «На кой черт нам нужна беллетристика?» — выдвигался лозунг «Нам нужны пожарные хроникеры!».

В общем, было место, где разгуляться фантазии, и покричать, и посвистеть, и потопать.

Впрочем, молодежь двадцатых годов проводила свое свободное время не только на субботниках, диспутах, митингах и собраниях. Любили молодые играть в карты, ходить в походы, в кино, в театр, читать, устраивать вечеринки. По поводу молодежного чтения журнал «Смена» в 1926 году сокрушался: «В чтении много отрицательного. Юношескую газету “Молодой ленинец” никто даже знать не хочет. Зато увлекаются “Комаром” и “Крокодилом”. Из беллетристики читают мало, а если и читают, то выкапывают какие-то “Петербургские трущобы” и чуть не дерутся из-за такой книжки... никаких развлечений, кроме ухаживания за девушками, выпивок, вечеринок, ребята не признают. Кино очень любят, но посещают картины “с любовью” или про войну».

В те годы, помимо «Молодого ленинца» и «Комара», было много молодежных изданий: «Самоучка», «Комячейка», «Красный перец», «Барабан» — и писали в них всякие юнкоры под такими псевдонимами, как Алешаша, Летучий, Заковыка, Туз, Глаз, Безработный фабзаяц, Регулятор, Наждак, Фабзайчиха и пр. Писали они задорно и весело. Одно было плохо — они проводили линию партии и комсомола, а это наводило скуку.

В пятнадцатом номере той же «Смены» за 1927 год был опубликован фельетон «Дуська большая выбирает жениха». В нем рассказывалось о том, как молодежь проводит свободное время. Сама Дуська, собираясь на «вечерку», намазала губы, сделала маникюр, надела

английскую блузку, плиссированную юбку и надушилась любимыми духами «Москвичка». В квартире, из которой на время ушли родители, молодежь выпивает, закусывает, танцует под граммофон, играет в фанты. Девушка, на которую укажет фант, идет в другую комнату с парнем «исповедоваться».

В другом описании такой «вечерки» сообщается о том, что на нее обычно собирается пятнадцать-двадцать парней и девушек. Девушки с подведенными глазами, с накрашенными губками, на ногах желтые шелковые чулки. Ребята в сорочках и галстуках с «жучками» под шеей (металлические закрепки для галстука. — Г. А.), в брюках дудочкой. После выпивки и закуски — танцы. Девушки танцуют, прильнув к парням. После танцев — игры с поцелуями. Парень выбирает девушку и идет с ней в темную комнату, где целует ее и тискает. Игра эта называется «звезды считать». Есть и другие игры с поцелуями без удаления в другую комнату. Заканчиваются «вечерки» нередко драками и поножовщиной из-за обиды или ревности.

Такое времяпрепровождение, отношение к любви, к семье кого-то смущало, кого-то возмущало, а кого-то настораживало. В 1927 году на страницах журнала «Смена» проводилась дискуссия на эти темы. Поводом к дискуссии была книга старой революционерки, члена ЦКК (Центральной контрольной комиссии) ВКП(б) С. Н. Смидович «О любви». Смидович проповедовала строгость нравов и чистоту семейных отношений. «Комсомолка и партия» Нина Вельт, критикуя Смидович, высказала по отношению к ее благим пожеланиям, обращенным к молодежи, следующее: «Смидович не допускает мысли о любовных отношениях между людьми, не кончающихся рождением ребенка. А мы эту мысль допускаем... Революционерам и коммунистам не приличествует безусловное преклонение перед силами природы. Не подчиняться природе, а подчинять ее себе — вот достойный лозунг социализма... частые аборт калечат женщину — совершенно бесспорно, но что делают с женщинами частые роды? Оглянитесь — и вы нас поймете... Совместная жизнь в наших нищенских условиях (особенно жилищных) искривляет и

обедняет человеческие отношения. Отсутствие “своего угла” доводит иногда до того, что добрые по существу люди чувствуют себя каторжниками, прикованными к одному ядру. Именно раздельная жизнь создает подлинное “равноправие” сторон, обеспечивает духовный рост, раскрепощает женщину».

Может быть, в этом и была сермяжная правда российской действительности? Раздельная жизнь освобождала женщину от идиотизма семейной жизни: от забот по дому, от злобного шипения свекрови, от писка сопливых детей и бытовой распущенности мужа, оставляя простор для нее как для любовницы и друга. Оставались, конечно, кое-какие вопросы (рождение и совместное с мужем воспитание ребенка, например), но по мере строительства социализма и на эти вопросы можно было бы, наверное, найти ответы.

Редакция журнала в лице своего юмористического персонажа Ивана Козьякина высмеяла точку зрения Нины следующим образом: «В настоящее время, когда в Африку отправляются экспедиции, желающие получить помесь человека и обезьяны, когда омолаживают девяностолетних стариков, когда известный комсомольский писатель т. Веревкин летит на Луну, смешно говорить о законах природы».

Можно было, конечно, посмеяться, а можно было и посочувствовать Нине Вельт, ведь этот ее отказ от поклонения перед силами природы был вызван отнюдь не хорошей жизнью, а скорее, ее «нищенскими условиями», которые и толкали людей к неподчинению законам природы, благо Уголовным кодексом наказание за такое неподчинение не предусмотрено.

Студенты, надо сказать, не очень-то обременяли свой мозг философскими и моральными проблемами. Они, как и все, любили развлечения и находили для этого разные способы. В конце двадцатых годов шесть студентов-электрохимиков и несколько лаборантов создали «Клуб сумасшедших». Состоящие в нем должны были совершать что-нибудь потрясающее, удивляющее окружающих: курить одновременно несколько папирос, здороваться «по-китайски», носами, говорить о чем-нибудь простом шибко научным, заумным языком.



Члены клуба, кроме того, пользовались и своим собственным, выдуманном языке. Пока студенты играли в шахматы и болтали на языке дикого племени, их терпели. Скандал разразился, когда они затеяли «Конкурс красоты». Комсомольская организация возмутилась и потребовала исключить классово чуждых личностей из коллектива института, а в журнале «Революция и культура» некая Катерли обрушилась на членов клуба, назвав его «Клубом дураков» со статьей, в которой писала о том, что в конкурсе красоты «дурачество перешло границы и приняло недопустимые формы»... Возникла мысль о конкурсе, и всем понравилась эта затея... Никто не обратил внимание на элемент разложения, заключающийся в подобной «забаве». Более того, Катерли назвала «Клуб дураков» «организацией». По ее мнению, «клубу» для того, чтобы стать организацией (а нередко слово «организация» соседствовало со словом «антисоветская» или «контрреволюционная». — Г. А.) в полном смысле, не хватало только устава. Строгость Катерли показывает, что в те годы журналисты, как и следователи ГПУ, любили подгонять действия отрицательных персонажей своих произведений под статьи Уголовного кодекса и особенно под его пятьдесят восьмую статью.

Со студентами вообще не очень церемонились. Когда исключенные из институтов за поддержку оппозиции студенты 5 июля 1924 года устроили собрание в Третьяковской галерее, их просто выслали из Москвы.

В 1924—1925 годах из Москвы были высланы студенты, члены «Христианского союза молодежи», «Христианского студенческого союза», «Московского союза молодежи» и некоторых других самостоятельных организаций.

Когда с политическими и философскими молодежными организациями разобрались, возникли другие нежелательные явления, с которыми также пришлось вести борьбу. Одним из таких явлений стала «юровщина».

Студент ленинградского Политехнического института Андрей Юров весной 1928 года написал письмо своему товарищу. В письме он сообщал о том, что много

занимается и очень устал, что у него пропал сон, что он стал ко всему безразличен. Общественная жизнь, в которую его пытаются втянуть, ему опротивела, так как представляет собой переливание из пустого в порожнее, а собрания — никому не нужную, многочасовую говорильню. Юров писал также, что общественная работа — это мертвое, бездушное и никому не нужное, отнимающее много времени и сил, занятие. Жизнь же студента — нищенская («Носим ношеное, а употребляем брошенное», — говорили они тогда), на стипендию в 25 рублей не проживешь. Приходится работать, а отдыхать некогда. Нет денег на билет в театр. Заканчивая свое письмо, Юров писал: «Сгореть в огне революционной работы, положить голову на поле брани — согласен, но медленно погибать от нищеты — не согласен. Лучше смерть. Тянутся руки к револьверу, будущее не радует, а пугает».

Попало письмо к комсомольским активистам и сильно их напугало. Стали они искать причину и пришли к выводу, что она в интеллигентской дряблости старого студенчества и что его, студенчество, надо пополнять бодрыми пролетарскими кадрами, имеющими рабочую закалку, таким не будет лезть в голову всякая чушь.

В том же 1928 году появилось другое гнусное явление — «альтшуллеровщина». А произошло следующее. Студент литературного института, некто Альтшуллер, познакомился с Исламовой, которая его полюбила. Альтшуллер ее не любил и любовью ее не дорожил. Более того, пригласив как-то Исламову в общежитие, он вместе с приятелями Анохиным и Аврущенко напоил ее, а потом ушел. Девушка пить не могла и, как говорится, отключилась, чем и воспользовались два юных оболтуса. Придя в себя и поняв, что с ней произошло, Исламова повесилась. Троицу осудили, а «альтшуллеровщина» стала синонимом морального разложения и свинства.

Вообще за воспитание молодежи тогда крепко взялись. Пережитки «проклятого прошлого» в сознании людей, «родимые пятна капитализма» вытравливались всевозможными способами. А бороться с ними было

нелегко — нэп засасывал. Комсомол терял пролетарские кадры. Молодым хотелось нравиться и получать те удовольствия, которые не могли предложить им комсомольские вожаки. При низкой культуре человека такие естественные для него стремления нередко приводят к довольно пошлым результатам.

Пресса, особенно молодежная, считала своим долгом бороться с чуждой идеологией и ее проявлениями. На страницах «Комсомольской правды» высмеивался рабочий Борис Клюев. Он называл себя «Боб» и стеснялся признаваться в том, что является рабочим. Он представлялся «электриком» или «электротехником». Мечтал завести визитные карточки, на которых бы красовались слова: «Электротехник Клюев». Персонажем другого фельетона был Леонид Дергаленко («Гарри Пиль»), литейщик завода «Красная звезда». Он любил заграничные фильмы, а любимым актером его был Гарри Пиль. Мысль эту ему подсказали знакомые актеры Большого театра, которые то ли в шутку, то ли всерьез сравнили как-то его профиль с профилем кинозвезды. После этого Леня совсем заболел кинематографом, даже отрастил бакенбарды, чтобы еще больше походить на своего кумира. Они мешали ему умываться, но приносили огромное моральное удовлетворение.

Прочитав фельетоны о Клюеве и Дергаленко, Владимир Маяковский в 1927 году написал стихотворение «Маруся отравилась». Помните:

Из тучки месяц вылез, молоденький такой...  
Маруся отравилась, везут в прием-покой.  
Понравился Марусеньке один с недавних пор:  
Нафабранные усики, расчесанный пробор...

Кстати, влияние на молодежь кино, хоть и немного, было огромно. На фильме «Кожаные перчатки», например, в котором рассказывалось об американском боксере Киде, публика ломала стулья впереди сидящих зрителей, бешено аплодировала, а с некоторыми даже случалась истерика и их выносили из зала. С героев экрана брали пример, им подражали. В пятидесятые годы наши люди, посмотрев «Тарзана», стали истошно кричать, подражая человеку-обезьяне, рас-

качиваться на веревках и ветках, называть своих подруг Читами, а посмотрев «Бродягу» — носить усики и лазать по карманам. Бывало, что такая впечатлительность приводила к совсем мрачным результатам. В 1927 году в подвале дома 22 по 1-й Миусской улице был найден труп задушенного шестилетнего Вовы Горшкова, сына кустаря-портного. Во рту трупа была перчатка. На мальчике не было пальто. Следствие установило, что убийство совершил пятнадцатилетний сын дворника Костя Поляков, учившийся в школе переростков. Он объяснил, что задушил Вову так же, как это было сделано в фильме «Когда растает снег». Пальто убитого он продал за 3 рубля и на эти деньги ходил в кино.

К сожалению, на тысячи смотревших этот фильм нашелся все-таки один дурак, который решил повторить увиденное. Узнав о трагедии, общественность обрушилась не столько на убийцу, сколько на кинематограф. Припомнили, что в кинотеатрах идут такие фильмы, как «Любовь втроем», «Проститутка» и пр. «Проститутка», кстати, шла не только в кино, но и в театре. Пьеса была написана Александром Грином по английскому роману В. Мэргерит и имела довольно обычное содержание: банкир Дюли совратил горничную Аннет, она забеременела, он выгнал ее из дома, и она стала проституткой. Пьеса имела большой успех. Остроту ей придавали сцены в кабинете венеролога, в полицейском участке, где происходил осмотр проституток, в салоне великосветской сводницы.

Кино вообще стало царством снов для людей. Они старались не пропустить ни одного фильма, будь то «Белая моль», «Моника Барбье», «Нелли», «Дочь Парижа», «Крест и маузер» или серии «Нибелунгов». Приглашая зрителей на первую картину серии — «Зигфрид», кинотеатр «Палас» оповещал: «Картину иллюстрирует оркестр. Цена билета от 40 копеек. Членам профсоюза — скидка 20 процентов».

Героями фильмов тех лет были, конечно, не только бандиты, каких показывали в фильмах «Банда батьки Кныша» и др. Кстати, «кнышами» в те годы называли маленьких мальчишек. Шли в кинотеатрах и приклю-

ченческие фильмы про героев революции. У нас — «Красные дьяволята», на Украине — «Остап Бандура» о вожде красных конников, вроде Буденного. Уж не его ли имя навеяло Ильфу и Петрову имя их героя?

Людам, особенно молодым, хотелось героических подвигов. Но годы Гражданской войны миновали, и установилась будничная, бедная мирная жизнь.

Бедность, а через нее и зависть для иных людей просто губительны. Они могут толкнуть человека на все, даже на самоубийство. Эпиграфом к стихотворению «Маруся отравилась», которое мы цитировали, Маяковский сделал выписку из сообщения «Комсомольской правды» о том, что девушка-работница отравилась, потому что у нее не было лакированных туфель, таких, какие носила ее подруга. В стихотворении говорится, что Маруся отравилась потому, что Боб «с ней расстался ровно через пятнадцать дней, за то, что лакированных нет туфелек у ней».

Дело было, конечно, не в туфельках, а в любви, но все же как незащитна и трепетна была девичья душа эпохи нэпа на ветру жизни! Как легко было ее загубить! Как тянулись люди к красивому!

Когда поэт Иван Молчанов бросил:

Я, милая, люблю другую —  
Она красивей и стройней,  
И стягивает грудь тугую  
Жакет изысканный на ней.

Владимир Маяковский этого так не оставил и разразился стихотворением «Письмо к любимой Молчанова, брошенной им». Поэт не мог смириться с тем, что женщину можно бросить из-за того, что она постарела или некрасиво одета. Маяковский в этом стихотворении осуждал мещанский уют. На заявление Молчанова:

За боль годов,  
За все невзгоды глухим сомнениям не быть.  
Под этим мирным небосводом  
Хочу смеяться и любить —

поэт отвечал презрением. Образ уютного мирка, оторванного от великих проблем современности и окружа-

ющей жизни, он считал мещанством. И этот его взгляд у многих находил понимание и сочувствие.

Государственный деятель и литературный критик Сосновский в статье «О культуре и мещанстве» пытался дать понятию «мещанство» философское, марксистское обоснование. «Мещанство, — писал он, — это идеология мелкого товарного производителя, отражающая противоречие между частнособственническими, кустарно-ремесленными условиями его производства и общественным характером его труда». Сосновский пояснял свой научный тезис так: на своем мелком предприятии ему, мещанину, все известно и понятно (аршин, гиря и пр.), а за воротами — хаос, действие каких-то темных сил. О законах же и условиях общественного развития мещанин имеет такое же представление, как ракушка о движении морских волн. Как сориентироваться мещанину в окружающем мире, когда он по природе своей индивидуалист и кругозор его узок? И тогда мещанин, чтобы не заблудиться в мире, выдумывает себе ориентиры: галстук, ботинки, костюм, граммофон — вещи сами по себе ничего мещанского не содержащие. По мнению Сосновского, когда человек относится к человеку в галстуке не так, как к человеку без галстука, когда он увлекается граммофоном в ущерб общественной работе — он, несомненно, проявляет мещанство.

Людям вообще свойственно ориентироваться в мире, опираясь на мелочи. «Своего» узнают по манере говорить и одеваться. Помню послевоенные годы. Как ненавидел я хорошие вещи, которые родители заставляли меня надевать! Сапоги, ватник, кепка — вот одежда, в которой ты мог стать «своим» среди «простых советских людей». Как-то, в детстве, несмотря на сильное сопротивление, мать заставила меня надеть костюм какого-то рыжего цвета, который отец привез с Западной Украины, а в троллейбусе на Сретенке меня подозвал к себе какой-то мужик и, погрозив пальцем, сказал: «Не будь богатым!» Эти его слова я запомнил на всю жизнь. И он был прав: нельзя безнаказанно с чужим барахлом вторгаться в мораль общества, в котором живешь, нельзя унижать бедное общество своим богатством (даже

в мелочах), а богатое оскорблять демонстрацией своей бедности, общество религиозное раздражать атеизмом, а общество просвещенное — набожностью.

Мода и женщина — неразрывны, ведь модная одежда, украшения для женщины — та же покровительственная окраска, брачный наряд, данный природой животным и птицам. В первые годы советской власти в моде у женщин была кожаная тужурка. Некоторые девушки готовы были во всем себе отказывать, голодать, только для того, чтобы обзавестись «кожанкой». Называлось это «одеться по-коммунистически». У молодых работниц фабрики «Дукат», например, было модным носить галифе, гимнастерку, широкий кожаный пояс, а в зубах держать папироску. Одеждой и курением женский пол хотел сравняться с мужским. Многие девушки не следили за своей внешностью, подражая мужчинам. Привлекательность свою они видели в горении на общественной работе. Кстати, общественная работа особенно привлекала тех, кто не хотел, а главное, не умел работать. Здесь, на общественной работе, можно было «гореть», ничего не делая: драть глотку на собраниях, составлять бесконечные сводки, списки, отчеты, готовить резолюции, продраивать и пропесочивать несознательных, в общем, делать все, кроме простой человеческой работы, создающей земные блага и требующей навыков, умения и привычки к труду. Еще в 1926 году советская пресса сетовала, что «для рабочего слово “активист” меньше всего означает “товарищ”, “руководитель”. Это — формальная фигура, которую кто-то когда-то куда-то выбрал».

Но вернемся к женщинам. На многочисленных дискуссиях по поводу женщин и женственности высказывались разные мнения. Один выступающий на дискуссии говорил: «По-моему, лучше согласиться на нарумяненную и напудренную, чем на взлохмаченную, в кожанке, с папиросой в зубах». Другой молвил: «...пусть девушка и в кепке, но ты ее одень хорошенько. Комсомолка должна быть скромная и чистенькая. Курево вреднее пудры, к тому же это буржуазная прихоть...» После таких слов со своего места вскакивала какая-нибудь взлохмаченная нервная девица с папироской и

кричала: «Есть ли девчатам время пудриться, краситься, когда они то на заседании, то по шефству!» — и, обратившись к первому оратору, строго вопрошала: «А понравится тебе, Ванька, если на заседании с тобой будет сидеть намазанная комсомолка?!» Ванька краснел и был готов провалиться сквозь землю.

В. Кузьмин, выступивший в 1925 году в журнале «Смена» со статьей «О женственности», осуждал женщин, подражающих мужчинам. В своем осуждении противоположного пола он пошел дальше, заявив: «Мозг женщины, в общем, слабее развит сравнительно с мозгом мужчины — это горькая правда...» Раскрыв перед женщинами эту печальную для них истину, автор раскрыл и содержание женственности, которая, по его мнению, состоит в том, что «истинно женственная девица не растрепана, чиста, не красится и не мажется, не заботится все время о ногтях, не курит, проста и скромна». Что ж, очень милый портрет, и с ним трудно не согласиться. Правда, немало женщин, последовав этому образцу, могут много потерять в жизни, все-таки умело подкрашенная женщина, у которой не хватает своих природных красок, становится привлекательней.

Ругали не только женщин, подражающих мужчинам. Ругали и тех, кто очень заботится о своей внешности, думает только о своей красоте, танцах, кавалерах и «князях». Несмотря на то, что многие считали главным, чтобы юбка не заслоняла комсомольцу его общественную и комсомольскую работу, а к романам и танцулькам не придирались, однако расфранченных парней все же ругали и высмеивали. Ну а за фраки доставалось даже дипломатам.

В 1924 году на страницах советской прессы проводилась дискуссия на эту тему. Принявший в ней участие заместитель наркома иностранных дел Литвинов, защищая своих подчиненных от народного гнева, вызванного их буржуазными одеждами, писал: «Они (дипломаты) не благословляют, а проклинают свое амплуа, когда им приходится менять удобные, изящные тужурки и “толстовки” на безобразные, стеснительные, хомутообразные крахмальные рубашки и фраки. Не попрекать за это надо полпредов, а жалеть их. Освободиться



от этой необходимости удастся лишь тогда, когда остальные страны подвергнутся процессу советизации и места нынешних дипломатов займут уполномоченные Коминтерна». Отсюда вывод: скорее коммунисты победят во всем мире, чем российские дипломаты привыкнут к европейской одежде!

В приведенных выше выступлениях, высказанных на диспутах, обращает на себя внимание минимальность требований мужчин к женскому полу. Женщина должна быть только «чистенькая». Это ли не признание женского совершенства! Женщина — подарок судьбы, женщина — праздник. Ей достаточно быть чистенькой. Остальное за нее сделала природа!

В двадцатые годы, когда мыло и горячая вода были не всегда и не всем доступны, вопросы чистоты и гигиены, и не только для женщин, стали вопросами государственными. В наше время на тетрадных обложках печатали таблицы умножения. На обложке тетрадки 1928 года (на трех ее сторонах) был напечатан целый трактат по гигиене. Назывался он «Санитарно-гигиеническая памятка школьника». В ней семь глав. В главе «Гигиена жилища и помещений» говорилось: «Не плюй на пол. Мокроту отплевывай в плевательницу с налитой в нее водой. В школе не делай вырезок на школьной мебели, так как в вырезанных местах скопляется грязь и зараза, трудно из них удаляемая. Держи книги в чистоте и при перелистывании их не мусоль пальца, так как таким образом передается зараза». В главе «Личная гигиена» было сказано: «Умывайся не менее двух раз в день... не пользуйся чужим полотенцем... мойся в бане раз в неделю... следи, чтобы не завелись вши в белье и платье... меняй постельное белье раз в неделю и раз в неделю выноси постель наружу и выбивай ее...» В главе третьей, «Гигиена питания», предлагалось, «отправляясь в школу, непременно поесть... после тяжелой физической работы и сильных волнений прежде отдохнуть, а потом уже есть... не пить сырой воды... если за уроком или дома чувствуешь надобность выйти за нуждой, никогда не откладывать и не стараться перетерпеть, не целовать домашних животных, не позволять им себя лизать, есть из твоей посуды, спать с ними...». Кроме того, «Санитар-

но-гигиеническая памятка» давала школьнику следующие советы: «Ни зимой, ни летом не кутайся излишней одеждой — это изнеживает организм. Голову покрывай слегка, а шею оставляй совсем открытой. Не носи жесткой обуви и высоких каблуков. Не употребляй резинок круглых для чулок, не кури... не закрывайся одеялом с головой, утром после сна вставай сразу, не валяйся...»

Кое-что в этой памятке нам может показаться примитивным, но в те годы, когда города пополнились большим количеством жителей, да еще из таких мест, в которых не то что о зубной щетке, но и об умывании имели смутное представление, такие советы наверняка были не лишними. Еще в конце двадцатых — начале тридцатых годов лучшим местом для постели ребенка в первые годы его жизни считалась бельевая корзина. Были семьи, в которых на шесть-семь человек приходилось две кровати. Тогда в одной из них спало три-четыре ребенка. К тому же у них под матрацем или кроватью родители хранили грязное белье. Завезенный еще до революции из деревни обычай усыплять маленьких детей «маковым чаем» (отваром из маковых головок или маковым соком) и алкоголем также дурно сказывался на подрастающем поколении. Нужно было что-то делать, чтобы новое поколение росло сильным и здоровым.

Революционные лозунги стали соседствовать с лозунгами: «Убей муху!», «Береги золотое детство!», «Уважай в женщине работницу!» и пр.

Необходимо было насаждать культуру. Годы разрухи миновали. В людях начало пробуждаться чувство достоинства, самоуважения. Теперь, в середине двадцатых годов, можно было услышать по отношению к слишком шустрому, грубому, толкающемуся гражданину или гражданке слова: «Не толкайтесь, это вам не семнадцатый год!»

Люди стали думать о чистоте и гигиене. В продаже появилась «Секаровская жидкость», «приготовленная по методу профессора Бюхнера», годившаяся на все случаи жизни: «от сухотки после сифилиса, от неврастении, истерии, ожирения сердца, худосочия, дряхлости, подагры, ревматизма, малокровия, диабета, бессон-

ницы, полового бессилия и прочих хворей и недомоганий». От веснушек, угрей, покраснения кожи, желтых пятен, загара рекомендовались кремы: «Казими», «Идеал грез», «Маска», «Анго», «Мерами», «Лакмэ», появилась пудра «Иде», «Рисовая», от перхоти предлагалась жидкость «Пиксапо», для восстановления цвета поседевших волос — восстановитель «Dubarry», от мозолей — мозольная жидкость Рейнгерца («уничтожает мозоли и бородавки с корнем»). В моду вошла зубная паста «Хлородонт». Хозяйкам предлагался стиральный порошок «Стироль-Инозит» («не содержит ни хлора, ни жавеля и никаких вредных примесей»). В аптеках всегда был тройной одеколон (большая бутылка его стоила 3 рубля), мыло «Юный пионер» стоимостью 15 копеек кусок. Для борьбы со всякой гадостью гражданам предлагались: «Тараканон», «Крысомор», «Антипаразит», «Клопин».

От гигиены физической переходили к гигиене умственной. Воспитывать стали не только некультурных и необразованных. Взялись и за интеллигенцию. Она, как мы уже говорили, многих раздражала. Даже когда «интеллигентного зайца» милиционер выводил из трамвая, тот мучил блюстителя порядка своими дурацкими объяснениями и доводами вместо того, чтобы просто уплатить штраф. Раздражала и «гуманитарность» интеллигентского образования. Позволю себе привести фрагмент статьи В. Теуша «Социализм и арифметика», опубликованной в журнале «Революция и культура» за 1928 год. Мне она понравилась, в ней много интересных наблюдений.

«Русская интеллигенция, — пишет Теуш, — была всегда замечательна своей мировой скорбью, богоискательством, либерализмом и неспособностью пришить пуговицу к собственным штанам или ввинтить электрическую лампочку в патрон. Эти качества, как известно, сильно отличали ее от современной ей западной буржуазной интеллигенции, воспитанной в условиях более развитой капиталистической промышленности... Наша интеллигенция смиренно пришла к заключению, что “они”, то есть заграница, все знают и умеют, мы же ни черта не знаем и не умеем и такова наша доля —

плестись в хвосте. Зато понять нас и измерить стандартным аршином нельзя!.. У нас до сих пор сохранилась традиция вести ленивые и длительные беседы о мировых проблемах (мировая скорбь), но говорить в “обществе” о технике, о промышленности, о кооперации, вопросах хозяйства — страшно скучно и, следовательно, дурной тон.

У нас по-прежнему образованный человек зачастую не умеет не только обращаться с простейшими техническими приборами, но и просто держать в руках инструменты. Он традиционно, наследственно не знает и, главное, не хочет знать, как движется поезд, как летит самолет, как стреляет винтовка, как горит электрическая лампочка.

Он ездит ежедневно двадцать лет одним и тем же трамваем, но не знает расписания его маршрута и с тоской глядит на сложную схему расписания поездов по двадцатичетырехчасовому счету времени.

Он меньше знает свою страну, даже свою губернию и свой город, чем любой англичанин свои отдаленные тихоокеанские острова. Он не интересуется Конституцией страны, не знает, где находятся какие-то там союзные и автономные республики и какая между ними разница, он пишет по-прежнему письма в Уфимскую и Таврическую “губернии”, как будто ничего не случилось. Он путешествует до сих пор, как Митрофан: поезд довезет! Отправляясь на отдых в Крым или на Кавказ из Москвы, садясь в поезд, он не знает, сколько будет ехать, сутки или пять суток, а по возвращении вам не очень трудно убедить его в том, что он проезжал Псков или Усть-Сысольск.. Недаром у нас в “викторинах” печатаются такие “головоломные” вопросы, как: “Какие у нас главные незамерзающие порты?..»

Статья, конечно, довольно едкая и даже злая, и в ней, разумеется, сгущены краски, однако тем она и интересна, что доля правды в ней тоже есть.

В годы советской власти ругать рабочих и крестьян, за исключением кулаков, было не принято, так что отыгрывались на интеллигенции, тем более что она сама любила каяться и унижаться. Слово «интеллигент» становилось синонимом никчемного, далекого от жизни

человека, нередко чуждого здоровым трудящимся массам. Даже в манере интеллигента выражать свои мысли люди видели что-то комическое. Настораживало и игнорирование интеллигентами рабоче-крестьянского мата, этого средства межнационального и межпрофессионального общения. К счастью, во главе нашего государства тогда стояло немало культурных и порядочных людей, которым матерщина была несвойственна. На борьбу с «языкоблудьем», как с грязью и вошью, призывали, например, Троцкий и другие известные люди. Но победить матерщину не могли. Она проникала в государственные и партийные органы, редакции газет и журналов и пр. В тридцатые годы известный эстрадный артист Смирнов-Сокольский переделал фразу Репетилова из грибоедовского «Горе от ума» — «Шумим, братец, шумим» на «Хамим, братец, хамим». Это больше соответствовало времени.

Распушенность проявлялась не только в «языкоблудье». В двадцатые годы в Москве еще существовали открытые уличные туалеты. Мужчины и кобели пользовались общей льготой не делать тайны из своей естественной потребности. Но то ли туалетов не хватало, то ли ими брезговали, но мочой запахло на лестничных клетках, в подъездах и дворах. Некоторым и этого показалось мало. Один тип в 1927 году мочился посреди улицы. Дворник сделал ему замечание: «Нехорошо, гражданин, это посреди улицы так-то делать, ведь кругом народ, барышни ходят». В ответ было сказано: «Я член профсоюза и везде имею право». Да, ничего не скажешь, льготы развращают. Кстати, билеты в некоторые кинотеатры членам профсоюза продавались на 20 процентов дешевле.

В двадцатые годы Москва напоминала квартиру весной, когда в ней после долгой холодной зимы открывают окна и начинают уборку. Выбрасывают на помойку все, что кажется лишним, метут, моют. Прежде всего решили выкинуть все, что связано с религией. Она стала не нужна. Ну какой от нее толк? «Довольно жить законом, данным Адамом и Евой!» «Религия — опиум для народа!» Какой-то парень около Иверской часовни, агитируя верующих, заявляет:

«Вот если ваш Бог есть, то пусть он меня сейчас накажет!» — на что один мужичок невозмутимо отвечает: «Очень ты ему нужен». Все смеются. Собравшиеся расходятся. Парень смущен.

Иногда положение атеистов становится затруднительным. Комсомолец Николай Степанов решил жениться, а невеста настаивает на венчании в церкви. Что делать? Комсомолец пишет в ячейку заявление: «Прошу исключить меня из комсомола на два часа или, если нельзя, то навсегда, так как я должен венчаться в церкви». Ячейка, учтя, что Степанов является хорошим комсомольцем, разрешает ему, в порядке исключения, участие в обряде.

Степанову еще повезло. Борьба с религиозным дурманом была довольно суровой, так что из комсомола за подобные вещи могли и исключить. Участие в религиозных обрядах, ношение крестов, посещение церкви воспринимались как нечто контрреволюционное. В августе 1925 года «сестрам по уходу за больными», так именовались теперь бывшие «сестры милосердия», запретили «ношение косынок в виде монашеских».

Возможно, на такие крайности людей толкала не только нетерпимость, но и то сопротивление, которое оказывала человеческая среда новым веяниям. Пионеров, комсомольцев обыватели не жаловали и при случае всячески досаждали им. Нередко из-за вступления сына или дочери в пионеры или комсомол в семье возникали ссоры. Появилась даже частушка, которую пели комсомольцы, обращаясь к отцу — матери:

Хоть ругай меня, хоть бей, — не боюсь.  
В комсомол я все равно запишуся.

Масло в огонь подливали довольно злые и кощунственные частушки, которые в пылу атеистического задора сочиняли комсомольские поэты:

Царя прогнали,  
Помещиков тоже,  
Попам скоро  
Дадим по роже.

Влияния церкви подобное творчество не ослабляло. Наоборот, к ней, как это обычно бывает в таких случаях, потянуло всех недовольных советской властью. Нужно было народ от церкви отвлечь, заменить старые церковные обряды новыми, советскими.

И появились «Комсомольское рождество», «Комсомольская пасха» и пр. Даже свадьба стала «красной». В январе 1925 года в клубе «Кожевник» состоялась такая «красная свадьба». В газете «Правда» сохранилось ее описание. Был в тот день клуб ярко освещен и украшен, сообщала газета. С пяти часов начал к нему стекаться народ. Набилось битком. В зале большой стол покрыт красной скатертью. За столом молодые, председатель исполкома, делопроизводитель отдела загса, по бокам — члены ячеек. На скамейках родные, знакомые молодых с красными бантами. Над столом, против публики, портрет Ильича. Председатель объявляет свадьбу открытой. Звучит «Интернационал». Под общий шум, визг женщин и крики представители разных организаций приветствуют брачующихся. Жениху и невесте, как застрельщикам нового, преподносят в качестве подарка две книги: «Историю РКП(б)» Зиновьева и «Речи и статьи В. И. Ленина». Жених в ответном слове благодарит за ценный подарок и говорит о борьбе с пережитками прошлого, поповском дурмане и пр. После него следует доклад о новом быте с цифрами и цитатами вождей, а затем делопроизводитель загса делает соответствующую запись в специальной книге. После этого снова шум, крики, речи и как апофеоз торжества — «Интернационал».

На фабрике «Освобожденный труд» новобрачным на такой «красной свадьбе» после доклада секретаря комсомольской ячейки о новом быте и оглашения договора о совместном семейном союзе были вручены от женотдела одеяло, от заводоуправления — отрез сукна и от политкомиссии — три книжки: «Азбука революции», «Дочь революции» и «Вопросы быта». После торжественной части, то есть заключения брачного союза, собравшимся в клубе был показан спектакль «Драма летчика». Все были очень этим довольны.

Комсомольские свадьбы вообще давали возможность кому повеселиться, кому произнести речь, кому

получить подарки, а кому и отчитаться о проделанной работе. Наверное, поэтому эти свадьбы получили довольно широкое распространение. Комсомольские работники стали активно искать пары и вовлекать их в «работу». Вскоре таких активных свах одернули. Их даже стали называть «комсводнями».

Впрочем, для вовлечения широких масс в общественные мероприятия, помимо свадеб, находились и другие поводы, например октябрины, заменившие прежние крестины. Кстати, вместо старого слова «нарекли» появилось новое — «озвездили». Октябрьские звездочки возвращали нам имена живых и ушедших деятелей рабочего движения и революции (Клара — в честь Клары Цеткин, Роза — в честь Розы Люксембург, Фридрих — в честь Фридриха Энгельса и пр.). Проводились октябрины, как и свадьбы, в клубах, при большом стечении народа. Открывал их обычно секретарь комячейки. Потом собрание выбирало президиум. Президиум располагался на сцене, за столом, а около стола садились молодые родители с новорожденным, которого из рук матери или отца принимал в свои объятия все тот же секретарь комсомольской ячейки. Он оглашал перед присутствующими данное младенцу имя и заворачивал его в красное одеяло. Пионеры становились в почетный караул, и собравшиеся хором пели «Интернационал». Секретарь партийной ячейки давал наказ родителям воспитывать нового борца за рабочую революцию и дарил ему какую-нибудь партийную книжицу, например «Манифест коммунистической партии». После него слово для выступления предоставлялось ветерану партии, представителям общественности, а также родителям.

Новые обряды, праздники должны были вытеснить старые, религиозные, а клубы — церкви. Вытеснять церкви клубы стали буквально с первых лет советской власти. Мы уже вспоминали о Старопименовском храме, около которого жил историк Иловайский. Теперь его нет — снесли. На его месте, на углу Воротниковского и Старопименовского переулков, стоит большой серый дом.

«Известия» в 1934 году запечатлели комсомольский



клуб, находившийся в этой приходской церкви. Газета писала о том, что храм был передан под комсомольскую аудиторию имени Демьяна Бедного по постановлению рабочих. В аудиторию по воле автора заметки мы попадаем, когда там идет заседание. И что же мы видим? Стены расписаны, как и положено в церкви, ангелами, крестами, святыми и прочими подобающими в таком месте образами и сюжетами, а пониже, в рамках и окладах, на месте икон, — портреты вождей революции: Ленина, Троцкого, Калинина, Зиновьева и других атеистов. Вдоль стен плакаты: «Религия — опиум для народа» и другие в том же роде. В зимней части храма, слева и справа от входа, ряды щитов со стенными газетами фабрик, заводов и организаций. Среди них такие как «Молот», «Молодые грызуны», «Свердловка», «Пачка» (газета табачной фабрики «Дукат»), «Красный шип» (газета завода «Шарикоподшипник») и др. На алтарях плакаты, портреты лейтенанта Шмидта, изречения вождей. В летнем храме, в открытых Царских вратах, в позолоченном иконостасе портрет Карла Маркса. Рядом портреты Ленина, Троцкого, Либкнехта. На амвоне стол, покрытый красным сукном. Северные врата закрыты красным знаменем. В алтаре, как и в зимнем храме, пусто. На иконе против Царских врат надпись «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!».

Заседание закончилось. Один из его участников сел к пианино, заиграл что-то веселенькое. Девушки стали танцевать... Так проводили время в бывшем храме его новые хозяева.

Не один Старопименовский храм стал молодежным клубом. Оформление клубов было примерно одинаковым, разве что лозунги немного отличались. Были, например, такие: «Рабочая молодежь, готовься к помощи западным комсомольцам!», «Молодежь Запада готовится к решительным боям!», «Да здравствует смычка города и деревни!». Тогда, в середине двадцатых годов, многие коммунисты еще надеялись на победу мировой революции. Троцкисты же вообще не представляли без нее победу социализма в нашей стране. Что же касается лозунгов, то их было много и

все они куда-то звали, о чем-то предупреждали, кого-то обвиняли. Со стен, заборов, страниц газет и журналов бросались людям в глаза такие: «Рабочий-комиссар разбил буржуазию на фронте военном, рабочий-диктатор победил буржуазию на фронте хозяйственном», «В пятилетнюю годовщину зорко смотри за врагом, рабочий, крестьянин, красноармеец», «Церковь — агентура империализма», а на той же Иверской часовне — «Религия — опиум для народа». Были и довольно занятные, например: «Шушуканье по углам — преступление, которое надо выжигать каленым железом!» или «Кто в наши дни (это 1929 год) складывает на груди руки — предатель рабочего дела. Кто слишком много машет ими — подозрителен».

Короткие фразы усваиваются людьми, конечно, легче статей, которые малограмотные жители страны к тому же и прочитать-то не могли. Даже в 1936 году «Комсомольская правда» сетовала на то, что заводские комсомольцы, занимающиеся в политкружке, не понимают, почему Сталинград называют «Красным Верденом». Что такое «красный», они знают, а что такое Верден — нет. Вообще новым хозяевам страны, даже получившим высшее образование, явно не хватало среднего. Многие ведь от низшего сразу переходили к высшему. Казалось, наставление В. И. Ленина о том, что коммунистом можно стать, только обогатив свои знания всем, что выработало человечество, не относится к истории, музыке, живописи и литературе. Много в этих областях культуры считалось ненужным и устаревшим.

Разумеется, что человечество за свою долгую и не всегда достойную жизнь произвело на свет не одни шедевры. Было среди созданного им много серенького и отнюдь не гениального. Но тем не менее кое-что из всего этого нравилось людям, и они любили это читать, смотреть и слушать. Большой популярностью, например, пользовалась пьеса Алексея Толстого «Заговор императрицы» о Распутине. В театрах одновременно с ней шла пародия «Не ходи ты, Грицю, на “Заговор императрицы”». Любили москвичи и пародию на кинобоевики. Пародия называлась «Мишка, верги» и шла в Театре сатиры. Действие в ней происходило как на сцене,

так и в зале, куда по канату с потолка спускался один из актеров. Людям хотелось развлечений.

Новая советская идеология считаться с этим не желала. У работников агитпропа вообще чесались руки на все, что не соответствовало государственной идеологии. В 1929 году, например, присяжные идеологи набросились на иностранных писателей. В «Вечерней Москве» появилась статья «Очистим библиотеки от переводного хлама». В ней предлагалось выкинуть из наших библиотек и книгохранилищ «бульварную продукцию» — всяких там Берроузов, Уэдсли, Локков, Бнуа, Кервудов, Андре де Ренье и других, которых печатало тогда издательство «Мысль».

Горячая дискуссия шла и в отношении Государственного академического Большого театра Союза ССР. Наиболее передовые утверждали, что он свое отжил, что его контрреволюционный, допотопный репертуар, обуржуазившиеся артисты и пыль декораций не нужны новому зрителю, что он отстал от времени не на десятилетие, а на эпоху, и вообще, можно ли называть театром совокупность зрительного зала, сцены и системы отопления? — вопрошали они. Раздражало в Большом театре и это, чуждое всем слово «академический». Большой, Малый да и вообще все «академические» прозвали «аками». Недовольных «аками» возмущало и то, что солистам в них платят большие деньги. Сторонники же объясняли: Собинову платят за спектакль 600 рублей, а сборы он поднимает на 2450, Неждановой платят 260 рублей, а сборы поднимаются на 1750, Гельцер платят 240 рублей, а сборы поднимаются на 360 рублей. Но эти доводы мало кого убеждали. Лозунгу дня «Театр должен не отвлекать от жизни, а организовывать ее» — Большой театр, по мнению его критиков, не соответствовал. Поговаривали даже о том, что на перестройку Большого театра направляют Мейерхольда. В конце концов усилиями наркомпроса Луначарского и других интеллигентных людей Большой театр был сохранен.

О культурном уровне людей, о том, что их беспокоило, например в 1929 году, мы можем в какой-то степени судить по тем вопросам, которые москвичи

задавали лекторам Московского комитета ВКП(б), зафиксированным в «Информационной сводке о политических настроениях отдельных групп рабочих и служащих по Москве и губернии». На антирелигиозной лекции лектору поступили записки следующего содержания: «Нельзя ли закрыть церкви в СССР, чтобы их духа не было, так как большинство верующих из бывших нэпманов, торговцев и домовладельцев?», «Почему еще до сего времени продаются позолоченные материи для риз? Надо это прекратить», «Почему вареное освященное яйцо не портится, а неосвященное портится?», «Почему евреи усиленно каждый год проводят свой праздник, даже нашими заводами было выработано еврейское вино для продажи?», «Скажите, на каком основании разрешен для евреев привоз мацы из-за границы?», «Буржуазия, путем эксплуатации, создала высшую технику промышленности, не лучше ли дать уступку частному предпринимательству, чтобы воспользоваться их достижениями?», «Мы, рабочий класс, будем дисциплинированными на производстве тогда, когда не будет на нас нажимать еще какой-то класс, то есть администрация, или, иначе говоря, партия ВКП(б)», «Надежно ли ваша привилегированная группа себя чувствует? Не думаете ли увеличить штат шпионов, а то они редко встречаются?», «Советская аристократия, ожиревшая за счет пота рабочих, передает по наследству свое право на ожирение» и т. д.

Безработные, естественно, задавали такие вопросы: «Почему биржа труда посылает в первую очередь на работу эмигрантов?», «Почему китайцам у нас работу дают в первую очередь?».

В «Информационной сводке» говорится, что в студенческой аудитории некоторые товарищи высказывают мнение о том, что обострение внутрипартийной борьбы является результатом неуживчивого характера Сталина. В сводке отмечается, что определенный слой студенчества, разочаровавшись в действительности, рассуждает так: раз нам не дают возможности разобраться в спорах документально, не просят у партийной массы совета, фактически заставляя голосовать за принятые резолюции-решения, то в ответ на все это мы не будем особенно беспокоиться о судьбах партии.

Из приведенных данных видно, что люди были разные и думали по-разному. Они не доверяли партии, не горели интернационализмом и мечтой о мировой революции, а больше заботились о своих личных интересах. Для партии и государства это было нежелательно. Хотелось идейного единства, а единство — это один уровень жизни, одни интересы, один вождь. Значение этого понятия в жизни страны сформулировал В. М. Молотов. Он сказал: «Морально-политическое единство народов в нашей стране имеет и свое живое воплощение. У нас есть имя, которое стало символом побед социализма. Это имя вместе с тем символ морального и политического единства советского народа. Вы знаете, что это имя — СТАЛИН!»

Помимо единого великого вождя, для создания единого народа нужны были враги, и не вообще враги, а враги конкретные, близкие, действующие под боком. Факт существования таких врагов подтверждали не только аресты и расстрелы, о которых люди знали и о которых писали в газетах и говорили по радио. На них указывали в своих выступлениях разные государственные деятели. Например, председатель Военной коллегии Верховного суда СССР Василий Васильевич Ульрих, выступая 27 февраля 1939 года на объединенной партийной конференции Москвы и Московской области, сообщил о том, что в 1938 году к участникам правотроцкистской оппозиции явился представитель разведывательных органов одной из крупных западноевропейских держав и сказал, что нужно организовать взрыв метро, чтобы лишить нас газового убежища.

Услышав эти откровения, присутствовавшие на конференции, наверное, открыли рты. Тогда да и потом в нашей стране такие выражения, как «представитель разведывательных органов одной из западноевропейских держав», «агент ЦРУ», «резидент одной из иностранных разведок», «представители компетентных органов» и прочие, производили гипнотическое воздействие на советских людей. Все секретное принималось безоговорочно на веру. Со стен на неискушенных людей смотрели плакаты, на которых можно было прочесть: «Будь начеку. В такие дни подслушивают стены. Недалеко от болтовни и сплетни до измены».

Сначала люди скептически усмехались, услышав, что кого-то обвинили в шпионаже, потом пугались, как бы на них самих чего-нибудь не подумали, если они не поверят, а потом и сами стали верить. Верили же в средневековой Европе еще в XVII—XVIII веках, что ведьмы похищали из могил детей, убитых ими еще до крещения, и варили из них мазь, с помощью которой летали на метле! Почему же в начале XX века не верить во вполне реальные вещи?

Отношение же к иностранцам и иностранному по мере отхода от идеалов мировой революции становилось у нас все хуже. В зарубежных гостях все больше видели не «братьев по классу, по борьбе», а шпионов и диверсантов.

Издаваемая в Париже газета «Последние новости» в 1931 году опубликовала заметку под названием «Ненависть к иностранцам». В ней описывалось, как около продуктового магазина в Москве (бывшем магазине Абрикосова), где обычно делали покупки иностранцы, собиралась кучка голодных и оборванных граждан. Они побирались, что-то искали. Когда же иностранцы проходили мимо них с пакетами, наполненными разными деликатесами, то вслед им неслись проклятия и площадная брань.

С заместителем заведующего издательством «Совторгфлот» Николаем Николаевичем Полтневым в 1927 году из-за этих самых иностранцев произошла печальная история. Из уютной московской квартиры он был вынужден на три года уехать на Урал по постановлению Особого совещания при Коллегии ОГПУ. А все из-за того, что в свою записную книжку записал адреса и номера телефонов норвежского представительства, британской коммерческой миссии, чехословацкой, шведской торговых делегаций, латвийской и германской торговых миссий. И хотя «органы» в шпионаже его не изобличили, но посчитали, что пребывание его в столице с такими связями излишне. Бывшей княгине, а в то время делопроизводителю «Машинотреста» Надежде Александровне Ширинской-Шихматовой в 1927 году дали пять лет за то, что она встречалась с иностранцами, а у себя дома «хранила документы лик-

видационной комиссии “Машилотреста”, представляющие интерес для иностранцев». Юстиция тех лет не утруждала себя доказыванием выводов о «заинтересованности иностранцев» или о шпионаже. Достаточно было факта встречи с иностранцем или иного с ним общения.

Существовала, например, такая формулировка для обвинения по статье 58-6 УК РСФСР (шпионаж): «Имярек совершил то-то и то-то при подозрительных по шпионажу обстоятельствах».

Постепенно в стране одним из основных мотивов поведения людей стал страх. О разнообразных причинах его высказался в пьесе Афиногенова «Страх» профессор Бородин. Он говорил в своем монологе: «Молочница боится конфискации коровы, крестьянин — коллективизации, совработник — непрерывных чисток, партработник боится обвинения в уклоне, научный работник — обвинения в идеализме, работник техники — во вредительстве... Страх заставляет талантливых интеллигентов отрешаться от матерей, подделывать социальное происхождение, пролезать на высокие посты... Да-да, на высоком месте не так страшна опасность разоблачения. Человек становится недоверчивым, замкнутым, неряшливым и беспринципным».

Казалось бы, слова профессора должны были прозвучать как приговор существующему порядку вещей, но это не так. По мысли автора и партийной критики, главным в существующую эпоху были не неудобства и амбиции людей, а те самые конфискации, коллективизации, «чистки», обвинения в уклоне, в идеализме, вредительстве. Это они создавали новую страну, нового человека, который был лишь материалом этой великой стройки.

В той же пьесе есть такая сцена: профессора Бородина приглашают в ГПУ. Здесь «опыт» над ним проводят чекисты. Его заводят в кабинет, предлагают посидеть и в его присутствии допрашивают свидетелей. Перед ним проходит череда людей, которых он считал своими единомышленниками. ГПУ их «препарирует», показывая профессору их подлинное лицо. «Это вам, интеллигенты, не лягушек потрошить, смотрите,

как работают настоящие “ученые”!» — как бы говорят своим поведением чекисты. Услышанное там заставляет Бородина отказаться от своих «интеллигентских» взглядов и вернуться в лабораторию, которую он хотел оставить. Оказалось, что люди эти не стоили того, чтобы из-за них бросить работу.

Таким образом, человек приобретал прикладное значение. И чем дальше — тем больше. Человека воспитывали, исправляли и даже конструировали.

В 1927 году П. Керженцев, партийный деятель от литературы (одно время он возглавлял Комитет по делам искусств), в статье «Человек новой эпохи», опубликованной в журнале «Революция и культура», писал о том, что мировоззрение этого человека, его поведение будут определяться идеей борьбы за коммунизм, так как в нем будет сильная классовая пролетарская установка, а через десять-пятнадцать лет, когда идеи коммунизма, марксизма, ленинизма через школу, печать, искусство проникнут во все поры, они (идеи) станут как бы инстинктом всякого активного общественного работника. Наряду с политическими вопросами, продолжал Керженцев, человеку новой эпохи будут свойственны навыки хозяйственника, он будет ориентироваться в экономических и хозяйственных проблемах, а поскольку хозяйственная и культурная работа будет сменяться упорными войнами, яркой его особенностью будет революционность. Слабость воли, вялость в работе, мещанская забота о личных интересах в ущерб общему делу станут жалкими пережитками прошлого.

По мнению Керженцева, новый человек обязательно будет общественником. Общественная работа станет его стихией, НОТ — научная организация труда — будет органическим элементом новой эпохи... Интернационализм — его естественным состоянием. Личные отношения между людьми будут проникнуты чувством товарищества, простоты, ясности и бодрости. Новый человек будет вообще чужд пессимизма... бодрость, уверенность в окончательном торжестве коммунизма, трезвый оптимизм — вот, по



мнению Керженцева, непременные психологические черты работника переходной эпохи.

Естественно, в этих пожеланиях автора статьи смешались благие побуждения с идеологической заданностью. В те годы любили проектировать, конструировать, провозглашать. Бухарин в 1935 году на страницах «Известий» сформулировал такое понятие, как «героический советский народ». Николай Иванович противопоставил нашу идеологию фашистской. «Там, в Германии, — писал он, — фашизм провозглашает расу господ, которая противопоставляется другим людям, а в нашей стране “идет великое объединение основных творческих сил общества”, состоящего из рабочего класса, колхозного крестьянства и интеллигенции, ставшей на огромнейший процент “пролетарской”. Одну из основных черт новой эпохи составляет единство трудящихся разных национальностей в нашей стране. Героический советский народ — это и “молодые хозяева страны”. Героический советский народ — гарантия того, что “оголтелому фашистскому топору не удастся отсечь голову человечеству и не удастся утопить его темной средневековой ночью в его собственной горячей крови”».

Эти слова, ставшие пророческими, не похожи на бодренькое: «Мы фашистов не боимся...» В них предчувствие великих страданий и лишений. Может быть, в них отозвалось предчувствие собственной гибели?

Другие, более оптимистичные авторы считали своим долгом готовить молодежь не к защите цивилизации и своей страны, а к ведению классовых войн для установления социализма во всем мире. О Керженцеве мы упоминали, а вот в 1931 году А. К. Виноградов, выступив в «Литературной газете» по поводу включения в список для внеклассного чтения школьников романа Ремарка «На западном фронте без перемен», разразился таким пассажем: «Как можно воспитывать трудовой энтузиазм школьника, энтузиазм, связанный с добровольным перенесением трудностей, если мы книгой Ремарка будем напоминать ему на каждой странице о том, что война плоха только потому, что люди на ней умирают или переносят боль

от ранений, контузий и болезней? Как велико будет различие мироощущения такого школьника от ощущения пролетария, получившего ожог при отливке блюминга и успешно продолжавшего работу, вопреки возгласам товарищей, испуганных запахом жареного мяса... Никто не думает, что при коммунизме исчезнет зубная боль, еще менее оснований предполагать, что капиталистический мир уступит без боя дорогу социализму... Другие люди были нужны, такие, о которых поэт Николай Тихонов сказал: «Гвозди бы делать из этих людей — крепче бы не было в мире гвоздей».

В тирадах Виноградова речь идет не об угрозе фашистского зверя, а о необходимости ведения войн с государствами, имеющими другой общественный строй и потому враждебными. Так или иначе, все эти разговоры настраивали советских людей на воинственный лад и не позволяли расслабляться. Они, надо полагать, сыграли свою положительную роль в победе над фашизмом. Появилось немало граждан, прежде всего молодых, фанатично преданных режиму, верящих в безусловную победу коммунизма. Но были и те, кто ни во что не верил.

Ознакомление с уголовными делами о контрреволюционной агитации и пропаганде (ст. 58-10 УК РСФСР) показывает, что в народе ходили разговоры и существовали мнения людей, совсем не соответствующие официальной идеологии.

Вот некоторые фразы, взятые из протоколов допросов таких граждан: «...о нашем вожде народов Петухова высказывала такую контрреволюционную ложь: “Когда Ленин умирал, он не рекомендовал Сталина ставить у руководства, так впоследствии и получилось, что страну привел к развалу...” О “вожде народов” говорила, что он “чистит сапоги Гитлеру и больше ни на что не способен”».

Черкасов, исключенный в 1932 году из партии за неуплату членских взносов, вел контрреволюционную пропаганду, а однажды, смотря на портреты вождей, назвал их «приятелями» и по уменьшительным именам: Мишка, Иоська. Говорил среди студентов, что после чествования челюскинцев в Кремле все переписи-

лись, в том числе Сталин и Бухарин, и когда Бухарину кто-то помешал говорить, Сталин сказал: «Дайте этому провинившемуся оппортунисту говорить», высказывался против евреев, считая их неспособными к физическому труду... во время зачтения постановления правительства о введении званий в РККА сказал: «Звания ввели, скоро введут зуботычины», высказывался против стахановского движения, считал его нереальным, говорил, что Сталина нужно повесить.

Поляков говорил: «Если бы было поменьше таких, как Киров, то нам жилось бы лучше... крестьян грабят и загоняют в колхозы, где они голодают... отмена карточек и свободная продажа хлеба вводится за счет ограбления колхозников, рабочим будет от этого тяжело».

Аксельрод говорила: «Никто из работников, особенно ответственных, не чувствует себя спокойно, так как каждого могут обвинить во вредительстве, а это и есть особый род вредительства, проводимый органами НКВД для того, чтобы ослабить промышленность».

Олонцев после вынесения приговора в отношении Зиновьева, Каменева и других сказал: «Нужно стрелять не тех, кого приговорили, а нужно стрелять Сталина, Ворошилова и других».

Е. А. Фешина говорила, что Н. И. Ежов погубил много невинных голов, и выражалась при этом нецензурно.

Кукушкин говорил: «Наше правительство заботится только о себе. Создало для себя блага жизни и для краевых и районных партийных работников — партактивистские пайки, а до рабочих им дела нет, рабочий — полуголодный».

Кондауров говорил: «Вы, коммунисты, — паразиты, довели народ до верной гибели, бандиты вы... Ленин не умер. Он опился и издох, а Сталин скрыл все это, в почестях схоронил Ленина... Хорошо бы, чтобы они все опились и подохли».

Максимов говорил: «Если бы меня призвали в РККА и отправили на фронт, я бы никогда не стал воевать за Советский Союз, а сдался бы в плен, потому что там, за границей, жить лучше. Бояться, что наших красноармейцев расстреливают, как пленных, нечего — это неправда. Это только в наших газетах пишут. На самом деле их там принимают в свои ряды».

Батищев говорил: «Калинин поставлен для мебели у власти».

Священник Новосельский говорил: «Мы позабыли братскую, христианскую любовь, современная классовая борьба, заменившая христианскую любовь, отвлекает нас от истинного счастья. Так давайте же отстанем от этой ненужной нам борьбы и будем строить себе счастье и благополучие в духе христианской любви и веры».

Митрополит Евгений поднял даже глаза и руки к небу и громогласно произнес: «Доколе, Господи, ты будешь терпеть издевательства и такие гонения на веру!»

Другой священник говорил в церкви: «Раньше гонение на Христа было от евреев, а теперь гонение на христиан идет от коммунистов. Раньше Христос переносил страдания, а теперь их переносит народ. Сейчас самое тяжелое время: восстает брат на брата, сын на отца». Слышавший эту проповедь сотрудник НКВД записал в своем отчете: «Своей проповедью священник у присутствующих в церкви вызывает плач».

Все смешалось в головах и душах людей: и страдания, и убожество, и тупая злоба, и растерянность.

Хватало, к счастью, места и для юмора.

Например, слово «Торгсин» расшифровывали так: «Товар отпускается русским гражданам, служившим императору Николаю», СССР — «Смерть Сталина спасет Россию», УССР — «Убийство Сталина спасет Россию», ВСНХ (Всесоюзный совет народного хозяйства) — для коммуниста: «Вам скверно, нам хорошо», для крестьянина: «Вокруг свободно, нет хозяина», для еврея: «Холера на Советскую власть», ВКП(б) — второе крепостное право (барщина). Слово «Совет» расшифровывали так: «Сталин обидел великого еврея Троцкого».

Анекдоты были, например, такие: приехала как-то в Москву Мария Демченко, (известная стахановка), зашла к Сталину. Тот предложил ей посмотреть Москву, но Мария сказала, что у нее нет денег. У Сталина денег не оказалось. Он спросил у Калинина. У того тоже денег не было. Не оказалось их и у Молотова с Ворошиловым. Тогда Сталин попросил деньги у крестьян

янина. Тот дал 50 рублей, и Сталин передал их Демченко. Смысл анекдота, надо полагать, состоял в том, что государство выжимало в те времена все из крестьянства. Анекдот этот рассказывали в 1937 году, а еще в 1925 году заместитель прокурора Москвы Арсеньев в докладе приводил «комментарии» простых крестьян к партдирективе, называемой «Лицом к деревне». Люди говорили тогда, что партия зашла в болото, как старое дворянство, и хватается за крестьянство, как утопающий за соломинку. Действительно, откуда новая власть могла извлечь что-то материальное для строительства социализма, как не из крестьянства, этой огромной трудовой и созидающей массы?

Вообще, после всех кошмаров коллективизации количество анекдотов на пасторальную тему увеличилось. Народ наш крепок не только задним умом, но и юмором.

Рассказывали, например, такую историю: как-то Калинин был в Сибири, и крестьянин пригласил его к себе на обед. После обеда крестьянин показал Калинин петуха, который пел «Боже, царя храни». Тогда Калинин посоветовал крестьянину научить петуха петь «Интернационал». Прошло время, и крестьянин приехал в Москву. Пришел к Калинин и принес ему того петуха. Калинин спросил: «Ну как, поет петух “Интернационал”?» — «Поет, — сказал крестьянин, — только не весь. Спойет: “Весь мир насилья мы разрушим до основанья, а затем”... и непечатно выражается. “Мы наш, мы новый мир построим” петь не хочет».

Другой анекдот, в котором упоминался Калинин, касался индустриализации. Вот он: как-то в Москву на совещание приехал один представитель периферии. Смотрит — в Москве все в очках ходят. Купил себе очки. Пошел в магазин, увидел арбузы и говорит продавщице: «Девушка, почем арбузы?» А продавщица отвечает: «Это, гражданин, не арбузы, а яблоки. Снимите очки. Они все преувеличивают». Купил гражданин яблоки и пошел на заседание. Сел в первом ряду и стал слушать выступление Калинина. А тот стал говорить, что раньше у нас не было тяжелой промышленности, а теперь она у нас есть, раньше не было машиностроения, а теперь оно у

нас есть. Приезжий заметил у Калинина на носу очки и говорит: «Михаил Иванович, снимите очки, а то они у вас все преувеличивают».

М. И. Калинина, «всесоюзного старосту», как его тогда называли, народ любил, поэтому, наверное, и в анекдотах поминать его не боялся. Да и анекдоты были не особенно злые. Вот еще один анекдот про него: однажды приходит во ВЦИК к Калинину лошадь и просит дать ей продовольственную карточку. При этом жалуется на то, что ее хозяин прогнал, сказал, что ему самому есть нечего, что он и без нее обойдется. Калинин с хозяином согласился. Действительно, зачем крестьянину лошадь, когда трактор есть. А лошадь тогда говорит: «А навоз где возьмете, трактор-то его не дает». Подумал Калинин и согласился с лошастью. Дал ей карточку. После лошади к нему на прием пришла корова. Жалуется на хозяина: он прогнал ее, потому что за нее налог платить большой надо. «Ну что ж, — говорит Калинин, — теперь и без коровы можно обойтись. Есть растительное масло, из сои, например». Корова рот разинула да как гаркнет: «Ну а где вы возьмете мясо, если нас, коров, не будет?! Лошадей-то почти половину перерезали и съели, как же вы будете теперь выполнять план мясозаготовки?» «Вот это мы, пожалуй, упустили из виду», — подумал Михаил Иванович и дал корове продовольственную карточку. Наконец явился к Калинину осел. «Ну а вот ты-то, брат, нам совсем не нужен. Без тебя обойдемся! — сказал Калинин. — Ослов мы не едим, а тяжести на автомобилях возим». — «А тогда, — отвечает осел, — мы за вас голосовать не пойдем, а кроме нас за вас теперь все равно голосовать некому». Нечего было делать. Калинин и ослу дал хлебную карточку.

Ходили анекдоты и про Сталина. Вот, например, такой троцкистский анекдот: когда-то Сталин пас овец на высокой горе и пел песню о построении социализма в одной стране. В это время проходил мимо охотник и услышал песню. Подошел он к Сталину поближе и стал целиться в него из ружья. Сталин увидел это и стал упрашивать охотника не стрелять, говоря: «Я ведь песню пою своим баранам!»

Рассказывали о том, как к Сталину в Москву при-

ехал его брат на своем ишаке. Сталин брата принял, накормил, напоил, уложил спать. Наутро брат ему и говорит: «Меня ты принял хорошо, спасибо тебе за это, а вот ишака моего не накормил, так и стоит голодный». На это Сталин ему отвечает: «У меня сто пятьдесят миллионов голодных ишаков, и то я о них не забочусь».

Рассказывали про Сталина еще и такое: захотел он устроить пир на весь мир, а денег на него пожалел. Позвал сначала наших специалистов и приказал им такой пир организовать. Те как ни старались, но на маленькие деньги организовать пир не смогли. Пригласил Сталин иностранных специалистов. Те думали-думали, но тоже ничего не придумали. Тогда Сталин позвал одного еврея и спросил его, может ли он устроить такой пир. На это еврей ответил: «Купите, Иосиф Виссарионович, на пять копеек пулю и застрелитесь — вот тогда и будет самый большой пир в мире, и вам он ничего не будет стоить».

Про Ленина сочинили такой анекдот: помер Ленин и прибыл в рай, а его туда не пускают. «Почему?» — спрашивает, а Петр I ему отвечает: «Я открыл окно в Европу, а ты его закрыл». Александр II говорит: «Я освободил крестьян, а ты их закрепостил». А Николай II добавляет: «Я дал свободы, а ты обратил людей в безмолвный скот». Пригорюнился Ленин, а тут какой-то еврей и говорит ему: «Полезай в мешок». Ну, Ленин и влез, а еврей подошел с мешком к воротам рая, постучал и говорит: «Тут барахлишко для вашего Маркса, возьмите его». Так Ленин в рай и попал.

Говорили еще такое: Ленин всегда ходил в ботинках, а Сталин в сапогах. А поэтому Ленин всегда обходил грязные места, а Сталин прет куда попало. Или спрашивали: «Что общего между Сталиным и Моисеем?» — и отвечали: «Моисей вывел евреев из Египта, а Сталин из ЦК». (Это после удаления из ЦК Троцкого, Каменева и Зиновьева.) В 1926 году о составе политбюро говорили, что в нем «две закавыки: Троцкий и Зиновьев, два зайки: Рыков и Молотов, один ошибала — Бухарин и один вышибала — Сталин». Спрашивали, что такое: сверху перья, а внизу страшно? Оказыва-

ется, это воробей на крыше ГПУ. Шутили: наши правители любят играть в карты: Рыков — в пьяницу, Калинин — в дурака, Сталин — в красного короля.

А в 1927 году была еще такая шутка: так как в Нарыме надзору мало, а людей все прибывает, то в конце концов там образуется и организуется такая армия, которая пойдет на Москву и свергнет большевиков. Говорили, что Сталин скоро станет царем, Иосифом I, а эмигранты перекрестили Зинаиду Гиппиус в Зинаиду Гепеус.

Рассказывали также такую историю, утверждая, что это совершеннейшая правда. Два советских дипломата были в Лондоне на банкете чуть ли не у самой королевы. Один дипломат заметил, как второй спер со стола золотую ложку и положил ее во внутренний карман пиджака, и потребовал, чтобы тот ложку вынул и положил обратно на стол или отдал ему (рассказывали по-разному), но второй отказался это сделать и заявил, что ложку не брал. Тогда первый дипломат встал и предложил присутствующим показать фокус. Он сказал: «У нас, в СССР, происходят такие чудеса: я кладу к себе в карман ложку (он положил в свой карман точно такую же ложку, какую взял второй дипломат), а достаю из кармана своего друга». И он полез в его внутренний карман и вынул из него ложку. Глупые англичане пришли в восторг. Им ведь не могло прийти в голову, что дипломат украл со стола ложку!

Помимо политических рассказывали, конечно, множество других анекдотов и шуток про неверных мужей и жен, про тещ и свекровей, про глупых начальников, про милиционеров, пожарников и, конечно, евреев.

Вспоминая двадцатые-тридцатые годы, разумеется, нельзя не сказать о евреях и антисемитизме. Не вдаваясь в историю этого вопроса, отмечу только, что появление евреев в России связано прежде всего с политической захвата чужих земель и, в частности, трех разделов Польши, присоединения Бессарабии, где жило много евреев. Россия — страна многонациональная. Немцы, поляки, татары, латыши, народы Кавказа, Севера, калмыки, буряты и кого только еще нет. Помимо своих привычек и традиций, отличных от русских, большинство



этих народов не православные. В стране религиозной, такой как Россия, это, конечно, не могло не иметь значения, и отношение к ним власти, естественно, было, как к иноверцам, сколько ни говори о религиозной терпимости в нашем государстве. Революция 1917 года была не только пролетарской. Она была еще и национальной, и русские оказались в ней эксплуатирующей нацией. Иначе и не могло быть. Не зря же коммунисты называли Россию «тюрьмой народов».

После революции победители с окраин хлынули в столицу. Но если латышей, кавказцев, якутов и прочих удерживали их земли, их корни, то евреи покидали свои местечки без сожаления. Тем более там, где они находились, несколько лет шла Гражданская война, случались погромы и пр. Крупные города и, в частности, Москва стали их прибежищем и добычей. Если в России и при черте оседлости существовал антисемитизм, то можно себе представить, что началось, когда евреев в Москве стало больше, чем конопатых.

Конечно, можно говорить о том, что все люди равны, что все они братья и т. д. Но куда девать расовые, национальные, религиозные различия? Куда, наконец, деть человеческий инстинкт самосохранения, который неминуемо срабатывает, когда в твою миску, и без того пустую, тянется ложка чужого, непонятного тебе человека? Тут лозунгами и общими фразами ничего не объяснишь. Тут как минимум должны быть душевная совместимость, желание помочь, любовь и уважение. Ничего этого не было в отношениях между коренным московским населением и прибывшими в Москву евреями. К тому же, как нетрудно было заметить, евреи заняли многие должности в советских учреждениях, в частности, в карательных органах, в торговле, общественном питании, медицине, искусстве и журналистике. В 1924 году, например, председателем Уголовной коллегии Верховного суда СССР был Сольц, председателем Кассационной коллегии по уголовным делам — Гайлис, а членами коллегии — Загорье и Глузман. Председателем Кассационной коллегии по гражданским делам — Нахимсон. Госбанк СССР возглавлял Шейнман, а членами его правления были Аркус, Блюм, Берлацкий, Коган, Каценеленбаум, Шлезингер, Шер, Михельман.

Конечно, в этом свою роль сыграли не только природная напористость евреев и их взаимовыручка, свойственная национальным меньшинствам вообще, но и распространенная среди них грамотность.

Неудивительно, что представители коренного населения, замученные теснотой коммунальных квартир, бесконечными очередями, террором ГПУ, всю накапливаемую такой жизнью злобу и ненависть обрушивали на евреев. В них видели причину всех бед, они стали олицетворением всего зла, творимого в стране.

Газеты, особенно в конце двадцатых — начале тридцатых годов (экономическое положение страны тогда было особенно скверным), нередко сообщали о фактах насилия в отношении евреев. Писали, например, в 1928 году о том, как некто Белов ворвался в квартиру Бретана и с криком: «Нужно жидов убивать!» — избил ее хозяина, а Корнеичев налетел на врача Мясницкой больницы Гдалина с криком: «Бей жидов!» — сбил его с ног и нанес удары. Сообщали о том, как братья Филатовы избивали евреев, живших в доме 37 по Нижнекрасносельской улице.

Рост антисемитизма не мог не волновать власти. Борьбаться с антисемитизмом в стране, население которой исповедует антисемитизм как религию, так же трудно, как гоняться за вором на многолюдной площади: то налетишь на кого-нибудь, то тебе ногу подставят, то ребенка толкнешь. В борьбе с антисемитизмом видели два пути: первый — это репрессии, второй — улучшение условий жизни народа, вызванное успехами социалистического строительства. Первый путь хоть и выглядел радикальнее, но еще больше озлоблял население и загонял болезнь внутрь; второй казался длиннее, чем путь до погрома, и на него не очень-то рассчитывали.

Был еще третий, и не то чтобы путь, а так — тропинка в пустыне. Заключался он в политическом и идеологическом воспитании. Газеты, журналы, лекции и даже диспуты были призваны бороться с этим пережитком проклятого прошлого.

18 мая 1919 года газета «Правда» в заметке «Антисемитизм и Советская власть» писала: «...Советская власть

должна очистить ряды своих служащих от антисемитов, а таковые, к сожалению, встречаются среди всякой нечисти, примазавшейся к Советской власти...»

В декабре 1926 года в Большом зале консерватории состоялся диспут об антисемитизме. Выступал на нем вернувшийся из эмиграции сменовеховец Ключников, который требовал восстановления равенства русских с евреями. Он, в частности, сказал: «Мы, русские, дали самоопределение другим народам, мы дошли в самоотречении до упразднения слова “Россия”... У нас есть не антисемитизм, а задетое национальное чувство русских, с одной стороны, и болезненная чувствительность евреев — с другой». И еще сказал профессор Ключников: «В Москве не было бы жилищного кризиса, если бы сюда не приезжали евреи... слишком много евреев в Москве».

Эти заявления профессора возмутили его оппонентов. Выступивший на диспуте Ю. Ларин посчитал, что национальное чувство Ключникова задето отменой царских законов против еврейских рабочих, которым раньше запрещалось жить в русских городах. Если бы в этом тезисе Ларина не было слова «рабочих», он выглядел бы вполне убедительно, как и другой, не менее железный: «...белогвардейцы говорят, что и Ленин еврей...» В общем, на диспуте было много народа, много шума, но все остались при своем мнении. Кто может что-то воспринять и усвоить в такой свалке?

Вскоре сторонникам неправительственных взглядов по еврейскому вопросу трибуну вообще предоставлять перестали. Официальная пресса воспитывала граждан в традициях пролетарского интернационализма. Рабочие всех наций провозглашались врагами буржуев всех наций. Эту-то слабую струну в слаженном оркестре борцов за равноправие и нащупал студент педфака Шевцов, который в 1929 году разослал по разным редакциям статью, в которой указывал на то, что еврейская нация не трудовая, а одноклассовая, притом буржуазная. Кроме того, он призывал не допускать евреев на работу в государственный аппарат, в учебные заведения, в центральные города, столицы или, по крайней мере, строго ограничить их

возможности. Призыв этот руководителями государства тогда услышан не был.

Шевцов, конечно, хватил через край. Для того чтобы считать себя тружеником, необязательно ковыряться лопатой в земле или стучать кувалдой по железу. А ведь именно усидчивостью и трудолюбием многие евреи пробивали себе дорогу в жизни. Может быть, именно этими качествами объясняется большое число талантливых людей среди евреев: они не зарывают свой талант в землю, не пропивают его в кабаках, не тратят на баб и прекраснодушные, ленивые мечтания. Они заставляют его служить как себе, так и людям.

Когда на одном из заводов обсуждались проблемы образования, один из рабочих сказал: «Товарища моего послали на рабфак от фабрики. Он проучился два месяца и сбежал. Трудно, говорит, денег мало, жратвы мало. Ну а еврей, тот не сбежит, сдохнет, а доучится». Другой высказался так: «Почему ни одного еврея нет у станка, а вот зайди в трест, в контору, в учреждение — обязательно еврей сидит. В актив лезут. Как появится где, сейчас на первое место, работает, подлизывается. Ну его сейчас в бюро ячейки. Пожалуйста, активист».

В упомянутой выше «Информационной сводке» есть данные, касающиеся и антисемитизма. Вот одна записка: «Товарищи, оглянитесь на деревню, как там живут, что едят, а вы, товарищи, везде хвалитесь: “рабоче-крестьянская власть”. Не тут-то было, значит, власть-то в руках евреев, они наехали в Москву почти со всех сторон, а рабочим, русским жить негде, живут в подвалах» или: «В настоящее время (это 1929 год) дают только по фунту хлеба... наехали евреи со всего света. Куда ни пойдешь — всё евреи, а русских нигде нет, на службе везде одни евреи».

Люди не очень преувеличивали. Если мы посмотрим справочник «Вся Москва» или телефонную книгу за двадцатые-тридцатые годы, то увидим, что второе место после русских по количеству занятых должностей и личных телефонов занимают евреи. Так, в телефонной книге за 1929 год Ивановы имели двести девять личных телефонов, а Рабиновичи — восемьдесят девять.

Мудрый Наум Коржавин (Мандель) в своем «Опыте

поэтической биографии» причины «еврейского засилья» в государственных органах страны объясняет неверной национальной политикой Ленина, когда к евреям стали относиться как «к ранее угнетенной нации» и старались компенсировать неравенство в прошлые века предоставлением должностей, отчего в руководстве и оказалось много евреев.

Думаю, что не только это. Евреи и сами прокладывали себе дорогу в буреломе новой советской бюрократии. У них имелись связи.

Было бы лучше, если бы на всех должностях работали русские, — не знаю. В Советской стране чиновники среднего и низшего уровня, да и высокого, всегда являлись только исполнителями. Но когда чиновник ничего не может сделать доброго, даже если и захочет, когда он только исполняет указания свыше и часто указания суровые, а потому не может не вызывать чувство неприязни к себе со стороны простого человека, этот чиновник должен быть хотя бы одной нации с народом, с его большинством. В противном случае он только раздувает своим видом национальную ненависть. Иноходец, и прежде всего еврей, не пользуется доверием у коренного населения нашей страны, и каждое его действие, не удовлетворяющее желание заинтересованной стороны, расценивается как проявление злой воли, объясняемой его национальной принадлежностью. Взаимная поддержка среди нацменов, и от этого никуда не денешься, помогает им устраиваться, но симпатии у коренного населения это не вызывает.

Присутствие большого количества представителей национального меньшинства в государственном аппарате создает фактически иную, параллельную государственной, структуру. Эта система действует с учетом собственных интересов и, естественно, оказывает определенные предпочтения при решении тех или иных вопросов, что, в определенной степени, может представлять опасность для нормальной деятельности государственной машины и влиять на качество ее работы.

Существование такой параллельной власти в двадцатые-тридцатые годы просматривается в решениях

судебных органов и тюремной администрации того времени в отношении евреев, о чем упоминается в других главах. Интересно, например, отметить, что Особое совещание при Коллегии ОГПУ в отношении евреев, репрессированных по политическим мотивам и подлежащих высылке из Москвы, допускало оговорку, то есть предоставляло им возможность выезда в Палестину.

Так, в марте 1924 года студент С. М. Гурвич как член нелегальной сионистской группировки был выслан на три года на Урал. За этим решением следовала оговорка: «В случае его ходатайства разрешить выезд в Палестину через один из южных портов».

В августе 1926 года М. М. Бургман, живший в Вадковском переулке, за участие в сионистской организации был выслан на три года в Казахстан. Через месяц к его приговору было сделано существенное добавление: «В случае получения загранпаспорта высылку в Казахстан заменить выездом в Палестину». В июне того же года И. М. Черняк, Э. М. Каганова, жившие на Остоженке, Х. Л. Шапиро, живший в Чечеринском переулке, Л. Б. Шнайдер из Воротниковского переулка, Иуда Моисеевич Русак, живший на Большой Садовой, и другие (всего тринадцать человек) были, как сионисты, высланы в Палестину вместо Сибири и Казахстана.

В марте 1928 года сионисты Хайм Иосифович Баран, Булаевский и другие — всего четырнадцать человек — высылались в Палестину при условии получения загранпаспорта.

Конечно, так везло не всем. Например, Соколов-Плинер-Раскатов за попытку уехать в Израиль получил три года концлагеря. Профессиональный работник еврейской молодежной скаутской организации «Гашомер-Гадиор» Герц Хаймович Голодец в 1928 году был просто выслан из Москвы с запрещением жить в ряде крупных городов, а состоявшие в той же организации Гирш Иосифович Ципин, Абрам-Бера Зельманович Арецкий, Абрам Борисович Винц высланы на три года в Казахстан.

В тридцатых годах послаблений сионистам делать не стали. Сионистская партия «Палей-Цион» в 1928

году была разогнана. Власти поняли, что сионисты занимаются не только сионистскими проблемами и даже не столько ими, сколько критикой существующих в СССР порядков.

Изучая уголовное дело в отношении сионистов, заведенное в середине тридцатых годов, я понял, почему их перестали отпускать в Палестину.

Вождь минских сионистов Гирш Израилевич Титенский говорил о том, что материальное положение рабочего класса в СССР находится на небывало низком уровне. Цены на товары ширпотреба бешеные, а заработная плата рабочих по отношению к этим ценам мизерная. Значительная часть рабочих ждет второй революции... тыл наш не спокоен... мы наделали себе много врагов, особенно враждебно к советской власти крестьянство... наступило время, когда один копает под другого, и это называется классово-бдительностью. Другая сионистка, М. Н. Ионович, говорила: «Советской власти удалось разгромить крестьянство и заставить его пойти по пути коллективизации, но если что-нибудь случится, то все крестьянство, как один, выступит против советской власти, ибо нет крестьянина, который не имеет родственников, репрессированных советской властью во время коллективизации». Она говорила также, что комсомол занимается пустыми вещами, что в него идут только карьеристы. Ионович и ее муж Розин были высокого мнения о Троцком и считали, что если бы он был у власти, то голода бы на Украине не допустил.

Нечего и говорить, что сионисты были против вступления СССР в Лигу Наций, против критики западной социал-демократии, против диктатуры, против аграризации еврейских масс и создания в Биробиджане Еврейской автономной области. По последнему вопросу евреи особенно много спорили. Диспут на эту тему в одном из рижских клубов закончился всеобщей, довольно недружеской потасовкой. Полиция еле растащила сторонников и противников создания дальневосточной еврейской республики. Многих возмущал сам факт создания государства вне Эрец-Израиля.

Столкновения между евреями происходили и в Москве. В мае 1929 года в синагоге произошло побоище. Скромные прихожане бились кулаками и палками, таскали за пейсы друг друга, после чего синагогу чуть не закрыли.

Что же касается аграризации, то она хотя и шла не слишком бойко, но определенные положительные плоды приносила. Осенью 1926 года «Известия» сообщали: «Наши еврейские земледельцы дали в текущем году девять миллионов пудов хлеба». В противодействии преобразованиям в еврейской жизни власти обвиняли религиозных деятелей. В 1937 году газета «Комсомольская правда» опубликовала статью «Иудейская религия и ее классовая роль», в которой писала о том, что раввины были против создания колхозов в Крыму и против переселения евреев в Биробиджан.

Зато идею переселения поддерживало созданное в Москве ОЗЕТ — Общество землеустройства евреев-трудящихся. Активисты общества собирали взносы с тех, кто ратовал за еврейское земледелие в дебрях Уссурийского края или где-то рядом. Кроме того, общество должно было заниматься интернациональным воспитанием масс, то есть борьбой с антисемитизмом и великодержавным русским шовинизмом. Деятельность общества особого успеха не имела. Не было среди его членов единства ни по одному из вопросов.

Раскол среди евреев произошел, впрочем, не только в СССР. Евреев всего мира мучил вопрос о их роли в русской революции. В вышедшем за рубежом сборнике «Евреи и Россия», изданном Биккерманом, Ландау и Левиным, по этому поводу говорилось, в частности, следующее: «Евреи должны признать свою долю ответственности за большевизм... Из страха перед погромами, которые, как ожидалось, должны были последовать за падением Советской власти, евреи поддерживают большевизм или, по крайней мере, не борются с ним, тем самым косвенно его укрепляют». С такими выводами не соглашались другие евреи, видевшие в своих российских соплеменниках исключительно жертвы.

Когда в сентябре 1925 года в Филадельфии (США) состоялся «Еврейский конгресс», то на нем победила



точка зрения, обеспечивающая поддержку переселения евреев в СССР. Конгресс постановил собрать десять миллионов долларов на освоение Крыма. Большинство участников конгресса считали, что советская власть в СССР укрепилась и евреи пользуются полной безопасностью. Противники столь оптимистических взглядов утверждали, что советская власть не так уж крепка, что возможна реставрация старых порядков и что вообще большевикам помогать не следует.

Эпоха нэпа способствовала росту национализма в СССР.

На XII съезде партии в 1923 году И. В. Сталин говорил: «За два года мы ввели так называемый НЭП, а в связи с этим национализм великорусский стал нарастать, усиливаться». Лазарь Моисеевич Каганович, который привел в своих воспоминаниях эти слова, далее писал: «НЭП возвращивал не только шовинизм великорусский — он возвращивал и шовинизм местный, особенно в тех республиках, которые имеют несколько национальностей. Я имею в виду Грузию, Азербайджан, Бухару, отчасти Туркестан...»

Свобода экономическая подразумевает свободу личную, следствием чего и является национализм, как стремление ограничить число едоков у своей кормушки.

В отстаивании интересов национальных меньшинств наиболее распространенным является довод о том, что той или иной национальности свойственно занимать ту или иную «нишу» в жизни общества.

Цыгане, например, поют и пляшут, айсоры чистят ботинки, корейцы разводят овощи, китайцы стирают белье и т. д. Все это верно, хотя и запирает народы в какой бы то ни было нише тоже нельзя. Нельзя также позволять национальному меньшинству занимать руководящие должности в органах государственной безопасности, банках, средствах массовой информации, иначе коренная, странообразующая нация сможет утратить контроль над страной, что вызовет недовольство населения и его неуверенность в завтрашнем дне, да и не только это.

Сторонники безудержного расширения прав чело-

века считают, что самым справедливым устройством государства является такое, когда все живущие в нем нации свободно соревнуются и побеждают те, которые окажутся сильнее. С точки зрения естественного отбора такой взгляд является безусловно правильным, но не грех спросить опять же строанообразующую нацию (русских в России, украинцев на Украине, грузин в Грузии и т. д.), хотят ли они жить в условиях такой свободной конкуренции. Безразличие к интересам основной нации, проявленное в этом тонком вопросе, — не грубейшее ли это нарушение прав человека? Если идти по этому пути, то многие народы вообще утратят свою собственную родину. Сильные и нахальные найдутся и вытеснят их, как лиса зайца из его лубяной избушки. Нельзя никому позволять класть ноги на стол в своем доме. Самим, разумеется, тоже.

Говоря о национализме, его причинах, трудно удержаться, чтобы не процитировать того же Наума Коржавина. О еврейском национализме он сказал: «... До сих пор к еврейскому национализму я отношусь хуже, чем ко всякому другому, не потому, что он действительно хуже, а потому, что он как бы предполагает мое соучастие или сочувствие». Это мнение свойственно интеллигенту и касается любой нации. Ну что это за общество, если оно тебя встречает по форме носа или цвету волос? Куда ты денешься со своей душевной добротой, культурой, умом, честностью, если о тебе судят по иным экземплярам одной с тобой крови? Правильно пишет Коржавин: «Если ты хочешь сказать что-нибудь плохое или хорошее о человеке словами: “еврей”, “русский”, “немец” и т. д., остановись на минуту и вспомни, что к большинству людей, к которым относится это слово, то, что ты хочешь сказать сейчас этим словом, отношения не имеет».

Но, с другой стороны, как запретить людям судить об общем, исходя из частного? Ведь так судят обо всем, от художественных произведений до колбасы.

Существует мнение, что не следует распространяться о плохих поступках евреев — это разжигает антисемитизм. Антисемитизм это действительно разжигает, но для борьбы с данным явлением есть более простой

способ — не совершать евреям недостойных поступков, порочащих нацию. Не случайно, наверно, один из столпов сионизма Герцель в 1845 году предлагал миллионеру барону Гиршу назначать евреям большие премии за совершение поступков большой моральной красоты, за храбрость, за самопожертвование, за достижения в науке. Гирш отказал Герцелю. Он сказал ему, что дело не в красивых поступках, а в том, что евреи слишком стремятся вверх и это способствует росту антисемитизма. «У нас, — сказал Гирш, — слишком много интеллигентов. Моя цель — удержать евреев от этих устремлений. Они не должны делать таких больших успехов, от этого вся ненависть». А проще говоря, не высываться. Жизнь диктовала свои правила поведения. О благих пожеланиях, конечно, люди помнят, но живут по привычке.

Впрочем, бережное отношение к чести собственной нации должен проявлять каждый человек. Это касается и русских, многие из которых считают, что они хороши уже тем, что русские.

В национальном вопросе хорошие дела той или иной нации не уравнивают дел плохих. А ведь какой, казалось бы, огромный вклад в российскую науку, культуру, промышленность, военное дело и вообще в русскую историю внесли представители различных национальностей, проживающих на территории СССР и, в частности, евреи! Но антисемитизму это не помеха.

Человек, страдающий антисемитизмом, об этом вкладе и слышать не хочет, как не хочет слышать о достоинствах жениха девушка, любящая другого. «Антисемит, — пишет Коржавин, — это не просто человек с предрассудками, но человек, находящийся в этих предрассудках духовную опору, вырастающий из-за них в собственных глазах».

Конечно, если у тебя выработалась определенная система взглядов, то, какой бы она ни была, тебе с ней спокойнее, ты увереннее себя чувствуешь. И пусть умственный процесс у антисемита заканчивается на слове «еврей», но ему от этого не хуже. Он, по крайней мере, не нервничает, как еврей. А сколько стра-

даний терпит еврейский ребенок от антисемитизма! Помню один случай в московском скверике. Бабушка-еврейка сидела на скамеечке, а внучка играла с детьми. Вскоре внучка подбежала к бабушке и рассказала, что тетя, мама одного мальчика, сказала, чтобы они (дети) не уходили далеко, так как по Москве ходит еврейка с большой сумкой и крадет детей, а после их ест. Бабушку это сообщение внучки не столько удивило, сколько расстроило. Она взяла да и сказала внучке, что она сама еврейка. Девочка, видно, никак не ожидала такого поворота событий и разрыдалась. Да, большую школу страданий приходится пройти еврейскому ребенку, юноше, пока он выработает в себе какую-то внутреннюю защиту. Накопленные обиды, озлобление — не лучшая база для добрых душевных качеств.

Мораль советского общества сотрясали не только антисемитизм, национализм, шовинизм, но и те перемены, которые произошли в период введения нэпа. О том, что появление частного капитала отравило жизнь многим коммунистам, — говорить нечего. Но и интеллигентам в нем далеко не всё нравилось. Стремление создавать все «на продажу» угнетало творческие личности. К. И. Чуковский 14 февраля 1923 года записал в дневнике: «У меня большая грусть: я чувствую, как со всех сторон меня сжал сплошной нэп — что мои книги, моя психология, мое ощущение жизни никому не нужно. В театре всюду низменный гротеск, и, например, 20 февраля был на “Герое” Синга: о рыжие и голубые парики, о клоунские прыжки, о визги, о хрюканье, о цирковые трюки! Тонкая, насыщенная психологией вещь стала отвратительно трескучей...» Касса требовала зрелищности, ничего не поделаешь.

Выдумывать всякие трюки жизнь заставляла не только деятелей искусства, но и самих нэпманов. Пользуясь тем, что с владельцев новых частных заведений первое время не брались налоги, нэпманы закрывали свои лавочки и вскоре открывали новые на другом месте. Например, Илья Крапивин открыл пивную. Когда пришли за уплатой налогов, Илья пивную закрыл, но открыл ее в другом месте его дядя, Самуил.

Через некоторое время то же сделала сестра Ильи — Хая. Прибегали и к другим хитростям. Еще в 1929 году на Петровке магазин «Парижский шик» держал Александр Шефер. В конце концов его так задушили налогами, что он решил тихо самоликвидироваться. Он распродал товар, вывез, продал и спрятал свое домашнее имущество, в общем, остался «гол как сокол». Когда пришел фининспектор, Шефер объявил себя банкротом. Фининспектору и описывать было нечего. Государство все же отомстило Шеферу за этот фортель, посадило его на полтора года, как посадило оно и Крапивиных.

Посадили и Наума Израилевича Гельмана с бывшей женой Рахилью Давидовной. А бывшей она стала именно тогда, когда кончился срок патента Мосфинотдела на ящичное производство, которым владел Гельман. Дело в том, что по окончании срока патента Гельман должен был уплатить налог в сумме 10 тысяч рублей. Чтобы уйти от выплаты таких больших денег, Наум Израилевич решил пожертвовать семейным счастьем (а ведь ему тогда было пятьдесят семь лет, и ничего дороже полной, сорокавосемилетней Рахили Давидовны у него не было). После развода патент оказался у бывшей жены, и с Гельмана ничего взыскать было нельзя. Чтобы уменьшить сумму налога, бывшие супруги стали дробить свое «дело». Даже свое «простоквашное производство» сделали самостоятельным. Фининспекторы, правда, тоже не унимались. Задолженность наших предпринимателей по налогам росла. Тогда они уговорили балерину Е. Ф. Аксенову стать формальным владельцем их частной собственности. Балерина, имеющая столько же сведений о налоговой политике государства, сколько папуас о квантовой механике, согласилась. Когда фининспекторы описали все ее имущество вплоть до болонки, Екатерина Федоровна упала в обморок. Пришлось Науму Израилевичу раскошелиться и уплатить налоги. Но было уже поздно. Все больший интерес к нему стали проявлять не фининспектор, а следователь, прокурор и судья. Они организовали ему год изоляции с конфискацией имущества, а его бывшей жене

и Аксеновой по семь месяцев ареста с конфискацией трети принадлежавшего им имущества. Произошла эта история в 1928 году.

Фининспекторы, налоги были вообще бичом предпринимательства. В литературных кругах ходила даже такая шутка: на премьере зрители заинтересовались, кто это громче всех кричит: автора, автора! А оказалось, что это фининспектор. Ему нужно было увидеть лицо человека, который должен был уплатить налог с полученного гонорара. А в литературном приложении к эмигрантской газете «Накануне», которое редактировал Алексей Толстой, в июле 1923 года был помещен анекдот, записанный Михаилом Афанасьевичем Булгаковым под названием «Прогрессивный аппетит», услышанный им от нэпманов. Содержание его таково: одного нэпмана обложили подоходным налогом в 10 миллиардов рублей. Эту сумму нэпман должен был принести в финотдел не позднее четырех часов дня десятого числа. В девять часов нэпман деньги принес и молча отдал. «Мало мы его обложили», — смекнул фининспектор и увеличил налог до 100 миллиардов. Срок уплаты 15-го, не позднее четырех часов. 14-го в десять нэпман деньги принес. «Э-ге-ге!» — сказал инспектор и обложил его налогом в триллион рублей. Срок уплаты — 20-го, в два часа дня. 19-го утром нэпман приехал на телеге ломового извозчика, а на телеге печатный станок. «Не могу больше, братцы, времени нет, печатайте сами», — сказал он растерянно.

Вообще по поводу нэпмановской сообразительности и изворотливости шутили много. Говорили, например, что английский банк лопнул... от смеха, узнав, что червонец стал дороже фунта (а вообще, как это ни покажется странным, но на черной бирже червонец вытеснял доллар и фунт). Острили еще, говоря и о том, что Россия — страна не «кредитоспособная», а «кредитоталантливая». Этому, наверное, способствовали большие связи нэпманов во Внешторге, Наркомфине и даже в ГПУ.

Но никакие связи, никакие капиталы нэпманов не спасли. Государство ревновало население к частникам и делало все, чтобы их не стало. Правда, в конце двад-

цатых годов в Москве еще действовали кое-какие частные заведения. В доме 61 по Тверской улице, это недалеко от Белорусского вокзала, держал свою фирму Иван Карлович Гек. Фирма существовала с 1896 года и делала фотобланки, паспарту и альбомы. Необходимость в данных изделиях подогревалась наличием в городе большого числа частных фотоателье, например Шворина в Столешниковом переулке, Данилова, основанное в 1888 году, у Мясницких ворот, Немченко в доме 3/6 по Камергерскому переулку (реклама сообщала о том, что его фотография снабжена усовершенствованными новейшими аппаратами, позволяющими ей делать репродукции с картин, чертежей и рисунков). Кроме того, фотография производила съемку «видов и архитектур, исполнение портретов в красках (масло, пастель и акварель), а также фотографирование в натуральных цветах (автохром) и пр». Существовали в Москве также фотографии Львова (фирма, основанная в 1875 году) на Таганке, Шапиро у Мясницких ворот, Форсиони на Лесной улице и пр. Обучали москвичей кройке, шитью, изготовлению дамских шляп и вышивке частные курсы, возглавляемые Анной Ивановной Рошет и Анастасией Васильевной Ломакиной. Обещали избавить москвичей от венерических болезней частные врачи Гурвич, Стоянов, Володарский, Фокин, Гинзбург, Филинтель, Миценмахер, Лурье, вылечить зубы — Кабанов, Юхвед, Кан, Календр, Аругюнян, а вставить новые — зубные техники Ростовцев («изготовление всевозможных искусственных зубов по новейшему методу»), Анциферов, Введенский («изготовление искусственных зубов всех систем»), Взнуздаев («изготовление искусственных зубов на золоте и каучуке и мостовидные работы»), Бебинг, Шер, Копейкин, Нудельман и др.

Кстати, в некоторых объявлениях врачей в двадцатые годы встречались такие слова: «возвратился и возобновил прием» — это означало, что врач вернулся из «заграницы», где, надо понимать, набрался ума.

Проявлял себя частный капитал не только в фотографии и медицине, но и в некоторых других сферах. Фруктово-ягодные эссенции и краски, например,

производила фирма «Аромат» Селецкого и Крейнина. Кустарно-облаточная мастерская, «первая в России», Л. В. Демпель, существующая с 1878 года, делала аптечно-парфюмерные и фабрично-заводские этикетки. Мастерская Рахманова изготавливала всевозможные «знаки, жетоны и флажки разных отличий для всех наркоматов и спортивных организаций». Электрические нагревательные приборы, плиты, кипятильники «исправлял и делал по заказу с гарантией на 1—2—3 года» долголетний практик и изобретатель Иван Острый (Тверской бульвар, дом 8), а зонты и трости («заказы, починка, перекрышка») — мастерские Волпина и Циммермана и т. д.

Делали частники и детские игрушки. На рынке можно было приобрести покрытых пухом и перьями петухов, кур, цыплят, гусей и уток с проволочными ножками, деревянную матрешку, «тешин язык» (если дунуть в трубочку, он вытягивался сантиметров на тридцать), сделанных из картона танцующих, скачущих, вертящихся, качающихся на качелях человечков, раскрашенных какой-нибудь линючей краской, а также окрашенных под золото и серебро змей и драконов. Продавались на рынках деревянные или бумажные клоуны, дрыгающие ногами и руками, когда их дергали за ниточку; лошадки из бумажной массы на дощечках; свистульки; губные гармошки; бьющие бумажными крыльями гуси и утки; тряпичные куклы, а кроме того, ружья, кинжалы, пушки, пистолеты и шашки. Продавались и съедобные игрушки из пряников или патоки, раскрашенные краской.

А в государственных магазинах можно было купить игрушечную мебель, маленькие копии предметов домашнего обихода: корыта, утюги, стиральные доски, посуду и пр. Продавались вожжи с бубенцами, солдатки, заводные лягушки, автомобили, паровозы, пароходы, аэропланы, пирамидки с разноцветными кольцами. Делались игрушки из дерева, целлулоида и резины. Многие увлекались игрой в лото или гусек. Гусек — это игра, в которой фишки продвигаются по рисунку, преодолевая всевозможные препятствия. Продавались гуськи, в которых совершались путешествия по цирку, по морю, по воздуху и пр.



В начале тридцатых артели, ателье, мастерские и многие другие частные заведения были закрыты. По всей Москве развернули свою деятельность ликвидационные комиссии. В 1931 году они закончили свою работу. С нэпом ушел и коммерческий дух из многих областей советской жизни. Жизнь на этом, правда, не остановилась. Да и делали в России нэпманы не так уж много. Больше спекулировали, воровали, производили предметы далеко не первой необходимости.

В жизни людей тех лет еще долго оставались «привычки милой старины». На дачах играли в крокет и серсо (перекидывали друг другу кольца, подхватывая их палочкой), коротали вечера за игрой в лото, вели дневники, собирали открытки, писали стихи в альбомы, дети устраивали домашние театры, играли в фанты, собирали марки, значки, фантики и прочие нужные и ненужные вещи. В моду входило сооружение детекторных приемников, выпиливание лобзиком из фанеры разных предметов, выжигание, изготовление моделей морских кораблей, вышивание крестом и гладью и пр.

Наряду с милыми привычками существовали и «пережитки прошлого» и не только в частной жизни. Особые нравы царили, например, в издательском и газетно-журнальном мире. В нем и до революции водились прохвосты. После «Великого Октября» прохвосты не исчезли. Одни из них выдавали себя за известных писателей, другие одну свою книгу печатали под разными названиями, получая за каждое новое издание новый гонорар, третьи — чужие произведения выдавали за собственные и т. д.

Одним из «героев» газетно-журнального мира того времени был Соломон Бройде, о котором мы упоминали в главе «Казенный дом». Соломон Оскарович не только любил печатное слово, он был вообще незаменимым человеком. Существование таких людей в обществе дефицита, каким всегда являлось советское общество, вполне естественно. Бройде мог достать все: и автомобиль, и коленкор для книжных обложек, и бумагу, и стройматериалы, и ссуду в банке. За это его и ценили. В Союзе писателей он являлся членом ревизионной комиссии, заведовал социально-бытовым сек-

тором союза. В горьком писателей был казначеем, членом президиума. Он получал огромные гонорары не только за издания, но и за переиздания «своих» произведений, продавал редакциям вместо рукописей заголовки, присваивал деньги, полученные за командировки, в которые не ездил, и т. д. и т. п. Но однажды, а именно 5 мая 1934 года, в «Вечерней Москве» появился фельетон, назывался он «На ту же скамью». Написал его некий Вермонт. Озаглавив так свой фельетон, автор, конечно, имел в виду скамью подсудимых, на которую Соломона Оскаровича занесло первый раз в 1929 году по какому-то хозяйственному делу. Фельетон был написан с нескрываемой злобой и даже грубостью. В нем, например, была такая фраза: «Толстый, наглый коммерсант грубо лезет на Парнас». (Совсем не в рифму.) Прочтя фельетон, Бройде не выдержал и написал письмо в редакцию. Он обвинял фельетониста в клевете и объяснял такое отношение к себе завистью некоторых неудачников. «Меня обвиняют лишь в курении сигар», — писал он с горькой иронией. Вполне возможно. Кто мог тогда оценить по достоинству человека, умеющего красиво жить?!

Елена Сергеевна Булгакова, прочитав фельетон Вермонта, 7 мая записала в своем дневнике: «В “Вечерке” фельетон о каком-то Бройде — писателе... Этот Соломон Бройде — один из заправил нашего дома. У него одна из лучших квартир в доме, собственная машина. Ходит всегда с сигарой во рту, одет с иголки».

Соломон Оскарович действительно был первым человеком в писательском кооперативе, давшем приют М. А. Булгакову. Вообще он был популярен. Да и было в нем что-то от борова, на котором летала Маргарита, правда, тот не курил сигар. В Москве их тогда вообще мало кто курил.

Когда аромат этих сигар достиг носа прокурора, тот возбудил дело. За расследование его взялся старший следователь Горпрокуратуры Рабинович, а 22 июля 1934 года судебная коллегия по уголовным делам Московского городского суда под председательством Сигизмунда Валтасаровича Ястржембского вынесла Бройде приговор. В нем были такие слова:

«...характерными методами его (Бройде) общественной деятельности является ОБВОЛАКИВАНИЕ работников издательства путем оказания им всевозможных личных услуг, лести, а также запугивания». «Кипучая» мнимая деятельность Бройде сопровождалась необычным шумом. Обволакивать Соломон Оскарович тоже умел. Этот талант он обнаружил в себе давно. В книге «Страницы современного человека», вышедшей в 1922 году, он писал: «...Играю я неплохо. Настолько владею интонацией голоса, что ...создаю впечатление ласки и гнева, нежности и боли, искренности и глубокого страдания — всех чувств, мыслимых в природе человека». Что ж, у каждого свой талант.

С. О. Бройде отсидел свой небольшой срок. Больше он не печатался. Телефонные справочники Москвы о нем умалчивают. Говорили, что он уехал за границу. При его связях и способностях такое вполне могло случиться.

После революции, как известно, положение с кадрами, особенно руководящими, было трудное и такие, как Бройде, спешили делать карьеру. Существовали в то время так называемые «выдвиженцы» — подученные люди из пролетарских слоев. Встречались среди этих людей способные и даже талантливые работники, но большинству из них доверить серьезную работу было нельзя, очень уж неграмотны. Доходило до смешного. Одному выдвиженцу, например, секретарь принес документы на подпись. Что с ними делать, выдвиженец не знал. Спросил одного, тот ответил: «Резолюции наложить». Выдвиженец долго сидел за своим письменным столом и что-то писал на принесенных ему бумагах. Потом выяснилось, что на каждой из них он начертал: «Резолюция наложена».

Выступая 2 февраля 1918 года с лекцией в помещении бывшего Дворянского собрания, а проще говоря, в Колонном зале Дома союзов, Л. Д. Троцкий сказал: «Кто теперь является руководителем большинства рабочих организаций? С одной стороны, люди честные, самоотверженные и убежденные, но ничему не учившиеся, почти неграмотные, а с другой стороны — всякие жулики, проныры и пролазы, которые умеют делать

себе карьеру при всяких обстоятельствах и в любой обстановке. Последние должны быть откинuty без всякой жалости, первые должны учиться».

Деление, конечно, упрощенное, можно сказать, примитивное, но во многом отражающее положение вещей. Служили в государственных учреждениях, конечно, и честные, грамотные люди, правда, их не хватало. Наличие их в советском государственном аппарате заметил эмигрировавший из СССР А. С. Изгоев. В статье «Рожденное в революционной смуте», опубликованной в Париже в 1932 году, он писал: «Среди включенных в коммунистический аппарат людей много негодяев, уголовных преступников, всяких проходимцев и злобных дураков. Есть известный процент людей душевнобольных и дегенератов. Но большинство — обыкновенные русские люди, иногда очень умные, образованные, по-своему честные, иногда даже тонко чувствующие, не лишённые идеалистических стремлений. Словом, русские люди того же духовного склада, что и их братья, очутившиеся на чужбине в эмиграции. Они усвоили “социалистический” жаргон и говорят, а иногда и мыслят “техническими терминами” коммунистического режима. Но они видят ясно и даже очень в подробностях, что происходит... они живут, приспособляются, создают в оттенках коммунистических терминов зачатки какого-то общественного мнения... выброшенные Революцией в хозяйственный аппарат люди, конечно, не желают отказываться от “национализации” промышленности и, вообще, от строя, давшего им место, заработок, положение».

Мало кто в нашей стране тогда тосковал по капитализму. Мечтали о красивых вещах, о вкусной еде, о хорошей комнате, ванне. Надеялись когда-нибудь все это иметь. Располагало к таким надеждам то, что по сравнению с голодом и холодом начала двадцатых годов жизнь в стране улучшилась. По городу, под звуки горна и барабана, маршировали пионеры со значками «Будь готов!» или «КИМ» (Коммунистический интернационал молодежи) на белых рубашках, в парках играли духовые оркестры, на улицах торговали мороженым. В 1931 году К. И. Чуковский записал в днев-

нике: «Похоже, что в Москве всех писателей повысили в чине. Все завели себе стильные квартиры, обзавелись шубами, любовницами, полюбили сытую жирную жизнь».

Изменение условий жизни, политическое воспитание народа приносили свои плоды. Кто примыкал к советской власти в силу сложившихся обстоятельств, а кто искренне верил в нее. Подтверждений тому масса. Даже К. И. Чуковский, согласно записи в его дневнике, пришел в 1927 году к выводу о том, что с русским человеком иначе (то есть без строгостей ОГПУ) нельзя, что ничего лучшего, чем современный строй и порядок, придумать невозможно и что во всех недостатках современной жизни виноваты не коммунисты, а «те русские человечки, которых они хотят переделать».

Идейность и преданность в наших людях тогда сочетались не только с верой в будущее, но и с наивностью.

К. Борисов в книге «75 дней в СССР», о которой мы уже не раз упоминали, заметил: «Советская власть тешит до сих пор себя иллюзиями: стоит только кликнуть клич — и иностранные капиталисты кинутся в Россию... Мне приходилось много беседовать на эту тему с ответственными руководителями Советской власти, и я прямо поражался тому наивному невежеству, которое проявляют они в этой области... У советских деятелей один большой недостаток — им всё хочется осуществить тотчас же, сию минуту, не вставая со стула, а когда выясняется, что это физически невозможно, — интерес к делу у них пропадает и все откладывается в долгий ящик». Написано это было, как вы помните, в 1924 году.

Постепенно надежды на помощь Запада в России растаяли. В Англии, Франции, как в странах бывшей Антанты, участвующих в интервенции против молодой Республики Советов, да еще в Польше жители СССР стали видеть главных врагов. О возможном нападении на СССР именно этих стран писала наша пресса и говорили государственные деятели. По радио и в газетах, на собраниях и митингах, совещаниях и политзанятиях в головы людей вдалбливались «идеологические установки» руководителей страны. С гордостью пов-

торялись слова Сталина: «Мы, коммунисты, люди особого склада, мы сшиты из одного, цельно скроенного куска...», люди строем ходили на кинофильм «Чапаев», учились произносить звонкими голосами зажигательные речи. Монолитность, сплоченность, безусловное выполнение указаний руководства — вот что стало главным в поведении советских граждан.

Люди должны были усвоить, что все, кто мешает строить счастливую жизнь, — враги. Уже в 1933 году партия указывала на то, что враги рассосались по нашей огромной стране, по всем каналам нашей сложной советской системы, проникли в наши советские, хозяйственные и даже партийные организации. Хищения, воровство, сознательная порча государственного и общественного имущества, утаивание доходов от государства — вот сейчас методы и приемы классового врага, как тогда учила партия. И плох тот коммунист, который не умеет распознавать классового врага в его новом виде, кто ищет его по-прежнему с винтовкой или обрезом в руках и благодушно проходит мимо хищника, вора и вредителя.

Разве не приятно поймать врага и тем прославиться? Говорят, врагов много и они рядом. Люди таращатся, смотрят на окружающих, но никого не находят. Вдруг — бац, поймали, совсем рядом, но чекисты. Обидно — проглядел. Это как грибы: смотришь-смотришь, а их нет и нет, и вдруг кто-то под самым твоим носом находит крепкий, коренастый боровичок. Прямо хоть плачь! Но то гриб, пустяк, можно сказать, а тут враг! Проглядел, прошляпил, проворонил. Человек становился злее на себя и на других.

С коммунистов спрос особый. У них свои заповеди: будь правдив перед партией, не позорь своим поведением звания коммуниста, решительно борись с двурушниками, перерожденцами и обманщиками, будь дисциплинированным членом партии, веди борьбу за ее линию, за ленинский ЦК, знай программу и тактику партии, учись марксизму-ленинизму.

С каждым годом тон официальной идеологии становился более решительным и гневным. В 1936 году,

после процессов по делу троцкистско-зиновьевской оппозиции, он напоминал скрежет железа по стеклу. И эффектно, и слушать неприятно. Например: «Главари разбойничьей троцкистско-зиновьевской банды посягали на жизнь величайших людей нашего времени, самых любимых, самых дорогих сердцам десятков миллионов трудящихся. Они хотели отнять у нашего народа того, кто вел и ведет его к победе, того, чья жизнь принадлежит народу, кто является величайшим вождем трудящихся во всем мире, — они хотели убить нашего отца, нашего учителя, самого родного и близкого нам человека — Сталина».

Ну что надо сделать с человеком, который неодобрительно отозвался о самом родном и близком? Ответ напрашивался сам собой.

О любви к Сталину многих советских людей рассказывала мне С. Е. Прокофьева. Она говорила, что любовь ее, да и не только ее, к «отцу народа» была настолько сильной, что если бы Сталин приказал убить собственного ребенка, то они (коммунистки) это бы сделали.

Люди той эпохи были не только идейными, но и сверх всякой меры возбудимыми. В 1937 году, когда Андрея Януарьевича Вышинского советское правительство за укрепление социалистической законности наградило орденом Ленина, а ставшее флагманом советской Дальневосточной флотилии некогда английское судно «Доминия» получило имя «Николай Ежов», тон советских идеологов стал еще более свирепым. Газета «Правда» уже не грозила пальцем, прищутив глаз. Она грохотала кулаками по столу, топала ногами, брызгала слюной. Подходить к ней было просто опасно. Ну, посудите сами, что следует делать простому человеку после таких слов: «Пусть трепещут все шпионы, диверсанты и убийцы!.. Пусть твердо запомнят они: мы разорим дотла и уничтожим все шпионские гнезда поджигателей войны, мы разорвем все нити шпионской паутины, как бы тонко она ни плелась, мы беспощадно сотрем с лица земли всех врагов народов СССР». Прочтя такое, человек должен был бы радоваться — его защищают, но нет, ему ста-

новилося як-то боязно. Чувствовалося приближение чого-то великого і страшного. Оно прийшло в 1941 році. Предчуттє людей не обмануло. Приближення кошмара заставляло рішуче діяти і керівників держави. Ігрові маневри нікого не могли лякати. В світі запахло кров'ю.

Після знищення керівних кадрів армії її нарком К. Е. Ворошилов в одному з своїх наказів писав: «Очищаючи свою армію від гнилої деревини, ми тим самим робимо її ще більш сильної і непереможної. Армія зміцнює себе тим, що очищає себе від скверни». К щастю, герої ще залишалися в пам'яті радянських людей. Чапаєв, Щорс, Пархоменко, Котовський і деякі інші встигли загинути і небезпечності для влади не представляли. Ну а постійні повідомлення радіо і газет про нових ворогів, яких не шукали на стороні, а створювали прямо на очах шанованої публіки з колишніх і ще живих героїв, сприяли тому, що думки радянських людей стали ковзати і легкими. Вони боялися затримуватися на чому б то ні було. Краще не думати. Розуміти потрібно було головне: в країні покінчено з експлуатацією людини людиною, всі основні засоби виробництва і земля належать народу, створена потужна промисловість, великі сільськогосподарські підприємства, обладнані технікою, люди мають право на загальне середнє освіту і безкоштовне медичне обслуговування, в країні існує рівність прав чоловіків і жінок, націй і рас. Звичайно, існують недоліки, але у кого їх немає? «Ежовщина» пройшла, і партія її засудила, як і перегиби при колективізації. Майбутнє за нами, і оно прекрасне.

Ось і пройшли вісімнадцять років мирної перерви. Перед нами страшна, знищувальна війна, змінивши не тільки життя, але і характер нашого народу.



## СОДЕРЖАНИЕ

<i>Георгий Андреевский. Предисловие</i> .....	6
<i>Глава первая. Любимый город</i> .....	10
<i>Глава вторая. Трамвай</i> .....	47
<i>Глава третья. Грешный мир Москвы</i> .....	99
<i>Глава четвертая. Служители московской Фемиды</i> .....	211
<i>Глава пятая. Казенный дом</i> .....	266
<i>Глава шестая. Изобретатели и фантазеры</i> .....	305
<i>Глава седьмая. Поэты</i> .....	348
<i>Глава восьмая. Пивная эстрада</i> .....	372
<i>Глава девятая. «Коммуналки» и «бывшие люди»</i> .....	416
<i>Глава десятая. Мораль</i> .....	489

**Андреевский Г. В.**  
А 65 Повседневная жизнь Москвы в сталинскую эпоху. 1920—1930-е годы / Г. В. Андреевский. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Молодая гвардия, 2008. — 557[3] с.: ил. — (Живая история: Повседневная жизнь человечества).

ISBN 978-5-235-03123-4

Под пером Г. В. Андреевского пестрая и многоликая Москва 1920—1930-х годов оживает, движется, захватывает воображение читателя своими неповторимыми красками, сюжетами и картинами, увлекая его по улицам и переулкам, магазинам и кинотеатрам, паркам и дворам, знакомя с жизнью поэтов, музыкантов, политиков, широко распахивая окно в неизвестное прошлое столицы. Уникальные и редкие фотографии из архивов и частных собраний богато иллюстрируют книгу. Достоинством этого исследования является то, что оно создано на основании воспоминаний, архивных материалов и сообщений прессы тех лет о таких редко замечаемых деталях, как, например, езда в трамваях, мытье в банях, обучение на рабфаках, торговля на рынках, жизнь в коммуналках, о праздниках и труде простых людей, о том, как они приспосабливались к условиям послереволюционного времени.

УДК 94(470-25)“1920/1930”  
ББК 63.3(2-2Москва)

**Андреевский Георгий Васильевич**

**ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ МОСКВЫ В СТАЛИНСКУЮ ЭПОХУ.**  
1920—1930-е годы

Главный редактор А. В. Петров

Редакторы Т. А. Бахвалова, И. В. Черников

Художественные редакторы А. В. Никитин, К. Г. Фадин

Технический редактор В. В. Пилкова

Корректоры Т. И. Маляренко, Г. В. Платова

Лицензия ЛР № 040224 от 02.06.97 г.

Сдано в набор 28.01.2008. Подписано в печать 25.07.2008. Формат 84x108/<sub>32</sub>. Бумага офсетная № 1. Печать офсетная. Гарнитура «Гарамон». Усл. печ. л. 29,4+1,68 вкл. Тираж 3000 экз. Заказ 83433.

Издательство АО «Молодая гвардия». Адрес издательства: 127994, Москва, Сушевская ул., 21. Internet: <http://mg.gvardiya.ru>. E-mail: [dset@gvardiya.ru](mailto:dset@gvardiya.ru)

Типография АО «Молодая гвардия». Адрес типографии: 127994, Москва, Сушевская ул., 21.

ISBN 978-5-235-03123-4



Сквер на Сухаревской площади. *Конец 1930-х гг.*



Уличная торговля

Смоленский рынок





Семейный обед

«Хорошо сидим». 1931 г.







Медведи на Страстном бульваре

Дворник улицу метет





Толкучка на Сухаревке

В торговом ряду





Сон беспризорников

Беспризорники у асфальтового котла







Дети первых пятилеток

«Ликбез». Кухарки учатся читать





Кухня коммуналок

Общая кухня в студенческом общежитии на Плющихе





Большая стирка





Секретарь директора завода

Совслужащие







«Чья рука будет выше всех, тот и пойдет работать...»

Рабочие-спортсмены приветствуют членов Коминтерна. 1924 г.





Дорогу женщинам! Плакат С. Кущенко. 1920-е гг.



Шла дама по Петровке

Пуховки фирмы Лемерсье





Николай Иванович Ежов.  
*Владелец «ежовых» рукавиц*



Леонид Вуль.  
*Начальник московской милиции*

Работники Промбанка на скамье подсудимых







Дом купца Калганова. Современное фото

Артист Григорий Сорин. 1921 г.



Калганов-младший перед судом



Т. Н. МЕЗЛОБИНА

„Убави Кудайыс“

Г. М. СОРИН

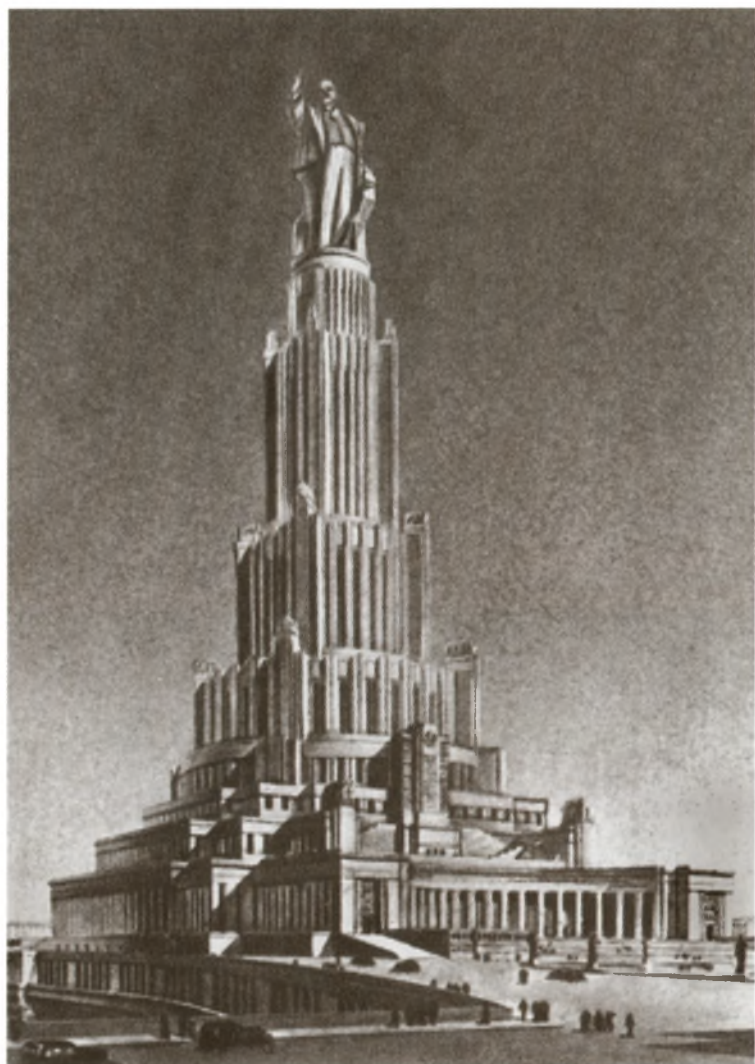
Фот. В. Давыдов и Л. Гуров. 1921 г.



Идет трамвай по городу...

В парикмахерской





О таком Дворце Советов мечтали



Моссовет и статуя Свободы. 1920-е гг.

Сретенка. Конец 1920-х гг.







Наводнение 1926 года. Брянский переулок

Пивная «Хромая собака» у Проломных ворот  
Китайгородской стены. 1929 г.





Фрунзенская набережная. *Начало 1930-х гг.*

Набережная Москвы-реки у храма Христа Спасителя





Демонстрация на Красной площади. 1920-е гг.







Улица Петровка. 1927 г.

Лубянская площадь







У Никитских Ворот

Пушкинская площадь





На промысел в Москву. Фото А. С. Шайхета. 1929 г.

Кафе в ЦПКиО им. Горького





Конструктивизм 1920-х годов. Клуб им. Зуева. Лесная, 18

Первый московский троллейбус





Трамвайная симфония





Правила движения обязательны для всех

Столичное такси





Деревянная Москва



Постовой  
милиционер





Старые деньги



Минздрав еще  
не предупреждает...

Наркомпищепром СССР  
ГЛАВТАБАК

*Курите*

ПАПИРОСЫ



КАЗБЕК

**КРАБЫ**  
ПРЕВОСХОДНАЯ  
ЗАКУСКА



*из крабовых  
консервов можно  
приготовить много  
разнообразных  
блюд*

**ТРЕБУЙТЕ**  
В МАГАЗИНАХ ГЛАВРЫБСВЫТА „ГАСТРОНОМ“,  
„БАКАЛЕЯ“ В РЕСТОРАНАХ И БУФЕТАХ  
В МОСКВЕ  
НАРКОМРЫБПРОМ СССР. ГЛАВРЫБСВЫТ

Пока не дефицит

## НОВАЯ КНИГА ОНАНИЗМ

Профессора Г. Родлер.  
Предисл. проф. В. Иностранца.  
**ПРИЧНЫ, ВНЕШНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, МЕРЫ, ЛЕЧЕНИЕ.**  
190 стр. Цена 3 р. без перес.

Выска. наложен. платном.  
**ЗАКАЗЫ НАПРАВЛЯТЬ:**  
Москва, ул. Герцена, 31/я  
Кооперат. Т-ву „СПЕЦ-КНИГА“

## ОМОЛОЖЕНИЕ

Врача А. Васильевича  
**КРАТКОЕ Оглавление:**  
жизни, старости и смерти. Внутренние органы. Омоложение по Штефалу. Упражнения по Борному. Опыты омоложения в России. Работы последних лет за границей. Справочник и перечень книг.  
160 стр. б. пер. 1927 г.  
**ЦЕНА 1 руб. 60 коп.**

Выска. наложен. платном.  
**ЗАКАЗЫ НАПРАВЛЯТЬ:**  
Москва, ул. Герцена, 31/я  
Кооперат. Т-ву „СПЕЦ-КНИГА“

## САТИРА И ЮМОР

В. Сарашкина.  
Полный сборник **САТИРИЧЕСКИХ И ЮМОРСТИЧЕСКИХ** оригинальных рассказов и анекдотов, критики, очерков, рассказов и расклевываний.  
**360 стр., в переплете.**  
Цена 3 руб. 50 коп. без пересылки.

Выска. наложен. платном.  
**ЗАКАЗЫ НАПРАВЛЯТЬ:**  
Москва, ул. Герцена, 31/я  
Кооперат. Т-ву „СПЕЦ-КНИГА“

## ФИЗКУЛЬТУРА


Полный курс под редакцией проф. Пастухова и др. Губкина.  
I. Вар II. Веталин, III. Волков, IV. Удальев, V. Губинский, Лепкин, Самойлович VI. Губинский по отдельным дням. Со многими рисунками.  
22 в. в 2-х томах. Цена 2 р. 60 к.  
**ПЕРВАЯ** для женщин. Выпущена физкультурником. Сост. М. Штефанов. 270 стр. 123 рис. Цена 2 р. 60 к.  
**Вторая** для мужчин. Сост. М. Штефанов. 270 стр. 123 рис. Цена 2 р. 60 к.

Выска. наложен. платном.  
**ЗАКАЗЫ НАПРАВЛЯТЬ:**  
Москва, ул. Герцена, 31/я  
Кооперат. Т-ву „СПЕЦ-КНИГА“

<b>ГРЕЧЕСКИЙ КРЕМ „ТАНАС“</b> Примлет кожу гладкую и нежная и белую. Уничтожает угри, в сыпи, прыщи, ссадины и прыщи. Цена банки 2 р.	<b>ВАСТОЖИ В КРЕМЫ</b> <b>Крем-Македон</b> Уничтожает угри, прыщи, сыпь, ссадины и прыщи. Цена банки 2 р.	<b>ЛАНОЛИНОВЫЙ</b> <b>Кольд-Крем</b> Лучший крем для лица, в том числе для смуглых и вечно лица и губ. Цена банки 1 р.
--	--	---

Адрес: гор. Азов, Донск. округа, П-ру Г. Муланову.

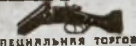
## ВЫ МОЖЕТЕ ИСПРАВИТЬ СВОИ НЕПРАВИЛЬНЫЕ ПОЧЕРК




и научитесь писать и каллиграфически писать и писать руку по известным методам каллиграфии ПЕЧЕНЬСКОГО. Улучшите и обучите и исправите ошибки руки. Упражнения, примеры по 2 стр. 1 р. — То же — другой вариант (примет) по 2 стр. 1 руб. 20 к. — То же — в переплете для детей (примет) по 2 стр. 1 руб. — Шаблоны для диктовки, грамматики 1 р. 50 к. — Шаблоны для грамматики, прописи и списания и прощ. 2 руб. — Ремесла. Как сделать шрифтовые машинки, вышивать, вязать, шить, жеман и домотканые бату — по 1 руб. — Как сделать научиться вышивать русские вышивки и вышивать с картин, с т. е. в красках 1 руб. — Машинки имеют большой выбор и увеличенные прошивки собраны (только русские и иностранные вышивки). Особый выбор книг по рисованию, технике и др. Произведения в полном объеме 12000 экземпляров, выделены по 40 р. При заказе — бесплатн. Книга без пересылки. Высылка почтой. Адрес: Москва, Ленинград. Печеньский, ул. 10.

## ИСПОЛЬЗУЙТЕ ДЕТО — УКРЕПИТЕ СВОЕ ЗДОРОВЬЕ


Ваша в Геничи. Геничицы на каждой день — 95 к. Шведы. Физические телесные упражнения — 1 р. 70 к. Свешно. Физическая культура — 10 к. Валды. Геничицы — 40 к. Рубиново по бату, футболу, теннису, велосипеду, легкой атлетике, гимнастика с сна и др. Выпускает каждый день по 10 руб. так и вступают владения в 3-х месячный срок.  
Заказы, заказы, деньги отправлять: Москва, Центр. Валентинский проезд 11/2, 47/20 в 2-м этаже.



**СПЕЦИАЛЬНАЯ ТОРГОВАЯ ОХОТНИЧЬИМ И РЫБЛОВНИМ. ПРИНЦИПАМИ ПЛЫВАЮЩАЯ МАШИНА**  
Москва, Центральн. ул., 3-я, 200/7.  
ТРЕБУЕТ ПРЕСКУРАНТИ  
за 18 коп. (включ. доставки)



**„МУРШАКА“**  
ДЕТЕСКИЕ ЖУРНАЛ  
ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ ДЕТЕЙ  
ВЫХОДИТ В 2-х ИЗДАНИЯХ  
Первое издание: „МУРШАКА“ Цена 50 коп. в пром. второе издание: „МУРШАКА“ и „МУРШАКА ГАВТА“ Цена 65 коп. в месяц.  
**ЗАКАЗЫ НАПРАВЛЯТЬ:**  
Москва, Суворовский пер. дом № 63.  
Кв. контора „РАБОЧЕЙ ГАЗЕТЫ“



**ПЕРВОИСТОЧНИК ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ**  
ПРОИЗВОДСТВО ГАЛЬВАНИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ РАДИО И НАРМА. БАТАРЕЙ „СЛОН“  
Выпускает в среднем АНОДИМЫЕ РАДИО-батареи с 45 и 80 вольт, в среднем выходящие 100, и также усовершенствованные карманные батареи.  
Полная гарантия на качество. Остерегайтесь подделки!!  
Заказы направлять: ПРОВОДСТВО ГАЛЬВАНИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ „СЛОНЫ“  
Москва, 3-я Тверская-Яковлевская, 10  
Проклятый мостик, д. 100, нары.

**В ОДНОМ ИЗ БЛАЖАЙШИХ НОМЕРОВ ЖУРНАЛА „ЭКРАН“ НАЧНЕТСЯ ПЕЧАТАНИЕ ИСТОРИЧЕСКАЯ ПОВЕСТЬ „ПОСЛЕДНИЙ СВЯТОЙ“**

**НА ГИТАРЕ, МАНДОЛИНЕ И БАЛАЛАЙКЕ**  
Каждый может играть легко научиться играть. Общее руководство для тех инструментов по цифровой системе с нотными печатками, рисунками, темп, ритм, музыка, аккорды, ноты, ак 2 р. 75 к. с пер.

**АЗБУКА МАШИНОЙ ПИСЬМА И 100 ВАРИАНТОВ СЛОВИЩАМИ**  
ИЗДАНИЕ СССР МЕТОДОВ  
Цена с перес. 19 коп.  
и ЛЮБУЮ книгу по ВСЕМ вопросам пишущей машинки, без всякого сомнения, посылку в Т. Р. Д. Москва, — Центр. Москва, № 15  
**ТРЕБУЕТ ВСПЛАТНО**  
Адрес: съездом, съездом, всякому человеку.

**ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА**  
на специальных страницах и впер **КРОКОДИЛ**  
ЖУРНАЛ ПЕЧАТАЕТСЯ В НЕСКОЛЬКО КРАСОК НА СПЕЦ. МАШИНАХ СИСТЕМЫ „ОФФОСЕТ“.  
**ЦЕНА ОТДЕЛЬНОГО НОМЕРА — 15 КОП. ПО ПОДПИСКЕ — 55 КОПЕК В 1 МЕСЯЦ**  
ПОДПИСКА ПРИМНИМАЕТСЯ.  
В Москве: Главная контора „Рабочей Газеты“ Суворовский пер., 63 и Тверская 15. В провинции: во всех отделениях „Рабочей Газеты“

**БЫСТРО, ЛЕГКО, БЕЗ УЧИТЕЛЯ**  
каждый может научиться играть в **ШАХМАТЫ**  
Самочувствие шахматной игры с применением теоретических доски и шахмат выполняется по получению 1 р. 65 коп. Пересылка за счет покупателя. Ленинград, Гостиный двор, № 86 (вх. 7).  
**ПРОИЗВОДСТВО „КИЗ“**

**КАКАЯ МОДЕЛЬ ПОВЕСТИ**  
ПОРТРЕТ  
— в переплете 1 р. 30 к. — 8 р. 80 к. — 12 р. 30 к. — 18 р. 30 к. — 24 р. 30 к. — 30 р. 30 к. — 36 р. 30 к. — 42 р. 30 к. — 48 р. 30 к. — 54 р. 30 к. — 60 р. 30 к. — 66 р. 30 к. — 72 р. 30 к. — 78 р. 30 к. — 84 р. 30 к. — 90 р. 30 к. — 96 р. 30 к. — 102 р. 30 к. — 108 р. 30 к. — 114 р. 30 к. — 120 р. 30 к. — 126 р. 30 к. — 132 р. 30 к. — 138 р. 30 к. — 144 р. 30 к. — 150 р. 30 к. — 156 р. 30 к. — 162 р. 30 к. — 168 р. 30 к. — 174 р. 30 к. — 180 р. 30 к. — 186 р. 30 к. — 192 р. 30 к. — 198 р. 30 к. — 204 р. 30 к. — 210 р. 30 к. — 216 р. 30 к. — 222 р. 30 к. — 228 р. 30 к. — 234 р. 30 к. — 240 р. 30 к. — 246 р. 30 к. — 252 р. 30 к. — 258 р. 30 к. — 264 р. 30 к. — 270 р. 30 к. — 276 р. 30 к. — 282 р. 30 к. — 288 р. 30 к. — 294 р. 30 к. — 300 р. 30 к. — 306 р. 30 к. — 312 р. 30 к. — 318 р. 30 к. — 324 р. 30 к. — 330 р. 30 к. — 336 р. 30 к. — 342 р. 30 к. — 348 р. 30 к. — 354 р. 30 к. — 360 р. 30 к. — 366 р. 30 к. — 372 р. 30 к. — 378 р. 30 к. — 384 р. 30 к. — 390 р. 30 к. — 396 р. 30 к. — 402 р. 30 к. — 408 р. 30 к. — 414 р. 30 к. — 420 р. 30 к. — 426 р. 30 к. — 432 р. 30 к. — 438 р. 30 к. — 444 р. 30 к. — 450 р. 30 к. — 456 р. 30 к. — 462 р. 30 к. — 468 р. 30 к. — 474 р. 30 к. — 480 р. 30 к. — 486 р. 30 к. — 492 р. 30 к. — 498 р. 30 к. — 504 р. 30 к. — 510 р. 30 к. — 516 р. 30 к. — 522 р. 30 к. — 528 р. 30 к. — 534 р. 30 к. — 540 р. 30 к. — 546 р. 30 к. — 552 р. 30 к. — 558 р. 30 к. — 564 р. 30 к. — 570 р. 30 к. — 576 р. 30 к. — 582 р. 30 к. — 588 р. 30 к. — 594 р. 30 к. — 600 р. 30 к. — 606 р. 30 к. — 612 р. 30 к. — 618 р. 30 к. — 624 р. 30 к. — 630 р. 30 к. — 636 р. 30 к. — 642 р. 30 к. — 648 р. 30 к. — 654 р. 30 к. — 660 р. 30 к. — 666 р. 30 к. — 672 р. 30 к. — 678 р. 30 к. — 684 р. 30 к. — 690 р. 30 к. — 696 р. 30 к. — 702 р. 30 к. — 708 р. 30 к. — 714 р. 30 к. — 720 р. 30 к. — 726 р. 30 к. — 732 р. 30 к. — 738 р. 30 к. — 744 р. 30 к. — 750 р. 30 к. — 756 р. 30 к. — 762 р. 30 к. — 768 р. 30 к. — 774 р. 30 к. — 780 р. 30 к. — 786 р. 30 к. — 792 р. 30 к. — 798 р. 30 к. — 804 р. 30 к. — 810 р. 30 к. — 816 р. 30 к. — 822 р. 30 к. — 828 р. 30 к. — 834 р. 30 к. — 840 р. 30 к. — 846 р. 30 к. — 852 р. 30 к. — 858 р. 30 к. — 864 р. 30 к. — 870 р. 30 к. — 876 р. 30 к. — 882 р. 30 к. — 888 р. 30 к. — 894 р. 30 к. — 900 р. 30 к. — 906 р. 30 к. — 912 р. 30 к. — 918 р. 30 к. — 924 р. 30 к. — 930 р. 30 к. — 936 р. 30 к. — 942 р. 30 к. — 948 р. 30 к. — 954 р. 30 к. — 960 р. 30 к. — 966 р. 30 к. — 972 р. 30 к. — 978 р. 30 к. — 984 р. 30 к. — 990 р. 30 к. — 996 р. 30 к. — 1000 р. 30 к.

Полезно объявлений в журналах гарантировано  
исключительным тиражом



СКОРО ВЫЙДУТ В СВЕТ:

Ф. Данино

ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ  
ЦРУ.  
1947–2007 ГОДЫ

Ж. Монгретьен

ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ  
КОМЕДИАНТОВ  
ВО ВРЕМЕНА МОЛЬБЕРА

С. Зегидур

ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ  
ПАЛОМНИКОВ  
В МЕККЕ

Л. Ивченко

ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ  
РУССКОГО ОФИЦЕРА  
В 1812 ГОДУ

И. В. Курукин, Е. А. Никулина

ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ  
ТАЙНОЙ  
КАНЦЕЛЯРИИ

ISBN 978-5-235-03123-4



9 785235 031234 >

МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ